ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В СЕМИ ТОМАХ

Под общей редакцией

П. Г. АНТОКОЛЬСКОГО, А. С. МЯСНИКОВА,
С. С. НАРОВЧАТОВА, Н. С. ТИХОНОВА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1·9·7·5

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ • ТОМ ПЯТЫЙ

«АЛТАРЬ ПОБЕДЫ»

«ЮПИТЕР ПОВЕРЖЕННЫЙ»

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1·9·7·5

Р 2
Б 89

Примечания к роману
«Алтарь Победы»
В. Я. БРЮСОВА

Подготовка текстов
Л. Н. СМИРНОВОЙ

Статья-послесловие и примечания
к роману «Юпитер поверженный»
М. Л. ГАСПАРОВА

Оформление художника
Е. А. ГАННУШКИНА

Б $\frac{70302\text{-}233}{028\ (01)\text{-}75}$ подписное

АЛТАРЬ ПОБЕДЫ

Повесть IV века

ПРЕДИСЛОВИЕ

Повесть «Алтарь Победы» впервые была напечатана в журнале «Русская мысль» 1911—1912 гг. В настоящем издании повесть печатается с некоторыми исправлениями, преимущественно стилистическими, и с добавлением исторических примечаний. В этих примечаниях я прежде всего имел в виду объяснить те, встречающиеся в повести, черты быта и нравов IV века, которые могут быть непонятны или неизвестны читателю. Но я нашел также не лишним использовать в этих примечаниях некоторые из тех материалов, которые были у меня под рукой при работе над повестью. Поэтому иные примечания сообщают и такие сведения, показавшиеся мне не безынтересными для читателя, которые непосредственного отношения к действию повести не имеют. Список источников, которыми я пользовался при составлении примечаний, приложен к XIII тому[1]. Мне остается добавить, что в повести мне пришлось нередко употреблять латинские названия различных вещей и явлений, так как соответствующие им русские слова имеют не совсем то же значение. Этим названиям, по возможности, сохранены их подлинные формы,— например, «легионарий» вместо обычного галлицизма «легионер», «ретор» вместо «ритор» и т. под. Латинское правописание сохранено отчасти и для собственных имен, впрочем, с таким расчетом, чтобы не было слишком резких отступлений от начертаний общепринятых: так, передавая латинское

[1] См. с. 648—654 наст. т.

«s» через «с», я воздержался от передачи (что было бы правильно) латинского «с» везде через «к», потому что формы «Скипион», «Кикерон» еще слишком непривычны для нас. Некоторую непоследовательность в транскрипции собственных имен я должен признать своим недосмотром и прошу мне ее извинить.

Валерий Брюсов

Июнь, 1913

Книга первая

I

Наш корабль уже был в виду берегов Италии, и я весь был занят одной мыслью, что скоро увижу Рим, «золотой», как его называют поэты, по улицам которого выступали Фабии, Сципионы, Суллы и сам божественный Юлий. Скромному провинциалу, сыну удаленной Аквитании, мне тогда казались трижды-четырежды блаженными те, кому Рок судил родиться у подножия Капитолия, куда, по священной дороге, восходило, чтобы принести триумфальные жертвы, столько славных, незабвенных мужей, память о которых не исчезнет, пока «Римлянин власть отцов сохраняет». В тот час я не думал о жестоких унижениях, нанесенных древней столице нашим временем, о пренебрежении императоров к городу, вскормившему их власть, наподобие волчицы — кормилицы двух первых царей, о печальном состоянии многих прославленнейших памятников старины, на что так жалуются все путешественники, о Новом Риме, гордо вставшем на берегах Боспора Фракийского,— и жаждал лишь одного: слушать рассказы о «Вечном Городе», этом средоточии, как мне казалось, величия, доблести, мудрости и вкуса.

Я и мой новый друг, Публий Ремигий, с которым я познакомился во время морского переезда,— мы сидели на носу корабля на сложенном канате, подставляя свое лицо свежему ветру, и мой собеседник должен был неустанно удовлетворять мое любопытство. Впрочем, он делал это охотно, так как ему, проведшему в Риме всего одну зиму, нравилось выставлять себя жителем столицы и похваляться своим знанием ее перед столь внимательным и доверчивым слушателем, каким я тогда был. Любивший болтать и не стеснявшийся примешивать вымыслы к правде, Ремигий покровительственным голосом объяснял мне, что представляет собою современный Рим, рассказывал

о старинных театрах, постановки которых соперничают с самой природой, о цирках и амфитеатрах, где можно видеть самых диковинных животных, о красоте дворцов и храмов, покрытых золотом, величественности бессчетных форумов, переливающихся один в другой, роскоши необъятных терм, где есть все, что может пожелать человек: писцины для плавания, библиотеки для услаждения ума, толпа красивых мальчиков для сладкого времяпровождения, о всей многообразности жизни столицы, где рядом соприкасаются великие богатства и нищета, где мудрецы и консулы сталкиваются на площади с разбойниками и проститутками, куда весь мир шлет все самое замечательное, что имеет, о том Риме, который, словно тысячелетнее дерево, каждый год дает новые побеги. С наибольшим же увлечением Ремигий говорил о вещах, ему, по-видимому, особенно близких: толковал мне, в какой таберне какое можно получить вино, где на сцене можно видеть арабийских танцовщиц или кастабальских кулачных бойцов, а где можно слушать гелиопольских флейтисток или любоваться цезарейскими пантомимами, а также, как устроены и где расположены в городе те веселые дома, в которых молодежь ищет дешевой любви и где на дверях комнат, занятых девушками всех стран, читаются милые имена: Лидия, Мирра или Психея.

— Рим, мой дорогой,— говорил мне Ремигий, словно изъясняя урок непонятливому ученику,— средоточие мира. Рим так велик, что взором обнять его нельзя. В Городе, где бы ты ни был, ты всегда оказываешься в середине. Что в других странах находится по частям, в нем одном соединено вместе. Ты в Риме найдешь и утонченность Востока, и просвещенность Греции, и причудливость далеких земель за Океаном, и все то, что есть в нашей родной Галлии. Жители всех провинций и народы всех других стран смешиваются здесь в одну толпу. Рим — это в сокращении мир. Это — океан красоты, описать который не в силах человеческое слово. Кто однажды побывал там, не захочет никогда жить в другом месте.

Так как оба мы ехали в Рим, чтобы учиться, то я стал также расспрашивать Ремигия о разных римских профессорах и их обыкновениях. С величайшей готовностью Ремигий поспешил мне ответить и на эти мои вопросы. Не без остроумия он начал рассказывать о том, как реторы перебивают друг у друга учеников, заманивая их всевозможными обещаниями; как иные из профессоров богатым

ученикам прямо прислуживают, словно их рабы, устраивают для них обеды, на которых прислуживают красивые рабыни, и почтительно дожидаются у порога спальни, пока проснется юноша, прошлую ночь проведший слишком буйно; как состязаются между собой преподаватели реторики, стараясь сократить срок преподавания и публично объявляя, что берутся обучить всем высшим наукам, один — в полтора года, другой — в год, третий даже — в шесть месяцев.

— Что касается трудности учения,— сказал мне Ремигий,— этого ты не бойся. У тебя есть деньги, и этого одного достаточно, чтобы стать мудрым, как Цицерон. Наш век — век великой легкости. Что было для наших предков трудно и тягостно, ныне, благодаря успехам просвещения, стало просто и всем доступно. Для Цезаря подвигом было переправиться в Британнию, а в наше время изысканные люди едут на острова Британнского океана, чтобы отдохнуть несколько недель летом в приятном, нежарком климате. Пирр хотел испугать бедного Фабриция невиданным зрелищем слона, а теперь всякий желающий за несколько медных монет может кататься на слонах, содержимых при любом большом амфитеатре. И всю ту науку, что двести лет назад надо было добывать с крайним напряжением, обливаясь потом на лекциях каких-нибудь греческих обманщиков, или за которой надо было ехать в Афины, в наши дни преподают шутя, для тебя самого незаметно, в самые короткие сроки. Клянусь Геркулесом, ты и не почувствуешь, как войдет в тебя вся реторика, а тем временем мы успеем с тобой вдоволь насладиться всеми приятностями Города, и этого будет довольно, чтобы воспоминаний достало тебе на всю последующую жизнь и чтобы жизнь свою ты не почитал потерянной.

Такие рассказы в меня вселили уверенность, что в Риме ждет меня немало веселого, да и я сам ехал в Город исполненный самых светлых надежд, даже мечтая втайне, что благоприятный случай позволит мне там чем-либо выделиться из числа других сверстников: ведь юность всегда самонадеянна, а я был еще очень молод. В приятной беседе с Ремигием, в которой я, впрочем, играл больше роль слушателя, незаметно прошло время. Скоро уже стали отчетливо видны громадные сооружения Римского Порта, длинные молы, высокие стены домов, храмов, амфитеатров, белые колонны портиков и тихо покачивающийся лес мачт от бесчисленных кораблей, военных и торговых,

стоявших в гавани. Кругом нашего корабля тоже виднелось немалое число других судов, начиная с громадной гептеры, опередившей нас, до маленьких гребных лодок, зыбко качавшихся на волнах, поднятых нашим кораблем.

Раздались громкие приказы магистра корабля, и матросы забегали по палубе, приготовляясь к причалу. Все другие наши попутчики стали собирать свои вещи, и мы с Ремигием последовали их примеру.

II

Мы переночевали в Порте, в гостинице, и утром нашли себе места в одной реде, отправлявшейся после полудня в Рим. Время до отъезда мы решили посвятить осмотру города, в котором немало любопытных зданий, несмотря на его сравнительно недавнее происхождение. Бродя без цели по улицам, зашли мы в отдаленную часть города, около канала, соединяющего Тибр с морем, пустынную в тот час, отдаваемый обычно полуденному отдыху. Здесь одно происшествие привлекло внимание не столько мое, сколько моего товарища.

На углу набережной и одной из поперечных улиц мы увидели двух скромно одетых девушек, которых явно притеснял человек высокого роста, в сирийской шапке. Девушки пытались уйти от него, но он, загораживая им дорогу, чего-то настойчиво от них добивался, видимо, к большому их замешательству. Если бы я был один, я, конечно, не подумал бы вмешиваться в уличную ссору, но Ремигий любил приключения и был то, что называется, забияка. Не раздумывая, он бросился вперед, и через несколько минут его спор с сирийцем перешел в ожесточенную брань.

Когда я отважился приблизиться, я услышал такие слова Ремигия:

— Если ты думаешь, приятель, что сирийский колпак придал ума твоей голове, ты весьма ошибаешься: и святое Писание говорит нам, что в гробах повапленных бывает смрад и нечистота. И если ты полагаешь, что довольно нарумянить щеки и завить бороду, чтобы женщины всего мира побежали за тобой, то знай, что говорит поэт о боге Любви: «Лютый и дикий, злой, как ехидна!» А что до твоих намеков, будто ты толкаешься среди придворных слуг и что поэтому всякому твоему доносу дан будет ход, то

вспомни, как смотрели на сикофантов древние греки, наши учители во всяческой мудрости: они доносчиков почитали наравне с волками. Говорю тебе, если ты не оставишь тотчас этих двух девушек в покое, я схвачу тебя поперек тела и сброшу в воду, а ты уже оттуда выплывай, как знаешь. И если, проплывая, барка разобьет тебе в это время череп, она только избавит Рим от лишнего негодяя.

Сириец оглянулся кругом и убедился, что поддержки ему ждать неоткуда, так как набережная была совершенно пустынна, двери складов и сараев, тянувшихся вдоль нее, плотно заперты и на судах, стоявших в канале, не виднелось ни одного человека. К тому же и я, как ни были мне всякие уличные споры ненавистны, не поддержать товарища в опасности считал нечестным и всячески выражал готовность прийти к нему на помощь. Поэтому сириец, не обладая, по-видимому, особым мужеством и не желая один иметь дело с двумя противниками, от своих притязаний предпочел уклониться и, отступая, сказал нам:

— Напрасно, молодые люди, не в свое дело вы вмешиваетесь. Я этих девушек вовсе не обижал, но, напротив, желал им оказать некоторую услугу! Я их предупреждал, что кое в чем они поступают неосмотрительно и это может повести их к беде. Если они меня слушать не хотят, тем для них хуже будет.

Две девушки были далеко не похожи друг на друга. Одна, которая казалась моложе, была одета хотя и бедно, не без некоторого щегольства; у нее было милое лицо германки, с детскими глазами и алыми губами; во время спора она как бы пряталась за свою подругу и, минутами, почти готова была заплакать. Другая девушка, одетая в паллу темного цвета и бывшая старше на вид, с лицом суровым и строгим, не отступала перед угрозами сирийца, но давала им решительный отпор. Услышав его последние слова, она сказала горячо:

— Лжешь, сириец! Думаешь, мы забыли, с какими предложениями ты к нам обращался! Женщине повторять их непристойно, но если эти благородные молодые люди избавят нас от твоих притеснений, у нас найдутся защитники, которые дадут тебе должный ответ.

— А ты забыла,— возразил сириец,— что́ ты и твоя сестра прятали между своими вещами в гостинице!

— Гнусный соглядатай! — воскликнула девушка.— Не знаю, что тебе показалось, когда заглядывал ты в какую-нибудь щель или замочную скважину, но, клянусь

святым Крестом, ни в чем предосудительном мы не повинны!

Тут сириец или утратил от раздражения свою осторожность, или захотел устрашить нас, только он произнес такие знаменательные слова:

— Ни в чем предосудительном! Или я не видел, как ты с сестрой убирала в ящик пурпуровый колобий? Разве это не значит злоумышлять на священную жизнь божественного императора! Знаешь ли ты, что этого одного достаточно, чтобы отправить вас обеих в тюрьму, а также и тех, кто вступается за лиц, виновных в таком злодеянии!

Признаюсь, после такого заявления словно холод Британнии пробежал по моим членам, так как я вовсе не хотел испытать участь Аполлинария и Мараса, замученных по сходному обвинению на Востоке в правление цезаря Галла. Подступив осторожно к Ремигию, я потянул его за плащ, давая ему понять, что самое благоразумное для нас — от этого темного дела уклониться. Но бесстрашный Ремигий, словно змей, раненный стрелой или камнем, бросился на сирийца, бывшего головой выше его, подступил к нему вплотную и так ему крикнул:

— Слушай, сирийский шут! Твоя родина славится канатными плясунами и скаковыми лошадьми. Так покажи нам искусства твоей страны и уходи отсюда так скоро, как только можешь, приплясывая или нет, по своему выбору. Иначе, клянусь Юпитером и пресвятой девой Марией, придется тебе по опыту узнать, какова вода в этом канале, пресная или соленая!

Повадка моего друга была столь решительна, что сириец не посмел более медлить ни минуты. Бормоча угрозы и ругательства, он стал быстро отступать, пятясь задом, и, достигнув первого поворота, почти бегом бросился прочь, вдоль низких каменных оград, и скоро скрылся из виду. Мы на поле битвы остались как победители.

Девушки начали усердно благодарить нас за заступничество, но Ремигий сказал им:

— Или я сильно ошибаюсь, или этот негодяй не кто иной, как императорский соглядатай из корпуса agentes in rebus, один из тех, кого называют curiosi. Они шныряют всюду, стараясь разыскать измену, так как только за измену, хотя бы самую маленькую, им и платят. Наверное, побежал он сейчас к одному из своих начальников, чтобы на вас сделать донос. Я бы на вашем месте не стал медлить здесь, но поспешил бы прочь из негостеприимного для вас

Троянова Порта, так как в наши дни нельзя особенно рассчитывать на правосудие. Я, Публий Ремигий из Массилии, и мой друг, Децим Юний Норбан, из Лактары, племянник сенатора Авла Бебия Тибуртина, с удовольствием окажем вам свое покровительство и готовы сопровождать вас, если последуете вы тому совету, что я даю вам, наподобие богини Минервы, которая, во образе мудрого Ментеса, склонила юного Телемака к путешествию.

Девушки, однако, решительно отказались от нашей дальнейшей помощи, сказав, что путешествуют не одни, но со своей родственницей. Они назвали свои имена, которые оба оказались мало обычными: младшую звали Лета, старшую Реа; они были сестры и, подобно нам, направлялись в Рим, только не из Галлии, а из Испании, из Сагунта, где недавно умер их отец. Ремигий стал предлагать, чтобы они провели с нами некоторое время, говоря, что в городе есть приятный общественный сад и подле лавровая роща, но девушки нашли такую прогулку неприличной, и нам пришлось удовольствоваться с их стороны одной благодарностью за великодушное заступничество.

Впрочем, Лета, когда опасность миновала, была склонна шутить с Ремигием и как будто колебалась, не принять ли его предложение, но ее старшая сестра резко ее остановила.

— Неужели ты не позволишь даже поцеловать тебя в награду за все, что мы для вас сделали? — спросил Ремигий Лету, пытаясь обнять ее.

— Может быть, мой поцелуй стоит дороже,— лукаво возразила та, уклоняясь от объятия.

Реа вмешалась и сказала:

— Если вы избавили нас от одних оскорблений, чтобы подвергнуть другим, вам трудиться не стоило.

Тогда Ремигий стал просить, чтобы девушки, по крайней мере, назначили нам встречу в Риме, обещая показать им все достопримечательности Города.

— Только,— возразила Лета,— не в первые дни по нашем приезде. Я не хочу, чтобы тебе было стыдно идти со мною рядом. Когда я научусь наряжаться, как Римлянки, и, как они, заплетать волосы, я охотно позову тебя сопровождать меня.

Ремигий заверил ее, что она и теперь прекраснее всех других девушек всего мира, но опять Реа вступила в разговор и сказала:

— Мы едем в Рим не за тем, чтобы забавляться. Мы девушки бедные, и наши дни должны будем посвящать работе. А в свободные часы нам останется время только посетить церковь или поклониться мощам святых, что вряд ли для юношей, каковы вы двое, будет занимательно.

Мне стало стыдно, и я начал убеждать своего друга прекратить его настояния. Кончилось тем, что нам не осталось другого, как мирно проводить девушек до указанной ими гостиницы, причем Ремигий не переставал делать весьма нескромные намеки понравившейся ему Лете, которые заставили бы краснеть любую девушку моего родного города. Но Лета, не смущаясь, отвечала ему, и обмен остротами продолжался во все время пути.

Когда мы уже прощались, Реа, почти не проронившая во всю дорогу ни слова, внезапно обратилась ко мне с вопросом:

— Твое имя точно Юний?

— Так, по крайней мере,— ответил я немного обидчиво,— зовут моего отца и звали деда и моих предков. Имя это не бесславно в истории. И каждому человеку свойственно знать свое имя.

— А сколько тебе лет? — спросила девушка.

Как всем юношам, мне хотелось казаться старше своих лет, и я ответил:

— Если ты это хочешь знать, мне девятнадцать лет.

— Неправда! Наверное, восемнадцать! — живо возразила Реа.

Смутившись, так как она была права, я сказал:

— Да, мне будет девятнадцать лет через несколько месяцев. Но откуда ты это знаешь?

Она ничего мне не ответила, только загадочно улыбнулась и потом произнесла:

— Мы еще с тобой увидимся, Юний.

После этого мы расстались у двери гостиницы, где жили девушки. Ремигий был несколько опечален тем, что столь любопытное приключение не привело нас ни к чему, но вознаграждал себя насмешками надо мной за внимание, оказанное мне старшей из сестер, которую он упорно называл «старушкой».

— Если ты так нравишься старым женщинам,— говорил он,— будь спокоен за свою участь: в Риме у тебя не будет недостатка в деньгах.

Я же в глубине души был обеспокоен всем этим происшествием, в котором участвовал против воли, и не без боязни помышлял о том доносе, который может сделать на нас неизвестный сириец.

III

Недолгая дорога от Римского Порта до Города оказалась крайне утомительной. Кроме нас, в реде ехали два купца, торопившиеся по своим делам, и Ремигий тотчас поспешил блеснуть перед ними своими познаниями. Он объявил, что он также сын купца, и завел бесконечный разговор о торговле с серами и синами шелком и другими товарами, о преимуществах сухопутного пути через Бактриану перед морским через Египет и Индию, о сирийском холсте, фригийском сукне, галатской шерсти, золотошвейных изделиях атталийцев, о знаменитой ярмарке в Батне, о налогах, портериях и разных сборах. Воспользовавшись этим, я большую часть дороги мирно дремал, пока мимо мелькали огороженные виноградники, оливковые рощи и ряды великолепных вилл. Сквозь сон я слышал еще речи о саксонских пиратах, долгое время не пропускавших купеческих кораблей в Британнию, о разбоях франков, прогнанных Феодосием за Рейн, о торговле с берегами Понта Эвксинского, которая в наши дни решительно пришла в упадок после войн с готами и разрушения ими многих городов, и мой Ремигий во время этого разговора, как из рога Фортуны, сыпал имена, названия, цифры, проявляя такое же знание торгового дела, как раньше Рима и риторики. Я не мог еще раз не подивиться на разносторонность дарований, какими одарили боги этого юношу, готового то вести философский спор, то вмешаться в уличную драку, и, под говор своих спутников, заснул, наконец, крепким сном.

Когда я проснулся, был уже вечер и мы приближались к Городу. Дорога стала гораздо более оживленной, поминутно то встречались нам, то обгоняли нас всадники, колесницы, повозки, скакали вестники, везя какие-либо правительственные распоряжения, быстро проезжали карпенты, в которых виднелись важные лица, может быть, каких-нибудь сановников; медленно тащились плавстры, запряженные мулами; шли пешеходы и порой мерным шагом проходил отряд войска под предводительством кон-

ного центуриона; с краев дороги доносились жалобные просьбы нищих, просивших милостыни, кто «ради Христа», кто «во имя Юпитера»; вдоль дороги стояли теперь ряды мраморных гробниц, и с них смотрели на нас каменные лики мужчин и женщин, в сумраке казавшиеся особенно важными, а вдали темной громадой уже вырисовывались огромные очертания Рима. Наша реда, запряженная парой добрых лошадей, ехала быстро, и скоро мы приблизились к Портуенским воротам.

Почти тотчас за воротами наша реда остановилась около храма Фортуны Сильной, и здесь пришлось нам испытать все неприятности осмотра портитора. Затем мы попрощались с нашими спутниками, и Ремигий, держа себя как человек опытный в путешествиях, выбрал из толпы носильщиков, окружавших нас, двух дюжих молодцов, которым приказал нести наши вещи. Ремигию очень хотелось, чтобы я некоторое время еще провел с ним в какой-либо транстиберинской копоне, чтобы «возлиянием богам», как говорил он, отпраздновать мое прибытие в Рим. Но я отговорился тем, что крайне устал, и мы, назначив друг другу встречу на следующий день, расстались: Ремигий направился в дом вдовы Траги, где обычно находил себе в городе пристанище и кредит, а я приказал нести свой сундук и свой мешок на Виминал, в дом моего дяди, сенатора Авла Бебия Тибуртина.

Странно мне было впервые в жизни идти по Риму, уже почти во мраке, переходить Тибр по мосту Проба, видеть молчаливые стены высоких домов, слабо освещенных кое-где фонарями перед лараріями, угадывать торжественные очертания неизвестных храмов и дворцов Палатина, нырять во мрак портиков, которыми опоясано большинство улиц, встречать прохожих, за которыми шли их рабы с фонарями в руках, слышать пьяные голоса из шумных копон, встречавшихся по пути во множестве; порою, и нередко, попадались мне уличные женщины с густо набеленными лицами, с черными бровями, соединенными в одну черту; эти женщины хватали меня за край плаща, называли «милым мальчиком» и звали провести ночь с ними; я вырывался из их рук, думая, что у меня еще будет время повеселиться в Риме, и упорно шел вперед, пока носильщик не объявил мне, что мы у цели.

Маленькая улица, на которой мы стояли, была безлюдна и темна, и в доме моего дяди не было ни видно огней, ни слышно голосов. Поэтому не без смущения я решился

постучать в дверь, прочитав на пороге сделанную полустершейся мозаикой старинную Римскую надпись: «Берегись собаки». Прошло довольно много времени, пока, произнося бранные слова, подошел к двери, громыхая цепью, которой он был прикован, раб-привратник и, приоткрыв вход, спросил меня, кто я и что мне нужно. Я объяснил, что я — племянник Тибуртина, что у меня есть к нему письмо от его сестры, и после долгих переговоров меня впустили, наконец, в вестибул, слабо освещенный двойной висячей луцерной.

Привратник поручил меня другому, вызванному им рабу, дряхлому старику, Мильтиаду, который провел меня через безмолвный и пустынный атрий в таблин. Дядя еще не спал, и я увидел дородного человека в домашней одежде, сидевшего в глубоком кресле, с украшениями из слоновой кости, перед мозаичным столом, на котором стоял золотой кубок и серебряный кувшин с вином, издававшим сладостный запах, лежали на хрустальном блюде кусочки дыни, исписанные цифрами таблички и абак. Около, почтительно склонив голову, стоял какой-то человек, вероятно, раб-вилик, с которым дядя сводил счеты по одному из своих загородных поместий. Мильтиад, исполняя назначение номенклатора, провозгласил мое имя и скрылся.

Первую минуту дядя был крайне раздосадован моим появлением и мрачно нахмурил брови, но когда я объяснил ему, кто я, напомнил ему, что он сам предложил мне жить в его доме, и передал ему письмо моей матери, он смягчился и заговорил со мной дружески.

— Так значит, ты и есть Децим Юний, мой возлюбленный племянник, сын сестры моей Руфины и Тита Юния Норбана, декуриона Лакторы, внук Децима Юния Норбана, бывшего пресидом Новемпопулании при божественном Константине. Добро пожаловать, племянник, и да будут к тебе благосклонны лары и пенаты этого дома, где еще ни разу не угасал священный огонь перед семейным алтарем с того самого времени, как Камилл возобновил Город. Вижу из письма, что сестра и твой отец — в добром здравии, и радуюсь этому, потому что хорошие люди в наши дни нужны империи. А ты прибыл в Рим, чтобы продолжать свое учение, и хорошо сделал, ибо каков же тот Римлянин,— а ныне, клянусь Юноной, Римляне все жители империи,— кто никогда не был в Городе, матери всех других городов и провинций. Но с самого пер-

вого раза говорю тебе, и ты запомни мои слова хорошенько: если ты думаешь, что в Риме ждут тебя прежде всего удовольствия, ты весьма в значении слова Римлянин ошибаешься. Повторяй всегда слова нашего поэта: «Ты над народами властию править, Римлянин, помни! Вот искусства твои!» И куда бы наши императоры ни переносили столицу республики, всегда средоточием власти останется Рим и от Римского сената будут новые императоры получать утверждение своего сана. В Вечном Городе ты, мой сын, учись, раньше всего другого, вечной мудрости и древней доблести квиритов: не веселию праздношатающихся, но строгой нравственности, терпению в работе и мужеству во брани. Правильно ли я говорю, племянник?

Мне, который стоял неподвижно, слушая поучительную речь, только и оставалось ответить, что я во всем с ней согласен, и дядя, отпив из кубка широкими глотками и закусив дыней, продолжал с новым вдохновением:

— Вспомни, чем были Римляне, когда мощь Города неоспоримо признавалась на всем круге земном, от Океана до Индии, от пустынь Сарматских до Агизамбы, страны носорогов. Римляне были первыми работниками в своем государстве, и все граждане не щадили сил на пользу республики. Предки наши ложились спать с петухами, и утренняя Аврора заставала их уже готовыми на дневной труд. Когда послы Сената отправились искать Цинцината, чтобы предложить ему диктаторские фаски, они нашли его обнаженным, ведущим свой плуг среди вспаханного им поля. Вдова славного Регула, по смерти мужа, должна была жить на пособия от друзей, а дочери Сципиона приданое было выдано из государственной казны, ибо мужи древности всю свою жизнь посвящали на служение республике, а не на свое обогащение. Подражай им, мой сын, ибо только таким способом может и в наши дни Рим сохранить свое величие и свою славу.

Тут дядя обратил внимание, что нашу беседу, или, точнее, его страстные монологи, слушает находившийся в таблине раб, и грозно закричал на него:

— А ты, Пицент, ступай пока прочь, мы завтра еще посчитаемся с тобой! И если десятая доля моих подозрений оправдается, смотри, как бы не поступил я с тобою, как доблестный Лукулл с лишними рабами,— я с тобой сумею управиться. Вы все там мошенники и воры, пользуетесь тем, что я живу в Городе, и хотите меня уверить, что поля не приносят никаких доходов. Убирайся!

Когда раб из комнаты вышел, дядя пригласил меня сесть и, снова отпив из своего кубка, продолжал:

— Говорю тебе, что прежняя простота жизни Римлян погибает! Еще во времена второй Пунической войны в Риме был лишь один прибор серебряной посуды, переходивший из дома в дом к тому сенатору, который должен был угощать иностранных послов! Божественный Август не стеснялся ходить по улицам, как простой гражданин. Император Нерон покорно исполнял древний обычай, перешедший к консулам от царей, и самолично присутствовал на пожаре. И еще Александр Север стыдился угощать своих гостей на золоте. Ныне же вольноотпущенники убирают себе дома разноцветным мрамором и стены украшают перлами и вавилонскими коврами, женщины наши одеваются в шелк и в туники, шитые серебром и золотом, а в серьгах своих носят камни, по цене равные пяти поместьям, мужчины же проживают скопленное их предками на закладах при беге колесниц, на пирах, во время которых угощают всяких проходимцев, и на дорогое вино, которое пьют с утра до утра... Но, постой, почему же ты не пьешь со мной?

Дядя позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и, когда раб принес мне кубок, наполнил его вином, судя по вкусу, фалернским, и продолжал:

— Предки наши, любезный племянник, ели горох и маслины, запивая их местным деревенским вином,— и завоевали весь мир. А в наши дни пьют вина, привезенные из Греции и Малой Азии, едят редкостных морских рыб и заморские плоды,— и терпят поражения на Рейне и на Евфрате. Предки наши усердно приносили жертвы Юпитеру Капитолийскому и Марсу Градиву и провинцию за провинцией присоединяли к области республики. А наши полководцы подымают лабарум с монограммой Иудейского Христа, и уже утратили мы Дакию, Германию, часть Британнии и пять провинций между Евфратом и Тигром. Если ты, племянник, приехал в Город, чтобы научиться быть Римлянином, я тебе обещаю всяческое содействие, а слово Авла Бебия Тибуртина значит много, ибо какое звание на земле выше сенаторского, и имя Бебиев известно в Римских анналах. Но если ты хочешь изменить вере отцов и доблести квиритов, ты напрасно стучался в дверь этого дома, где жили когда-то мужи, бившиеся под Замой, и при Акциуме, и еще в наши времена, отстаивая Римскую свободу, у Мульвиева моста.

Дядя говорил еще много, пока я не заметил, что он изрядно пьян. Тогда я поднялся и начал прощаться, объясняя это утомлением после трудного пути. Дядя попытался было вновь наполнить наши кубки, но, убедившись, что вино все выпито, грустно сказал:

— Ты прав, племянник, время уже предаться покою (было далеко за полночь). Ключи от погреба у моей жены, и ее нельзя тревожить, после того как она прочла свои молитвы пресвятой деве перед сном. Иди отдыхай, а завтра я познакомлю тебя с моими дочерьми, которым постарался я внушить правила жизни строгой, те, которые вознесли Римскую матрону на такую высоту, что в счастливые времена Города каждый прохожий долгом почитал дать ей дорогу. Прощай.

Раб проводил меня в назначенный мне дормиторий, и хотя я и предпочитал бы, чтобы меня после долгого путешествия проводила в бани хорошенькая служанка, подобная всем знакомой Фотиде из «Метаморфоз» Африканского поэта, однако мне скоро пришлось, вздыхая, остаться наедине в неуютной комнате. Впрочем, утомленный приключениями последних дней, едва успел я рассмотреть при слабом свете лампады нескромные изображения, которыми расписаны были стены, как бросился на ложе и тотчас уснул крепким сном путешественника.

IV

Наутро, по привычке, приобретенной с детства, я встал рано и, одевшись, вышел в атрий, думая, что найду там толпу клиентов, которые ожидают выхода к ним своего патрона. Но атрий был пуст, и только двое или трое рабов лениво занимались утренней уборкой, которые и объяснили мне, что дядя еще спит, а жена его молится в часовне, устроенной при доме. Они же посоветовали мне идти в перистилий, где я могу увидеть младшую из дочерей дяди, Намию.

Я последовал совету и, проходя, успел заметить, что на всем вокруг лежали следы явного упадка: живопись стен во многих местах была попорчена, мозаика частью разрушилась, позолота с колонн слезла; статуи были давно не чищены, и даже некоторые из восковых масок предков, висевших в крыльях атрия, были в плохом состоянии; столы, кресла, светильники, стоявшие тут и бывшие,

по-видимому, когда-то роскошными, давно обветшали и при дневном свете казались убогими.

В перистилии, действительно, увидел я девочку лет двенадцати, в простой льняной тунике, которая забавлялась тем, что около писцины дразнила павлина, то раскрывавшего, с хриплым криком, то закрывавшего свой пышный хвост, усеянный очами Аргуса.

Подойдя, я назвал себя и спросил, не говорю ли я с Намией, моей двоюродной сестрой. Девочка подняла на меня глаза, так что я увидел прямо перед собой ее выразительное лицо маленькой гречанки (ибо мать ее была происхождением из Фессалии), и, прищурив глаза, стала меня беззастенчиво рассматривать, потом сказала:

— А ты хорошенький мальчик!

Что я красив, это мне приходилось слышать и раньше, поэтому я не очень удивился на слова девочки, но ее свободное со мной обращение смутило меня, и, стараясь не выдать в себе застенчивого провинциала, я возразил:

— Ты мне тоже очень нравишься; у тебя красивые глаза и красивый нос.

Девочка засмеялась.

— О, погоди! я буду гораздо лучше! Пока я еще только девочка и играю в куклы. Но я хочу быть красивее всех в Риме. А ты похож на молодого Меркурия, как его изображают статуи. Вот ты приехал из Галлии, что же, ты оставил там невесту или возлюбленную?

Продолжая шутить, я ответил:

— Что ты! я ведь тоже мальчик и приехал сюда учиться. Мне о невесте еще рано думать.

Намия, отойдя к стене, села на мраморную скамью и подозвала меня.

— Вот что,— сказала она мне,— отец еще спит, мать и сестра Аттузия молятся. Это — мое время. Садись здесь, около меня, и расскажи мне что-нибудь любопытное.

Она указала мне место у своих ног на мозаичном полу. Мне пришлось подчиниться, и, поместившись у ног девочки, я постарался, как умел лучше, выполнить возложенное на меня дело. Я стал рассказывать о Галлии, о городах, которые я там видел, о нашей тихой Лакторе, на шумном Эгирции, с ее знаменитым храмом Матери Богов, о красивой Толозе с ее башнями, о большой и людной Бурдигале, куда приходят корабли с Океана, о величине реки Гарумны, о нравах жителей Пиренейских гор и о всем другом, что мне пришло на память.

Намия некоторое время меня слушала, но потом прервала, нисколько не стесняясь, такими словами:

— Как все скучно, что ты говоришь! Неужели ты не можешь придумать чего-нибудь более занимательного?

Втайне я был обижен, но не подал виду и, переменив голос, попробовал повторить ей некоторые рассказы из Апулея. Но она уже с первых слов остановила меня, замахав руками и сообщив с веселым смехом:

— Все это я давно читала, за кого ты меня считаешь?

И что бы я ни начинал рассказывать: события ли из своей жизни, вещи ли, вычитанные из книг,— все казалось Намии или скучным, или известным, и я в конце концов не без злобы замолчал совсем. Тогда девочка сказала:

— Ты, Юний, должно быть, более красив, чем умен. Прекрати свои рассказы и лучше давай целоваться.

Предложение было столь неожиданно, что я одно время колебался, не принять ли его за шутку, но девочка ждала моего ответа так уверенно, что я, не колеблясь более, стал на колени, обнял ее и несколько раз поцеловал прямо в губы. Вырвавшись из моих рук, Намия сказала:

— Ты сладко целуешься. И вообще ты мне нравишься. Хочешь, мы будем друзьями?

Я согласился, и наш союз был заключен.

В это время послышались голоса и шаги, и Намия мне шепнула:

— Вот идут мать и сестра. Больше нельзя веселиться. Надо себя держать чинно.

Я ожидал увидеть в моей тетке, жене сенатора, мужа, имеющего титул clarissimus, почтенную матрону с благородным лицом и важной поступью, а в ее старшей дочери — прелестную девушку, напоминающую Намию, только с более зрелой красотой. Но ожидания мои были обмануты, так как жена дяди была толстой и обрюзгшей гречанкой, казавшейся много старше своих лет, одетой неряшливо, державшей в руке громадную связку ключей, а Аттузия — худой, высокой, некрасивой девушкой, с лицом, словно почерневшим, с большим носом, с унылыми глазами, какие бывают у засыпающих рыб. Все это, разумеется, не помешало мне приветствовать вошедших со всем должным почтением.

— Мы тебя ждали, племянник,— сказала мне тетка.— Твой отец поручил мне наблюдать за тобой, как за сыном,

и я надеюсь, что тебе будет у нас хорошо. Конечно, особой роскоши у нас нет, по юноше она и не прилична. В Риме жить дорого, рабы в поместьях с каждым годом становятся все вороватее, а на рынках цены растут непомерно. Но никакого недостатка ты терпеть ни в чем не будешь.

После того как я ответил, что привык к жизни скромной, меня спросила Аттузия:

— Ты уже молился сегодня, Юний?

Вопрос этот поставил меня в крайнее затруднение, и я стал бормотать что-то невнятное, и тогда Аттузия спросила меня уже прямо:

— Да ты христианин?

Я должен был признаться, что воспитан в вере отцов.

Аттузия заломила руки и подняла глаза вверх.

— Неужели есть еще в Аквитании семьи,— воскликнула она,— не просвещенные светом Христовым! — Потом добавила: — Я сама займусь твоим духовным просвещением и попрошу отца Никодима: его речи расплавят тебе сердце, как огонь железо.

Так беседуя, мы вышли в атрий, где к тому времени уже собралась маленькая толпа клиентов и друзей дома, пришедших принести утреннее приветствие сенатору. Но дядя все еще продолжал спать, и вместо него приветствия принимала тетка, обращавшаяся с посетителями весьма сурово и без всякого стеснения. Исключение было сделано только для того отца Никодима, о котором мне уже говорила Аттузия и который тоже оказался в числе клиентов. Его одного тетка позвала завтракать с нами, а остальные вскоре должны были покинуть дом, причем после их ухода тетка обозвала их всех «бездельниками».

Завтракали мы в маленьком триклинии, и я с первого же раза убедился, что роскошью стола дом дяди не отличался; подавали остатки вчерашнего обеда, сыр, яйца, плохое вино. Говорил за столом едва ли не один отец Никодим, который, заменяя для женщин acta diurna, сообщал все происшествия за день: какие есть вести об императорском дворе, где был пожар, в чьем доме готовится свадьба, кто захворал, кто из видных женщин поссорились со своими любовниками. Последние известия отец сопровождал жалобами на развращенность нашего века. Аттузия не преминула пожаловаться на то, что мои родители

оставили меня во власти старых суеверий, но отец Никодим на этот раз не пожелал проявить огненности своих поучений: он только укоряюще покачал головой и еще усерднее принялся наливать себе вино.

Я был рад, когда завтрак окончился и мне можно было поспешить на свидание, назначенное у нас с Ремигием.

V

В тот день в первый раз видел я Рим при дневном свете.

Потому ли, что утренние впечатления от завтрака с отцом Никодимом так на меня повлияли, или потому, что я ожидал под влиянием рассказов Ремигия и других слишком многого, только Город решительно разочаровал меня. Улицы мне показались узкими и грязными, дома безобразными и старыми, а толпа не нарядной: в ней, правда, попадались представители всех стран, не только жители Эфиопии и германцы, но даже персы, сарматы и индийцы, однако по большей части то были ремесленники, торговцы мелким товаром или просто нищие, которые толкались, кричали на разных языках и в общем производили такое впечатление, что хотелось куда-нибудь от них укрыться. После безмолвных улиц нашей священной Лакторы эта уличная давка была мне нестерпима. Под аркадами везде были лавки и таберны, лежали груды сушеной рыбы, овощей, плодов, и запах ото всего этого был, в общем, крайне неприятен. Порой по улице стремглав пролетала колесница с каким-нибудь важным лицом, давя народ, а за ней с криками бежала целая толпа рабов, словно шайка разбойников; или, напротив, дюжие рабы, крича еще сильнее, бегом налетали на людей, расталкивали их и разгоняли палками, чтобы дать дорогу позолоченным носилкам, в которых лежала какая-нибудь знаменитая Римская гетера, а за носилками, припрыгивая, бежали отвратительные евнухи.

Когда я выбрался на форумы, там мне показалось несколько легче, и я уже мог наслаждаться видом старинных храмов, великолепных колонн, гордых статуй и пышных триумфальных арок, вещающих о славном прошлом Рима; стоя на старом форуме, близ дома таинственных весталок, я должен был признать, что единственное в мире зрелище представляет это сочетание бессчетных великолепных зданий, колонн, арок, статуй, блеск мрамора, меди, золота,

и вид на великолепный храм Отца Богов, сверкающий золотой кровлей и золотыми вратами, что царит на высоте, упираясь в незыблемую скалу. Но я не мог не заметить, что многие здания, даже те, что всего столетие назад возобновлены были при Диоклециане, уже пришли в упадок, что мрамор многих стен потемнел, что ступени лестниц были обтерты и обломаны, что везде была грязь и нечистота и что всюду на роскоши строений, словно пятна на теле больного, виднелись нищие в грязных лохмотьях. Лавки вокруг форумов были заняты более благородными товарами, и здесь были выложены на прилавки и висели над нами то золото и драгоценные камни, то дорогие материи, то серебряные кубки, то шитые золотом пояса и ленты, то красивые плоды, то груды цветов. Но и на форуме толкалась почти та же толпа, как на удаленных улицах, и редко приходилось встретить щеголя в цветном плаще, застегнутом у шеи и прихваченном у пояса, ловко распахивающего полы, чтобы обнаружить тунику, вышитую изображениями разных зверей, или важного сановника в плаще, тоже шитом золотом, тяжелом и неудобном, сопровождаемого толпой друзей. Я вспомнил слова персидского царевича, сказанные императору Констанцию, будто в Риме лишь одно ему не нравится: что и здесь люди смертны,— и думал, что царевич требовал от жизни не слишком многого.

Отыскивая дорогу к той копоне, которую мне назначил Ремигий, вдруг увидел я его самого в небольшой толпе, слушавшей оратора, который, по древнему обычаю, произносил речь около ростры. Слушатели, по-видимому, относились к этому оратору, как к потешнику, громко высказывая неодобрительные замечания, и порой громко смеясь. Но произносивший речь как будто не замечал этого и продолжал что-то говорить о величии древнего Рима и о мудрости первых Римских царей.

— Что ты здесь делаешь, когда я тебя ищу,— спросил я Ремигия.

— Молчи,— возразил Ремигий,— и слушай: это очень забавно.

Оратор продолжал речь:

— Итак, квириты! помыслите, сколь много мы теряем, не ведая, отколь вышел наш славный род и под какими предзнаменованиями создались наши бессмертные учреждения! Кто из вас сумеет ответить, какие законы даровал Атис? какие Капис? какие Капет? Кто из вас вникал в про-

рицания Пика, священной птицы бога? Кто не смешивает лемуров с ларвами, свершая тем великий грех и оскверняя священные майские обряды! Квириты! жизнь наша теряет свой смысл, если не вникаем мы в наше прошлое, и империи грозит гибель, если камень древности, на котором стоит она, будет подточен червем невежества! Здесь, перед алтарем Вулкана, воздвигнутого Ромулом, перед этим алтарем, куда мы ежегодно приносим памятную жертву рыб, у золотого столба, где сходятся все дороги Италии и, следовательно, мира,— я хочу указать единственный верный путь спасения Риму и через него всему человечеству!

При этих словах почти все слушатели принялись неистово хохотать, а большинство стало расходиться. Тогда Ремигий подступил к оратору и сказал ему с преувеличенной почтительностью:

— Славный Фестин! Ты, вероятно, вспомнишь меня, Ремигия, ибо прошлой зимой мы не раз вместе осушали кубки во славу божества Квирина. Я и мой друг, Юний из Лакторы, только что наслаждались мудростью, истекавшей из твоих уст, как некогда речи слаще меда текли из уст Нестора. Не захочешь ли ты сегодня также разделить с нами наш скромный завтрак в одной из копон за базиликой Константина?

Одежда оратора состояла из рваного плаща, кожа лица его едва обтягивала кости, борода была всклокочена, и все в нем обличало большую нужду. Не удивительно, что он тотчас с готовностью принял зов Ремигия, что, однако, не помешало ему держать себя с величием истинного философа.

По дороге Ремигий сказал мне:

— Ты, Юний, находишься сейчас в обществе одного из величайших ученых, каких когда-либо производил Рим. Мир еще не знает Фестина, но многие великие мужи при своей жизни разделяли с ним ту же участь. Уверяю тебя: это — кладезь мудрости, библиотека, из которой ты можешь черпать все сведения, соперник Варрона и Авла Геллия по многообразию своей учености, и для будущих поколений, изваянный из мрамора или отлитый из бронзы, предмет поклонения.

Мне пришлось сделать усилие, чтобы не рассмеяться, когда я представил себе лицо нашего спутника в мраморе. Но Фестин принял серьезно слова моего друга и со скромностью ответил:

— Я не дерзаю равнять себя с Варроном, этим Аристотелем Рима, ни даже с Авлом Геллием, подобно пчеле, собиравшим свой мед со всех цветов. Малая моя заслуга лишь в том, что я привержен к сединам Вечного Города. В то время как другие всего охотнее пишут историю своего времени, то есть просто пересказывают,— часто плохим латинским языком,— что видели своими глазами, я посвятил свой труд на изучение нашей старины, колыбели, так сказать, Римской славы. Подумать только, что мы много знаем о побоищах с такими низменными неприятелями, как готы или сарматы, но никто не вник подробно в героическую осаду Вей; и тогда как эдикты нового времени у всех на памяти, мы почти забыли о мудрых установлениях царя Нумы Помпилия!

Придя в копону под вывеской «Слон», мы спросили вина, и Ремигий все время побуждал Фестина говорить, делая из него шута и глазами подавая мне знаки. Фестин же, ничего этого не замечая, с увлечением говорил о древних договорах, языка которых никто не понимает, о надписях на старых статуях, из слов которых нельзя заключить, кто изображен, мужчина или женщина, о праве понтификов, о исследованиях Кастора и Родопея, о злоключениях, какие испытывал он сам, пытаясь проникнуть в хранилище древних актов при Храме Священного Города, о радости, какую изведал, найдя один договор, предшествующий Пуническим войнам, в смысл которого, впрочем, ему проникнуть не удалось.

Мне этот бедняга был жалок, но Ремигий с жестокостью вызывал его все на новые рассказы и даже приглашал слушать других посетителей копоны, так что понемногу вокруг нас составился круг людей, потешавшихся над тем умилением, с каким Фестин говорил об установлениях Ромула и Тита Тация.

Когда кубки наши были уже пусты, Фестин обратился ко мне с такими словами:

— Твой друг мне говорил, что ты племянник светлейшего мужа, сенатора Бебия Тибуртина. Ах, юноша, это — человек, подобно мне, преданный нашей старине и презирающий пестроту и пустоту новых дней. Что, если бы ты уговорил своего дядю издать мои сочинения, которых набралось пока сорок восемь томов! Уверяю тебя, что книги эти весьма нужны для будущих поколений, ибо Римская наука все более и более погружается во тьму и мы, Римляне, с каждым десятилетием теряем познание,

чем мы были и откуда пришли. Скажи своему дяде, что я даже согласен, чтобы он выставил свое имя рядом с моим, и, таким образом, я дам ему вечную славу в грядущих веках,

> Дом Энея пока на скале Капитолия твердой
> Будет стоять.

Я отделался какими-то неопределенными обещаниями и сделал знак Ремигию, что хочу покинуть эту копону, так как мне тяжело было видеть унижение все же достойного человека. Мы попрощались с Фестином, и Ремигий, несмотря на мои уверения, что я еще буду иметь достаточно к тому случаев, повел меня осматривать форумы.

То была нелегкая прогулка, принимая во внимание, что и здесь Ремигий оказался знатоком всего и о каждом храме, о каждой арке, колонне, статуе мог говорить длинные речи, изъясняя их происхождение и выхваляя их красоты. Я должен был любоваться покрытыми бронзовыми украшениями колоннами Константина, хвалить Коринфские колонны храма Венеры Родительницы и картины, изображающие Александра на колеснице, в храме Марса Мстителя, удивляться на старинные статуи форума Августа, заглянуть на маленький проходной форум Нервы, откуда взглянули на нас громадные фигуры императоров, и обливаться пóтом на величественном форуме Траяна, где неподражаемая арка, базилика Ульпия, выложенная драгоценным мрамором, может быть, самое роскошное здание Рима, и, наконец, изумительная колонна, несравненная по высоте и изяществу, заключенная между таинственными библиотеками,— подали повод Ремигию к длинным панегирикам. Правду сказать, все это в тот первый день перемешалось в моей голове, образовав какой-то ком разноцветных, спутанных между собою ниток. Когда я совсем изнемог от ходьбы и осмотра, а Ремигию наскучило исполнять должность проводника, он воскликнул горациевское: «Теперь время пить!» — и повел меня снова в копону подкрепить наши упавшие силы.

После обильных возлияний в честь бога Либера мы закончили тот день в одном из тех веселых домов, которые так восхвалял мой друг и где я мог насладиться любовью в объятиях толстой поселянки из Тибура, кажется, давно не бывшей в банях и пахнувшей луком, но на дверях своей спальни поставившей громкое имя: Цитерея.

VI

Через несколько дней я вполне освоился с условиями моей новой жизни.

В доме дяди один день походил на другой, как два кирпича с одного завода. Тетка целые дни бранила рабов; Аттузия целые дни молилась или посещала святыни; дядя, так как собрания в Курии не начинались, большую часть своего времени проводил за кубком вина, а иногда делал вид, что читает в библиотеке, хотя просто дремал за редким свитком Кремуция Корда. Каждый день являлся в дом отец Никодим, передавал новости городской молвы и порой произносил похвальные речи императору, который, соревнуя Иисусу Навину, стремится сокрушить выю идолопоклонников. Единственным утешением были мне краткие встречи наедине с Намией, утром, пока все спали, или вечером, в каком-нибудь темном уголке, когда мы усердно обнимались и целовались, что девочке, как кажется, доставляло великое удовольствие.

Привык я также к Городу, осмотрел его памятники, скопленные тысячелетием, узнал все семь холмов и даже полюбил своеобразную красоту его одноцветных старых домов, почтенных своей старостью, и стал находить особую прелесть в немолчном шуме и непрерывном движении его улиц. Я уже представил магистру ценза удостоверение, данное мне из родного города, о том, кто я такой и зачем прибыл в Рим, и после того, получив надлежащее разрешение, усердно выбирал среди Римских реторов того, школа которого могла бы быть мне наиболее полезной. В моих поисках вызвался мне помогать Ремигий, однако чаще он уводил меня в одну из копон и, познакомив с своими товарищами, юношами, привыкшими искать в жизни только веселия, пытался и меня привлечь к такому же времяпровождению. Но постоянные скитания из одной винной лавки в другую, от плясуний к флейтисткам, от девушек одного веселого дома к таким же девушкам другого, или бесцельное бродяжничество по полю Агриппы, скоро мне наскучили, как и все безобразные проказы, которыми часто сопровождались наши ночные похождения, тем более что и Ремигий, и другие его приятели, пользуясь тем, что отец дал мне достаточную сумму денег, любили забавляться не иначе как на мой счет.

Я уже думал о том, чтобы прекратить такую беспутную жизнь, за которую мне сурово выговаривала тетка, по-

стоянно заявлявшая, что смотрит на меня как на сына, когда вдруг одно событие направило меня на новый путь.

Как-то после полудня, возвращаясь в дом дяди, увидел я у наших дверей особое оживление, на нашей уличке необычное. Здесь стояли роскошные, украшенные золотом носилки и толпилось множество чужих рабов. Едва вошел я в остий, как меня остановила Намия, вероятно, поджидавшая меня, и сказала мне шепотом:

— Слушай, братик (так она меня называла), сегодня у нас обедает моя сестра Гесперия со своим новым мужем. Она — противная, я ее не люблю. У нее уже третий муж и было множество любовников. Все в нее влюбляются, но ты не смей. А то я тебя возненавижу. Я не могу терпеть любовников моей сестры.

Я уже слышал о Гесперии, дочери моей тетки от первого мужа,— дядя был ее вторым мужем,— и знал, что эта Гесперия славилась на весь Рим своей роскошью и своим беспутством, причем молва называла в числе ее возлюбленных не только мимов и наездников из цирка, но даже рабов. Поэтому я ответил:

— Будь уверена, милая девочка, что я не влюблюсь в твою сестру: в нее слишком многие были влюблены, и она была влюблена слишком во многих.

Говоря так, я хотел обнять маленькую Намию, но она вырвалась от меня и, надув губы, смотря злыми глазами, повторила: «Не смей»,— и скрылась.

Переменив одежду на более подходящую к торжественному случаю, я прошел в oecus, где на этот раз был приготовлен обед, причем стены были убраны венками, рабы и рабыни одеты по-праздничному, а на стол подана лучшая серебряная посуда, какая была в доме. Войдя в залу, я начал извиняться за свое опоздание, но вдруг слова остановились у меня в горле, потому что я увидел то, чего не ожидал вовсе.

Вся наша семья уже возлежала за столом, и между дядей и Аттузией помещалась женщина, описать которую все равно нельзя и изобразить которую вряд ли сумел бы Зевксис или кто другой из древних. Возраст ее определить было невозможно, так как лицо ее сияло неувядаемой красотой богинь. Кожа ее шеи была столь розовой и прозрачной, что невероятной казалась ее принадлежность земному существу. А роскошный наряд этой женщины, стола из чистого шелка, золото и смарагды украшений, кораллы ожерелья, алмазы серег и перлы на туфлях

придавали ей облик царственный. Может быть, только стихи Вергилия о божественной матери Энея могут передать то впечатление, которое она производила:

какой ей явиться
И сколь прекрасной обычно богам.

— Это племянник Авла,— сказала между тем тетка,— Деций Юний Норбан, сын Юния из Лакторы, которого ты, Гесперия, знаешь. Он приехал в Рим, чтобы учиться, и живет в нашем доме.

В полном смущении занял я место за столом и долгое время не мог даже понимать, о чем говорят вокруг меня: так были мои взоры, и через них все внимание, поглощены чудесным видением. То взгляды мои останавливались на волосах Гесперии, заплетенных в тугие косы, которые кругами окружали голову ее, то — на ее тонких пальцах, украшенных кольцами с драгоценными алмазами и опалами, то вновь подымались к самому прекрасному, что в ней было,— к ее лицу. Только позже приметил я нашего другого гостя, мужа Гесперии, Тита Элиана Меция, возлежавшего против меня. Это был человек с лицом угловатым, с косыми глазами, который не понравился мне сразу. Одет он был также весьма богато, и по кайме его аболлы было вышито золотом изображение борьбы кентавров с лапифами.

Именно Элиан вел всю беседу, и все слушали его с явной почтительностью.

Дядя упрекнул его, что тот давно не был у него в доме.

— Ах, дорогой тесть,— возразил тот,— ты живешь уединенно и не представляешь, что такое жизнь в обществе. Сегодня надо присутствовать на подписании брачного условия, завтра праздник у одного сенатора по тому поводу, что его сын надевает мужскую тогу, там приглашен я подписывать завещание, там на обед, от которого нельзя отказаться; недавно пришлось мне три дня провести взаперти дома, в знак скорби, по случаю смерти всем нам любезного Марка Акона Катуллина. Потом не забывай, что я состою в коллегии луперков, а это тоже отнимает много времени.

Гесперия, слушая слова мужа, засмеялась и голосом, который мне показался божественным, сказала:

— Это мы уже читали у Плиния: каждое дневное дело кажется необычайно важным, а когда потом посмотришь назад на прожитый год, говоришь себе: сколько времени потратил я на пустяки!

Все засмеялись, и Элиан первым. Дядя не упустил случая заметить:

— В старину Римляне жили не так. Каждый вставал до зари и шел в поле работать наравне со своими рабами, а жажду утоляли водой из ручья.

— Да, это хорошо было,— заметила Гесперия,— когда Рим был квадратный. А теперь, пока, например, от твоего дома дойдешь до первого поля, так устанешь, что и работать не будешь в силах. Да и ручьев под Римом не осталось: поневоле мы все пьем вино.

— Нет,— возразил Элиан,— я понимаю, что говорит Тибуртин. Поистине, хорошо бы бросить всю эту суету Города, где мы только и дела делаем, что злословим друг на друга. Как было бы приятно жить в маленькой вилле, подобно Горацию, наслаждаться тишиной сельской жизни, воздухом свежим, зеленью полей и подолгу гулять по тенистому лесу. Не думать о том, что кто-то на тебя обиделся за то, что ты забыл его поздравить с новым назначением или неполно произнес его титул, и не мучиться злобой на другого за то, что он не позвал тебя на обед, где ты все равно скучал бы. Ах, деревня часто представляется мне блаженным Элисием.

Вскоре после разговор перешел на готовящиеся большие игры в Амфитеатре, и Элиан, как истинный знаток, стал выхвалять необыкновенных испанских лошадей, которых уже везут в Рим на особом корабле, злых иберийских медведей, лосей, львов, леопардов и крокодилов, приготовленных для травли, шотландских собак, силы и лютости непомерной, и особенно страусов, которых уже давно не видали в Городе. Дядя охотно поддерживал эту беседу, вникая во все подробности, расспрашивая о ловкости разных наездников и, конечно, скорбя о том, что и игры в Амфитеатрах выродились, и все реже даются гладиаторские бои, приучающие зрителей-Римлян презирать смерть.

Тем временем мальчики наполняли опорожненные кубки и подавали кушанья, которые для торжественного случая были сравнительно изысканны и разнообразны, так как была тут тонна, фазан, кабаний бок и другие такие же блюда, считающиеся тонкими в семьях не очень богатых. Разумеется, всем этим нельзя было изумить наших гостей, роскошь пиров в доме которых была известна всему Городу; мне уже говорили, что они подавали иногда среди пятидесяти разных перемен такие снеди, о которых ни

один из гостей не мог догадаться, из чего они приготовлены. Нечего уже и говорить о том, что наш семейный обед не сопровождался ни музыкой, ни пением, ни плясками танцовщиц.

Когда подали нам плоды и, по древнему обычаю, яблоки, означавшие конец обеда, Элиан объявил, что у него есть важное дело к дяде, и они удалились вдвоем в таблин. Нам же рабы принесли в перистилий плетеные кресла, в которые женщины и сели отдохнуть. Я также последовал за женщинами, так как мне хотелось насколько можно дольше оставаться в обществе нашей гостьи.

Аттузия, которая, по-видимому, Гесперию ненавидела не меньше, чем Намия, поспешила навести разговор на начавшиеся повсюду преследования сторонников веры отцов, восхваляя без меры усердие императора Грациана, захватившего в свою казну земли храмов и лишившего коллегии жрецов и самих весталок их обычного содержания от государства. Это должно было живо затронуть Гесперию, ибо — как я знал — она и ее муж были ревностными противниками христианства, но она долгое время отвечала на все нападки уклончиво. Наконец она сказала:

— Не хочу дурно говорить о божественном императоре, но, конечно, он введен в заблуждение лживыми советчиками. Его новые эдикты равняются просто грабежу, так как он отнимает у храмов то, что им принадлежало целые столетия. Закон признает право на вещь того, кто владел ею некоторое время: почему же боги лишены этого права?

— Боги! — повторила Аттузия в негодовании и с пылкостью начала длинную обличительную речь о призрачности ложных богов, подобную одной из тех проповедей, что можно слышать в христианских храмах. Гесперия слушала со скучающим лицом, так как ей, вероятно, не раз приходилось выслушивать такие поучения от своей сестры. В конце речи, указывая на меня, Аттузия сказала гневно:

— Кстати можешь порадоваться, Гесперия! Вот тебе союзник. У них в дикой Аквитании тоже еще молятся идолам. Но скоро всем поклонникам Юпитера придется переселиться в какие-нибудь дикие края, потому что в просвещенных городах для этих старых суеверий места не останется!

Тетка постаралась успокоить спор двух сестер, но Гесперия, нисколько не обидевшаяся на резкое обличение,

подняла, после слов Аттузии, на меня свои глаза, показавшиеся мне пламенными звездами, и, впервые за весь день, заговорила со мной.

— Так ты, Юний,— сказала она,— держишь в этом доме сторону своего дяди? Неужели не склонили тебя ни убедительные уговоры сестры, ни мудрые поучения почтенного отца Никодима?

Я весь покраснел, и меня охватила дрожь при мысли, что я должен говорить с Гесперией, и только с трудом я мог пробормотать:

— Domina! Я не хочу изменять тому, чему меня учили отец и мать...

— Ты, значит, их огорчить не хочешь? — спросила с лукавством Гесперия.

— Нет,— возразил я, собравшись с духом,— я не верю, чтобы то, что создало Римскую мощь, чем республика и империя и тысячи ее граждан жили долгие века, что почитали Гомер и Аполлодор, Платон и Цицерон, Вергилий и Лукан, было предрассудком! Я еще молод и не решаюсь судить сам, но я доверяюсь великим мужам древности, и их умы служат мне путеводными звездами.

— Ты бы поменьше слушал своего дядю,— в сердцах сказала тетка,— он с своими убеждениями сумел только разорить нас! До добра не доводят бредни о старине!

Но Гесперия, продолжая пристально смотреть на меня, сказала протяжно:

— Вот ты какой! Ну, видно, нам, действительно, быть с тобой друзьями. Приходи ко мне: мы живем теперь в нашей вилле на Холме Садов.

Тем временем вернулись дядя и Элиан, продолжая говорить оживленно, и я расслышал, как они поминали всем известные имена Претекстата, Флавиана, Симмаха. Скоро наши гости собрались домой. Гесперия, надев роскошную паллу, села в свои носилки, и рабы с криком ринулись вперед расчищать ей дорогу в толпе.

Когда я вернулся в дом, меня опять поджидала Намия, которая на обеде, по своему возрасту, не участвовала. Опять смотря на меня злыми глазами, она спросила:

— Ну, что же? ты уже влюбился?

— Что ты! — возразил я лицемерно,— я с твоей сестрой едва сказал два слова.

— Нет! я все видела! ты влюбился! — совсем плача, говорила девочка.— В нее все влюбляются с первого

взгляда. Ну, слушай, мой братик, милый. Не люби ее. Хочешь, я тебя поцелую? Хочешь, я приду к тебе сегодня ночью в спальню, как делают женщины? Только откажись от противной Гесперии.

Как умел, я успокоил девочку, поклявшись ей Юпитером, что не влюблен в Гесперию. Но я лгал, ибо образ этой женщины неотступно стоял пред моим внутренним взором. Юное сердце было уже пробито стрелой сына Киприды.

VII

Признаюсь, что в ту ночь мои мечты были полны одной Гесперией. Я вспоминал каждое слово, сказанное ею, находя все прекрасными, восхищался каждым сделанным ею движением и мысленно сравнивал ее с Клеопатрою, пред которой преклонялись Помпей, Антоний, Цезарь, Август. Рассуждения, конечно, указывали мне, что во мне не могла она видеть ничего другого, как скромного юношу, скорее мальчика, получившего право говорить с ней лишь потому, что живет у ее родственников; что она, привыкшая к любовным признаниям префектов и консулов, поэтов и ораторов, красивейших из Римской молодежи и знаменитейших среди Римских акторов, должна была забыть обо мне, едва переступив порог нашего дома. Но чувству нельзя приказывать, и я, вопреки рассудку, мечтал до глубокой ночи, как мне завоевать ее любовь, составлял в голове безумные замыслы, похожие на запутанные истории, сочиняемые поэтами, и, когда уснул, видел в грезах, что целую ее губы, напоминающие раздавленные вишни, и что в ответ она сама меня ласково обнимает своими прекрасными и горячими руками.

Когда наутро я выходил из дома, привратник подал мне письмо, говоря, что его только что принесла какая-то девочка. Не знаю почему, но мне тотчас представилось; что это письмо от Гесперии, что мои ночные мечтания воплощаются, и, побледнев, с бьющимся сердцем я сломал печать. На дощечках неправильным женским почерком было написано:

«Децима Юния просят сегодня, с наступлением сумерек, прийти на Аппиеву дорогу и идти по правой стороне до моста через Альмон. Он узнает нечто; для него крайне важное, и выполнит то, что предназначено Судьбой. Это письмо должно быть сохранено в тайне».

Подписи не было никакой, но я ни минуты не сомневался, что письмо от Гесперии или писано по ее поручению. От избытка счастия я сделался словно пьяный и, шагая под портиками улиц, разговаривал сам с собой, как безумный. Остаток благоразумия говорил мне, как странен такой вызов со стороны женщины богатой, знатной и видной, обращенный после первой встречи к ничем не замечательному юноше. Но я напоминал себе рассказы о том, как причуды даже цариц заставляли их похищать незнакомых прохожих, которые им понравились, и повторял изречение моего любимого Вергилия:

Изменчива женщина и многолика.

В тот день я не в силах был ничего делать, но, побродив без цели и в одиночестве по Городу, я вернулся домой и с томлением ждал, когда же приблизится вечер, бессчетное число раз приходя посмотреть на клепсидру.

Еще солнце не совсем зашло за стены города и кровля Юпитера Капитолийского еще горела, как громадный золотой костер, когда я уже был на Аппиевой дороге. Обычное оживление царило на ней, и непрерывными вереницами стремились в обоих направлениях пешеходы, всадники, колесницы и повозки. С двух сторон, с великолепных древних гробниц, смотрели лики давно умерших мужей, суровые и строгие, и часто рядом с мужской головой высилась и женская, столь же величественная, и казалось, что времена свободной республики еще живы здесь. Торговцы всякого рода товарами, со своими корзинами и лотками, шныряли между прохожими, и выкрики разносчиков вмешивались в общий говор, в стук копыт, в скрипение осей.

Я медленно прошел до того места, где Аппиева дорога пересекает маленький ручей, и стал ждать. Я знал, что пришел слишком рано, и приготовился к терпению, но сладостное волнение потрясало меня. Толпы народа проходили и проезжали мимо, а я стоял, прислонившись спиной к мраморному подножию гробницы. Солнце совсем закатилось, все кругом стало покрываться тенью и предметы терять определенные очертания: повеяла вечерняя сырость; я как бы изнемогал.

Тогда женский голос произнес около меня:

— Ты хорошо сделал, Децим Юний, что пришел.

Затрепетав, я обернулся. Рядом стояла женщина, так закутанная в плащ, что лица ее рассмотреть было нельзя.

Но я без промедления одного мига узнал, что это не та, о которой я мечтал. Женщина сказала кратко:

— Следуй за мной.

Она быстро устремилась вперед, и я покорно шел следом, мучимый догадками и разочарованием. Мы долго подвигались молча, пока женщина не сошла с дороги около какой-то высокой гробницы и, найдя место, закрытое стоявшим подле кипарисом, села сама на каменную ступень и указала мне сесть. Я вновь повиновался.

Тогда женщина открыла лицо. В слабом свете сумерек оно мне сначала показалось незнакомым, но тотчас я вспомнил, что однажды видел его. То была Реа.

Должно быть, глаза мои выражали недоумение и разочарование, потому что, не дожидаясь вопроса, Реа заговорила:

— Я тебе сказала, что мы еще увидимся. Наша встреча не была случайной. Я поняла, что это судьба привела ко мне тебя, хотя бы против твоей воли. Пути господни неисповедимы, и часто пользуется он злом, чтобы из него сотворить благо. Вспомни Иону, которого должен был проглотить кит, чтобы была спасена Ниневия. Ты думал, что твой приятель завлек тебя в уличную ссору, а это сам бог направлял твои шаги ко мне.

Реа говорила это голосом глухим и торжественным, словно Дельфийская дева, и так неожиданны были ее слова, что я не находил никакого ответа. Наконец, совсем некстати я спросил:

— А где же твоя сестра, Лета?

— Она мне вовсе не сестра,— сурово сказала Реа,— оставь ее. Нам надо говорить о более важном. Прежде всего ты должен узнать, что и в Рим ты прибыл не без тайного указания бога. Ты почитаешь себя малым и незначительным, но ты предназначен для великого.

Так как неясное волнение стало овладевать мной с самых первых слов, произнесенных Реей, то я постарался от него освободиться и сказал резко:

— Откуда тебе знать, чем я почитаю себя и что мне предназначила судьба? Кто ты? пророчица?

Мне был такой ответ:

— Часто господь скрывает от сильных и мудрых и открывает свои тайны малым и неразумным. Дух веет, где хочет, и огненные языки пророчества избирают сами чело, чтобы опочить на нем. Кто мы, чтобы противостоять его святой воле? Горшечник не властен ли над глиной, и

может ли раб сказать господину: не пойду, куда ты посылаешь! Ты, из рода Юниев, юноша, которому восемнадцать лет, в правление императора Грациана, призван уготовать пути тому, кто грядет.

Тишина часа и уединенность места, сумрак, обволакивавший нас, странные слова женщины, говорившей со мной, и даже постепенно стихавший ропот Аппиевой дороги,— все производило на меня впечатление чего-то таинственного и страшного. Или, может быть, в самом голосе Реи было особое влияние, подчинявшее себе волю, только я чувствовал, что теряю власть над собой, и казалось мне, что душа моя захвачена в незримую сеть, словно рыба рыбарем. Все же у меня мелькнула мысль, что со мной говорит помешанная, и я произнес неуверенно:

— Мне твои речи непонятны. Оставь меня. Я ухожу.

Но повелительно Реа сказала мне:

— Юноша, останься и слушай. Пойми дни, в которые ты живешь. Исполнились сроки и приблизилось время. Gratianus imperator! Тот, которого именуют покровителем церкви. Сочти число букв имени его. Не восемнадцать ли оно? трижды шесть — число зверя. Открой очи ума своего и смотри. Не за восемнадцать ли дней до календ встретились мы с тобой? Не восемнадцать ли тебе лет, юноша? Не из рода ли ты Юниев? Признай же, что о тебе гласит давнее пророчество: «Magnus et potens erit, sed iunioris robure accrescet?»

Слабо, но я пытался возражать.

— Помилуй! — сказал я.— Разве мало Юниев помимо меня: их тысячи. И многим из них, как мне, восемнадцать лет. И пройдет немного времени, и я уже буду старше. Что же станется с твоими пророчествами?

— Не богохульствуй! — воскликнула Реа все так же повелительно.— Сейчас не время говорить все. Ты еще многое узнаешь. Ты узнаешь великое и страшное. Мне было видение. Я видела твой лик раньше, чем ты повстречался мне. Я узнала тебя, потому что ты был мне указан. И не возражай, что осталось мало сроку. Говорю тебе: прежде чем истекут названные тобой месяцы, *Он* явится.

— Кто?— вопросил я, почему-то охваченный страхом.

Реа шепотом, как сибилла, сказала мне:

— Тот, кого люди предыменуют Антихристом.

— Ты не в своем уме, девушка,— сказал я, собирая все силы своей воли.— Божественного Августа, благочес-

тивейшего императора Грациана, покровителя церкви, ты называешь Антихристом!

— Ошибаешься, юноша! — все так же тихо, но торжественно возразила Реа.— Истинная церковь Христова не та, которая взяла меч Цезарей. Поднявший меч от меча и погибнет. Но и Грациан — не грядущий. *Он* еще не открылся. Но уже при дверях стоит Он. Жених грядет и скоро ударит в ворота. Горе, кого он застанет спящим.

Рассказывают физики, что иные змеи околдовывают свою добычу взглядом. В тот час я похож был на такого зверя, так как члены мои были словно связаны магическими чарами. Опять собрав все силы, я встал со ступени и сказал решительно:

— Выслушай меня, Реа. Мне нет дела до твоих бредней. Я не христианин. Я верен религии моих предков. Но, если бы и был я последователь Христа, как пошел бы я за тем, кто меня зовет служить Антихристу?

Реа, стремительно встав, загородила мне дорогу. В темноте, облеченная в свои белые одежды, она похожа была на призрак, вызванный некромантом из могилы. Опустив мне свои руки на плечи, наклонив близко лицо, которое теперь показалось мне красивым, она стала говорить страшным голосом, напоминавшим шип змеи:

— Савл гнал христиан и стал великим апостолом Христа. Се ныне ты на своем пути в Дамаск. Но не может Добро прийти в мир иначе, как через Зло. Не было бы заслуг человека перед Богом, если бы Змий не соблазнил Еву. Не родились бы патриархи, пророки, цари и святые, если бы в мир Каин не ввел смерть. И не совершалась бы жертва Искупления, если бы Иуда не предал на пропятие Учителя. Блаженны все, исполнившие волю Создателя. Я — Реа, виновная, приемлю на себя грех пророчествовать об Антихристе. Ты — Децим, десятый, и будешь убит, когда десятого постигнет казнь небесная.

Воля и силы меня окончательно оставили. Изнеможенный, сам не понимая, что со мной происходит, я прислонился вновь к гробнице. А Реа, вдруг достав из-под одежды какой-то сверток, подала его мне с грозным приказанием.

— Теперь *ты* должен это хранить. Возьми его и сбереги до часа, когда от тебя его потребуют.

Она скрылась между гробниц так быстро, словно бы унеслась прочь на драконах Медеи. Когда же я остался

один в сумраке ночи, сознание вернулось ко мне. Восходившая луна бросала свои первые красноватые лучи.

Я развернул бывший у меня в руках сверток.

Пурпуровый колобий, императорская одежда, выпал из него.

Тут дикий страх, какого никогда еще до той поры я не испытывал, охватил меня. Я хотел тотчас бросить опасный дар и скрыться поспешно. Но я расслышал шаги каких-то запоздалых путников. Боясь, что они увидят брошенную мною вещь и тотчас же повлекут меня к ответу, я трепетными руками вновь скрутил сверток и бросился бежать.

Я опомнился только в своей комнате, в доме дяди. Озираясь, не подглядывает ли кто, я запрятал пурпуровый колобий на самое дно моего дорожного ларя. Мои зубы стучали. Я был словно болен лихорадкой. В постели я спрятал голову в подушки. Но передо мной, вытесняя все другие мечты, все стоял облик исступленной девушки, безумной или пророчицы, указавшей мне таинственную судьбу.

VIII

Целый день после встречи с Реей я провел в постоянной тревоге, и ни на минуту мысль о пурпуровом колобии меня не покидала. Утром у меня было намерение осторожно унести опасный дар и где-нибудь, вне Города, тайно его бросить. Потом мне стало казаться, что такой поступок был бы нечестным по отношению к девушке, доверившей мне вещь драгоценную, так как нелегко побудить какую-либо мастерскую в империи выткать императорское одеяние. Я говорил себе и то, что мне опасаться нечего, так как вряд ли императорские соглядатаи посмеют проникнуть в дом сенатора. После немалых колебаний я остановился на том, что постараюсь разыскать эту Рею и тогда верну ей сверток, а до того времени оставлю его на дне моего ларя, где никому не придет в голову его искать. Может быть, это последнее решение я принял не без тайного влияния странной девушки, которая, и отсутствуя, продолжала подчинять мою волю своим хотениям.

Как только моя душа успокоилась, подобно морю после бури, тотчас из волн, как пеннорожденная богиня, встал образ прекрасной Гесперии. При одной мысли, что я могу вновь увидеть ее божественный лик, вновь услышать ее царственный, но ласкающий голос, мое сердце сжималось,

словно в нежных тисках. С таким искушением бороться у меня не было сил, и, наконец, я себе сказал, что пойду завтра к ней, так как она сама звала меня ее посетить, хотя, может быть, только из любезности.

Мне стоило большого труда на другой день дождаться часа, приличествующего посещению, и даже, подойдя уже к дому Элиана Меция, на Холме Садов, я долго не осмеливался постучаться дверным молотком в ворота, думая, что еще слишком рано. Этот дом находился на самой высоте Холма, уже неподалеку от Пинцеанских ворот, и уединенно стоял, за высокой каменной оградой, в обширном саду. Из темной зелени кипарисов, смуглой — лавров и нежной — платанов мне были видны его благородные старинные формы, и долго я им любовался, находя какое-то сходство в стройности его линий с самой Гесперией. Наконец, преодолев свое волнение, я постучался.

Мне пришлось настойчиво повторять привратнику, что я родственник Гесперии и что она пригласила меня к себе, прежде чем он впустил меня в сад. И здесь только я начал убеждаться, что та роскошь Рима, о которой столько говорят сатирики, не выдумка, потому что сад, разбитый каким-нибудь знаменитым садоводом, уже был созданием истинного искусства. Я шел дорогой, усыпанной разноцветными камешками, среди деревьев, подстриженных в виде то дракона, то лодки, то птицы, и тут же были разбросаны кусты розмарина и барбариса; редкие осенние цветы были соединены в красивые сочетания, образуя хитрые узоры, и целыми рядами подымали свои пышные головы розы; там и здесь из зелени кустарника белел мрамор статуй, хотя и вечно безмолвных, но и вечно живых обитателей этого острова блаженных; в маленьких, выложенных мрамором водоемах дремали лебеди и при моем приближении повертывали шею и, открыв один глаз, провожали меня пристальным взглядом.

У дверей дома я должен был выдержать спор с другим привратником, и тот передал меня номенклатору, который меня повел по бесконечным залам, похожим на отдельные дома целого города. Стены то были выложены цветным мрамором, подобранным так, чтобы составлять как бы причудливые картины, то расписаны искусной рукой художника, изобразившего сцены из жизни богов, героев и людей, то украшены мозаикой из разноцветного стекла, то сверху донизу украшены перламутром. Драгоценные столы из малахита, резные скамьи и кресла, золоченые светиль-

ники, вавилонские ковры и вся пышность убранства — пропадали для взора случайного пришельца, привлекаемого удивительными статуями и картинами, в которых нетрудно было угадать создания древних великих художников. И особенную жизнь этим пустынным покоям придавали цветы и целые деревья, во множестве расставленные везде в особых дорогих сосудах.

Проведя меня едва ли не через весь дом, номенклатор возгласил мое имя около маленькой комнатки, и я, отдернув тяжелый занавес, с бьющимся сердцем, переступил ее порог.

Комната, в которой я оказался, освещалась окном со стеклами, что обычно у нас в Галлии, но считается роскошью в Риме. Я думаю, что убранство этой комнаты было единственное в Городе, так как вся она была уставлена вещами, привезенными из далекой страны синов и серов. Здесь были чудовищные драконы из слоновой кости, металла и дерева, выделанные с варварским, но изумительным искусством, образы чужих богов, безобразные и устрашающие, изображения невероятных зданий с остроконечными крышами, фигуры отвратительных бородатых мужей и неведомых разъяренных животных, какие-то колокольчики, шары, странные музыкальные инструменты и много других созданий таинственного народа, живущего за пределами За-Имайской Скифии и За-Гангийской Индии. Но в ту минуту я не мог рассматривать всех этих диковинок, ибо мои глаза тотчас устремились на то божественное видение, которое поразило меня в доме дяди и здесь вновь предстало в том же величии и той же прелести.

Под пастью громадного усатого дракона с хвостом Сциллы, на мягком ложе, устланном тигровой шкурой, в легкой шерстяной цикле, возлежала Гесперия, и ее лицо в полусвете комнаты казалось лицом Цирцеи, царящей среди своих, обращенных в чудовищ, поклонников. Рядом с ней, на кресле, сидел юноша моих лет или немного старше, с характерными сирийскими чертами лица, тонкий, изнеженный, бледный, одетый изысканно, но в одежду тоже восточного покроя, вроде гальбана, из ткани желтого цвета. Мне показалось, что мое появление заставило Гесперию и ее гостя отодвинуться друг от друга, но тотчас Гесперия произнесла приветливо:

— Ах, это ты, милый Юний. Ты хорошо сделал, что ко мне пришел: я тебя эти дни ждала. Это,— добавила она,

знакомя меня с своим посетителем,— Юлианий Азиатик, мой лучший друг, а это — Юний Норбан, племянник Тибуртина.

Я сел неподалеку от ложа Гесперии, и вновь мною овладело то юношеское смущение, какое ее присутствие мне внушало. В первые минуты я не способен был промолвить ни одного слова, и Гесперия, желая меня ободрить, стала расспрашивать, что я делаю в Городе и начал ли свое учение. Узнав, что я еще не выбрал, к какому профессору пойти, она сказала:

— Тебе в этом поможет Юлианий. Он слушал чтения всех лучших реторов в Риме и даст тебе хороший совет.

— О, насчет этого колебаться нечего,— вставил Юлианий голосом очень мягким, не то вкрадчивым, не то покровительственным,— конечно, надо идти к Энделехию; это единственный ретор в Городе, который действительно знает древних. В наши дни обыкновенно знают только схолии к ним. Энделехий — достойный преемник великого Минервия. Пусть Юний придет ко мне, и я его представлю профессору, так как тот неохотно принимает незнакомых учеников.

Когда я поблагодарил юношу за усердие, Гесперия добавила еще:

— Вообще, милый Юний, ты многому можешь у Юлиания научиться. Смело с него бери пример, как одеваться и причесываться, как кланяться и вести речь. Он истинный судья изящества наших дней, только не при дворе Цезаря, а при моем.

— Это делает меня более счастливым,— сказал Юлианий с улыбкой, которая мне показалась противной.

Так как я не продолжал разговора, то Гесперия и Юлианий возвратились к той беседе, которую вели до моего прихода, и стали говорить о некоем Тамезии Олимпии Агенции, решившем на свой счет воздвигнуть новый храм Митре. Гесперия расспрашивала о подробностях этого дела, а Юлианий давал ей объяснения и в конце сказал:

— Это — благородный ответ на те гонения, какие воздвиг император на нас, хранящих религию отцов. Он думает, что довольно отнять у храмов земли и жрецов лишить содержания, чтобы прекратились тысячелетние служения богам и все мы пошли поклоняться иудейскому Христу. Но вот находится истинный Римлянин и говорит: «Империя не хочет строить храмов, я сам построю храм

божественному Митре, без содействия императорской казны! Я отдам на это все свое состояние, ибо кто может назвать себя богаче человека, делящегося своим имуществом с богами!» Найдется другой, который столь же охотно отдаст свои деньги на поддержку храмов, уже существующих. Третий — который будет выдавать жрецам содержание, более богатое, чем они получали раньше. Четвертый — который примет на себя устройство торжественных празднеств в честь богов. Римляне не станут жалеть денег, если дело идет о вере их отцов. Что значит несколько миллионов сестерций, когда надо воздать честь богам! Грациан думает, что он всесилен, но он забывает о народе Римском.

Тут Гесперия прервала Юлиания и так сказала мне:

— Милый Юний, я должна тебя предупредить, что в моем доме ты можешь услышать слова, которых никто не должен знать за его стенами. Если ты хочешь быть моим другом, ты должен поклясться мне в постоянной скромности.

Я вскочил порывисто, ища глазами какого-нибудь изображения божества, чтобы произнести требуемую клятву, но везде встречал лишь чудовищные образы варварских чудовищ. Юлианий, угадав мое намерение, снял с своего пальца перстень и передал его мне со словами:

— Вот перстень моего отца.

На широком золотом кольце была гемма из сердолика тонкой греческой работы, с изображением Гелиоса лучезарного. Держа в руках этот перстень и обернувшись к Востоку, я произнес:

— Солнцем божественным, видящим все, днем проходящим над землею, ночью нисходящим в царство мертвых, клянусь: этому дому принадлежит моя верность. Все, что мне прикажет его повелительница, я с покорностью исполню, и от всего, что она воспретит, остерегусь. И если я нарушу эту клятву, да буду я отвергнут всевидящим сыном Титана, да буду проклят и лишен дневного света!

Гесперия после моей клятвы засмеялась.

— Ты слишком легко увлекаешься, Юний,— сказала она,— твоя страстность может тебе повредить. Ты ни в чем не знаешь меры. Но я тебе верю. Пойдемте в сад,— добавила она,— я хочу подышать свежим воздухом.

Я возвратил перстень Юлианию, а тот поспешил к Гесперии, чтобы ей помочь встать с ложа. В ее движениях не

было той упругости, какую заметил я у нее при первой встрече: напротив, она двигалась с каким-то усилием, с той нежной истомой и с той медлительной слабостью, какие свойственны женщинам утомленным. И, видя, как она спокойно опирается, вставая, на плечо Юлиания и как тот без волнения принимает это прикосновение, не мог я не подумать, что такое сближение было для них обычным. И вдруг страшная мысль пришла мне в голову: что, если эта пленительная слабость Гесперии происходит оттого, что до моего прихода она и Юлианий предавались утехам ласк? Судя по тому, что я знал о Гесперии, мысль эта не таила в себе ничего невероятного, и я почувствовал себя уязвленным в сердце словно ядовитым жалом виперы.

Мы вышли в сад, где все было тихо и безмятежно, как если бы за стеной не бушевали мутные волны Великого Города; Гесперия шла, опираясь на руку Юлиания, а я, мучимый своими жестокими подозрениями, рядом с ними, и там, бродя по цветным тропинкам, мы продолжали разговор о богах и судьбе религии отцов. Юлианий осыпал дерзновенными упреками императора и его коварных советников, отвративших его от того пути, на который его направил его знаменитый учитель, мой соотечественник, славный Авсоний; я редко находил возможность вставить несколько своих слов, а Гесперия, отказавшись на этот раз от того оттенка шутки, которым обычно сопровождала свою речь, сказала нам обоим голосом немного печальным, но меня чаровавшим, как музыка:

— Мои юные друзья! Вижу, что вы преданы богам, и радуюсь этому, так как в наш век это тернистая дорога. Но не падайте духом, потому что на нашей стороне сама истина, явная для всех, кто открытыми глазами смотрит на мир. Даже здесь, в этом саду, разве не чувствуете вы присутствия тех богов, которым мы поклоняемся? Разве не чувствуете, что есть божественное в этих деревьях, что дрожат перед нами своей листвой, в этих живых водах, в этом синем небе, в нас самих и в каждом нашем шаге? что есть высшие существа, которые обо всем этом заботятся? Для нас, сохраняющих предания предков, весь мир жив, и мы не одиноки на земле, каждую минуту жизни соприкасаясь с бессмертными. Высшие, чем мы, но подобные нам, они видят наши горести и радости, они понимают их, и у нас есть надежда на их помощь. Как сладостно бывает невесте приносить свои детские игрушки

в дар богине Венере, изведавшей все радости любви; или воину молить могучего Марса, любящего сражения и кровопролития; или певцу призывать помощь Камен, поющих и пляшущих, с лироносным предводителем своего хора! Как просто и как понятно думать, что миром правят божества, сходные с нами, с божественным ихором в жилах, но увлекаемые теми же страстями, как мы. С их, враждебной нам, волей мы можем бороться; их дружеского содействия искать. Нам легко умирать, так как мы знаем, что в полях Елисейских мы обретем все то же, что оставили здесь. И задолго до христиан мы сказали, что истинная жизнь начинается лишь за вратами смерти.

Помолчав, Гесперия тихим голосом произнесла двустишие какой-то надгробной надписи:

Истинно лишь теперь ты живешь и счастливее время
Провождаешь теперь, чуждый условий земных...

Юлианий, видимо, стараясь говорить угодное Гесперии, добавил:

— Христиане только уверяют, что поклоняются единому богу. Они уже сотворили вместо одного трех богов. Подобием наших олимпийцев они сделали своих высших ангелов, причем один из них, как Марс, печется о войнах. На место низших божеств поставили ангелов, чтобы заполнить пустоту между божеством и человеком. А наше поклонение героям заменили поклонением мученикам и святым. Они во всем подражают нам, чтобы скрыть несообразности своего учения.

— Иначе,— продолжала Гесперия,— разве могли бы они соблазнить народ, знающий о богах? Мать, привыкшая просить Интерцидону, Пилумна и Деверру, чтобы они охранили новорожденного от гнева Сильвана, разве стала бы молиться какому-то одному далекому богу, ей непонятному, притом богу мужчин, а не женщин, не боясь погубить своего ребенка? Или разве отказался бы колон от призывания на свои поля милостей Цереры, если бы и ему не оставили близких покровителей, в каких-то святых, заботящихся об урожае. И больной, конечно, пошел бы в храм Эскулапа, если бы его не обманули, что он может получить исцеление на могиле прославленного мученика. Христиане любят говорить, что они мудры, как змии, и эту змеиную мудрость употребили они на то, чтобы незаметно обмануть людей простых и невежественных, не умеющих разобраться в их хитросплетениях.

— Мы разоблачим этот обман перед всеми! — воскликнул Юлианий, делая красивое движение левой рукой, словно актор на сцене.

Что касается меня, то я с изумлением слушал проникновенные речи Гесперии, и она представлялась мне не только воплощением красоты, но и воплощением мудрости. И я без конца был готов учиться этой мудрости, бродя за Гесперией среди благоухающих роз, мимо искусственных ручьев, под тенью широких платанов. Мне казалось, что я в саду Гесперид слушаю поучения мудрой дочери Атланта.

Однако Юлианий вдруг начал прощаться, и я, не решаясь остаться в доме без него, сделал то же. Но так как Гесперия приветливо сказала мне:

— Приходи опять, Юний, ты мне понравился,— то, выходя из ворот сада, я чувствовал себя почти вполне счастливым.

IX

Пока мы шли по Старой Саларийской улице, пересекая сады Лукулла, Юлианий с чисто городской любезностью стал меня расспрашивать, понравился ли мне Рим. При этом Юлианий сразу переменил и голос, и самый склад своей речи и, оставив в стороне вопросы важные, всего больше домогался узнать, понравились ли мне Римские копоны и лупанары, загородные диверсории и другие увеселения Города. Когда я не без смущения ответил, что я, хотя познакомиться с этими местами уже имел случай, нашел их ничем не лучше, чем у нас, в Аквитании, и не соответствующими славе Рима, Юлианий гордо возразил мне:

— Видно, с тобой не было человека, который показал бы тебе, что есть в Городе замечательного. Если ты хочешь, я охотно когда-нибудь поведу тебя в винарии, роскошью не уступающие дворцам, так как могу сказать, что знаю Рим, как свою ладонь.

До того дня я никогда не действовал хитростью, и все военные уловки, к которым так успешно прибегают соглядатаи, были мне чужды. Но в ту минуту у меня мелькнула мысль, что, может быть, мне удастся что-нибудь выведать у моего спутника, и, тотчас приняв решение, я ему сказал:

— Если ты, Юлианий, не пренебрегаешь моим обществом и есть у тебя еще час свободный, почему бы нам

теперь же не познакомиться с одной из этих роскошных таберн? Ты мне обещал столько значительных услуг, что нехорошо было бы, если бы я не предложил тебе выпить со мной по кубку хорошего вина.

Юлианий очень охотно согласился, и мы, изменив путь, направились к храму Флоры и оттуда по Верхне-Семитской улице к величественным термам Диоклециана, громада которых выступала из-за крыш домов, хотя они и стояли на низменном месте. Неподалеку от терм, в небольшом переулке, Юлианий подвел меня к невзрачному дому, в нижней части которого был вход в копону, не более пышную, чем посещавшиеся мною с Ремигием, с надписью над дверью: «Для всех есть вино». В первой комнате за грязными столами сидели и утешались дарами Либера люди в одних туниках или в грубых биррах. Но как только Юлиания заметил копон, он к нам бросился с низкими поклонами и провел нас в заднюю часть дома, где оказалась комната если и не роскошная, то все же убранная с притязаниями на пышность. Стены были расписаны, хотя и неискусно, дверь завешана ковром, середину занимал триклиний, причем стол был покрыт скатертью, а ложа плохими коврами. Когда мы там уселись, копон, продолжая перегибаться, спросил, чем он нам может услужить.

Я предложил Юлианию распорядиться.

— Послушай, негодяй,— сказал тот хозяину,— у тебя, я знаю, есть порядочное цекубское, в таких низеньких амфорах, с надписью, будто это вино времен Диоклециана. Ты, конечно, мошенник, и надпись эта подложная, но вино твое пить можно. Откупори же нам одну из этих амфор и пришли сюда его полный циат: только берегись сплутовать, я узнаю по вкусу, то ли это вино, и если нет, изобью тебя немилосердно. Да еще пришли двух флейтисток получше, хотя бы Делию и Гликерию.

Копон сделал вид, что опрометью бежит исполнять приказание, и скоро два красивых мальчика уставили на отдельном столе большой кратер с вином, подали нам неглубокие серебряные чаши и блюдо с фигами. Затем появились и две девушки, из числа тех, которых Римляне называют ambubaiae, в прозрачных восточных коах, позволявших видеть всю красоту их сложения. Обе они приветствовали Юлиания, как давнего знакомого.

Первое время я ни о чем не мог Юлиания расспрашивать, так как девушки пели и играли на своих причудли-

вых флейтах, вертелись около прислуживающие мальчики и ежеминутно забегал хозяин спросить, не нужно ли нам еще чего-нибудь. Юлианий, распахнув свою гальбану и разлегшись на ложе, то нескромно шутил с флейтистками, то мучил меня длинными рассказами о том, как хорошо он знает Рим.

— Я родился на Востоке,— говорил он,— но мне было два года, когда меня привезли в Город, и я считаю себя истинным Римлянином. Да и кровь во мне Римлянина, иначе я не мог бы стать тем, что я, так как провинциала всегда можно узнать, сколько бы он ни жил в Городе. Настоящее изящество дается только рождением, все остальное — подражание, которое может обмануть лишь невежду. Ты мне доверься, Юний, я научу тебя носить тогу, я тебя поведу в лучшую тонстрину, где тебе сделают прическу, какая сейчас принята. Я тебя введу в самое лучшее общество, потому что меня все знают в Риме и дверей закрытых для меня нет.

Слушая пустую болтовню Юлиания, я ему усердно подливал вина, а сам старался пить как можно меньше и, когда заметил, что он уже опьянел, сделал знак мальчикам и девушкам удалиться, подарив им по монете. Юлианий заметил исчезновение флейтисток, но тотчас успокоился, сказав мне:

— Это все равно. Я рад побыть с тобой вдвоем. Потому что ты мне по сердцу, милый Юний.

Я продолжал слушать самохвальство пьяневшего Юлиания, подстрекая его самой грубой лестью, и он уже без удержу стал говорить о том, что знаком со всеми сенаторами, что они все решают в Курии по его советам, хвалился громадными расходами, которые он делает, и богатствами своих поместий, находящихся где-то в Луканнии. Гораздо скорее, нежели я того ожидал, Юлианий опьянел совершенно и перешел к полной со мной откровенности.

— Так как ты наш, милый Юний,— говорил он,— то нечего от тебя скрывать, что мы готовимся к борьбе. Империя погибнет, если останется в руках христиан. В войске падает древняя доблесть; император думает о боге, а не о врагах. Но мы спасем империю. За нас все Римляне, которые только боятся высказать свою волю. Довольно кликнуть клич: «Кто за Юпитера Статора и за богов?» — и все страны от Британнии до пустынь Африканских встанут и пойдут за нами. Я за древний Рим, ныне униженный, и ты с нами. Поэтому ты мой друг.

— Кто же кликнет этот клич? — спросил я лицемерно.

— Мы! — ответил Юлианий.— Ты думаешь, мы ничего не делаем. Это у вас, в провинции, молчат и покоряются. Но мы, Римляне, мы готовим войну. У нас союзники везде — в Галлиях и в Испании, в Мавритании и в Азии. За нас боги. Энея вела к берегам Италии сама богиня Венера. Кто против нас? Сброд трусов, поучающих: «Не противься злому». Истинные Римляне во всех легионах за нас. У нас есть клятвы верности уже от пяти легионов. Нет, от десяти. Стоит нам подать знак, и Грациан исчезнет, как призрак от слов заклинателя.

— Что же, вы хотите восстановить свободную республику? — спросил я.

Юлианий наклонился ко мне и, схватив меня за руку, стал шептать.

— Слушай. Я тебе открою тайну. Я вовсе не Юлианий Азиатик. Я пока скрываюсь. Ты знаешь, кто я? Помнишь перстень моего отца с изображением Гелиоса? Я — сын божественного августа Юлиана. Я — законный император Юлиан Констанций Хлор.

Признаюсь, что при таком признании почувствовал я глубокое презрение к юноше, выдававшему свою тайну так легкомысленно, подчиняясь лишней чаше вина. Юлианий же с глупой улыбкой, которой старался придать торжественность, откинул голову назад и смотрел, какое впечатление произвели на меня его слова. Как умел, постарался я изобразить смущение и испуг и проговорил несколько подобострастных слов, но, как ни плохо я сыграл свою роль, для пьяного Юлиания этого оказалось достаточно, и он продолжал:

— Да, здесь перед тобой твой император. Когда великий Юлиан, которого христиане называют Отступником за то, что он восстановил древние верования, был в Антиохии, его узнала моя мать, жрица Аполлона, из Дафны. Император ей оставил этот перстень, но скоро погиб от стрелы изменника. Я последний из рода Констанция Хлора, и я верну себе, что у меня отнято. Вся земля моя, вся империя. Тогда я восстановлю, что пытались сокрушить Константин Отступник и его последователи. Я покажу им, что такое воля Римского августа. Ко львам христиан! Христиан ко львам!

Последние слова он закричал так громко, стуча кулаком по столу, что я испугался, как бы их кто-нибудь не

услышал, и поспешил, вновь наполнив чаши, провозгласить:

— Пью за твой успех, божественный август!

— Благодарю,— сказал благосклонно Юлианий.— Ты мне по сердцу, Юний. Когда я надену диадему, я построю себе золотой дворец на Палатине. Прекраснее золотого дома Нерона. Тебя, Юний, я сделаю префектом. Ты хочешь? Это скоро. Мы только ждем дня. И мы устроим игры в амфитеатре Флавиев. Ко львам христиан! Еще я тебе подарю виллу в Сицилии. Ты добрый малый. Может быть, хочешь быть верховным жрецом? «Пока в Капитолии ходит с безмолвною девой...» — сказал Гораций. Как это дальше?

Видя, что Юлианий скоро опьянеет совсем, я поспешил вырвать у него еще несколько признаний.

— Но где же вы готовитесь к великому дню? — спросил я.— Ведь надо все обдумать, заручиться помощью легионов...

— Где? — переспросил Юлианий.— Да у нее. У Гесперии. Разве ты не понял? Но ты дал клятву. Помнишь? Перстень моего отца. Он его подарил матери в Антиохии. Его убили изменники. Но я отомщу. Я всю Персию присоединю к империи. Как Александр Великий. Я на него похож лицом. Да, милый Юний, у Гесперии. С нами все. Симмах, Претекстат, Флавиан. Они меня признали. Я им всем дам префектуры. Мы собираемся по ночам. Надо постучать четыре раза, и когда спросят: «Кто?» — отвечать: «Иисус распятый». Хорошо придумано? а?

Он начал хохотать пьяным смехом и залпом выпил еще чашу, сказав:

— Хорошее вино. Но у меня там, в Луканнии, есть лучше. Знаешь, Юний, вина времен царей. Амфоры старые, как корабль Энея. И золотые дощечки с надписями на них. Я тебе покажу, если ты не веришь. Но вот что, надо позвать флейтисток. Знаешь, Делия в меня влюблена, бедняжка.

Я всячески постарался воспротивиться такому желанию и, чтобы вернуть мысли Юлиания на прежнюю дорогу, задал вопрос:

— Неужели и Гесперия участвует в вашем заговоре?

— Гесперия!— воскликнул Юлианий.— Она во главе всего. Это удивительная женщина. И какой красоты! Она

страстная, так что могла бы свести с ума Приапа. И божественная, как Диана. Но и у Дианы был Эндимион. Как это у Катулла:

О Латония, вышнего
Дочерь Иова великая...

При последних словах Юлиания, говорившего так непочтительно о Гесперии, ярость зажгла мою кровь, и я способен был разбить юноше голову серебряной чашей, но удержался и сказал только:

— Все же ты ошибаешься. Не может у Гесперии быть своего Эндимиона. Никого не может она признать достойным себя.

— Ты думаешь? — спросил Юлианий, улыбаясь лукаво и щуря глаза,— я бы мог тебе сказать... Но вот что, позови флейтисток... Делия умирает от любви ко мне... Ах, женщины все одни и те же. И знатные и простые. Я их знаю. Я ведь похож на Александра Великого.— (Он склонил голову к левому плечу).— Я прикажу сделать свою статую, из золота, во образе Гелиоса. Мой божественный отец...

Речь Юлиания становилась все более и более несвязной, и я, видя, что больше ничего от него не узнаю, пошел расплатиться с хозяином таберны, запросившим за свое вино такую цену, что за нее можно было купить целый culeus. Сторговавшись, наконец, я вернулся к Юлианию и застал его в самом несчастном состоянии, так что мне стоило много труда привести его одежду в порядок, а самого его вывести на улицу. Он настойчиво требовал, чтобы мы пошли еще в лупанар.

— У меня сейчас нет денег,— говорил он.— Но это ничего. Я проиграл громадный заклад на последних бегах. Но я тебя сделаю профектором Города. Пойдем со мной. Я покажу тебе таких женщин... Там есть одна мавританка... Я знаю Город, как свою ладонь... Это — от рождения...

Я, однако, добившись от Юлиания указания, где он живет, повел его домой, причем на улицах он продолжал говорить такие вещи, что мне становилось страшно, не подслушивают ли нас, заговаривал с прохожими, особенно с женщинами, и все старался спеть песенку во славу Приапа, только не мог вспомнить дальше первого стиха:

Вперед, квириты! что еще стесняться...

Доведя Юлиания до дома, где он жил, оказавшегося старым и грязным строением, неподалеку от Субурры, я втащил юношу на лестницу, помог ему отпереть его комнату, и он сейчас же, повалившись на свою постель, захрапел.

X

На другой день я посетил Юлиания, так как опасался, что, открыв мне свою тайну, он будет мне мстить и помешает посещать Гесперию. Юлианий меня встретил в своей убогой комнате, все убранство которой состояло из постели, стола и двух скамей, хмурый и смущенный.

— Милый Юний,— сказал он мне,— хорошо мы напились с тобой вчера. Крепкое вино у этого негодяя.

Потом, после молчания, он добавил, смотря в сторону:

— Не говорил ли я чего-нибудь лишнего? Когда я выпью, я иногда воображаю разные нелепости.

Придав своему лицу самое беззаботное выражение, я ответил:

— Плохо помню твои слова, Юлианий. Если вино так подействовало на тебя, человека привычного, подумай, что было со мной. Не знаю даже, где я провел полночи, потому что в дом дяди я вернулся только под утро.

— А что ты все-таки помнишь? — продолжал допытываться Юлианий.

— Ты, кажется, говорил,— сказал я со смехом,— что построишь себе дом прекраснее золотого дома Нерона. Но, судя по твоему жилью, это будет не скоро. А больше, клянусь Геркулесом, ничего не припомню.

— Я здесь живу временно,— возразил мне Юлианий.— Все мои вещи, и библиотека, и статуи — в моей вилле, в Лукании. Приезжай ко мне, и я угощу тебя вином много лучшим, чем то, что мы пили вчера.

Я притворился, что верю, а Юлианий тотчас обрел свою обычную беспечность и предложил проводить меня к тому ретору, о котором вчера сообщал, на что я согласился.

Достав зеркало, Юлианий стал готовиться к выходу, подправил свои завитые волосы, положил румяна не только на губы, но на щеки и кое-где на шею, подвел черным свои брови и полил на свою одежду благоуханий.

— Эти благовония мне недавно прислал в подарок пресид Вифиний,— сказал он при этом небрежно.

Мы вышли на улицу, и Юлианий предупредил меня:

— Пожалуйста, говори у Энделехия как можно меньше. Он не любит болтунов. Потому он и считал меня своим лучшим учеником, что я умею молчать. Он меня очень любит, и я его очень люблю, и если бы хотел стать ретором, непременно согласился бы на его просьбу стать в Риме его заместителем после его смерти. Но у меня иные намерения. Знаешь, как говорит Гораций:

Есть такие, кому пыль Олимпийскую
Любо в беге вздымать...

Я в жизни ищу другого,— не венков на беге колесниц и не славы ретора, но, может быть, не меньшего, чем то и другое.

Идя по крикливым и пыльным улицам Рима рядом с Юлианием и слушая его хвастливые намеки, я думал о том, что, может быть, каждую его щеку сотни раз целовала Гесперия, и втайне давал себе обещание при первом удобном случае унизить этого щеголя. Однако, продолжая чувствовать в себе неожиданно открывшуюся способность к притворству и лукавству, я выслушивал его речи почтительно и делал вид, что восхищен его изяществом и его положением в свете. Так прошли мы пол-Рима, до Авентина, и за Большим Цирком Юлианий остановился около небольшого дома старой стройки.

— Это здесь,— сказал он.— Как старик обрадуется, увидев меня. Давно я к нему не приходил: все не было времени.

Старый раб-привратник, однако, не узнал Юлиания, и ему долго пришлось вести с ним спор, словно с Хароном перед перевозом, пока тот согласился известить о нашем приходе хозяина, который в это время был занят с своими учениками.

Мы вошли в атрий, обставленный с простотой, приличествующей дому мудреца. Здесь стояли статуи великих философов, от Фалеса и Пифагора до Плотина и Порфирия. Стены не были покрыты никакими изображениями, и здесь же, в атрии, по древнему обычаю, был поставлен ларарий, перед которым еще курился фимиам лару и ненатам дома.

Через некоторое время к нам вышел Энделехий, человек уже немолодой, но без бороды, с бритыми щеками, одетый, по обыкновению философов, в большую аболлу; глаза его смотрели пронзительно из-под густых бровей. К моему удивлению,— впрочем, не очень большому,— он тоже не

узнал Юлиания, и тот должен был упорно напоминать, кто он, и пространно объяснять, зачем мы пришли. Выслушав Юлиания, Энделехий мне сказал:

— Итак, ты хочешь быть моим учеником. У меня так мало времени, что я неохотно принимаю в свою школу новых учеников. Я становлюсь стар для занятий и, подобно Вергилию, мечтаю посвятить остаток жизни одной философии. Поэтому я прежде всего хочу узнать, ищешь ли ты, действительно, знания или только желаешь научиться хорошо говорить, чтобы выступать на форумах. Истинная наука не имеет ничего общего с нуждами повседневной жизни. Истинная наука имеет одну цель — возвысить душу до созерцания божественного. Еще я у тебя спрошу, чувствуешь ли ты в себе рвение не останавливаться на полпути. Конечно, ты преодолел трудности первых наук и грамматики, и легко найдешь в Риме реторов, которые возьмут на себя расширить твои познания. Но я хочу, чтобы мои ученики со второй ступени переходили на высшую. Уча реторике, я готовлю к философии, и ты должен мне сказать, к этому ли ты стремишься.

— Да, не из всякого дерева следует вырезать Меркурия,— вставил здесь совсем неуместно Юлианий, сохранивший и в присутствии философа свою самоуверенность.

Что касается меня, то, по мере того как говорил Энделехий, мне казалось, что я как бы оживаю. Мне вспомнились те мечты, с какими я ехал в Рим, надеясь прильнуть к самому источнику мудрости, вспомнилось, как в родной Лакторе я усердно вникал в уроки моих грамматиков, Романа и Кратила, стараясь понять «Начала» Эвклида и вполне овладеть трудным для меня греческим языком, как надеялся я впоследствии носить такую же большую аболлу, какая была на Энделехии. Все, пережитое мною в Городе, все мои любовные страдания вдруг показались мне неважными и ничтожными, и с полной искренностью я ответил:

— Учитель! Как смею я себя назвать достойным, постучавшись в эту дверь. Никто не может быть вполне подготовлен, чтобы слушать твои речи. Скажу только, что учился я всегда с прилежанием и ревностью. Если довольно того, скажу тебе, что грамматики Лакторы, откуда я родом, признали меня в числе лучших учеников, и я передам тебе письма, в которых они говорят обо мне. Обещаю тебе, если ты примешь меня в свою школу, что при-

ложу все старания, чтобы заслужить и твое одобрение, и если в том не успею, то будет вина не моего прилежания, но моих дарований.

Моя скромная речь, кажется, понравилась ретору, и он мне сказал более приветливо:

— Если так, приходи ко мне завтра, и я укажу тебе, с какими учениками ты будешь меня слушать. Тебя зовут Юний Норбан,— (добавил он),— это — славное имя, и ты должен стараться быть его достойным. Я знаю также твоего дядю и очень чту его воззрения: будь в них на него похожим.

Я было заговорил о плате за учение, но ретор меня сурово прервал, сказав, что об этом я условлюсь с писцом. После того Энделехий удалился, так как его ждали. Все его поведение крайне было непохоже на то, что Ремигий мне рассказывал о Римских реторах, и я был этим весьма удивлен, Юлианий же воскликнул:

— Он остался все тот же! Забавный чудак и так рассеян, что едва меня узнал, хотя сам меня всегда называл надеждой своей школы. Впрочем, ты знаешь, что все философы — чудаки и рассеянны.

Мы прошли в особую комнату, где я передал писцу ретора бывшее со мной разрешение от магистра ценса на пребывание в Городе и объяснительные письма лакторских грамматиков. У того же писца узнал я, какую плату взимает Энделехий за преподавание, причем она оказалась много выше, чем я ожидал. Впрочем, будучи в восторге от философа, я об этом тогда не жалел.

Когда мы вновь вышли на улицу, Юлианий, по поводу какого-то промелькнувшего мимо негодяя, начал длинное объяснение о забытых способах носить тогу, о древнем габинском способе и о новом, чисто Римском, об умении располагать складки вдоль тела и на груди, о том, как нужно подготовлять тогу, прежде чем надеть ее, и о многом другом. Но мне Юлианий стал так несносен, что я предпочел дать ему взаймы золотой солид, который он у меня попросил, и поскорее с ним расстаться.

XI

После того дня я начал посещать школу Энделехия. Ученики у Энделехия собирались два раза в день: утром, от четвертого часа до полдня, он преподавал реторику, вечером — философию. Меня он допустил к себе

только на утренние уроки в число своих младших учеников, среди которых иные были много моложе меня, и когда я просил его позволить мне слушать и его чтения по философии, всегда отвечал своей любимой поговоркой, что на следующую ступень можно взойти, лишь миновав предыдущую.

Не понимаю, чем Энделехий мог пленить именно Юлиания, так как ретор он был странный. Я уверен, что в любой другой Римской школе лучше можно было изучить и декламацию, и поэтику, потому что обычно учителя дают прямые указания ученикам, заставляют их произносить речи, поправляют их голос и движения. Энделехий же всегда довольствовался только общими рассуждениями и, в то время как ученики торопливо записывали его слова в свои пугиллары, неутомимо, по обычаю перипатетиков, ходил взад и вперед по комнате, непрерывно говоря словно с самим собой.

Много было в этой старческой болтовне лишнего и ненужного, но немало встречалось и мыслей неожиданных, приводивших меня в восхищение. Энделехий толковал нам своего любимого поэта, Овидия, и каждый стих давал ему повод для длинных рассуждений, преимущественно о природе богов. Довольно ему было встретить в «Метаморфозах» выражение «Солнца дворец», чтобы заговорить о таинственном и первичном значении Гелиоса, о тожестве его с божеством Юпитера, о том, что Феб и Минерва — лишь его проявления, а Венера — служительница. Стихи о Хаосе, бывшем «раньше моря и земли», вызывали Энделехия на длинные рассуждения о богах сверхмировых и богах мировых, посредниках между первыми и человеком, и о последней тайне троичности,— тайне, которую христиане похитили у философии,— о разделении всего мыслимого на Бытие, Ум и Движение. Во всех древних мифах, под формой поэтической басни, открывал Энделехий глубокий смысл и показывал, какая мудрость и какие откровения заключены в рассказах о превращениях богов и героев. Мы узнавали, что несчастная Ио есть прообраз человеческой души, преждевременно сочетавшейся с божественным и получившей свое исцеление лишь через египетские мистерии; что отважный Фаэтон есть образ земной мысли, жаждущей досягнуть до небесных сфер силами чар и заклинаний и потому осужденный на падение; что Бакх, растерзанный и возвращенный к жизни, знаменует воскресение души после смерти, мысль, извечно

присущую религии отцов,— и много другого, столь же значительного.

— Боги,— говорил нам Энделехий,— суть основные и высшие воплощения всех явлений и всех действий. Все, что совершается и что может совершиться, должно иметь своего бога, как бы свой вечный образец, пребывающий всегда. Если бы не было богов, то ничего нельзя было бы мыслить, ибо все стало бы беспрерывно сменяющимся хаосом отдельных, ничем не связанных между собою явлений. Признание богов бессмертных необходимо человеческому уму, чтобы внести порядок и стройность во вселенную.

Думаю, что для большинства учеников Энделехия, несмотря на ту предусмотрительность, с какой он выбирал их, его поучения пропадали напрасно, так как нередко я замечал на уроках лица скучающие. Впрочем, никто из моих новых товарищей не пришелся мне по душе, и я ни с одним из них не сблизился, так что даже намеренно отлагал свое вступление в то маленькое общество, которое образовали они между собой под названием «Общества пловцов». Сам же я, вернувшись в дом дяди, всегда внимательно перечитывал все, записанное в школе со слов Энделехия на мягком воске, старался угадать недоговоренное им и тщательно переписывал его слова в особую книгу чернилами черными и красными.

Однако мое пристрастие к философии не излечило раны в сердце, нанесенной мне крылатым богом, и скоро ко мне вернулись неотступные мысли о Гесперии: я то томился от несбыточных желаний, то мучился бесправной ревностью. Два раза отваживался я вновь посетить Гесперию. Первый раз я ее застал дома вместе с ее мужем Элианом, и мне пришлось в полукруглой экседре долгий час вести скучный разговор о разных городских новостях, о каком-то письме к Симмаху, присланном из Азии, о делах в Сардинии, об искусстве медика Эвсебия. Второй раз мне ответили, что Гесперия в тот день не может никого видеть, и, расспросив раба, я узнал, что иногда овладевает ею, словно болезнь или наслание бога, неожиданная и неодолимая тоска, так что Гесперия по два и по три дня остается в своей комнате, отказываясь даже от пищи.

После того я не посмел снова идти к Гесперии, но желание быть близко от нее было во мне так сильно, что я сначала часто, а потом каждый день стал приходить к ее дому и целые часы проводить там на улице. Обычно я выбирал время вечера, когда в сумерках легче остаться не-

замеченным, помещался за выступом стены, окружавшей сад против дома Элиана, и глазами Тантала смотрел на те белые стены среди разноцветной зелени, за которыми была Гесперия. Небольшая улица, где я стоял, была почти всегда пустынной, но с соседней Старой Саларийской дороги до самой тьмы слышался шум шагов, стук копыт, грохот тележек, крики на разных языках. Изредка проходил мимо меня торговец с лотком, или заезжий фокусник с Востока, или с толпой рабов кто-либо из живущих поблизости. Понемногу все стихало, и я в сумрачной тишине вволю мог предаваться своим печальным мечтам.

В эти ночные вигилии я успел узнать всех, посещавших дом Элиана. Я наблюдал, как выходил из дома, то в сопровождении рабов, то один, сам его хозяин Тит Элиан Меций, всегда возбуждавший мое отвращение надменностью своей осанки и резкостью своего неприятного голоса. Раза два я видел, как прибывал к дому, тоже в толпе служителей, высокий и стройный человек, с движениями благородными и величественными, о котором позднее я узнал, что это — Квинт Аврелий Симмах. Но чаще других, без всякого противодействия со стороны привратника, входила в дом какая-то старуха, плохо одетая и страшная, с головой, всегда прикрытой иллирийским куккулем, и больше всего похожая на торговок разными снадобьями и ядами, так что нельзя было, на нее глядя, не вспомнить Локусты. Обыкновенно, дождавшись ночи, я возвращался в дом дяди по темным улицам Города, среди шатающихся гуляк и навязчивых меретрик, думая о засыпающей на своем пышном ложе Гесперии. Утром я стыдился своего ночного путешествия, и в школе Энделехия, слушая умные речи ретора, давал себе обещание, что сумею победить в себе слабость, недостойную мужчины, отрекусь от недоступной мне Гесперии, которая в конце концов только женщина, подобная многим, и найду свое утешение в философии; но едва лучи Феба погасали за домами, я, словно подчиняясь чарам страшной Гекаты или чьим-то тайным заклинаниям, снова, с безнадежной тоской, пробирался на Холм Садов.

Так продолжалось до того дня, когда, наконец, я стал свидетелем того именно, ради чего я, хотя, может быть, и не отдавая себе отчета, каждодневно совершал свое бесплодное странствие. В тот день, подчиняясь неизменному влечению, я еще до заката солнца пришел на полюбившееся место моих мечтаний и моей пытки и увидел, что

у ворот стоит запряженная парой коней карпента и толпятся рабы. Скоро появился Элиан, вместе с каким-то незнакомым юношей; они сели в карпенту и среди криков и шума быстро умчались, уезжая, по-видимому, из Города. После того не прошло и получаса, как на улице показалась фигура Юлиания, как всегда одетого щегольски, с пышной аликулой на плечах, развевавшейся, как крылья; мое сердце забилось, и я поспешил спрятаться за углом, а Юлианий уверенно стукнул молотком у ворот, дверь открылась, и он вошел. Это совпадение — отъезда мужа Гесперии и прихода Юлиания — заставило меня вспомнить все свои самые жестокие подозрения, свет заката показался менее ярким для моих глаз, я присел на маленькую каменную скамью, бывшую поблизости, потому что не в силах был держаться на ногах. Я, стиснув зубы, сказал себе, что буду ждать, когда Юлианий уйдет, хотя бы пришлось мне сторожить до нового пробуждения Авроры.

Потекли часы, которые были для меня столь же тягостны, как для раба, которого бичуют, заключив ему голову и руки в патибул. Я воображал, как Юлианий входит в комнату Гесперии, как она его встречает радостными словами и поцелуями, как они обмениваются словами любви и страсти. Я видел перед собою изнеженное и сладострастное лицо юноши, его обдуманные и дерзкие движения, думал о том, что его расчетливые ласки без негодования принимает та самая Гесперия, у которой мне хотелось бы благоговейно целовать края одежды. Как нарисованных искусной кистью художника видел я двух любовников в полутьме покоя, слабо освещенного одной лампадой, видел их сброшенные плащи, лежащие рядом, и словно слышал, как перемешиваются их два голоса: вкрадчивый голос Юлиания и певучий — Гесперии, произносящие одни и те же нежные слова. В те часы то несказанная горесть, то нестерпимая ярость, то холодное отчаяние попеременно владели мною. Иногда мне казалось, что я, как Ниоба, каменею, иногда я готов был, как неистовый Аянт, все ломать вокруг себя, иногда я придумывал жестокие способы мести, как Атрей, иногда припадал лицом к камню ограды и плакал, не стыдясь слез, так как их проливали и герои Улисс и Эней.

Взошла неполная луна; платаны и тополи стали похожи на таинственные деревья, обрызганные серебром; камни ограды побелели, и тени сделались более черными. Медленно старый убийца, Сатурн, влачил ночные часы; медленно

вращалось звездное небо вокруг недвижимого полюса и передвигалась Большая Медведица. Город смолк, и далекий лай собаки или звук шагов случайного прохожего казались чем-то резким и громким в тишине. Волнение мое стихло тоже, его сменило уныние, какое ведают лишь тени у берегов Леты, и я сказал себе:

«Какое право ты, Юний, имеешь гневаться или мстить? Не вольна ли Гесперия в своих поступках, и какое ей дело до того, что ты здесь, у ее ворот, плачешь? Она и не подозревает, что в мечтах ты связал свою жизнь с ее и, словно поэт, сплел хитрую басню, в которой все — только воображение? Что ты такое? мальчик без имени, без славы, провинциал, не умеющий ни красиво говорить, ни ловко себя держать в обществе. Тысячи и сотни таких, как ты, проходят по тем же улицам Города, встречают где-нибудь на перекрестке, у почернелого компита, в раззолоченных носилках Гесперию, удивляются ее красоте и, может быть, тоже, как ты, мечтают о ней. Неужели она должна думать обо всех и заботиться, чтобы их не мучила безжалостная ревность? Гесперию окружают бессчетные поклонники, и из всего Города она может выбрать того, кто ей нравится, и, конечно, этим избранником не будешь ты. Довольно ей сказать кому угодно, самому великому и самому славному: приди ко мне, и каждый сочтет себя счастливым ее призывом. Какое же безумие, что ты ее любишь, воображая себя Эндимионом, к которому снизойдет с небосвода сама богиня ночи; нет, ты можешь ожидать лишь бедственного конца Актеона».

Но, так говоря себе, стоя перед теми стенами, за которыми Гесперия обнимала моего счастливого соперника, я впервые понял, как глубоко проникло в мою душу жало любви, побеждающей и олимпийцев, и что напрасно я надеялся забыть ее среди возвышенных раздумий о сущности мира и природе богов. Я на своем опыте в те минуты чувствовал, как правы были поэты, говорившие, что любовь проникает в кости, как пламя, и неотступно вспоминался мне стих из какой-то поэмы, название которой я позабыл: «Не оставляет надежды любовь!» И тогда я, вспомнив свои детские мечты — стать поэтом, сложил несколько элегических дистихов:

К светлой Диане, плывущей среди чудовищ небесных,
Смертный, я посмел взор восхищенный поднять.
Как Актеон, подсмотревший купанье бессмертной богини,
За наслажденье очей вечную казнь я несу.

Буду, как бедный олень, скитаться в лесах Киферона,
Дол оглушая и высь жалобным стоном своим.
Но вовек не узнает о том царица Диана,—
С замка высоких небес скорби не видны людей.

Занятый сочинением этих стихов, я на время забыл наблюдать за воротами, но вдруг дверь стукнула. Сразу вся кровь отлила у меня от лица, я вскочил и явственно, в предутренней мгле, рассмотрел фигуру Юлиания, неспешно удалявшегося от дома. Он тихо напевал какую-то песню, и мне показалось, что его походка нетверда, как у человека пьяного или пресыщенного утехами любви. Снова неодолимая ярость овладела мною, и я готов был кинуться на него, как ночной грабитель, повалить на землю этого тщедушного сирийца, задушить и истоптать его. Но тотчас все мои рассуждения предстали мне так ясно, как если бы мне их прошептала сама богиня мудрости Минерва, и я понял, что нет у меня права ни мстить ему, ни наказывать его. Я остался у чужой ограды, как голодный нищий, которому сказали обычное: «Проси завтра, сегодня уходи»,— тогда как счастливый любовник Гесперии медленно скрылся за поворотом.

И я упал лицом, плача, на грязные камни мостовой.

XII

Никогда в жизни мне не было так тяжело, как после этой ночи. Вся моя будущая жизнь мне представлялась такой же безвкусной, как пресная вода, к которой не примешано ни капли вина, и я раздумывал, не лучше ли мне пойти на берег Тибра и вперед головой броситься в его мутные воды. «Пусть старый Тиберин,— говорил я себе,— примет еще одну жертву в число бессчетных гекатомб человеческих жизней, ежегодно обрекаемых ему Страданием, Горем и Нищетой».

На другой день я даже не пошел в школу к Энделехию,— так нестерпимо мне казалось не только думать и говорить, но просто видеть лица людей. Я остался в своей комнате, в полутьме, распростертый на ложе, предаваясь своим унылым размышлениям, и в таком положении застал меня Ремигий, которого я уже давно не видел, так как сам его в последние дни не посещал, а он избегал приходить в дом дяди, где его весьма недружелюбно встречала тетка.

Ремигий вбежал ко мне стремительно, веселый, как всегда, вовсе не заметил моей грусти и сразу, как из рога Фортуны, высыпал на меня множество слов:

— Милый Децим, что с тобой сталось? Ты стал прилежен, как попугай. Уж не хочешь ли ты стать новым Цицероном? Клянусь Бакхом, я считал тебя более веселого нрава. Не забывай Горациевского: «Увы, о Постум, Постум, спешащие уходят годы...» — или, как сказал современный поэт: «Дева, розы сбирай, пока новы, пока молода ты...» Будет еще у тебя время сердиться на весь мир и прятаться от людей!

— Милый Публий,— возразил я,— я отцу и матери обещал в Риме учиться. Довольно мы с тобой позабавились, пора и работать.

Не слушая меня, Ремигий сел подле меня на ложе и стал рассказывать о своих последних похождениях:

— Какое со мной вчера было приключение! Я нарочно пришел его тебе рассказать. Но ты, пожалуй, не поверишь. Слушай. Вчера я, Гней и Гай, мы втроем, выпили в копоне «Храброго воина» конгий хорошего вина. Случилось так, что у меня были деньги, и я их угощал. Жаль, что тебя с нами не было, но где же тебя искать! Потом пошли мы к проклятой ведьме, которую я зову Алекто, помнишь, в Субурре. Теперь угадай, кого я там встретил. Ставлю в заклад мой новый вышитый пояс, что не угадаешь. Приходим, а старуха говорит нам: «У нас есть новенькая красивая девушка, только за нее цена на десять сестерций дороже». Я отвечаю: «Покажи». Она нас ведет, и представь, кого я вижу? Лету! Помнишь Лету, которую мы встретили в Римском Порте!

Я начал слушать рассказ Ремигия с большой неохотой, только потому, что знал, как от него трудно отделаться, но, услышав его слова, забыл всю свою печаль, быстро сел на ложе и переспросил:

— Как Лету? ту самую Лету? Ты ошибся, Ремигий, этого не может быть. Лета, сестра Реи, в лупанаре? Ты просто был пьян.

— Что я был пьян, это верно,— возразил Ремигий,— и желаю тебе почаще мне в этом подражать. Но что теперь в доме проклятой Алекто живет Лета, это тоже верно. И как было мне ошибиться, когда я с ней провел всю ночь,— прекрасную ночь! Лета не изменилась нисколько, и встретила меня с такой гордостью, словно бы она была Алкмена, а я Юпитер.

Мой взгляд невольно перешел на ларь, в котором был спрятан пурпуровый колобий, и я сказал:

— Публий, ты должен меня сегодня же проводить к ней.

— Охотно,— ответил Ремигий,— туда вход всем открытый. Только, во имя Геркулеса, ты не должен пока ее у меня отбивать. После, когда пройдет время, я сам ее тебе уступлю.

— Клянусь богами,— сказал я,— ничего такого у меня в мыслях нет. Я просто хочу ее расспросить о сестре.

Услышав эти мои слова, Ремигий начал хохотать и забросал меня насмешками за мое пристрастие к женщинам старым. Он даже привел стихи Овидия:

Юноши, не пренебрегите и возрастом женщины зрелым:
Сейте и в эти поля, всходы дают и они!

Но мне в ту минуту было не до насмешек Ремигия, я постарался как можно скорее прекратить его болтовню и выпроводить его из дому, взяв с него обещание, что он придет ко мне вечером и поведет меня к Лете.

С большим нетерпением дожидался я вечера, и даже неотступная мысль о самоубийстве перестала меня мучить. Мне казалось, что, узнав от Леты, где живет Реа, и возвратив ей колобий, я исполню свою обязанность, раньше чего я не вправе располагать и своей жизнью. И как только вновь появился Ремигий, я без малейшего промедления заставил его вести себя.

Мы спустились по Субурранской улице и углубились в самую середину Субурры. В узких переулках, обставленных старыми, грязными домами, было темно и стояло тяжелое зловоние от никогда не пересыхавших луж под портиками и на средине мостовой. Таберны были полны народом; крик пьяных и брань игроков в кости не смолкали ни на минуту. Сквозь многие окна, плохо закрытые ставнями, были видны комнаты меретрик, с их постелями, а иногда и женщины, полуодетые или почти голые. У растворенных дверей иных домов также сторожили женщины, с ярко раскрашенными лицами и искусственными бровями, и, хватая нас за одежду, влекли к себе. Я вспомнил, что в первые дни моей жизни в Городе находил в этом оживлении что-то привлекательное, но в тот день все эти женщины были мне противны.

Дом старухи Алекто был одним из самых грязных и безобразных домов, со стенами, покрытыми плесенью, не раз подправленными, чтобы они не развалились. Жила

она со своими девушками на четвертом этаже, и подниматься к ней приходилось по узкой и шаткой темной лестнице, залитой помоями. Спотыкаясь, в темноте, мы с Ремигием добрались до двери, гостеприимно отпертой, и вошли в комнату, плохо освещенную старым, поломанным треножником.

Когда я был здесь в первый раз с Ремигием и другими товарищами, моей головой владели дары Либера, и я провел здесь время не без удовольствия. Теперь же мне показалась отвратительной эта закопченная комната, где на стенах были неумелой рукой нарисованы, на красном поле, Приапы и фавны, в возбуждении преследующие нимф, и сделаны надписи, со множеством ошибок грамматики, приглашающие гостей веселиться и наслаждаться. В комнате стояло несколько грубых столов, за одним из которых сидели пьяные корабельщики с Тибра, громко хохоча и переругиваясь. Тут же гуляли женщины, одетые только в туники из рыболовных сетей, так что можно было видеть все их тело, немолодое и дряблое, с дешевыми запястьями на руках и безобразными серьгами в ушах.

Едва мы вошли, эти женщины побежали к нам с радостными криками, стали громко смеяться, говорить непристойности и тащить нас к столу. Меня, разумеется, не узнали, но Ремигия, который был здесь вчера, встретили как старого приятеля, и все называли его своим братцем.

— Милый мальчик,— сказала ему одна из девушек,— видно, что тебе у нас понравилось. Только тебе придется подождать: твоя Галла занята сейчас.

— Ее здесь зовут Галла,— шепнул мне Ремигий.

Мы сели за стол, и нам принесли прокислого вина, а девушки окружили нас, осыпая самыми грубыми шутками и делая всякие неприличные движения. И я никак не мог преодолеть отвращения, когда иные из них пытались сесть ко мне на колени или щипали, щекотали и всячески теребили меня. Одна, которая была старее других и все хвасталась своим именем Рима, сказала, громко хохоча:

— Оставьте его, он хочет сделаться монахом, теперь это принято.

Все начали смеяться такому предположению, и я нашел, что самое лучшее для меня здесь — играть роль христианина.

Потом, когда через комнату к выходу прошел толстый купец, подозрительно оглядывавшийся по сторонам, словно опасаясь грабежа, нам сказали, что Галла нас ждет, и

проводили до двери, на которой мелом было написано ее имя.

Я все еще не верил, что действительно увижу сестру Реи, но, распахнув низенькую дощатую дверь, должен был увериться, что Ремигий рассказывал правду. В крохотном, еле освещенном лампадой кубикуле, совершенно обнаженная, лежала на деревянном ложе, покрытом циновкой, Лета. На скамье около валялись ее туника, строфий, обувь. В углу был притиснут стол, с зеркалом и несколькими банками притираний, и стояла глиняная амфора с водой. Больше в комнате ничего не было, если не считать маленького распятия, прикрепленного к стене. Я сразу узнал Лету, хотя ее лицо побледнело, и даже нашел, что она похорошела, или так мне показалось потому, что видно было ее тело, молодое и красивое.

— Я к тебе привел твоего старого знакомого,— воскликнул Ремигий, входя,— ты ему обрадуешься, как Лаодамия Протесилаю.

— Ты меня помнишь, Лета? — спросил я, садясь на ту же скамью, где лежала одежда девушки, так как другой скамьи в комнате не было.

Против моего желания голос мой прозвучал очень грустно, потому что мне тяжело было видеть в таком положении эту девушку, с которой у меня были соединены другие воспоминания. Но Лета отвечала мне беззаботно:

— Никакой Леты здесь нет. Она умерла, хотя, может быть, и воскреснет. Я — Галла, и Галла очень рада вновь увидеть племянника сенатора Тибуртина. Приходи почаще, если только у тебя сил достанет, а также денег.

Ремигий вышел, чтобы приказать принести и сюда вина, а я все-таки не мог не спросить:

— Неужели ты не нашла в Городе ничего лучшего?

— Мне здесь очень хорошо,— возразила Лета,— меня все любят, и я могу пить вино с вечера до утра. Ты думаешь, лучше мне было бы с утра до вечера шить туники для моряков и ждать, пока на мне женится какой-нибудь бедняк без асса за пазухой? Бог ведал, что делал, когда дал мне красоту.

Я замолчал, но, когда вернулся Ремигий с вином, опять спросил:

— Разве ты за этим ехала в Рим?

Лета вдруг рассердилась, села на своей постели и, скрестив руки, сказала мне гневно:

— Ты был глуп и глупым остался. Или ты меня мало

знаешь. Ты в самом деле думаешь, что я в этом доме проведу всю жизнь? Я и с тобой, и с твоим Ремигием только потому знаюсь, что еще не встретила подходящего человека. С такой грудью и с таким телом разве я не найду кого-нибудь получше вас? Ты еще увидишь меня в золотых носилках, в шелковом платье и будешь смотреть на меня, разинув рот, хотя ты и племянник сенатора. За мной будет бежать дюжина черных рабов, а ты будешь стоять под портиком и смотреть вслед.

Она выпила вина и прибавила гордо:

— Клянусь Спасителем нашим, на этом самом месте, в Субурре, где стоит сейчас эта развалина, я прикажу себе построить дворец, каких еще не видали в Городе!

Ремигий постарался переменить разговор и стал спрашивать, какой гость был сейчас у Леты.

— Противный скряга,— ответила она,— подарил мне пять сестерций, которые мне хотелось швырнуть ему в его толстое лицо. Но ты, мальчик, не бойся, я после него не буду менее ласковой.

— Я знаю, что ты добрая девушка,— сказал Ремигий, садясь рядом с Летой и ее обнимая.

Они начали говорить друг другу грубые похвалы, и я, поняв, что мне время уходить, поспешил спросить:

— Скажи мне, Лета, или Галла, где теперь твоя сестра: мне ее надо увидеть.

— Если ты говоришь о Рее,— ответила Лета,— то она мне вовсе не сестра. И я тебе посоветую лучше связаться с Лернейской гидрой, чем с ней.

— Все равно, мне надо ее увидеть,— настаивал я.

— Должно быть, она все там же, за Тибром, около самой улицы Тиберина, в доме, где пошина «Морской конь». Поищи ее там, только под именем Марии,— может быть, и найдешь. Но она и все с ней там сумасшедшие, словно их искусал тарантул: с ними ты и сам помешаешься.

Я поблагодарил Лету и стал прощаться, но она бесстыдно попросила у меня подарить ей что-нибудь на память о посещении. Я дал ей два денара и, расталкивая других девушек, пытавшихся загородить мне дорогу, выбрался на улицу.

XIII

Я долго колебался, прямо ли мне отнести Рее колобий или сначала, посетив ее, предупредить, что я ей возвращу ее дар. Последнее показалось мне благоразумнее, так как

я не был уверен, что найду Рею в доме, указанном Летой, а бродить по улицам Города с подобной ношей было небезопасно. Кроме того, чувство смутной тревоги охватывало меня каждый раз, когда я намеревался раскрыть свой дорожный ларь, чтобы вынуть из него глубоко запрятанный страшный сверток, и я предпочитал эту минуту отсрочить сколько можно.

Был уже одиннадцатый час, когда я вышел из дому, так как я рассчитал, что вечером Реа должна быть свободнее и мне можно будет говорить с нею без помехи. Во все время длинного пути, пересекая сначала мрачную Субурру, потом мраморные форумы, я не переставал колебаться и несколько раз готов был вернуться обратно. Выйдя на Тусскую улицу, где около грязных лавок всегда толпится всякий сброд, сводни, предлагающие девушек, торговцы чудодейственными снадобьями, фокусники и просто воры, я заметил, около самой статуи Вортумна, расположившегося на мостовой индийского гимнософиста. Несмотря на эдикты императоров, воспрещающие всякого рода гадания, он открыто предлагал всем, за дешевую плату, открыть их будущую судьбу, выкрикивая свои предложения на плохом латинском языке. Я подошел к гимнософисту, положил в его худую, как трость, руку маленькую монету и спросил, что меня сегодня ждет.

Тотчас меня окружила толпа любопытных, а гадатель сначала пристально смотрел мне в глаза, потом зажмурился, стал мерно раскачиваться и, наконец, снова взглянув на меня, произнес:

— Сегодня ты увидишь нежданное.

Я пожалел об отданной монете, протиснулся сквозь толпу, из которой чуть ли не каждый человек, крича, предлагал мне свои услуги, выбрался на пустынный в этот час Боарийский рынок, который подметали городские рабы, и вошел на Эмилиев мост. Здесь я снова остановился, не слыша топота ног проходивших мимо людей, и долго смотрел на видное отсюда отверстие Великой Клоаки, пенным потоком низвергавшее в Тибр отбросы Города. Снова мысли о самоубийстве пришли мне в голову, и я думал, как легко прервать мое неудачно начатое существование, перешагнув через ограду моста, и как хорошо вдруг освободиться и от волнений любви, и от всех трудностей жизни.

Победив в себе такое малодушие, я заставил себя идти дальше, перешел реку и углубился в незнакомую еще мне

за-Тиберинскую часть Рима. Можно было подумать, что я попал в другой город,— настолько здесь все отличалось от того, что можно видеть на левом берегу: не было здесь ни шумной толпы, ни изящных щеголей, ни пышных дворцов и храмов, улицы были узки и совершенно темны, так как выступающие верхние этажи закрывали свет неба, и только гул из многочисленных таберн напоминал, что я еще в Риме. Не без большого труда разыскал я попину, на дверях которой была сделана надпись «Ecus bipes», и, расспросив какую-то женщину, узнал, что в доме действительно живет приезжая девушка по имени Мария.

Дом был заселен бедным людом, и я долго стучался то в одну дверь, то в другую, пока, наконец, не дошел до самого верхнего этажа, под самой крышей. Уже почти потеряв надежду найти ту, которую я искал, я постучал и там в низенькую, незапертую дверь, но она тотчас отворилась, и на пороге оказалась сама Реа, уже одетая в паллу с куккулем. Ее лицо едва было видно из-под этого покрова, но оно вновь показалось мне, как в час на Аппиевой дороге, молодым и прекрасным. Не дав мне времени произнести ни слова, ни даже заглянуть в глубину комнаты, Реа сказала:

— Ты чуть не опоздал, Юний, я давно тебя жду.

— Как? — изумленно пролепетал я.— Ты меня ждала? Откуда ты могла знать, что я приду?

— Нельзя больше терять времени,— вместо ответа сказала она.— Следуй за мной.

Захлопнув дверь, она стала спускаться по лестнице, а я, снова поддавшись той странной власти, какую она имела надо мной, безвольно последовал за ней.

Мы вновь вышли на улицу, и Реа таким быстрым шагом побежала вперед, что я едва за ней поспевал. Она шла, направляясь к окраинам Города, вышла на Триумфальную улицу, потом свернула в какой-то узкий переулок. Наконец я настиг ее и спросил:

— Куда ты ведешь меня? Я не пойду дальше. Я только хотел тебя видеть, чтобы сказать...

— Ты меня хотел видеть для одного,— возразила Реа,— но должен был прийти для другого. Пути господни неисповедимы.

Она вновь устремилась вперед, а я продолжал идти за ней, повторяя, себе в утешение, слова индийского гимнософиста: «Сегодня ты увидишь нежданное».

Уже стемнело, когда Реа остановилась около небольшого домика, одиноко стоявшего неподалеку от городской стены, на уличке, совершенно безлюдной. Реа особенным образом постучала в дверь, произнесла какие-то, должно быть, условленные слова, и вход открылся. Когда мы оказались в темном вестибуле, я, с последним усилием воли, хотел было броситься назад, но Реа крепко схватила меня за руку и повлекла дальше. Миновав несколько комнат, мы увидели свет и, распахнув занавес, вошли в обширный зал, освещенный большим числом лампад, в котором уже было собрано много людей, мужчин и женщин, одетых в белое.

— Вот, наконец, и Реа,— сказал кто-то.

Я неподвижно стоял у занавеса, ослепленный неожиданным светом, смущенный всем происшедшим, но Реа, указав на меня, громко сказала всему собранию:

— Вот тот, о котором я вам говорила. Это — Юний, предназначенный судьбой уготовать пути Грядущего.

Все голоса воскликнули:

— Ave, Юний!

Я продолжал молчать, не зная, что мне должно делать, но кто-то опять спросил:

— Почему он не в брачной одежде?

Какой-то юноша подошел ко мне, снял с меня мой плащ и надел на плечи другой, белый, закрывший меня до самых пят, застегнул фибулу на груди и потом, взяв меня за руку, провел на другой конец залы, где стояло два деревянных кресла.

— Сегодня он должен сидеть рядом со мной,— объявила Реа.

Я хотел было говорить, но та же Реа сурово сказала мне: «Молчи!» — и заставила сесть рядом с собой, причем мы были, словно жених и невеста на свадьбе, на виду у всех. Я решил подчиниться воле случая и, постепенно овладевая собою, стал рассматривать, что было у меня перед глазами.

Покой, где мы находились, был широк и высок; дом прежде принадлежал, вероятно, какому-нибудь богатому человеку, потому что был устроен довольно роскошно: прекрасные коринфские колонны африканского мрамора окружали нас; но вся обстановка состояла из ряда скамей за колоннами, высокого водяного органа, с большими медными трубами, помещенного в углу, и разостланных на мраморном полу ковров.

Когда мы с Реей сели на наши кресла, все, словно по знаку, разместились тоже по скамьям, а какой-то старик, с длинной белой бородой, похожий на Сатурна, вышел на середину, поклонился присутствующим и возгласил:

— Теперь все в сборе, время, братья и сестры, приступить к служению.

Тотчас послышались звуки органа, глухие, но нежные, медленно возраставшие, усиливавшиеся, постепенно заполнявшие весь простор. Было такое впечатление, словно волны Океана заливают душу, и всем моим существом начало овладевать сладкое оцепенение, мучительная нега, и временами мне казалось, что я не дышу вовсе. Вместе с тем мне казалось, что какой-то таинственный, голубоватый или зеленоватый свет разливается вокруг, подобный свету от свечения моря.

Сколько длилось это оцепенение, я не знаю, но вдруг Реа порывисто встала, выступила вперед и воскликнула:

— Сестры, братья! дух повелевает мне говорить.

Все обратились к ней, орган смолк, и Реа, стоя посередине покоя, ко мне спиной, начала свою речь, голосом сначала тихим, потом окрепшим и обретшим, наконец, необыкновенную силу.

— Сестры, братья! — сказала она.— Всем нам были знамения, что времена приблизились. Будем же бодрствовать, чтобы никого из нас Жених пришедший не застал спящим. Нет добродетели выше покорности воле божией. Всеведущий изначала предвидел грехопадение Адама, и всемирный потоп, и крестную смерть Сына своего, и торжество Грядущего, и последний Суд,— но сотворил небо и землю, допустил Каину поразить брата, людям до Ноя грешить, Иуде свершить предательство, последнему Соблазну прийти в мир. Как из семени, брошенного в землю, с необходимостью вырастает определенное растение, как нельзя маковому зерну сказать: будь дубом, так из семени Творца должен произрасти наш мир и принести свой плод. По плодам его узнают его, и не должно до времени обрывать цветы его, дабы не уничтожить завязи. Добродетель человеческая в том состоит, чтобы согласовать свои деяния с веянием Духа божия. Все мы, водимые Духом божием,— сыны божии и обязаны ему сыновьим повиновением. Одни из нас предуставлены богом, ибо предузнал он их судьбу, на пути спасения; другие так же предуставлены на то, чтобы послужить Царю Погибели и уготовать ему путь. Можно ли идти против бога? Дары и призвания

божии непреложны. Кто Сына своего единственного не пощадил, но предал за людей на муку, не властен ли нас, сынов своих, послать на погибель за других? Апостол говорит: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Как же, соревнуя апостолу, не возжелаем мы все представить себя в жертву живую, святую, благоугодную богу? А другой апостол, говоря о том, кому надлежит прийти и без которого не свершится то, чему свершиться предустановлено, пророчествует, что дано ему будет вести войну со святыми и победить их, что поклонятся ему все живущие на земле, имена которых написаны в книге Агнца, запечатленной от создания мира. Все, чьи имена написаны в запечатленной книге, да не противятся воле божией, да не уклоняются поклониться Грядущему, ибо должно ему победить! да не страшатся отлучиться от Христа за братьев своих, как того жаждал апостол! Помните: сберегающий душу свою погубит ее, а губящий душу свою спасет ее! И еще апостол сказал: всех заключил бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Тайна сия велика, но вы радуйтесь и веселитесь о погибели своей. О бездна богатства и премудрости и ведения божия! Непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Кто познал ум господен? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Все из него, им и к нему, ему слава вовеки, аминь.

Все собрание в одном порыве повторило: «Аминь!»

Реа обратилась ко мне, и я увидел, что лицо ее бледно и глаза расширены; она походила на статую Сибиллы Кумской; и, указуя на меня, она воскликнула надорванным, но уже другим голосом:

— Здесь тот, кто укажет нам путь. Вижу, вижу большой город за тысячу миль отсюда. Вижу высокие стены, дворцы, театры, термы, храмы. Во дворце тот, кто именует себя христианским императором, и с ним советчики его, очи которых закрыты тьмой и которые не чают близости Грядущего. Двое идут по улице, и языки Духа божия над головами их. Да! да! вижу, это я и он! Вот мы входим в двери большого дома, проходим пустые покои. Юноша, с лицом ангела, нас встречает; волосы у него, как разметавшееся пламя, уста, как кровавая рана, взор благостный, как у агнца. Счастие, счастие! Сестры, братия! мы двое первые преклоняемся перед ним и его венчаем диадемою власти. Дух мой теряется в веселии великом и ужасе многом. Это скоро, это близко, это уже при дверях!

Последние слова Реа прокричала в изнеможении и вдруг упала на подстилки пола; я поднялся с своего кресла, чтобы бежать к ней и отречься от пророчества, относящегося ко мне, но все, тоже вскочив со скамей, окружили лежащую и в возбуждении восклицали:

— Литанию! литанию!

Вновь послышались звуки водяного органа, и началась странная литания,— чудовищное искажение того, что христианами поется в их храмах.

— Дай нам отлучиться от Христа, предать и возненавидеть его, послужить врагам его! — возглашал чей-то голос.

— Подай, сильный! — отвечали хором все присутствующие, мужчины и женщины, в белых одеяниях, простирая руки.

— Возложи на нас печать на правую руку нашу или на чело наше, всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам! — возглашал голос.

— Возложи печать, сильный! — отвечали все.

— Дай нам быть грешными, впасть в скверну, лгать и любодействовать, убивать и богохульствовать, погубить души наши! — возглашал голос.

— Подай, сильный! — отвечали все.

Всех воззваний я не припомню, но голоса становились все возбужденнее, и под звуки органа присутствующие, все возглашая ответы, начинали двигаться, словно в мерной пляске. И я со всеми другими, поддаваясь очарованию музыки и голосов, невольно двигался тоже и, может быть, тоже присоединял свой голос к общему хору. Незаметно для меня, под чьей-то невидимой рукой, лампады стали гаснуть и всех нас окружать, сближая и разъединяя, мрак. В темноте сначала еще продолжалось пение, но постепенно стихло, и только слышались звуки органа и странные шорохи от движения людей.

Тогда кто-то приблизился ко мне, и меня обняли женские руки. Кто-то своими губами прикоснулся к моим и наложил на них поцелуй. Я воскликнул:

— Реа, ты?

Ее голос мне ответил глухим шепотом:

— Здесь нет имен, одни только верные.

Одно время я сопротивлялся настояниям обнимавшей меня женщины, но в каком-то опьянении был мой ум после всего испытанного, и тело мое — в каком-то онемении, словно в смертельной усталости.

Я уступил, и так свершился мой брачный союз в неведомом мне доме, среди мне неведомых людей, со странной девушкой, каким-то демоном посланной мне навстречу на пути моем в Рим...

Когда снова зажглись лампады, сперва одна, слабо озарившая темноту, потом другая, я мог видеть, как поспешно покидали белые фигуры одна другую и торопливо расходились в разные стороны. Реи около меня не было.

Все, в ярком свете, как будто избегали смотреть друг на друга, и кто-то сказал:

— Пора расходиться.

Мне вернули мой темный плащ, и все присутствующие осторожно, поодиночке начали удаляться из залы. Какой-то человек, судя по лицу, простой работник, подошел ко мне и угрюмо сказал:

— Будь осмотрителен, юноша, не попадись ночным стражам и остерегись болтать лишнее...

Я молча наклонил голову в знак утверждения, потом меня проводили до двери, и, выйдя на улицу, я с наслаждением вдохнул после душной комнаты свежий воздух и нетвердой поступью направился через весь ночной Город к дому дяди.

XIV

После этой ночи я спал сном тяжелым и, проснувшись, увидел, что мне надо торопиться к началу занятий в школу Энделехия. Я сам не знал, зачем я тороплюсь к нему, потому что мысль о самоубийстве еще не покидала меня, но все же, поспешно одевшись и подкрепив силы сыром и глотком вина, направился к выходу.

Проходя через атрий, я увидел маленькую Намию, которая, укрывшись в угол, около армариев с масками предков, горестно плакала. Последние дни, занятый разнообразными и тяжелыми событиями своей жизни, я с ней мало встречался, и мне даже казалось, что девочка меня избегала. Теперь я подошел к ней и спросил:

— Что с тобой, милая сестрица? Кто тебя обидел? Почему ты не хочешь больше со мной говорить? Или ты на меня рассердилась?

Намия вдруг вскочила, тряхнула своей хорошенькой головкой, словно затем, чтобы высушить слезы, и глаза ее сделались злыми, как у раздраженной собачки. Она мне ответила:

— Какое тебе до меня дело? Уходи. Я тебя ненавижу. Ты думаешь, что я плачу из-за тебя? Что мне в тебе! Я о тебе давно перестала думать. Ты оказался так же глуп и незанимателен, как все другие. А если я кого-нибудь люблю, кто получше тебя, и о нем плачу, это тебя не касается.

Проговорив эти слова, девочка, по своему обыкновению, быстро выбежала из атрия, а я был тогда слишком занят своими печалями, чтобы раздумывать над ее горем, и продолжал свой путь.

В тот день я был в школе крайне невнимателен, и мои товарищи не раз толкали меня, когда я, углубившись в свои унылые думы, переставал слушать учителя и оставался сидеть неподвижно с бесполезным стилем в руке. Один из товарищей даже сказал мне:

— Клянусь Геркулесом, Юний, ты, должно быть, влюблен.

Выйдя из школы, я пошел не домой, но на форум, так как мне хотелось в шуме и движении, там никогда не стихающих, успокоить свое волнение. Я переходил из одного форума в другой, входил в различные лавки, у торговца сосудами приценивался к бронзовому кубку, у книгопродавца рассматривал новоизданную книгу, смотрел, как ловко исполняет свое дело менялa, быстро отсчитывая монеты, вмешивался в толпу бедняков, которая никогда не покидает форумов, готовая предложить свои услуги любому наемщику для чего угодно: — рукоплескать его речи или любимой им плясунье, освистать его соперника или просто, в одеждах, полученных на время, изображать из себя клиентов,— слушал грубые речи и сам вступал в чужие разговоры. Потом на Римском форуме я сел подле арки Тиберия и долго смотрел, как на священном месте, тесно огороженном торжественными храмами, быстро сменялись разнообразные картины, как прогуливались здесь завсегдатаи форума, по древнему закону приходящие сюда лишь в тогах, как изумленно оглядывались кругом недавно приехавшие провинциалы или чужеземцы, в причудливых одеждах, как то появлялся важный сановник, сопровождаемый толпой, то проходила кучка веселых гуляк. Все вокруг было пестро и шумно, лучи солнца сверкали на старом мраморе и бронзе, голоса, смех и крики не смолкали ни на минуту, и можно было думать, что попрежнему на этом месте бьется сердце всего мира.

Несколько развлеченный своей прогулкой, я пообедал в какой-то попине поблизости, где долго молча сидел

одинокий за столом, потом еще побродил по улицам и по полю Агриппы и только на склоне дня вернулся домой.

В тот вечер тетки не было дома, и дядя, который скучал без слушателей, позвал меня к себе выпить с ним по кубку вина. Хотя рассуждения дяди мне давно наскучили, я не уклонился от приглашения, потому что мне тягостно было оставаться одному. Как всегда, дядя скоро заговорил о древнем величии Римского народа и о погибели, к которой ведут Рим последние христианские императоры.

— Боги уже давали нам предостережения, племянник,— говорил мне Тибуртин,— но мы им не внемлем. Все продолжают обычную жизнь, бездельничают, пьянствуют и не думают о благе республики. Варвары везде переходят границу империи и селятся на Римских землях. Хуже того, тех же самых варваров принимают в Римское войско, из них образуют легионы, оскорбляя тем священное имя: легион! и им же поручают защиту границ! Вспомни мои слова: если не опомнятся граждане, не возьмутся за старый Римский меч, в самую Италию вторгнутся какие-нибудь племена из Германии и Скифии, и переживем мы новое нашествие галлов!

Думая сделать угодное сенатору, я сейчас же привел предсказание Горация:

> Варвар, увы, победитель, на прахи наступит, и всадник
> Копытом звонким мир встревожит Города,
> Те, что от солнца и ветра таим мы, кости Квирина
> (Увидеть страшно) он размечет дерзостно.

Но дядя живо возразил мне:

— Нет, нет! этого не будет никогда! До самых стен Города может дойти варвар, но священной черты не переступит. Еще стоят на своих местах святилища аргеев и весталки блюдут залоги незыблемости Рима, и в Курии еще парит статуя Победы. Знай, племянник, пока на эти святыни не посягнули,— нечего Риму бояться. А кто святотатственный, будь он даже христианин, осмелится на них посягнуть?

Не знаю, было ли то предчувствие, ниспосланное некиим богом, или случайное совпадение, которое нередко наблюдается в жизни, только после этих слов дядя стал говорить о алтаре и статуе Победы подробно и с увлечением.

— Божественный Август,— говорил он,— был третьим основателем Рима, после Ромула и Камилла. Помнишь богами подсказанные слова центуриона: «Стой, воин, здесь

всего лучше останемся!» Тогда речь была только о Городе. Август сделал Рим средоточием вселенной, повелителем мира. Август первый сказал, что вне империи, управляемой Римом, нет и быть не должно ничего, кроме варварства. Потому-то Август, нашедший Город кирпичным и оставивший его мраморным, воздвиг множество новых храмов, с великими священнодействиями, как бы основывая новый Город, ибо старому было дано назначение новое. И, завершив новую Курию, откуда Сенат должен был своей мудростью править миром, Август по ее середине поставил алтарь и древнюю статую Победы, знак того, что Риму дано вовек торжествовать над врагами. Дважды пожар истреблял Курию Юлия — при Нероне и при Карине, но дважды боги спасали крылатую статую Победы, и вновь сенаторы пред ее алтарем приносили свои клятвы. Так и Рим не раз бывал охвачен пламенем погибели, но всегда выходил из огня победоносным и крылатым. И так всегда будет, племянник, пока отцы Города собираются вкруг этого священного алтаря.

Я тогда не очень внимательно слушал рассуждения Тибуртина, так как не придавал им цены. И сам он скоро перешел к соображениям, кто будут назначены консулами на следующий год, намекая, что он, Тибуртин, был бы достоин этой чести предпочтительно перед другими. Когда секстарий вина нами был допит, я попрощался и ушел в свою комнату, чувствуя утомление после дня, целиком проведенного в ходьбе.

Скоро я задремал беспокойным сном, но вдруг мне показалось, что в комнате кто-то есть. Я открыл глаза и, действительно, во мраке различил белую женскую фигуру. Всмотревшись, я убедился, что это — Намия, почти раздетая.

— Милая Намия, зачем ты здесь? — спросил я шепотом.

Мне пришло в голову, что Намия подвержена той священной болезни, в которой люди, подчиняясь чарам луны, ходят по комнатам и даже по высоким крышам, во сне, с закрытыми глазами. Но Намия не спала; она бросилась к моему ложу, стала перед ним на колени и, плача, сказала мне:

— Братик! милый братик! Я тебе солгала. Я тебя не ненавижу. Я плакала по тебе. Я тебя люблю, мой братик. А ты меня не любишь. Ты любишь эту противную Гесперию. Я все знаю, мне передали. Ты у нее постоянно бы-

ваешь. Три последних ночи ты провел у нее. Ты ее любовник. Я этого не могу перенести.

Я обнял худенькое тело маленькой Намии, стал ее целовать и пытался успокоить.

— Полно, сестрица,— говорил я,— все это выдумки, неправда. Три последних ночи я, может быть, провел дурно, но, клянусь великими богами, не у твоей сестры. Я у нее бывал, это верно, потому что она меня звала к себе, но между нами о любви не было речи. А что ты говоришь о своей любви, тоже неправда: ты еще маленькая девочка и ничего не понимаешь. Время любить к тебе придет позже, а пока будь умной, отри свои глаза, ступай спать и останься моим хорошим другом.

Намия на мои слова рассердилась и ответила зло:

— Ты говоришь так умно, как учитель грамматики. «Есть некоторые глаголы безличные, например, первого порядка: «Iuvat me, te, illum, restat, distat...» Все это верно, а только я тебя люблю! Возражай мне, что хочешь, а я тебя люблю!

Потом, снова заплакав, она продолжала:

— И я хочу, чтобы ты тоже меня любил. Милый, хороший братик, на что тебе эта Гесперия, у которой, кроме тебя, десятки любовников. Я сделаю для тебя все, что женщины делают для мужчин. Я все понимаю, и я знаю, зачем отец Никодим потихоньку приходит к матери. Я буду твоей самой хорошей любовницей. Только люби меня.

В каком-то исступлении маленькая Намия непременно хотела лечь рядом со мной на ложе и добивалась, чтобы я ласкал ее. А я не знал, что делать, так как постыдным почитал нанести обиду дочери моего гостеприимного хозяина. Между мною и Намией началась борьба, во время которой она то рыдала, то царапала и кусала меня, то целовала безудержно.

— Нас услышат, сюда придут,— молил я.

— Мне все равно, мне все равно,— возражала девочка,— пусть все узнают. Я хочу, чтобы ты меня любил. А если нет, я пойду и утоплюсь в Тибре.

Не знаю, чем окончилась бы эта наша борьба, если бы вдруг в доме, несмотря на поздний час, не послышался неожиданный шум, торопливые шаги и голоса. Испуганный, я сказал Намии:

— Это тебя ищут. Подумай, что я скажу твоему отцу, если он тебя застанет у меня. Уходи скорее, Намия, а завтра я тебе все объясню.

Намия упрямо спросила:

— Ты клянешься, что завтра мне прямо ответишь, будешь ли меня любить или нет?

— Клянусь Юпитером,— сказал я.

После этой моей клятвы Намия, также смущенная, соскользнула с ложа и скрылась в темноте. Но шум все продолжался и даже делался более громким. Подумав, что нехорошо оставить девочку без защиты, если мать грозит ей за ее ночное поведение, я наскоро оделся и вышел в атрий.

Там была в сборе вся семья. Два раба освещали атрий фонарями, которые держали в руках. Дядя был одет в сенаторскую тогу и дрожащей рукой творил возлияние перед маленьким домашним алтарем. Тетка и Аттузия, в ночных одеждах, перебивая друг друга, в чем-то его упрекали.

Увидя меня, дядя обратился ко мне:

— Ну, милый Юний,— сказал он,— сегодняшним разговором накликали мы с тобой беду, такую беду, что теперь дело идет о спасении республики.

— Что же случилось? — спросил я.

— Ночью прибыл посол от императора,— ответил дядя,— и привез повеление: немедленно, слышишь ли, немедленно, ночью же, вынести из Курии алтарь и статую Победы, о которых я тебе говорил. Это — конец, так как хотят лишить Рим покровительства богов. Это — последний удар, а затем закроют все храмы, заставят всех Римлян поклоняться Христу, а непокорных будут бросать на съедение зверям. Боги отступятся от нас, и совершится погибель империи.

— Куда же ты идешь? — спросил я.

— Куда? — гордо возразил дядя.— В Курию! Сенат соберется немедленно, и мы воспротивимся исполнению неправого повеления. В такую минуту Римляне должны показать себя Римлянами и спасти империю. Грациан думает, что он может все, но сенат и Римский народ покажут ему, что он заблуждается. Подайте мне плащ.

Тогда яростным голосом заговорила тетка:

— Остерегся бы так говорить о святости императора при рабах, бездельник! Одних этих слов довольно, чтобы тебе голову отрубили, нас всех бросили в темницу, а имущество наше отобрали в фиск! Ты только и делаешь, что пропиваешь добро, нажитое твоими предками, а теперь вовсе нас погубить задумал!

Аттузия добавила:

— Христианнейший император намерен истребить идолов в Курии, где заседают его сенаторы. Его благодарить нужно за искоренение суеверий, а не противиться его божественной воле. Господи, благодарю тебя, что ты дал мне дожить до этого счастливого часа.

— Молчите, женщины! — строго произнес дядя.— Эти вопросы должны решать мужи.

— Мы тебя не пустим,— решительно сказала тетка, загораживая дяде дорогу.— Завтра же всех сенаторов, которые скажут слово против императора, отправят в ссылку. И куда ты-то спешишь. Думаешь, там без тебя не обойдутся?

— Здесь отец семейства я,— так же сурово возразил дядя.— По Римскому праву я имею власть жизни и смерти над тобой.

— Да ведь тебя убьют! — уже со слезами закричала тетка, все закрывая своим телом выход.

— Прекрасно и сладко пасть за отечество,— ответил ей Тибуртин стихом Горация.

Он неожиданно сильной рукой отстранил свою жену и с высоко поднятой головой направился в вестибул. Но, сделав два шага, остановился и нерешительно добавил:

— Только вот что, вели подать мне кубок вина, а то на улице холодно.

— Нет тебе вина, пьяница! — закричала тетка с озлоблением.— Хочешь идти, так иди трезвый.

— Да, я пойду и без вина,— сказал Тибуртин.

Он вышел из дому, и за ним последовали рабы с фонарями.

Тетка, рыдая, начала причитать, как плакальщица на похоронах.

— Погибли мы! Завтра же отберут у нас и дом, и земли, и рабов, и все имущество! Будем мы голодать и спать в холоде! Господи Иисусе Христе, разве мало я тебе молилась! Разве не делала я вкладов в церкви и не давала обетов сделать еще более богатые! За что ты меня так жестоко караешь!

— Успокойся,— уговаривала ее Аттузия,— никто не обратит внимания на их смехотворное заседание. Да и сами они не посмеют пойти против воли императора. Собебудется, посмотрят друг на друга и разойдутся.

Пока женщины разговаривали, новая мысль пришла мне в голову: что Гесперия, муж которой не был сенатором, не должна еще знать новости о императорском эдикте.

Вдруг мне показалось, что я должен немедленно известить ее о нем. Не раздумывая долго, я набросил плащ на плечи и тоже бросился бегом на улицу.

XV

Я ни о чем не думал, пока не достиг ворот дома Гесперии. Только здесь, на пустынной и темной улице, я спросил себя, как я войду в дом в такой поздний час. Но тотчас мне вспомнились те условные знаки, о которых говорил Юлианий, и я без колебания постучал дверным молотком четыре раза.

Скоро послышался голос раба, спросившего меня:

— Кто там?

Я ответил:

— Иисус распятый.

Ворота открылись; я уверенными шагами прошел по ночному саду. В дверь дома я тоже постучал четыре раза и дал тот же ответ на вопрос, кто стучит; меня впустили и в дом. Сонный привратник на меня смотрел недоверчиво, но я ему сказал:

— По важному делу мне нужно видеть госпожу Гесперию.

Привратник вызвал молодую рабыню, которая проводила меня в атрий и, сказав, что известит Гесперию, скрылась.

Только тогда мною в первый раз овладело смущение. Я стоял, одинокий, в огромном полутемном атрии, слабо освещенном одной лампадой, которую рабыня поставила на подножье статуи Флоры. Все кругом было тихо, и минуты шли с медленностью необыкновенной. Та радость, с какой я бежал к дому Гесперии, постепенно сменялась страхом ее увидеть.

Мне вдруг показалось нелепым, что я ночью тревожу Гесперию, чтобы сообщить новость, о которой через несколько часов заговорит весь Город. Не будет ли Гесперия вправе, если в ответ на мои слова рассмеется и гневно мне прикажет идти домой и не мешаться не в свое дело? Я подумал также, что поступил неосторожно, воспользовавшись тайными знаками, о которых узнал случайно. Гесперия должна будет предположить, что я какими-то кривыми путями, подслушивая на перекрестках или расспрашивая рабов, стараюсь проникнуть в ее тайны с на-

мерениями дурными. Она, может быть, не позволит мне больше никогда приходить к ней и постарается избавиться от опасного соглядатая.

Так размышляя, я с радостью убежал бы из дома Элиана, но уже было поздно отступать, и я с тоской продолжал ждать Гесперию. Наконец послышались шаги, замерцал свет лампад, и появилась Гесперия в легкой столе, накинутой поверх туники, без всяких обычных украшений, сопровождаемая двумя рабынями, которым она сделала знак удалиться. Гесперия направилась прямо ко мне и спросила без гнева:

— Что тебя привело ко мне, Юний? Не случилось ли чего дурного с твоим дядей?

Приветливый голос Гесперии привел меня в еще большее смущение; я чувствовал, что мои ноги дрожат, и, собрав все силы, с трудом произнес:

— Domina! Прости, что я тебя потревожил. Этого, может быть, не должно было делать. Но ты ко мне была так добра. Мне показалось, что тебе важно это узнать. Сейчас в дом дяди принесли известие. От императора прибыл посол. Приказано вынести из Курии алтарь и статую Победы. Дядя говорит, что это — погибель империи. Созвано ночное заседание Сената. Хотят принять решения важные.

Я говорил запинаясь и бессвязно, и с каждым словом мне становилось все более и более стыдно за свой необдуманный поступок. Потом, совсем смутившись, я замолчал и стоял, опустив глаза, как провинившийся ученик перед своим литератором. Но Гесперия мне ответила с прежней ласковостью:

— Ты — милый, и хорошо сделал, что прибежал рассказать это мне. Известие, конечно, важное, хотя судьба империи и не зависит от того, та или другая статуя стоит или нет в таком-то храме. Но эдикт Грациана может взволновать тех простых людей, которые на этот алтарь смотрят как на лучший оплот Рима, и последствия могут быть гибельны.

Я смотрел на Гесперию, и она, без блеска золотых колец и запястий, драгоценных серег и жемчужных ожерелий, с обнаженными, словно мраморными руками, казалась мне прекраснее, чем когда-либо. Я испытывал такое желание поклоняться ей, как никогда, и мне казалось блаженством даже умереть пред ее очами. Я сжимал губы, чтобы не закричать ей: «Я тебя люблю, Гесперия!» — но она вдруг спросила:

— А как ты вошел сюда, Юний? Почему рабы тебя впустили в такой поздний час?

От стыда мои щеки покраснели, я отступил на шаг, я не знал, что говорить, а Гесперия продолжала спрашивать безжалостно:

— Откуда ты узнал тессеру? ты ее где-нибудь подслушал? тебе ее кто-нибудь сказал?

Что было мне говорить? Следовало лгать, придумывать объяснения, но перед Гесперией лгать я не смел. И, как бросаются в самую середину битвы, я вдруг упал на колени перед Гесперией, как перед святыней божества, и воскликнул:

— Гесперия! я должен тебе сознаться во всем! Случай выдал мне одну из твоих тайн. Я знаю, кто собирается в твоем доме и зачем. Я знаю, что́ ты, Симмах, Претекстат и Флавиан замыслили. Я знаю, кого вы назначили преемником Грациана. Но ты видишь, что, узнав эту тайну, я ее ото всех хранил, о ней ни перед кем ни одним словом не обмолвился. И верь мне, что я ее буду хранить свято, хотя бы меня подвергли пытке,— буду хранить не потому, что дал тебе клятву в этом, даже не потому, что ваше дело — это дело мое, это дело всех истинных Римлян. но потому, что я тебя люблю, Гесперия, потому что для меня счастие — служить тебе.

Я сам не понимал, как я решился сделать последнее признание, но мною тогда владело то отчаяние побежденных, о котором говорит Вергилий: «Побежденным спасенье одно — не мечтать о спасенье!» Я ждал, что Гесперия рассмеется над словами безумного юноши или гневно мне прикажет замолчать, но когда я поднял на нее глаза, я увидел в том полусвете, который нас окружал, что ее лицо кротко и печально. Она тихим голосом сказала:

— Ты также, бедный мальчик. Меня любить не должно. Я теперь все равно что мертвая статуя и более не буду любить никого. У меня сердце стало твердым, как камень. Ты разобьешься о него, бедный, как маленькая лодка о скалы Пахина. Теперь я люблю лишь одно: ту цель жизни, к которой я стремлюсь. Знай, что я более не женщина, и отойди от меня. Ты — живой и ступай к живым.

Но я, все стоя на коленях, продолжал говорить в безумии:

— Я не властен тебя не любить, Гесперия! Да, я — юноша, я — мальчик, и ты вправе мне сказать, что лю-

бовь юноши подобна зыби на реке, сменяющейся с каждым ветром. Но разве не бывает такой любви, которая приходит лишь один раз в жизни и уз которой нельзя разорвать до самой смерти? Я тебя полюбил не потому, что ты всех прекраснее в Риме, не потому, что ты была первая прекрасная женщина, которую я встретил, но потому, что так решили боги, и я тебя буду любить всегда, все годы моей жизни,— все равно, буду ли я близ тебя или далеко. Я знаю, что я тебя недостоин, что тысячи других, с которыми я не смею соперничать, тебя молят о любви. Но ведь я у тебя ничего не прошу. Я хочу только, чтобы ты мне позволила тебе поклоняться и тебе служить. Единственная награда, о которой я мечтаю, это — тебя видеть, большего мне не надо.

— Так все говорят,— сказала Гесперия.

— Пусть же в первый раз,— воскликнул я,— эти слова станут правдой! Любят не за то, что получают любовь, а потому, что так повелел в боях неодолимый Эрос. Энона продолжала любить своего Парида, им отвергнутая. Гемон умер у могилы своей Антигоны, хотя уже ничего не мог от нее ждать. И я буду тебя любить, хотя бы сердце твое и было, по твоим словам, каменным, хотя бы мне и предстояло умереть у твоих ног.

Тут Гесперия рассмеялась и мне ответила:

— Ты, Юний, опять увлекаешься. Ты все бредишь героями древних сказаний. Но уже пора тебе подумать, что мы живем не в век героев, но людей. Я не Лаконская Елена, и ради меня умирать не стоит.

— Хорошо,— сказал я, вставая с колен,— я более не буду докучать тебе признаниями любви. Я понимаю, что они тебе не нужны. Но не отвергай меня. Подумай: где ты найдешь более преданного служителя, нежели я? Ты говоришь, что любишь одно: далекую цель своей жизни. Позволь же мне помогать тебе, служить тому же, чему ты служишь. Я — молод, но в молодости есть сила. Я — неопытен, но отважусь на то, перед чем отступят мужи. Я тебя люблю, и потому буду повиноваться каждому твоему слову, буду тебе верен, как самый честный раб. Доверься мне.

Все время мы говорили, стоя посреди атрия. После же моих слов Гесперия медленно отошла к стене, села в кресло и, опустив голову, задумалась. Я за ней последовал, продолжая свои настояния. Наконец она покачала головой и произнесла решительно:

— Нет, Юний, тебя я не могу вовлекать в наше дело. Мне жаль твоей молодой жизни и жаль твоей матери, которую я знала.

— Гесперия! — с отчаянием ответил я.— Я тебе признáюсь, какая мысль меня занимала эти последние дни. Поняв, что я тебя люблю, что эта любовь окончится лишь с моей жизнью и что счастия она мне дать не может, я хотел пойти на берег Тибра и броситься в воду. Юпитером клянусь, я так и сделаю, если ты меня отвергнешь. Если я не могу тебе служить, мне больше на этой земле нечего делать — ни теперь, ни после.

— Ты сам не понимаешь, о чем просишь,— сказала Гесперия. — Служить мне — значит отказаться от себя, отказаться от всех радостей и надежд, подчиняться мне, без колебания, хотя бы я приказывала тебе противное чести, служить тому, кому я повелю, хотя бы ты его презирал и ненавидел. Умереть за того, кого любишь, легко, но я потребую большего. Этого ли ты хочешь?

— Этого я хочу,— сказал я.

— Поклянешься ли ты,— спросила Гесперия,— не только никому, ни в дружеской беседе, ни перед палачом, не открывать того, что ты можешь узнать, но и никогда меня не спрашивать, зачем я что-либо делаю или приказываю исполнить? Поклянешься ли, что никогда во мне не усомнишься, не сделаешь ни одного возражения, не откажешься ни от какого дела, как бы страшным и даже постыдным оно тебе ни показалось?

— Клянусь,— сказал я твердо.

— Клянешься ли ты,— спросила Гесперия,— ничего не скрывать от меня, сообщать мне о себе все, даже свои самые тайные мысли, клянешься ли, по моему приказанию, притворствовать и лгать, и убить человека, если я потребую, и украсть, если это будет нужно, и не побояться быть позором и посмешищем людей, если я этого захочу?

— Клянусь,— сказал я.

— Клянешься ли ты,— спросила Гесперия,—никогда не просить у меня награды, что бы ты для меня ни совершил, никогда не добиваться моей любви и своей любви ко мне не выражать ни одним словом, ни одним движением? Клянешься ли ты, если все-таки ты встретишь женщину, которая тебе понравится, покинуть ее по одному моему знаку, отречься от нее, отвергнуть ее?

— Клянусь,— сказал я.

— Поклянись еще,— добавила Гесперия,— что ты, если я тебе прикажу прийти к дверям моей спальни, когда я буду в ней со своим возлюбленным, и стать на страже, будешь охранять вход, как верный воин, что в тот час ты мой покой ничем не нарушишь и никому не позволишь переступить через порог.

— Клянусь,— сказал я с трудом.

— Клянись самой страшной клятвой,— потребовала Гесперия.

— Во всем, что ты от меня требуешь,— воскликнул я,— и во всем другом, что ты можешь потребовать, я тебе клянусь, Гесперия, клянусь Стиксом,— клятва, которой сами боги страшатся. И этой клятвой, снять которую не властны ни олимпийцы, ни подземные боги, я связываю себя на всю жизнь. Стиксом клянусь, Гесперия, тебе повиноваться, быть тебе верным и любить тебя до своей могилы и после, за вратами смерти.

Такую страшную клятву я произнес в пустынном и темном атрии не пред каким-либо алтарем, но пред ликом женщины, которая для меня была божеством. Выслушав мои слова, Гесперия тихо встала и мне протянула руку, и когда я ее поцеловал, сказала голосом строгим:

— Помни эту клятву, Юний. Я от тебя потребую ее исполнения от слова и до слова. Боги грозно отомстят тебе, если ты ее нарушишь. Но и я умею мстить тем, кто меня обманывает. Теперь уходи, уже поздно, и хотя ты мой родственник, но неприлично, что ты так долго остаешься в моем доме ночью.

— И ты ничего мне не прикажешь,— горестно спросил я,— ты не хочешь, чтобы я сейчас же начал свое служение?

— Ты мне поклялся ничего у меня не просить, — возразила Гесперия.— Когда будет надо, я тебя позову.

Я продолжал печально смотреть на Гесперию, но вдруг она, словно неожиданная мысль пришла ей в голову, быстро добавила:

— Впрочем, приди ко мне завтра, в полдень. Может быть, я тебе дам одно поручение.

Произнеся последние слова, она тотчас повернулась и вышла из атрия, а меня охватила безудержная радость, как если бы самые счастливые обещания мне были даны.

Мне хотелось целовать след ног Гесперии на мраморе пола, и казалось, что воздух атрия еще полон ее присутствием. Опомнившись, я пошел к выходу, растолкал сонного привратника, бегом пробежал через сад и через

минуту уже был на улице. Ночной, почти безмолвный Рим, белые стены оград, смутные образы ближних домов, и белые громады отдаленных храмов, и самое темное небо в звездах,— все мне представлялось прекрасным. Я простирал к кому-то, может быть, к незримым богам, руки, невольно, словно пьяный, восклицал бессвязные слова и вслух говорил сам себе:

— У тебя опять есть жизнь, Юний! Ты счастливее всех смертных, потому что можешь служить Гесперии. Ты достиг всего, о чем смел мечтать, потому что она теперь знает о твоей любви. Как хорошо быть в Риме, где живет она, как хорошо быть под тем же небом, которое покрывает ее! Как хорошо дышать, и жить, и чувствовать любовь! Благодарю вас, бессмертные боги!

XVI

Был ровно полдень, когда на следующий день я подходил к дому Гесперии, так как не осмелился прийти раньше. У ворот я сошелся с Юлианием, который на меня посмотрел удивленно и спросил:

— Тебя Гесперия звала к себе сегодня?

— Да, звала,— ответил я.

— Конечно, я очень рад, милый Юний,— сказал Юлианий,— что ты сегодня будешь с нами, но все-таки меня удивляет, что Гесперия не спросила моего совета. Я тебя знаю за человека надежного, но она еще с тобой знакома мало.

В атрии нам пришлось дожидаться Гесперии, и Юлианий все время пытался от меня разузнать, почему я был позван сегодня, но я давал ответы уклончивые. Наконец появилась Гесперия, как всегда, одетая пышно, но при свете дня вовсе не похожая на ту ночную женщину, которой еще недавно я давал свои клятвы. Гесперия сказала нам:

— Вы оба будете нужны; я вам дам важные поручения.

— Значит,— спросил Юлианий,— ты Юния привлекла к нашему делу?

— Да,— строго ответила Гесперия,— я ему верю.

Не решившись возражать, Юлианий спросил, какое решение принято.

— Сенат вчера постановил,— ответила Гесперия,— послать к императору Симмаха с тем, чтобы он просил о

восстановлении алтаря Победы. Но сейчас у меня в доме совещаются все наши, должно ли этим ограничиться.

— Может быть, мне следует идти к ним? — спросил Юлианий.

— Нет,— не без легкой насмешки ответила Гесперия,— они все обсудят одни. Ты дожидайся здесь. А ты, Юний,— добавила она,— иди со мной: мне надо с тобой говорить.

Я видел, как такой ответ был Юлианию неприятен, сам же я почувствовал себя опять счастливым, как увидевший родную Итаку Улисс, когда услышал этот зов Гесперии. Мне было довольно того, что она отличила меня перед Юлианием и захотела со мной говорить наедине, и я даже не задумался, каково может быть то поручение, о котором говорила Гесперия. Словно на крыльях Меркурия, я последовал за ней в уединенную комнату, полутемную, напоенную ароматом восточных благовоний, где Гесперия, заставив меня сесть и убедившись, что рабы не подслушивают, сказала мне так:

— Юний! Я ничего не делаю наполовину. Я тебе доверилась и хочу доверять вполне. Я хочу, чтобы ты все узнал, о чем только догадываешься. Я тебе открою все наши замыслы, так что в твоей воле будет погубить и меня, и многих других. Не перебивай меня: я знаю, что ты этого не сделаешь. Итак, слушай. Да, мы хотим спасти империю от той погибели, которую ей готовят последние императоры; да, мы хотим вернуть Риму то значение в мире, какое ему по праву подобает. Для этого мы должны взять власть в свои руки, уничтожив того Грациана, который сделался простой игрушкой в руках безумного Амбросия, ненавидящего древнюю славу империи, заветы отцов и самих богов бессмертных. Да, с нами лучшие люди Рима; Претекстат, понтифик Солнца, посвященный во все сокровеннейшие мистерии, Флавиан, который сейчас при Феодосии, квестор священного дворца, Симмах, знаменитый писатель нашего времени. Видишь, Юний, я разоблачаю перед тобой наши тайны, я называю имена, я отдаю в твои руки нашу судьбу,— потому что, если наши замыслы станут известны, нас ожидает одно: смерть! Отплати же и ты верностью за доверие.

Я мог бы возразить Гесперии, что она не прибавила ничего нового к тому, что накануне я сам сказал ей, не упомянула ни одного имени, кроме тех, которые я тоже называл. Но я под таким был очарованием ее близости и ее

голоса, что в ту минуту мне казалось, будто она, действительно, решилась со мной быть до конца откровенной. И это сознание, что Гесперия смотрит на меня как на человека близкого, наполнило меня такой радостью, что я воскликнул:

— Говори мне все смело! Я — с тобой, я — с вами! Я готов на все, самое опасное, и никакая смерть меня не устрашит!

— Я в этом уверена, Юний,— продолжала Гесперия,— но слушай внимательно. Из тех людей, которых я назвала тебе, один Флавиан человек решительный. Под обличием придворного он скрывает сердце истинного Римлянина, не боится опасности и согласен идти ей навстречу. Его нет в Риме, а другие не таковы: они любят рассуждать и действовать с уверенностью в успехе. Мы совещались сегодня утром, что́ нам должно предпринять после того эдикта, о котором ты первый мне сообщил ночью. Конечно, не в том дело, что оскорблен еще один из священных алтарей богов: мы были свидетелями за эти годы слишком многих таких оскорблений. Но повеление императора не может не вызвать волнения среди всех, еще почитающих заветы старины, и я прямо сказала, что должно этим волнением воспользоваться. Я предлагала немедля овладеть Городом, призвать верные нам легионы, Грациана объявить врагом отечества и выбрать нового императора. Присутствуй здесь Флавиан, он настоял бы на этом, но мои слова сочли за пустые мечтания женщины. Претекстат и Симмах повторяли, что мы не готовы к открытой борьбе, что у Грациана пока больше сил, чем у нас, и что преступно вовлекать империю в новую гражданскую войну. Эти доводы одержали верх, потому что люди всегда предпочитают согласиться с теми, кто советует помедлить... Решено удовольствоваться посольством от Сената к императору, которое, наверное, будет безуспешным... Однако я подчиниться такому решению не хочу. Долее медлить нельзя, потому что с каждым годом нас только крепче опутывают сети врагов. Надо быть смелым и помнить, что только тот может победить, кто не боится поражения. Одна против всех я хочу действовать, и ты в этом должен мне помочь, Юний!

Гесперия проговорила эту маленькую речь, может быть, заранее приготовленную, с таким искусством, как оратор в суде, но я мало вникал в ее доводы. С меня было довольно того, что Гесперия меня звала помочь ей, меня избирала

из числа всех других, чтобы мне доверить свой замысел, и я сказал в ответ:

— Это то, чего я хочу! Дай мне служить тебе, и я буду счастлив! Приказывай, я буду повиноваться.

Гесперия села рядом со мной, ласково обняла меня одной рукой, а другой нежно стала гладить мое лицо и, наклонившись ко мне близко, тихим шепотом продолжала:

— Они рассчитывают умом, а мы с тобой хотим жить сердцем. Я люблю ту цель, к которой стремлюсь, а ты клялся мне, что любишь меня. Есть ли такое в мире, чего не могут сделать двое, если ими движет любовь? Вдвоем мы можем больше, чем они с помощью всех своих легионов. Надо только верить и не бояться смерти.

— Приказывай,— повторил я, почти изнемогая.

Запах ароматов и ласка Гесперии опьяняли меня, как самое сильное вино, и я дрожал, как в бреду. В тот миг я не отказался бы ни от чего, что могла потребовать от меня Гесперия,— и она это знала.

— Милый Юний! — прошептала она мне, словно нашептывая любовные признания,— я хочу, чтобы ты совершил дело трудное и страшное. Но после всего, что ты мне сказал, я не хочу обижать тебя, требуя с тебя малого. Для той, кого любишь, сладостно исполнить лишь то, что угрожает смертью.

— Умереть по твоему повелению — это счастье,— прошептал я, задыхаясь от нежного прикосновения руки Гесперии.

Гесперия осторожно отодвинулась от меня, взяла что-то со стола и сказала мне голосом более спокойным:

— Вот здесь две вещи: возьми их. Это кошелек с деньгами, а это — кинжал.

— Деньги? — переспросил я, вставая изумленный.— Зачем мне брать у тебя деньги. Они мне не нужны.

— Я тебе это приказываю,— сказала Гесперия, нахмурив брови.— Они тебе будут нужны. Ты завтра поедешь с Симмахом в Медиолан.

Я растерянно смотрел на Гесперию, не понимая, какое отношение имеют ее слова к тому, что она говорила раньше, и слабо пробормотал:

— Неужели, после всех клятв, которые ты с меня взяла, ты просто хочешь меня от себя отослать?

— Юний! — строго возразила Гесперия, опять приближаясь ко мне.— Ты поклялся ни в чем мне не проти-

воречить, ни о чем меня не спрашивать. Где же твои клятвы? Ты завтра поедешь в Медиолан с Симмахом.

— Я это сделаю, если ты приказываешь,— печально сказал я.

Гесперия опять приблизилась ко мне и опять шепотом добавила:

— В Медиолане Симмах произнесет перед Грацианом свою речь. Император, конечно, откажет ему, тогда... Тогда ты вспомнишь, что я тебе дала кинжал... Если Грациан умрет, если вся империя будет охвачена бурей,— а кто захочет признать его преемником ребенка Валентиниана? — само собой придет время действовать, и никто уже не скажет, что надо еще медлить, еще выжидать... Ты меня понял?

Я, наконец, все понял, и странное чувство, смешанное из радости и ужаса, наполнило мою душу. А Гесперия стояла предо мной со строгим выражением лица, прекрасная, как Калипсо, и смотрела мне прямо в глаза. Я опять упал перед ней на колени и произнес:

— Ты посылаешь меня на смерть!

— Да,— отвечала она,— может быть, на смерть.

— Я исполню, что буду в силах, клянусь богами,— сказал я.

— Я знала, что ты согласишься,— произнесла Гесперия.

И вдруг, став, подобно мне, на колени, она охватила обеими руками мои плечи, быстро приблизила ко мне свое лицо и свои губы наложила на мои. Был поцелуй, который, казалось, проник в самую глубину моего существа, такой длительный и сладостный, что я почти потерял сознание. На один миг я не знал, еще живу ли я среди людей или уже отдан тому последнему блаженству, которое, по учению новых философов, встречает достойные души в минуту смерти, в минуту их слияния с Вечным...

Когда я очнулся, Гесперия вновь стояла предо мной такой же строгой, какой была, когда произносила свою искусную речь. Она протягивала мне кошелек и кинжал и говорила:

— Возьми и помни.

Я безвольно взял в руки переданные мне вещи.

— Теперь ступай и пришли ко мне Юлиания.

Я вышел, почти шатаясь, добрался до атрия и, не слушая, о чем меня спрашивал Юлианий, грубо сказал ему:

— Ступай к Гесперии!

Долгое время прошло, пока я вполне оправился: все мое воображение было заполнено поцелуем Гесперии, и мне казалось, что я все еще чувствую напечатление ее губ на моем лице. Понемногу рассудок вернулся ко мне, и я даже стал думать, что, вероятно, в эту самую минуту она совершает то же, что со мной, с Юлианием, а может быть, и нечто большее...

Но тут послышался шум шагов, и в атрий вошло все общество, бывшее в доме Гесперии: она сама, ее муж, Юлианий и несколько человек, раньше мне незнакомых, среди них — Претекстат и Симмах, оба в сенаторских тогах.

Претекстат был уже дряхлый старик, с лицом Катона, согбенный летами, но казавшийся высоким и повелительным. Нельзя было, видя его, не почувствовать к нему уважения. В Симмахе я узнал того посетителя Гесперии, которого не раз наблюдал во время своих ночных вигилий перед ее домом. Симмах был строен, высок, с благородным лицом, но было в его движениях что-то женственное.

Первым ко мне подошел Элиан, который сказал мне:

— Итак, Юний, ты хочешь помогать нам. Но ты должен знать, что мы не замышляем ничего дурного против божественного императора. Мы хотим только остеречь его от тех дурных советников, которыми он окружен. И запомни еще, что мы умеем наказывать тех, кто нам изменяет. У нас, как и у императора, везде есть очи и уши. И прежде всего ты должен в доме дяди молчать обо всем, что здесь услышишь. Старик Тибуртин человек достойнейший, но порой бывает откровенен с теми, с кем не следует. Если же ты будешь нам верен, мы твою судьбу устроить сумеем.

Элиан мне был давно ненавистен, и выслушивать от него советы мне было нестерпимо. Я постарался с достоинством ответить, что хочу служить их делу только потому, что считаю его своим, чту богов и люблю вечный Рим. Элиан мои слова принял как пустые речи ученика реторов, но старик Претекстат в ответ одобрительно закивал головой.

— Верно, верно, юноша,— сказал он.— Прежде всего должно чтить богов бессмертных. И не столько следует страшиться человеческих угроз, сколько их кары. На страшные муки обрекают подземные судьи оскорбителей святынь. Флегия и Иксиона вспомни, какие они испытывают в Тартаре мучения. От всех грехов очиститься можно

достодолжными жертвами, только оскорбителя богов не очистят никакие обряды.

Во время такого разговора я чувствовал себя маленьким мальчиком среди взрослых, но, по счастию, обратился ко мне Симмах, заговоривший деловым голосом:

— Мне Гесперия сказала, что ты поедешь со мной, Юний. Приготовься же, так как мы выезжаем завтра утром. Приходи ко мне, а я живу на Целии, в третьем часу и принеси свои вещи, а также захвати с собой дощечки и стиль; я не беру с собой писца, и ты будешь записывать, что я тебе буду диктовать.

После этого мужчины продолжали говорить о посольстве Симмаха, и меня изумляло, как мало внимания они оказывали Юлианию, который постоянно старался вставлять и свои замечания. Между тем Гесперия, отозвав меня в сторону, сказала мне:

— Тебе здесь больше нечего делать, Юний, уходи. Ступай по улицам, на форумы, в термы и везде слушай, что говорят о эдикте Грациана. Тебя никто не знает, и при тебе остерегаться не будут. Все, что услышишь, ты передашь Симмаху. О том же, чтобы тебе дано было право выехать из Города, мы позаботимся. Прощай.

— И больше я тебя не увижу? — жалобно спросил я.

Гесперия посмотрела на меня взглядом, в котором мне хотелось прочесть обещание чего-то особенного, и ответила:

— Если ты вернешься, исполнив мое поручение, ты меня увидишь.

Она отвернулась и отошла от меня, а я незаметно для других вышел из дома.

XVII

Забежав к себе домой, чтобы переодеться и спрятать деньги и пугион, данные мне Гесперией, я в точности исполнил ее приказание.

Я опять бродил по улицам и толкался среди толпы на всех форумах, но, к моему удивлению, нигде не было речи о вчерашнем повелении императора. Вся обычная жизнь Города шла своим порядком. Менялы отсчитывали деньги, покупатели торговались в лавках, щеголи показывали свое умение носить тогу или разные азиатские одежды, в углах форумов бедняки, сидя на мостовой, играли в кости, таберны были полны и шумны. Говорили обо всем, что за-

нимало Рим и вчера, и третьего дня, словно никто и не знал о эдикте императора, о ночном заседании Сената, о негодовании лучших людей империи. Впрочем, я заметил среди народа немалое число подозрительных лиц, одетых и богато и бедно, которые, подобно мне, прислушивались ко всем беседам, охотно вмешивались в чужие разговоры, и думаю, что не ошибся, приняв их за императорских соглядатаев.

Не узнав ничего на форумах, я пошел в термы Диоклециана, в которых еще ни разу не был. В другое время мое внимание привлекли бы поразительная роскошь их убранства, великолепная мозаика полов, строгость высоких колонн, роспись стен и дивные создания древнего искусства, собранные там волею их строителя. Но в тот день мне некогда было любоваться на мрамор и на статуи, на хитрые украшения, которыми отличалась каждая из многих сотен комнат, образующих эти термы: я добивался одного — услышать, что говорят граждане о судьбе алтаря Победы. Так как время года было уже холодное, то писцина была почти пуста, большинство посетителей, которые пришли не в библиотеку, спешило перейти из фригидария в тепидарий, и его громадный зал был полон распростертыми на мраморных скамьях голыми телами, около которых хлопотали прислужники, усердно растиравшие их руками и бронзовыми стригилями.

Я также позвал мальчика, чтобы он растер меня, и выбрал место около двух тучных мужчин, со сладострастием предававшихся наслаждениям бани и неумолчно разговаривавших друг с другом. На этот раз я попал удачно, так как речь точно шла об алтаре Победы, хотя говорившие и остерегались быть особенно откровенными в общественном месте.

— Слава господу Иисусу Христу,— говорил один из лежавших, подставляя под стригиль свои плечи,— может быть, теперь легче будет дышать в Городе, не правда ли, Соллерст? Только в одном Риме, во всей империи, и уцелели эти нечестия. Куда ни пойдешь, везде встречаешь соблазн: храмы идолам открыты, а в нос так и бьет проклятый дым от жертвоприношений.

— Ну, нет, милый Меробавд,— возражал Соллерст, повертываясь толстым животом вверх,— зачем стеснять верования других? Пусть каждый молится, как ему угодно: божество одно для всех, хотя бы его и почитали под обликом гнусных идолов.

— Как бы не так,— ответил Меробавд, черты лица которого выдавали его германское происхождение,— ты думаешь, греха нет кланяться ложным богам? Это — ересь, мой милый, смертная ересь. За такие мысли и от церкви отлучат. А что же святые мученики, которые пострадали за то, что не хотели поклоняться кумирам? Нет, мы воистину должны прославлять божественного императора за то, что он спасает нас от соблазнов. Дома у себя молись хоть чурбану, если тебе этого хочется, а ведь это стыд и позор был, что в самой Курии курили фимиам бездушной статуе.

Меробавд после своей речи сел на скамье и спросил служителя:

— А ты, любезный, что думаешь об императорском эдикте?

— Светлейший муж,— ответил тот,— как мы можем рассуждать о святости императора! Скажу только, что давно пора все эти богомерзкие статуи разбить молотком да побросать в Тибр. По улицам стыдно ходить,— столько их в Городе наставлено.

— Хорошо рассуждаешь,— сказал Меробавд,— ну, разотри мне теперь бока.

Некоторое время слышался только звук стригиля, очищавшего кожу почтенного германца, и его довольное сопение. Потом Соллерст, желавший, вероятно, несколько переменить разговор, спросил:

— А правда ли, что Сенат единогласно постановил послать посольство к императору и просить о восстановлении алтаря?

— Уж и единогласно! — возразил Меробавд,— вовсе не единогласно, а лишь малым большинством голосов. Да и то потому, что сенаторы-христиане не пошли в Курию. Прилично ли им было идти и обсуждать прямую волю императора, которой должно повиноваться. Кроме того, ты знаешь, что за люди эти идолопоклонники: будешь им возражать, а они изобьют, хотя бы то было и в Курии. Ну, да кончились их веселые дни, это ясно.

— Ох,— произнес Соллерст, вставая,— пойдем попаримся в калдарии, натремся маслом, да пора и обедать.

Охая от удовольствия, оба разговаривавших направились в другую комнату. Скоро и я последовал за ними, но уже не разыскал их в большой толпе. Служители не преминули сообщить мне, что у них есть красивые мальчики и отдельные комнаты; я, однако, от таких

услуг отказался. Наскоро закончив все, что полагается делать в термах, умастив тело в элеотезии, что было не лишнее перед предстоящей мне дорогой, я вышел на улицу.

Еще около часу я безуспешно ходил по Городу, наконец вернулся в дом дяди.

Здесь меня ждало несколько неприятных встреч.

Прежде всего меня остановила тетка, видимо, уже предупрежденная Гесперией о моем отъезде.

— Ты что же это, Юний, задумал?— сказала она мне.— Твои родители поручили мне тебя, чтобы я наблюдала за тобой, как мать, а ты со мной и посоветоваться не захотел? Тебе учиться нужно, чтобы после деньги зарабатывать, а ты вмешиваешься в дело, тебя не касающееся, да и не по своему уму. Что ты на дядю смотришь: он всегда был глуп и только и умеет, что проживать отцовские имения. Ну, да ведь он — сенатор, его тронуть, может быть, и не посмеют, а тебе свернут шею, как цыпленку. Что захотел,— ехать к императору!

Я возразил решительно:

— Ты знаешь взгляды моего отца. Я уверен, что он мой поступок одобрил бы. И нет ничего дурного в том, что я еду писцом при таком знаменитом человеке, как Квинт Аврелий Симмах. В его обществе я только могу научиться хорошему.

— Тоже бездельник твой Симмах,— ответила мне тетка.— Послушай-ка, что о нем говорит отец Никодим. Что Симмах сочиняет сладенькие письма, от которых иные женщины с ума сходят, еще не значит, что он знаменитый человек. Просто — болтун, который до седых волос за женщинами бегает, хотя у него своя семья, жена и дети. Доброму от него не научишься!

Освободившись кое-как от выговоров тетки, я наткнулся на поджидавшую меня Намию.

— Братик,— спросила она строго,— ты помнишь свое вчерашнее обещание?

— Милая сестрица,— ответил я, — ты слышала, что за это время случилось. Я ни о чем другом не могу думать. Ведь дело идет о благе всей империи. Когда я вернусь из Медиолана, я, клянусь Юпитером, отвечу тебе на все твои вопросы.

— Я понимаю, что это значит,— сказала мне Намия.— Так всегда говорят, когда не хотят прямо ответить. Но я теперь знаю, что мне должно делать.

Не дав мне сказать ни слова более, Намия скрылась, а я, постояв несколько мгновений в нерешительности, должно ли следовать за ней, решил было пройти в свою комнату, когда подбежал Мильтиад и сказал мне, что меня зовет дядя.

Дядю я застал весьма расстроенным,— видно было, что он выпил вина больше обыкновенного; меня он встретил такими словами:

— Все погибло, племянник! Мы были Римляне, был Рим и великая слава народа Римского. Увидел я вчера в Курии, что нет более доблести в Городе. Все перепугались, как школьники; все сенаторы оказались трусами. Я слышал, что ты едешь с Симмахом, но я тебе этого делать не советую. Все это посольство схватят и бросят в темницу, и тебя в том числе. И скажу тебе, что сам я в Риме оставаться не намерен. Завтра же собираю свои вещи и еду куда-нибудь в Малую Азию, чтобы обо мне забыли. Я не хочу, чтобы мне отрубили голову или сослали меня на какой-нибудь пустынный остров.

— Что ты, дядя,— возразил я,— разве можно быть столь малодушным. Тебе ничего не угрожает. Не казнят же всех сенаторов сразу.

— Все возможно в наш век,— ответил мне Тибуртин.— Разве ты забыл, как сто лет назад казнил Аврелиан! Палачи устали рубить головы сенаторам и всадникам. А при Констанции еще большее число нобилей было тайно задушено в тюрьмах. Да и Валентиниан не щадил нас, хотя он был истинный Римлянин, несмотря на то, что христианин. Доживу ли я еще до завтрашнего дня. Почему я знаю: может быть, моим рабам уже приказано удавить меня ночью. Я к себе в спальню боюсь идти.

Долго я успокаивал почтенного сенатора, который был так напуган, что каждую минуту просил посмотреть, не подслушивает ли кто-нибудь у двери. Наконец, когда нами был выпит еще секстарий кипрского, я отвел дядю, совсем пьяного, на ложе и с помощью верного Мильтиада уложил спать. Все же Тибуртин заплетающимся языком еще попросил меня положить около него меч, которым владеть он, вероятно, не умел.

— Если придут убийцы,— сказал он, засыпая,— я брошусь на свой меч... как Брут...

Только после всех этих происшествий я добрался до своей комнаты. Мне предстояло собраться в путешествие, и я долго раздумывал над тем, что мне делать с пурпуро-

вым колобием, спрятанным на дне моего дорожного ларя. Оставить его в доме дяди мне казалось неосторожным, и я решил, что всего лучше везти его с собой, вместе со всеми другими вещами. Я захватил в дорогу также все свои деньги и лучшие одеяния.

На другой день рано утром я приказал рабу нести свои вещи на Целий, в дом Симмаха. Проводить меня вышла только одна тетка, которая на прощание сказала мне еще несколько язвительных упреков:

— Отец тебе деньги дал на учение, а не на путешествия. Сначала наживи свои, а потом трать их по своему желанию.

— Я не истрачу ни асса своих денег,— возразил я,— обо всем позаботится Симмах.

Это несколько успокоило тетку, и она добавила:

— Ну, кто знает, может быть, это путешествие тебе и на пользу будет. Там при императорском дворе прославленный Амбросий. Если только удостоишься ты того, чтобы его видеть, наверное, ты обратишься к истине: это человек святой.

В доме Симмаха на Целии, одном из тех четырех домов, которыми владел он в Городе, строении роскошном и замечательном, застал я уже все готовым к отъезду. Симмах, в дорожном плаще, прощался с женой, Рустицианой, женщиной уже не молодой, и детьми, из которых младший сын был на руках у кормилицы. Вся семья, клиенты и рабы столпились в атрии, и многие плакали, словно провожая хозяина в опасный военный поход.

У дверей дома стояло несколько каррук и повозка, нагруженная вещами, к которым я присоединил и свой ларь. Симмах позвал меня сесть с ним рядом, в последний раз сказал несколько слов домашним, все его спутники также разместились по местам, и дан был знак ехать. Лошади побежали по мостовой, рабы с криками расталкивали впереди толпившийся народ, провожая нас до городских ворот. Быстро промелькнули уже знакомые мне улицы, дома, храмы, стены форумов и возвышавшиеся над ними дворцы Палатина. Еще раз взглянул я в ту сторону, где стоял дом Гесперии, и, миновав Фламиниевы ворота, мы выехали за город.

Я под плащом сжимал рукоятку кинжала, данного мне Гесперией.

Книга вторая

I

Наш маленький поезд состоял из двух каррук, одной простой реды и повозки с вещами. В первой карруке ехал со мной Симмах, во второй — два других сенатора, согласившихся участвовать в посольстве, Пробин и Оптат, в реде — те рабы и служители, которых сочли нужным взять с собой в дорогу.

Оказавшись рядом с таким человеком, как Симмах, я, разумеется, первое время чувствовал себя крайне стесненным. Мое смущение увеличивалось еще тем, что до того времени мне не приходилось ничего читать из прославленных сочинений Симмаха. Он же сначала также держал себя со мной высокомерно, почти не удостаивая меня разговора, и мне оставалось только молча наблюдать памятники, окаймляющие Фламиниеву дорогу, а после однообразные виды южной Этрурии.

Однако понемногу Симмах убедился, что я не так недостоин его беседы, как ему первоначально казалось, и, когда я выказал некоторое знание Римской литературы, он охотно стал со мной делиться своими мыслями. Так мы заговорили о моем соотечественнике, уроженце Галлий, славном поэте Дециме Магне Авсонии, которого Симмах знал лично, встретившись с ним при дворе Валентиниана в Тревирах, и Симмах мне сказал:

— Это прекрасный поэт, стихи которого насыщены лучшими образцами древности, но последний поэт Римский. Камены, которых приманил в Лациум гений Горация, покидают страну, им негостеприимную. Умирает самый язык латинский, из которого варвары, заполнившие империю вплоть до Сената, сделали новое наречие, звучащее грубо и дико. Погибает знание литературы древней, старые рукописи гниют ненужные в библиотеках, и писцы заняты переписыванием нелепых измышлений разных христианских лжефилософов. Исторические сочинения за-

менены краткими извлечениями, вместо новых поэм нам предлагают центоны, составленные из стихов Вергилия, ораторам более негде произносить их речи, и поэты тратят свое время на сочинение гимнов в оправдание божественности Христа. Мы — последнее поколение Римлян, которым дано наслаждаться великими богатствами нашего прошлого и принести последние камни, чтобы довершить великолепное здание нашей истории. Нам на смену придут люди, которым речь Ливия или Цицерона уже не будет понятна, которые над темными для них преданиями предков будут смеяться, и мир вернется в тот хаос, из которого вывели его основатели империи — Цезарь, Август, Траян.

Эта безутешная речь Симмаха крайне меня поразила, и я со всем должным уважением спросил его:

— Светлейший муж! Почему же ты, думая так, предвидя близкое падение Рима, принимаешь на себя его защиту, едешь сейчас к императору просить о восстановлении в Курии алтаря Победы? Не все ли равно, будет осуществлен эдикт Грациана или нет, если в конце концов Римской славе суждено погибнуть? Стоит ли делать какие-либо усилия, если, по твоему мнению, в лучшем случае можно лишь на несколько лет отсрочить гибель?

Симмах внимательно посмотрел на меня своими умными и добрыми глазами, откинулся в глубь карруки и потом, словно нехотя, несколько ленивым голосом ответил мне:

— Видишь ли, Юний, если Риму и суждено погибнуть, он должен погибнуть с достоинством: слишком прекрасно и величественно было его прошлое, чтобы можно было допустить его до унизительного конца. То, что я сейчас говорю тебе, я обыкновенно таю от всех и считаю преступлением разглашать. Наше дело — до последней минуты оберегать величие древнего Рима. Мы как бы хранители прекрасного, но ветхого храма; мы знаем, что балки в нем подгнили, что стены угрожают падением; но мы не даем этого увидеть непосвященным. Пусть в прежней красоте стоит перед взорами всех славное здание, и пусть не распадется оно по частям, но сразу рухнет, погребая весь мир под развалинами... Когда приходилось мне стоять у власти,— а я был, как ты знаешь, корректором Лукании и Бруттия, проконсулом Африки и занимал немало других важных должностей,— я всегда требовал, чтобы все обычаи старины исполнялись строго. Так, например, когда

я, будучи понтификом Весты, узнал, что одна весталка в Альбе нарушила свой обет, я настоял, чтобы, по древнему закону, ее живой опустили в могилу. Я старался, чтобы все, что нам завещали века, было сбережено благоговейно, и не позволял дерзновенной руке современности посягать на седины обычая. Я буду до конца моих дней беречь святыню нашей древности и золотому Риму готовить красивую смерть.

Впервые мне приходилось слышать такие речи, и притом их произносил тот, от кого я всего менее мог ожидать подобных предсказаний. Я привык, напротив, когда заговаривали о судьбе империи, выслушивать горделивые панегирики ее мощи, ее новому расцвету, ее вечности. И, несмотря на все мое почтение перед моим знаменитым собеседником, я не мог ему не ответить:

— Нет, я не верю в твои печальные пророчества! Рим вечен, и нет в мире такой силы, которая могла бы его сокрушить. Уж не германцы ли, или не скифы ли придут в Город, чтобы владеть его землей,— те самые, которые способны только на грабежи пограничных областей и, едва увидев блеск образованности Римской и силу империи, бывают счастливы вступить в ряды легионеров или добиться звания гражданина? Уж не безумие ли христиан, которое на время отуманило столько голов, будет способно затмить в Римлянах тот их ясный ум и те их способности, которые были вскормлены тысячелетием? Тяжелые годы пройдут, как туча, подобно тому, как не раз проходили жестокие бури над империей, и опять встанет наш древний Рим в неизменном величии, как глава вселенной. Не читаем ли мы даже на монетах надпись: вечный Город. Вечным ему и судили быть бессмертные боги!

Так и подобным образом разговаривая, мы подвигались вперед по Фламиниевой дороге, которая по своей прочности и прекрасному устройству может быть причислена к удивительнейшим сооружениям древности. Сначала мы беспрестанно обгоняли прохожих и проезжих, потом путешественники стали встречаться реже, наконец наш поезд оказался одиноким среди зимних полей, пересеченных прямым, как тетива лука, каменным путем. После почти четырех часов беспрерывной езды мы решились остановиться у одной мансионы, чтобы отдохнуть и переменить лошадей.

То было небольшое двухэтажное строение, окруженное конюшнями и другими пристройками, неприятного и уг-

рюмого вида. Перед домом стояло немало разных повозок и толпилось много людей, очевидно, путешественников, ожидающих лошадей и мулов. В открытую дверь была видна обширная комната, тоже полная людей, проводивших вынужденный досуг за кубками вина. Несколько в стороне лежало красивое этрусское селение, с домиками в греческом вкусе, окруженными садами, и все опоясанное невысокой стеной.

Наши рабы поспешно бросились в дом, чтобы предупредить начальника мансионы о том, какие выдающиеся гости приехали к нему, а мы остались перед входом, расправляя члены тела, утомленные от долгого сидения.

— Я так устал,— сказал Симмах Оптату,— что готов отказаться от всей поездки и отсюда вернуться в Город.

Вид у Симмаха, действительно, был очень утомленный, он как-то согнулся и словно с трудом передвигал ноги.

— Однако ты привык к дальним путешествиям,— возразил Оптат,— ездил на Рейн и в Африку и бессчетное число раз через всю Италию.

— И всего больше я ненавижу путешествия,— возразил Симмах.— В течение многих дней быть лишенным и бани, и книг, испытывать утомление и однообразие пути — это худшее наказание, какое можно выдумать. Из всех смертных я всего более жалею о вечном путешественнике, Адриане.

Между тем появился мансионарий, человек суровый, с чертами лица этрусскими и говоривший с этрусским выговором. Этот разен, как по сю пору именуют себя этруски, приветствовал наше общество весьма почтительно, предложил нам войти в лучшие комнаты дома, но в то же время определенно заявил, что лошадей у него нет.

— Передай ему, Юпий,— сказал Симмах, не желавший разговаривать с мансионарием лично,— что мы едем по повелению Сената. Мы — послы Сената, и нам он обязан дать лошадей немедленно.

Оптат для большей убедительности показал мансионарию диплому на проезд, выданную Сенатом, но этруск остался непоколебим.

— Я назначен,— возразил он,— по повелению божественного императора августа Грациана и обязан лошадей давать лишь тем проезжим, которые представят повеление от префекта или магистра оффиций.

— Негодяй! — закричал Симмах.— А разве Сенат существует не по воле императора! Знаешь ли ты, что я сей-

час напишу префекту, и тебя за твое ослушание завтра же бросят в тюрьму! Клянусь Юпитером, несдобровать тебе, если будешь упорствовать!

Этруск при имени отца богов быстро перекрестился и ответил:

— Светлейший муж! Я верно служу императору, и меня префекту не за что отправлять в тюрьму. А лошадей у меня нет, потому что последних я отдал сегодня послам епископа Римского.

Оптат и Пробин убедили Симмаха войти в дом отдохнуть, надеясь, что им удастся уговорить упрямого этруска. Мы поднялись во второй этаж, где нашлись сравнительно хорошие комнаты и где рабы тотчас стали готовить нам обед. Симмах был по-прежнему раздражен и в негодовании повторял:

— В каких-нибудь двадцати милях от Рима с послами Сената обращаются, как с первыми встречными! Первая должность, которую я буду себе просить, это — префектура Италии, и тогда я научу этих потомков лукумонов уважать звание сенатора!

Вскоре появился Оптат, принесший известие важное. Оказалось, что утром, опередив нас, по той же дороге уже проехало посольство от сенаторов-христиан, направлявшееся также к Грациану. В великой тайне сенаторы-христиане собрались накануне у епископа Римского Дамаса, составили письмо к императору о том, что решение Сената было принято насильственно, и поспешили отправить послов в Медиолан.

Симмах при таком известии сразу лишился своей твердости и своего мужества. Странно было видеть, как, после слов Оптата, мгновенно изменилось лицо Симмаха, как он, почти в бессилии, упал на скамью и оставался некоторое время неподвижным, словно пораженный молнией Юпитера. Потом унылым голосом он произнес:

— Если это так, то нам всего лучше немедленно вернуться в Город.

— Помилуй,— возразил Оптат.— Напротив, тем более нам ехать необходимо и должно поторопиться, чтобы опередить епископское посольство.

— Нет,— ответил Симмах,— я теперь знаю, что наше дело проиграно. Мы живем в такое время, когда слушают только христиан. Быть христианином в наши дни — это средство получать милости двора. И если к императору явятся два посольства, одно — с именем Сатурния, дру-

гое — Христа на устах, нет сомнения, что благосклонно будет принято только последнее. А Дамаса я знаю: это человек лукавый и неукротимый; чего он хочет, того всегда добьется.

Уныние, овладевшее Симмахом, не помешало ему, как, впрочем, всем нам, хорошо пообедать, тем более, что местное, фалернское, вино было превосходно. После обеда Оптат отправился опять разговаривать с мансионарием и в конце концов, с помощью разных угроз и обещаний, добился того, что тот дал нам лошадей. Как я подозреваю, он с самого начала был уверен, что уступит, и только, исполняя чей-то тайный приказ, старался нас задержать сколько мог дольше.

Переменив лошадей, мы все же подвигались далее довольно медленно, так как позднее время года значительно испортило дорогу. С каждой новой милей я чувствовал все большее и большее утомление, Симмах, по-видимому, тоже, и наши с ним беседы прекратились. Думать о том, что ждало меня в Медиолане и что мне представлялось чем-то смутным и страшным, мне не хотелось, и я предпочел дремать. Было совсем темно, когда мы добрались до города Старые Фалерии, где было решено переночевать.

Попав в гостиницу, я думал, что мне позволено будет тотчас подставить свою голову под сладкие маки Морфея, но Симмаху, который перед тем казался совершенно изнеможенным, именно тогда пришло желание работать. Он позвал меня к себе в комнату, велел подать свет и начал мне диктовать письма. Почти засыпая, непослушной рукой выводил я буквы на воске, и стил едва не выпадал из моих пальцев.

Поразило меня то, что Симмах, который говорил даже в небрежной беседе чрезвычайно красноречиво, начиная диктовать, едва ли не вполовину утрачивал всю яркость своей речи. Все же в первоначальном наброске письма еще находилось немало блестящих выражений, смелых оборотов и красивых сравнений. Однако, продиктовав письмо вчерне, Симмах начинал его исправлять, преимущественно выкидывая слова, ему казавшиеся лишними, и сокращая несколько предложений в одно. Понемногу от письма оставалось всего несколько строк, по большей части сухих и холодных, хотя и написанных с изяществом и безукоризненным латинским языком.

— Я должен заботиться о своих письмах,— как бы извиняясь, сказал мне Симмах,— это, вероятно, един-

ственное, что сохранится от меня, как писателя. Уже теперь есть лица, которые собирают мои письма, словно письма Цицерона или Плиния, и составляют из них сборники для потомства. Знаешь ли: случалось, что моих рабов, отправленных с письмами, схватывали по дороге особо посланные люди, не с целью грабежа, а только затем, чтобы списать мое письмо и список доставить своему господину.

Последнее сообщение Симмах сделал не без скрытого самодовольства.

Было, кажется, за полночь, когда Симмах меня отпустил, и я, кинувшись в постель, не обращая внимания на множество клопов, напавших на меня с не меньшим ожесточением, чем когда-то на Гитона, заснул сном непробудным.

II

Утром мы возобновили наше путешествие.

Дорога становилась все более затруднительной, так как местность постепенно делалась более гористой. К тому же начался беспрерывный дождь, слепивший глаза лошадям и заливавший нас, несмотря на плотную покрышку карруки. В то же время мы страдали и от холода, против которого не помогало даже вино, которое мы с собой везли в изобилии.

Симмах сделался угрюм и неразговорчив и только время от времени высказывал самые безотрадные суждения. Так, например, глядя на заброшенные поля, которые когда-то были возделаны, на одичалые маслины, на покинутые дома, с дверями, заколоченными досками, что нередко были видны по сторонам дороги, он говорил:

— Посмотри, Юний, какая пустынная страна. Италия разорена налогами и междоусобиями, жители покидают селения и разбегаются. Скоро не останется италийцев, и все Римляне будут состоять из галлов, испанцев и африканцев.

Или, видя плохое содержание дороги, он жаловался:

— Никто не заботится о поддержании того, что сделано предками. Сила Рима — в его дорогах, которыми он связал весь мир в одно целое, по которым он может перебрасывать товары и легионы из одного края света в другой. Прадеды наши знали, что надо делать: строили дороги, мосты, крепости. А в наше время воздвигают базилики

Христу и его святым или деньги государства вкладывают в монастыри, чтобы они лежали там без пользы.

Впрочем, при всех трудностях пути, мы к позднему вечеру доехали до Мевании, маленького городка в красивой долине, хотя повозка с нашими вещами и отстала от нас далеко. В общем за этот второй день мы сделали больше пятидесяти миль, что можно назвать хорошей скоростью. Однако Оптат и этим был недоволен.

— Цезарь,— говорил он,— проехал однажды путь от Рима до Родана, почти восемьсот миль, меньше чем в восемь дней! Ему случалось в день проезжать по сто двадцати пяти миль. Ицел привез Гальбе из Рима в Клунию известие о смерти Нерона в неполные семь дней. Посол, везший при Вителлии в Рим известие от прокуратора Бельгики о возмущении четвертого и двадцать второго легиона, проскакал тысячу четыреста сорок миль в девять дней. Тиберий, когда спешил из Тицина к больному Друзу в Германии, сделал в сутки двести миль!

— Довольно, милый Оптат,— возразил Симмах,— мы знаем, что ты человек начитанный. Но все, тобой перечисленные, ехали или за наградой, или по важному делу. А куда нам спешить? Мы едем за немилостью императора, а при этом можно и не торопиться. Да и пусть сначала при дворе уляжется впечатление от посольства Дамаса. Мы поступим умно, если дадим себя перехитрить.

После Мевании Оптат пересел в карруку к Симмаху, а я поместился с Пробином. Это был человек уже далеко не молодой, который со мной разговаривал, как с мальчиком. Но он сообщил мне много важных сведений о императоре и его дворе, которые мне не были известны.

— Грациан,— говорил он,— почти отказался от власти. Целые дни он проводит в огороженных лесах, где забавляется тем, что стреляет загнанных туда животных. Недаром его сравнивают с Коммодом. Все эдикты, издаваемые от имени императора, написаны Амбросием. Это он — истинный правитель империи. Он овладел душой молодого императора и подчинил ее себе, угрожая ему мучениями ада и обещая блаженство после смерти за содействие целям христиан. Пока Грациан следовал советам своего первого наставника, знаменитого Авсония, он был правитель деятельный и во всех возбуждал лучшие надежды. Тогда его равняли не с Коммодом, а с Титом Счастливым. Грациан выказал себя даже хорошим полководцем в походе против аллеменов. Но как поступать дол-

жен человек, когда он уверится, что вся земная жизнь — лишь пустая суета, что настоящее существование начинается лишь за дверью гроба? что истину знают одни христианские священники и что им дана власть прощать грехи и тем открывать душе путь к вечному блаженству? Когда Амбросию удалось все эти убеждения вложить в слабую душу юноши,— тому ничего другого и не осталось делать, как предоставить правление империей епископу, просвещаемому непосредственно божеством. Сам же Грациан заботится не о судьбах империи, а о спасении своей души, стараясь в жизни совершать как можно меньше грехов или, по крайней мере, только такие, которые тот же Амбросий может ему немедленно отпустить.

— Таким образом,— спросил я,— у нашего посольства нет никакой надежды на успех?

— Не совсем так,— возразил Пробин.— Во-первых, мы можем надеяться на доводы такого замечательного оратора, как Симмах, который составил речь искусную и умеренную. К тому же Симмах в родстве с Амбросием и, может быть, лично сумеет его убедить не раздражать население Города. Во-вторых, можно будет постараться поколебать значение самого Амбросия. Тебе не неизвестно, что среди христиан давно враждуют две партии: последователей учения Афанасия и учеников знаменитого Ария. Императрица Юстина, мать соправителя Грациана — мальчика Валентиниана, придерживается арианства. Поэтому Амбросий постарался устранить ее от дел правления, заставил жить вдали от двора, в Сирмии, и лишил Валентиниана той доли власти, какая ему по праву принадлежит. Мы же постараемся соединиться с приверженцами Юстины и общими усилиями одолеть Амбросия, которым многие недовольны и среди христиан.

Все эти соображения мне показались малоутешительными. Но все же я был очень благодарен Пробину за его рассказы, объяснившие мне положение дел. Кроме того, Пробин сообщил мне немало важного о самом Амбросии, о разных видных лицах, состоящих при императоре, а также о том, как я должен буду вести себя при дворе, если мне придется туда явиться с посольством, и какими титулами именовать различных сановников.

Когда мы молчали, я предавался воспоминаниям о Риме, о Гесперии, о ее поручении. Впрочем, о последнем я старался думать как можно меньше, решив все предоставить воле Фортуны, богини с глазами, закрытыми повяз-

кой. Зато я сладостно вспоминал все подробности того поцелуя, который мне дала Гесперия, и мне не было скучно бесконечное число раз представлять, как я видел близко, близко от себя ее прозрачное лицо и алые губы.

Третью ночь мы ночевали на маленькой мансионе, расположенной в горах, так как непогода решительно не позволяла нам подвигаться вперед. Здесь Симмах, который сказал, что чувствует себя больным, решительно объявил, что он далее не поедет и отсюда вернется в Город. Двум его друзьям пришлось очень долго его уговаривать, как плачущего ребенка.

— Из-за чего мы себя мучим,— спрашивал Симмах,— блуждая в холод и в дождь по большой дороге, ночуем в грязных гостиницах и терпим всякие лишения? Никому не будет никакой пользы от нашего посольства, а себе мы испортим и желудки, и настроение духа, и, может быть, всю жизнь. Три дня я не держал в руках ни одной книги. Ах, я сейчас с восторгом стал бы читать даже Толкования Оригена!

С большим трудом Симмаха удалось успокоить, и наутро он, конечно, первый стал всех торопить в дорогу.

К вечеру четвертого дня мы добрались до берега моря и остановились в городе Фанум Фортуны. Благодаря тому, что в этот город ведет Фламиниева дорога, здесь поворачивающая на север, в нем всегда царит оживление. В гавани, хотя над морем свирепствовали и Эвр и Нот, стояло много судов, улицы были полны разноплеменным людом, многочисленные таберны шумны. Весть о приезде Симмаха быстро разошлась по городу, к нашей гостинице, носившей название «Тритон трубящий», собралась толпа юношей, желавших видеть знаменитого оратора, и нас сочли нужным посетить с приветствием представители городской курии. Это все ободрило Симмаха, и он перестал жаловаться на трудности путешествия.

От Фанума Фортуны дорога сделалась легче, и погода нам благоприятствовала. В больших городах, через которые нам случалось проезжать, появление Симмаха тоже возбуждало любопытство многих, и это явно льстило его самолюбию. Мы всячески торопились, тем более что епископское посольство далеко опередило нас, но все же потратили еще четыре дня на переезд через Умбрию и по Эмилиевой дороге через Галлию Цисальпинскую. Из Пармы мы отправили одного из рабов верхом в Медиолан известить о приближении Сенаторского посольства. Сами

же мы только на исходе восьмого дня путешествия, совершенно измученные дорогой, оставив повозку с вещами позади, завидели, наконец, вдали стены Медиолана.

III

В Медиолане наше посольство остановилось в доме члена местного сената, имевшего титул comes vacans, Тита Коликария, человека богатого и давнего друга Симмаха. Коликарий встретил нас с великим почетом, отвел всем четверым, и мне в том числе, великолепные комнаты и обещал всяческое содействие в нашем деле. Но в первый вечер мы ни в чем ином не нуждались, кроме освежительной бани, масла для растирания утомленного тела и хорошего ужина.

На другой день утром рано я пошел осматривать город, ставший за последние годы главным местопребыванием императорского двора. Блеск Медиолана меня поразил, несмотря на то, что во мне еще были живы впечатления Рима. Я видел пышные мраморные перистилии, уставленные прекрасными статуями, много роскошных домов, прямые, широкие улицы, величественное здание закрытого театра, громадные бани Геркулеса, на окраине города обширный цирк,— и все это было окружено мощной стеной с глубокими рвами. Но улицы, после Римского шума, казались мертвыми и пустынными, хотя особенно часто встречались на них люди, торжественное, шитое золотом одеяние которых выдавало в них высших сановников.

Когда я вернулся домой, меня к себе позвал Симмах, и я удивился неожиданной неутомимости этого человека. Сразу забыв о трудном восьмидневном пути под зимней непогодой, он принялся за работу с таким рвением, словно не покидал своего Римского дома. Симмах продиктовал мне больше десяти писем, правда, коротких, но из которых каждое было образцом изящества и притом ни одно не походило на другое ни по языку, ни по высказанным мыслям. Эти письма были немедленно отправлены с рабами во все концы империи, в том числе к Флавиану в Константинополь.

На обед Коликарий пригласил большое общество, так как все лучшие люди города желали увидеть Симмаха. Благодаря его вниманию, я также участвовал в этом замечательном симпосии, о котором, конечно, не умолчат летописи нашего века. И тот Медиолан, где я ждал для

себя чего-то страшного, волчьих пастей Сциллы, в первый день моего в нем пребывания встретил меня веселым праздником и мудрыми речами философов.

Хозяин дома не поскупился на пышное убранство триклиния, в котором происходил пир. Не говоря о том, что стены и колонны комнаты, а также маленькая сцена, находившаяся в глубине, были, невзирая на время года, пышно убраны цветами и зеленью, что ложа были устланы дорогими коврами, а стол заставлен серебряной посудой,— но было здесь немало других ухищрений, обличавших ловкость и изобретательность домоправителя. Так, множество маленьких лампад было помещено в прозрачные вазы, сквозь которые свет проходил причудливо-измененным; другие лампады были поставлены позади больших стеклянных сосудов, наполненных водой, в которых мелькали разноцветные рыбы. Мальчики-рабы, прислуживавшие за столом, были разделены на смены, и каждая из них одета в одежды одного и того же цвета, так что зал то наполнялся толпой служителей в белом, то в зеленом, то в желтом; у всех при этом были венки на головах. Тихая музыка, доходившая откуда-то издали, словно через водное пространство, не смолкала во все время обеда, независимо от того, что на сцене появлялись то мимы, то плясуньи, то декламаторы стихов.

Приглашенных собралось не меньше, как человек сорок, но имен большинства из них мне не удалось узнать; я только мог заключить, что многие из них принадлежали к высшим сановникам империи, так как одни носили консулярскую тогу, другие — белую одежду кандидатов, третьи — одежды, великолепно вышитые золотом с золотыми пряжками, и, обмениваясь между собой речами, они беспрестанно употребляли титулы: vir clarissimus, illustrimus, spectabilis, дукс и комит. Женщин было сравнительно немного, но все они были одеты также богато, в шелковые столы с богатыми институтами, с головы до ног сверкали золотом и драгоценными каменьями, так как не только носили ожерелья, запястья, кольца, но помещали алмазы и сапфиры даже на шпильках в волосах и на застежках сандалий. Скромнее других была одета жена нашего хозяина, молчаливая и всегда грустная Фальтония.

Коликарий своим поведением на пире нисколько не напоминал незабвенного Тримальхиона, но, напротив, старался оставаться незамеченным, предоставляя гостям полную свободу. Так как мне указали одно из самых скром-

ных мест,— что было естественно,— то первое время обеда я не мог слышать ничего из тех разговоров, которые происходили на другом конце стола, где Симмаха и двух других сенаторов поместили около хозяина и его жены. Я довольствовался тем, что забавлялся ловкими мимами, с антиохийской ловкостью разыгравшими какую-то пантомиму, смотрел милых арабийских и испанских плясуний, скакавших вокруг поставленных вверх острием кинжалов, и не отказывался от изысканных блюд, которые в бессчетном числе подавали рабы, сменяя закуски, состоявшие из искусственных яиц, начиненных ломтиками сони, из тоненьких колбасок, из сирийских слив и сицилийских фиг,— всякого рода рыбами, разными мясными кушаньями, куропатками, фазанами с затейливыми приправами и еще многим иным. Не отказывался я и от великолепных вин, которыми мальчики-виночерпии непрерывно наполняли наши кубки, следуя всем приглашениям «царя пиршества», хозяина и отдельных гостей,— выпить здоровье божественного и возлюбленного императора, славного гостя Симмаха, его спутников Оптата и Пробина и других, на что, конечно, следовали предложения от членов нашего посольства — выпить здоровье приветливого хозяина, его жены, их родственников и разных именитых граждан Медиолана.

Я, впрочем, обменялся несколькими словами с юношей, возлежавшим рядом со мной, который, судя по всему, принадлежал к отряду доместиков и имя которого было Ардабур. Я у него спросил имена некоторых гостей, и он, удовлетворив мое любопытство, добавил:

— Это все — цвет медиоланского общества. За последние годы в нашем городе собрались замечательнейшие люди всей империи. Лучшие ораторы, знаменитейшие художники и поэты, великие философы,— все съехались в Медиолан. Отсюда теперь распространяются по всей земле законы изящества и хорошего вкуса, и нет города, где жизнь была бы более приятной, веселой и утонченной.

Понемногу изобильные кубки, по выражению Горация, всех сделали красноречивыми, и тогда на том конце стола, где помещались почетные гости, возник настойчивый спор, скоро привлекший общее внимание. Другие гости невольно смолкли, и все могли присутствовать при замечательном состязании ума и остроумия знаменитых собеседников.

Молодой человек (о котором Ардабур мне сообщил, что это — племянник примицерия священной спальни,

Флавий Эций, мечтающий стать новым Тацитом, а пока так запутанный в долгах, что у него и волоска свободного нет) говорил, отвечая, по-видимому, на речь Симмаха, которой я не слышал.

— Нет, в этом я тебя правым не считаю. Как ты хочешь, чтобы жизнь Римская оставалась неизменной в течение столетий? Что не изменяется, то и не живет, и что было прекрасно для древности, для нашего времени уже непригодно. Справедливо, что люди наших дней не похожи на современников Цицерона, у нас другие обыкновения, другие одежды, и говорим мы языком, отличающимся от их языка. Но разве эти современники Цицерона были похожи на квиритов Ромула и Тация? Какой именно век ты хочешь оковать навеки, запретив старому Сатурну исполнять свое дело? Почему ты считаешь, что истинные Римляне жили в одно время с Катилиной, а не с Фабрицием или не с Александром Севером. Во дни Ливия уже не понимали договоров, писанных старинным языком, и надписей на древних статуях. Это потому, что язык латинский усовершенствовался. Зачем же ты хочешь нас заставить говорить языком Ливия и изгнать из нашей речи все те новые слова и обороты, которые ей придают новое разнообразие и новую красоту? Ты осуждаешь, что мы переняли одежду у народов азиатских,— но ведь она красива и приятна для глаза, а старая Римская тога поистине надоела, да и неудобна. Если бы Фабий Пиктор рассуждал, как ты, он не должен был бы вводить в Рим искусство живописи, ссылаясь на то, что раньше этого у Римлян не бывало. Ты недоволен, что способ управления империей и провинциями изменился. Но ведь только это и дало возможность Римлянам вновь ввести порядок в свои безмерные владения, которые при Галлиэне едва не распались на отдельные царства. Великий Диоклециан изменил форму правления, но разве не то же сделали древние Римляне, завоевав Сицилию и назначив для ее управления третьего претора? Нет, из того, что на нашей памяти все в империи изменилось, пошло другим порядком, приняло новые формы, вывожу я именно то, что Рим жив и силен, что он с каждым веком обновляется, как дерево, дающее новые ветви и покрывающееся новой листвой. А ты хочешь, чтобы Рим стал засохшим стволом, старую кору которого должно благоговейно беречь.

Эций говорил с уверенностью человека, который привык, что его словами восхищаются, не особенно громким,

но отчетливым голосом, делая небольшие, но плавные жесты, оттеняя заключительные клаузулы и явно обращаясь ко всем присутствующим. Речь была выслушана с величайшим вниманием и была сопровождена одобрительными возгласами. Все обратили глаза на Симмаха, словно гости Дидоны на отца Энея, и славный оратор, который слушал своего противника с благосклонной улыбкой, помолчав немного, ответил так:

— Мой дорогой Эций! Не сам ли ты опровергаешь себя, когда выступаешь врагом латыни Цицерона в речи, которая может служить образцом по чистоте языка. Дело в том, что есть в прошлом хорошее и дурное. И если от дурного должно избавляться, заменяя его лучшим, то хорошее подобает охранять и оберегать. Что же делает наш век: не стремится ли он уничтожить все старое, преследуя только новизну и не заботясь о том, хороша она или нет. Благородную, белую тогу, которая Сенату в глазах Кинея придала вид собрания царей, сменили на тяжелые одежды, превратившие людей в неуклюжие статуи; простоту старинных нравов — на азиатскую роскошь и на африканский разврат, убившие доблесть и мужество; ясность языка Плиния — на напыщенную реторику или на такое наречие, в котором больше слов германских или скифских, чем латинских. Наши древние учреждения были созданы Римлянами и испытаны в течение веков мира и войны; а новые — выдуманы придворными, заботящимися лишь о своих доходах, а не о благе империи. Ты спрашиваешь, какой век избрать для подражания,— тот, в какой могущество Рима возрастало, а не падало; тот, когда рождались великие полководцы, писатели и философы, а не тот, когда остается только вспоминать славное прошлое. Пусть гибнет то, что несовершенно, но не должно того касаться, что образует самую сущность имени Римского. Если все изменять, нам придется от этого имени отказаться, так как ничего общего с Римом древности у нас не останется. Хочешь ли ты, чтобы вместо империи Римской явилась империя Германская и чтобы законы вселенной писались на языке франков? По-моему, то будет не только погибель Рима, но и мира.

— Не все было так прекрасно в старину,— воскликнул Эций, не желавший уступать.— Или ты забыл поборы Верра в Сицилии? продажу голосов в трибутных комициях? моря, в которых кишели пираты? дороги, полные разбойниками? Забыл, что там, где прежде были пустыни,

теперь стоят цветущие города? что Галлия, которая после Цесаря славилась только окороками и пивом, теперь прославлена своими реторами? что Испания и Африка полны библиотеками? что жизнь стала утонченнее, что образованность распространилась по всей земле, что весь народ стал просвещеннее? И, клянусь Кастором, такой философ нашего времени, как Ямблих, стоит болтуна Цицерона, такой историк, как Аммиан Марцеллин, не ниже Тацита, такого математика, как Папп Александрийский, не имела древность ни Греции, ни Рима, и за одну «Моселлу» нашего Авсония я отдам всего Лукана с Силием Италиком в придачу!

Это возражение Эций произнес с такой страстностью, конечно, намеренной, что невольно привлек к себе сочувствие слушающих, и Симмах, сознавая, что победа не на его стороне, вместо возражения обратился к язвительной насмешке.

— Послушать тебя,— сказал он,— богиня Астрея вернулась на землю, вновь наступил золотой век. Может быть, ты одобряешь и то, что Римляне отказались от религии своих предков и строят храмы новому божеству.

— Что ж в этом дурного! — уже запальчиво воскликнул Эций.— Разве не предрекали древние поэты, что царство Юпитера должно кончиться, как имело свой конец царство его отца Сатурна, и разве Эсхил не сказал нам, что придет некто, который Юпитера

с неправого
Низвергнет трона в неизвестность!

Почему мы знаем, что не кончилось царство Юпитера?

Симмах хотел опять что-то возразить, но хозяин дома, Коликарий, быстро вмешался и сказал:

— Милые мои гости! я не хочу, чтобы в моем доме подымали спор о религии и подвергали обсуждению ту веру, которой следует божественный император. Мы все благодарны за любопытные мысли, высказанные нашим молодым другом, Флавием Эцием, и еще более за то, что наш знаменитый гость, Квинт Аврелий, захотел поделиться с нами своим красноречием и мудростью. Я же вам предлагаю выпить за вечный Рим и за вечную славу народа Римского. Мальчики, наливайте!

В шуме кубков все слова потонули, и хотя я видел, что спор еще продолжался, но до меня долетали только отдельные слова, «редкие пловцы, появлявшиеся в обшир-

ной пучине». В то же время на сцене показались девушки с цимбалиями и крепитакулами и начали исполнять какую-то шумную песню.

Пир продолжался до позднего вечера и закончился настоящей овацией в честь Симмаха, которого увенчали лавровым венком и в честь которого особые певицы пропели нарочно для того написанную оду.

IV

Когда я на следующий день, после пира, утром вышел на улицу, чтобы освежить голову, внезапно воспоминание о данной мною клятве встало передо мной, неотступное, и, сколько я ни пытался отогнать его, как летом отгоняют назойливую муху, оно отовсюду направляло на меня свой натянутый лук. Едва ли не в первый раз я понял весь ужас того положения, которое я согласился принять, и потому ли, что разлука с Гесперией несколько охладила мое юношеское сердце, или потому, что все же для человека нет ничего страшнее, чем темная смерть, мною овладел самый постыдный страх. Глядя на мраморные колонны и величественные стены медиоланских домов, я с тоской спрашивал себя, неужели в этом самом городе мне суждено изведать ужасные минуты убийства, а потом мучения чудовищных пыток и жестокую смерть.

Однако ни одной минуты я не помышлял о том, чтобы отказаться от исполнения своего обещания, скрепленного страшной клятвой. Без колебания я повторял себе, что теперь отступать уже поздно, потому что отступнику были бы навсегда закрыты пути к Гесперии, а по-прежнему я в жизни не видел иного счастия, как быть близ нее, и такое решение огненными буквами было вписано в моей душе. Но если прежде я был готов на все, чтобы только выполнить волю Гесперии, был готов открыто, где-нибудь во дворце или на площади, перед тысячами зрителей, броситься на Грациана и, исполнив свое дело, отдать себя в руки судей или палачей,— то теперь я начал искать, нет ли возможности совершить то же самое тайно, так, чтобы уберечь свою жизнь, возвратиться в Город и там, может быть, дождаться награды за свою верность.

Размышляя об этом, я бродил по улицам Медиолана, но никакого решения трудной задачи мне не представлялось. Устав от раздумий, бесплодных, как поиски первого на-

чала всего сущего, я пытался изменить направление своих мыслей. Мне уже говорили о том, какую толпу слушателей собирает Амвросий, проповедуя в новом, им выстроенном христианском храме. К этому храму я и направился, желая также послушать знаменитого оратора, тем более что был тот седьмой день недели, который особенно христианами чтится. «Этим я исполню совет тетки,— говорил я себе, шутя,— посмотрим, обратит ли меня красноречие Амвросия к вере во Христа».

Храм действительно был наполнен посетителями, и притом, в нем было множество людей, которых одежда и осанка обличали их высокое положение: женщины в богатых столах, с пальцами, совершенно закрытыми драгоценными кольцами, молодые щеголи с завитыми волосами и раскрашенными лицами, пожилые сановники в расшитых золотом тогах, протекторы, доместики. Соответственно этому перед храмом стояла целая толпа рабов, белых и черных, и длинный ряд носилок. Отряд воинов охранял порядок, и мне не без большого затруднения удалось проникнуть в храм.

Уже давно я не бывал в христианских храмах, и меня поразило пышное, хотя и безвкусное убранство, представившееся моим глазам. Степы были выложены цветным мрамором, в разных местах были вставлены мозаичные картины, везде виднелись мраморные изваяния. В храме совершалось служение, но присутствующие так громко переговаривались между собой, шутили и смеялись, что мне, который был принужден стоять у самых дверей, ничего не было слышно. Только когда настало время проповеди, все стихло, и все приготовились слушать.

На кафедру взошел не старый еще человек, с прекрасными Римскими чертами лица, с властительным взглядом, немного начинавший лысеть, отчего его лоб казался больше, и с красивой, густой, тоже немного седой бородой. Едва он заговорил, в храме наступила такая тишина, какая бывает в театрах, когда актер приступает к самому важному месту трагедии, и голос проповедника, суровый и увлекающий, сразу наполнил все пространство. Вот приблизительно что в тот день говорил Амвросий:

«Вы слышали, что сказал Спаситель наш: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Но кто суть друзья наши и как мы должны любить их? Должны ли мы, исполняя заповедь любви, нарушать

другую заповедь, высшую: «Возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим»? Велик подвиг любви, но позволено ли во имя ее совершать поступок нечестный? Философы спрашивают: можно ли ради любви к другу предать родину? должно ли стать предателем, чтобы исполнить завет любви? Ответим им: «Нет, выше заповеди любви к друзьям поставлена другая — о любви к богу. Если любовь твоя побуждает тебя пойти и совершить убийство, вспомни, что раньше сказано с высот Синая: «Не убий!» Служите правде, которая написана в сердцах ваших, и не изменяйте ей даже ради любви. Апостол пишет галатам, чтобы они носили бремена друг друга, во имя любви. Но помогайте друзьям вашим добрым советом, а не злом. Если во имя любви к другу совершите вы поступок дурной, вы только двойное зло причините,— себе и другу своему. И помните, что любовь не своекорыстна. Кто ждет за свою любовь награды, тот любви не имеет...»

Против своего ожидания, я не без любопытства вслушивался в развитие мысли проповедника, который словно намеренно для меня избрал тему своей речи, когда внезапно кто-то тихим голосом около меня назвал мое имя. Я обернулся и увидел, что какая-то женщина, быстро удаляясь, сделала мне знак следовать за ней. Изумленный, я вышел из храма и тут узнал Рею.

— Реа! — воскликнул я, пораженный.— Каким образом ты здесь? Ведь не на крыльях же Персея и не на колеснице Триптолема ты перенеслась из Рима в Медиолан! Или ты волшебница?

— Молчи,— возразила Реа,— и иди за мной.

Спорить в густой толпе, теснившейся у входа в храм, было неуместно; я последовал за Реей и, едва мы оказались в месте более уединенном, заговорил опять:

— Чего ты от меня хочешь? Зачем ты меня преследуешь? Я не хочу быть с тобой! Оставь меня!

— Юний,— произнесла Реа строго,— вчера я весь день ждала, но ты не вышел из дому. Сегодня я нашла тебя, и ты должен идти со мной. Пойдем.

— Я с тобой не пойду! — воскликнул я гневно.

Реа покачала головой и, опять сделав мне знак следовать, пошла вперед. Я колебался, что мне должно делать. Но здесь снова мысль о пурпуровом колобии, хранившемся в моем ларе, представилась мне. «Хорошо,— сказал я себе,— в последний раз я исполню ее желание, чтобы,

наконец, навсегда разорвать гибельные узы, связывающие меня с этой странной девушкой».

Я последовал за Реей.

Мы шли по направлению к окраине города, к тем воротам, откуда был выход к реке. Там стояли маленькие, старые домишки, нисколько не напоминавшие нового Медиолана, потемневшие от лет, с деревянными надстройками. Оглянувшись и убедившись, что я иду за ней, Реа вошла в одну из дверей, зиявших, как черные пасти.

Войдя следом, я увидел мастерскую каменщика. В полутемной, грязной компате, среди разбросанных каменных глыб и осколков мрамора работало несколько человек, одетых в одни туники. Удары долота и молотков отдавались от стен, и нестерпимый гул сразу так оглушил меня, что я невольно попятился. Преодолев это чувство, я прошел мимо обтесываемой плиты для гробницы, с изображением Доброго Пастыря, и вошел в другую комнату, вся обстановка которой состояла из деревянного ложа и стола.

Затворив плотно дверь, Реа мне сказала:

— Юний! великий час приблизился. *Он* здесь, я это узнала. Мы должны исполнить решенное Судьбой и ему возвестить его назначение.

Оставшись стоять у самой двери, сложив руки на груди, глядя прямо в глаза девушки, я постарался произнести как мог тверже и решительнее.

— Я твоих бредней слушать не хочу. Я никакого дела с тобой совершать не намерен. У меня есть свои дела, и важные, и у меня есть своя жизнь, с тобой не связанная. Клянусь бессмертными богами, которым я верен, я твоим уловкам больше не поддамся. Завтра в эту самую комнату я принесу ту проклятую вещь, которую ты насильно вложила в мои руки, и больше я не буду отвечать на твой голос. Больше я тебя не знаю, проклинаю случай, который тебя со мною свел, а если ты будешь меня преследовать, обличу в префектуре все твои преступные козни.

До сих пор, при всех моих встречах с Реей, она меня побеждала какой-то непонятной властью, в которой я подозревал даже силы магии. Поэтому, произнося свои слова, я тайно призвал на помощь богиню Венеру, решившись не поддаваться влияниям Гекаты и чарований. Но внезапно лицо Реи, на которое прямо мои глаза были устремлены, покрылось бледностью мраморных статуй, ее руки беспомощно повисли, как у мертвой, она минуту на

меня смотрела с выражением такого ужаса, какой могла бы внушить разве только голова Медузы,— и потом девушка всею тяжестью своего тела упала на пол.

Может быть, мне, не обращая на то внимания, тотчас следовало бежать из этого дома, предоставив Рею ее судьбе, но, видя ее распростертою, как человека, пораженного молнией, я не мог преодолеть невольного порыва участия. Я бросился к Рее, стал около нее на колени, поднял ее голову, попытался вернуть девушку к жизни. Но долгое время ее лицо оставалось мертвенным и бледным, веки смеженными, полураскрытые и тоже побледневшие губы неподвижными. Только когда я уже готов был звать кого-нибудь к себе на помощь, Реа вдруг очнулась, судорожно схватила меня руками и слабым голосом проговорила:

— Юний, тобой овладел злой дух.

Стараясь быть как можно ласковее, все поддерживая лежащую Рею, как раненую амазонку, я ей ответил:

— Милая Реа! Мною демон не овладевал. Я просто тебе говорю, что ты во мне ошиблась. Я не хочу служить ни Христу, ни Антихристу, потому что я не христианин и почитаю учение христиан гибельным заблуждением или опасным обманом. Я пойду своей дорогой, а ты иди своей и вместо меня выбери себе помощником другого. Я же никакого вреда тебе не сделаю и твоих тайн никому не открою.

Тогда Реа, которую я всегда почитал сильной и как бы подобной мужчине, начала рыдать, притом так неудержно, словно скорбь мучила все ее тело от горла до пальцев ног. Она то лила слезы, как Ниоба, то, так же, как Ниоба, каменела в моих объятиях, то дрожала так сильно, словно была в тягостной лихорадке. Я не знал, как ее утешить, и бессвязно повторял:

— Приди в себя... Я тебе и раньше все это говорил... Подумай... Не могу же я для твоего удовольствия уверовать в Христа... И почему тебе нужен я?

— Ты! ты! — повторяла Реа сквозь рыдания.— Ты — один. Ты назначен богом. Ты избран. Он мне послал тебя. Ты должен. Ты не властен отречься.

Так мы лежали оба на грязном полу, сжимая друг друга в объятиях, и я, чтобы чем-нибудь успокоить бедную девушку, осторожно, как ребенка, поцеловал ее в лоб. В ту же минуту она с яростью впилась губами в мои губы и стала поцелуями покрывать мое лицо, прижимая ко мне свою грудь. Я сопротивлялся этим ласкам, нежда-

ным и страшившим меня, уклонял лицо, отстранял тело девушки, но она меня все теснее привлекала к себе, примешивая к словам отчаяния слова нежности и страсти.

— Юний! мой Юний! Ты мне послан богом! Он меня сделал твоей невестой! Мы богом обручены, Юний. Обручены на славу и позор. Мы должны вместе погибнуть, Юний. Мы должны быть вместе, Юний, мой Юний!

Понемногу эта исступленность несдержанных ласк, эта близость к женщине, дыхание и теплоту которой я чувствовал на своем теле, эта странность минуты, более похожей на безумие, чем на событие жизни, самая уединенность места, которое казалось лежащим где-то за пределами земного круга, победили меня. Я вновь уступил любовным настояниям Реи, как в ту ночь, когда, после чудовищного служения в неведомом мне зале с коринфскими колоннами, она во мраке приблизилась ко мне. Под стук долота и молотков, дробивших камень и высекавших образ Доброго Пастыря, восстановился мой странный союз с загадочной девушкой.

Когда потом Реа сказала мне: «Ты придешь сюда через день!»—я уже не нашел слов, чтобы ей возразить. Я наклонил голову в знак согласия, хотя в душе у меня и был мрак, подобный тому, который царствует на безмолвных берегах Ахеронта.

Выйдя на улицу, снова увидя залитые зимним солнцем мраморные громады медиоланских строений, услышав издали гул веселой толпы, выходящей из христианского храма после проповеди Амбросия, я готов был думать, что все свершившееся только темный сон, примчавшийся ко мне из Тартара через дверь из слоновой кости.

V

Вечером я писал письма под диктовку Симмаха, и потом он сказал мне:

— Завтра ты пойдешь со мною к Амбросию: я хочу говорить с ним.

На другой день мы вышли из дому рано, причем Симмах, чтобы не обращать на себя внимания, оделся как можно проще. Я нес за ним различные выписки, которые, по его словам, могли ему понадобиться.

Амбросий жил неподалеку от христианского храма, в маленьком белом домике. Мне говорили, что, избранный епископом, Амбросий роздал все свое имущество бедным,

оставив себе только небольшое число рабов, доходы со своих имений,— причем отдавал эти доходы почти полностью своей сестре Марцелине,— и свою библиотеку. Поэтому Амбросий, в юности привыкший к жизни роскошной, теперь жил весьма скромно.

У дверей дома нас встретил раб, и Симмах его спросил, можно ли видеть Амбросия.

— Входите свободно,— ответил раб,— каждый желающий во всякое время может говорить с епископом, и он даже запретил предупреждать его о посетителях.

Мы прошли несколько пустых комнат и увидели знаменитого проповедника склонившимся над столом, который был завален грудами разных книг. Книги останавливали взгляд и во всех других местах комнаты, в особых книгохранилищах, на скамьях и прямо на полу. Так как читавший не расслышал наших шагов, Симмах первый к нему обратился с вопросом:

— Узнает ли меня Аврелий и позволит ли говорить с ним?

Амбросий поднял глаза, посмотрел на нас и ответил:

— Приветствую тебя, Симмах. Я был уверен, что ты придешь. Я готов говорить с тобой.

Он отодвинул книгу, которую читал, и указал Симмаху на кресло, бывшее подле. Я остался почтительно стоять у двери, откуда мне был слышен весь разговор.

— Ты, однако, ошибся, именуя меня Аврелием,— продолжал епископ,— крещение рождает человека к новой жизни, и у меня нет другого имени, кроме Амбросия.

— Нет,— возразил Симмах,— ты для меня представитель славного рода Аврелиев, мой родственник, сын префекта, сам носивший пояс с золотой пряжкой. Я к тебе пришел, как к Римлянину, которому близки судьбы империи, как к человеку, в жилах которого кровь победителей мира и который не захочет унизить то величие, до которого его предки подняли священный и вечный Город. Ты знаешь, зачем я прибыл в Медиолан, ты угадываешь, о чем я хочу говорить с тобой, и ты понимаешь, почему я пришел к тебе раньше, чем добиваться приема у императора.

Очень спокойно выслушав эту речь, Амбросий ответил голосом сдержанным, но решительным:

— Симмах! Я, конечно, знаю, зачем ты прибыл в Медиолан. Но поездка твоя и твоих товарищей — бесплодна. Наш благочестивейший император внимательно обдумал

свой эдикт, и его решение бесповоротно. В Сенате христианского императора не может стоять статуй ложным богам.

— Не говори уклончиво!— со страстью прервал Симмах.— Нам не перед кем притворствовать. За этого моего писца я ручаюсь: он будет нем, как мертвый. Всем известно, что император чтит твою мудрость и исполняет твои советы. Не от него, а от тебя зависит судьба Сената и народа Римского.

— Это не так,— все столь же спокойно возразил епископ,— я, как и мы все, лишь смиренный слуга священной особы императора. Но если бы, действительно, он опять снизошел ко мне, чтобы спросить моего совета, как служителя алтаря, получившего дары Духа святого,— да, я сказал бы ему, что его волей руководил сам бог. Пора, пора нам с корнем вырвать из империи последние остатки гибельных заблуждений, стереть последние следы нашего долгого рабства, ибо ты, Симмах, еще не знаешь, что истинная вера дает человеку истинную свободу.

— Оставим этот язык реторам,— сказал Симмах, видимо раздражаясь,— я знаю, что ты получил хорошее воспитание. Будем говорить просто. Неужели ты думаешь, что все жители империи признали иудейского Христа? Неужели тебе не известно, что мириады граждан чтят,— одни Юпитера, другие Баала, третьи Озириса? Почему религии должны враждовать между собой, а не могут жить в мире, если все они учат одному: поклоняться Божеству? Когда наши предки завоевывали землю, они не были нетерпимы к верованиям других народов, но охотно принимали в свой пантеон чужих богов, давали Митре и Исиде место рядом с Фебом и Дианой. Почему же вы, христиане, проповедующие любовь, знаете только ненависть к другим верам?

— Мы проповедуем любовь к истине и добру, а не ко лжи и обману,— ответил Амбросий.— Что такое ваши так называемые боги, одни с песьей головой, другие безобразные, с сотней грудей, боги-насильники, преследующие коварством и хитростями женщин, подымающие один на другого оружие, лгущие, прелюбодействующие, совершающие тысячи преступлений? Их ли мы должны любить, познав бога единого, вечного, вездесущего, бога истины и милосердия?

Эти слова епископ произнес уже гораздо менее спокойно, с явным намерением обидеть собеседника. Полуседая

борода Амвросия тряслась. Но Симмах сдержал свое негодование и возразил тихо:

— От тебя подобных возражений я не ожидал. Ты знаешь так же хорошо, как я, что те образы, в каких изображают богов наши поэты и художники, и та сущность, которую мы чтим в богах, не одно и то же. Но я пришел не спорить с тобой о вере. Великая и непостижимая тайна вселенной не поддается человеческим исследованиям. Я пришел говорить с тобой от имени тех тысяч и тысяч людей, которые поклоняются богам и для которых алтарь, который ты приказал выбросить из Курии, есть нечто священное. Как ты с легким сердцем подымаешь руку на их верования и чувства, оскорбляешь их в том, что для них дорого. В течение более чем тысячи лет Рим благочестиво поклонялся божествам, установленным царем Нумой,— как же ты, без колебания, наносишь удар Риму, как убеленному сединами старцу? Римляне родились свободными и в свободе избрали свою веру,— почему же не оставить их в мире наслаждаться своими старинными обрядами, так как иных они не желают? Городу неведомо то учение, которому ему приказывают следовать, но он знает, что тот, кто берется исправлять почтенную старость, принимает на себя неблагодарный и бесславный труд.

— Теперь ты пользуешься приемами реторов,— с насмешкой сказал Амвросий.— Чего же ты требуешь? чтобы мы ни в чем не шли вперед сравнительно с нашими предками. Когда-то в Риме было установлено служение божеству Нерона; угодно ли тебе сохранить и этот алтарь? Если в нашем прошлом были заблуждения, мы об них должны жалеть и стремиться от них отказаться. Не стыдно и в старости исправлять свои ошибки, и не стыдно Риму изменяться со всем миром. Нет позора в том, чтобы перейти на сторону тех, кто прав, и никогда не поздно учиться истине.

Симмах встал, запахнул тогу, и мне было видно, что он даже дрожит от волнения.

— Аврелий!—сказал он.—Века, когда Римляне чтили богов, увенчаны славой и благоденствием. Призывая Юпитера и Марса, Римляне весь мир подчинили своей власти. Боги удалили Ганнибала от стен Города и галлов из Капитолия. Не легкомысленно ли отвергать старое, которое доказало свою силу и свою благотворность, и подвергать себя неизвестности, хватаясь за новое, еще не испытан-

ное! Можешь ли ты быть уверенным, что новая религия внушит то же мужество в сердца легионариев, послужит такой же обороной для границ империи, как религия Нумы, Цесаря и Августа?

Амбросий тоже встал, выпрямился во весь рост, смотрел гневно и более напоминал полководца на поле битвы, чем служителя христианского храма. Я не мог не подумать, что в другой век он водил бы наши легионы к славным победам и был бы воинами поднят на щит. Повышенным и почти яростным голосом епископ произнес:

— Почему ты приписываешь победы Римлян богам, а не искусству императоров и храбрости легионов? Ты говоришь, что боги удалили галлов из Капитолия. Но ведь они все-таки сожгли Рим! И если Капитолий не был взят, то не боги были тому причиной, а гуси. Где же тогда был твой Юпитер? не он ли кричал по-гусиному? Еще ты уверяешь, что боги защитили Рим от Ганнибала. Но тогда надо признать, что с этой защитой они не поторопились. Почему они ждали до самой битвы при Заме и позволили пунам истреблять Римлян и при Тицине, и при Требии, и при Трасименском озере, и при Каннах? Сколько крови не было бы пролито, если бы твои боги действовали не так медлительно! Притом ведь и Карфаген так же веровал в ложных богов, как и Рим. Выбирай же: если боги были победителями вместе с Римлянами, тогда они были побеждены вместе с пунами. А если боги позволяли себя побеждать в прошлом, где же залог, что в будущем они нас будут водить только к победам?

Никогда я не видел Симмаха до такой степени взволнованным. Совершенно бледный, с трудом подавляя гнев, он сделал последнюю попытку убедить торжествующего епископа.

— Оставим богов,— сказал Симмах,— и подумаем о людях. Религия отцов учила доблести, военному мужеству, прославляла силу; религия Христа учит кротости, смирению, советует уступать противнику. Империя окружена врагами; везде варвары переходят границы; провинция за провинцией отпадает от наших префектур. Своими беспощадными мерами ты достигнешь одного из двух: или ты лишишь империю храбрых воинов, или ты возбудишь в ней гражданскую войну между приверженцами старой и новой веры. В обоих случаях восторжествуют враги, и империя погибнет. Неужели ты не Римлянин и тебе не дороже всего слава отечества?

— Пусть гибнет Рим! — громовым голосом воскликнул епископ.— Пусть гибнет империя! На ее развалинах я создам другую, вечную и непоколебимую. Я воздвигну новый Рим, и уже не Город подчинит себе некоторые племена земли, но Церковь христианская объединит в одно стадо все народы! Алтарь Победы не будет восстановлен в Римском Сенате! Я прикажу запереть все храмы ложных богов по всей империи! Я запрещу служить идолам и в общественных местах, и в частных домах! Я дам на земле торжество истинному Богу, и пусть рушатся земные царства, ибо царство Его не от мира сего.

Трясущимися губами Симмах произнес в ответ:

— После этого ты для меня — не Римлянин. Ты — не из рода Аврелиев. Ты — враг отечества. Итак, между нами война?

Но Амбросий быстро уже овладел собой, его лицо снова приняло выражение льстивого придворного, и он с снисходительной улыбкой возразил:

— Нет, Симмах! я не воюю с людьми, но только с неправдой и ложью. Я тебя жалею, как брата, пребывающего в заблуждении. Подумай о моих словах и иди с миром.

Мы вышли. Симмах был в таком возбуждении, что я едва поспевал за его шагами. Всю дорогу он повторял:

— Мы еще будем бороться! Еще не решено, за кем победа.

Однако, едва придя в дом Коликария, Симмах вдруг сразу пал духом. Оптат и Пробин ожидали нашего возвращения, чтобы расспросить нас о последствиях нашей попытки. Симмах, с видом человека совершенно изнеможенного, бросился на ложе и, передав вкратце ответ Амбросия, воскликнул с безнадежностью:

— Наше дело проиграно. Никакой надежды нет. Нам осталось одно — немедленно возвратиться в Город.

Оптат, Пробин, и я вместе с ними, стали убеждать Симмаха не терять мужества и продолжать борьбу, но нам пришлось долго трудиться, пока он начал уступать нашим доводам.

VI

В день, назначенный мне Реей, я, как не раз и прежде, долго колебался, прежде чем пойти к ней. Но услужливая мысль опять представила мне длинный ряд доказательств в пользу того, что я исполнить приказание Реи должен.

Только на этот раз, преодолев невольную робость, я отыскал на дне своего дорожного ларя сверток, когда-то отданный мне на Аппиевой дороге, и понес его с собой, твердо решив освободиться, наконец, от его опасного присутствия среди моих вещей. Вполне понятно, впрочем, что, когда я шел по улицам Медиолана, мне все время казалось, что прохожие обращают на меня особенное внимание и подозрительно всматриваются в мою ношу.

Я пришел слишком рано, Реи еще не было дома, и в мастерской каменщика работал только сам ее хозяин, которого я и спросил, скоро ли вернется живущая у него девушка.

— Мария из Рима? — сказал он, продолжая стучать молотком по камню,— да, она мне говорила, что ты придешь, и приказала тебе ее ждать. Можешь здесь присесть.

Мне пришло в голову воспользоваться отсутствием Реи и, расспросив каменщика, хоть что-нибудь узнать о странной девушке, нить жизни которой, должно быть, по недосмотру одной из Парок, спуталась с нитью моей жизни. Я сел на глыбу необделанного мрамора и заговорил с работавшим человеком, а так как он трудился над фигурой маленького Амура, то я и спросил лукаво:

— Прошлый раз я видел, что ты высекал Христа, а сегодня — сына Венеры. Разве ты не боишься осквернить этой работой свои руки?

Каменщик посмотрел на меня подозрительно, чему я не удивился, так как в наши дни города полны соглядатаями, и ответил уклончиво:

— Мы исполняем то, что нам заказывают, и разбирать, каковы заказы, не наше дело, только бы правильно платили деньги.

— Ты меня не бойся, друг,— возразил я.— Я — приезжий, тоже из Рима, и спрашиваю тебя без всякой дальней цели. Даже скажу тебе, что я из посольства Симмаха, прибывшего сюда по делу об алтаре богини Победы, о чем ты, вероятно, слышал. Из этого можешь понять, что я сам — не христианин.

Каменщик был человек немолодой и осторожный; он не сразу поддался на мои зазывания, но понемногу убедился, что я говорю от души. Тогда он сказал мне, хотя и понизив голос:

— Сознаюсь тебе, юноша,— впрочем, это многие знают,— что я тоже верен старым богам, чту Юпитера всемогущего и Меркурия крылатого, как тому научила меня

мать. Но в наше время, если не будешь угождать требованиям заказчиков, останешься без дела. Теперь только и спрос, что на гробницы с изображениями Христа или святых, а образы бессмертных богов мы даже и делать почти разучились.

Признав во мне единоверца и единомышленника, каменщик стал разговорчивее и даже предложил мне с ним распить по кубку простого вина, чем я и воспользовался, чтобы заговорить о Рее.

— По правде сказать,— объяснил мне старик,— я сам хорошенько не знаю, кто такая эта девушка. Привел ее ко мне мой племянник, Либертин, который живет в Риме у одного христианского священника и приехал сюда с епископским посольством. «Приюти ее, дядя, говорит, это девушка бедная, в гостинице ей жить дорого, да одной и неприлично». Комната у меня была свободная, мы там иногда готовые вещи складываем, к тому же обещала мне эта Мария заплатить за нее. Что же, думаю, пускай живет. А беспокойства нам от нее мало: целые дни она рыщет по городу и никого у нее не бывает, только вот ты второй раз приходишь. Если же остается дома, то сидит и молчит, в одно место смотрит, словно дурочка, или книгу читает, которую с собой привезла. Если хочешь, я о ней расспрошу Либертина, откуда он ее узнал. А я-то уже стар стал, чтобы в чужие дела вмешиваться, своих довольно; давно привык, что лучше тому живется, который смотрит, а не спрашивает.

Бóльшего от каменщика узнать мне не пришлось; притом скоро пришла сама Реа. Она меня встретила так, как если бы и сомневаться не могла, что я в тот день у нее буду, тотчас повела меня к себе и плотно затворила дверь. По всему судя, Реа была неспокойна и чем-то встревожена.

— Я тебе принес, Реа, это,— сказал я, подавая ей свой сверток.

— Хорошо,— ответила мне, без удивления, девушка,— эта вещь нам скоро понадобится.

Я не знал, о чем говорить дальше, и некоторое время мы оба сидели молча. Я внимательно рассматривал Рею, и она опять мне казалась молодой и красивой. Черты ее сурового лица были правильны, брови изогнуты красиво, зубы яркой белизны, а высокая грудь соблазнительно подымала складки паллы. Я подумал о том, что в конце концов судьба, послав мне Рею, не совсем была ко мне

немилостива, и, вспомнив объятия, в которых так недавно она меня сжимала, невольно почувствовал желание изведать их еще раз. Я пододвинулся к девушке ближе, взял ее за руку и сказал ласковым и вкрадчивым голосом:

— Ты меня прошлый раз испугала, Реа. Сначала ты была в таком отчаянии, словно уже Прозерпина готовилась срезать волос на твоем темени, а потом пришла в исступление, как вакханка. Но я о том дне не жалею нисколько: напротив, благодарю за него богов. Это был день радости, и я его никогда не забуду.

Словно пробужденная от сна моими словами, Реа подняла на меня глаза, потом от меня отстранилась и ответила почти с гневом:

— Что ты говоришь, Юний. Мы здесь с тобой не затем, чтобы беседовать о радостях. Не для них призвал нас бог с разных путей. Нас ожидает страшное, будь же готов испить эту чашу.

Не знаю почему, но Реа, гордая и разгневанная, показалась мне удивительно прельстительной. В той самой комнате, где всего два дня назад она согревала поцелуями мое лицо, мне казалось так естественно и просто возобновить эти поцелуи. Итак, продолжая держать за руку Рею, я другой рукой обнял ее стан, наклонился к самому ее лицу и сказал не без подлинного волнения:

— Милая Реа! Ты мне говорила, что меня любишь. Я принимаю эти твои слова и охотно исполню все, что ты от меня требуешь. Но ты меня не отталкивай, когда сама дважды шла навстречу мне. Сегодня мне первому хочется обнять и поцеловать тебя.

Еще решительнее Реа меня оттолкнула, встала, выпрямилась, как ствол кипариса, и воскликнула с негодованием:

— Опомнись, Юний! Ты со мной говоришь, как с кинедом. Я девушка из хорошей семьи, и тебе стыдно так меня унижать потому только, что здесь нет мужчины, чтобы меня защитить. Я тебя люблю, как брата, как избранного Провидением, чтобы вместе со мной служить Высшей воле, но иной любви к тебе у меня не может быть, так как я посвятила себя богу. Приди в себя, вспомни, зачем ты здесь, и выслушай то, что мне надо сообщить тебе.

В голосе Реи было негодование неподдельное, и одну минуту я готов был думать, что моя память меня обманы-

вает. Но, окинув взглядом комнату, я узнал даже то место на полу, где плачущая Реа обнимала меня страстно; всматриваясь в ее лицо, я видел те самые губы, которые вонзали в меня поцелуи столь напряженные, что они причиняли боль; и не только желание ласки, но уже и чувство обиды за неожиданный отказ заставили сильнее биться мое сердце. Я вдруг схватил Рею в объятия, покрыл поцелуями ее щеки, несмотря на все сопротивление девушки, и твердил, смеясь:

— Не притворяйся, Реа, ведь я тебя знаю! Я знаю, какой огонь ты таишь, горячий и сладостный! Я знаю, что ты умеешь ласкать лучше всех женщин в мире и что твоим поцелуям могла бы позавидовать сама Клеопатра. Не будь жестокой к своему Юнию!

Реа вырывалась из моих рук сначала ожесточенно, потом все слабее, повторяя только три слова:

— Юний, пусти меня! Юний, пусти меня!

Скоро ее глаза наполнились слезами, но я продолжал борьбу, помня уверения Насона, что такого рода насилие девушкам нравится. Когда, однако, слезы Реи перешли в рыдания и она застонала отчаянно, словно раненная насмерть, я испуганно выпустил из своих рук ее тело, опасаясь, что с ней сделается такой же припадок, как в прошлый раз. Реа упала на ложе, вниз лицом, а я, пытаясь оправдаться, сказал ей:

— Неужели ты забыла, Реа, как здесь, в этой самой комнате, ты меня уверяла, что мы с тобой обручены, повторяла мне слова нежные, меня ласкала сама, и неужели забыла, как раньше того, в Риме...

Продолжая рыдать, Реа проговорила:

— Зачем ты меня так мучишь, Юний? Зачем ты мне в лицо клевещешь на меня! Да, моя сестра ведет постыдную жизнь, но разве я в том виновна! Наш отец умер, мы бедны, и все вправе думать о нас все дурное. Но, клянусь тебе пречистой матерью Христа, я не заслуживаю твоих подозрений. Никто не может упрекнуть меня ни в чем недостойном, и никогда я не нарушала законов стыда...

Я мог бы напомнить девушке, что в Риме, на том служении, которым она руководила, призывали лгать и любодействовать, убивать и богохульствовать, но Реа была в таком отчаянии, что я предпочел не возражать ей ничего, думая только об одном, как ее утешить. Я осторожно сел близ нее, поднял ее голову и стал просить у нее прощения и за свои слова, и за свои поступки. Тут же я вспомнил

о Гесперии, о клятвах, которые давал в Риме, и мне стало стыдно, что я так легко мог поддаться соблазну. Душой моей овладело чувство непритворного раскаянья. К тому же, глядя на заплаканную Рею, движения которой сделались неловкими, а лицо старообразным и некрасивым, я уже не понимал, что заставляло меня добиваться ее ласк.

Понемногу Реа успокоилась, отерла заплаканные глаза и вновь заговорила со мной доверчиво. Я ничем не противоречил ей, и она с важным видом сообщила мне следующее:

— Милый Юний, я *его* нашла. Я увидела его на улице, и некий голос мне повторил трижды: это — он. Волосы у него, как разметавшееся пламя, уста, как кровавая рана, взор благостный, как у агнца. Он еще не ведает о своем призвании. Мы с тобой первые придем поклониться ему, как пришли пастыри к вертепу, где в яслях лежал Младенец. Ангелы воспоют и нам: «Слава в вышних богу». Только должно торопиться. Роковой год на исходе. Больше никогда не повторится то же сочетание светил небесных. И если мы пропустим срок, мы привлечем на свои головы страшное проклятие.

Когда я слушал эту причудливую смесь разумных слов с бреднями, в которые мог бы поверить разве только «Иудей Апелла», у меня мелькнула мысль, что я могу воспользоваться безумием Реи, освободиться от которой у меня все равно не оставалось надежды, для своих целей. Постаравшись перенять ее азиатские приемы речи, я сказал ей в таких же неопределенных выражениях, как говорила она:

— Милая Реа! Теперь я понимаю, на какой великий подвиг ты меня зовешь. Но не подобает останавливаться на полпути; будем тверды и доведем наше дело до конца! Чтобы расчистить путь новому царю мира, должно уничтожить прежние власти. Некто должен будет исчезнуть, чтобы уступить место Грядущему.

— Так! Так! — воскликнула в восторге Реа.— Мы и это свершим.

Наклонившись близко к Рее, я произнес шепотом:

— Мы должны устранить Грациана...

Пораженная моими словами, как если бы я сообщил ей некоторое откровение, Реа вскочила с ложа; ее зрачки расширились, щеки залились алой краской; она протянула мне руки, как бы благословляя меня.

— Наконец, ты все понял, Юний! — произнесла она.— Ты покорился воле божией, а большего не может человек. Благодарю тебя, боже, отныне я знаю, что предреченное исполнится.

В глубине души мне было стыдно, что я пользуюсь безумием или легковерием бедной девушки, но тут же я дал себе клятву, что Рею не подвергну никаким опасностям, а лишь воспользуюсь ее помощью. Реа же казалась безмерно счастливой тем, что я, наконец, заговорил в ее духе и перестал отрекаться от того дела, к которому она меня звала. В ее душе было странное сочетание непонятной силы пророчицы и простой слабости женщины; мужского ума, помогавшего ей выполнять самые трудные замыслы, и детской доверчивости, позволявшей ей принимать, как истину, самые нелепые уверения; стыдливости добродетельной девушки и готовности на самые бесстыдные поступки, которые, пожалуй, смутили бы и какую-нибудь Квартиллу.

В тот день я долго оставался у Реи, и пока она говорила без устали, то в темных восклицаниях предсказывая скорое наступление великих и страшных событий, то с восторгом возвращаясь к моей мысли и разбирая подробно вопрос, каким способом проникнуть во дворец к Грациану (при этих рассуждениях я тревожно посматривал на дверь, за которой нас могли подслушивать), то просто и наивно рассказывая мне приключения своего путешествия с Летой из Испании в Италию,— я тщетно старался понять, кто предо мной: безумная или мудрая, обманщица или обманутая. Я заметил только, что Реа ни словом не обмолвилась о своем прошлом, не дала мне ни одного намека, по которому я мог бы угадать, как оказалась она вовлеченной в круг странных людей, делом своей жизни избравших служение грядущему Антихристу. Реа и после этой беседы осталась для меня живой загадкой, перед которой я чувствовал себя Давом, а не Эдипом.

На прощание она сказала:

— Ты ко мне сюда придешь в субботний день, это — день священный, в начале сумерек. Я к тому времени все разузнаю и все устрою. Как Симеон-богоприемник и Анна-пророчица, мы пойдем с тобой, чтобы предречь судьбу вступающему в мир на свое служение.

Я ушел от Реи в том смятении противоречивых чувств и дум, в каком всегда расставался с ней. Я сознавал, что далее бороться с ее волей уже не в силах и что все проч-

нее затягиваются нити той сети, которая соединила меня с ней. И в то же время я не мог бы отказаться от того, что было в этой девушке нечто для меня странным образом прельстительное, заставлявшее меня порой забывать о далекой Гесперии.

Когда в таком раздумье шел я по улице, вдруг среди теснящихся на перекрестке прохожих я увидел лицо, представившееся мне знакомым. Сейчас же я вспомнил, что это тот сириец, которого когда-то мы с моим Ремигием встретили в Римском Порте. Сириец был одет в ту же, как тогда, широкую греческую хламиду, был в той же высокой шапке, но на его пальцах я заметил драгоценные перстни, чего, кажется, у него прежде не было. Сердце у меня сжалось от дурного предчувствия, тем более что и сириец, по-видимому, узнал меня и даже кивнул мне головой в знак приветствия, улыбнувшись нагло, причем ярко заблестели его тщательно выбеленные зубы, оттеняемые алостью его толстых губ и чернотою его длинной бороды.

Не ответив на приветствие сирийца, сделав вид, что я его не узнал, я торопливо прошел мимо.

VII

Вскоре после того, по поводу поднесения императору золотого венка от граждан города Арелаты, было назначено при дворе большое торжество. Так как император,— вероятно, благодаря происка Амбросия,— не назначал особого дня для приема Сенаторского посольства, то, по совету Тита Коликария, Симмах и его товарищи решили явиться во дворец в день этого торжества, на что, как сенаторы, они имели право. По моей просьбе, Симмах позволил мне его сопровождать, и таким образом мне довелось увидеть императорский прием. Но снисходительность Симмаха навела меня на мысль, что он Гесперией был посвящен в ее замысл и намеренно старался дать мне возможность Грациана узнать в лицо.

Не без волнения я подходил с сенаторами к дворцовым твердыням, сложному нагромождению строений, пышных и огромных, но обличавших все отсутствие вкуса нашего времени. К старинным зданиям здесь были приставлены, без всякой гармонии, новые, и различные стили отдельных частей дворца неприятно враждовали между собой.

Если издали громада священного дома и производила свое впечатление, то вблизи она лишь обличала падение того искусства, которое когда-то Акрополь, а позднее Капитолий и Палатин сделали мраморным чудом.

У входа мы встретили такое количество препятствий, столько лиц и так часто осведомлялись, имеем ли мы право присутствовать при выходе святости императора, что, не будь с нами Коликария, всем хорошо известного в Медиолане, Римским сенаторам, может быть, не удалось бы даже проникнуть в священный дворец. Один из распорядителей, в одежде начальника кандидатов, решительно приказал отряду воинов загородить нам дорогу, ссылаясь на особый список, который держал в руках и в котором самим Македонием, магистром оффиций, было точно указано, кто должен быть в этот день допущен на прием. Понадобилось все красноречие нашего путеводителя и его угроза пожаловаться препозиту священной спальни, с которым он был в отношениях дружеских, чтобы сломить упорство кандидата.

Я при этом обратил внимание на то, что весь дворец был наполнен стражами всякого рода: уже у входа стояли конные схоларии, внутри каждую дверь охраняли вооруженные кандидаты, в других покоях виднелись, с копьями в руках, протекторы и доместики. Все это дало мне понять, что личность Грациана оберегается достаточно заботливо и что нет никакой надежды напасть на него открыто, хотя бы даже обрекая на гибель самого себя.

Что касается убранства дворца, то его роскошь, если говорить правду, не удивила меня, так как она сводилась к изобилию позолоты, дорогих ковров и разноцветных мраморов. Среди незначительного числа статуй, украшавших покои, не было таких, которые обличали бы резец великого художника, а мозаичные картины мне показались исполненными рукой неуверенной и неискусной. Без всякого колебания я отдал предпочтение убранству небольшой виллы Гесперии на Холме Садов, так как в том доме чувствовалось незримое присутствие Камен.

В моих выводах поддерживало меня поведение Симмаха, который хотя и не проронил ни слова, но, судя по выражению лица, также крайне неодобрительно отнесся ко всему, что нас окружало. Впрочем, его раздражало также обращение придворных с послами Сената, и я безошибочно видел, что Симмах лишь с трудом сдерживал справедливое негодование.

Большая зала, куда нас, наконец, провели, заставив пройти несколько десятков однообразных комнат, была полна ожидающими. Патриции и различные сановники, в одеяниях, блиставших золотом, стояли рядами, вполголоса беседуя; отдельно стояли куриалы Арелаты, уже держа наготове свой дар августу; немало было среди присутствующих и служителей христианской церкви, думаю я, епископов, одетых еще более пышно, чем другие. Все как-то невольно обращали ежеминутно взоры к стоявшему в глубине залы высокому императорскому трону из слоновой кости с золотом, среди украшений которого всюду видны были кресты.

Когда мы стали на указанное нам место, к нам подошел один из сановников,— как я узнал впоследствии примицерий нотариев,— и, почтительно приветствовав Симмаха и его сотоварищей, спросил вкрадчивым голосом, довольны ли послы Сената своим пребыванием в Медиолане.

— Vir spectabilis! — ответил ему Симмах,— ты знаешь, что у меня одна забота: выполнить поручение отцов. Поскольку мне это удастся в Медиолане, постольку я буду считать его прекраснейшим городом.

— Vir clarissime! — возразил примицерий,— судьбы наши и всех наших дел в священной воле святости августа,— да дарует ему бог счастие и долголетие. Мы же все весьма польщены, что нас посетил столь знаменитый человек, как ты.

Видя, что примицерий заговорил с Симмахом, к нам стали подходить другие сановники и, обменявшись различными изъявлениями вежливости, то осведомляться о последних событиях в Риме, то как бы случайно, передавать различные придворные новости, казавшиеся им, по-видимому, крайне важными. Один с восторгом рассказывал о ловкости Грациана, на последней охоте убившего собственноручно семнадцать ланей; другой — о замечательном стихотворении, ему поднесенном, в котором слова были расположены так, что, складывая первую букву первого стиха со второй — второго, третьей — третьего и т. д., и наоборот, последнюю букву первого стиха с предпоследней — второго, третьей от конца третьего и т. д., можно было прочитать полный титул императора,— стихотворении, за которое автор получил в подарок двух замечательных испанских собак; еще один, наконец, не без коварства, сообщил, что архиепископ Медиоланский намерен в скором времени совершить поездку в Город.

Я всматривался в лица окружавших меня людей и везде видел только льстивые улыбки, лукавые глаза и под слоем румян угадывал щеки, потерявшие краску от постоянных ночных пиров. Не было ни одного лица среди этих придворных дельцов, по слову которых изменялись судьбы целых диэцез, которое напомнило бы те мужественные лики, что сохранены в мраморах, изображающих Сципиона, Суллу, Агриппу, Германика, или даже те, что смотрят на нас с гробниц Аппиевой и Фламиниевой дороги. Кроме того, с прискорбием я убеждался, что у большинства черты лица даже не были Римские, но предательски выдавали их греческое, германское, африканское или азиатское происхождение. И я вспомнил жалобы лучших Римлян, что власть над империей вверена ныне иноплеменникам и достается не в силу доблести и ума, но или передается по родству, или покупается деньгами, или добывается лестью и угодничеством.

Между тем был подан какой-то знак, и все засуетились, поспешно занимая назначенные места, так как сейчас должен был появиться император. Такое неподдельное смущение было на всех лицах, давно привыкших к притворству, многие так побледнели, что я не мог не подумать о стихах Горация:

> Гремящий с неба, мнили мы, царствует
> Юпитер...

Я ожидал звука военных труб или ударов воинов о щиты, но, напротив, настало всеобщее молчание и полная тишина. Отодвинулась тяжелая, вся расшитая золотом, завеса у дверей, и началось императорское шествие.

Впереди выступали аланские воины,— народ, пришедший к нам с диких берегов Оксиана,— в скифском одеянии, отороченном мехом, с громадными луками в руках. За этими любимыми телохранителями императора шли евнухи, в длинных восточных плащах, с серьгами в ушах; далее — несколько самых приближенных к императору сановников, похожих, в своих разукрашенных и тяжелых тогах, скорее на литые статуи, чем на живых людей: двигаясь, они не сгибали колен, не поворачивали шеи, смотрели прямо перед собой пустым взором и, кажется, с трудом ступали под гнетом надетого на них золота и драгоценных камней. Наконец, за ними шли рядом Амбросий и Грациан, и новый отряд аланов замыкал шествие.

При появлении императора все присутствующие опустились на правое колено и низко склонили голову, выполняя обряд поклонения.

Как я ни свыкся с мыслью, что времена свободной республики, времена, когда сам народ Римский выбирал своих магистратов, давно и навсегда для Рима миновали, как я ни примирился с сознанием, что прежде ненавистное для каждого Римлянина именование царя, погубившее когда-то самого Цесаря, должно быть в наш век признано истинным именем для правителя империи,— все же, впервые присутствуя при унизительном поклонении, достойном любого азиатского деспота, я почувствовал, что возмущается во мне кровь моих предков, Юниев, видевших солнце свободы над свободным Городом. Стоя на коленях, преклонив голову, как если бы я не в силах был выдержать сияния императорского лика, как не могла выдержать Семела образа Юпитера, представшего ей с молниями в длани, я испытывал только чувство стыда, а вовсе не восторга и умиления, может быть, потому, что моя юность прошла вдали от двора, в той маленькой Лаконе, где еще сохранялись вольности, некогда дарованные родному городу завоевателем Галлии. В ту минуту к моему убеждению, что Грациан — опаснейший враг дорогих для меня преданий Рима и безумный гонитель богов бессмертных, присоединилось живое чувство обиды от унижения, испытанного мной самим и каждодневно переживаемого Римлянами,— и жажда выполнить обещание, данное мною Гесперии, возгорелась во мне с новой силой.

Тем временем все, имевшие звание патриция, подходили по очереди к императору и целовали его в грудь с правой стороны, а он отвечал им поцелуем в голову. Когда этот обряд закончился, Грациан порывистыми шагами, непохожими на движения статуеподобных сановников, взошел, или почти взбежал, на ступени трона и сел. Амбросий медленно поднялся вслед за ним и стал рядом, а скифские лучники расположились вокруг трона. Лишь тогда все присутствующие получили право встать с колен.

Понятно, что я устремил глаза на императора, стараясь запомнить как можно лучше его внешность и лицо.

Несмотря на торжественность приема, Грациан пренебрег Римской тогой и был одет, наподобие своих аланских телохранителей, в скифское одеяние с мехом. Только его одежда и его обувь были густо обшиты самоцвет-

ными каменьями, нестерпимо сверкавшими при каждом его движении, что ему придавало вид плясуна на сцене. У Грациана была небольшая голова; волосы были зачесаны на лоб, а повыше была надета небольшая диадема, также унизанная драгоценными каменьями, с одним громадным камнем над самым лбом и с двумя свободно спадавшими концами сзади, украшенными изумрудами. Лицо Грациана было довольно приятно, несмотря на несколько большой нос, но выражение лица было надменно, и глаза смотрели исподлобья. Он казался моложе своих лет и скорее напоминал избалованного юношу, чем грозного повелителя, который, как Юпитер на небе, правит всем на земле.

Окинув взглядом собравшихся, император заговорил; голос у него был резкий и неприятный.

— Viri clarissimi, illustrimi, spectabiles! Нашей мудрости было благоугодно на сегодня назначить прием послов нашего города Арелаты-Константины. Так как все города империи нам равно любезны, то ныне подтверждаем мы то, что нами было объявлено во всеобщее сведение: города, которые желают отправить послов к святилищу нашему, могут это делать беспрепятственно. Двор нашей божественности всегда для них открыт. Пусть послы приблизятся.

Послы Арелаты, пятеро почтенных, по виду, человек, уже немолодых, с седыми бородами, неловко и робко подошли к трону и еще раз преклонили колено. Затем один из них начал речь, восхваляющую мудрость и святость императора, которого он называл «другом божиим», «соучастником божества», «августом по святости». Не буду здесь вспоминать всей речи и скажу только, что оратор, с галльским искусством закругляя свои периоды, не забыл уверений Ювенала:

Ничего нет такого, чему бы
Не поверила Власть благосклонно, когда ее хвалят.

Едва окончилась речь и обряд поднесения золотого венка, Грациан, с прежней стремительностью, поднялся с трона и устремился вниз; за ним последовал Амбросий и часть аланских стражей, так как, по-видимому, даже среди раболепных придворных император не вполне был уверен в своей безопасности. Грациан милостиво обходил собравшихся и иным из них говорил несколько незначительных слов, принимаемых, как изречения самой

богини мудрости—Минервы. Когда император приблизился к нам, Амбросий, наклонившись, сказал ему что-то на ухо; Грациан быстро взглянул на Симмаха, тотчас отвернулся и прошел мимо, не удостоив Сенаторское посольство ни одним словом.

Вскоре после того император и его приближенные, в прежнем порядке, удалились из залы. Присутствующим снова вернулась способность двигаться и говорить, все кругом зашумело, как рой ос, но мы остались совершенно одиноки. Никто более не решался приблизиться к послам Сената, нас сторонились и обходили, словно пораженных проказой. Даже наш гостеприимный хозяин и заботливый вожатый, Коликарий, куда-то скрылся. Нам не осталось ничего другого, как поспешно направиться к выходу.

Я не смел поднять глаза на Симмаха, и все сенаторы также угрюмо молчали во все время нашего пути от священного дворца до дому. Немилостивый взгляд императора принадлежит к числу самых страшных несчастий, какие только могут постичь человека в наше время.

VIII

После посещения дворца крайнее уныние овладело всем нашим посольством. Как кажется, все три сенатора, и больше других сам Симмах, жалели о том, что согласились принять участие в поездке. Не оставалось никакой надежды на успех дела, и каждый с тревогой думал, что император более не допустит его ни до каких важных должностей и что с этих пор всю остальную жизнь придется проводить в неизвестности, раскаиваясь в своей смелости.

Впрочем, сенаторы еще продолжали добиваться приема у Грациана; мало того, неудача словно пробудила в Симмахе новые силы и заставила его с новым упорством взяться за дело. Ежедневно он собирал товарищей на совещание, удаляясь с ними в уединенную комнату; начались у сенаторов сношения с какими-то людьми, выдававшими себя за друзей императрицы Юстины, и с другими арианами. Но меня на эти совещания не допускали, и Симмах даже перестал диктовать мне письма, очевидно, высказывая в них мысли, которые желал сохранить в тайне. В доме Коликария я жил совершенно одиноко, и по целым дням мне некому было сказать слово.

В субботний день я пошел к Рее. Ее я нашел очень озабоченной, но оживленной, и она мне сказала:

— Юний! Все эти три дня я работала для нашего дела. Против нас стоят сильные с копьем и мечом, но мы идем на них во имя господа. Господь — защита наша, бог — твердыня убежища нашего. Не убоимся наступить на аспида и василиска; смело попрем пятой льва и дракона. Ибо то, что свершить намерены мы, свершится по воле бога живого.

— Милая Реа,— возразил я,— говори со мною проще. Я христианских книг не читал, и мне твои пророчества непонятны. Я готов помогать тебе, но скажи прямо, что мы должны делать.

Однако Реа в тот день не склонна была подчиняться правилам божественной логики и, вместо ответа, с глазами, устремленными ввысь, сказала:

— Сегодня — день торжества великого. Был град и огонь, смешанный с кровью; большая гора, пылающая огнем, поверглась в море; звезда Полынь пала на реки и источники водные; затмевалась третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть созвездий. Ныне падает звезда с неба, и дан ей ключ от кладезя бездны. Нам должно принять сей ключ и отворить сии врата.

После таких невразумительных речей я не стал вникать в то, что говорила дальше Реа, так как не почитал себя мудрее квиндецимвиров, толкующих Сибиллины песни. Реа же, продолжая пророчествовать, надела паллу, взяла приготовленный сверток, в котором я не без страха угадывал присутствие пурпурового колобия, и позвала меня идти за ней.

Мы вышли на улицу, когда уже смеркалось и сквозь зимний туман тускло светили первые звезды. Как всегда, Реа шла быстро и молча, а я за ней следовал с волнением, в котором тревога перемежалась любопытством. Но так как человек привыкает ко всему, то этот раз я уже не испытывал в душе прежней бури чувств, похожей на буйство всех четырех ветров, освобожденных царем Эолом.

Помня первое пророчество Реи, я полагал, что она приведет меня к какому-либо богатому дворцу, но вместо того, пройдя много пустеющих улиц, мы остановились у дверей домика маленького и скромного. Реа уверенно постучала дверным молотком и, когда на стук никто не откликнулся, повторила удар. После долгого промедления кто-то подошел к запертой двери и спросил, кто стучит.

— Странники мира, посланные благим демоном,— ответила Реа.

За дверью на это ничего не ответили, и слышно было, что шаги удаляются; потом вновь кто-то подошел к двери и произнес:

— По воле ли ты стучишься к наасенам?

Реа ответила:

— Мессией распятым клянусь, что здесь друзья мудрости.

Тогда дверь раскрылась, и мы вошли.

В вестибуле было совершенно темно, как и в остии. Встретивший нас человек провел нас через атрий и, откинув занавес, впустил в небольшую комнату, слабо освещенную одним светильником. Там за столом возлежало пять человек, уже немолодых, с чертами лица греческими и еврейскими; при нашем появлении глаза всех внимательно обратились к нам. Приведший нас был тоже старик, с длинной бородой, и он заговорил первым:

— Дом Филóфрона,— сказал он,— всегда открыт для странников. Скажите, кто вы, путники, и я прикажу приготовить для вас баню и умащения, а потом предложу для утоления вашего голода все, что может дать человек небогатый, как я.

— Филофрон!— возразила Реа,— не лукавь! Не гостеприимства мы пришли у тебя искать, но мудрости, и не как добрый хозяин ты нам открыл двери своего дома, но как учитель. Во имя Распятого вы собрались здесь, и во имя Распятого мы вошли к вам.

— Вы, добрые люди, верно, ошиблись,— возразил один из сидевших,— и не туда попали. Мы — бедные евреи, которым позволено, по благости императора, спокойно исповедать веру отцов своих. Мы не ищем проселитов и ничему не учим. Мы сошлись здесь просто затем, чтобы в кругу друзей провести вечер субботний.

Но Реа, словно повинуясь голосу подсказывающего ей бога, уверенно устремилась вперед, в темный угол комнаты, где свешивалась тяжелая занавесь, укрепленная на железной палке. Без колебания Реа отдернула эту занавесь, и за ней, при мигающем свете светильника, открылся род алтаря, на котором было поставлено медное изваяние Змея. Присутствующие невольно вскрикнули и поднялись с мест, как будто готовые на нас броситься, и на минуту меня охватил самый постыдный страх, так как я сознавал себя вполне во власти этих людей,

к которым мы насильственно вторглись. Но Реа, царственным движением руки остановив всех, сказала твердо:

— К чему вы хотите обмануть нас? Разве вы не видите, что Дух направил наши шаги к вам и открыл нам час вашего собрания? Хорошо ли, зажегши факел, скрывать его под спудом? Голодных хотели вы накормить; откажете ли в подаянии духовном алчущим правды?

Впечатление, произведенное речью и поступком Реи, было сильное. Все смотрели на девушку, гордо стоявшую перед алтарем, удивленно пожимали плечами и обменивались вполголоса словами на неизвестном мне языке. Наконец один старик еврей, лицо которого было примечательно большим шрамом, рассекавшим его лоб сверху донизу, сказал так:

— Если вы, путники, пришли от наших друзей, из Египта, то дайте нам знак...

— Нет,— возразила Реа,— мы никем из друзей ваших не посланы. Но не опасайтесь, что в нас вы найдете врагов. Не так приходят соглядатаи, подосланные магистром. Мы пришли с открытой душой, не таитесь от нас и вы. Мы — братья ваши по духу, хотя и не связаны еще с вами клятвой.

Все время, пока происходил этот странный разговор, я стоял в стороне, не зная, что мне должно делать, и, вероятно, был похож в самом деле на лазутчика из школы agentes in rebus. Между тем еврей со шрамом на лбу, которого другие называли Манагим, подумав, ответил:

— Темны твои речи, девушка. Но мы твоим словам верим. Садись с нами, участвуй в нашей беседе и скажи, чего ты от нас хочешь.

Все снова поместились вокруг стола, и Реа заговорила, удивляя меня своей твердостью и умением во всех обстоятельствах сохранять обладание собой. В кругу чужих и враждебных людей, которых видела она впервые, она себя держала, как власть имеющая, и скорее повелевала, чем задавала вопросы. Таким, конечно, был богоравный Улисс, когда, не открыв своего имени, сидел у феакийцев на пиру в доме царя Алкиноя и царицы Ареты.

На первые вопросы Реи Филофрон и другие гости отвечали уклончиво; но было в голосе Реи и во всем существе ее какое-то особое магическое очарование, которое несколько раз я испытывал на самом себе. Постепенно и те шестеро человек, которые так неохотно и с такими опасениями допустили нас на свое собрание, поддались этому

тайному влиянию юной пророчицы. Притом изумляло всех то знание Писания, какое проявляла Реа, и я видел, как несколько раз, выслушав ее объяснения того или другого текста, Манагим и Филофрон обменивались восхищенным взглядом.

— Поистине, Всевышний просвещает твой ум! — воскликнул один раз Манагим, не имея сил сдержать своего восторга.

Другие на эти слова одобрительно закивали головами.

— Скажи нам, кто ты, девушка? — спросил, наконец, Филофрон,— почему пришла к нам, что имеешь открыть нам.

— Нет! — возразила властно Реа.— Сначала вы скажите нам, не утаивая ничего, во что веруете, чему поклоняетесь, чего ожидаете.

Уже настолько овладела Реа душами присутствующих, что никому ее требование не показалось неуместным. Словно под каким-то очарованием были эти старики, которые согласны были поверить свои заветные тайны неведомой девушке, пришедшей к ним неизвестно откуда, даже имени которой они не знали. И, смотря на такое удивительное ослепление людей пожилых и опытных, я не удивлялся более, что надо мной, юношей, Реа проявляла порой неодолимую власть.

Манагим сказал:

— Я тебе открою все до конца, так как вижу, что истинно по воле Сущего ты пришла к нам.

Светильник продолжал мигать, раскачивая на стенах тени возлежавших. Бронзовая Змея на алтаре словно выгибала и распрямляла свои кольца и все выше подымала свой плоский череп, с высунутым из пасти жалом. Два изумруда, вставленных в ее голову на месте глаз, зловеще сверкали при каждой вспышке огня. Седые бороды стариков ближе нагнулись к столу. Совершенная тишина наступила в комнате, и Манагим начал говорить голосом очень тихим, почти шепотом, с той суровой осторожностью, с какой поверяют важные тайны.

— Великое я вам открою, путники. Узнайте же, что не Единый сотворил сей мир. Сын предвечного Хаоса, Иалдабаод, создал солнце, луну и звезды, а духи планет, повинуясь ему, создали, по образу и подобию своему, человека, чтобы тешиться им, как игрушкой своей гордости. Тогда Сущий, по милосердию своему, вдохнул в человека дух божественный. В гневе, Иалдабаод послал

Омиоморфа, духа змееобразного, но не подлинного Змея, чтобы лукавыми речами воспретить людям вкушать от древа Познания. Но Верховная София, приняв свой истинный облик Змея, раскрыла коварство вечного Врага. Адам вкусил от запретного плода и, став мудрым, как боги, постиг в себе веянье духа божественного и бессмертного. Страшась с того часа своего собственного творения, изгнал Иалдабаод людей из кущей райских и вселил их на землю, низшее из небесных тел. И чтобы вернуть их к поклонению себе, он воздвиг среди людей Мессию, который должен был учить о величии и славе сына Хаоса. Однако не покинул благой Заступник человеческий род и на земле, но исполнил Мессию духом истины, так что стал он Христом, учителем правды. Телом распятый на кресте, духом вознесся Христос на небо и ныне ведет великую борьбу с злым демоном, чтобы в конце времен лишить его владычества и посрамить вполне. Люди, сотворенные Иалдабаодом на погибель, должны через Христа найти путь последнего Познания и вернуться к слиянию с первым небесным Эоном, верховной Премудростью. Такова тайна мира, девушка, которую мы храним, приняв от вдохновленных богом учителей. Такова великая борьба между демоном злым и добрым демоном, длящаяся поныне, в которой всем на земле надлежит участвовать. Смотри на это изображение древнего Змея, девушка, и помни, что это он открыл людям силу Познания и дал им узнать, что они божественны и бессмертны. Змею и Христу поклонимся, братья, ибо через них явилась нам предвечная София. Им послужим и их возблагодарим!

За последнее время я много слышал бредней разных мечтателей, воображавших, что они проникли в сущность вселенной, но все же меня поразила до крайности эта проповедь старого еврея, в которой мудрость новой философии причудливо смешивалась с учением христиан и с откровениями Гермеса Трисмегиста. Одно мгновение я мог думать, что Манагим смеется над нами, но его сотоварищи, против ожидания увлеченные его речью, как по призыву верховного жреца, поднялись с ложа и запели какой-то гимн, только не на латинском языке, а, может быть, на еврейском или египетском. В то же время один из участников собрания подошел к алтарю и возжег на нем курения, так что комната осветилась, а бронзовый Змей весь заблистал и словно совсем ожил, качаясь, растягиваясь и выше подымая голову в жертвенном дыму.

Я предпочел бы бежать из этого сборища змеепоклонников, но Реа, вдруг переменив свой смиренный вид на осанку исполненной богом Сибиллы, словно сбросив личину, вся выпрямилась и заговорила голосом звенящим и повелительным. Она в ту минуту вновь стала той пророчицей, какою я ее видел в Риме на собрании ее единомышленников, исступленной, как жрица Бакха, и безумной, как Аполлонова пифия. Так сказала она своим пораженным изумлением слушателям:

— Поклонники Змея! Как некогда Павел среди Афинян, по всему вижу, что вы благочестивы. Но и в вашем капище написано: неведомому богу. Сего, которого вы, не ведая, чтите, я и пришла проповедать вам. Истиной владеете вы, но не в полной мере. Вижу в учении вашем ее зерно, которое прорастить должно. Трижды козни того, кого вы именуете Иалдабаодом, были разрушены высшей Премудростью. Иалдабаод сотворил человека на поношение: господь вложил в него дух божественный. Иалдабаод послал Змееподобного демона — дать лукавую заповедь о невкушении плодов от райского древа: господь явил истинного Змея, открывшего пути Познания. Иалдабаод воздвиг Мессию — вернуть людей к поклонению себе: господь обратил Мессию во Христа. Узнайте же и вы, что ныне новый соблазн замыслил Враг, и не кто другой, как я, поставлена господом одолеть Лукавого. Се — идет в мир тот, кого народы назовут Антихристом: но волею господа должен он стать Христом, вторично пришедшим, Судиею праведным, который возблестит, как молния, что исходит от Востока и видна бывает даже до Запада. Не ведаете вы, что времена приблизились и сроки исполнились, но я вам о том возвещаю. Я — ангел демона доброго. Я пришла указать вам пути новые. Мне дано указать вам того, кому отныне вы должны поклоняться. Не дано будет более отсрочки ни на одно время, ни на полвремени. Поспешите повиноваться, потому что горе тем, кого Жених застанет не бодрствующими!

Таким яростным голосом произнесла это Реа, так величественна она была с высоко поднятой головой, с глазами, расширенными и словно пронизывающими насквозь, что, по-видимому, все, и я в том числе, были охвачены каким-то трепетом ужаса. Но одну минуту все были в колебании, и я чувствовал, что может произойти одно из двух: или змееповклонники, вдруг очнувшись от того очарования, которое порабощало их, прозрев внезапно от

своей временной слепоты, в негодовании кинутся на нас, как на дерзких обманщиков, осыплют насмешками и бранью, с побоями вытолкают за дверь, как непрошеных проповедников, или, поверив словам Реи, признают в нас истинных посланников своего бога и преклонятся пред нами. И вот — вдруг сам Манагим, сразу утратив свою учительскую уверенность, воздел руки ввысь и воскликнул, весь дрожа:

— Братья! я верую! Истинно говорю вам, Премудрость говорит ее устами.

Это восклицание было как бы знаком. Другие, как стадо, бросающееся, закрыв глаза, за вожаком в пропасть, ринулись к Рее, целовали подол ее паллы, повторяли слова поклонения, смотрели на нее, как на представшую им богиню. Я видел, что иные даже плакали от умиления.

Когда первый порыв восторга миновал, Реа спросила повелительно:

— Где юноша? почему вы его скрыли от нас?

Опять на минуту наступило неловкое молчание, и Филофрон проговорил неуверенно:

— О каком юноше ты говоришь? Среди нас нет юношей...

— Филофрон,— строго возразила Реа,— для чего ты допустил сатане вложить в твое сердце — солгать Духу святому? Не человеку ты солгал, но богу.

Старик перед этим упреком юной девушки смутился, как малый школьник, и торопливо вышел из комнаты. Он возвратился тотчас же, и за ним с испуганным видом шла пожилая женщина, гречанка по виду, и юноша лет четырнадцати, напротив того, с лицом самоуверенным и вызывающим. У юноши было лицо Вифинского Антиноя, неприглаженные волосы образовывали ореол над челом, словно мраморным, детские, но необычно большие глаза смотрели надменно, а прекрасные, чисто греческие губы были ярко-алы и на бледном лице казались только что нанесенной раной, обагренной чистой, свежей кровью. Так был прельстителен юноша красотой лица и гибкостью движений, что если бы его в эту минуту увидел отец богов, он вновь послал бы своего молниеносного орла, чтобы унести на Олимп нового соперника Ганимеду.

— Юний! — сказала мне Реа,— исполним наше счастливое дело!

Не отдавая отчета в своих поступках, повинуясь безвольно, я приблизился к Рее, а она быстро развязала свой

сверток, и пурпуровый колобий заблистал при огнях светильника и алтарных курений. Мы оба опустились на колени перед юношей, как преклонялись недавно патриции и сенаторы пред Грацианом, и Реа торжественными движениями облекла Антиноя в императорскую одежду. Еще прекраснее показался он в пурпуровом плаще, оттенившем белизну его лица и стройно облегшим его стан. Или не понимая, что с ним делают, или привыкнув к поклонениям на тайных служениях Змею, юноша стоял перед нами безмолвный, но не опуская лучистых глаз.

Вторично преклонившись, Реа произнесла торжественно:

— Привет, привет, привет, трижды блаженный! По велению Духа святого я, служительница Грядущего, первая возлагаю на тебя знаки твоей власти. Ныне видели очи мои спасение мира.

Из присутствующих никто не сказал ни слова, не сделал ни одного движения, чтобы помешать Рее: змеепоклонники приняли все совершившееся, как должное. Реа же, встав, сказала кратко:

— Я еще вернусь к вам. Теперь проводите нас к выходу. Оставайтесь с миром и помните мои слова.

И опять никто не возразил ничего, так как всеми владело какое-то обаяние. Филофрон, взяв в руки лампаду, показал нам путь и с нивким поклоном открыл дверь. Мы вышли на улицу.

Я, за все время нашего недолгого пребывания в доме Филофрона не произнесший ни слова, с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух. Но Реа, до конца сохранившая редкое обладание собой, внезапно словно опьянела от восторга или помешалась от радости. Она сделалась совершенно другой, непохожей на ту, которой была среди змеепоклонников, стала смеяться и плакать, обнимала меня порывисто и восклицала громко, забыв, что нас могут услышать прохожие:

— Милый Юний! мой Юний! Благодарю тебя. Ты сделал меня самой счастливой на земле. Ты дал мне увидеть то, на что я не надеялась. Я знала, что бог привел меня к тебе.

— Помилуй, Реа,— возразил я,— все сделала одна ты. Я тебе ничем не помог и ни на что не был нужен.

— Нет, нет! — повторяла Реа.— Это — ты, это — ты! Ты меня привел сюда! Ты мне дал силы говорить и одер-

жать победу! Я готова поклоняться тебе, я готова целовать тебе ноги!

Реа заставила меня войти к ней и в своей комнате предалась новому порыву радости. Она хохотала совсем как сумасшедшая, произносила речи бессвязные, бросалась то на ложе, то на пол и, действительно, пыталась целовать мне ноги и руки. Наконец, схватив меня в свои объятия, перешла к тому исступлению страсти, какое я у нее уже видел раньше, и не выпускала меня из своих рук, пока я не стал отвечать на ее вызовы. Так этот вечер, начатый служением Змею, закончился служением Аматусии, и я, поздно ночью возвращаясь в дом Коликария, уносил смуту в душе от зрелища человеческого безумия и истому в теле от долгих любовных ласк.

IX

После этого дня началась для меня в Медиолане жизнь необычная и совершенно непохожая на ту, которую я мог ожидать, уезжая из Рима.

С делами нашего посольства я почти ничего не имел общего и, продолжая жить в доме Коликария, часто за целый день не встречался ни с кем из Римских сенаторов. Порой даже обедать мне приходилось одному, так как Симмах и его сотоварищи уходили из дому для таинственных переговоров с друзьями Юстины, на которые меня с собой не брали. Только изредка Симмах призывал меня в свою комнату для мелких письменных работ, но, обеспокоенный неудачами и утомленный хлопотами, он не вступал со мной в разговоры, был вообще молчалив и угрюм.

Зато каждодневно я бывал у Реи, которая все более и более привлекала меня к себе причудливостью своей души, необъяснимой таинственностью своей жизни и своим неподдельным расположением ко мне. Мне нравились ее речи, пересыпанные словами из христианских священных книг, часто малопонятные, почти всегда восторженные; меня прельщали ее внезапные переходы от ликования к отчаянию, от разумной деловитости к явному безумию; наконец, мне все более желанными становились те ее ласки, которые, в иные вечера, она внезапно расточала мне со щедростью гетеры или участницы ночных служений Приапу, тогда как в другое время оставалась холодной и не-

приступной, готовой, как Лукреция, скорее умереть, чем нарушить целомудрие.

Но, сближаясь с Реей, я все же не мог проникнуть сквозь покров тайны, окружавшей ее, подобно облаку, которым боги окутывали в песнях Гомера героев, когда желали их сделать незримыми. Рее случалось уходить из дому на целый день, и никто не знал, куда она шла и что делала в Медиолане, и хозяин дома, где она жила, встречавший меня как доброго приятеля и единомышленника, никогда не мог мне дать об этом никаких сведений. Мне случалось видеть, как Реа беседовала с людьми самыми различными, от сановников, в расшитых золотом тогах, и воинов, с красным цингулом и золотой пряжкой, до простых ремесленников, в грубых ленах, и оборванных нищих, похожих на ночных грабителей; но она не отвечала мне на вопросы, откуда она их узнала и какие у нее с ними дела. Живя весьма скромно, Реа, однако, всегда имела в своем распоряжении какие-то деньги, происхождение которых мне тоже было непонятно, и только один раз, без всякого смущения или стыда, она попросила меня дать ей золотой солид, что я, разумеется, тотчас исполнил.

Не менее загадочной оставалась для меня душа Реи, и по-прежнему я не знал, считать ли ее в числе лишенных рассудка, которой ее безумные грезы представляют, как действительность, то, чего нет, или почитать ее вдохновленной некиим богом, причем лишь наша слепота побуждает нас не верить ей, как некогда не верили трояне прорицаниям Александры. Иногда я почти готов был предположить, что Реа просто распутная девушка, прикрывающая свои искания сладострастия вымышленными историями о скором пришествии Антихриста, в которого сама не верит; в другие часы своей скромностью, своим непритворным негодованием при всяком вольном слове, которое я решался произнести, Реа заставляла меня думать, что порывам страсти она предается против воли, может быть, одержимая в эти минуты демоном. Целыми часами Реа могла говорить разумно, выказывая много сообразительности и разносторонние познания, но потом неожиданно переходила к бессвязным восклицаниям и предсказаниям, воображая себя какой-то еврейской пророчицей.

Первоначально я был уверен, что к Рее меня привлекает прежде всего любопытство, потом то одиночество, в котором я оказался в Медиолане, наконец, желание найти

в ней помощницу для исполнения моих замыслов; но мало-помалу встречи с ней сделались для меня и привычкой, и сладостной необходимостью. Темная тоска порабощала меня, если долгое время я не видел Реи, и я спешил из богатых покоев Коликария в ее скудную компату, втайне надеясь, что в этот день странная девушка вновь пожелает любовных ласк. О Гесперии я все более и более думал, как о чем-то далеком, от чего меня отделяют целые года, или как не о живой женщине, а об одной из сонма бессмертных, и хотя не забывал ее божественного лица, ее улыбки, столь сладостной, что она, по словам поэта, напоминала полную луну, выплывающую из-за тучи, однако уже не находил в душе тех чувств, которые меня заставляли так страдать и так наслаждаться в Риме. И если я упорно продолжал искать способов выполнить данное обещание, то теперь уже больше потому, что оно было подкреплено страшной клятвой, и потому, что личность Грациана, после всего пережитого в Медиолане, возбуждала во мне ненависть и отвращение, чем из стремления жизнь свою возложить на алтарь Любви, как свой самый драгоценный дар. Не раз с горечью я даже говорил себе, что, пользуясь чарами своей красоты и моим юношеским увлечением, посылая меня ради своих целей на верную гибель, Гесперия поступала скорее как скифская царица Томирида, чем как Римлянка, воспитавшая свой дух на книгах философов и на созданиях художников.

Тем не менее я продолжал убеждать Рею, так как ни от кого другого не мог ожидать содействия, что наше дело не завершено, пока мы не расчистили вполне путь к императорскому трону тому, кто должен на него воссесть, дабы царствовать над всеми народами. Как ни слабы были мои доводы, их было достаточно, чтобы легко всем увлекающаяся Реа приняла мою мысль, как свое собственное убеждение. Готовая, подобно дочерям Даная, без устали работать хотя бы над неисполнимым предприятием, она принялась за осуществление моего замысла с такой настойчивостью и с такой ловкостью, которые для меня были недостижимы.

После одного из своих таинственных исчезновений, продолжавшегося почти целые сутки и заставившего меня мучиться скрытой и неожиданной ревностью, Реа сообщила мне, что нашла возможность беспрепятственно проникать в священный дворец. Где-то ей удалось завести знакомство с одним стариком, по имени Питарат, занимав-

шим видное положение среди дворцовых педагогов. Реа уверяла меня, что он имеет полную возможность вводить во дворец кого угодно, и советовала мне заручиться его дружбой. Мы придумали басню, будто я намерен написать стихотворение в похвалу императору и желаю ознакомиться с покоями дворца, чтобы описание их вставить в свою поэму. Под таким предлогом началось мое знакомство с Питаратом.

Для первого разговора я позвал его в одну из лучших копон Медиолана и угостил секстатрием привозного греческого вина.

Питарату было лет шестьдесят; он был плешив, выбрит начисто, и его маленькая, круглая голова, со старческими, всегда прищуренными глазами и множеством мелких морщин, собравших всю кожу лба и щек, казалась случайно приставленной к телу, еще крепкому и не согнутому старостью. Он носил квадратный греческий гиматий и всегда ходил с толстой палкой, потому что хромал на одну ногу. Всю свою молодость он служил моряком, плавал в самых отдаленнейших морях земного круга, но, сломав ногу во время кораблекрушения, должен был оставить это дело и, при содействии какого-то патрона, получил место во дворце, не требовавшее особой работы и, по его признанию, доходное.

Как все старики, Питарат любил болтать, и мне в первый же день пришлось выслушать немало его рассказов о путешествиях, бурях, дивных странах за морями, чудесных животных и о всем подобном.

— Теперь, юноша, мореплавание падает,— говорил, между прочим, Питарат, охотно осушая кубок за кубком,— но в мое время мы еще делали славные поездки! Зато я все на земле видел собственными глазами и знаю, что везде одно и то же! Меня уже не проведут рассказчики разных небылиц, которые ты сам, вероятно, слушал, развесив уши. Много теперь развелось молодых краснобаев, которые на деле нигде дальше Александрии не бывали, а о чужих землях сочиняют всякие сказки, одна страшней другой. Теперь что! Все товары индийские и из земли синов идут к нам через аксомитов или персов,— вот и приходится нам переплачивать вдесятеро. А я еще плавал на египетской торговой трireме, которая из Миос-Гормоса так прямо и поплыла сначала на Салику, потом в Каттигару. Надо тебе сказать, что Эритрейское море такое, что дуют на нем только два ветра: летом с Запада, а зимою

с Востока. Мы сорок дней плыли так, что не было видно земли ни справа, ни слева, небо да вода — и только. Приплыли в Метору, где слонов на улицах столько же, как у нас лошадей, и что же ты думаешь? тамошние люди, в чалмах, пьют вино фалернское и лаодикейское, одеваются в арсинойские ткани, украшают свои столы фиванским стеклом и ставят в домах статуи наших художников! Потом столько же дней мы плыли до страны синов, и там тоже все слышали о империи, ждали наших товаров, а женщины только и мечтали, чтобы нашей сурьмой подвести себе глаза! Притом везде ходят наши деньги, золотые, серебряные и медные, и индийцы припрятывают их столь же охотно, как Римские граждане. Да, юноша, есть на свете и диковинки, но люди везде одни и те же. И уж если это тебе говорит старый Питарат, который избороздил землю от Восхода Солнца до Заката, так если другой скажет, будто за морем живут великаны или люди крылатые, плюнь ему в глаза.

Такой вывод, однако, не помешал Питарату тут же мне рассказать совершенно невероятную историю о лесном народе обезьян, живущем на островах Сатиров, с которым он и его товарищи-моряки будто бы вели войну. Лесные люди покрыты с головы до ног шерстью, лицо у них странное, с клыками, подобное волчьему, голос дикий, непохожий на человеческий, ходят они, упираясь в землю руками, которые у них непомерной длины. Силы они необыкновенной и могут вырывать с корнем целые деревья или ворочать огромные камни, должно быть, такие, о которых сказал поэт, что их не возложили бы на плечи и «дважды шесть» современных нам людей. Живут лесные люди на деревьях, в гнездах, питаются плодами, но иногда делают нападения на туземцев, главным образом, чтобы похитить у них женщин, до которых очень падки.

Я сделал вид, что верю и такой нелепости, и слушал после рассказы о других путешественниках, которые проникали в отдаленнейшую Рапту, где слоновая кость валяется по дорогам, как булыжники, в страну Лунных гор, где из озер, похожих на моря, вытекают две реки, образующих священный Нил, о бесстрашных мореплавателях, которые, переплыв Океан, нашли за ним новую землю, громадные острова, большие, чем Азия, Ливия и Европа, взятые вместе, и о многом другом, что я мог отнести только к числу тех небылиц, о которых с таким негодованием упоминал Питарат в начале своей речи.

Когда вина было выпито много и еще больше рассказано удивительных приключений, я приступил к почтенному педагогу со своими просьбами. Он нисколько им не удивился, что меня несколько встревожило, и выразил полную готовность показать мне весь дворец, проводить меня по всем комнатам от первой до последней, по всем проходам и залам и даже дать мне возможность проникнуть в опочивальню императора. Впрочем, Питарат добавил, что за такую услугу я буду должен ему заплатить, потому что он, если его содействие станет известным, может лишиться своего места, и я, конечно, это нашел вполне справедливым.

Когда я сообщил Рее об обещаниях Питарата, она по-детски захлопала в ладоши и воскликнула радостно:

— Видишь теперь, Юний, что явно сам господь покровительствует нам, все трудное делая легким и все невозможное — доступным! Бремя его легко и иго его — благо!

Меня, однако, мучили темные предчувствия, и в ту же ночь мне приснился страшный сон, в котором мне казалось, что лукавый Питарат, в виде громадного, раздутого паука, прядет передо мною прочную паутину и зовет меня ласковым голосом: «Плыви ко мне, юноша, плыви,— ветер попутный!» Как ни мало был я опытен в снотолкованиях, однако не мог не понять, что мое сновидение предвещает мне недоброе. И унылая тоска, долго владевшая мною после пробуждения, подтверждала мне, как верный признак, что сновиденье было правдивое.

Это не помешало мне в назначенный день прийти к старому моряку, жившему в самом дворце, в его задней части,— на «корме», как говорил он,— в маленькой комнатке, украшенной причудливыми вещами, которые он привез из своих странствий: индийскими дротиками, масками, выделанными в стране синов, египетскими амулетами, персидскими вышивками и тому подобным. Тщательно пересчитав принесенные мною деньги, Питарат их спрятал в кованый ларец с хитрым замком и потом, действительно, повел меня во дворец, где тогда императора не было, так как он, несмотря на зимнее время, уехал охотиться в свое поместье под городом.

Оказалось, что проникнуть во дворец с заднего хода не так трудно, как мне это думалось: вход не охранялся решительно никем, если не считать двух рабов, которые были заняты в тот день мытьем пола и которых при случае можно было или обмануть, или подкупить. Я снова увидел

грубое великолепие императорских покоев, безвкусное нагромождение золота, бронзы, разноцветных мраморов, посредственных статуй и христианских изображений. Разумеется, я постарался хорошо запомнить дорогу, через бесчисленные проходы, к опочивальне Грациана, где стояло его громадное ложе, украшенное распятием и Римскими орлами; ложе было закрыто парчовыми завесами, на которых была вышита история какого-то христианского святого, и я подумал, что за этими тяжелыми тканями легко спрятаться незаметно и дождаться удобного часа в ночи, чтобы нанести удар без промаха.

Питарат, получив деньги, был особенно любезен, прихрамывая, бегал передо мной и говорил безостановочно: то объяснял назначение той или другой комнаты, того или другого предмета, охотно приводя сравнения из корабельного мира, называя окна колумбариями, колонны — мачтами, залы — палубами, то возвращался к рассказам о своих путешествиях по чудесным странам и неведомым морям. Но я все менее и менее доверял его благожелательности и всячески старался рассеять подозрения, какие могли у него возникнуть, добросовестно играя роль поэта и вслух подбирая разные пышные выражения для прославления священного дворца и его божественного обитателя.

X

Вскоре после этого моего посещения священного дворца Симмах передал мне два письма: одно было от моего отца из нашей Лакторы, другое — от Гесперии из Рима.

Письмо от отца было длинное. В нем вполне выражалась его душа,— душа истинного Римлянина, достойного жить в лучшие времена, нежели наше, за которую сограждане называли его новым Катоном, а я не только любил сыновней любовью, но и почитал, как живой образец доблести. Вот что писал мне отец:

«Стало мне известно, мой любезнейший сын, что ты, прервав свои занятия в школе и приняв участие в посольстве от Сената Римского, с прославленным Аврелием Симмахом, поехал в Медиолан, где ныне пребывает август. Излишне было бы говорить, как высоко я чту значение Сената и сколь я желаю, чтобы ты свои поступки всегда сообразовал с его волей и с его решениями, в которых слышится голос самого народа Римского. Также я думаю,

что близость к Квинту Аврелию Симмаху, человеку достойнейшему, потомку славных Аврелиев и писателю, сочинения которого уже теперь всеми встречаются с большой хвалой, может быть, для тебя полезна и благодетельна. Однако я все-таки тем, что ты не исполнил моих наставлений и изменил свою жизнь, не спросив моего совета и разрешения, крайне огорчен.

Ты находишься еще в том возрасте, когда рано самому выбирать дорогу жизни, но должно следовать указаниям людей старших и более опытных. Юность без рассуждения готова взяться за всякое дело и с жадностью устремляется на все новое, думая, что у нее для всего достанет сил, и нетерпеливо желая все испытать. Но опыт учит нас, что истинная мудрость состоит в том, чтобы соразмерять свои плечи с бременем, которое собираешься поднять, и не браться за труд, который превышает твои силы. Надо искать дела сообразно со своими способностями, а не со своими желаниями. Я послал тебя в Город с тем, чтобы ты расширил свои познания и, из уроков философии, научился отличать хорошее от дурного, подготовив тем себя для честного служения отечеству, что есть наш первый долг. Такая задача вполне по твоим силам, и тебе надлежало сначала ее выполнить, и лишь потом ты мог бы думать, на каком поприще и каким путем тебе всего лучше использовать свои знания и свои дарования к пользе империи.

Присоединившись к числу людей, которые решили почтительнейше просить августа изменить свою волю, ты выказал больше неосмотрительной заносчивости, чем благоразумной скромности, подобающей юноше твоих лет. Обсуждать вопросы, относящиеся к делам правления, должны только люди, основательно изучившие право и историю, иначе легко упустить из виду главное и мелочам придать значение слишком большое. Давно было указано, что не раз события, считавшиеся злом, оказывались счастливым сочетанием обстоятельств, и, наоборот, те, которые принимались всеми с изъявлениями радости, вели после к погибели. Тебе рано судить о том, есть ли среди мудрых мер, принимаемых императором, такие, которые должно изменить, и юноша проявит больше ума, стараясь хорошо исполнять существующие постановления, нежели домогаясь, хотя бы вместе с другими, издания новых. Я был бы более доволен, если бы ты, вместо того, чтобы торопиться участвовать в делах империи, приложил больше усердия к своему настоящему делу и радовал меня известиями

о своих успехах в школе и добрыми отзывами своего учителя.

Поэтому я настаиваю, мой дорогой Децим, чтобы ты немедленно возвратился в Рим и возобновил прерванные уроки риторики, предоставив исполнять поручение Сената лицам старше себя и обязанным к тому своим положением. Не место тебе в Сенаторском посольстве, так как пока ты должен еще учиться и готовить из себя достойного гражданина, а не учить других и участвовать в трудах правления. Займись прилежно собиранием знаний, помня, что в наш век без этого ни в чем невозможно достичь успеха. Не забывай также, что, кроме честного имени, я не могу оставить тебе никакого сокровища и что поэтому тебе самому придется заботиться о благополучии своей жизни. Человек образованный, как говорит поэт, в самом себе всегда имеет богатства. Мудрость обладает силой побеждать все бедствия: скорбь, бедность, позор, заключение, изгнание,— это говорит нам философ. Позаботься о том, чтобы приобрести образование и мудрость,— этим ты обеспечишь свою жизнь, и этим же ты сделаешь себя способным с честью носить имя Римского гражданина, не стыдя и славного имени Юниев. Исполняй старательно те обязательства, которые ты на себя принял, прибыв в Город с целью учения, и этим ты мне и всем другим больше докажешь добрые склонности своей души, чем вмешательством в дела, тебя пока не касающиеся.

Твоя мать присоединяет свою просьбу к моему приказанию. Она и твоя сестра здоровы. Твоего скорого ответа мы ждем уже из Города. Vale ut valeam».

Письмо от Гесперии было гораздо более кратким. Она писала так:

«Гесперия Юнию. S. D. Мой милый Юний. Уже много времени прошло с тех пор, как ты уехал, и у меня давно нет никаких о тебе известий. Мне тебя очень недостает в Риме, и я сама не думала, что буду так о тебе скучать. Мне хочется, чтобы скорее окончились все дела, ради которых ты поехал в Медиолан, и ты опять пришел ко мне так же, как приходил прежде. Когда мы увидимся, я скажу тебе много для тебя приятного и неожиданного, впрочем, неожиданного также и для меня. Vale».

Эти два письма подействовали на меня совершенно различным образом.

Все в письме отца,— и приводимые им слова Сенеки, писателя, которого он особенно любил и изречения кото-

рого часто повторял, и суждения, подсказанные благоразумием и осторожностью, и самый слог, тяжелый, но ясный,— так живо напомнило мне семью и родной город, что я едва не заплакал, читая свиток. Сквозь суровые укоры и строгие наставления отца просвечивала его любовь ко мне и его забота о моей участи. И,— хотя не юношеская заносчивость и не преувеличенное мнение о своих способностях заставили меня присоединиться к Сенаторскому посольству, но власть любви и страсти, с которыми не под силу бороться неопытному сердцу,— я не мог не признать справедливым того, что писал отец, и не сознаться себе, что попал в беду, рано променяв тишину школы на бури жизни. Вместе с тем горько мне было думать, что отец своим приказанием — немедленно покинуть Медиолан, чем он хотел избавить меня от опасности, только вынуждает меня поторопиться с выполнением моего страшного замысла и как бы толкает меня, чтобы я, головой вперед, бросился прямо в пасть льву.

Напротив, по виду столь ласковые строки Гесперии не только меня не обрадовали, но почти рассердили, так как в них я почувствовал притворство и лицемерие. Гесперия, упоминая о чем-то «для меня приятном и неожиданном», что она намерена сказать мне при встрече, желала, вероятно, чтобы я в этих неопределенных словах увидел намек на чувство любви ко мне, возникшее в ней, и надеялась этим темным признанием, от которого при случае легко отречься, раздуть в моей душе, как кузнечным мехом, пламя страсти и пробудить во мне,— может быть, ослабшую,— готовность действовать. Но я ни на минуту не поверил, будто Гесперия тоскует по мне, и все ее письмо мне показалось лишь новым доказательством того, с каким холодным расчетом она пользуется своей красотой и моей любовью для своих целей. Если бы подобное письмо я получил в первые дни моего знакомства с Гесперией, я бесчисленными поцелуями покрыл бы каждую его строку и сберег бы его, как величайшую драгоценность; но недели разлуки, размышление, а может быть, и влияние Реи сделали меня более рассудительным: я принял письмо только как напоминание о том, что дал клятву — пойти на верную смерть, и, не без негодования, бросил дощечки в свой ларь, на дно, где лежал недавно пурпуровый колобий.

Как бы то ни было, из обоих писем следовало одно и то же: что я должен спешить; да и какие причины остава-

лись у меня, чтобы медлить? Надеяться на случайную встречу с Грацианом было нельзя; способ проникнуть во дворец был найден; наше посольство легко могло, в любой день, получить приказание покинуть Медиолан. «Действительно, довольно ждать,— сказал я самому себе.— В таком деле никакие, самые осмотрительные предосторожности не помогут. Все зависит от богини Фортуны: ей я поручаю и свое дело, и свою судьбу. Пусть решительным днем будет завтрашний».

С таким решением в уме, но вовсе не с веселым сердцем я пошел к Рее, так как больше не с кем мне было поговорить откровенно в последний, может быть, вечер своей жизни.

Небо было бледно, но безоблачно, как то часто бывает зимой; колесница Феба клонилась к закату, и лучезарный венец бога бросал на город косые, яркие и холодные лучи; на улицах было пустынно, и высокие дома, с тяжелыми мраморными колоннами, казались необитаемыми. Я думал о том, что, вероятно, никогда более не буду созерцать этого вечернего часа, и мне странно было, что, несмотря на то, я шагаю так же просто, как всегда, что ни мой слух, ни мое зрение не изощрены, что красоту мира я ощущаю не сильнее, чем вчера, и что даже мое сердце бьется столь же ровно. Еще думал я о том, что, может быть, уже завтра я узнаю великую тайну смерти, и для меня будет решен вопрос, кто прав,— приверженцы ли религии Юпитера, христиане ли, философы ли. Сольется ли моя душа с элементами мира, будет ли мой призрак блуждать вокруг мертвого тела, тогда как моя тень сойдет в Тартар, а мой дух вознесется в жилище блаженных, окажусь ли я в христианском аду, где будут меня терзать дьяволы до дня, когда я предстану на Страшный суд вторично грядущего в мир Христа, или на берегах Стикса, Ахеронта, Коцита и Флегетона я встречу блаженные и несчастные облики древних героев, воочию увижу царящего над мертвыми Ахилла, мучения Иксиона, Пирифоя, Тантала, вечную скорбь Лаодамии, Элиссы, Сапфо, грозное величие Александра, Цесаря, Траяна?

По счастию, я Рею застал дома и тотчас сообщил ей о своем решении. Не удивилась, не испугалась Реа, встретила мои слова, как то, что давно ожидала, но проявила твердую уверенность, что мое предприятие окончится успешно. С таким лицом и такими словами говорила со мной Реа, что сразу ко мне вернулась бодрость, и на время

все мрачные предчувствия и горестные опасения, словно змеи по знаку заклинателя, в моей душе свернулись кольцами и уснули.

— Не нами обречен Грациан, но перстом Всемогущего,— говорила Реа.— То, что будет совершено, есть решение Судьбы. Чего же нам бояться? Разве могут люди противиться богу? Если бы мы даже были во сто раз менее осмотрительны, во сто раз менее приняли предосторожностей, все равно мы достигли бы цели, потому что это предрешено не нами. Мы — только видимое орудие незримой воли, которая сама поведет нас, сама устранит все препятствия с пути, сама даст нам удобный миг и случай! Я в видении видела тело Грациана простертым на мраморном полу, с железом в груди, и спасти императора не может уже никакая сила на земле!

Слушая пророчества Реи, я готов был верить, что на другой день мне предстоит не совершить страшное преступление, но только исполнить какое-то почетное поручение,— увенчать венком победителя на играх или продекламировать чужое стихотворение. Но чем более успокаивали меня доводы девушки, тем неотступнее мне хотелось сознаться ей, что мысль убить Грациана явилась не у меня, а у кого-то другого, кто о пришествии Антихриста не помышлял вовсе. Я боролся с собой, чтобы не совершить клятвопреступления и не рассказать Рее о Гесперии все, и были минуты, когда начальные слова признания уже, как бы огнем, горели на моем языке. Однако я сумел преодолеть соблазн и сделал Рее только намек на свою тайну:

— Милая Реа,— сказал я.— Ты должна узнать, что в Медиолан я ехал уже с намерением совершить то, о чем мы сейчас говорим... Одна женщина в Риме, имени которой я тебе не назову и которую, как мне казалось, я люблю любовью беспредельной, подала мне эту мысль... Она не любила меня, но воспользовалась тем, что я, ради любви к ней, согласен был исполнить все ее приказания... Она была убеждена, что посылает меня на смерть, но все же послала... А я знал, что она так думает, и все же повиновался...

С большим трудом произнес я эти слова, но едва я их сказал, как мне стало легче, потому что тяжело хранить в душе мучительную тайну, никому ее не поведав. Реа же, выслушав мое признание, внезапно сделалась ласковой, как мать или старшая сестра, любовно обняла

меня, словно разгадав чутьем мои томления, стала гладить мне волосы и ответила:

— Та женщина тоже была орудием Провидения. Бог часто злые намерения обращает ко благу. Она думала послать тебя на гибель, а направила к славе. Было надо, чтобы ты оказался в Медиолане, и бог вложил тебе в сердце призрачную любовь к той женщине, приведшую тебя сюда. Было надо, чтобы последний император уступил место Царю Грядущему, и бог злую волю той женщины устремил не на кого другого, как на Грациана. Чудны и таинственны пути господни.

— Это была не призрачная любовь,— проговорил я с еще большим трудом,— я ее люблю и теперь.

— Что мы знаем о своей любви? — возразила Реа.— Как часто нам кажется, что мы любим, тогда как, поистине, это только слепота земная. И как часто мы думаем, что ненавидим, но эта ненависть есть любовь. Душа человека подобна морской глубине, где грубый камень можно принять за перл, а драгоценный коралл за простую водоросль.

Говоря так, Реа припала ко мне с тем страстным поцелуем, который все мое существо заставлял дрожать от желания. Было что-то в этой девушке, что ее ласки делало для меня ни с чем не сравнимыми, единственными и неотразимыми. Словно наши два тела изначала были созданы одно для другого, так что каждому трепету одного из них в полноте соответствовала дрожь другого. Через минуту я уже ничего не помнил о всем страшном, предстоявшем мне через несколько часов, и все мое отуманенное сознание было залито только одним: ощущением близости Реи.

— Ты ее люби, люби вполне, люби, сколько хочешь,— повторяла Реа, учащая поцелуи, от которых оставались на коже следы крови,— ты ее люби,— так надо, чтобы ты ее любил...

Выйдя от Реи уже поздно, когда по улицам распростерся сумрак, я, вместо того чтобы прямо вернуться в дом Коликария, пошел ко дворцу, желая еще раз убедиться, что доступ в него возможен. Действительно, никто меня не окликнул, когда я, обойдя здание вокруг, приблизился к тому заднему входу, через который намеревался проникнуть во внутренние покои. Я остановился в некотором расстоянии от ворот, всматриваясь в них и обдумывая, как мне будет лучше действовать на следующий день.

Внезапно я увидел тени двух человек, шедших по направлению ко дворцу. Они были закутаны в плащи, так как было довольно холодно, и разговаривали между собой вполголоса. Раба, который фонарем освещал бы им дорогу, с ними не было. Я едва успел спрятаться за выступ стены, чтобы они меня не заметили.

Когда эти два человека прошли мимо меня, я узнал их обоих: то был Питарат, педагог, водивший меня по комнатам священного дворца, и тот сириец, императорский соглядатай, которого я и Ремигий встретили когда-то в Римском Порте и который, по-видимому, знал, что Реа и Лета везли с собой, среди дорожных вещей, пурпуровый колобий.

Почему они вместе? какая существует между ними связь? не могут ли они обменяться теми сведениями, какие есть у каждого из них относительно меня? — эти мысли сразу встали в моей голове, и все самые дурные предчувствия, временно заглушенные ласками Реи, ожили вновь. Я чувствовал, что весь дрожу, что сердце мое почти останавливается от страха.

Питарат и сириец вошли во дворец через ту дверь, которую я выбрал для себя. Темное пространство перед воротами осталось пустынным. Но я долго еще не решался выйти из своего убежища, потом осторожно, прячась во мраке, перебрался на другую сторону площади и быстро пошел домой, тщетно отгоняя от себя мрачные думы.

XI

С утра следующего дня я стал готовиться к задуманному делу.

Я написал письма в Лактору, к отцу, к матери и к сестре, высказал им всю свою любовь к ним, просил у них прощения за все беспокойства, какие им причинял в разное время, но остерегался сделать хотя бы один намек на то, что могло меня ожидать, чтобы эти мои письма не послужили против меня уликой.

Еще большего труда стоило мне письмо к Гесперии, так как всякое неосторожное слово в нем могло служить уликой уже не только против меня, но и против нее. Много раз я перевертывал стиль и стирал написанное на мягком воске, и много раз я склонен был совершенно отказаться от последнего прощания с той, которая в течение многих дней была для меня божеством, но, наконец, мне удалось

написать несколько строк, до известной степени выражавших мои чувства. Вот что я написал:

«Децим Авсоний Гесперии. S. D. P. Domina, верь, что ни те тысячи миль, которые нас разделяют, ни недели, которые прошли с того дня, как мы расстались, не заставили меня забыть тебя и слова, что я тебе говорил. Не смертным судить деяния богов, и все твои повеления — для меня решения Оракула, которым я повинуюсь без размышлений. И в этой жизни, и за пределами гробницы я равно буду поклоняться тебе, и какая бы судьба меня ни ждала в жизни, всегда счастием буду почитать, что мне суждено было тебя узнать. Cura ut valeas».

Запечатав эти письма, я осмотрел кинжал, данный мне Гесперией, убедился, что он хорошо отточен, и спрятал его на груди. После этого мне более ничего не оставалось делать, и я решил пойти проститься с Симмахом, который был добр ко мне, и поблагодарить Тита Коликария, который оказал мне, вместе с другими членами посольства, радушное гостеприимство.

Симмах был в своей комнате один и что-то писал в пугилларах. Так как я почти никогда не приходил к нему без зова, то он меня спросил, что мне от него надо. Я сказал так:

— Письмо, которое ты мне передал, было от моего отца. Он гневается, что я покинул Рим и прервал учение, и требует, чтобы я немедленно возвратился в Город. Так как посольству, кажется, больше нельзя надеяться на успех и так как тебе я более не нужен, то, может быть, ты позволишь мне исполнить приказание отца.

Симмах внимательно на меня посмотрел и ответил:

— Нет, мой Юний, мы еще не потеряли надежды сломить упорство неистового Амбросия. Но, конечно, я могу обойтись без твоих услуг,— здесь я найду себе писца. Если тебе более нечего делать в Медиолане, ты должен подчиниться воле отца и немедленно ехать назад в Город.

Последние слова подтвердили мне, что Симмах о клятве, данной мною Гесперии, знал.

Потом, без всякого перехода, Симмах продолжал:

— Послушай, какие стихи я сейчас написал.

И он прочел мне следующую эпиграмму:

Белый снег осыпал Альпы,
Строгий Норд встревожил море;
Путь утратив, гибнет странник,
Гибнет в мутной мгле моряк.

Но ведут святые хоры
На вершине острой Пинда
Вечно юные Камены,—
Их предводит Аполлон.

И, незримо, звезд царица,
Светит в сумраке Диопа,
Всем влюбленным обещая
Радость сладкую надежд.

— Находишь ты это хорошим? — спросил Симмах.

— Мне ли судить твои стихи! — возразил я.— Ты живешь для того, чтобы будущим столетиям доказать, что сила поэзии в Риме не иссякала никогда. Я же могу гордиться тем, что не только жил в одном веке с тобой, но и стоял перед тобой лицом к лицу.

Говоря так, я, конечно, просто льстил; в действительности я был удивлен, что среди важных дел и забот сенатор находил время и охоту заниматься сочинением стихов. Но давно замечено, что поэты всегда бросаются на похвалу своим сочинениям, как голодные рыбы на жирного червя. Хотя Симмах и довольно наслушался за свою жизнь похвал, он все же каждый раз принимал их, как самые дорогие подарки, и после моих слов стал говорить со мной гораздо охотнее и приветливее. Я этим воспользовался, чтобы точнее узнать, насколько он посвящен в замыслы Гесперии.

— Как ты думаешь,— спросил я,— изменится ли положение дел, если место Грациана займет другой император?

— Да, тогда изменится все,— быстро ответил Симмах.— В императоре чтут сына Валентиниана. На ученике Авсония лежит отблеск славы победителя Британии и Африки. Грациану подчиняются потому, что отец его сумел запугать народ на много десятилетий вперед. Довольно исчезнуть одному человеку, Грациану, который столь же смертен, как ты, я и мой раб,— и многое невозможное станет возможным, и вся история империи изменится.

— Кстати, скажи мне,— спросил я еще,— вернулся ли Грациан в Медиолан.

Симмах опять многозначительно посмотрел на меня и ответил медленно:

— Он вернулся вчера утром и теперь живет в своем дворце уединенно...

После этого ответа я не сомневался более, что Симмах знает, с какой целью я живу в Медиолане. Поэтому, вынув написанные письма, я сказал:

— Значит, ты мне разрешаешь ехать в Рим. Я так и сделаю, и покину Медиолан завтра же, если то позволят боги. Я рассчитываю, что ты поможешь мне получить лошадей, потому что самому мне будет это сделать трудно. А на тот случай, если со мной произойдет какое-либо несчастие в пути или раньше,— вот письма: пошли их тогда тем, кому они назначены.

Симмах встал, как кажется, взволнованный, подошел ко мне и поцеловал меня в лоб, потом сказал:

— Я все исполню, милый Юний, будь в том уверен. А завтра, с раннего утра, у заставы на Эмилиевой дороге тебя будет ждать готовая карпента и верный раб. Ты можешь, если это понадобится, уехать, не простившись. Если же тебя постигнет какое-либо несчастие, мы все, узнавшие тебя, будем тебя поминать с любовью. Но верь в помощь богов бессмертных!

Злая тоска, словно когти гарпии, сдавила мое сердце при этих ласковых словах Симмаха. Я не мог ничего отвечать и выбежал из комнаты. Мне было жаль самого себя, и мне было горько, что другие меня жалеют.

Успокоившись несколько, я пошел к Титу Коликарию. Но оказалось, что его нет дома, и меня провели к его жене Фальтонии, показывавшейся редко и почти все время проводившей в дальних покоях за домашними работами. Когда я вошел к ней, она тоже занята была вышиванием. В руках у нее был широкий шелковый пояс, по которому она золотом изображала проказы амуров, соперничая с искусством косских мастеров, а две рабыни, стоя около ее кресла, держали моток золотой пряжи и помогали ей.

Я объяснил, зачем пришел, и Фальтония, выслушав мои благодарственные слова, подняла на меня свои грустные глаза, всегда окруженные синевой и потому казавшиеся особенно глубокими, и сказала:

— Да, ты хорошо поступишь, Юний, если послушаешься отца и вернешься в Город, в свою школу. Как прививки можно делать только к молодой виноградной лозе, так воспитывать душу можно только в молодости. Учись хорошенько, собирай дельные советы учителей, старайся стать хорошим человеком. Потом выбери себе добрую жену и поезжай жить в родной город, подальше от шумного Рима и императорского двора. Я жила больше твоего

и могу тебе сказать, что счастие не в блеске, не в богатстве, не в славе, а в мирной жизни. Не ищи почестей: они принесут с собой зависть и ненависть; не заботься о делах империи: при всяком правлении можно прожить счастливо в своем маленьком домике; не добивайся, чтобы твоя жена была красавицей: женщина некрасивая ласкает мужа не менее нежно, а любит всегда больше. Ты видишь: я живу в богатстве, и мой муж занимает важную должность, но я от этого не стала более счастливой...

Произнеся эту горациановскую проповедь о том, что

В сей жизни счастлив тот, кто от забот далек,—

Фальтония улыбнулась своей обычной грустной улыбкой и, помолчав, добавила, что не считает себя вправе делать мне наставления, но думает, что жизнь в Медиолане, когда я иногда целые дни провожу неизвестно где, не служит мне на пользу. Сказав в ответ несколько незначительных слов, я покинул Фальтонию, не только не успокоенный, но с еще большей тяжестью на душе. Все словно сговорились ослабить мою решимость и направляли стрелы своих слов в самые незащищенные места моего сердца.

После советов Фальтонии мне ясно представилось, как много есть в мире прекрасного, чего я не изведал и даже не попытался узнать. Передо мной была целая жизнь, в которой я мог испытать и счастие взаимной любви, и наслаждения, какие дает почет среди сограждан, и веселие в кругу близких друзей, а я вместо того поспешил бросить себя на позорную смерть ради улыбки первой красивой женщины, встреченной мною. Я сравнивал себя с мальчиком, который, отправляясь в город на ярмарку, выпросил у отца несколько сестерций, но на первых же шагах проиграл их в кости, а потом с завистью смотрит на палатки, где показывают крокодилов, на занавеси, за которыми тешат зрителей борцы и фокусники, на лари с орехами и сластями и грустно думает, что мог бы воспользоваться всеми этими радостями, если бы был более бережлив.

Оставаться дома мне было нестерпимо. Уложив все свои вещи как бы для отъезда, убедившись, что кинжал со мною, так же как и деньги, которые мне могли понадобиться, я вышел на улицу. На этот раз день был сумрачный, и громадные клубы облаков ползли по небосводу так же уныло и медленно, как мои мысли. Люди шли по всем направлениям: одни торопились по делу, другие

праздно гуляли, разговаривали друг с другом и, прищурясь, оглядывали проходящих женщин, но мне были ненавистны и те и другие: озабоченный вид тех и беспечность этих казались мне оскорбительными, когда я был обречен на смерть.

Я зашел в таберну, съел кусок козьего сыра и выпил вина; это немного меня ободрило. Потом, преодолев волнение и невольную дрожь, я пошел ко дворцу. Было еще рано, и на площади ежеминутно появлялись прохожие. Постояв некоторое время перед воротами, я опять вернулся в город и опять стал ходить бесцельно по улицам.

С каждой минутой мое предприятие мне казалось все более и более нелепым.

«Предположим,— думал я,— что мне удастся войти в ворота незамеченным. На лестнице дворца я, наверное, встречу дворцовых рабов. Я попытаюсь подкупить их, но как поручиться, что они, взяв деньги, не укажут на меня стражам? Пусть даже я проникну внутрь дворца,— есть ли вероятие, что я тайно доберусь до спальни императора? Наконец, если я и окажусь в ней, будет ли это все? Разве Грациан не может пойти сегодня спать в другую комнату? Разве рабы, раздевающие его, не могут заметить моего присутствия? Разве я могу быть убежден, что моя рука не задрожит, и я, в первый раз в жизни нанося смертельный удар человеку, не промахнусь? Какое сочетание длинного ряда чудес нужно для того, чтобы мой замысел осуществился!»

Со дна моей души, словно туман, встающий летним вечером и застилающий все кругом, поднималось убеждение, что всего разумнее — отказаться от задуманного. Мне становилось ясно, что на том пути, который я выбрал, я мог лишь погубить себя, но убить Грациана не было никакой надежды. Все сильнее и сильнее искушал меня соблазн — вернуться домой, пока не поздно, и завтра уехать из Медиолана, но не в Рим, так как мне было стыдно встретиться с Гесперией, а в Афины или в Антиохию... Однако мысль об том, что о моей клятве знает также Симмах, что он станет презирать меня за трусость, удерживала меня. Я напоминал себе слова Реи, что за меня сам бог, и подтверждал их изречением Цицерона: «Нет ничего, что не мог бы совершить бог».

Когда смерклось, я вторично подошел ко дворцу. На этот раз площадь была пуста. Невыразимое томление

овладело мною. Я предпочел бы, чтобы какое-нибудь внешнее обстоятельство помешало мне. Но все, по-видимому, благоприятствовало моему замыслу. Ворота были приотворены, и нигде не было видно стражей.

С величайшим напряжением чувства, ощущая какую-то колющую боль в сердце, я вознес мольбы самому Отцу богов и людей.

«Iuppiter Optimus Maximus,— взывал я про себя,— ты когда-то низверг в Тартар своего отца, Сатурна, ты сокрушил гигантов, что громоздили Оссу на Пелион, чтобы лишить тебя власти! — помоги мне и защити меня! Ради твоей славы я иду на это дело, чтобы вернуть прежнее величие твоим храмам и алтарям, чтобы уничтожить чужеземную веру, которая дерзает соперничать с верой отцов и глумится над тобой и сонмом тебе подчиненных богов! Пошли мне удачу, дай мне силы, потому что я стою за правое дело и за тебя!»

Так взывая, а также повторяя слова установленных молитв, я скользнул в ворота. Дворцовый двор также был пуст. Я подошел к двери, через которую вводил меня во дворец Питарат. Она не была заперта. С сердцем, бьющимся, как молот, я вошел во дворец и быстро стал подниматься по узкой каменной лестнице, совершенно неосвещенной, спотыкаясь и натыкаясь на стену.

Я был уже на второй площадке, когда два человека вдруг бросились на меня. Один схватил меня за горло, другой за руки, и притом так стремительно, что я не успел взяться за оружие. Тотчас же луч тайного фонаря осветил мое лицо, а я в этом мерцающем свете узнал напавших на меня: то были Питарат и сириец.

Несколько мгновений мы все трое молчали,— я от ужаса и изумления,— потом старый моряк, со злым смехом, сказал мне:

— Вот, милый поэт, зачем тебе надо было узнать расположение дворцовых комнат! Вместо того чтобы написать оду, ты просто пришел воровать императорское серебро. Ну, ты скоро узнаешь, как оно дорого стоит.

При таком обвинении я весь затрепетал, как если бы кто-нибудь меня ударил по лицу.

— Лжешь, негодяй! — крикнул я,— я не могу быть вором.

Ожесточенным усилием я вырвался из рук хромого старика, хотя он был еще довольно силен, и отбросил к стене тщедушного сирийца. Но тот, ловко отскочив в сторо-

ну, свистнул особенным образом, и на помощь к моим врагам подбежало двое рослых алан. Эти сжали меня с такой силой, что их пальцы, как клещи, впились в мое тело, и я уже не мог шевельнуться.

Тогда, хихикая в свою очередь, сириец подкрался ко мне и принялся меня обыскивать, причем его холодные пальцы, словно ноги какого-то отвратительного гада, прикасались к самому моему телу. Нащупав на моей груди пугион, которым я так и не успел воспользоваться, сириец с торжествующим видом показал его товарищу:

— Будь свидетелем, что я это нашел у молодчика. Ну, милый Децим Юний, племянник сенатора, тебе подробно истолкуют, можно ли ходить ночью по дворцу с кинжалом за пазухой. Да напомнят, может быть, и то, годится ли защищать преступников, злоумышляющих на особу императора, когда их хотят уличить в преступлении. Теперь тебе все объяснят и покажут!

Пока сириец говорил и его отвратительное, грубо накрашенное лицо, которое иные женщины, вероятно, считали красивым, кривилось от злобных усмешек, я овладел своим порывом и, стиснув зубы, решил не говорить ни слова.

— Ну, что же,— продолжал глумиться сириец,— думаешь ты по-прежнему, как твой товарищ, что я гожусь только в канатные плясуны? Или способен я и на кое-что лучшее, например, выслеживать таких плясунов на дворцовых лестницах, как ты? Или, может быть, ты сюда попал по ошибке? думал, что здесь живет какая-нибудь красотка, которой нужен храбрый защитник?

Я продолжал молчать. Сириец, обшарив мою одежду и отобрав мой кошелек с деньгами, переменил голос и приказал стражам:

— Свяжите его и тащите в ту тюрьму, которую я указал. Да смотрите: вы своей жизнью отвечаете за него! Если вздумаете его выпустить, оба вы будете завтра же без головы!

Аланы достали ремни и скрутили меня так крепко, что руки и ноги у меня были словно перерезаны. Потом эти молчаливые исполнители приказаний, эти новые Кратос и Биа, поволокли меня вниз по лестнице, не заботясь о том, что мои связанные ноги не могли двигаться. На каком-то повороте я ударился головой о стену так сильно, что почти потерял сознание. Поэтому я плохо помню, что было далее. Меня свели, или, вернее, снесли

в какое-то подземелье во дворце, отперли железную дверь и, как безжизненную связку товара, швырнули в черный мрак. Я упал на сырой каменный пол тюрьмы.

XII

Начались для меня тюремные дни.

Когда я пришел в себя и глаза мои освоились с темнотой, я увидел, что моя темница была обширным подземельем, со сводами, составлявшими, вероятно, подземную часть дворца. Окон в стенах не было, и только высоко над дверью было небольшое отверстие, забранное толстой решеткой, выходившее, вероятно, на полутемную лестницу, так как сквозь него проникал какой-то серый луч, едва нарушавший полный мрак. Стены были липкие, и по ним постоянно текли струйки влаги; по полу бегали сороконожки и ползали мокрицы; воздух был сырой и смрадный. Одним словом, было все то, на что обычно жалуются узники, хотя подземелье, как кажется, не было построено с тем, чтобы служить тюрьмой. Здесь не было обычных трех этажей, из которых в самый нижний заключенного спускают по веревке,— но мое положение от того не было легче.

В первый же день моего заключения пришли два тюремщика, не то саксопы, не то скотты по виду, развязали ремни, которыми были стянуты мои члены, сняли с меня мой плащ и мои галльские башмаки и заковали мне руки и ноги в оковы, цепью приковав меня за ногу к стене. Я был так слаб и так удручен свершившимся, что сначала не пытался сопротивляться, но когда германцы стали меня приковывать к стене, как низкого раба, я в негодовании закричал, что я — Римлянин и племянник сенатора и что никто не вправе так меня унижать. Вместо ответа тюремщики грубо закричали на меня на непонятном мне языке, а один из них не то толкнул, не то ударил меня, показывая, что я вполне в их власти. Поняв свою беспомощность, я более не произнес ни слова.

У стены, около того места, где меня приковали, лежала груда сырой и гнилой соломы; она должна была служить мне ложем, на котором я проводил все время, так как цепь не давала мне двигаться. Те же тюремщики приходили в тюрьму ежедневно и приносили мне обычное пропитание узников: половину твердого хлеба, порой покры-

того плесенью, и глиняную кружку воды, пахнувшей ржавчиной. Кроме этих германцев, я не видел более никого, и ничего не знал о том, что совершается в мире. На все мои вопросы, просьбы и угрозы, тюремщики отвечали или молчанием, или грубым окликом: да, может быть, они и не понимали по-латыни.

Первые дни моего заключения я провел в глубоком унынии. Я испытывал жестокую боль во всем теле и особенно в голове; сознание мое было мутно, как у больного лихорадкой. Я почти не вставал с соломы, стараясь ее грязными клочьями защитить себя от сырости и холода. Есть тюремный хлеб я едва мог, и меня мучил злой голод. Жестоко я страдал и от унизительности своего положения, от того, что мои руки — в оковах, что я, как привратник или как корабельный гребец, прикован цепью, что варвары-германцы распоряжаются мною. Мне казалось, что смерть была бы легче такого унижения.

Одна мысль при этом не покидала меня: та, что я так бесцельно и так неразумно погубил свою молодую жизнь. Я вспоминал людный Рим и его шумные форумы, по которым так недавно гулял и я, вспоминал пышные пиры, на которых участвовал, с умными речами гостей, с приманками красивых плясуний и искусных флейтисток, вспоминал школу и мудрые поучения Энделехия, вспоминал друзей и круг семьи и высокий холм родной Лакторы. При сознании, что всего этого мне более не суждено увидеть никогда, отчаяние и ярость овладевали мною, и я то рыдал, не жалея слез, то бился о холодный пол, как рыба, брошенная на прибрежный песок. Дорого я заплатил,— так я восклицал,— за единый поцелуй продажной женщины, за единый миг, показавшийся мне когда-то вратами к последнему блаженству!

При воспоминании о Гесперии я временно выходил из своего оцепенения, становился на колени, потрясал закованными руками, грозил отсутствующей кулаком, кричал угрозы и проклятия. Она отдавала свое тело одним за деньги, другим за славу, третьим по прихоти минуты; она была возлюбленной консулов и мимов, поэтов и цирковых наездников; она унижалась до того, что делила ложе с рабами, которые приглянулись ей скуластым лицом или видной осанкой; она в течение целых месяцев держала у себя на содержании, как любовника, низкого негодяя и труслпвого проходимца Юлиания, который не постыдился загрязнить память своей матери, чтобы вы-

дать себя за сына императора! А меня, в уплату за одно сладкое лобзание, в котором Гесперия проявила только искусство опытной гетеры, за одно лицемерное коленопреклонение, которое Гесперия, конечно, разыгрывала перед многими другими,— она послала на верную смерть, не заботясь о том, исполнимо ее поручение или нет, довольствуясь тем, что, может быть, чудесный случай поможет мне из урны Судьбы с тысячью роковых жребиев вытащить один счастливый!

Я не верил более в то, что Гесперия, беря с меня клятву, заботилась о благе Римского народа и о торжестве нашей древней религии. Я не верил более в бескорыстие и благородные чувства Гесперии, хотя она и говорила мне, что живет лишь для торжества своего дела. Я был убежден, что ею двигали побуждения низменные и личные. Всего вероятнее,— так рассуждал я,— она мечтала об том, чтобы свергнуть Грациана, возвести, во время смут, на трон цезарей своего ставленника, хотя бы того же Юлиания, бездушную игрушку в своих руках, и после править его именем, или даже, разведясь еще раз с мужем, стать императрицей, увенчать себя диадемой. Я говорил, что Гесперию или соблазняли такие примеры, как пышность Агриппины, разврат Мессалины, власть Юлии Домны, слава Мамеи, или что она желала явить новый пример истории Римской и показать изумленному миру первого императора-женщину, подобно Пальмирской царице Зенобии и древней Семирамиде.

Я произносил все бранные слова, какие знал, называл Гесперию Медеей, собственных детей рубящей на части, Пасифаей, в сладострастном порыве гоняющейся за быком, называл всеми позорными именами, которые бросают в лицо дешевым продажным женщинам в низших лупанарах моряки. Я призывал на голову Гесперии месть всех богов, Олимпийских и подземных, просил Сатурнию отомстить ей за поруганную супружескую верность, Весту — за оскорбленный семейный очаг, богиню Верности — за нарушенные клятвы, молил, чтобы страшными карами обрушилась на нее ночная Геката, чтобы тело ее покрылось язвами и струпьями, чтобы загноились ее льстивые глаза и стала дряблой ее соблазнительная кожа, чтобы Бледность и Страх не отходили от ее ложа. Если бы в те минуты Гесперия оказалась около меня, я мог бы кинуться на нее, как зверь или грубый скиф, мог бить ее и топтать ногами; я хотел ее смерти, как смерти злейшего врага.

Когда проходило исступление, я вновь падал на солому, но и лежа долго еще продолжал произносить проклятия, все, какие только мог вспомнить и из книг, и из речей Реи, умевшей проклинать с силой необыкновенной.

От Гесперии мысли мои обращались к моей участи, и тогда ожесточение сменялось тоской и страхом. Я хорошо знал, что в наши дни обычные формы судопроизводства не считаются обязательными, особенно в делах, так или иначе касающихся особы императора. Теперь часто судят человека, когда нет налицо даже законного обвинителя, не требуя улик и доказательств, не давая возможности защищаться, не оставляя права апелляции,— притом дело ведут не судьи, назначенные правильно, в кругу законной аудитории, но иной раз магистры конницы, не знающие законов, получившие судебную власть на несколько дней, по устному приказанию императора. Поэтому я мог ожидать, что меня, хотя я был сын всеми чтимого гражданина, предки которого занимали курульные должности, отдадут на произвол какого-нибудь вольноотпущенника из германцев, что мне не позволят представить никаких объяснений и что свирепый сармат отрубит мне голову здесь же, в грязной тюрьме. Почему я мог надеяться на лучшую участь, чем та, которая постигла Галла, племянника императора Констанция?

Кроме того,— и это, быть может, всего более пугало меня,— я знал, как широко пользуются в наш век всякого рода пытками, прежде бывшими в употреблении лишь у варваров, чтобы силой немилосердных мучений вынудить признания у людей, даже неповинных и непричастных к делу. При одном представлении страшных орудий палача: бичей, раздирающих кожу спины, клещей, вырывающих клочьями мясо, кобылы, на которой человека растягивают, как кусок материи, веревок, с помощью которых вывертывают кости из суставов, дыбы и других приспособлений, о которых повествует нам Туберон в истории Регула, я холодел от ужаса и, закрыв глаза, молил бессмертных о быстрой смерти. Воображая, что к моим членам прикасается свистящий воловий ремень или раскаленное железо, я о цикуте Сократа думал как о благодеянии и блаженстве. К тому же я не сомневался, что под пыткой мои судьи начнут требовать от меня, чтобы я назвал своих сообщников, и мне страшно было признаться самому себе, что у меня не найдется мужества стоика Зенона, откусившего себе язык, чтобы не дать ложного показания Кипр-

скому царю: я боялся, что, измученный жестокими страданиями, я не только назову, как свою сообщницу и подстрекательницу, Гесперию, но открою существование тайного общества, собирающегося в доме Элиана, оклевещу Симмаха, а может быть, и вовсе чуждых делу лиц, как моего друга Ремигия или дядю Тибуртина.

В таких невеселых и мучительных думах проходили первые дни моего заключения.

Однако давно сказано, что человек ко всему привыкает, и незаметно для меня совершилось то, что я стал привыкать к своей тюрьме. Голод заставил меня есть заплесневелый хлеб, жажда — пить ржавую воду. Несмотря на цепи, почти не дававшие мне двигаться, я временно оправился от той болезни, какая мучила меня, и почувствовал некоторую бодрость в теле. Глаза мои совершенно освоились с темнотой темницы, и я стал различать все ее углы, научился укрываться от насекомых, кишевших на полу, и даже развлекался, забавляясь ими. Вместе с тем мои мысли стали делаться более светлыми, мне начало казаться, что моя судьба не так ужасна, как я думал, и, наконец, на несколько дней, поселилась вместе со мной в темнице богиня Надежда,—«обманчивая надежда», «сладостное зло», «высшее из зол»,— как говорит поэт.

Прошло уже несколько дней,— так я рассуждал тогда,— с тех пор, как меня схватили во дворце с пугионом за поясом, между тем никакой перемены в моем положении не произошло: меня не приводили на суд, не подвергали пытке и не предъявили никакого обвинения. Не значит ли это, что опасным преступником меня не считают? Да и в чем состоит мое преступление? — только в том, что я проник без разрешения в жилище императора. Что касается кинжала, то ведь могло быть, что я обычно носил его на себе и просто не позаботился снять, входя во дворец без всяких коварных намерений. Наконец,— говорил я себе,— мое исчезновение должен был заметить Симмах, который хорошо относится ко мне и который, конечно, попытается меня спасти. Я — не безвестный бродяга, я — член Сенаторского посольства, я — сын видного человека, я — Римлянин, принадлежащий к славному роду Юниев. Неужели не найдутся люди, которые пожелают избавить империю от нового стыда бесправной казни?

Подобные размышления я вел вслух, сам перед собой, как бы произнося целые защитительные речи. Вместе с тем я стал обдумывать, нет ли возможности из тюрьмы бежать.

Мне представлялось, что у меня достанет сил, чтобы сломать цепь, которой я прикован к стене, убить моих тюремщиков и, переодевшись в платье одного из них, выйти свободно за пределы дворца. Чтобы вернуть себе утраченные силы, я занимался телесными упражнениями, напрягал свои мускулы, раскачивал и расшатывал свою цепь. Возобновил я также попытки разговаривать с германцами, приносившими мне хлеб и воду, но по-прежнему ответа не получал.

Настолько я чувствовал себя бодрым, что даже, чтобы скоротать время, занялся сочинением стихов. При этом мне не хотелось соперничать с Насоном, в элегиях изливавшим жалобы на свою горестную участь и на тяжесть своего изгнания, но я слагал эпиграммы на разные общие вопросы, утешая себя размышлениями о судьбе всех людей и о коварстве случая. На тюремной стене, около своего ложа, я прочел несколько надписей, нацарапанных, с грубыми ошибками, каким-то моим предшественником по заключению, и среди них такое изречение:

Тех, кто меня сюда бросил, да пожрут собаки.

Найдя осколок камешка я рядом выцарапал свои эпиграммы и после не раз сам перечитывал их, самодовольно находя, что они могут выдержать соперничество со стихами моего славного соотечественника, Авсония. Особенно остались у меня в памяти две эпиграммы:

I

Ночь вышивает по сини огнистых созвездий узоры,
Ночью сильней аромат Флоры прекрасных детей,
Ночью на темных распутьях волхвы вызывают Гекату,
Ночь — для веселых пиров, ночь — для любовных утех.
Днем проходит над миром Титан в венце лучезарном,
Сменою красок глаза день многоцветный слепит,
Днем произносит решенья консул на кресле курульном,
В школах днем мудрецы мудрые речи ведут.
Что же я изберу: неба ясность, любезную Фебу,
Или поля темноты, бродит его где сестра?
Будьте равно мне желанны, сень ночи и своды дневные:
Мудрым я буду в одних, буду счастливым в другой.

II

Евридику — змея, Орфея — взгляд, дар — Алкида,
Город троян — красота, сына Атрида — жена,
Этих губит любовь, тех ревность, тех алчность, тех скупость,—
Что же такое вся жизнь: ряд беспощадных силков.

Сознаюсь, впрочем, что рядом со своими стихами я написал также следующие слова: «Дочь Кебрена, я отомщу тебе!»

Злоба против Гесперии не покидала меня и в эти дни, и я, мечтая о том, что вновь буду на свободе, неутомимо составлял замыслы мщения.

Однако богиня Надежда недолго гостила в моей темнице, и суровая действительность скоро заставила ее опять распустить крылья и улететь к другим, чтобы и их обманывать своими льстивыми песнями. Прежде всего, день проходил за днем, а помощи не являлось ниоткуда, даже никакой вести я не получал от моих друзей. Потом, после ряда тщетных опытов, я убедился, что оковы прочно держатся на моих руках и ногах и что даже сколько-нибудь ослабить цепь, приковывающую меня к стене, я не в силах; поистине, оковы были «адамантовые», как у Прометея, и уже по одному тому мечтать о побеге было безумно. Кроме того, дурная еда и спертый воздух сделали то, что ко мне вернулась болезнь, и я вновь стал то дрожать от нестерпимого холода, то пылать в невыносимом огне. Снова мною овладело уныние, я позабыл о стихах, и снова целые дни проводил на ложе, в неподвижности, даже не поворачивая головы к тюремщикам, когда они входили в темницу.

В эти дни я обратился душой к богам. Я молил о помощи и спасении бессмертных, давая обеты всякого рода, обещал принести богатые жертвы, если буду освобожден, клялся отдавать десятую долю всего, что буду получать, Геркулесу, если он мне поможет. В тюрьме не было алтаря, который я мог бы обнять, и некому было мне подсказывать точные слова молитв, но, и взывая своими словами, с непокрытой головой, я все же молился усерднее многих других, надевших белые тоги, украсивших головы венками из листьев, повторявших слова самого великого понтифика. Я возносил моления Юпитеру всемогущему, Меркурию с окрыленной стопой, таинственному Митре, которого философы отожествляют с Солнцем и Аполлоном, и той Великой Матери Богов, святилище которой особенно чтится в нашей Лакторе.

Я дошел до такого унижения, что обращался с мольбами даже к иудейскому Христу, обещая уверовать в него и сделаться христианином, если он спасет меня. Я припоминал слова христианских молитв, которые мне случалось слышать, обращался к богу, называл его «Отче наш» и, стоя на коленях, умолял простить мне мои грехи. «Твой ангел

вывел из темницы апостола Петра,— говорил я,— выведи меня, и я уверую в тебя! Ты явился, на пути в Дамаск, Савлу, гнавшему твоих последователей, и Савл стал твоим апостолом: явись мне, и я пойду проповедовать твое имя!» Я крестился, как то делают некоторые христиане, и распростирался ниц, как перед алтарем.

Потом моя болезнь усилилась до того, что меня стал мучить бред. Лежа без сознания, я видел перед собой тех, кого там не было, и слышал голоса, которые там не раздавались. То мне представлялось, что я нахожусь в лупанаре, где Реа изобретает неведомые формы ласк и заставляет меня, вместе с толпою продажных женщин, поклоняться Змею; то, что я сижу на пиру, в доме Коликария, и всех изумляю разумностью своих речей. Один раз мне показалось, что ко мне в темницу вошел тот юноша, похожий на Антиноя, с кроваво-алыми губами, которого мы с Реей облекли в пурпур, и, торжествуя, сказал мне: «Я сделаюсь царем мира, народы поклонятся мне, а ты за это должен будешь погибнуть. Твое тело — ступень к моему трону!» Другой раз я явственно увидел, как сквозь стену, в легком сиянии, проник Циллений, являвшийся в таком виде отцу-Энею, и, простирая ко мне свой кадуцей, произнес стих, не знаю откуда сохранившийся в моей памяти:

Орк в преисподнюю вас, не колеблясь, умчит, обнаженных.

Но чаще всего являлась мне Гесперия,— в различных образах, одетая в шелк и совсем обнаженная, но всегда с жестокой усмешкой на устах и с беспощадными словами. То она перед моими глазами совершала любодейство с наряженным, как женщина, Юлианием, то злобно потешалась над моим бессилием и несчастием, то, став на колени, говорила: «Ведь я тебя поцеловала, мой Юний, мой милый Юний, чего же тебе больше! Разве мой поцелуй не достаточная награда за жизнь? не говорил ли этого ты мне сам? Я даже скучала по тебе в Риме. Разве это не высшее, о чем может мечтать человек? Тебя будут терзать пытками, будут ломать твои кости, вырывать твои жилы, выжгут тебе глаза,— но ты восклицай: «Я счастлив, потому что терплю это все во имя прекрасной Гесперии!» А я, поистине, прекрасна!» И, говоря так, она изгибала свое обнаженное тело, показывала мне плечи, грудь, бедра, являла всю красоту статуи и все величие богини, показывала всю ловкость гетеры и все искусство жрицы Приапа. А когда, в порыве желания и ярости, я устремлялся к Гесперии, она усколь-

зала от моих рук, хохотала издали и опять кричала мне: «Не забудь, что ты прикован цепью! Ты свое получил от меня — поцелуй, один поцелуй, а другие получают все остальное, мои ласки, мою любовь, мои страстные слова!»

Такие видения бреда мучили меня беспрерывно целыми часами, а, очнувшись, я опять видел вокруг сырые стены темницы, каменный пол, с бегающими по нем сороконожками, да тусклое пятно над дверью, откуда лился слабый серый свет, непохожий на солнечный луч. И мне приходило в голову, что обо мне просто позабыли, что долгие годы, всю, может быть, жизнь мне суждено провести в подземелиях священного дворца, что к солнцу и к звездам я вновь выйду лишь седым и расслабленным стариком.

XIII

Мне казалось, что я в темнице провел бесконечно много дней, число которых я даже перестал считать. Между тем, как я узнал потом, все мое заключение длилось немногим больше месяца. Но болезнь заставляла меня видения бреда принимать за действительность и недолгое, сравнительно, испытание превратила для меня в бесконечную пытку.

Было утро, как я догадывался по тому, что забранное решеткой отверстие над дверью чуть-чуть серело, когда ко мне в темницу, кроме обычных двух тюремщиков, вошло еще двое стражей. Я лежал на соломе, измученный ночным бредом, весь содрогаясь от внутреннего холода, и не обратил на вошедших никакого внимания. Но вместо того, чтобы швырнуть мне полукруг хлеба и поставить около моего ложа разбитый кувшин с водой, пришедшие приблизились ко мне и стали снимать с меня цепи, одну отперев ключом, другие разбивая молотком. Смутно я подумал, что меня сейчас поведут на допрос и на пытку, но в ту минуту мне все было безразличным, и я не сделал никакой попытки сопротивляться.

Освободив меня от цепей, тюремщики подняли меня, но я не мог стоять на затекших ногах и валился, как раненный насмерть гладиатор. Тогда двое из вошедших, обменявшись словами на незнакомом мне языке, взяли меня за руки и поволокли к двери. Я почти не мог ступать, и меня несли, как безжизненное тело.

За дверью темницы была лестница, и мы, пройдя по ней ступеней пятьдесят, оказались на площадке с низенькой

железной дверью; люди, ведшие меня, открыли эту дверь, и я вдруг оказался на маленьком внутреннем дворе дворца, окруженном высокими белыми стенами, ослепительно сверкавшими под ясным зимним солнцем. Этот яркий свет, вонзившийся в мои глаза, привыкшие к постоянной темноте, показался мне ударом ножа,— я зажмурился от боли и ужаса. В то же время чистый январский воздух, влившийся в мою грудь, опьянил меня, как самое крепкое вино, и несколько минут я ничего не понимал.

Когда, наконец, я открыл глаза и, щурясь от нестерпимого блеска, стал озираться, растворились ворота, и я увидел, что прямо ко мне идет Симмах, улыбаясь и наклоняя голову в знак приветствия. Вдруг безмерная радость охватила меня; я не думал в ту минуту о том, что мне принес Симмах, добрые вести или плохие, пришел ли он спасти меня или в последний раз проститься со мной: я был счастлив уже тем, что вновь увидел человека, себе близкого, что могу сказать хоть одно слово тому, кто меня знает. Я упал бы на колени, если бы стражи не поддерживали меня, и воскликнул:

— Симмах! благодарю тебя! Всем, всем передай, что умирать страшно.

Я сам не сознавал, что говорю, и слезы полились у меня из глаз. Симмах подошел ко мне близко и сказал просто:

— Юний, ты — свободен.

Не то чтобы я не понял слов Симмаха, но я сразу почувствовал, какое отчаянье овладеет мною, если я им поверю, а они потом окажутся ошибочными. Поэтому, защищая себя от будущего разочарования, лицемеря в тот миг с самим собой, я переспросил:

— Что ты говоришь? Я не расслышал.

Симмах повторил:

— Ты — свободен. Но здесь не место говорить. Не произноси ни слова. Иди за мной.

Я продолжал смотреть на Симмаха, и здесь другая мысль испугала меня: что все это — снова бред, видение лихорадки или коварный обман, посланный каким-то демоном, и во второй раз я переспросил, с тоской, но уже с надеждой:

— Повтори мне свои слова. Я не верю.

Симмах взял меня за руку и повторил уже строго:

— Нет времени медлить. У меня есть приказ о твоем освобождении. Должно воспользоваться им немедленно. Иди за мной и тотчас уезжай из Медиолана.

После этих слов Симмаха уже не могло быть сомнений. Но потому ли, что я был слишком измучен, или потому, что вся радость моего сердца вылилась в ту минуту, когда я увидел Симмаха, только у меня не нашлось сил, чтобы еще больше обрадоваться известию о своем освобождении. Я даже не сразу нашел, что ответить, и некоторое время молча смотрел на Симмаха.

Симмах, как всегда, был одет изысканно; на нем был теплый паллий, застегнутый на плече драгоценной фибулой; на ногах, ввиду холода, вместо крепид, сенаторские кальцеи, так старательно вычищенные, что они сверкали на солнце; голова тоже была покрыта шапкой вроде простого, но изящного пилея, словно Симмах собирался в путешествие. В эту минуту я вспомнил, как ужасен мой внешний облик: на мне была вся изорванная и неимоверно грязная туника, сквозь которую просвечивало тело; ноги были босы; волосы на голове всклокочены. И вместо ответа я сказал:

— Могу ли я ехать в таком виде! Мне стыдно даже смотреть на тебя! К тому же теперь зима, и без плаща я замерзну.

— Я обо всем позаботился,— возразил Симмах, кажется, удивленный моим возражением,— только иди за мной.

Стражи, по знаку Симмаха, выпустили меня; но я, едва сделав два шага, закачался и упал: ноги не держали меня. Симмах сильной рукой поднял меня и повел. У ворот он показал стоявшему там начальнику стражи приказ, подписанный Македонием, и нас пропустили. За воротами Симмаха дожидались носилки с четырьмя рабами.

— Садись, Юний,— приказал мне Симмах,— они тебя отнесут до Эмилиевой заставы, где уже ждет тебя карпента и Аврелиан, на которого ты можешь положиться. Когда-нибудь после я расскажу тебе, как мне удалось тебя спасти. В наши дни все продается, можно было купить и твою свободу. Кстати, скажи мне, есть ли у тебя деньги?

Я ответил, что у меня отняли все, что у меня было. Симмах дал мне кошелек и подтвердил еще раз:

— Не останавливайся нигде. Из пределов Лигурии выезжай как можно скорее. Нет такого приказа, который нельзя было бы взять назад. И о том, что с тобой случилось в Медиолане, говори как можно меньше.

Только здесь я заметил, что еще не поблагодарил Симмаха за свое спасение.

— Симмах! — воскликнул я.— Ты мне спас жизнь. Теперь моя жизнь принадлежит тебе. Когда захочешь, ты ее можешь потребовать, и я умру за тебя.

Симмах чуть-чуть улыбнулся в ответ на эти мои восторженные слова, потом помог мне сесть в носилки и махнул рукой. Рабы быстро побежали по мостовой, а я, задернув занавеси носилок, с наслаждением распростерся на мягком, чистом, ароматном ложе и покрылся одеялом из мохнатого амфималла. Но переход от душной тюрьмы и грязного вороха соломы к красивым позолоченным носилкам с постелью, набитой упругим волосом и обрызганной восточными благоуханиями, от положения узника, ожидающего каждый день пытки и казни, к сладостному отдыху на плечах послушных рабов, был так стремителен, что я не мог сохранить обладания собой и всю дорогу плакал, залив слезами вышитую шелком подушку.

У заставы меня действительно ждала запряженная карпента, около которой стоял раб Симмаха, старик Аврелиан. В прежние дни я не удостаивал его слова, но теперь встретил, как близкого друга, и, несмотря на то, что он был сыном раба, обнял и поцеловал, плача. Аврелиан завернул меня в широкий теплый плащ и уложил в карпенту, как ребенка. Тотчас мы отправились в путь, покидая Медиолан с такой поспешностью, что у меня не было никакой возможности осведомиться о судьбе Реи, которую, может быть, также выследил проклятый сириец и которая, может быть, подобно мне, томилась в каком-нибудь душном подземелии.

С самого начала пути моя болезнь опять начала меня мучить, и я то впадал в забытье, то громко бредил, воображая себя в тюрьме, прикованным за ногу цепью к стене. Я громко кричал, умоляя пощадить меня или проклиная врагов, а иногда декламировал свои стихи, сочиненные в темнице. На первой остановке Аврелиан отвел меня в баню, вымыл мое измученное и исхудалое тело и расчесал волосы, но это мне не помогло, и лихорадка не ослабевала. Мансионы и города, поля и горы, ясные и ненастные дни мелькали мимо меня, смешиваясь с образами бреда, и все мое обратное путешествие из Медиолана в Рим было похоже на один длинный и мучительный сон, который терзает больного на его печальном одре.

Но все та же единая мысль, которая завладела моей душой в темнице, преодолевала и бред и смятение мыслей. Она носилась над хаосом моих чувств и воспоминаний, над

этой «нестройной и бессвязной громадой». Она примешивалась ко всем моим видениям, ко всем моим словам, разумным и несознательным. Она стояла передо мной, как божество, требующее поклонений и умилостивительных жертв, как Баал, ждущий, что в его раскаленную пасть бросят живых младенцев, чтобы успокоить его ненасытную алчность. Эта мысль была та, что я выразил в надписи, сохранившейся, как загадка для будущих узников, на тюремной стене, в подземелье священного дворца в Медиолане: «Дочь Кеврена, я отомщу тебе!»

Ненависть к Гесперии, с беспечной душой пославшей меня на смерть, палила меня огнем. Вместо прежней благоговейной любви, вместо того чувства, что испытывают верующие перед алтарем, ощущал я только ожесточенную злобу, в которой захлебывался, как тонущий в соленой воде океана. Отомстить Гесперии, наказать ее, унизить ее, заставить ее изведать хотя бы половину тех страданий, какие я пережил,— вот с каким страстным, неукротимым желанием я ехал вторично в Рим.

Книга третья

I

В Рим из Медиолана я приехал совсем больным, так что плохо сознавал даже, что со мной происходит. Старик Аврелиан отвез меня в дом Симмаха, и там жена славного оратора, Рустициана, приняла меня с истинным участием. Мне дали прекрасную комнату, где меня уложили в постель, и ко мне позвали знаменитого медика Эвсебия, который случайно был в Городе.

Эвсебий, тщательно меня осмотрев и исследовав, даже выстукав все тело молоточком и выслушав ухом биение моего сердца по способу Гиппократа, нашел, что я болен острой лихорадкой, предписал мне лежать покойно в течение десяти дней, ничем не волноваться и назначил мне множество лекарств, которые я должен был принимать поочередно, через равные промежутки времени. Ухаживать за мной Рустициана приказала тому же Аврелиану, который успел ко мне привыкнуть за дни нашего путешествия, а за тем, чтобы я правильно принимал лекарства, вызвалась следить Валерия, родственница Рустицианы, старая девушка, лет сорока, жившая в доме Симмаха. Первое время я был так слаб, что почти неподвижно лежал целые дни в постели, подчинялся, не споря, всем приказаниям медика и в положенные часы пил горькие настойки из трав и глотал разные целительные снадобья.

Исполняя совет Симмаха, данный им в письме, Рустициана не известила Тибуртина о моем возвращении в Город, и никто не знал, что я нахожусь в Риме. Жизнь в доме шла очень тихо, так как Рустициана, соревнуя в добродетели с матерью Гракхов, считала неприличным принимать посетителей в отсутствие мужа, и даже на утреннее приветствие являлся лишь небольшой круг самых близких клиентов. Рано вечером двери запирались, везде гасились

огни и все расходились по своим комнатам. Поэтому в течение многих дней я в Риме был столь же одинок, как в своей темнице, и у меня было достаточно досуга для размышлений.

Тягостные события, пережитые мною за последние два месяца, сильно изменили мою душу и заставили меня задуматься над такими вопросами, к которым я прежде относился с юношеским легкомыслием. Воспитанный в семье, где благочестиво сохранялись все заветы отцов, где соблюдались все обычаи старины, где пред домашним ларарием всегда курился дым и ежедневно совершались возлияния,— я с детства привык чтить богов бессмертных, и им поклоняться мне казалось столь же естественным, как дышать. Потом любовь к величию Рима, ко всему, что было им создано в века его лучшей славы, когда Римляне весь мир покоряли силой меча и всему миру давали благо своих законов, любовь к прекрасным стихам наших поэтов и к величественным сооружениям наших художников заставила меня видеть врага во всяком, кто поднимал руку на те верования, придерживаясь которых наши деды вознесли до звезд славу имени Римского. Никогда, однако, я не пытался измерить глубину своей веры, подобно тому как моряки измеряют лотом глубину воды в море, и никогда не требовал у себя отчета, подлинно ли я верую в богов, так, как христиане веруют в своего Христа. Теперь же, когда я лично увидел ожесточенную борьбу между приверженцами двух религий, когда по воле Судьбы мне довелось присутствовать на тайных собраниях проповедников новой веры, когда на примере Реи я убедился, что всю свою жизнь можно посвятить служению святыне,— я почувствовал, что в моей душе поселился и ядовитыми глазами озирает все василиск сомнения: истинна ли моя вера.

О своих тайных думах мне не с кем было говорить, кроме Валерии, и, как только мой недуг стал ослабевать, как только успокоились постоянные боли в голове и прояснилось мое сознание, я невольно поведал ей о том, что меня в те дни всего больше занимало. Валерия была некрасива, у нее было сухое лицо темно-серого цвета, тонкие бескровные губы и впалая грудь, но она была образованна, как редко бывают женщины, читала много книг, знала медицину и обладала познаниями в естественной истории. Все это, а также то, что она жила в доме Симмаха, знаменитого ревнителя религии и преданий предков, не мешало

ей иметь склонность к учению христиан, хотя открыто она не принадлежала к их общине и не посещала их храмов.

Большею частью разговоры наши происходили поздно вечером, когда все в доме стихало. Валерия приходила ко мне напомнить, что я должен принять какое-нибудь вечернее лекарство, потом садилась около моего ложа, и я начинал поверять ей свои сомнения. Одетая во все черное, Валерия напоминала не то христианскую монахиню, не то древнюю Сибиллу; она выслушивала меня с терпением и отвечала мне медленно, не волнуясь, ровным голосом. Ее ответы и рассуждения всегда были так умны и обстоятельны, что я не мог не признать ложным мнение древних о том, что женщина не способна к философии. И иногда приходило мне в голову, какой замечательный был бы в мире мудрец, если бы возможно было соединить в одно ум тех четырех человек, с которыми свела меня судьба: глубокие мысли Энделехия с блестящими соображениями Симмаха, изящные поучения Гесперии с обдуманными речами Валерии.

В один из таких вечеров я задал Валерии вопрос, одинакова ли вера у приверженцев религии предков и у христиан.

— Я наблюдал и тех и других,— сказал я,— и мне представляется, что не одно и то же разумеют христиане, говоря «fides», и мы, говоря «opinio dei». Мы воспитаны поэтами и философами, мы о богах привыкли думать и принимаем их, так сказать, умом. Христиане,— хотя в последнее время, подражая нам, они тоже пишут философские трактаты,— не столько думают о боге, сколько ощущают веру в своей душе. Мы в жизни ищем радостей, почестей, славы, а христиане как будто ни о чем другом не заботятся, кроме прославления имени божия: ни о чем не хотят говорить, кроме своей религии, все на свете готовы погубить ради проповеди своего учения. Мы чтим богов, мы им поклоняемся, мы им приносим жертвы, но этому отводим лишь часть своей жизни, а христиане все словно помешаны и каждую минуту способны перейти в исступление. В нашей религии все ясно и разумно: такова и наша вера; христианское учение постоянно твердит о чуде: такова и их вера, непонятная и безумная.

Подумав над моими словами, Валерия вот что ответила мне, словно объясняя урок ученику:

— Я полагаю, Юний, что все религии говорят об одном и том же. Римляне завоевали весь мир, и у всех народов

нашли веру в бога. Одни поклоняются Исиде, другие — Баалу, мы — Юпитеру, но все чтут Божество, θεῖον. Есть в человеке особое влечение к божеству, из чего и возникла религия, как есть особое влечение к познанию, создавшее науки, и особое влечение к подражанию, создавшее искусства. Это влечение к Божеству не что иное, как желание постичь сокровенные тайны вселенной. Религия открывает эти тайны, но для каждого народа открывает в разных, ему доступных образах. Под одними образами рассказывали народу об этих тайнах жрецы в Египте, под другими — нам наши поэты, Гомер и Гесиод, под третьими — Христос своим последователям. Простые люди видят только рассказы, которые между собой отличаются. Философы же понимают, что Осирис растерзанный, или Бакх страждущий, или Христос распятый — это одно и то же. Поэтому все религии равны между собой, ни одно учение не более истинно и никакая вера не более подлинна.

Другой раз я указал Валерии на то различие, что боги являлись в мир в отдаленной древности, когда божественное еще смешивалось с земным, а Христос жил на памяти историков, при императоре Тиберии, и по виду ничем не отличался от других людей.

— Все в рассказах о богах,— говорил я,— прекрасно и воистину божественно; все в сказании о Христе низменно и обыкновенно. Боги вмешивались в великие события, боги помогали в войне греков с троянами. Диоскуриды являлись в великой битве при Регилле, а Христос воскрешал неведомых евреек в маленькой Палестине и чудом насыщал случайную толпу при Геннисаретском озере. Осирис был растерзан Тифоном, тоже божеством, а Христос судим нашим прокуратором и распят, как разбойник, Римскими легионариями. Почему Христос, будучи богом, всемогущим и всеведущим, не прошел по всей земле, через Индию, Ахайю, Африку, Италию, Галлии, везде проповедуя свое учение? Оно тогда гораздо скорее получило бы распространение, и истина,— если учение Христа истина,— легче стала бы доступна всем людям. Зачем было для сообщения человечеству величайших откровений выбирать такой трудный путь, как проповедь в маленькой стране, языка которой никто за ее пределами не знает?

Валерия на это ответила мне так:

— Христиане делают ошибку, желая, чтобы учению Христа следовали все народы без исключения. Истина — одна, но учителей ее много. Христос знал, как должно учить

истине евреев; Орфей знал, как учить ей греков; Зороастр, как учить ей персов. Все, верующие в Божество, должны, оставив распри, следовать учению своих учителей. Кому понятнее проповедь Христа, пусть следует ей; кому ближе стихи нашего Овидия, тот в них найдет то же самое. Когда люди поймут это, прекратится вражда из-за несогласия в вере, наступит снова золотой век, и богиня Астрея возвратится на землю.

Меня мучили еще те обеты, которые я дал в темнице, когда клялся то принести богатые жертвы Меркурию, если он избавит меня от смерти, то уверовать во Христа, если он освободит меня от уз. Я не знал, кого же я должен благодарить за свое спасение. Но Валерия только посмеялась над таким моим затруднением.

— Неужели ты думаешь,— сказала она,— что Христу, если он — бог, нужно обращение, сделанное в исполнение обещания? Ты словно хочешь ему заплатить долг, который проиграл в кости. Если ты колеблешься, кого благодарить: Меркурия или Христа, лучше оставь при себе свою благодарность.

Я должен добавить, что, удивляясь уму Валерии, я все же далеко не был удовлетворен всеми ее объяснениями. Все у нее выходило слишком просто и слишком ясно, а я чувствовал, что есть в этих вопросах какая-то иная трудность и иная глубина. Поэтому я твердо решил не довольствоваться ответами Валерии, но, как только я вернусь к обычной жизни, найти одного из тех прославленных учителей веры, о которых с таким восторгом говорят христиане, какого-нибудь мудрого отшельника, какие есть еще и в наши дни, и из его беседы постараться узнать, скрывается ли действительно некая тайна в учении Христа, прав ли я был, считая это учение нелепым и гибельным заблуждением, или ошибался, упрямо закрывая глаза перед лучами истины, сиявшими вокруг меня.

В ожидании того времени, когда это станет для меня возможным, я продолжал, в дни моего медленного выздоровления, свои беседы с Валерией, причем, конечно, мы говорили не об одном христианстве, но касались вопросов самых различных, и девушка постоянно поражала меня разнообразием своих познаний. То она мне говорила о учении индийских брахманов, то о воззрениях халдеев на значение звезд, то объясняла разные явления природы, как крутящиеся смерчи на море, которые легко опрокидывают целую трирему, или как удивительные галисы, свето-

вые круги вокруг солнца, то, наконец, передавала рассказы Плиния о чудесных особенностях некоторых драгоценных камней, как, например, драконита, который должно вырезать из черепа спящего дракона, так как вынутый из головы животного убитого камень теряет весь свой блеск,— и многое другое. Вообще у Валерии был совершенно мужской ум, за что в доме Симмаха ее часто называли, шутя, не Валерия, а Валерий, и я совершенно забывал порою, что она — женщина. Я даже рассказывал ей некоторые истории своей жизни, которые постыдился бы передать девушке,— так же просто, как рассказал бы их товарищу за кубком вина.

Поэтому меня очень удивило, когда я заметил, что с некоторых пор обращение со мной Валерии изменилось. Она стала проявлять гораздо больше заботливости обо мне, нежели того требовало мое уже поправлявшееся здоровье, с излишним усердием устраивала мое изголовье и укладывала меня на подушки. Она особенно часто и охотно клала свои руки мне на лоб и на грудь, чтобы убедиться, что у меня нет жара, и подолгу не отнимала их. Несколько раз она целовала меня, придавая своим поцелуям такой вид, словно это поцелуи сестры или матери. Сначала такое поведение Валерии только забавляло меня, но потом я стал сердиться, так как она была столь некрасива, что у меня не находилось никакого желания отвечать на ее ласки.

«Неужели с Валерией у меня повторится то же, что было с Реей? — думал я с некоторой горечью.— Неужели я принужден буду, по своей слабости, ласкать эту высохшую старую девушку, от которой, в свое время, отказались все мужчины? Или был прав мой Ремигий, и я в самом деле нравлюсь всем старухам?»

Я всячески старался дать понять Валерии, что вижу в ней только приятного собеседника и что моя благодарность за ее заботы не идет так далеко, чтобы отвечать на ее любовные заискивания. Иногда я даже выражал это довольно грубым образом, резко вырывая свою руку из рук Валерии или отталкивая ее от себя, если она ко мне прижималась. Валерия не обижалась на подобные поступки, иногда только краснела от стыда, отчего ее серое лицо делалось еще непривлекательнее, но спустя некоторое время опять пыталась, хотя и робко, приблизиться ко мне. Минутами мне становилось жалко бедную девушку, за всю свою жизнь не изведавшую любовной ласки, но прео-

долеть невольное отвращение к ней я был не в силах и спешил навести разговор на какой-нибудь философский вопрос.

Однажды вечером мы заговорились слишком долго, не заметив даже, что миновала полночь. Разговор шел о том, от чего происходят землетрясения, и Валерия объясняла мне, что ветры проникают в находящиеся под землей пещеры и потом, вырываясь оттуда с шумом, колеблют почву и разрушают целые города. Красноречиво Валерия изображала различие между отдельными родами землетрясений, между ректами, когда земля разрывается, и хасматиями, когда земля проваливается, остами, при которых вся почва трясется, и пальмациями, при которых почва только содрогается, между эпиклинтами, разрушающими все под острыми углами, и брастами, разрушающими под углами прямыми, оживляя свое объяснение примерами, взятыми из истории разных стран и времен. Объяснения Валерии были столь занимательны, что я заслушался их, как пения сирен, и не заметил, что она совсем прилегла ко мне на ложе, обняла меня нежно рукой и почти шепчет мне свои слова на ухо.

Я опомнился лишь тогда, когда почувствовал щеку Валерии около самой своей щеки; невольно вздрогнув, я безжалостно оттолкнул от себя девушку и воскликнул в гневе, так как не мог сдержать себя:

— Как ты можешь, Валерия, так стыдить меня перед хозяевами этого дома! Что, если бы сейчас вошла сюда Рустициана и увидела нас в таком положении. Она сказала бы, что я дурно отплатил ей за ее гостеприимство, и была бы права, осыпав меня самыми жестокими упреками.

Валерия, как всегда в таких случаях, смутилась и покраснела, но тоже, вероятно, решилась на этот раз высказать все, что было у нее в душе, и жалобно произнесла:

— Я у тебя ничего не прошу, Юний, но почему ты не хочешь позволить мне тебя поцеловать? Я много тебя старше, и ты мог бы быть моим сыном. Я тебя полюбила с первого дня, как младшего брата, и мне так приятно ласкать тебя.

— Не притворяйся! — возразил я в негодовании.— Не брата и не сына ты во мне видишь. Но ты умна и должна понять, что в твои годы поздно мечтать о любви.

Валерия вся сжалась, как побитая палкой собака, и начала плакать, может быть, не столько над жестокостью моих слов, сколько над всей своей жизнью, которая про-

шла среди книг и умных разговоров, но без любви и страсти. В ту минуту мне стало ясно, как безразлично, в кого верить, в Юпитера или во Христа, следовать учению брахманов или Орфея, если нет в жизни радости любви. «Может ли одна любовь к богу наполнить всю жизнь?» — спросил я себя, и тотчас же ответил: нет, не может, если только эта любовь не будет безумием, но безумец способен наполнить свою жизнь чем угодно,— уверенностью, что у него в голове таится птица с золотыми глазами, что ему даровано умение понимать язык деревьев, и всем подобным. Человек прежде всего хочет жить и наслаждаться радостями жизни, и лишь после того думает о боге, о своем служении ему. Даже Рея, которую можно признать безумной,— разве могла победить в себе всей силой своей веры желание счастия?

Я смотрел на бедную Валерию, некрасивую старую девушку, похожую на какой-то черный комок, которая знала так много любопытных вещей и так умно рассуждала о боге, но теперь плакала жалкими слезами над тем, что никто не хочет ее ласкать и любить, как любят друг друга мужчины и женщины,— и мне опять казались ненужными мои размышления о истинности той или другой веры. Ошибался я или был прав,— думал я,— не все ли равно: в конце концов ведь не из ревности к древней религии поехал я в Медиолан и подверг себя смертельной опасности, а ради любви к Гесперии, которую я считал прекраснее всех женщин в мире. И довольно было, чтобы мне желанной стала близость к Рее, чтобы я охотно исполнял какие-то безумные обряды в честь грядущего Антихриста.

Кое-как успокоив плачущую Валерию, я заставил ее покинуть мою комнату. Но с того дня пребывание в семье Симмаха мне сделалось тягостно. К тому же мое здоровье совсем восстановилось, и я решил вернуться в дом дяди.

II

По моей просьбе Рустициана сообщила Тибуртину о том, что я — в Риме, и я после того перестал скрываться в отдельной комнате, начал обедать вместе со всей семьей Симмаха, в большом триклинии, и даже выходить на улицу, хотя был еще так слаб, что при первых своих прогулках не уходил дальше ближайшего угла.

Симмах жил тогда в старинном доме на Целии, принадлежавшем семье Аврелиев еще со времен республики.

Дом несколько раз перестраивали и расширяли, но все же он сохранил все особенности старых римских строений. Кроме атрия и перистилия, все другие помещения были маленькие и темные. Стенной живописи почти нигде не было, и единственной роскошью в убранстве была великолепная мозаика полов, очевидно, устроенная позже, и медные украшения потолков. Впрочем, был при доме особый сферистерий для игры в шары, которой со страстью предавался, как говорят, сам великий оратор.

Зато среди обстановки дома было множество вещей удивительной красоты и исключительной ценности, причем многие из них были памятью тех славных походов, которые совершили предки Симмаха, вывозившие из чужих стран богатую добычу. Во всех комнатах стояли на подставках, были прикреплены к стенам и висели с потолка великолепные лампы, к которым кто-то из Аврелиев питал, должно быть, особое пристрастие: были здесь лампы медные, серебряные и одна даже вся из золота. К месту и совсем не к месту были везде размещены зеркала греческие, брундусийские и восточные. Не менее богаты были ложа, кресла, светильники и столы всех видов и для всякого назначения: ложа для отдыха и для чтения, кресла из слоновой кости, мраморные и плетеные, столы мозаичные, из редкого дерева, круглые, в форме буквы С и всякие другие, перед которыми тот знаменитый стол, за который Цицерон когда-то заплатил 5000 сестерций, показался бы, конечно, бедным.

Но главной драгоценностью дома была, бесспорно, библиотека, составившаяся за несколько столетий. Она занимала несколько комнат, куда редко кто заглядывал, и, вероятно, никто на свете не знал, какие богатства она в себе таит. Только незначительная часть свитков была расположена по местам, в стенных нишах и армариях, множество лежало прямо на полу, грудами, словно груды овощей у уличного торговца. Здесь в одну кучу были свалены старые издания знаменитых писателей, в наши дни замененные новыми, как уверяют, более исправными, и сочинения всеми забытых авторов, которых никто не хочет перечитывать. Здесь же лежали бумаги рода Аврелиев, собрания старых писем к великим предкам Симмаха, может быть, исписанные рукою диктаторов и префектов, философов и поэтов, может быть, записки выдающихся людей своего времени, драгоценные для историков. Все это лежало, как пожива для мышей и книжных червей, гнило,

покрывалось плесенью, истлевало. К библиотеке было приставлено несколько рабов, но они довольствовались тем, что время от времени пытались стереть накопившуюся пыль да перекладывали груды книг с места на место.

Впрочем, в оправдание Симмаха, которого никто, разумеется, не заподозрит в отсутствии любви к старине и литературе, я должен напомнить, что, кроме этого дома на Целии, у него было в Городе два других, три виллы под самым Римом и не меньше тринадцати в разных местностях Италии. Во всех этих домах также были библиотеки, и из них одна, которой преимущественно пользовался знаменитый оратор, помещавшаяся в его доме за Тибром, содержалась с большим тщанием. Там некоторые книги были вставлены в дорогие переплеты с серебряными застежками, а наиболее ценные свитки были заключены в особые, пышно украшенные мембраны и снабжены изящными умбиликами из слоновой кости, с привешенными к ним надписями, на которых значилось не только название книги и ее автор, но также имя владельца, имя ретора, занимавшегося ее эмендацией, и год приобретения. В этой библиотеке я видел книги, изданные с роскошью необыкновенной, писанные разноцветными чернилами, украшенные рисунками в красках и с золотом.

Войдя в жизнь семьи Симмаха, я, впрочем, по-прежнему, оставался одиноким. После приема клиентов, причем почти ежедневно им раздавались мелкие денежные пособия, чем поддерживался древний обычай спортулы, Рустициана удалялась в свою комнату, а к детям приходили их учителя, которые и оставались до самого завтрака. После завтрака изредка приходили самые близкие родственники. За обед садилось редко больше шести-семи человек, так что громадному числу рабов, наполнявших дом, решительно нечего было делать. К тому же старый домоправитель из вольноотпущенников, Вулькациан, все держал в таком порядке, что жизнь шла, как хорошо устроенные водяные часы.

Но в первый день, после того как дядю известили о моем пребывании в Городе, ко мне пришла тетка Мелания и Аттузия, которые, хотя обычно и не посещали дома Симмаха, сочли нужным проведать больного племянника и двоюродного брата. Тетка для такого посещения даже надела какую-то вышитую столу, а сверх нее довольно богатую паллу, впрочем, отставшие от современного вкуса на два десятилетия и, может быть, принесенные ею еще

в приданое. Аттузия же ничего не изменила в своей обычной одежде темного цвета.

Рустициана предупредительно оставила нас одних в атрии, и я, конечно, постарался приветствовать тетку со всей той почтительностью, какая подобала случаю. Но тетка сразу набросилась на меня с самыми беспощадными упреками.

— Не говорила ли я тебе,— начала она,— что твое поведение не доведет тебя до добра! Я хорошо знаю отца твоего, Тита Юния, и знаю, что особенным богатством вы похвалиться не можете. Быть декурионом в Лакторе это значит впятеро больше тратить, чем получать, а от поместья вашего, кроме расходов, вам ничего не видать! Тебе следовало получше учиться да постараться завести знакомства с богатыми юношами, у которых отцы имеют место при дворе, тогда ты мог бы рассчитывать, что устроишь свою судьбу. А теперь что вышло из твоей неразумной поездки неизвестно зачем в Медиолан? Время учения ты пропустил, и когда после ты будешь просить, чтобы дали тебе какую-нибудь должность, все скажут: это какой Юний, не тот ли, что ездил с Сенаторским посольством? и постараются от такого опасного человека отделаться. Деньги ты растратил, доброе имя потерял да вдобавок расхворался: ведь каков ты, на тебя смотреть жалко!

Из слов тетки я понял, что ей о моем заключении в тюрьме ничего не известно, и отвечал уклончиво, говоря, что я сам раскаиваюсь в своем поступке и намерен начать жизнь по-новому.

Аттузия, подняв на меня свои унылые, рыбьи глаза, сказала наставительно:

— Вот, Децим, как бог карает тех, кто не хочет внимать святым словам истины. Ты был лишен поддержки господа и потому впал в пучину бедствий. Увидь в этом перст Провидения, указующий тебе путь спасения. Кто служит истинному богу, молится усердно каждый день утром и вечером и слушает слово божие в храме, тот всегда имеет своим заступником спасителя нашего, господа Иисуса Христа. Неужели и ныне ты не понял безумия идолопоклонства и неужели после пережитого ты не прибегнешь к кресту, этой единственной верной надежде в мире?

Как ни желал я быть сдержанным и не говорить ничего неприятного моим посетительницам, однако не мог не возразить:

—А разве все, верующие во Христа, во всем и всегда преуспевают и с ними никогда не случается никаких несчастий? Кажется, и христиане бывают больны, так же как и идолопоклонники, и, напротив, иные, не верующие во Христа, живут очень счастливо. Мне думается, что я захворал оттого, что простудился, а не оттого, что плохо веровал.

— Ты легкомысленно кощунствуешь, Децим! — строго сказала Аттузия.— Болезни и горести посылаются христианам как испытания, и они принимают их с радостью, а тебе твои несчастия ниспосланы были, как предостережение с Неба. Если ты не захочешь внять явному гласу божию, увидишь, в какие бедствия ты еще будешь ввергнут.

Я спора не продолжал и стал расспрашивать о дяде и маленькой Намии. Тетка ответила мне, что дядя сначала очень беспокоился, хотел в самом деле уехать из Рима в Азию, но скоро успокоился и вернулся к своему обычному времяпрепровождению. Когда же тетка заговорила о Намии, ее голос неожиданно изменился, она едва не заплакала, и я, к своему удивлению, узнал, что у толстой Мелании, постоянно занятой только счетом денег, тоже есть душа и способность любить нежно.

— Я не знаю, что делается с нашей Намией,— сказала она, отирая глаза.— Одно время мы прямо думали, не помешалась ли девочка. Раз она три дня сидела в своей комнате и никому не хотела показаться. А то убежала из дому и где-то пропадала несколько часов: подумай, какой стыд! А Аттузия несколько раз заставала ее, что она лежит у себя в постели и плачет. Или она больна какой-то болезнью, или кто-то ее сглазил дурным глазом. Я ее пыталась расспрашивать, но ведь ты сам знаешь, можно ли от нее чего-нибудь добиться! Прошу тебя, когда ты будешь у нас, попробуй с ней поговорить, может быть, ты что-нибудь выведаешь.

— Я ей советовала молиться,— наставительно сказала Аттузия.— Злой дух борет человека, если он не огражден крестом и молитвой. Намия в таких годах, когда искушение близко. Если бы она больше слушала отца Никодима, вся ее болезнь давно прошла бы. А ты, матушка, сама виновата, что не принуждала Намию посещать храм и выполнять все предписания церкви.

— Боже мой! — воскликнула тетка,— разве я о ней не заботилась! Но она пошла в мою покойную мать, Олим-

пию, та была,— упокой господи душу ее,— такая же взбалмошная и упрямая. Отец, бывало, чуть грудь не надорвет, кричит на нее, а она уставится глазами в стену и молчит, слова не промолвит целыми днями. Не удивительно, что соседи считали ее колдуньей.

— Не хорошо говорить дурно о бабке,— заключила этот разговор Аттузия,— но, кажется, Олимпия, действительно, занималась греховным делом гадания. Этот ее грех мы теперь искупаем страданиями и должны сносить их безропотно, чтобы облегчить муки ее бедной души.

Продолжать разговор о Намии мне не хотелось, так как я догадывался о настоящей причине ее болезни, да и тетка скоро опять заговорила обо мне, и еще много умных советов услышал я от нее в тот день. Аттузия же презрительно молчала, с явным осуждением оглядывая богатую обстановку дома Симмаха. При расставании я обещал, что через день вернусь в дом дяди.

— Благодарение богу,— сказала мне тетка,— у тебя есть родственники в Городе, и незачем тебе жить из милости у чужих людей. У нас для сына Руфины всегда найдется комната, и лишний человек нас не стеснит. Живи у нас, сколько хочешь.

Едва я успел усадить в носилки тетку и Аттузию, как ко мне пришел другой посетитель: мой друг Ремигий, откуда-то тоже узнавший, что я в Городе.

Я давно не видел Ремигия и очень ему обрадовался, так как многими чертами своей души он мне нравился. Но с первых же минут я заметил, что с Ремигием что-то случилось: он побледнел и похудел, и не оставалось следа той веселости, которая делала его самым желанным председателем на дружеских пирах. Казалось, что за мое отсутствие из Рима некий гневный бог подменил Ремигия.

— Милый Ремигий,— сказал я,— можно подумать, что был тяжко болен не я, а ты. Объясни мне, что это значит. Или какая-нибудь фракийская волшебница изводит тебя чарами?

Ремигий ответил мне уныло:

— Ты почти угадал. Действительно, я подпал под чары волшебницы. Со мной случилось самое плохое, что только может быть с людьми: я люблю!

— Ну, это еще не такая беда,— возразил я, смеясь.— К тому же это, кажется, не так ново. Ты ведь можешь всегда повторять стихи Назона:

Прочие юноши часто влюбляются: вечно любил я;
Если ты спросишь, что я делаю ныне: люблю!

Ремигий, встав с кресла, стал ходить взад и вперед по комнате, и в его движениях не было прежней самоуверенности, но какое-то беспокойство и тревога. Он ответил:

— Нет, Юний, именно я был в числе тех, которые часто влюбляются. Было много женщин, от которых я с ума сходил,— так они мне нравились, но которых я забывал через месяц, как тень на перекрестке. Я считал, что женщины существуют для нашего удовольствия, так же как хорошие вина. Напиться допьяна старым цекубским и добрым каленским или повеселиться ночь с красивой флейтисткой мне всегда казалось одно и то же. А вот теперь все изменилось, и, кроме одной женщины, нет для меня других на свете. Я сам над собой смеюсь, повторяю днем и ночью:

Катулл несчастный, перестань безумствовать!

и ничего не могу с собой поделать!

Я решительно не узнавал Ремигия, хотя он и пытался улыбаться, говоря свои грустные речи, и, конечно, я его спросил:

— Кто же эта удивительная девушка, одержавшая победу над непобедимым сердцем Ремигия? Она смертная или из рода богов?

Ремигий посмотрел на меня пристально и ответил с видом несколько вызывающим, чем он старался прикрыть чувство неловкости или стыда от своего признания:

— Ты бы никогда не угадал кто, клянусь Геркулесом! Это — девушка, которую ты, вероятно, помнишь, та, которую мы с тобой встретили в Римском Порте. Та Галла, или Лета, к которой я тебя водил незадолго перед твоим отъездом.

Ремигий был прав: этого мне не могло прийти в голову, и я переспросил его с изумлением:

— И ты говоришь, что любишь безумно Лету? Но ведь послушай, милый Ремигий, она сделалась достоянием всех; ты сам покупал ее за несколько сестерций. Она, бесспорно, девушка милая и может нравиться, но как же ее любить? А уж если ты любишь ее, то любовь твоя, по крайней мере, счастливая.

— Ты думаешь? — воскликнул Ремигий.— Это такое счастие, что я предпочту муки Тантала, Сисифа и Иксиона, да еще в придачу всех грешников в христианском

аду! Все три фурии гоняются за мной по пятам и хлещут своими бичами! Такое счастие, что я желаю его всем моим врагам, существующим и тем, которых еще пошлет мне судьба!

Волнуясь и безуспешно стараясь шутить, Ремигий рассказал мне, что с ним произошло за время моей жизни в Медиолане.

Сначала Ремигий посещал Лету просто как красивую девушку, но постепенно так к ней привык, что не мог дня провести без нее. Он несколько раз предлагал ей покинуть лупанар и поселиться с ним вместе, но Лета отказывалась, находя, что Ремигий недостаточно богат для нее. Ремигий все-таки продолжал посещать Лету, хотя его и мучила мысль, что он принужден делить ее ласки со многими другими. Все деньги, какие только были у Ремигия, он тратил на Лету, она же насмехалась над его дешевыми подарками. Потом богатый подрядчик, владевший в Риме несколькими домами, который называл себя, без всякого, конечно, на то права, Помпонием, выкупил Лету из лупанара и поселил ее в своем доме, за Тибром. После этого положение Ремигия стало еще хуже: Лета не отказывала ему в своих ласках, но им теперь приходилось прятаться и скрываться. Помпоний был очень ревнив, и Ремигий мог видеться с Летой лишь украдкой, подкупая рабынь, приставленных к ней. Кроме того, самое сознание, что Лета принадлежит другому, мучило его нестерпимо.

— Представь себе, милый Юний,— жаловался Ремигий,— насмешку над Тримальхионом — вот что такое этот Помпоний. Он толст и лыс, груб и невежествен, он говорит «alvus» о женщинах, «lepor» вместо «lepus» и беспрестанно повторяет: «ad instar и memini me fecisse», а когда начинает рассуждать о литературе, путает Варрона с Варием. Это не мешает ему метить в консулы. Галла меня все-таки с ним познакомила, я у него бываю в доме и часами слушаю его глупое хвастовство, а после должен уходить, тогда как он остается с Галлой! Иной раз я готов разбить ему голову! По счастию, он столь же любит наживу, сколько ревнив, и каждый день, утром, сам отправляется осматривать свои дома и работы и собирать деньги со своих жильцов, а я тогда именно и прихожу к Галле. Но вообрази, каково мне приближаться к тому самому ложу, на котором только что лежала эта толстая кабанья туша, из которой в Галлиях сделали бы великолепные окорока! Но что же я могу поделать? У Галлы теперь свои

носилки, черные рабы, фригийские рабыни, золотые украшения, шелковые столы, а у меня последние дни нет и медного асса. На беду была та наша встреча в Римском Порте, и не будь я Ремигий, если здесь дело обошлось без колдовства!

Я сам согласен был думать, что Реа и ее сестра владели какими-то тайными чарами, однако приложил все старания, чтобы как-нибудь успокоить и утешить Ремигия. Не очень веря в то, я напомнил ему, что все на свете проходит, что «время, пожиратель вещей», уничтожает самую сильную любовь, что «тупится сошник, на полях, железный» и что весело бывает после смеяться над миновавшими горестями. Мои утешения, конечно, мало подействовали на Ремигия, хотя он и продолжал подсмеиваться над самим собой. «Это мне мстит всемогущая богиня Венера,— говорил он,— за то, что я смел сомневаться в ее власти!»

Ремигий взял с меня обещание, что я посещу его, как только совсем поправлюсь, а с своей стороны обещал повести меня к Галле, в дом Помпония. Прощаясь со мной, Ремигий, уже в дверях дома, повторил с притворной улыбкой:

— Me miserum!

III

На следующий день я сказал Рустициане, что намерен вернуться в дом дяди, и усердно поблагодарил ее за ее заботы обо мне во время моей болезни. Сборы мои были недолги, так как все мои вещи были уже уложены в том дорожном ларе, который Симмах давно прислал мне из Медиолана с одним из рабов. Но вечером в последний день моего пребывания в доме Симмаха мне пришлось пережить тягостное объяснение с Валерией.

Валерия, по обыкновению, пришла ко мне поздно вечером, в последний раз дать мне какое-то лекарство. Но на этот раз разговор у нас долго не складывался, и я тщетно пытался вызвать Валерию на какие-нибудь общие рассуждения. Наконец она сказала печально:

— Неужели, милый Юний, ты больше никогда не вернешься в наш дом и я больше никогда тебя не увижу?

Я ответил, что непременно вернусь, хотя бы для того, чтобы поблагодарить Симмаха, когда он будет вновь в Городе, и что вообще никто не помешает нам с Валерией встречаться.

— Ты красивый мальчик, Юний,— возразила Валерия,— и, вероятно, многие женщины тебе это говорили. Но скажи мне, что ты не скучал со мною в те часы, которые мы провели вместе. Тебе были неприятны мои поцелуи, но, подумай, я никогда никого не целовала: у меня не было ни сестер, ни братьев, ни мужа, ни детей... Я тебя люблю нежно, и почему бы тебе не принять мою любовь? Ведь ты взял бы какую-нибудь вещь, если бы я тебе ее подарила; неужели любовь не лучше вышитого пояса или серебряного кубка?

— Ты была очень добра ко мне,— проговорил я с некоторым усилием,— и, разумеется, мне было с тобой хорошо. Я даже не знаю, как мне тебе отплатить за твои заботы. Я навсегда — твой должник.

Видя, что я тронут ее словами, Валерия сделалась смелее; она опять взяла меня за руку и, глядя мне в глаза заискивающими глазами, стала тихо твердить ласковые слова, а у меня недоставало сил заставить ее замолчать. Потом Валерия робко, с потупленным взором попросила у меня позволения лечь рядом со мной на ложе. Я тоже не мог ей отказать, и она нежно приникла ко мне, хотя я с своей стороны ничем не отвечал на ее ласки. Так долго мы лежали молча, и я чувствовал около себя тело девушки, какое-то дряблое и словно покрытое чешуей, а на своей шее дыхание горячее и прерывистое. Время от времени Валерия прикасалась поцелуем к моим волосам, но я не делал ни одного движения, притворяясь, что сплю. Наконец, утомленный, я действительно уснул, а когда проснулся утром, Валерии со мною уже не было.

Еще раз попрощавшись с Рустицианой, я приказал рабу нести мои вещи и пошел через весь Город в дом Тибуртина. То был первый раз после моей болезни, что я видел перед собой весь Рим, и он мне казался родным и близким, как если бы я в нем родился и прожил много лет. Его шум и его грязь мне нравились после чистых и безмолвных улиц Медиолана, я с наслаждением всматривался в разноцветную и разноплеменную толпу, двигавшуюся по всем направлениям, и сердце мое вновь билось от гордости, когда я видел перед собой золотую вершину Капитолия.

«Нет, я все-таки Римлянин!» — повторял я самому себе.

Мы уже приближались, по всегда пустынной уличке, к дому дяди, как вдруг я увидел, что навстречу, со старческой поспешностью, бежит Мильтиад, один из домаш-

них рабов. Так как в ту минуту все в Риме мне казалось родным, то и Мильтиаду я обрадовался, как давнему другу, и окликнул его, спрашивая, куда он торопится.

— Ах, господин,— ответил он,— у нас в доме большое несчастие, а я бегу за медиком.

Больше он не сказал ни слова и побежал дальше, а я ускорил шаги и скоро был в вестибуле дома Тибуртина. Уже из остии я увидел, что в доме — тревога, не меньшая, чем в памятный день, когда пришло повеление императора об алтаре Победы. В атрии толпились рабы, а сам сенатор, в одной тунике, беспокойными шагами ходил взад и вперед, молча размахивая руками. Заметив меня, он сказал коротко:

— В несчастный день возвратился ты, Юний! Но к тебе да будут благосклонны боги.

Больше я от него ничего не мог добиться,— он только махал рукой безнадежно. Даже рабы не отвечали на мои вопросы, уныло опуская головы. Я бродил по дому, сам охваченный смутным страхом, и, наконец, повстречал Аттузию, которая с виду была спокойнее других: от нее я узнал, что именно произошло.

— Сегодня утром,— сказала мне Аттузия,— мы говорили о твоем возвращении. Вскоре после того Намия исчезла из дома. Мать так испугалась, что всюду разослала рабов искать ее. Один действительно разыскал, но — где! Подумай: девочка бросилась в Тибр, чтобы утопиться! Судовщики, бывшие поблизости, вытащили ее из воды и откачали. Но она вся измерзла и теперь чуть жива.

Известие поразило меня, как гром Юпитера; в глазах у меня потемнело, я стоял перед Аттузией, оцепенев, а она, сложив руки молитвенно, добавила:

— И какой грех: покуситься на свою жизнь, которую даровал нам благой Создатель!

Эти последние слова заставили меня вздрогнуть от негодования; я едва не ударил Аттузию, но преодолел себя, повернулся, пошел молча прочь и, добравшись до комнаты, которая считалась моей, повалился на ложе.

«Неужели это все из-за меня! — повторял я в отчаянии.— Неужели я буду виновен в смерти маленькой, милой Намии! Ее тень будет преследовать меня, как убийцу? На горе себе и на горе другим я приехал в Город. Лучше было мне остаться в родной Аквитании, где жизнь моя текла мирно и тихо. Но что же я совершил? чем я виноват? Валерия говорит, что я — красивый мальчик. Разве же

это моя вина? разве это — преступление? Боги сделали меня красивым, но я их не просил о том!»

Мои мысли путались. Я думал о Дидоне, бросившейся на меч после отплытия Энея, думал о Федре, удавившейся после отказа Ипполита. Как все это красиво у поэтов и как тягостно переживать это в жизни! Или я виноват тем, что думаю только о себе, о своем счастии, и правы христиане, требуя, чтобы мы душу свою полагали за ближних? Может быть, легче жить, служа другим, чем угождая себе? Должно быть, у героев древности были иные души, чем у нас: люди того времени умели чтить веления богов, хотя бы через то они, как Эней, как Ипполит, губили других,— а нашему времени только и подходит учение Христа, религия любви и всепрощения! У древних были силы, чтобы исполнять совет поэта:

> Хранить дух твердый в событиях тягостных
> Умей и помни! —

а мы каждую минуту склонны повторять молитву Распятого: «Да минует меня чаша сия!» Мы выродились, и религия Юпитера-отцеубийцы нам не по силам!

Несколько овладев собою, я стал просить позволения войти к Намии, но меня долго к ней не пускали. Сначала она была без сознания и никого не узнавала. Потом пришел медик, какой-то ученый грек, в длинном гиматии, с бородой, как у Антисфена, но с глазами, как у лисицы. Он больше часа провел в комнате Намии, исследуя ее, потом, войдя, стал объяснять свои выводы тетке, которая слушала его, плача и, как кажется, ничего не понимая из его ученых рассуждений. Подойдя, я прислушался к их разговору, но тоже мало что понял в путаных объяснениях служителя бога Эскулапия и втайне подумал, что хитрый грек стремится учеными словами прикрыть свое невежество, как бедняки пестрым плащом — свою постыдную наготу.

— Я, domina clarissima,— говорил он, — держусь эмпирической школы, так как свое искусство изучал в Александрии, где еще хранят мудрые предания Филина, Сераписна, Зевкса, перед которыми и Агафин, и Аретей, и сам Гален — ничто. Следуя советам моих учителей, вскрытие я произвел тщательное и могу теперь установить все аналогии. Теорема в данном случае вполне благоприятна, потому что было много примеров выздоровления от такой болезни. Кроме того, между настоящим состоянием

твоей дочери и простудой в холодной воде можно найти явный эпилогизм. Таким образом, все, что предписывает нам наше искусство,— сделано: причина болезни найдена и аналогии исследованы. Теперь мы будем лечить твою дочь, и ты увидишь, что значат правильные приемы медицины.

Все дальнейшие советы болтливого медика сводились, однако, только к тому, чтобы держать Намию в тепле, до чего можно было додуматься, и не читав великих авторитетов прошлого. Тетка на этот раз отказалась от своей скупости и тут же щедро заплатила хитрому греку, обещавшему прийти и на следующий день. И, как ни вздорны были речи медика, все же после его посещения все как-то успокоились и начали надеяться на счастливый исход болезни.

После медика к Намии провели отца Никодима, несмотря на то, что я просил не мучить бедную девочку его проповедями. Аттузия строго мне возразила:

— Ты так говоришь потому, что не знаешь святого Писания. У апостола прямо сказано, что если кто захворает, должно призвать священника, и его молитва исцелит болящего лучше всех лекарств. Сила молитвы велика, и когда-нибудь ты сам ее испытаешь.

Только под вечер мне сказали, что Намия сама зовет меня к себе.

С сердцем, сильно бьющимся, я вошел в маленькую комнатку Намии. Девочка лежала в постели, вся закутанная, и по ее пылающему лицу было видно, что у нее жар. Я горестно опустился на колени перед ложем, Намия же слабо улыбнулась мне и сказала:

— Итак, мне пришлось тебя увидеть еще раз, братик! Я думала, что умру и тебя больше не увижу. Видишь, ты не верил, что я брошусь в Тибр, а я это сделала. Боги, какая холодная вода в нем!

— Сестрица, милая сестрица! — воскликнул я,— зачем ты это сделала! Почему ты не подождала, пока я вернусь: я бы тебе все объяснил. Ты поняла бы, что ошибаешься. Я тебя очень, очень люблю, милая сестрица.

— Нет,— возразила Намия,— ты любишь Гесперию. Ты по ее приказанию поехал в Медиолан, я это узнала. А я не хотела жить, если ты меня не любишь.

— Неправда! — простонал я,— я Гесперию ненавижу, клянусь тебе Юпитером, всеми богами! Я ее ненавижу,

презираю, проклинаю. Я ей отомщу за все, и за себя, и за тебя!

Намия неожиданно привстала, села на постели, положила горячую руку мне на шею и заговорила торопливо и порывисто:

— Знаешь, я сначала хотела прямо себя убить. Но потом подумала: разве же это будет достаточное для него наказание? Тогда я решила тебе отомстить по-другому. Я пошла к нашему рабу,— я тебе не скажу к которому,— и заставила его стать моим любовником. Да, да! настоящим любовником, так что я уже не девочка теперь. Потом я пошла на улицу, и когда меня позвал какой-то прохожий, последовала за ним, к нему в дом, и он тоже был моим любовником. И так я ходила много раз, и все эти дни жила как меретрика. Я даже деньги брала за свои посещения: вот они у меня лежат там, в ящике. Я тебя сделаю наследником этих денег: может быть, это будет тебе на пользу.

Я не выдержал, слушая речи Намии, зарыдал, как маленький мальчик, и твердил:

— Ты неправду говоришь, Намия! Этого не было! Этого не могло быть!

— Нет, все было именно так все, — правда,— отвечала мне она.

Почти не понимая, что я говорю, я пытался утешить девочку, твердя отрывочные слова:

— Это ничего, сестрица! Я тебя люблю. Ты поправишься. Я на тебе женюсь. Я вручу тебе кольцо. «Где я, Гай, там будешь и ты, Гайя!» Мы будем счастливы, Feliciter! Да?

— Нет,— опять возразила Намия, тихо качая головой,— я не выздоровлю и не хочу выздороветь, ты на мне не женишься, и я умру. Мне должно умереть. А ты возьми мои деньги, я тебе их оставляю в наследство. Они тебя сделают умнее. Ты красив, Юний, но недостаточно умен. А я была слишком умна и потому должна умереть. Мне один старик сказал, что я умна, как Психея, но я думаю, что я умнее ее. Она не умела обмануть Амура, а я бы сумела. И ты меня не сумел обмануть, а мог бы.

Здесь речь Намии стала путаться, и было видно, что к ее мыслям примешиваются видения бреда. Ей виделись в постели гарпии, оскверняющие одеяло, и она просила меня прогнать их.

— Юний, милый,— говорила она,— отгони их! Это последняя услуга, которую я у тебя прошу. Неужели и

этого ты для меня не сделаешь? Ты ничего для меня не хочешь сделать! Но скоро я умру и больше ни о чем просить тебя не буду.

В совершенном отчаянии я должен был позвать Аттузию. Маленькая Намия билась и кричала, отмахивалась руками от незримых птиц, а потом вдруг начинала говорить бесстыдные слова, заставлявшие ее сестру креститься. Кое-как мы снова закутали Намию в теплые шерстяные одеяла и уложили ее в постель. Я вышел из комнаты Намии с таким чувством, словно все мое сердце было разбито в мелкие куски, как стеклянный сосуд, по которому били молотком.

О том, чтобы уснуть, я не мог и думать, и еще долго бродил по улицам Города, сжимая кулаки и посылая проклятия Гесперии. Я не переставал думать о Гесперии за все время своего пребывания в доме Симмаха, но после признаний Намии та жажда мести, с которой я вернулся в Рим, выросла в моей душе до размеров крайних. Думаю, что сам Атрей не так ожесточенно жаждал отомстить Фиесту и не более наслаждался мечтами о мести.

«Проклятая Сирена! — говорил я сам себе,— все, все я припомню тебе: и свои слезы на грязных камнях мостовой, когда ты ласкала гнусного лизоблюда, Юлиания, и свои мучения в подземной тюрьме, где я умирал от голода и от цепей, въедавшихся мне в тело, пока ты роскошествовала со своими любовниками в Риме, и смерть этой бедной, маленькой девочки, если она действительно умрет. Ты дала мне кинжал, чтобы убить человека,— хорошо, я воспользуюсь твоим кинжалом, я его направлю против тебя же! Но раньше я заставлю тебя испытать тысячу оскорблений, я придумаю бесчисленные унижения, которым сумею тебя подвергнуть, я сделаю тебя посмешищем всего Рима. Всю свою жизнь я посвящу этой мести, так как все равно я уже решился на смерть. Берегись, Гесперия!»

Я находил особое наслаждение в том, чтобы повторять такие слова, я ими упивался, как сладким и крепким вином, и прохожие, видя, что я разговариваю сам с собой, должны были считать меня одержимым безумием.

IV

Утром на следующий день, встав рано, я долго не мог сознать, что прошло почти три месяца с тех пор, как я покинул дом дяди, что многое за это время изменилось,

что сам я уже иной, чем был тогда. Мне все казалось, что я только что приехал в Рим и что всю жизнь в нем я должен начинать сначала. Ах, как я был бы счастлив, если бы действительно вся эта зима оказалась лишь длинным и горестным сном!

В перистилии, на мраморном помосте водоема, дремал старый павлин; я вспомнил, как встретил здесь в первый раз Намию, и мне опять захотелось плакать при этом воспоминании. Я сел на скамью, около стены, смотрел на обветшалое убранство дома, которое казалось мне теперь еще более бедным, с тех пор как мне пришлось видеть роскошь других домов, и предавался печальным думам. Так меня застал раб, посланный Гесперией, передавший мне письмо от своей госпожи.

Вот что мне писала Гесперия:

«Гесперия Юнию. S. D. Мне грустно, что ты, вернувшись в Город, не известил меня. Хочу тебя увидеть непременно. Приходи ко мне сегодня, в часы перед обедом. Не пишу тебе больше, потому что словам написанным предпочитаю живую речь. Vale».

Этому письму я обрадовался: оно давало мне повод немедленно пойти к Гесперии и сегодня же положить начало моей мести. «Ты сама отдаешься в мои руки,— говорил я про себя, обращаясь к Гесперии.— Смотри, не ошибись в расчетах. Прежде перед тобой был мальчик, которым ты играла. Теперь к тебе придет мужчина, который заставит плясать тебя!»

День прошел в доме уныло, так как Намия чувствовала себя совсем плохо и к ней никого не допускали. Дядя сидел, затворившись в своей комнате, и ни с кем не хотел говорить. Тетка бродила заплаканная, а у меня не было для нее слов утешения. Все утренние часы я провел в том, что обдумывал, как я должен вести себя с Гесперией, как с ней говорить, как отвечать на ее речи. Сердце мое было твердо, как камень, и мне казалось, что никакие женские соблазны не размягчат его. «Надо быть мудрым, как змий»,— повторял я христианскую поговорку.

К назначенному часу я оделся, как мог лучше, и по дороге зашел в тонстрину завить волосы: мне не хотелось явиться перед Гесперией в непривлекательном виде. У тонсора, как обычно, толпился всякого рода народ, щеголи и болтуны, и я охотно обменялся с какими-то незнакомыми мне юношами несколькими остротами. Той робости, которая прежде овладевала мною, когда я шел к Гесперии, я

не испытывал вовсе; напротив, я чувствовал себя смелым и решительным и был уверен в успехе.

Жила Гесперия уже не на Холме Садов, а в своем зимнем доме, на Эсквилине, поблизости от храма Надежды Древней. Место было сравнительно пустынное, и у Элиана здесь тоже был прекрасный дом, обставленный, может быть, с меньшей пышностью, чем его летняя вилла, но зато с чисто Римской строгостью убранства. Ни вне, ни внутри дома не было никаких причуд, все было просто, но величественно и богато.

Дом охранялся рабами с тою же бдительностью, как и вилла на Холме Садов, но когда я назвал себя, меня тотчас впустили. Хорошенькая рабыня, которая, кажется, меня узнала, провела меня через обширные пустые покои, назначенные всего для двух человек, к небольшой комнатке, завешенной пестрым занавесом, и произнесла мое имя. Я уверенно отдернул занавес и вошел.

Но в ту же минуту две руки обвили мою шею, и прямо перед своим лицом я увидел как бы мраморное лицо Гесперии, прекрасное, как лик богини, настолько совершенное по своим чертам, что ни Фидий, ни Пракситель не могли бы измыслить в творческом воображении ничего удивительнее. За месяцы разлуки я не то чтобы позабыл Гесперию, но как-то утратил ясное представление о ее красоте. Я помнил ее слова, ее поступки, но непосредственное очарование, веявшее от ее существа, потерялось и ослабло в воспоминаниях. Когда теперь я вновь увидел ее прямо перед собой, величественную, божественную, в тонкой цикле, осыпанной золотом, я вновь испытал прежнее чувство почти телесной боли. Я стоял перед Гесперией, онемев, и думал: «Нет, нехорошо делают боги, что смертной женщине дают такую красоту!»

А Гесперия, взяв меня за руки, увлекла меня в глубину комнаты, посадила на ложе, рядом с собой, и стала говорить, все тем же своим нежным голосом, похожим на музыку флейт:

— Мой Юний! как я счастлива, что тебя вижу! Когда Симмах написал мне о твоем заключении, я потеряла разум. Я дала обет принести богатые жертвы Великой Матери, если ты получишь свободу. И когда я думала, что это я послала тебя на такое дело, я была готова себя бить и проклинать. Но боги справедливы и спасли тебя для меня.

Такое вступление ошеломило меня, так как его я не ожидал вовсе. Я привык, чтобы Гесперия обращалась со

мной, как царица с рабом или как мудрец с учеником, и, слыша теперь от нее страстные слова женщины, не знал, что о них думать. Но я заранее готовился к какому-то коварству со стороны Гесперии и потому, напомнив себе свое решение — уподобиться в лукавстве змию, отвечал:

— Domina, я знал, на что я иду, и ты от меня опасности не скрывала. Значит, ты передо мной ни в чем не виновата. А я по-прежнему готов тебе служить всем, чем могу.

Гесперия порывисто охватила меня, сжала в объятиях и воскликнула, словно в самозабвении:

— Нет, Юний, больше ни в какие опасности я не пошлю тебя. Ты совершил довольно, чтобы доказать свое мужество и свою преданность мне. Теперь ты можешь требовать награды, которую я тебе обещала.

Невольным движением я высвободился из рук Гесперии, так как принимать притворные ласки не хотел, и возразил, дыша тяжело:

— Зачем ты это говоришь! Неужели я могу поверить, что я тебе так дорог? Ты надо мной смеешься?

Гесперия, не выпуская моих рук, продолжала говорить тем же ласкательным голосом:

— Все это — правда, мой Юний! Теперь я оценила тебя и твою любовь. Я постигла, что боги привели тебя ко мне и что мы должны повиноваться священной воле бессмертных.

Я сознавал, что мне следует притворяться, следует тоже клясться в любви, чтобы обмануть эту женщину и усыпить ее подозрения. Но она говорила с надменной уверенностью в том, что ее любовь для меня — высшее блаженство, и меня непобедимо влекло сказать ей, что это — не так, что я с пренебрежением отказываюсь от того дара, который она мне торжественно предлагает; этот порыв чувства оказался сильнее голоса рассудка. Я встал с ложа, окончательно освободился от рук Гесперии, которая следила за мной недоверчивым взглядом, и ответил:

— А я понял, что между нами не может быть любви. Я заблуждался, когда говорил тебе о своей страсти, и беру те свои слова назад, отказываюсь от них. Впрочем, все свои клятвы я помню и, разумеется, подтверждаю их. Я клялся Стиксом, как клянутся боги, и этой клятвы Римлянин не нарушит никогда.

Мои слова, как кажется, на Гесперию произвели впечатление сильное. В течение нескольких минут она смотрела на меня молча, словно не находя слов. При всей сво-

ей самоуверенности, она потерялась и не знала, как держать себя. Но вдруг также встала и, уронив складки своей сверкающей циклы, воскликнула громко:

— Если так, то твои клятвы я возвращаю тебе. Ты мне ни в чем не клялся. Я не хочу, чтобы ты исполнял свои обещания по принуждению. Ты — свободен.

— Никто не может освободить меня от такой клятвы,— возразил я.— По-прежнему ты можешь мне приказывать. Не говори только о любви, потому что это прошло.

Тогда Гесперия подошла ко мне совсем близко, так что я весь был охвачен веяньем тех ароматов, которыми было умащено ее тело, опять протянула ко мне свои, словно из слоновой кости выточенные, руки и спросила тихо:

— Ты меня разлюбил? Ты любишь другую? Отвечай: ты дал обещание не скрывать этого от меня.

— Я никого не полюбил,— ответил я, так как это была правда.

Руки Гесперии вновь опустились на мои плечи, и я задрожал от этого прикосновения, как, может быть, трепетал Анхиз, когда к нему приближалась мать его будущего сына. Но когда медленно алые губы Гесперии стали наклоняться к моему лицу, обещая то же пронзающее лобзание, какое я изведал однажды, я, во второй раз подчиняясь невольному движению, опять отклонился от ее поцелуя, отступил назад, и против моей воли у меня вырвался крик:

— Не надо! не надо!

Мгновение Гесперия стояла одна с руками, простертыми в пустоту, потом тихо сделала несколько шагов и упала на ложе, как изнеможенная. Никогда не видел я гордой Гесперии в таком состоянии, потому что она была похожа на пантеру, раненную на арене Амфитеатра, и если бы я мог поверить в искренность ее поведения, я уже мог бы наслаждаться началом своей мести. После недолгого молчания Гесперия заговорила подавленным голосом:

— Ты меня отвергаешь? Тебе рассказали обо мне что-нибудь дурное? Тебе сказали, что я жила постыдной жизнью? Что у меня было много любовников? Что многих я обманывала? Что я гублю тех, кто мне доверяется?

— Мне никто ничего не говорил о тебе,— возразил я.

— Все равно! — воскликнула Гесперия, вновь вставая во весь свой рост,— все равно! Все, что тебе говорили и что могли сказать и многое другое,— все правда! Я хуже той молвы, которой окружено мое имя. Да, я прожила

постыдную жизнь. Я переменила трех мужей. Я знала сотни мужчин. Я отдавалась наездникам, мимам и рабам. Я продавала себя за деньги. Я подражала в разврате жене Клавдия. И я многих погубила, кто меня любил. Я первая скажу тебе про себя все дурное, что было, и многое такое, что не знает в мире никто, кроме меня. Но все это было в прошлом. Уже давно я живу ради одного: ради того нашего дела, о котором ты знаешь. Постыдную жизнь я искупаю, служа богам и Риму. А когда я увидела тебя, когда я нашла тебя, я подумала, что, может быть, еще возможно для меня и счастие жизни. Потому что я полюбила тебя, Юний, любовью настоящей и, клянусь тебе, первой в моей жизни. Вот я отдала себя в твою власть, ты меня можешь оскорбить и унизить; ты меня можешь оттолкнуть в наказание за то, что когда-то я оттолкнула тебя. Поступи, как хочешь: я не хитрю с тобой, не притворяюсь, я, как простая девочка, говорю тебе: люблю!

Гесперия произносила эти слова в величайшем волнении,— по крайней мере, так казалось: ее лицо разгорелось, на глазах были слезы, а я слушал ее как помешанный. Я не знал, что мне думать об этих безумных признаниях. Было ли это коварство, игра, доведенная до высшего совершенства, как у иных акторов, умеющих плакать на сцене, изображая страдания Октавии, Медеи или Канаки? Была ли то новая прихоть женщины, не ведающей препятствий своим желаниям и пожелавшей ласк «красивого мальчика», как меня называла Валерия? Или то было истинное чувство, внезапно посетившее гордую повелительницу Рима, месть богини Венеры, мстящей тем, которые смеют презирать ее власть? То, о чем я мечтал прежде, как о недоступном, немыслимом счастии,— любовь Гесперии,— было передо мной: мне стоило только сделать одно движение, сказать одно слово, и она была бы в моих руках, стала бы меня целовать и обнимать. Но в эту минуту передо мной как бы встал призрак маленькой Намии, лежащей в смертельной болезни на своей девичьей постели, и я с новым порывом возразил решительно:

— Гесперия, я не имею права тебя осуждать за твою жизнь. Я о ней ничего не знаю и ничего не хочу знать. Но сейчас я тебе ничего не могу ответить на твои слова и вот почему. Сообщили ли тебе, что твоя сводная сестра, маленькая Намия, вчера бросилась в Тибр и теперь лежит больная и, вероятно, умрет? И известно ли тебе, почему она это сделала? Я тебе скажу: Намия полюбила меня, а

я любил тебя, и вот она предпочла умереть. Как же ты хочешь, чтобы я говорил тебе о любви, когда она умирает.

Все лицо Гесперии при моих словах изменилось. Она опять упала на ложе и простерла руки, как для молитвы. Мне показалось, что она сейчас потеряет сознание.

— Боги бессмертные! — вскричала она.— Неужели это правда? Намия бросилась в Тибр? И мы с тобой в том виноваты? Побежим тотчас к ней, я прикажу позвать Эвсебия, я выпишу лучших медиков из Константинополя, я отдам все свои деньги: мы ее должны спасти! Расскажи мне немедленно все подробно! Вот когда я требую с тебя исполнения твоей клятвы: ты обещал ничего от меня не скрывать. Расскажи, как ты узнал, что она тебя любит? Как узнала она, что ты меня любишь? Говори все! Бедная маленькая девочка, я ее так любила!

Я рассказал все, что знал, не скрыв ничего, не утаив ни ночного прихода Намии ко мне перед днем моего отъезда, ни тех страшных признаний, какие сделала мне Намия вчера, разумеется, взяв с Гесперии обещание, что она никому другому не перескажет этого. Гесперия слушала мой рассказ с напряженным вниманием, несколько раз прерывая его восклицаниями горести, и, когда я кончил, сказала:

— Теперь я тебя понимаю, Юний! Вот что было у тебя на душе, когда ты пришел ко мне! Да, не время нам было говорить о любви. Но теперь мы обменялись признаниями: когда-то ты говорил мне, что меня боготворишь, сегодня я тебе призналась, что ты мне стал дорог. Предоставим отныне нашу жизнь воле трех Парок,— пусть они сучат свои нити, золотые и черные, хотя бы уже близко было к одной из них лезвие ножниц. Когда-нибудь мы возобновим речи о наших чувствах. Теперь мы должны обратиться к другому, что важнее и твоей жизни, и моей, что выше, чем наша бедная и маленькая любовь: к судьбам Рима. Здесь, на этом пути, ты не должен и не смеешь покидать меня. Немного нас, верных великим заветам старины, служителей богов бессмертных, но тем теснее должны мы сплотиться в один круг. Мы должны продолжать нашу борьбу с безумием христианства, грозящим погубить все прекрасное и все величественное, что создано в мире. Одно сражение нами проиграно, но война еще не окончена. Ганнибал некогда подступал к самым семи холмам, но кончилось тем, что исполнилось пожелание Катона, и Карфаген был разрушен. Нам предстоит разрушить Карфаген новой религии, отку-

да новые Ганнибалы грозят нам участью более страшной, чем та, которая грозила республике после Канн. Чтобы грядущим поколениям сохранить мудрость Платона, чтобы в будущем опять могли жить Вергилии и Аполлонии, Суллы и Траяны,— останемся столь же тверды после неудачи, как слепой Аппий. Я — женщина, ты — юноша, но я по-прежнему верю, что вдвоем мы можем больше сделать, чем умные сенаторы и искусные вожди народа. В этом деле дай мне руку, останься моим союзником и повтори свои клятвы: умереть за Рим!

Свою длинную речь Гесперия произнесла торжественно и строго, и в эту минуту она опять стала похожа на ту прежнюю Гесперию, уму и решимости которой я удивлялся. Лицо ее напоминало в эту минуту лицо Дианы-охотницы, и вся она казалась чистой и неприступной, так что странно было вспомнить ее недавние признания. Потом она добавила:

— А теперь иди к Намии и скажи своему дяде, что я немедленно пришлю к девочке лучших медиков Города. Мы ее спасем, потому что она не должна умереть. Этого не будет, «если что боги правые могут!».

Наклонясь, Гесперия меня поцеловала в лоб, и я уже не сопротивлялся этому поцелую.

Выйдя из дома Элиана, я долго не мог собрать мыслей. Все произошло совершенно иначе, нежели я того ожидал, и к тому, что мне пришлось пережить, я вовсе не был подготовлен. Неспешной походкой возвращаясь домой, я, как бы «по обычаю пифагорейцев», припоминал, слово за словом, все, сказанное мною и Гесперией, все наши движения и поступки. Я старался вникнуть в их смысл и разгадать Гесперию, которая предстала передо мною опять в новом облике, чем я ее знал раньше.

«Если все это с ее стороны притворство,— говорил я себе,— то какова же его цель? Зачем было Гесперии унижаться предо мною, обвинять себя в низких поступках, называть себя подобной жене Клавдия? Что может она получить от меня, человека без состояния, без власти, без особенных дарований? Предположим, что она хочет опять овладеть мною, но чем же я могу быть ей полезен?»

Однако поверить в искренность признаний Гесперии я все-таки не мог: слишком невероятным казалось мне, чтобы гордая Гесперия, привыкшая к поклонениям, могла внезапно полюбить, и так исступленно, бедного юношу, который недавно сам вымаливал у нее один ласковый

взгляд. Какую-то ловушку, какую-то хитрость я чувствовал в поведении Гесперии, но не умел разгадать, в чем они состояли. Я мысленно сравнивал поведение Гесперии, во время разговора со мной, с движениями змеи, которая извивается, свертывается в кольца, отползает назад, пытается напасть и оттуда и отсюда и вдруг, усмотрев незащищенное место, бросается вперед и жалит. Но зачем она вела эту хитрую борьбу со мной, я не понимал.

А в самой глубине души, наперекор всем тем обещаниям, какие я давал самому себе, наперекор всем моим клятвам мести, запечатленным мною даже на стене подземной тюрьмы в Медиоланском священном дворце,— тайная сладость баюкала мои мечты. Так прекрасна была Гесперия, такое очарование исходило от ее существа, словно опьянительный аромат, что я опять чувствовал себя во власти ее чар: опять казалось мне невозможным жить без Гесперии, опять мне представлялось, что всюду, где нет ее,— пустыня, а там, где она,— те «белые лилии», что окружают блаженных. И это тайное чувство, которое я всячески старался подавить в себе, как тонкий яд, проникало во все мои мысли, отравляло их смертельным и гибельным соблазном. «Сильна ты, Афродита, богиня Книдская!» — готов я был воскликнуть.

Дома я застал всю семью за обедом. Никто меня не спросил, где я был, да и вообще никто почти не произнес ни слова за все время обеда, кроме отца Никодима, который несколько раз начинал было рассказывать городские новости, но, не встречая сочувствия, скоро умолкал. Впрочем, когда рабы уже подали сладкое, дядя угрюмо сообщил мне:

— Скоро возвращается Симмах. Он ничего не добился. Сенат останется без статуи Победы. Горе будет теперь, если готы опять подымутся на нас. Потерять нам тогда Гемимонт, Европу, Родопию, Дарданию, Македонию, Эпир...

— Господь бог заступится за свое верное воинство,— вставил отец Никодим.

Дядя сурово посмотрел на него и ответил:

— Завоевывали эти земли не господь бог, но Метелл и Муммий, а что завоевал господь бог, мы еще не видели.

Отец Никодим тонко улыбнулся и, беря себе несколько сладких пирожков, произнес:

— Он завоевал весь мир, но не силой меча, а силой истины и любви.

Дядя не возразил ничего: ему неохота была спорить.

После обеда мне позволили зайти к Намии. Она была почти без сознания; впрочем, узнала меня и спросила:

— Ты сегодня был у Гесперии?

— Нет,— солгал я, не желая огорчать девочку,— я у нее не был и не пойду к ней.

— Ты ее не будешь целовать? — опять спросила Намия.

— Не буду.

— Поклянись мне.

Что мне было делать, как не поклясться, хотя я и чувствовал, что, может быть, скоро окажусь клятвопреступником. Я произнес торжественно:

— Клянусь тебе, что не буду Гесперию целовать никогда.

Намия вытащила из-под подушки маленькое серебряное зеркальце и яростно бросила его в угол комнаты.

— Это она мне прислала сегодня утром в подарок, узнав, что я больна. Но я не хочу ее подарков, не хочу! Сломай его, братик, растопчи ногами, брось в огонь. Я его ненавижу, я ее ненавижу! Я из-за нее умираю. Она — проклятая!

Меня поразило это признание, и, хотя с Намией разговаривать не следовало, ввиду ее болезни, я невольно спросил:

— Гесперия прислала тебе утром зеркало? Значит, она знала, что ты больна?

— Она мне прислала зеркало,— отвечала девочка,— проклятое зеркало, заколдованное, чтобы я умерла скорее, но я, может быть, еще не умру! Я теперь не хочу умирать. В Тартаре страшно, там темно, там тени!

Девочка начала метаться и говорить бессвязные слова, и я не мог добиться от нее, знала ли Гесперия, посылая ей подарок, о ее болезни. Все же темное подозрение поселилось в моей душе. «Неужели,— спрашивал я себя,— Гесперия раньше была извещена о несчастии с Намией и передо мною притворялась, делая вид, что услышала о том от меня впервые? Кто же она: всегда играющая на сцене или безумная, не понимающая, что говорит, как бедная Реа? Или же душа женщины — пучина Харибды, в которую не дано заглянуть мужскому взору?»

Я долго сидел у Намии и вместе с теткой старался то согреть ее коченеющие члены, то охладить сжигающий ее внутренний огонь. Девочка томилась и плакала и все

чаще повторяла: «Я не хочу умирать, не хочу умирать!» Мы ее поили лекарствами, приготовленными ученым греком, но Намии от такого питья делалось только хуже, и было видно, что жизнь покидает ее худенькое тело. Чудилось, что страшная Либитина уже стоит у дверей нашего дома.

Поздно ночью ушел я из комнаты Намии, оставив мать у постели умирающей дочери. Уходя, при слабом свете лампады, я заметил, что в волосах Мелании за эти дни появились седые пряди. И впервые я почувствовал к тетке нежность и уважение.

V

Болезнь маленькой Намии продолжалась шесть дней, и эти дни были для меня, может быть, тягостнее, чем месяцы моего заключения в подземной тюрьме.

Я считал себя виновным в болезни девочки, и, видя ее страдания и близость ее конца, часто готов был воскликнуть в отчаяньи, вместе с Эдипом: «Земля, разверзнись!» С каждым днем ослабевая и как бы растаивая, подобно горсти белого снега, Намия все более страстно желала жить, и, плача, повторяла, в те часы, когда была в сознании: «Вылечите меня! я не хочу умирать! я боюсь умереть! спасите меня!» Она целовала руки грека и другого медика, которого, действительно, прислала к ней Гесперия, и умоляла их помочь ей, но те понемногу теряли свою самоуверенность и все чаще советовали надеяться на помощь богов.

Тетка разыскала где-то в Городе старуху фессалийку, которая лечила заклинаниями. То была сморщенная женщина, одетая грязно, с нечесаными волосами, бормотавшая на каком-то странном диалекте греческого языка, который я едва понимал. Едва войдя в комнату Намии и едва взглянув на девочку, метавшуюся в бреду, старуха тотчас объявила, что знает, кто наслал болезнь: одна египтянка, живущая по соседству, которая издавна невзлюбила весь дом Тибуртина. Потом лекарка долго обеими руками растирала тело девочки, шептала над ней непонятные заговоры, надела ей на шею амулет, зашитый в тряпичку, и ушла, уверив, что болезнь перейдет теперь на самоё египтянку, тогда как Намия через два дня будет совсем здорова. Однако отец Никодим, узнав о посещении

знахарки, крайне рассердился, пригрозил тетке муками ада за сношение с ворожеей, что осуждают законы церковные и законы империи, и, при содействии Аттузии, снял с Намии ладанку, так что мы и не узнали, принесла ли она какую-нибудь пользу больной.

Особенно мучило меня то, что я принужден был постоянно лгать умиравшей девочке. Гесперия, с непонятным упорством, каждый день присылала за мною раба и заставляла приходить к ней, может быть, и потому, что муж ее был в отсутствии. Отказаться от этих приглашений у меня недоставало воли, так как все же сладостно было мне проводить часы наедине с Гесперией, дышать благоуханиями, которыми было пропитано ее платье, видеть близко от себя ее лицо с восковой нежностью кожи. Хотя всегда наши разговоры начинались с предметов общественных, с обсуждения тех способов, какими можно ниспровергнуть власть Грациана и возвести на трон Цесарей человека, готового защищать древнюю религию,— очень скоро мы переходили к нашим чувствам, к тем вопросам, которые ведает Цитерея и ее крылатый сын. И когда красавица Гесперия вкрадчивым голосом опять повторяла мне, что в ее сердце загорелась страсть ко мне, что, впервые после многих обманчивых влечений, она испытывает подлинную любовь, что я — ее последний и вместе с тем первый истинный избранник, хотя тысячи других тщетно добиваются одного ее ласкового взгляда,— трудно мне было устоять и не поддаться соблазну. Я уже не отрицал, что любовь к Гесперии жива в моей душе, но, чувствуя, что и недавняя ненависть только задремала на время, может воскреснуть каждую минуту, едва в поступках этой женщины снова проглянет коварство, уклонялся упорно от решительных признаний.

— Ты не любишь меня, Юний? — спрашивала меня Гесперия, держа меня за руки и как бы погружая свой взор в мои глаза.

— Может быть, я люблю тебя, а может быть, нет,— отвечал я тоскливо.

— Нет! нет! ты меня любишь, ты должен меня любить, я так хочу! — говорила она, как если бы ее желание было волей бессмертной богини.

Не раз Гесперия привлекала меня к себе и начинала целовать поцелуями острыми, как укус змеи, вкладывая кончик языка в мои губы,— что греки называют γλώττισμα, — а я от таких ласк терял обладание собой и, обес-

силев, оставался в объятиях женщины, как труп, которым она может распоряжаться по своей прихоти. Гесперия находила слова нежности необыкновенной, ласкающие, как журчание ручья, наполняющие слух, как отдаленный говор ветра в лавровых листьях. Она, словно мать ребенку, говорила мне, наклоняя надо мной свои большие глаза с расширившимися зрачками:

— Мой маленький, мой милый, мой единственный! Ты именно то, о чем я мечтала долго. Дай мне свою молодость и возьми у меня весь мой опыт жизни. Давай любить друг друга, и вдвоем мы достигнем такого счастия, какого еще не бывало на земле. Сами Олимпийцы позавидуют нам, и будущие поэты станут называть наши имена рядом с именами Протесилая и Лаодамии, Геро и Леандра, Канаки и Макарея!

— Гесперия,— слабо возражал я,— сколько раз в жизни ты говорила те же слова!

— Так что же! — отвечала она.— Я буду твоей первой истинной любовью. Ты — моя последняя истинная любовь! Быть первым и быть последним одинаково прекрасно! Последняя любовь, это значит — любовь вечная, конца которой не будет.

И, зная множество стихов наизусть, она начинала страстно дрожащим голосом декламировать передо мною письмо Федры из «Героид» Насона:

Я уже не стыжусь молить, униженно, покорно.
Горе, где гордость моя? дерзкие речи? их нет.
Верилось мне, что я долго буду бороться, что страсти
Я не поддамся вовек; верного что есть в любви!
Побеждена, умоляю, царские руки к коленям
Я простираю твоим. Все позволяет любовь!
Я разучилась краснеть, и Стыд покинул знамена,
Сжалься, когда сознаюсь, гордое сердце возьми!

Слушая такие речи, я в самом деле готов был воображать себя сыном Тесея.

А придя от Гесперии домой, я шел в комнату Намии, садился у ее постели, оберегал ее беспокойный, лихорадочный сон или успокаивал ее мучительный бред. Чувства гордого царевича Ипполита или страстного любовника Геро умирали в моей душе, и их заменяла безмерная жалость к бедной, страдающей девочке. Намия же, когда приходила в себя, каждый раз, с упорством болезни, спрашивала одно и то же:

— Ты не был сегодня у Гесперии? Ты не пойдешь к ней? Ты не будешь с ней целоваться? Ты ее не любишь?

И я клялся Намии, что у Гесперии не был, не пойду к ней, с ней не целовался, не люблю ее. Намия успокаивалась на минуту, но скоро, быть может, забыв о моем ответе, снова начинала тревожиться и снова повторяла те же вопросы, слабым, но настойчивым голосом:

— Скажи, ты не любишь Гесперии?

Почти постоянно мучимая видениями бреда, Намия уже не могла хранить тайну своей любви ко мне и часто начинала говорить о ней в присутствии матери и сестры. Тетка, наполовину потерявшая разум от горя, едва ли понимала эти признания девочки, но Аттузия хорошо их запомнила и, конечно, сделала из них свои выводы. Один раз она даже заговорила со мною о том грехе, какой принимает на душу тот, кто соблазняет единого из малых сих. Но я ответил ей резко, что Намия просто бредит и что вообще я не считаю Аттузию вправе давать мне какие-либо наставления. Сжав свои тонкие губы, Аттузия ничего не возразила и на время оставила меня в покое.

Между тем силы Намии все слабели. Она уже не могла сама приподыматься и почти все часы проводила неподвижно, без сознания, иногда выговаривая, среди стонов, отдельные слова. Оба медика объявили нам, что на выздоровление они более не надеются и что девочке осталось жить не более суток. Во всем нашем доме распространилось уныние, и даже рабы, которые любили маленькую Намию, сделались угрюмыми и порой отирали слезы.

Вечером Гесперия опять прислала за мной, сообщая в письме, что у нее есть ко мне очень важное дело. Прочтя письмо, я велел рабу передать Гесперии, что прийти не могу, но, когда он ушел с таким моим ответом, я почувствовал беспокойство и тоску. Мне стало мучительно жаль потерять лишний случай увидеть Гесперию, и, после долгих колебаний, я все же не устоял перед соблазном. Обещав себе, что у Гесперии я пробуду только несколько минут, я вышел из дому и побежал через Циспий на Лабиканскую улицу.

Гесперия не удивилась, увидя меня, хотя раб уже передал ей мой ответ; она ждала меня и была, по-видимому, уверена, что я приду, несмотря на свой отказ. Как и всегда, она меня встретила не как любовника, но как сообщника и, достав только что полученное ею письмо Симмаха, начала объяснять, что произошло нового. Она говорила спокой-

ным, деловым голосом, подробно выясняла все мелочи, и трудно было бы подумать, что через несколько минут она способна заговорить речами обезумевшей от страсти Федры.

Симмах писал в письме, которое он просил немедленно уничтожить, что он от достоверных людей узнал о готовящемся возмущении среди легионов Британнии. На этом отдаленном острове войско уже давно было недовольно тяготами службы, несправедливостями начальников, отсутствием тех наград, которые нередко достаются на долю легионов, расположенных в Галлиях и Италии. Нашлись люди, которые решили воспользоваться этим недовольством воинов и убедить их провозгласить нового императора. Все те, которые почему-либо не добились почестей при Грациане или, наоборот, получили уже столько милостей, что не могли надеяться на новые, рады были случаю возвести на трон нового человека, который должен был бы осыпать своих приближенных и новыми щедротами. Заговор пока известен лишь небольшому числу людей, но втайне уже делаются приготовления к военному походу, и следует рассчитывать, что весной разразится гражданская война.

Письмо кончалось следующими странными словами, смысла которых я сразу не понял: «Si princeps non vult appellari pontifex admodum brevi pontifex maximus fiet». Гесперия истолковала мне эти слова, сказав, что речь идет о некоем Максиме, родом испанце, родственнике императора Феодосия, опытном и любимом легионами военачальнике. Максим проживает в Британнии, наполовину занимая почетную должность при расположенных там войсках, наполовину в качестве изгнанника, так как Грациан опасается его влияния и значения. Очевидно, этот Максим и намечен заговорщиками как будущий император.

Дав мне эти объяснения, Гесперия поднесла таблички, присланные Симмахом, к огню и ждала, пока весь воск растает и все написанное не обратится в бесформенную гущу.

— Тебе не жалко поступать так с письмом Симмаха! — воскликнул я.

— Милый Юний,—возразила Гесперия,—такого письма достаточно для того, чтобы даже мне, хотя я — жена сенатора и, как говорят, красивейшая женщина в Городе, отрубили голову. Когда надо сделать выбор между красноречием и благом империи, я, не задумываясь, принесу

в жертву искусство. Если бы у нас недостало боевых снарядов, я не поколебалась бы заряжать баллисты головами статуй Праксителя!

Она сказала это с таким видом, словно сзади стоял писец, который обязан был записывать ее изречения.

— Чем же это восстание Максима может быть полезно для нашего дела? — спросил я.

— Еще не знаю,— ответила Гесперия,— но думаю, что воспользоваться им будет возможно. Недовольство против Грациана растет. Сенаторы каждый день, видя пустое место там, где прежде стояла статуя богини Победы, вновь переживают нанесенное всем нам оскорбление. Ариане раздражены преследованиями, какие воздвиг на них неистовый Амбросий. Простой народ втайне любит своих богов, и в деревнях поселяне с унынием смотрят на то, что храмы, у которых отняты их земли, обеднели и разрушаются. Кроме того, бедняки всегда недовольны существующим правлением и верят, что при другом им будет легче жить. С виду все покоряются гнету сына Валентиниана, но я убеждена, что, затворив дверь своего дома, каждый гражданин посылает ему проклятия. Его ненавидят все, от Океана до Верхнего моря, а может быть, и до границ Персии. Пусть только Максим выступит открыто, мы тотчас поднимем против Грациана всю Италию и всю Паннонскую диэцесу: там у нас много друзей. А потом можно будет сговориться, что даст нам Максим в обмен за нашу поддержку!

— Значит, ты согласилась бы на то, чтобы императором стал Максим? — спросил я с замиранием сердца, потому что в ту минуту подумал о Юлиании.

— Что делать, может быть, пришлось бы согласиться временно и на это,— сказала в ответ Гесперия.

— А твой Юлианий? — произнес я и почувствовал, что при этом имени краснею, как маленький мальчик.

Гесперия весело рассмеялась и ответила мне так:

— Неужели ты думал, что мы, в самом деле, наденем когда-нибудь диадему Диоклециана на эту тряпичную куклу, отполированную пемзой и украшенную поддельными волосами? Нет, мой Юний, мы бережем его только на самый крайний случай. Полезно иметь в запасе потомка Констанция Хлора,— подобное имя действует на народ. А кроме того, Юлианий может пригодиться нам и для другого. Если бы при дворе Грациана дознались о наших замыслах, мы отдали бы им Юлиания, как главного

зачинщика заговора, и этим, может быть, спасли бы себя.

Гесперия говорила о последнем предположении с такой доброй улыбкой, как если бы речь шла не о том, чтобы предать человека на позор, на пытки и на казнь, но о милой шутке. Глядя на ее спокойное лицо, я невольно подумал: вот та твердость духа, та aequa mens, о которой я мечтал недавно. Именно так должен смотреть на людей тот, кто хочет направлять дела всей империи. Так смотрели на людей Сулла и Цесарь, Август и Константин. Что была для них жизнь человека или даже тысячи людей, если ставился вопрос о выполнении их замыслов! Вот истинно Римский дух, утраченный нашим временем, утраченный и мною,— мною, плачущим о смерти маленькой, ничего не значащей девочки!

«Нет, я не Римлянин,— с отчаянием подумал я,— я — *христианин*».

Но, пользуясь оборотом разговора, я подавил свое волнение и спросил Гесперию, глядя ей прямо в лицо:

— Ты так легко жертвуешь Юлианием. Но скажи мне: разве тебе самой он не дорог? А мне казалось, что вы с ним... близкие друзья.

Гесперия опять засмеялась,— не для того ли, чтобы скрыть смущение,— и договорила мой вопрос до конца:

— Ты хочешь узнать, не мой ли любовник Юлианий?

Я пробормотал что-то неясное, а Гесперия продолжала, уже строго:

— Нет, Юний! Юлианий моим любовником никогда не был и никогда не будет! Мне было бы противно прикоснуться губами к его лицу, раскрашенному дешевыми красками. И ты должен верить, что мои слова — правда. Я не скрыла от тебя, что за свою жизнь я уступала мольбам многих, но этот Юлианий не был в их числе. Хотя бы тысячи доказательств говорили тебе другое, все же верь не им, даже не собственным глазам, а моей клятве. Есть причины, почему я делаю вид, будто и теперь окружена возлюбленными, но это лишь обманчивая внешность. Уже давно, много раньше, чем я поняла, что люблю тебя, Юний, я отвергла всех мужчин. Мой муж — более не муж мне, а только товарищ общего нашего дела; все другие, окружающие меня,— только мои друзья и помощники. Кто похвалится бо́льшим, тот солжет. Подобно жрицам Круглого храма, я тоже дала обет, и, если я нарушила

его, пусть со мной поступят, как с той из них, кто провинилась перед богиней!

Я не знал, что думать, слушая Гесперию, которую молва называла самой развратной женщиной Города и которая равняла себя с весталками. Как всегда, казалось, что ее речь идет из самой глубины души, что она говорит с простосердечием ребенка, ее большие глаза смотрели открыто, а грудь поднималась, словно от негодования при мысли, что я могу ей не поверить. Между тем я помнил хорошо, что Юлианий сам с постыдной похвальбой говорил мне о своей близости с Гесперией, я помнил, что видел сам, как он вошел к ней в дом вечером и вышел из него лишь рано утром, качаясь от сладкого утомления. Поверить благородным клятвам Гесперии — значило показать себя прирожденным простаком, но как было не поверить ее вкрадчиво-ласковому голосу, ее ясному взору, ее решительным утверждениям, притом когда было так сладостно верить всему тому, в чем она уверяла?

Чтобы сделать свои слова еще более убедительными, Гесперия, продолжая свои клятвы, обвила мою шею рукою и, наклонясь к моему уху, снова стала шептать мне свои нежные признания, говоря, что я — тот единственный, кого она любит, кому согласна отдать свои ласки. Сознание мое затемнилось, словно завесой тумана, я забыл все свои беспощадные мысли о Гесперии, все свои обещания — отомстить ей за себя и за Намию. Я ощущал лишь одно, что близ меня — женщина, быть может, прекраснейшая в мире, та самая, которая недавно казалась мне столь же недоступной, как светлая Диана среди облаков, что она твердит мне о любви и готова принять меня в свои объятия. В моей душе слабо еще раздавался голос, говоривший мне об осторожности, напоминавший о изведанном мною самим коварстве этой женщины, советовавший мне помедлить, не отдавать себя опять в ее опасную власть; но другой голос как бы отвечал первому: «После! после! обо всем этом я подумаю после! теперь же хочу одного — воспользоваться этой минутой, которая, кто знает, повторится ли когда-нибудь! Нет большего счастья на земле, как узнать ласки Гесперии, и я возьму это счастие, чем бы мне ни пришлось заплатить за него!»

В ту минуту я утратил всякую осторожность, которой так настойчиво требовал от себя, потерял способность выбирать слова, не думал об том, к чему приведут мои безумные признания. Дрожа всем телом от порыва страсти, пу-

тающимся языком, сам еще не зная, что я скажу, я стал говорить Гесперии о своей любви. Я опять стал на колени перед ней, обнял ее колени, как алтарь божества, и твердил, глядя на ее лицо, словно из глубины на небо:

— Конечно, и я люблю тебя, Гесперия. Когда я говорил иное, я лгал. Ни один миг я не переставал любить тебя, ни в тюрьме, ни у постели умирающей Намии! Все прежние клятвы я повторяю тебе, потому что в душе я никогда не отказывался от них! Я виноват перед тобой, Гесперия, виноват в том, что посмел скрывать от тебя свою любовь к тебе!

Гесперия, слушая меня, нежно гладила рукою мои волосы, и эта тихая ласка бросала в мою страсть больше искр, чем то сделали бы самые пламенные поцелуи. И тогда, не в силах сдержать порыва своей откровенности, я рассказал Гесперии, как проклинал ее в дни своего заключения, как поклялся мстить ей, как в Медиолане проводил дни с Реей и как изменял клятвам своей любви в объятиях этой странной девушки. Сбивчиво, спутанно я рассказал все, что пережил и перечувствовал за последние месяцы, говоря бессвязно, переходя от одного к другому и возвращаясь к уже сказанному, но не утаивая ничего, открывая самую глубину своей души. И при последних словах, от напряженности чувства и от томительной радости, заплакал детскими слезами, приник лицом к груди Гесперии и воскликнул:

— Теперь не знаю, кому из богов мне молиться! Я много мучился, но мне не жаль моих мучений, и я их не помню. Ты мне сказала, что любишь меня, и это такое блаженство, в котором все прошлое потонуло, как маленькие ручьи в Океане. Гесперия, я был безумен, когда отказывался от счастия твоей любви! Возьми меня, потому что я — твой навсегда!

Плача, я обнимал Гесперию и искал губами ее губ, которыми она в часы наших последних свиданий сама обжигала меня, но на этот раз Гесперия высвободилась из моих рук, как змея или увертливая пантера. Я остался, стоя на коленях на полу, с простертыми руками, а она, отступив на несколько шагов и закрывая лицо ладонями, проговорила:

— Нет, нет, Юний! Мы еще не должны отдаваться любви вполне. Это будет нашей наградой за успех. Если мы достигнем своей цели, мы получим право на счастие, но пока у нас его нет.

— Это безумие, Гесперия! — воскликнул я, пораженный ее словами.— Ты мне сказала, что любишь меня; я знаю, что люблю тебя бесконечно. Зачем мы будем закрывать себе дорогу к радости? Разве счастие любить друг друга не даст нам новых сил для того же нашего дела?

Гесперия отрицательно покачала головой и отошла в самую глубину комнаты.

— Мы не должны прикасаться к счастью,— сказала она.— Наша богиня не Венера, с своим чудесным поясом радостей, но мудрая Минерва, с высоким копьем. Следуй ее указаниям и забудь пока о Пафии.

Минуту перед тем я был убежден, что стоило мне лишь выразить согласие, чтобы Гесперия стала моей, и я долго не мог поверить, что она действительно отказывает мне в своих ласках. Я умолял ее, убеждал ее, снова пытался привлечь ее в свои объятия, но Гесперия все суровее отстраняла мои руки и все решительнее запрещала мне к себе приближаться. Ее лицо опять приняло выражение неприступной строгости, и она повторяла мне уже повелительно:

— Этого не должно быть, Юний. Я так хочу. Оставь меня.

Поняв, наконец, что она непреклонна, я, в новом порыве чувства, зарыдал снова, но уже слезами горечи и обиды.

— Зачем ты меня так мучишь, Гесперия! — воскликнул я.

— Мучения нам нужны,— возразила она,— мучения очищают душу, как огонь золото. Знай, что я буду тебя мучить еще больше. Теперь уходи — тебе давно пора быть около Намии.

С этими словами Гесперия выскользнула из комнаты, и я остался один. Подумав минуту, я направился к выходу. «Она играет тобою, как мышью кошка,— говорил я себе.— Глупый, глупый! ты опять попался в расставленную ловушку! ты разболтал ей все, что скрывал долгое время. Ей только этого и надо было. Только этого она и добивалась от тебя своей притворной искренностью. Теперь она знает тебя всего, знает, что можно от тебя ждать, и будет пользоваться тобой, как рыбак лодкой, которую сам оснастил!»

С самыми невеселыми думами брел я по улице, но, вдруг вспомнив об умирающей Намии, охваченный стыдом при

мысли, что тратил время на унизительные мольбы, когда девочка мучилась предсмертными страданиями, бросился бежать к дому дяди. Был уже поздний час; та часть Города, по которой лежал мой путь, была почти пустынна, и никто не мешал мне пробегать под портиками, как состязающемуся на арене цирка. Задыхаясь, вошел я в дом, и по строгой тишине, царившей там, сразу понял, что последняя минута близка.

Я осторожно вошел в комнату Намии. Вокруг постели умирающей собралась вся семья, в том числе некоторые клиенты и рабы. Девочка лежала, протянувшись во весь свой маленький рост, навзничь, с закрытыми глазами, неподвижно. Она, по-видимому, была без сознания. Дядя употреблял все усилия, чтобы сохранить спокойствие, подобающее истинному Римлянину, который должен, подобно Бруту древнему, без слез смотреть на казнь своих детей. Тетка, не переставая, плакала, отирала слезы и плакала вновь. Аттузия, став на колени, молилась по-христиански. Отец Никодим, стоя в головах постели, произносил какие-то молитвы, и никто не обращал на него внимания.

Заметив, что я появился, Аттузия встала с колен, подошла ко мне и сказала:

— Она много раз звала тебя, но тебя нигде не могли найти. Но, благодарение богу, отец Никодим успел окрестить ее, и душа ее очистилась от грехов. Теперь она вознесется прямо к дверям рая, и такой кончины мы все можем желать себе.

«Желаю такой кончины тебе, и поскорее!» — едва не сказал я вслух, но сдержался, стиснув зубы. Однако в выражении моего лица было, должно быть, что-то злое, потому что Аттузия, не дождавшись ответа на свои слова, поспешила отойти от меня и снова опустилась на колени. Я занял место около дяди и стоял, пристально глядя на искаженное лицо девочки, по губам которой время от времени проходила судорога.

Так стояли мы в безмолвии довольно долго, как вдруг Намия слабо зашевелилась и приоткрыла помутневшие глаза. Она обвела взором всех присутствующих, словно стараясь понять, в чем дело. Потом этот взор сделался сознательным, и что-то вроде улыбки показалось на губах Намии. Делая большое усилие, едва слышно, но совершенно разумно и даже чуть-чуть шутливо она произнесла:

— Отец, мать, я вас очень люблю, но, кажется, я умираю, мне очень плохо... Мои деньги отдайте Юнию, в наследство, он глупый и от них поумнеет... А мои игрушки — Венере, потому что я — как бы невеста... Ах, мне хотелось бы выйти замуж...

При звуке этого почти замогильного голоса никто уже не мог сдержать слез; тетка зарыдала громко, отчаянно, с вскрикиваниями, дядя заплакал глухо, навзрыд, я тоже чувствовал, что родник моих слез не иссяк у Гесперии, но что они заливают мои щеки.

— Намия, моя девочка, ты не умрешь, не умрешь! — выкрикивала тетка.

Намия, истомленная усилием, какое она сделала, чтобы произнести свою речь, несколько минут лежала молча, потом начала тихо и жалобно стонать. Этого почти невозможно было вынести, и я готов был убежать из комнаты, заткнуть уши, спрятаться в подушки, только бы не слышать этого тихого, но в сердце впивающегося стона. Страдала ли она нестерпимо, или страшно ей было расставаться с жизнью, но она продолжала стонать, однообразным голосом, без слов, без определенного звука, устремив глаза в потолок и приоткрыв рот, как брошенная на песке рыба. Но внезапно стон прекратился, Намия словно еще раз очнулась, еще раз посмотрела на нас, и мне показалось, что она слабо улыбнулась именно мне. Потом она произнесла, и это были ее последние слова:

— Мы должны принести в жертву Эскулапию петуха...

Еще через минуту язык, по-видимому, перестал повиноваться девочке, она затряслась, стала биться на постели, хотя раньше не в силах была пошевелиться, стала рвать тунику на груди, как если бы задыхалась, ее глаза расширились, и, с глухим стоном, с хрипом, она как-то вся запрокинулась. Мы бросились к самой постели, кто целовал ее одеяло, кто пытался ее поддержать, кто просто рыдал, прижавшись головой к ее подушке. Только отец Никодим произносил какие-то слова своих молитв, но я оттолкнул его, не говоря ни слова, от постели и упал подле нее на колени.

От слез, застилавших мои глаза, я больше ничего не видел. А когда я взглянул снова на маленькую Намию, она уже была неподвижна, и было на ее лице то выражение прекратившихся страданий, какое дает благая Просерпина, обрезая волос на голове обреченного на смерть.

Несколько мгновений в комнате, которая сразу показалась пустой, хотя была наполнена людьми, слышались только рыдания тетки да всхлипывания рабынь, считавших долгом плакать погромче, но вдруг дядя, вспомнив старинный обычай и овладев собой, обратился к умершей с троекратным возгласом, тотчас подхваченным некоторыми из присутствующих:

— Намия! Намия! Намия!

Но ответа уже не было.

VI

Уныло стало в доме Тибуртина после смерти маленькой Намии. Никогда я не думал, что так любили девочку и дядя, который, казалось, не обращал на нее внимания, и тетка, которая, казалось, всегда была занята только денежными расчетами. Оба они предавались печали неутешной, и если тетка рыдала, как самая добросовестная плакальщица, то еще тягостней было видеть отчаяние сенатора, целые дни проводившего в каком-то окаменении, не желавшего ни с кем и ни о чем говорить, сразу постаревшего на много лет. Только неизменная, как сушеная рыба, Аттузия довольствовалась тем, что подымала глаза вверх и повторяла: «Что бог дал, то он вправе и взять».

Начались томительные приготовления к похоронам. Тяжелый спор пришлось выдержать дяде из-за того, хоронить ли Намию по обряду христиан или согласно с древними Римскими обычаями. Аттузия, с криками, настаивала на том, что Намия — христианка, потому что над ней, на смертном ложе, была совершена тайна крещения. Отец Никодим угрожал, что он пойдет жаловаться, через какого-то Иеронима, которого называл святым человеком и великим писателем, самому архиепископу Римскому Дамасу на то, что христианку насильственно хотят похоронить по обряду идолопоклонников. Но дядя, во всем остальном предоставлявший делать в доме, что угодно, в этом отношении проявил волю непреклонную. Ударив кулаком по столу, он опять напомнил, что он отец семейства и что в его доме он один имеет право отдавать приказания. Он даже удивил меня своей твердостью, и таков был его голос, что и Аттузия не посмела возражать далее.

Призвав к себе меня, дядя дал мне довольно значительную сумму денег и поручил все хлопоты по похоронам именно мне. Он желал непременно, чтобы тело Намии было

сожжено на костре, как то обыкновенно делалось в века свободной республики, а не погребено в земле, как то предпочитают многие в наши дни, может быть, бессознательно подражая христианам. Кроме того, дядя поставил таким же непременным условием, чтобы погребение совершилось ночью, как то было в обыкновении у наших предков и как то вновь установил божественный август Юлиан.

По счастию, помогать мне вызвался Элиан, вернувшийся в Город на другой день после смерти Намии, потому что без его содействия мне было трудно справиться с горестным поручением, возложенным на меня. Мы вместе вели переговоры с либитинариями и вместе подробно обдумали весь порядок печального обряда. Немного странно было мне находиться в постоянном общении с мужем той женщины, от поцелуев которой столько раз разгорались мои щеки и губы, но он держал себя со мною с достоинством и дружественно. Мне кажется, он не был неосведомлен о моих частых посещениях его дома и догадывался о их причине, но о Гесперии он говорил со мною так же просто, как обо всех других.

Поллинктор натер безжизненное тело Намии ароматными маслами, так что тление не касалось ее, и она лежала на пышно убранном ложе, поставленном в атрии, такой же миловидной, какой была при жизни; даже на ее губах, несмотря на предсмертные страдания, сохранилось подобие лукавой улыбки. Девочка была одета в свое лучшее праздничное платье, вокруг ложа были рассыпаны ветки кипариса и цветы, на маленьком алтаре, поставленном подле, постоянно курились ароматы. А у самого входа в дом, над дверью, тоже грустно колыхалась ветка кипариса, указывая всем, что смерть посетила эту семью.

За три дня, что тело Намии было выставлено в атрии, дом Тибуртина посетило множество родственников, которые раньше никогда не появлялись здесь. Между другими приходила двоюродная сестра дяди, следовательно, также моя тетка, Нумерия, вдова консуляра и бывшего префекта Африки. Нумерия хорошо знала мою мать и пожелала меня видеть.

Старая, толстая женщина, очень богатая, как уверяют, но скупая, Нумерия со всеми привыкла говорить резко и повелительно. Меня она встретила суровыми упреками:

— Что же ты, племянник, целую зиму в Городе, а не выбрал времени навестить меня? Гордиться тебе особенно

нечем: если твой отец — декурион в какой-то Лакторе, то мы видали людей званием куда повыше. А если ты своими достоинствами горд, так погоди, пока другие похвалят. Хотя я и старуха и вдовая, а все-таки у меня в доме ты мог бы увидеть людей, которые тебе потом пригодились бы. Пришел бы да поклонился бы, может быть, я что-нибудь для тебя и сделала бы. Теперешняя молодежь кланяться разучилась, а в наше время спины не жалели и выходили в люди.

Я, конечно, ответил, что не был у Нумерии не из гордости, а потому, что не хотел ее тревожить без надобности, и потому, что был очень занят своим учением в школе. Старуха тотчас стала бранить все школы и сказала, что в ее время учились не у реторов, а в консисториях префектов и в войске, зато и получались люди, вроде ее покойного мужа, способные занимать кресло консула и управлять целой префектурой. Потом Нумерия набросилась на тетку Меланию и с крайней безжалостностью стала обвинять ее в смерти дочери.

— От хорошей жизни,— говорила она,— не побежит девочка топиться в Тибр. Должно быть, невесело жилось ей в родном доме! А теперь плакать поздно,— что было, не воротишь.

Что-то неприятное сказала она и дяде, попрекнув его, что он кичится своим званием сенатора и не ищет должности при императоре.

— Давно пора понять,— объявила Нумерия,— что Сенат оставлен как раб-придверник, сидящий на цепи, и что все его дело — возглашать имена новых императоров. А если посягнут сенаторы на что-либо большее, так и их пошлют в каменоломни, не побоятся! Дожил ты до седых волос, а ума не нажил, воображаешь, что дело делаешь, подавая никому не нужный голос!

Все были рады, когда свирепая старуха села в свои носилки и удалилась, грозно покрикивая на своих напуганных рабов. Но разве не удивительно то, что старикам годы их молодости всегда кажутся золотым веком? Надменная Нумерия искренно считала, что правление великого лицемера Констанция, когда империя, как муравейник муравьями, кишела доносчиками, было временем торжества Римской доблести, еще не тронутой испорченностью новых дней!

Несколько раз приходила, конечно, и Гесперия, но я избегал встречаться с ней: мне было страшно взглянуть

в се глаза перед телом бедной Намии, умершей, может быть, именно из-за нее. Посетила дом и Валерия, хотя она не была в родстве с нами, заплакала, смотря на безжизненное тело девочки, и долго томила меня выражениями сочувствия, предлагая свою поддержку, чтобы перенести удар Фортуны. Наконец, пришел и мой Ремигий, которого Намия почему-то не любила: он был бледен и худ, и когда я спросил его, что изменилось в его жизни, ответил словами Вергилия:

— «Будь жребий твой лучше!»

Так как особо назначенные рабы ходили по всему Городу, извещая всех родственников и знакомых о смерти дочери Тибуртина, то в самый день похорон, к вечеру, в дом собралась целая толпа людей, среди которой были, конечно, и паразиты, никому из семьи не знакомые. Большинство называло себя клиентами сенатора, хотя многих из них мне никогда не приходилось видеть на утренних приветствиях, и можно было быть уверенным, что так же охотно они называют своим патроном любого сенатора или просто богатого человека. Все собравшиеся считали своей обязанностью громко выражать свою скорбь, а женщины — даже плакать, играя роль добровольных префик.

Было уже темно, когда из дому началось шествие, порядок которого устанавливал опытный и ловкий десигнатор. Дядя, Элиан, старик клиент Бебиан и я — вчетвером несли носилки с телом Намии, которые казались такими легкими, словно на них не лежало ничего. За нами шли рабы с факелами, причудливо освещавшими темные улицы и заставлявшими ночных гуляк как-то робко прятаться в тень, и музыканты, игравшие во все время пути веселые напевы. Еще дальше вели под руку тетку и шла вся толпа провожающих. Мужчины были в шляпах, как если бы они отправлялись в дальнее путешествие, а женщины, напротив, с распущенными в знак скорби волосами. Аттузии в числе провожающих не было, так как отец Никодим запретил ей участвовать в идолопоклонническом обряде.

Идти пришлось далеко, почти через весь Город, потому что семейная гробница Бебиев Тибуртинов находилась на Латинской дороге, и около Большого рынка я все же почувствовал такую усталость, что должен был уступить свое место за носилками, а сам присоединился к толпе. Здесь ко мне подошел человек, с всклокоченной бородой,

в длинном плаще философов, и назвал меня по имени. Что-то знакомое показалось мне в его лице и в его голосе, но я не мог вспомнить сразу, где встречал его.

— Конечно, Юний Норбан не узнал меня,— сказал мне он,— но однажды мы вместе услаждались дарами Лиея, равно освобождающего от забот земнородных и бессмертных. Я — поклонник славного Тибуртина, одного из последних ревнителей нашей великой старины, и его семейное горе — для меня горе собственное. Вот почему я пришел воздать последние почести безвременно похищенной Лахесой девице, в лице которой, может быть, сошла в царство Орка новая Клелия, не успевшая совершить своего подвига.

Пока мой собеседник говорил, я узнал в нем Фестина, того нищего оратора, которого мы с Ремигием встретили на Римском форуме и потом угощали вином в ближайшей копоне, в один из первых дней моего пребывания в Городе. Чудак тогда понравился мне своей преданностью древности и своим бескорыстным служением музе Клио. Поэтому я отозвался на его речь приветливо; он же, ободренный моим вниманием, тотчас начал одно из тех своих поучений, какие, по-видимому, всегда были у него наготове.

На этот раз он, как то и приличествовало случаю, заговорил о погребальных обрядах, горько жалуясь, что наше время изменило прекрасным обыкновениям старины. Он искренно негодовал на отсутствие на современных похоронах священных нений, высказывал огорчение, может быть, еще более искреннее, на то, что выводится обычай устраивать немедленно по сожжении тела силицерний, на котором могли участвовать все, провожающие тело покойного, описывал все разнообразнейшие виды похорон, какие только были в употреблении у наших предков, выяснял преимущества «bustum» перед «rogus», истолковывал особенности всех надмогильных памятников, простого «tumulus», отдельного «loculus», «кондитория» надземного и подземного, саркофага, мавсолея, кенотафия, циппа и всего подобного; кстати он поминал все прославленные похороны прошедших веков, начиная с похорон Патрокла, друга Ахилла, продолжая похоронами, какие устроил своему убитому брату Ромул, но не доходя далее похорон Валерия Публиколы, погребенного на общественный счет. Когда я слушал уверенную речь Фестина, пересыпанную подлинными словами древних писателей, мне опять каза-

лось, что передо мной какой-то оживший Авл Геллий, и мне грустно было видеть, в каком бедственном положении находится человек, обладающий столь неисчерпаемым запасом познаний.

Когда я уже собирался освободиться от сообщества Фестина, он сказал мне:

— У меня есть к тебе еще одно важное дело. После того, как усмотрение Фортуны свело меня с тобой и я узнал, что ты — племянник достойного сенатора, пришло мне на мысль посвятить свой досуг расследованиям о происхождении того знаменитого рода, к которому принадлежит твой дядя и которого ныне ты, за смертью его дочери, остаешься, хотя и по женской линии, последним представителем. Все зимние месяцы употребил я на эту работу и, вновь пересмотрев немало книг, изъеденных червями, могу теперь восстановить всю историю Тибуртинов, от времен древнейших до дней святости августа Грациана. Я хочу просить тебя, чтобы ты помог мне представить этот труд, небезынтересный и для тебя, сенатору, который, конечно, захочет и издать его для поучения потомству, и наградить человека, отдавшего много недель на прославление имени Бебиев Тибуртинов.

Чтобы доказать мне свои познания в истории нашего рода, Фестин тотчас стал объяснять мне, что после битвы у Трифана, когда Манлий разбил войско латинов и принудил их отдать Риму часть земель,— из латинского города Тибура вышел знатный гражданин,— имени его не сохранилось,— который в Городе своим патроном избрал Бебия, предка того трибуна, который прославился, к сожалению, не чем иным, как своей подкупностью в Югуртинскую войну: отсюда будто бы и пошли Бебии Тибуртины. Разумеется, достаточно было бы указать на то обстоятельство, что Бебии были родом плебейским, чтобы опровергнуть все хитро построенное Фестином здание. И все остальное, что он говорил мне, было таким же нагромождением не то что выдумок, но отважных и сомнительных догадок. Но, с одной стороны, у меня тогда не было охоты спорить, а с другой — я знал, что и все другие родословные, которыми гордятся наши современные роды, нисколько не более основательны и также сочинены досужими историками, добивающимися щедрой подачки от того «нового человека», происхождение которого они стараются возвеличить. Поэтому я удовольствовался тем, что дал Фестину несколько неопределенных обещаний, ска-

зав, что дядя сейчас слишком подавлен скорбью, чтобы заниматься таким делом.

Тем временем шествие приблизилось к семейной гробнице Тибуртинов, около которой уже был возведен высокий костер, так как особого устрина при гробнице не было. При красноватом свете факелов все кругом имело вид странный и таинственный; изваяния на соседних памятниках казались живыми, и можно было подумать, что давно умершие лица, суровые Римляне, изображенные рядом со своими супругами, безбородые, с глубокими морщинами на высоком лбу, приветствуют юную Римлянку, явившуюся сюда, чтобы спать вечным сном с ними рядом; по открытому полю убегали и колыхались вытянутые тени; лица присутствующих были то неестественно бледны, то зловеще красны. На минуту настала тишина, только слышался откуда-то лай собаки да топот запоздалого путешественника с Латинской дороги. Мы были похожи скорее на заговорщиков, сошедшихся в пустынной местности, чем на участников печального обряда похорон.

Старый жрец из храма Венеры Либитины, добродушный, толстый человек, начал произносить формулы соответственных молений. Элиан приблизился к костру, на который были поставлены носилки с телом маленькой Намии, и, отвратив лицо, зажег положенную внизу связку соломы. Когда загорелся огонь и его алые языки, изогнувшись, взбежали по сухим бревнам, еще причудливее и еще страшнее стало все окружающее. Звезды на небе словно померкли. Осветилась окрестность и означились в поле какие-то домики; может быть, жившие в них христиане, завидя свет погребального костра, спешили в ту минуту оградить себя от греха своими молитвами. Раздались рыдания тетки и других женщин. Мужчины, тоже отвращая лица, бросали в костер цветы и принесенные с собой игрушки девочки. Как кажется, всем было жутко и тяжело.

Уже снова музыканты заиграли на флейтах какую-то веселую песню, как вдруг, протиснувшись через плотные ряды родственников и клиентов, перед костром оказался незнакомый человек, одетый так, как одеваются христианские монахи. При ярком пламени костра можно было видеть, что черты его лица скорее греческие, чем римские: у него был прямой нос, высокий лоб и смелый взор. Он заговорил голосом, покрывшим звуки музыки, страстно, но

довольно плавно, делая некоторые ошибки в произношении, но совершенно правильным языком.

— Бедные безумцы! — воскликнул он.— Зачем вы пытаетесь воскресить то, что уже умерло? Что вы хотите доказать, устраивая идолопоклоннический обряд в империи, признавшей учение истинного бога? Вас собралось здесь человек сто, вы призываете имя Гекаты и других подземных богов, но разве сами вы верите и в свою Гекату, и в этого подземного Плутона, и даже в свой Тартар? Вы сами давно считаете их баснями поэтов, а здесь устроили театральное представление, не подумав, что дело идет о живой душе, только что почившей! Как на сцене, изображаете вы похороны, вместо того чтобы оказать какую-либо помощь той, чья душа, обманутая вашими ложными мудрствованиями, теперь в испуге видит перед своими очами иной мир...

Первое время все были так ошеломлены появлением незнакомца, что стояли как бы оцепенев, и он мог свободно произнести начало своей речи. Даже музыканты при звуках его громкого голоса перестали играть и слушали, опустив флейты. Однако, опомнившись, мужчины, в ярости, бросились на оратора, не думая об том, что служители христианской веры находятся под особым покровительством святости императора. Почтенные сенаторы, словно уличные буяны, забывая приличие, забывая, что перед нами погребальный костер, кричали грубые ругательства, хватали незнакомца за его одежду, подымали на него кулаки. Он же, выполняя требования своей религии, не оборонялся, не пытался убежать, но, среди угроз и протянутых к нему рук, стоял спокойно, не уклоняясь от ударов.

Первым одумался, кажется, Элиан, который загородил собою незнакомца, отвел устремленные на него кулаки и громко закричал всем присутствующим:

— Это, товарищи, конечно, сумасшедший, оставьте его в покое, не обращайте внимания на его бредни. Должно быть, он пришел в Город из какой-нибудь дальней страны, потому что не знает его обычаев. Мы здесь исполняем наши обряды с разрешения божественного августа, и никто не вправе мешать нам. Отпустим его, пусть он идет с миром, и будем продолжать наше дело.

Спокойная речь Элиана подействовала, поднятые кулаки опустились, всем стало почти стыдно своего ребяческого порыва.

— Уходи прочь! — крикнул кто-то незнакомцу,— ты не был приглашен и права не имеешь вмешиваться в наше общество.

— Уходи,— строго повторил Элиан,— ты видишь, что тебя не желают слушать.

Незнакомец обвел глазами все собрание, не сказал более ни слова и медленно, не ускоряя шага, стал удаляться. По знаку Элиана музыканты вновь поднесли флейты к губам, и зазвучала веселая песня, славящая сбор винограда. Все снова обратились к костру, который уже пылал со всех сторон, закрыв пламенем и дымом носилки с телом.

Но я, поколебавшись несколько минут, последовал за незнакомцем и догнал его, когда он уже вышел на Латинскую дорогу. Было что-то в лице оратора, что заставило меня отнестись к нему с доверием: у меня мелькнула мысль, что у него я могу найти ответ на те вопросы, которые смущали меня последнее время. Пройдя несколько шагов сзади незнакомца, я его окликнул. Он остановился.

— Я один из тех,— сказал я,— к кому ты только что собирался обратиться с речью. Тебя не стали слушать, но я готов тебя выслушать, если ты объяснишь мне, почему ты считаешь религию Юпитера и других бессмертных умершей. Потому ли только, что многие примкнули к учению Христа и христиан теперь, может быть, больше, чем оставшихся верными религии предков? Но тогда вспомни, что было время, когда христиан было весьма немного: итак, не числом последователей определяется истинность веры. Потому ли, что ты сам веруешь в Христа иудейского? Но понятно, что каждому его религия кажется истинной, и как вы, христиане, обличаете ложность нашей веры, так будут обличать ложность вашей — персы, верующие в Ормузда, или индийцы, признающие только своих сторуких богов. Откуда ты взял, что мы сами считаем баснями сказания о Гекате? не из того ли, что наши философы пытаются вскрыть их потаенный смысл? Но разве ваши философы не поступают так же со сказаниями о Адаме и Еве и о самом Христе? Если ты можешь мне ответить на эти вопросы, я буду слушать твою речь.

Незнакомец выслушал меня внимательно, не перебивая, но в темноте мне не было видно его лица. Когда я смолк, он заговорил, спокойно и уверенно:

— Юноша, я вижу, что ты говоришь не легкомысленно. Следовательно, и моя речь не пропала даром. Из брошен-

ных мною семян одно упало на добрую почву и дало росток. Важно теперь, чтобы не прилетели птицы и не погубили слабого растения, которое нуждается в заботливом уходе. Иди за мной, и я открою тебе все, что знаю, и ты сам увидишь, на чьей стороне истина. В немногих словах я не могу показать тебе всю бездну премудрости божией: надо для этого время и подходящее устроение духа.

Я возразил, что не могу покинуть похорон близкого мне лица и что поэтому не могу сейчас же идти за незнакомцем.

— Ты не знаешь слов Спасителя,— возразил он,— «оставь мертвым погребать своих мертвецов». И еще: «Никто, возложивший руку свою на рало и озирающийся назад, не благонадежен для царствия божия». Иначе ты не колебался бы ни минуты, ибо что важнее: похоронить умершего, уже узревшего тайну жизни, или самому познать истину, нужную для руководства всей жизни? Вспомни апостолов Симона и Андрея: услышав зов Учителя: «Идите за мною», тотчас они, оставив сети, последовали за ним.

Такая самоуверенность незнакомца и рассердила, и несколько рассмешила меня.

— Я не Симон и не Андрей,— сказал я,— да и ты — не тот Учитель. Поэтому не знаю, почему я должен поступать подобно им. Я только прошу, чтобы ты объяснил мне то, что я почитаю странным в речи твоей, а ты ли откроешь мне истину, или я тебе, это еще не предрешено.

Незнакомец, как мне показалось, горестно вздохнул и, подумав минуту, сказал:

— Пусть будет по-твоему, юноша. Если ты захочешь меня видеть и слушать, приди ко мне в базилику святого Климента, близ амфитеатра Флавиев, что воздвигнута недавно на месте старого храма вашего Митры. Ты найдешь меня там каждый день: спроси только служителя Николая, и те я проводят ко мне. Я же буду ждать тебя и молиться о тебе.

— Хорошо, я приду,— сказал я просто, потом быстро повернулся и пошел прочь, не оглядываясь.

Когда я вернулся к нашему обществу, костер уже был залит, и либитинарии ловко собирали прах бедной Намии в грубую урну, из которой он должен был перейти в другую, изящной греческой работы, уже заготовленную у нас дома. Тетка, сидя на ступенях гробницы, все продолжала плакать, и Гесперия, с которой я во все время похо-

рон не обменялся ни одним словом, нежно утешала ее. Наконец жрец торжественно возгласил обычное:

— Illicet!

Мы сказали праху Намии наше последнее «Vale», и урна была поставлена в гробницу; женщины сели в носилки, рабы с факелами пошли вперед, и началось обратное шествие в Город. Все были крайне утомлены и шли молча. Со мною шел Ремигий, но и нам не хотелось разговаривать. Он только напомнил мне мое обещание пойти с ним к Галле, на один из ее обедов.

— Через два дня,— сказал он,— Помпоний устраивает праздник в честь дня своего рождения. Я сделаю так, что к тебе пришлют раба — звать тебя. Приходи непременно: мне хочется, чтобы ты сам увидел, в каких лапах находится Галла.

Я обещал прийти, так как втайне я надеялся, что у Галлы есть какие-либо вести о Рее, судьба которой очень меня тревожила.

В доме дяди нас ждало еще похоронное угощение, род того силицерния, об исчезновении которого так скорбел Фестин. Но лишь у немногих достало сил принять в нем участие. Среди этих отважных был, конечно, и философ, несмотря на то, что на его появление в доме все посматривали с недоумением. Мне стало жаль бедняка, и я взял его под свое покровительство, объявив, что хорошо его знаю.

Фестин был единственный, кто в этот поздний час решился еще произнести речь. С кубком в руках, он воскликнул, обращаясь к сенатору:

— Великий Эпаминонд, умирая, сказал, что покидает жизнь не бездетным, но оставляет двух дочерей — Левктру и Мантинею. Так не скорби и ты, славный потомок Бебиев Тибуртинов! Безжалостные Парки обрезали нить жизни твоей возлюбленной дочери, но у тебя остается другая дочь, я смею сказать, более прекрасная: Рим! Ее люби и ей посвяти остающиеся годы жизни, кои да продлят бессмертные боги, на пользу Города и как пример юношеству истинно Римской доблести. Двенадцать коршунов явилось Ромулу, когда он заложил свой Город, и это залог того, что человек, любящий Рим, никогда не будет одинок!

Вероятно, Аврора уже будила белокурого Феба, когда уходили из нашего дома последние гости. Мне пришлось на этот раз исполнять обязанности хозяина и провожать их до дверей, так как дядя и тетка незаметно удалились в

свои комнаты. Когда, наконец, разошлись все и я остался один, среди усталых рабов, убиравших, под наблюдением Мильтиада, остатки пиршества, я уныло оглядел атрий, в котором мне более никогда не суждено было встретить черноголовую девочку, с язвительными словами и ласковой улыбкой, и уныло побрел в свою спальню, куда никогда более не должна была тайно прокрасться маленькая Намия, требовавшая, плача, чтобы я любил ее, «как любят мужчины женщин».

VII

«Велика сила привычки»,— говорит Цицерон, и не было сомнения, что постепенно тетка и дядя примирятся с тем, что не раздается более звонкий голос Намии в их дряхлеющем доме, что, подобно юной Просерпине, похищена она со светлой земли в темную преисподнюю, но первые дни тягостно было видеть постоянное уныние, владеющее ими, следить, как малейший случай напоминает им об умершей дочери, вызывая слезы на их глазах. Угрюмое молчание стояло в доме с утра до вечера, и даже словоохотливый отец Никодим не смел рассказывать о городских новостях, хотя по-прежнему приходил ежедневно, тщательно выбритый и старательно надушенный. Поэтому я рад был, когда, действительно, явился ко мне черный раб, объявивший мне, что его господин, Секст Помпоний, человек щедрый и гостеприимный, дом которого убран статуями великих греческих ваятелей, приглашает меня сегодня принять участие в обеде, устраиваемом им, в знаменательный день его рождения, для своих друзей и для друзей искусства.

Передав рабу благодарность за приглашение и сказав, что на обеде буду непременно, я постарался принять самый щегольской вид, какой только мог, понимая, что только этим могу оказать на Помпония хорошее впечатление. В ближайших термах я дал хорошенько умастить свое тело, завил волоса и надел свое лучшее платье, сшитое мне уже в Городе, у веститора, которого мне в свое время указал Юлианий. К назначенному часу за мной зашел Ремигий, и мы вдвоем отправились в дом Галлы, всю дорогу поминая незабвенный пир Тримальхиона.

— Ты увидишь,— говорил мне Ремигий,— ожившими картины из сатир Петрония. Старайся только не смеяться

слишком громко. А если Помпоний начнет читать свои стихи,— он имеет притязание быть также любимцем Муз,— хвали их, не стесняясь. Конечно, заснуть за их чтением не так опасно, как когда-то под декламацию Нерона, но удачной лестью ты мне можешь оказать добрую услугу. А в общем, уверяю тебя, нам на этом пире будет не скучно, а скорее весело, как на представлении мимов.

Я ничего не возразил Ремигию, но втайне подумал, что если Помпонию суждено быть архимимом, то сам Ремигий играет при нем не другую роль, как мориона.

Дом, в котором Помпоний поселил Галлу и который он, по ее словам, подарил ей, был невелик, но построен в хорошем, старом вкусе. Он стоял на довольно пустынной уличке, но на этот раз перед входом шумела целая толпа рабов, доказывая, что приглашения были разосланы самым щедрым образом. Ежеминутно прибывали новые носилки и подходили приглашенные. Несмотря на то, что было еще светло, над дверью были зажжены фонари и внутри дома повсюду горели луцерны.

Мы объявили привратнику наши имена, и номенклатор побежал по комнатам, громко их выкрикивая. Я заметил, что он с особенным рвением провозглашал при моем имени:

— Племянник светлейшего мужа, сенатора Авла Бебия Тибуртина!

Вслед за Ремигием я прошел ряд комнат, убранных с показной роскошью и частью уже наполненных приглашенными, и мы оказались в небольшом триклинии, предназначенном исключительно для того, чтобы пить вино. Мальчики беспрерывно черпали циатами из нескольких огромных кратеров, стоявших там, наполняли кубки и подавали всем желающим. Комната была освещена двумя высокими канделябрами, изображавшими пляшущих сатиров. Здесь же на особом кресле, имевшем вид настоящего трона, сидел, в обществе трех или четырех, по-видимому, наиболее почетных гостей, сам хозяин дома, Секст Помпоний, одетый в пышную кокцину из гавсапы.

Когда Ремигий назвал меня, Помпоний сказал, стараясь улыбаться приветливо, или, как, вероятно, он сам думал, благосклонно:

— Очень рад, что ты пришел на мой скромный праздник. Мне моя дорогая Галла рассказывала, что ты, вместе с Ремигием, оказал ей важную услугу во время ее путешествия. Будь желанным гостем.

Помпоний указал мне на свободное место около себя, и мне оставалось только повиноваться и присоединиться к беседе.

Разговор шел о падающем значении знати, и Помпоний, с самодовольным лицом, продолжал излагать свои мысли, впрочем, считая долгом иногда как бы извиняться передо мной.

— Да, друзья мои,— говорил Помпоний,— сенаторские роды должны уступить место новым людям. Прости, любезный Юний, я говорю, что думаю, и нисколько этим твоего дядю обидеть не хочу. Нобилитет был когда-то нужен Риму и сделал для него многое. Разные там Сципионы Африканские спасли в свое время Город от галлов и от других врагов. Но теперь другие времена. Теперь осталась только одна сила: деньги. Тот должен властвовать в империи, кто богаче. Все можно купить, и кто способен будет скупить все, тот и будет владеть всем.

Я не почел приличным выступить с возражением, но один из собеседников, судя по наружности, родом из Египта, осмелился робко заметить:

— Ты, конечно, прав, как всегда, Помпоний, однако как же быть с обороной границ: ведь не пошлешь против варваров, вместо легионов, денежные переводы на местных аргентариев?

— Ошибаешься, друг,— гордо заявил хозяин дома,— именно всего лучше и вернее послать против врагов мешки с авреями. Цесарь утверждал, что для ведения войны надо прежде всего деньги, потом деньги и, в-третьих, деньги. А я скажу, что больше ничего и не надо. Дайте мне власть, и вы увидите, что никакой опасности на Рейне не станет: я куплю вечный мир, вот и все! А еще того лучше — куплю вечную войну между германцами, и они перережут одни других!

Хотя Помпоний и спутал Алцибиада с Цесарем, как раньше галлов с пунами, то, что он говорил, не показалось мне ни нелепым, ни смешным, и я слушал его далее уже с любопытством, он же продолжал:

— И разве вы действительно думаете, что нынешние нобили годятся для военного дела? Посмотрите на юношей тех семей, где стены домов увешаны восковыми изображениями предков: какие это все заморыши! Они способны только проживать земли, полученные по наследству, да произносить в Сенате речи, которых никто не слушает! Не то мы, люди, занятые настоящим делом, держащие в

своих руках торговлю по всему Внутреннему морю! Это — крепыши, у которых и дети будут крепкими и сильными! Возьмите в пример хотя бы меня: у меня столько денег, что я мог бы купить себе царство и целые дни не выходить из пиршественной залы,— а я, чуть заря, уже за работой, иду в свою таберну на форуме и пересчитываю деньги, посещаю янус, чтобы узнать все новости, обхожу свои дома и собираю плату с жильцов, за всем смотрю сам, всем сам распоряжаюсь и ни одного асса не пропущу без счета! Был Рим патрициев, был Рим нобилей, а теперь будет Рим — наш!

Гости покрыли речь хозяина восторженными восклицаниями в честь его мудрости и, хлопая в ладоши, потребовали вина, чтобы выпить за его здоровье. Так как в эту минуту к Помпонию подошли новые посетители, то я, воспользовавшись общим замешательством, тихо покинул свое место и отправился разыскивать Галлу, с которой мне хотелось переговорить без лишних свидетелей. Однако она оказалась тоже окруженной какими-то женщинами, в которых нетрудно было угадать, несмотря на их богатые наряды и в изобилии навешанные на них драгоценности, бывших кифаристок и флейтисток или даже особ еще низшего разбора.

Напротив, в Галле, одетой тоже роскошно, небрежно развалившейся на удлиненном кресле, выставляющей руки, унизанные драгоценными перстнями, нарочно позванивавшей жемчужными кроталиями, оттенявшими нежно-розовый цвет ее ушей, не оставалось ничего похожего на ту девушку, которую еще недавно все могли купить за несколько сестерций и которую я несколько месяцев назад видел совершенно обнаженной в убогой комнатке дешевого лупанара. Приветствовав меня кивком головы, Галла предложила мне несколько вопросов таким голосом, словно мы встречались с ней только в самых благородных домах Города и словно она всю жизнь привыкла иметь дело только с женами сенаторов и префектов.

— Ты, как я слышала,— сказала она,— был недавно в Медиолане. Вот город, который я никогда не видела и который мне хотелось бы посмотреть. Понравился ли он тебе?

Я ответил, что Медиолан мне понравился, но добавил:

— Кстати сказать, я встретил там твою сестру, Рею. Не имеешь ли ты от нее известий?

По лицу Галлы было видно, что упоминание о Рее ей неприятно, и она отозвалась очень сдержанно:

— Нет, мы не обмениваемся с нею письмами.

И тотчас, чтобы не дать мне возможности продолжать настояния, обратясь к одной из своих собеседниц, заговорила о чем-то другом.

Покинув Галлу, я воспользовался временем, чтобы оглядеть дом. В нем было, действительно, несколько хороших статуй греческой работы, сносная живопись на стенах, содержание которой предупредительно объяснял посетителям атриенсий, неимоверной величины клепсидра, устроенная так, что она точно показывала часы дня и стражи ночи, зимой и летом, ряд армариев с разными диковинами и другие вещи, явно помещенные там затем, чтобы их рассматривали. Впрочем, я заметил, что нигде не было видно ларария, из чего заключил, что хозяин дома — христианин. Подобно мне, несколько человек гостей, должно быть, также попавших в дом Помпония впервые, бродило по залам, разглядывало выставленные напоказ редкости и громогласно выражало свое восхищение.

Одним из последних появился в доме Юлианий, которого я не видел со времени моего отъезда из Города. Юлианий был одет особенно роскошно, хотя и в тогу, но не белого, но лилового цвета, что, вероятно, привело бы в негодование Катона, и пальцы его были унизаны перстнями, вероятно, с поддельными каменьями. Меня Юлианий встретил, как самого близкого друга, хотел даже обнять, только я уклонился от его поцелуя,— и, отведя в сторону, стал расспрашивать о происшедшем со мною в Медиолане, делая намеки, будто ему все, что касается меня, известно. Я, разумеется, не рассказал ему ничего и на все его дружественные зазывания отвечал кратко и строго, показывая ему, что вовсе не считаю его близким.

Когда мы так разговаривали, к нам приблизился Ремигий, и Юлианий, у которого всегда в запасе были слова, как у хорошего стрелка стрелы, немедленно перевел речь на любовь и стал нескромно похваляться расположением к себе многих из присутствующих здесь женщин. Нам с Ремигием неприятно было слушать эти вольные панегирики самому себе, но Юлианий, не довольствуясь тем, вдруг заговорил о хозяйке дома:

— Посмотрите, мои друзья, как расцвела domina Галла! Хорошее дело взял на себя Помпоний и хоть на что-нибудь да пригодился! Прежде мы отдавали собственные

квинарии за ласки этой милой девушки; теперь же он один платит за всех, а мы пользуемся все тем же!

При таких словах Ремигий побледнел и, раньше чем я успел его остановить, воскликнул:

— Ты лжешь, Юлианий! Теперь ты ничем не пользуешься у Галлы! Постыдно так клеветать на женщину!

Как ни обидны были слова моего друга, но Юлианий просто засмеялся, вместо ответа, и спокойно возразил:

— Об этом всегда знают только двое, а третий — бог, которого иные поэты признают слепым.

Не желая слушать такие речи, Ремигий стремительно повернулся спиной к Юлианию и отошел прочь, а я последовал за моим другом, стараясь успокоить его негодование. Юлианий же тотчас нашел другого слушателя и, как если бы ничего не случилось, начал ему что-то оживленно рассказывать, может быть, клевеща на нас.

Между тем появились рабы, выкрикивающие приглашение возлечь за стол. Следуя за другими, я прошел в большой триклиний, находившийся в самой задней части дома, где был накрыт громадный стол и где в глубине была сцена для мимов и музыкантов. По счастию, меня посадили рядом с Ремигием и в некотором отдалении от Юлиания, так что во время бесконечно тянувшегося обеда я был не одинок и мог обмениваться своими замечаниями с другом.

После того торжественного пиршества, на котором я участвовал в Медиолане, в доме Тита Коликария, я не мог ожидать ничего для себя невиданного, но признаюсь все-таки, что изобретательность поваров Помпония иногда поражала всех присутствующих. Все блюда были им приготовлены таким образом, что невозможно было угадать, что это такое. Из дичи он делал подобие кабана, из рыбы — маленьких птичек, в яйцах оказывались фрукты, заяц был начинен улитками, и все было в этом роде. К этому надо добавить, что стол был уставлен дорогой серебряной посудой, так что всякий маленький ацетабул стоило рассматривать поближе, что вина в самом деле были хороши и подавались в изобилии, и станет ясно, что пир Помпония выгодно отличался от пира Тримальхиона. К тому же на сцене то петавристарии, со своими головоломными упражнениями на высоко протянутом канате, то неистово кружащиеся плясуньи, то кифаристки, то, наконец, мимы, исполнившие целое представление, беспрерывно занимали наше любопытство.

Не слушая речей, которые велись на почетном конце стола, где восседал сам Помпоний рядом с Галлой, державшей себя величественно, и где поминутно раздавались восторженные восклицания паразитов: «Как это умно сказано!» — или даже просто: «Sophos!», я с удовольствием беседовал с Ремигием, с которым мне давно не случалось поговорить вволю, и остался бы вполне доволен приятно проведенным вечером, если бы он не закончился происшествием, которое омрачило, как туча Юпитера, весь пир, нарушив веселое расположение духа всех гостей, и мое в особенности.

Дело в том, что в течение всего вечера Ремигия, взволнованного между прочим похвальбой Юлиания, явно раздражало и то пренебрежение, какое в присутствии посторонних считала нужным оказывать ему Галла, и обращение с ней Помпония, который, не стесняясь тем, что находится в многолюдном обществе, или даже желая похвалиться перед ним своей красивой наложницей, неоднократно со смехом принимался обнимать свою подругу, щекотать и целовать ее. Видя это, Ремигий с излишним усердием опорожнял за кубком кубок и, все более возбуждаясь, довольно громко высказывал самые злобные суждения о хозяине дома. Пир уже подходил к концу, когда Помпоний захотел к удовольствиям, приносимым Комом и Бакхом, присоединить радости Пегасид и, подстрекаемый одобрительными возгласами сидевших рядом с ним гостей, объявил, что продекламирует несколько своих недавно им написанных стихотворений.

— Ну, теперь мы увидим пляшущего верблюда,— произнес Ремигий так, что это слышали наши соседи по столу.

— Говори тише,— шепнул я ему, но он в ответ только гневно тряхнул плечами.

Помпоний разгладил свою длинную, красиво завитую бороду, придававшую ему вид халдейского мага, встал с осанкой оратора и взял из рук раба принесенный серебряный ларец, в котором хранились его творения. Ремигий не преминул шепнуть мне, что Помпоний держит при себе особого писца, ловкого грека, по имени Мнесилох, обязанности которого состоят будто бы в том, чтобы переписывать стихи своего господина, а на деле в том, чтобы исправлять их. Но Помпоний, прежде чем начать чтение, почел необходимым произнести такое предисловие.

— Я не учился у реторов,— сказал он,— и не жалею об этом. Поэтом быть нельзя научиться, как о том верно говорит Цицерон. Все дело в прирожденной способности и в покровительстве Муз. Я никаких правил стихосложения не знаю, а иногда могу написать в один вечер двадцать эпиграмм. Думаю, что и самому Марциалу это было бы не под силу.

Гости шумно выразили свое изумление перед поразительным дарованием хозяина, уверяя его, что не только Марциал, но и сам Гомер не совладал бы с такой задачей. Помпоний же, опираясь на плечо раба, что, вероятно, крайне ему мешало, начал декламацию, подражая плохим акторам в усиленном означении метра.

Говорят, что стихи ученика Сенеки, столь осмеянные его современниками, не были особенно плохи, и весьма жаль, что ни один из авторов не захотел сохранить их до наших дней. Подобно этому и эпиграммы Помпония не показались мне столь нелепыми, как я мог ожидать, хотя их автор, или его греческий писец, и пользовались слишком широко правилом грамматиков, гласящим, что иные слоги могут быть либо долгими, либо краткими, смотря по тому, как ты их хочешь поставить.

Первая из прочитанных эпиграмм говорила о семи небесных сферах, и она была настолько замысловата, что я решительно подозреваю в ней скорее творение Мнесилоха, скромно удовольствовавшегося денежным подарком, взамен соснового венка, а не нашего амфитриона. Сколько я запомнил, эта эпиграмма читается так:

Семь священных планет, к семи прикрепленные сферам,
По непреложным законам, свершают свое обращенье.
Фе́нона первая сфера, с зловещей звездою Сатурна;
Имя второй — Фаэтон, и на ней сверкает Юпитер;
Третья дана Пироенту: там блещет Марс красноватый;
Стильбон названье четвертой, с которой светит Меркурий;
Фосфора пятая сфера, где утром сияет Венера;
Феба — сфера шестая, последняя сфера — Дианы;
Это она отделяет небо от далей эфира

Гости, конечно, приветствовали такие стихи самыми восторженными восклицаниями, и любопытно было наблюдать, как Юлианий играл двойную игру: он кричал похвалы чуть ли не громче всех, но в то же время успевал подмигнуть мне, намекая, что он понимает все ничтожество тщетных попыток разбогатевшего неуча соперничать с Апулеем. А Помпоний, досыта насладившись льстивыми

восторгами паразитов, достал из ларца новый свиток и опять, усиленно скандируя, стал читать другие эпиграммы, воспевающие то знаки Зодиака, то различные ветры, то разные формы любовных объятий, причем последнее стихотворение своим нескромным содержанием вызвало особенно бурные восторги уже полупьяных слушателей. Наконец Помпоний приступил к элегии о Гигантах, начинавшейся, кажется, так:

Вышний эфир захватить когда-то пытались Гиганты
И на Олимпа царя руки взносили свои.

Далее, как водится, говорилось о том, что попытка Гигантов не имела успеха, что Юпитер сокрушил их молнией, но что в наши дни новые Гиганты, люди труда и ума, к которым Помпоний относил и самого себя, намерены начать борьбу за обладание миром; они громоздят не Пелион на Оссу, но мешки с золотом один на другой, скоро взберутся по этой лестнице до неба, захватят в свою власть все должности империи, все почести, будут обладать всеми сокровищами древности, лучшими статуями и любовью красивейших женщин.

Когда Помпоний закончил чтение своей элегии, по меньшей мере любопытной, хотя в ней и попадались выражения, которые уместны были бы только в устах какого-нибудь франка, едва научившегося латинской речи, и все собрание приветствовало счастливого поэта настоящим громовым раскатом рукоплесканий,— Ремигий внезапно, потеряв обладание собой, воскликнул так громко, что его голос покрыл общий шум:

— Почести ты, может быть, и скупишь, но любовь не продается. Ты можешь купить девушку и запереть ее в золотой тюрьме, но ее сердце останется на свободе. «Если хочешь быть любимым, люби!» — а не довольствуйся тем, что кидаешь солиды.

Я всячески пытался успокоить моего друга, и Помпоний первую минуту, несколько смутившись, готов был сделать вид, что он не слышит слов Ремигия, но тот, словно побуждаемый каким-то демоном, оттолкнул мою руку и с еще большим возбуждением стал говорить:

— Стыдно нам, граждане, что мы здесь слушаем этого начиненного золотом каплуна, который похваляется, что всех нас купит! Римляне по-прежнему носят свое право на оконечности мечей. Омерзительно слушать, будто они стали народом торгашей, какими-то грекулами.

Так неожиданны были такие речи в устах Ремигия, всегда склонного относиться к жизни и к вопросам чести легко, что я не знал, как себя держать с ним. Конечно, тотчас нашлось множество защитников у щедрого хозяина, которые не только осыпали дерзкого проповедника бранью, зло укоряя его в том, что он сначала наелся и напился на счет Помпония, а потом уже вздумал обличать его, но и готовых кулаками доказать свою преданность поэту-мнемону. Особенно неистовствовал при этом Юлианий, который обрадовался случаю отомстить моему другу за недавнюю обиду. Однако все происшествие еще можно было бы как-нибудь уладить, если бы Ремигий не сделал последнего шага, вдруг обратившись к Галле с такой речью:

— И тебе, Галла, стыдно оставаться в обществе человека, который открыто хвастался тем, что приобрел твою любовь за деньги. Докажи, что ты, хотя и жила в лупанаре, честная девушка. Плюнь этому негодяю в его завитую бороду и уходи сейчас же отсюда со мной!

Таких оскорблений Помпоний уже не мог стерпеть. В один миг пропали у него те приемы благородства, которыми он пытался щеголять, сразу он превратился в грубого подрядчика, привыкшего кричать на рабов и рабочих, и с яростными ругательствами, весь побледнев от злобы, задыхаясь и брызгая слюной, он стал угрожать, что немедленно прикажет слугам схватить Ремигия и высечь его на глазах всех присутствующих, как негодного школьника. Ремигий, совсем пьяный, покачиваясь, но стараясь принять гордый вид, возражал, что он Римский гражданин и что никто не вправе без суда прикоснуться к нему пальцем. Но уже Юлианий, усердствовавший больше других и зная, что его поддержат рабы Помпония, схватил Ремигия за плечи, готовый повлечь его перед лицо раздраженного хозяина, и между ними началась настоящая борьба, безобразная и непристойная.

Я был в полном отчаянии и не представлял, как спасти своего друга от поругания, потому что разъяренный Помпоний способен был, не обращая внимания ни на какие законы, божеские и человеческие, действительно приказать рабам избить своего оскорбителя, и те, конечно, исполнили бы такое повеление без колебания. По счастию, мне на помощь пришла сама Галла: с начала ссоры она, вместе со всеми, выражала свое негодование на грубияна,

но, должно быть, в глубине души желала спасти его от побоев или иных обид. По крайней мере, среди общего шума и смятения она нашла способ уладить дело наилучшим способом; показывая вид, что она крайне разгневана, она повелительно закричала рослым пафлагонцам, бывшим поблизости, чтобы они тотчас же вытолкали дерзкого крикуна за двери дома. Рабы повиновались и, схватив все еще отбивавшегося Ремигия за руки, поволокли его к выходу. Я, разумеется, последовал за ним, и через минуту мы оказались на темной улице, тогда как за нами слышался негодующий голос Помпония, как видно, жалевшего, что его оскорбитель отделался так дешево.

— Что ты наделал, Ремигий! — горестно восклицал я, поспешно уводя его как можно дальше от опасного соседства с домом аргентария-поэта.

— Все равно! — отвечал мне Ремигий,— я больше такую жизнь выносить был не в силах. Пусть она остается со своим Крезом! Я рад, что сказал им всем в лицо то, что было у меня в душе.

— Но тогда незачем было идти на этот пир,— заметил я, сколько кажется, вполне справедливо.— А кроме того, будь уверен, что Помпоний не забудет этой обиды: он сумеет тебе отомстить.

— Я первый отомщу ему,— возразил Ремигий,— клянусь Геркулесом, ему не пройдет даром то, что он украл у меня счастие. Я ему докажу, что его бесстыдная философия не права! Но еще раньше я отомщу этому щеголю, гнусному паразиту, выдающему себя за потомка императоров! Я кое-что знаю о Юлиании,— такое, что ему не сдобровать! Призываю в свидетели вас, звезды, что я не позволю ему долго оскорблять землю своим присутствием!

Долго еще, пока я вел Ремигия по темным улицам, он продолжал выкрикивать какие-то непонятные мне угрозы, намекая на то, что у него есть важные улики против Юлиания, которыми он теперь воспользуется. Я не мог решить, есть ли у него основания, чтобы так говорить, или его языком владеет Бакх, часто бывающий во вражде с правдой. «Вино возжигает гнев»,— говорит поговорка, и я ожесточение Ремигия прежде всего объяснял числом кубков, дно которых он разглядел, но в глубине души не имел ничего против того, чтобы он взял на себя труд избавить меня и империю от сомнительного сына божественного Юлиана.

Прощаясь с пьяным Ремигием у дверей дома, где он жил, я думал:

«Может быть, эта глупая ссора послужит мне на пользу; кто знает, где иногда таится наше благо; ведь —

В навозной куче петушок молоденький,
Ища, что б съесть ему, нашел жемчужину!»

VIII

После этого горестного приключения в моей жизни на несколько недель наступило затишье, какое бывает в море после бури, позволившее мне вздохнуть свободно, так как душа моя была измучена беспрерывным рядом событий, быстро следовавших одно за другим с самого дня моего вступления на почву благословенной Авсонии. Я, проведший свою юность счастливо и безмятежно в кругу родной семьи, близ отца, бывшего мне как бы другом, матери, любившей меня нежно, и младшей сестры, которую нежно любил; я, ехавший в Город с единственной целью — учиться и, самое большее, надеявшийся на несколько веселых встреч в копонах Рима с девушками, привыкшими расточать свои ласки,— оказался как бы героем рассказа в духе Апулея и чувствовал себя до глубины потрясенным всей этой стремительной сменой опасностей, заговоров, ночных собраний, любовных признаний, восторгов, отчаяний. Поэтому, когда я узнал, что Гесперия, вокруг которой, как вокруг центра круга, располагались события моей жизни, с той внезапностью, какая была свойственна всем ее поступкам, покинула Город и с Элианом уехала в одно из своих поместий в Кампании, даже не известив меня о том, я испытал как бы какое-то облегчение.

Повинуясь советам дяди, который ежедневно за кубками домашнего вина, облегчавшими его неутешную печаль, не переставал упрекать меня за безделье и ставить мне в пример жизнь знаменитых мужей древности, я решил возобновить свои посещения школы реторики, тем более что и сам понимал, как еще несовершенно мое образование, и нисколько не думал, как то делают многие в наши дни, ограничиться одним пребыванием в числе учеников и принять, подобно современному консулу, honorem sine labore.

Хотя зимние месяцы уже были на исходе, я все же,— не без робости, конечно,— пошел к своему учителю

Энделехию, чтения которого покинул так неожиданно, с намерением просить его вновь принять меня в число своих слушателей. Оказалось, однако, что мои опасения были небезосновательны, и старый ретор встретил меня с такой же суровостью, как, бывало, встречали лаконские женщины изменников. Он не хотел слушать никаких моих оправданий и на все объяснения моего отсутствия, по необходимости сбивчивые и смутные, отвечал мне одно:

— Кто намерен посвятить себя философии, должен оставить все другие заботы. Для тех же, кто отдает науке только свой досуг, нет места в моей школе. Если в тебе желание слушать меня не пересилило других влечений, значит, я — учитель не для тебя.

Никакими доводами нельзя было уговорить упрямого философа, и мне пришлось уйти из его школы с позором. Если сознаваться во всех своих чувствах, то я должен добавить, что было у меня побуждение потребовать с ретора обратно отданную ему мною вперед плату за учение, так как в те дни я ощущал большой недостаток в деньгах, но у меня недостало смелости заговорить об этом с профессором. Добавлю еще, что при всей возвышенности своих поучений Энделехий всегда умел извлекать из своих учеников наибольшую выгоду.

Мне не оставалось ничего иного, как обратиться к другому профессору, и, по совету Ремигия, я пошел в школу Лимения, который, по словам моего друга, умел преподавать так легко, что вся реторика проглатывалась учениками незаметно, как кусок сахара. В школе Лимения над дверями была сделана довольно длинная надпись, воспроизводящая слова из одного письма Плиния: «Среди людей всех искреннее, всех проще, всех лучше ученый». Обставлена школа была пышно, и везде на стенах читались другие надписи, заимствованные из разных философов, древних и новых. Судя по ним, можно было подумать, что этот дом — вместилище всей мудрости мира.

Сам Лимений оказался сравнительно еще молодым человеком, одетым весьма изысканно, очень любезным и, по-видимому, очень гордящимся тем, что он занимает место ретора в Риме. В разговоре со мною он постоянно поминал имя славного Либания, у которого сам учился в Антиохии, и, всячески выхваляя реторику, высыпал мне целую груду мнений разных прославленных людей. Послушать Лимения, можно было подумать, что выше

реторики нет в мире ничего, и даже весь мир едва ли не для того был создан, чтобы процвело искусство красноречия.

— Ты хорошо сделал,— говорил он,— что перешел ко мне от Энделехия. Я не хочу порочить своего сотоварища, но должен сказать, что молодым людям нужна не философия, но реторика. От нее, как учит нас Сенека, легок переход ко всем искусствам. Великий Квинтилиан, источник всякой мудрости, давно и прекрасно сказал, что реторика — царица вещей и что она — доблесть. А божественный Юлиан, в бытность свою Цесарем, в одном декрете, назначенном для всеобщего сведения, добавил даже, что литература есть высшая из доблестей. Кто знает реторику, способен ко всему, и мой учитель Либаний любит повторять, что только тот знает искусство управлять, кто умеет говорить.

На мое робкое замечание, что зима уже кончается и что мои сотоварищи по школе должны были узнать многое, мне еще неизвестное, Лимений заверил меня, что это ничего не значит, что он быстро и кратко объяснит мне все, что изучили другие его ученики, так что для меня не составит труда продолжать учение с ними вместе.

Действительно, я скоро убедился, что в школе Лимения заниматься гораздо легче, нежели у сурового Энделехия, а главное — гораздо веселее. Лимений заставлял своих учеников писать рассуждения на заданные им темы, потом произносить эти трактаты по всем правилам декламации перед товарищами и защищать высказанные суждения в живом споре. Профессор при этом поправлял и произношение, и слог, учил и красивым движениям рук, и изящному сочетанию слов, а также вставлял свои замечания и пояснения. Когда я вошел в школу, некоторые из учеников уже достигли большого искусства в таких диспутах, и мне стоило некоторого усилия поравняться с ними. Однако соревнование только возбуждало охоту прилежнее отделывать свои речи, и возможность ежедневно представлять свой труд на суд учителя и товарищей давала охоту работать постоянно.

Я, по крайней мере, посещал школу Лимения с истинным удовольствием, и часы, проведенные в ней, мне казались скорее приятным отдыхом, чем работой. И все же не без грусти я вспоминал чтения моего первого учителя, в которых многое оставалось для меня непонятным, но которые открывали уму новые дали и с которых каж-

дый раз я возвращался домой взволнованный множеством новых мыслей, пробужденных во мне вдохновенными рассуждениями философа. За словами Энделехия чувствовалось бесконечно многое, что он знал, но не счел нужным сказать нам; поучения Лимения явно исчерпывали весь круг его мудрости. Если первый был глубоким колодцем, дна которого нельзя рассмотреть, хотя и черпаешь из него живительную воду, то второго следует сравнить с кубком хорошего вина, который можно осушить до дна.

Более месяца я прожил такой мирной жизнью прилежного ученика, не знающего в Городе ничего другого, кроме своей школы, круга товарищей и чтений профессора. Я сошелся с некоторыми из других учеников Лимения, вступил в образованное ими общество «Совы», в котором всего более занимались изучением сравнительного достоинства вин, и охотно принимал участие в их дружеских пирушках в маленьких копонах у Тибра. Страсти моей души успокоились, и единственным темным облаком на кругозоре моей жизни тех дней было постоянное уныние Ремигия, который все же оставался моим самым близким другом. После несчастного пира в доме Помпония он лишился возможности встречаться с Галлой, и это его так удручало, что он утратил всю свою обычную веселость, стал задумчив, как математик, и часто повторял, что ему не мил свет солнца. Целые дни он проводил неизвестно где, занятый мечтами о мести Юлианию и Помпонию, свел знакомство с людьми подозрительными и, когда я звал его выпить, как бывало, секстарий фалерна, отвечал одно:

— Вино более меня не веселит. У меня осталась еще одна задача в жизни, а там я помогу старой пряхе перерезать запутавшуюся нить моей жизни. Как Александр, я развязать узел не умею и разрублю его!

Но и мне та же пряха, по-видимому, не была намерена предоставить жить долго procul negotiis, и новые приключения неутомимо подстерегали меня, как охотники убегающего от них оленя.

Я узнал, что в Город возвратился Симмах, и поспешил к нему, чтобы принести ему благодарность за все его заботы обо мне.

В доме на Целии меня встретили, как родного, и я видел, как покрылось алой краской лицо Валерии при моем появлении. С ней, однако, говорить мне не пришлось.

потому что тотчас после обмена обычными вежливыми речами Симмах позвал меня к себе, в таблин, чтобы переговорить наедине. Симмах мне показался постаревшим и очень утомленным. Прервав новые изъявления благодарности, вновь начатые мною, он мне сказал:

— Ты выпутался счастливо, Юний, но знай, что есть при дворе люди, которые тебя не забыли и, может быть, еще припомнят прошлое, но пока оставим это. Точно так же я не буду тебе говорить о том, чего удалось достичь Сенаторскому посольству после твоего отъезда, потому что Гесперия, как она мне призналась, передала тебе содержание моего длинного письма к ней. Случилось, однако, нечто другое, что я не совсем понимаю и ключ к чему, быть может, ты мне поможешь подобрать. За самые последние дни нашего пребывания в Медиолане в городе начались большие волнения среди христиан из-за какого-то нового учения, которое всюду проповедовала неизвестная девушка, умевшая с большой силой увлекать сердца слушающих. Ты знаешь, что я не особенный знаток учения христиан, так как книги их писателей отвращают меня неряшливостью своего слога и детской неумелостью своих силлогизмов, так что мне трудно было ясно представить, о чем шла речь. По-видимому, эта девушка объявила какого-то христианского юношу новым Христом, вторично пришедшим к людям, говоря по-нашему, как бы воскресшим Дионисом, и, как это ни удивительно, нашлись многие, кто этому поверил. Происходили тайные собрания христиан, на которых новообращенные поклонялись этому юноше и — что самое важное — в то же время именовали его императором и преемником Грациана...

Уже с первых слов я догадался, что речь идет не о ком другом, как о Рее, и от волнения едва мог стоять, но, когда услышал, что наш Ганимед объявлен Августом, что для него могло быть лишь ступенью к топору палача, невольно, прервав Симмаха, я воскликнул:

— Что же? их схватили? они в тюрьме?

Симмах внимательно посмотрел на меня и ответил:

— Нет, когда посланные воины, окружив указанный им дом, где будто бы собирались мятежники, проникли в него, там никого не оказалось. Все сумели и успели скрыться по подземному ходу, и никого из них до сих пор разыскать не удалось. Но несколько рабов, захваченных стражей, под пыткой признались, что все рассказы о

тайных собраниях справедливы, что действительно эти последователи нового Христа намерены убить императора и что они своего дела не оставят. Но страннее всего то,— добавил Симмах, продолжая смотреть мне в глаза,— что один из них сообщил, будто на каком-то собрании присутствовал юноша, приехавший из Рима, и, по многим признакам, мне показалось, что он говорил о тебе!

Самые разнородные чувства волновали в ту минуту мою душу: и радость от известия, что Реа находится, хотя бы до срока, на свободе, и стыд перед Симмахом, который мог считать меня изменником, ведущим двойную игру, и, наконец, самый сильный страх при мысли, что мое имя включено в список мятежников, угрожающих жизни Августа. Некоторое время я не мог говорить от смущения, а Симмах продолжал:

— Узнав об этом от достоверных людей, я почел нужным все рассказать тебе и спросить тебя, действительно ли ты принимал участие в этом сообществе.

Что мог я говорить? Лгать было бесполезно, да Симмах и усмотрел бы легко мою неумелую ложь, но и сознаться во всем, что со мною было, я не смел. Дрожащим голосом и путающимися словами я передал Симмаху часть пережитого мною, утаивая многое, на другое только намекая, но не скрыв, что я действительно был близок с Реей и знал о ее отчаянном замысле, изобразив все как юношеское увлечение женщиной, понравившейся мне. Но, едва закончив рассказ, я был охвачен новым порывом стыда, вспомнив, что моя любовь к Гесперии не тайна для Симмаха и что теперь великий оратор будет меня считать лицемером, клянущимся в вечной любви одной женщине и в то же время сближающимся с другой и исполняющим все ее прихоти. Как зверь, загнанный облавой в круг охотников, я метался безнадежно; мне казалось, что со всех сторон на меня наведены луки и направлены дротики, и я не видел никакого выхода. Покраснев, в последнем смущении, я стоял, опустив голову, перед Симмахом, и тот, щадя мое самолюбие, сказал только:

— Берегись, Юний! Ты так неосторожен в жизни, что можешь попасть в великую беду. Твое счастие, что, как кажется, пока я один разгадал, кто такой этот приезжий юноша. Если об этом додумаются другие, и у меня не будет сил спасти тебя.

Я поспешил покинуть дом Симмаха, так как мне тяжело было оставаться в нем. С пылающей головой я бродил

по Целию, обдумывая свое положение, и опять колебался, не должно ли мне бежать из Города и временно скрыться где-нибудь в маленьком селении Аквитании или Новемпопуланы. Я предвидел, что та тихая жизнь, к которой я едва обратился, должна опять разрешиться бурями и смятением.

Будучи в таком волнении, я остановился около одной недавно отстроенной христианской базилики. Строение было некрасивое и дурного вкуса. Жалко было смотреть на его убогий фронтон, на неровные колонны с нехитрой капителью, на плохой камень, из которого была сложена лестница, ведущая ко входу, когда вдали, из-за крыш соседних домов, вздымались торжественные очертания храма божественного Клавдия, величественные стены терм Траяна и сама необъятная громада амфитеатра Флавиев. Глядя на жалкое здание, около которого еще были видны остатки мощных стен какого-то старинного храма, которое строители базилики не были в силах даже разрушить до основания, я невольно подумал о бессилии новой веры, неспособной даже своему богу создать достойных святилищ, и мне захотелось узнать точнее, что именно я вижу.

У дверей соседнего дома стоял бородатый ремесленник, праздно разглядывавший снующих мимо прохожих; я обратился к нему за разъяснениями, и он, будучи, вероятно, христианином, тотчас ответил мне, что передо мною — базилика святого Климента, построенная на развалинах идолопоклоннического (как он сказал) святилища проклятому демону Митре. Такой ответ зажег всю мою кровь, так как нестерпимо слышать от Римлянина подобные суждения о богах, однако название базилики показалось мне уже знакомым, и я вспомнил, что именно здесь должен жить тот странный проповедник, который пытался помешать похоронам бедной Намии. Преодолев себя, я снова спросил ремесленника, знает ли он отца Николая.

— Конечно, знаю,— откликнулся он,— ловкий человек, что говорить! Еще никто не мог устоять против него в споре! Всех побивает,— кого одним способом, кого другим, одного, скажем, кулаком прямо в грудь, другого повалит подножкой! Истинный грек! Третий год он у нас живет, и сколько к нему приходит народа, и простые, и духовные, бывают и епископы: желают послушать,— счесть нельзя, и все остаются довольны. Недавно прихо-

дил сам Иероним, что при архиепископе Дамасе состоит, говорят,— святой жизни человек,— а тоже пришел учиться у нашего Николая!

Я попросил проводить меня к этому дивному проповеднику, и бородач охотно согласился. Он указал мне, в двух шагах оттуда, старый, уже разваливающийся дом, населенный, очевидно, бедным людом, и сказал, что отец Николай живет там в нижнем этаже, занимая всего одну комнату у старушки, отдающей жильцам комнаты и углы. Я был в таком состоянии духа, что ничего не могло быть для меня более подходящим, как разговор о вопросах важных и глубоких, который успокоил бы мое смятение, и потому я тотчас же постучался в указанную мне дверь.

Отец Николай, который сам отворил мне, сразу меня узнал, хотя мы виделись только несколько минут и притом в темноте. Напротив, я не без труда признал смелого ночного проповедника, самоуверенный голос которого во мраке ночи звучал строго и властно, в невысоком человеке, неряшливо одетом, с нерасчесанной бородой и лицом, попорченным оспой. В нем не было того очарования, какое придавали ему необычность обстановки, напряженность моих чувств, кровавый свет погребальных факелов и костра.

— Я ждал тебя и знал, что ты придешь,— сказал мне отец Николай,— входи ко мне. Ты приходишь, как Никодим к Учителю, тайно: будь же и столь верным учеником, каким стал этот евангелист, принесший состав из смирны и елея, чтобы умастить тело Иисусово.

— Ты ошибаешься, Николай,— возразил я,— я прихожу к тебе вовсе не тайно: мне не перед кем скрывать свои поступки. То, что я делаю, я делаю открыто. Притом я пришел к тебе с тем, чтобы оспаривать твои суждения, а не для того, чтобы покорно слушать твою проповедь и учиться у тебя, как у обладающего истиной. Если тебе это неприятно, если ты хочешь только поучать и ждешь бессловесного слушателя, лучше разойдемся, не приступая к разговору.

Отец Николай, как мне показалось, грустно оглядел меня, вздохнул и возразил:

— Я не вправе отказывать никому, кто ищет моего слова. Зажегши факел, не должно скрывать его под спудом. Входи, и мы будем говорить.

Он пригласил меня сесть на простую деревянную

скамью, потому что такова была вся обстановка его жилья, сел против меня и, пристально глядя мне в глаза, принялся меня расспрашивать, кто я, в какой семье вырос, у кого учился и какова моя религия. Мне представилось обидным, что меня допрашивают, как школьника, и я решил дать своему собеседнику должный урок. Ответив ему с учтивостью на его вопросы, я, в свою очередь, стал задавать ему такие же: кто он, где учился и подобное. Однако отец Николай нисколько этим не смутился и охотно удовлетворил мое любопытство, рассказав мне всю свою жизнь.

— Я родом из Пессина, в Галации,— так начал он.— Отец мой был небогатый торговец, занимался скупкой шерсти, которую перепродавал греческим купцам. Он придерживался учения евсевиан, за что нас жестоко преследовали, и я с раннего детства наслышался споров об истинности той или другой веры. В конце концов отца, за его приверженность осужденному учению, бросили в тюрьму, и мы разорились. Мне пришлось, еще будучи мальчиком, самому зарабатывать свой хлеб, и я бродил по городам Малой Азии, занимаясь разными ремеслами. Работал в мастерских ткацких и золотошвейных, был башмачником и золотых дел мастером, одно время даже просто пастухом. Но я постоянно размышлял над тем, кто прав: люди, веровавшие одинаково с моим отцом, или его гонители. Поэтому я никогда не упускал случая ознакомиться с новым учением и везде, где встречал общину верующих, просил принять меня в свое число. Так, я долго жил с восточными валентинианами, и они открыли мне свое учение, как из Божества родились четы божественных эонов: Разум и Истина, Слово и Жизнь и другие, и как Мудрость, ниспав из плеромы, породила Демиурга, творца мира видимого. Потом манихеи поучали меня, что есть два отдельных начала: Бог в царстве света и Демон в царстве мрака, и что Христос пришел с тем, чтобы победить мрак. Когда после я попал к донатистам, они сказали мне, что все другие христиане заблуждаются, что истина только у них и что я должен наложить на себя тяжкую епитимию во искупление своих прежних верований и вторично креститься, чтобы поистине стать христианином. Покинув их, я нашел приют в одном монастыре, близ Икония, там жил больше двух лет и читал много книг, желая понять, на чьей же стороне истина. В том же монастыре жил старец,

по имени Филофил, которому я полюбился. Он согласился быть моим наставником, и мне вдруг все стало ясно. И когда я понял, что знаю правду, я сказал себе, что скрывать ее не вправе. Я пошел ходить по всем городам империи и везде проповедовал учение истины. В Константинополе был я в дни Собора и на улицах возглашал слово божие. Нашлись люди, имеющие силу в этом мире, которые позвали меня приехать в Рим. И вот здесь, в этой крепости идолопоклонников, я исполняю свое дело, учу и проповедую.

Отец Николай говорил совершенно просто, без декламации, так дружественно, как если бы мы были с ним давно близки. Но мне его рассказ живо напомнил бредни Реи, пророчившей о явлении в мир Антихриста, и нелепые вымыслы змеепоклонников, путавших высокие идеи основателя Академии с восточными сказками. Я подумал о том, что христиане делятся на два рода: одни из них, в сущности, не обращают на религию внимания и придерживаются учения Христа только потому, что так веровали их родители, или потому, что в наш век выгоднее следовать вере Августа; другие же, истинно занятые вопросами веры, никак не могут удовлетвориться наивным учением о том, что бог был распят Римскими легионариями, ищут в своей религии не существующих в ней глубин, примешивают к ней откровения наших мистерий и, выставляя множество разнообразных учений, безнадежно враждуют между собою. Я это и высказал моему собеседнику, добавив:

— Мне кажется, ты плохо начал проповедь, рассказав свою жизнь. Ты явно показал мне, что вы сами, христиане, не умеете согласиться между собой, чему именно учит ваша религия. Так не лучше ли вам сначала порешить это, а уже потом проповедовать ее другим?

Отец Николай как будто только и ждал такого моего возражения. Мне показалось, что глаза его радостно забегали, как у рыбака, у которого заколыхался поплавок заброшенной им удочки. Отец Николай придвинулся ко мне ближе, словно он собирался сказать мне какую-то тайну, которую не должны были слышать посторонние, и заговорил тихонько:

— Ты — юноша умный, и с тобой можно говорить открыто. Иному я не сказал бы того, что скажу тебе. Нарочно я рассказал тебе и историю своей жизни, и о тех общинах, которые привлекали меня к своему учению.

И я сознаюсь тебе,— а ты мои слова заметь хорошенько,— что я не знаю также, кто прав в своем учении: Афанасий ли, или Арий, или Мани, или Донат. И никто этого не знает и не узнает никогда. Но разве же ты не видишь, как их споры доказывают, что христианская религия есть религия живая? О чем спорят, за что борются? — за нечто живое. А о мертвеце, будь он даже прекрасен, нет пререканий. Так ваше идолопоклонство, со всеми великими поэмами, написанными вашими поэтами, и великолепными статуями, уцелевшими от работ древних ваятелей,— не более как мертвец. Можно любить умершего и оберегать его тело, но он не встанет, не заговорит, не сделает движения. Вот почему вы между собою согласны, гостеприимно принимаете на свой Олимп и фригийскую Цибелу, и египетского Осириса, и финикийскую Астарту. Что живет, то изменяется, вот почему христиане каждый год создают новые учения и борются друг с другом, преследуют и изгоняют одни других. Не говори мне о том, что ваше учение мудро и прекрасно, я не буду с этим спорить, но оно умерло, это я знаю и вижу. Не все ли равно, где истина, если явно суждено всему миру стать христианским? С кем быть: с красивым мертвецом или с живым, хотя бы и не достигшим зрелости учением? — вот какой выбор стоит теперь перед каждым, иного нет. Выбирай и ты: останешься ли хоронить тело почившей древности или покоришься духу нового времени и станешь в ряды тех, кто служит жизни!

Такой речи я от скромного отца Николая не ожидал никак, и в первую минуту был ею поражен и сбит с пути. Все мои заготовленные возражения оказались излишними перед этим странным проповедником христианства, готовым признать, что истина, может быть, не на его стороне. Некоторое время я только смотрел в лицо моего собеседника, не зная, кто передо мною,— христианин или тайный сторонник религии отцов, искушающий меня, но потом ответил решительно:

— Да, я предпочитаю быть вместе с красотой, хотя бы этот мир и оказался столь презренным, что она не в силах была жить в нем. Я предпочитаю быть вместе с истиной, хотя бы всему миру и суждено было пойти вслед за ложью. Я останусь верен богам бессмертным, потому что в их смерть не верю: они жить будут вечно. Как наваждение злой волшебницы, пройдет ваша вера, и люди вернутся к поклонению истинным богам, суще-

ствование которых требуется природою вещей. Ты не убедил меня своими доводами, и от тебя я выйду таким же, каким вошел.

Отец Николай лукаво улыбнулся и ответил:

— Мои стрелы не сразу убивают: но ты ранен, и эту рану почувствуешь после.

Разумеется, я только еще раз посмеялся над самоуверенностью проповедника, но мы продолжали с ним говорить, хотя ничего важного более не было им высказано. И, несмотря на то, что я пришел к нему с тем, чтобы спорить и опровергать, мне отец Николай понравился, как острый диалектик и собеседник приятный. Я не пожалел, что случай вторично свел меня с ним, и, прощаясь, обещал, что наше свидание не было последним.

Беседа с отцом Николаем вернула меня от тихих занятий реторикой к тем великим вопросам, которые раньше занимали мой ум, и во мне возгорелось новое одушевление — бороться с коварством христиан и защищать всеми силами истинность древнеримской веры. Мне уже казалось постыдным, что известие, сообщенное Симмахом о преследовании Реи и ее сторонников, меня встревожило и испугало. «Все равно,— говорил я себе,— с безумной девушкой и змеепоклонниками, во имя Антихриста пришедшего, или с мудрой Гесперией и сенаторами, во имя Юпитера Статора, но только бы бороться против Грациана, гонителя богов и сторонника христиан!» Мне опять захотелось открытой борьбы, и, не наученный жестоким опытом, я был готов снова с кинжалом за пазухой прокрадываться в священный дворец.

И вот, как если бы боги услышали мои бессловесные мольбы, на другой день в нашем доме появился хорошо знакомый мне раб Гесперии, с письмом от нее. Вернувшись из поездки, Гесперия писала мне, кратко и без объяснений, что я должен быть у нее в тот же день, в полночь. «Как войти, ты знаешь»,— говорилось в письме, которое заканчивалось просьбой никому не говорить о приглашении и немедленно стереть написанное.

Я понял, что в полночь должны собраться в доме Элиана участники заговора, и первое чувство, которое я испытал, читая письмо, было — гордость от сознания, что я как равный принят в среде сенаторов. Но тайная дрожь все-таки пробежала по моим членам, когда я подумал, к каким новым бурям поведет меня новое приближение к Гесперии.

IX

Чтобы не подать повода к подозрениям, я вышел из дома рано, вечер провел на Агрипповом поле, среди праздношатающихся и влюбленных, издавна облюбовавших это место для своих свиданий, потом сидел в какой-то копоне, наблюдая, как одетые в одну тунику судовщики с Тибра, на медные деньги, играют в кости, и в конце концов к назначенному часу опоздал. Была уже третья стража, когда я стучал у дверей дома Гесперии и произнес условные слова «Иисус распятый», опять чудодейственно открывшие мне доступ. Снаружи весь дом казался мирно спящим, но когда меня провели через темные покои в отдаленный триклиний, вход в который был плотно закрыт тяжелой занавеской, я увидел за большим столом, уставленным кратерами с вином и кубками, целое общество.

Здесь было восемь человек, из которых я знал пятерых: Гесперию и Элиана, моего покровителя и спасителя Симмаха, старика Претекстата, когда-то поучавшего меня верности, и Юлиания, присутствие которого на этом тайном собрании поразило меня неприятно, но который меня встретил так, словно бы между нами ничего не произошло. Из числа трех, мне незнакомых, двое не обращали на себя особого внимания: один — почти старик, в сенаторской тоге, угрюмый, с недвижным лицом заговорщика,— человек, о котором невольно думалось, что среди заговоров и козней всякого рода он должен чувствовать себя, как рыба в воде (я припомнил, что уже видел его в доме Гесперии в тот незабвенный день, когда она вручила мне пугион, предназначавшийся для страшного дела); другой — тоже немолодой, с лицом незначащим, но одетый с большим щегольством, выбритый тщательно, с пальцами в перстнях; волосы у него были тщательно зачесаны на лоб, чтобы скрыть лысину,— единственная черта, сближавшая его с «лысым прелюбодеем», как побежденные галлы называли божественного Юлия. Позднее я узнал, что имя сенатора было Рагоний, а щеголя — Цесоний.

Зато последний из присутствующих, словно Геракле́йский камень железную иглу, сразу приковал к себе мои взоры. Он также был одет в сенаторскую тогу, еще не стар, хотя его лицо обличало опыт долгих лет жизни, крепок, силен, с движениями властными, со взглядом

повелителя. Есть лица, которые сама Природа определила людям выдающимся, так как нельзя вообразить Александра, покорителя Индии, или Сципиона, победителя Ганнибала, с наружностью копониста, и тот, кого я увидел, от рождения, самым своим лицом, был предназначен для великого. Если бы я встретил его на улице, среди прохожих, я сказал бы себе: вот будущий вождь, завоеватель, император. И теперь, прежде чем мне назвали его имя, я уже знал, что предо мною Вирий Никомах Флавиан, о котором я так много слышал.

Заметив меня, Гесперия пошла мне навстречу, упрекнула за то, что я опоздал, потом сказала, обращаясь ко всем, голосом, не допускающим возражений.

— Вы все знаете, кто это. Это — Юний, участвовавший в Сенаторском посольстве. Свою преданность нам он доказал так явно, что нет надобности подвергать его испытаниям, как неофита, и требовать с него клятв. От Юния у нас не может быть тайн: что известно нам, может узнать и он. Отныне наше число заполнено, и общество наше, по образцу Пиерид, состоит из девяти членов.

Мне показалось, что некоторые глаза продолжали смотреть на меня недоверчиво, что во взгляде Цесония было даже что-то враждебное, а Флавиан долго и упорно рассматривал меня, как бы желая проникнуть в глубь моей души, но возможно, что так подсказывала мне лишь моя мнительность, потому что тотчас беседа, прерванная моим приходом, возобновилась.

Заговорил Симмах, заканчивая речь, произнесенную до меня. Как всегда, он говорил спокойно, не повышая голоса, красиво округляя периоды, не забывая и в дружеском кругу приемов оратора. Его слушали внимательно, но без увлечения, и было похоже на то, что заранее все с ним не согласны.

— Я делаю вывод,— сказал он.— На опыте Сенаторского посольства мы видели, к чему приводят меры торопливые и недостаточно обдуманные: к усилению врагов наших и к торжеству противников религии отцов. Унижение, испытанное послами Сената, с которыми император не пожелал даже говорить, пало и на самый Сенат. Приходится нам отказаться от надежды на успех скорый и близкий, приходится стремиться не ко временному триумфу, но к достижениям прочным, медленно подготовлять почву для будущих побед. Какая бы участь ни была суждена темным Роком Риму в далеком гряду-

щем, ему стоять на своих холмах не десятилетия, но века, и не с нашей быстротечной жизнью кончится существование Города Вечного, и потому не того мы должны добиваться, чтобы своими глазами увидеть алтарь Победы вновь посреди Курии и пороги храмов вновь тучными от сжигаемых жертв, но к тому, чтобы следующие за нами поколения неизменно видели отверстыми жилища Олимпийцев и чтобы в другие века ни у кого не возникало сомнения, должна ли крылатая богиня парить над собранием отцов конскриптов. Неспешно, но твердо подготовлять, терпеливо сеять и радоваться, что жатву соберут наши дети, не спешить с открытой борьбой, в которой мы можем потерять и то немногое, что еще сохраняем, но воспитывать умы и вербовать воинов для будущих битв,— вот что я предлагаю, товарищи и друзья!

Симмах говорил стоя и, окончив речь, сел, и кругом наступило молчание. Все переглядывались, предлагая, безмолвно, один другому дать ответ на доводы знаменитого оратора. Только Юлианий процедил сквозь зубы, но так, что было слышно всем:

— Festina lente!

Молчание прервала Гесперия, воскликнув:

— Не довольно ли мы медлили, отцы сенаторы! Как бы нам не ошибиться в расчете! Так мы подготовим не свое торжество, а чужое. Мы дадим народу привыкнуть к мысли, что молиться надо идти к христианам. Мы дадим ему увериться в том, что мы все, и Сенат в том числе, бессильны. И когда наши дети, которым Симмах столь самоотверженно уступает честь дела и славу победы, найдут, наконец, что настала пора, и кликнут клич, уже никто не отзовется!

Вслед за Гесперией поднялся Флавиан, и таково было его значение, что тотчас все замерло и все словно окаменели, ожидая его речи. Тяжело опираясь обеими руками на стол, Флавиан стал говорить, бросая изречение за изречением, как грузные камни из баллисты:

— Прежде всего, спросим самих себя: верим ли мы в богов бессмертных? Если верим, почему же боимся отдать в их руки наше дело? Потом спросим себя: верим ли мы, что народ Римский за нас и за богов? Если верим, почему колеблемся народу предоставить решение спора? Осторожность в деле общественном — добродетель. Но когда она переходит в нерешительность, она становится пороком. Все средства в борьбе с коварным врагом хо-

роши: дурно одно — не пользоваться никакими средствами. Удачной минуты выжидать должно, но и не следует удачную минуту упускать. Когда встретится снова такое счастливое стечение обстоятельств, как теперь? Рим раздражен святотатством, учиненным над алтарем Победы. Народ оскорблен унижениями, которым подвергнуты храмы богов. Холодная зима и запоздавшая весна предвещают дурной урожай, и по всей империи не будет недостатка в людях голодных и недовольных. В Медиолане, как только что нам рассказывал достойнейший Симмах, в среде самих христиан мятеж. В Британнии легионы — в открытом возмущении, и их вождь, Максим, ищет союзников в Италии. Грациан окружен со всех сторон. Или никогда, или теперь нам должно действовать решительно. Я предлагаю немедленно вступить в сношения с Максимом. Я предлагаю немедленно дать знать всем верным нам легионам, чтобы они были наготове. Едва гражданская война разразится, мы должны власть в Городе взять в свои руки, Сенат назначит нового императора, воля народа довершит остальное. Я знаю, что жребий будущего лежит в темной урне. Но наверняка выигрывает лишь тот, кто играет в нечестные кости. Римлянин всегда готов умереть за благо родины. Кто Римлянин, тот чувствует, как я. Dixi.

Не без изумления я слушал эти речи сенаторов, из которых один щеголял изяществом оборотов и полнотою периодов, а другой выставлял напоказ намеренную небрежность как бы неотделанного слога, но которые оба и здесь, на тайном собрании заговорщиков, играя своей жизнью, не забывали правил реторики и, кажется, больше заботились о том, чтобы победить друг друга в красноречии, чем чтобы убедить слушателей. «Прав Лимений,— подумал я,— в наши дни тот знает искусство управлять, кто умеет говорить. Царица мира — реторика!» И, как бы в подтверждение моим мыслям, восторженные восклицания раздавались вокруг всего стола, завершая искусную речь Флавиана.

Элиан одобрительно кивал головой. Гесперия, с глазами, зрачки которых обратились в две искры, протянула оратору свои руки, словно желая объятиями наградить его за смелый призыв. Щеголь, с волосами, зачесанными на лысину, полузакрыл глаза, как бы в сладострастном упоении, и повторил за Флавианом: «Умрем!» Даже Юлианий почел долгом, подняв высоко кубок с вином,

изобразить на своем лице восторг и тоже театрально воскликнул:

— Moriamur!

И добавил:

— «Тот царь, кого не страшит ничто!»

Впрочем, после первого порыва общего сочувствия послышались и возражения: старик Рагоний, начав изречением Саллустия, что «слова не прибавляют храбрости», посоветовал на другой день, с трезвой головой, обдумать еще раз, действительно ли все мы согласны подвергнуть опасности и свою жизнь, и занимаемое каждым положение в обществе ради сомнительной удачи; Симмах напомнил слова великого историка, что «не всегда отвага бывает счастливой»; даже Элиан, как человек дела, предложил не торопиться и подождать, пока в гражданской войне перевес окажется на стороне мятежников. Но эти осторожные советы потонули в настойчивых криках Цесония, Юлиания и самой Гесперии.

Флавиан, державшийся, как председатель собрания, предложил подать голоса, и так как Симмах объявил свое «non liquet», а я не посмел противоречить мнению Гесперии, то единодушно было решено, что настало время начинать открытую борьбу с Грацианом, который явно ведет империю к гибели и стремится с корнем вырвать веру отцов, как засохший куст. Когда Флавиан объявил подсчет голосов, его сторонников охватило буйное ликование, словно они уже одержали решительную победу над врагом, и сенаторы дали, наконец, волю своей ненависти против угнетателя Сената, осыпая в речах императора бранью, достойной только грузовщиков, таскающих кули с хлебом на барках. «Тиран!», «Изменник!», «Амбросиев раб!», «Скифский лучник!» — такие и еще более жестокие восклицания раздавались ежеминутно, намекая на последние суровые законы императора, на его обращение со своим бывшим учителем, Авсонием, на доверие, оказанное им Амбросию, на его пристрастие к скифской одежде...

Потом перешли к обсуждению подробностей предпринимаемого опасного дела, и тогда страсти воспламенились еще больше, так как поднят был вопрос о распределении должностей. Симмах, не встречая возражений, заявил, что он возьмет на себя префектуру Италии; Флавиан оставлял себе должность префекта Города и желал получить консулат; Претекстат, ссылаясь на свою дрях-

лость, от власти отказывался, но был намерен удержать за собою звание великого понтифика; Элиану предлагали префектуру Галлий, но на нее выставлял притязания и Рагоний, не хотевший удовольствоваться Виенненским викариатом; Цесоний, напротив, скромно соглашался на место викария диэцесы Африки; наконец, Юлианий, с наглостью, которая почти ошеломила, заявил, что считает себя законным наследником императорского трона, который занимали его предки. Начался шумный спор, причем все отстаивали свои требования так настойчиво, словно в самом деле здесь происходила раздача первых должностей в империи, а не шла речь о возможностях, которыми играет перворожденная дочь Юпитера, не расстающаяся с рулем, символом зыбкости.

Комната наполнилась гулом все возвышавшихся голосов, и сенаторы, только что произносившие умные речи, позабыв о реторических прикрасах, стали попрекать друг друга, переругиваясь, как простые легионарии.

Старик Претекстат, с жаром, неподобающим его летам, гневно сказал Флавиану:

— Нам всем известно, что такое твоя приверженность богам! В лучшем случае суеверие, в худшем лицемерие. Разве мы не знаем, что один раз ты, чтобы в точности исполнить обязанности понтифика, заставил вместо себя поститься другого!

— Молчи, старик,— грубо возразил Флавиан,— а про тебя рассказывают, что ты сказал Дамасу: «Назначьте меня Римским епископом, и я тотчас сделаюсь христианином!»

Когда же Юлианий стал слишком громко настаивать на своих правах, тот же Флавиан открыто назвал его безродным подкидышем, клевещущим на свою мать, чтобы выдать себя за сына императора Юлиана.

— Мы сделаем из тебя то, что хотим,— сказал Флавиан.— Будь благодарен, если дадим тебе претуру.

— Не знаю, кем вы меня можете сделать,— гордо возразил Юлианий,— но сделать так, чтобы я не был законным наследником трона Константина, вы не можете!

Симмах угрюмо молчал. Гесперия металась от одного к другому, безуспешно пытаясь всех успокоить и примирить.

Вдруг, среди общего шума, Элиан бросился неожиданно к двери и исчез стремительно за занавеской. Тотчас же мы услышали шум ног, какой бывает при борьбе двух

человек, и гневный крик Элиана. Опомнившись, мы все, тесня друг друга, поспешили за ним и увидели, что в темном проходе перед триклинием он держит за горло одного из домашних рабов, который, объятый ужасом, и не пытается сопротивляться.

— Негодяй подслушивал! — воскликнул Элиан, побагровев от ярости.— Это — доносчик, который завтра же рассказал бы в консистории префекта о нашем собрании. Смотрите, он и не отрекается!

Мгновенно наступила полная тишина, и, вероятно, все, как я, почувствовали, что холод и трепет ужаса пробежал по всему телу, словно рой скользких, извилистых змей. Мы вдруг, во всей очевидности, поняли, что наше собрание не дружеская шутка и не игра и что гибель и смерть, о которых здесь столько говорилось,— не ораторская фигура, а грозящая нам всем действительность. Эта смерть смотрела прямо на нас из выкатившихся глаз раба, которому Элиан сжимал горло рукою, оказавшейся неожиданно сильной.

С полминуты длилось молчание, и Флавиан первый, как бы отдавая приказание, подал мысль:

— Убить нечестивца!

— И подумать, что это — раб-мофон! — с горечью и презрением объяснял Элиан.— Я знаю его с детства, баловал его, когда он был мальчишкой, женил на самой красивой из своих рабынь! Я бы ему свою жизнь доверил!

— Что ты можешь сказать в свое оправдание? — спросил раба Флавиан.

Элиан несколько разжал пальцы, тем более что Юлианий уже схватил раба сзади за руки, а Цесоний держал его за плечи. Раб мутным взглядом посмотрел на нас, но вдруг, с наглостью обреченного, сказал:

— Нечестивцы! Идолопоклонники! Слуги диавола! За христианского императора умру с радостью! Пострадаю за веру Христову! Приниму венец мученический! Но и вам не миновать палача! Сегодня — я, завтра — вы! Не удалось мне, удастся другому! Найдется у меня преемник, верьте! Боже правый, помилуй меня, грешного!

Раб продолжал выкрикивать бранные слова, угрожая нам небесными карами, но Юлианий силой зажал ему рот. Наскоро был составлен военный совет, и все присутствовавшие единодушно подали голос за казнь. Решительнее всех высказался Юлианий.

— Донос,— сказал он,— самое гнусное изо всех преступлений. Доносчик — отвратительнее жабы. Убить его — приятно, как раздавить мокрицу. На крест раба!

Гесперия произнесла холодно:

— Он должен умереть.

Так как спросили и меня, я ответил:

— Иного средства нет. Если мы не уничтожим его, он погубит нас.

Симмах осмотрительно напомнил императорские декреты Адриана, Марка и божественного Константина, запрещающие самовольное убийство раба, и даже прочел самый закон Корнелия, применяемый в этих случаях, по которому убийца раба приравнивался разбойнику. Но в ответ все замахали руками, в знак того, что сейчас не время было вспоминать о законах. Однако, когда мы стали обсуждать, как привести наш приговор в исполнение, оказалось, что это не просто. Все были согласны с тем, что не должно вмешивать в это дело других рабов, а из среды нас никто не вызывался взять в свои руки топор палача. Мы переглядывались в нерешительности, пока Гесперия не сказала:

— Ты, Юлианий, только что говорил, что убить доносчика — приятно. Докажи это на деле.

Юлианий явно побледнел и, утратив всю свою обычную непринужденность, не мог найти, что возразить, а Гесперия повторила твердо:

— Я этого требую от тебя!

Лицо Юлиания из зеленовато-бледного стало, или так казалось при слабом свете одной луцерны, освещавшей всю сцену, синеватым, как у мертвеца, и он хрипло пробормотал:

— Если ты требуешь...

— Я приказываю,— сказала Гесперия, и потом добавила: — Вернемся в триклиний, а они исполнят, что должно...

Юлианий, Элиан и Цесоний остались с рабом, приговоренным к смерти, а все остальные возвратились в комнату, где происходило совещание. Но все мы были как-то подавлены свершившимся, избегали смотреть друг на друга, и никто уже не пытался возобновить недавний шумный спор о распределении должностей. Видимо, желая ободрить других, старик Претекстат, как отец, поучающий детей, стал напоминать нам, как смотрели на рабов наши предки.

— Наши отцы понимали,— говорил он,— то, что хорошо объяснил Аристотель: что есть люди, по природе свободные, и есть — по природе рабы. Мудрый Катон знал, что делал, когда советовал бережливому хозяину продавать старых быков, ломаное железо и больных рабов. Старинный закон Аквилия не делал разницы между раной, нанесенной рабу и домашнему животному. Смотреть на раба, как на человека, значит, поддаваться пагубной заразе христианского учения...

Несмотря на эти успокоительные объяснения, я чувствовал какую-то непреодолимую тоску в душе, и, кажется, ее разделяли со мной все другие, так как все угрюмо смотрели вниз, не возражая, но и не поддерживая оратора. Я уныло думал: что сталось с нами? Где те Римляне, которые, подобно Ведию Поллиону, бросали провинившегося раба в садок с муренами? Тит Манлий Торкват казнил собственного сына за то только, что тот нарушил его приказание, хотя и остался победителем! А мы дрожим и смущаемся, осудив на заслуженную казнь раба, готовившегося предать своего господина! Или мы все, сами того не подозревая,— *христиане*?

Тем временем возвратился Элиан и его спутники, и никто не спросил их, как была свершена казнь; только легким кивком головы сенатор дал понять, что приговор исполнен. Юлианий оставался желтовато-бледным, как египетский папирус, и я не в силах был на него смотреть: он мне казался еще отвратительнее, чем всегда. Впрочем, и сам он притих, больше за весь вечер не вымолвил ни слова и ушел раньше всех, скрывшись незаметно.

Вернуть все общество к обсуждению нашего дела взяла на себя Гесперия; она сказала, предлагая всем занять свои места:

— Итак, мы решили действовать. Но наша главная надежда — на Британнское восстание, и потому мы должны войти в ближайшие сношения с Максимом. Мы должны не только согласовать свои движения с его действиями, но и обратить его в своего союзника, или, лучше того, в своего слугу. Надобно добиться, чтобы Максим, думая, что стремится к своим целям, осуществлял нашу волю. Из этого следует, что одному из нас необходимо немедленно отправиться в Британнию, пока дороги еще свободны.

Глаза всех обратились на Симмаха, но он возразил поспешно и горячо:

— Что до меня, я от такой задачи отказываюсь. Общему решению собрания я подчинюсь покорно, помня ту клятву, которую дал: делить успех, делить и опасность. Но ехать в Британнию к сомнительному союзнику — я себя обязанным не почитаю. Может быть, восстание Максима будет подавлено в самом начале, а между тем, явившись в лагерь мятежников, я навсегда закрою себе пути в Город, погублю себя, свою жену и детей. Разумные жертвы я готов принести, но на безрассудные не согласен. «Отвага редким в пользу, большинству — на зло!»

— Никто и не ждал, что в Британнию поедешь ты,— ответила Гесперия.— Ты нам нужнее в Городе. Поеду — я.

Заявление Гесперии всех изумило крайне. Я успел заметить, что Гесперия была истинной руководительницей всего заговора, его душою, что без ее упорства все давно отказались бы от этой опасной игры на самом пороге тюрьмы, но мне никогда не приходило в голову, что Гесперия сама может на себя взять исполнение какого-либо трудного дела. Одну минуту я готов был думать, что она сделала свой вызов только затем, чтобы мы поспешили отговорить ее. Цесоний, как кажется, так же понявший ее слова, сейчас же возразил настойчиво:

— Нет, domina, мы не допустим, чтобы Город остался без твоего присутствия: он осиротеет. Ехать в Британнию, в пасть зверя,— дело небезопасное, а если с тобой случится малейшее несчастие, мы никогда не простим этого себе.

Элиан тоже заявил решительно:

— Это не женское дело. Ты, Гесперия, увлекаешься. Но я не отпущу тебя.

Гесперия окинула своего мужа высокомерным взглядом и ответила:

— Ты думаешь, что можешь меня не пустить? С каких пор я стала твоей рабой? И почему это не женское дело? Разве Семирамида, в древности, не предводительствовала сама своими войсками? Клеопатра не царила в Египте? Меса и Мамея не правили всей империей? Я покажу вам, что может сделать женщина! Звезды мне свидетели, что менее чем через два месяца Максим будет слушаться каждого моего слова. Его легионы будут идти туда, куда прикажу я. Оставайтесь здесь, медлите, раздумывайте, а я еду в Британнию и одна возьму на себя все наше дело!

Опять начался шумный спор, причем Элиан сердился и угрожал Гесперии, Симмах пытался ее образумить, Це-

соний упрашивал ее почти со слезами. Она же твердо повторяла, что исполнит свой замысл, и понемногу всем стало казаться, что он не так безумен, как это нам представилось сначала. Действительно, отъезд кого-либо из сенаторов тотчас был бы всеми замечен, тогда как Гесперия могла уехать в Галлию, не возбуждая особых подозрений. Постепенно перешли к обсуждению подробностей замысла Гесперии, и Симмах спросил:

— Но не одна же ты предпримешь это далекое путешествие. Кого ты возьмешь в свои спутники?

— Приказывай, domina,— воскликнул Цесоний,— я буду счастлив разделить с тобой все труды и опасности.

Гесперия отрицательно покачала головой и сказала, еще раз изумляя всех своим решением:

— Я поеду с Юнием.

Не знаю, что я испытал бы несколько месяцев тому назад, когда, одинокий, я рыдал, лежа на камнях мостовой, перед домом Гесперии, если бы мне объявили, что она выбирает меня в спутники своего далекого путешествия. Я мог бы тогда потерять рассудок от радости, благодарил бы бессмертных богов с большей пламенностью, чем юный полководец, впервые удостоившийся овации,— но все пережитое мною изменило мою душу и, услышав слова Гесперии, я вздрогнул скорее от дурного предчувствия. Сразу, словно кольца длинной цепи, мне представились дни всевозможных мучительств, унижений и оскорблений, подвергать которым с таким искусством умела Гесперия. Я видел, что взоры всех обратились ко мне, что Цесоний смотрит на меня с открытой завистью, что Элиан с трудом скрывает негодование или ревность, что Симмах лукаво подсмеивается, но только с трудом я заставил себя проговорить:

— Domina, я недостоин и такой чести, и такого счастия...

Не обращая внимания на мое присутствие, другие стали громко обсуждать предложение Гесперии, указывая на мою молодость, мою неопытность, мое легкомыслие. Я упорно в этом споре не принимал участия и видел, что, изумленная моим молчанием, Гесперия несколько раз взглядывала на меня с тревогой и недоумением. Наконец, решено было, что воля Гесперии должна быть исполнена, и так как более никаких вопросов не оставалось, Флавиан предложил расходиться. Он сказал, на прощание, торжественно:

— Мне не надо напоминать вам, в какой тайне должно хранить все, происходившее между нами в эту ночь, которую опишут будущие анналисты. Вы все понимаете, что одно лишнее слово может стоить жизни всем нам. Но уже недолго осталось нам таиться и притворяться. Спеши в Британнию, наша Гесперия, заключи союз Севера с Италией против общего врага! Как только ты дашь нам знак, что время пришло, мы сбросим лисьи шкуры и в нашем настоящем образе явимся перед нечестивцами, скверняющими алтари богов. Мы очистим себя священным тавроболием, в торжественном шествии, со статуями бессмертных в руках, пройдем по улицам Города и принесем благодарственную жертву у ног крылатой богини Победы!

Испытывая крайнюю усталость после бессонной ночи, потому что уже давно отсветы зари проникали даже в наш удаленный триклиний, я тоже хотел проститься, но Гесперия удержала меня, сказав, что ей надо еще говорить со мною. Гесперия казалась неутомимой, и, глядя на нее, опять невольно вспоминалась мать Энея, которая пред героем «проблистала розовой шеей», но такое изнеможение было в моих костях, так всем происшедшим была измучена душа, что неохотно я последовал на зов в знакомую мне комнату, где я ведал минуты и счастия и отчаяния. Гесперия, угадывая мое утомление, сказала коротко:

— Юний! Еще не поздно. Откажись ехать со мною, если в тебе нет прежней страсти. Твои клятвы я тебе возвратила, и ты ничем не связан. Помни, что со мной тебя ждет, может быть, худшее, чем смерть. К своей цели я пойду всеми путями, какие только есть, и тебе придется забыть те слова любви, которые мне говорил ты и я говорила тебе.

Тут мне стало ясно, на чем Гесперия основывала свои замыслы, и я спросил ее бесстыдно:

— Ты хочешь обольстить Максима любовью? А на что же нужен тебе я?

— Ты будешь стоять на страже у дверей кубикула,— так же бесстыдно ответила Гесперия,— чтобы не вошел посторонний.

«Значит, императорскую диадему, которая соблазняет тебя, ты хочешь купить ценой своего красивого тела!» — подумал я, но, как то всегда бывало со мной в присутствии Гесперии, губы мои, словно не по моей воле, проговорили другое:

— Я — навеки твой раб, душой и телом. По твоему приказанию исполню все, даже то, что страшнее смерти.

Улыбнувшись, Гесперия привлекла меня к себе, поцеловала тихо и нежно, без той ожесточенной страсти, какую умела влагать в свои поцелуи, и прошептала загадочно, оставляя возможность тысячи самых сладостных надежд:

— Ты потом узнаешь, Юний, как я тебя люблю.

И я, возвращаясь домой в белом свете раннего утра, опять не знал, люблю ли я Гесперию или ненавижу, поклоняюсь ей или презираю ее.

X

После этого ночного совещания Гесперия, словно вспомнив обо мне, опять почти каждый день стала присылать за мною раба и проводить со мною целые часы вдвоем в своей комнате. Если она и не любила меня с той силой, как это иногда утверждала, то все же, несомненно, я ей нравился, я ее забавлял, как детей новая игрушка. Она то приближала меня к себе, опьяняла страстными признаниями и нежными прикосновениями, заставляла меня, когда я терял обладание собой, давать ей самые неумеренные клятвы, то снова меня отталкивала, становилась твердой, как Марпесская скала, насмехалась надо мною и подвергала меня всяческим унижениям.

Самые разнородные чувства к Гесперии сплетались в моей душе в клубок ядовитых змей: часто я ее ненавидел с той же яростью, как в медиоланской тюрьме, иногда, забывая все, подчиняясь красоте, ласкам, дружескому обхождению, опять любил со всем пылом юности; порой я верил, что Гесперия относится ко мне, как старшая сестра, заботливо и внимательно, но сейчас же она являлась предо мной, как недоступная царица, и с беспощадной жестокостью напоминала мне, что я — ничем не примечательный юноша, провинциал, не отличающийся, на ее взгляд, ни умом, ни красотой. Гесперия доходила до того, что безжалостно высмеивала все то, что я в порыве откровенности рассказал ей о Рее и ее встречах со мною в Медиолане и о бедной маленькой Намии, тайно ночью пробиравшейся ко мне в спальню, и тут же похвалялась своими прежними возлюбленными, перечисляя консулов, префектов, знаменитых ораторов, послов персидского царя и

многих других, которые ее любили. Гесперия дразнила меня такими признаниями, как сторож зверинца раскаленным железом дразнит медведя, а когда я, доведенный до отчаянья, вскакивал, кричал ей в лицо оскорбительные слова, клялся, что уйду с тем, чтобы не возвращаться никогда,— она вдруг делалась похожей на скромную девочку, плакала и умильно просила у меня прощения, повторяя каждый раз:

— Юний, иногда я сама не знаю, что говорю. Некий Демон владеет мною. Прости меня, Юний, я клевещу сама на себя. Есть злые силы, витающие вокруг людей, которые иногда порабощают их. Я совершу возлияние светлой Минерве, и безумие отпустит меня.

Она проливала на пол несколько капель вина и начинала говорить спокойно и разумно о нашем путешествии, о своих замыслах, о судьбах Города и империи.

С отъездом из Города Гесперия не спешила, так как желала раньше собрать различные подробности о ходе восстания в Британии и о местопребываниях Максима, а кроме того, ей хотелось непременно присутствовать на торжественных играх в Большом Цирке, которые в это время подготавливались, и в виде великой милости она мне объявила, что я ее буду сопровождать на этот праздник.

Игры давал новый префект Города, Авенций, сменивший Басса, и весь Город был полон слухами об этом торжестве, причем говорили, что устроен будет бой гладиаторов, которого давно уже не видел Рим, может быть, вследствие противодействия христианских епископов, считающих грехом все, что возбуждает мужество и жажду жизни. Хотя эти слухи не оправдались, все же оказалось, что префект не пожалел денег, чтобы его праздник был достоин Города, где игры устраивали великие императоры — Нерон, Домициан, Каракалла: редкостные звери были привезены из Африки и Испании, собраны были лучшие стрелки, вызваны самые знаменитые мимы и привлечены к участию прославленнейшие квадриги со своими агитаторами. Несколько дней не было в Городе другого разговора, как о предстоящих играх, и даже отец Никодим за завтраком не мог сообщить иных новостей, кроме того, что прибыла новая клетка со львами или захромала левая пристяжная у Центуриона.

Гесперия приказала мне зайти за ней, так как хотела выйти из дому вместе со мной, предоставив Элиану отправиться в цирк в обществе других сенаторов. Однако, когда

я не без смущения, с каким всегда входил теперь в дом Элиана, пришел к назначенному часу, оказалось, что Гесперия еще не одета, и она — не знаю, с лукавством или простодушно — распорядилась, чтобы меня провели к ней в компату. Войдя, я увидел Гесперию в одной легкой и прозрачной тунике, с обнаженными руками и плечами, сидящей в глубоком кресле перед большим зеркалом, тогда как орнатрицы и цинерарии хлопотали около нее, убирая ее волосы. Гесперия не забыла при этом взять в руку длинную иглу, которой женщины обычно колют провинившихся прислужниц, и, тороня рабынь, прикрикивала на них гневно и злобно. На этот раз передо мною была не мудрая Гесперия, рассуждающая о природе богов, и не хитрая руководительница тайного заговора, поставившего себе целью видоизменить жизнь всей империи, но обыкновенная женщина, которую всего более заботила ее наружность, ее прическа и ее платье. На меня Гесперия бросила беглый взгляд, сказала, чтобы я подождал ее, и продолжала одеваться, без смущения показывая мне свои мраморные руки, свои ноги снежной белизны, всю прелесть своего божественно-совершенного тела.

Поневоле мне пришлось стать свидетелем всех тайн женской красоты, и с намеренным бесстыдством черта за чертой Гесперия открывала мне, какими средствами она достигает дивного очарования своей наружности. Ее волосы, частью завитые каламистром, были потом собраны на затылке в пышный тутул, обвитый голубыми шелковыми повязками; потом на золотых криналах были укреплены на висках особые цинцинны, тщательно подобранные под цвет собственных волос Гесперии, и эти локоны красиво облегли ее маленькие уши; надо лбом было укреплено великолепное фронтале, украшенное крупной бирюзой. Причесанная таким образом, голова Гесперии сделалась истинным созданием искусства, на которое можно было любоваться, как на мрамор Лисиппа, и, право, ловким рабыням можно было присудить лавровый венок за их искусство. После волос настала очередь лица, и перед Гесперией появился целый круг всевозможных ампулл и унгвентариев, склянок, глиняных, мраморных и серебряных сосудов для различных притираний, духов и красок. Уже другие рабыни, в совершенстве знавшие свое дело, маленькими губками растерли щеки, нос и подбородок Гесперии, подкрасили ей губы в ярко-алый и уши в нежно-розовый цвет, сделали еще более черными ее широкие

брови и еще более длинными ее глубокие ресницы. Ее лицо, прекрасное само по себе, после этих забот приобрело ту неземную красоту, которая при взгляде на нее каждый раз заставляла вспоминать о бессмертных богинях. Далее выступили рабыни-обувальщицы, которые облекли ступни Гесперии в роскошные маленькие алуты с жемчужинами и оплели ноги до самых колен шелковыми лентами. Затем с большой осторожностью, как драгоценность, была принесена новая шелковая стола, складки которой были заранее намечены и разглажены, и начался обряд облачения, совершавшийся с таким благоговением, словно одевалась жрица перед жертвоприношением. После всего этого немалый срок занял выбор фибулы, подходящей к цвету столы, и еще больший — выбор ожерелья, серег, браслетов и колец из нескольких серебряных ларцов, поставленных перед Гесперией на столе.

Только в эту минуту Гесперия, наконец, обратила свое внимание на меня и, примеривая золотое ожерелье с гиацинтами, спросила меня, идут ли эти камни к цвету ее лица. Я, разумеется, ответил, что на ней все — прекрасно, а она, оглядев меня с головы до сандалий, заметила насмешливо:

— Однако сегодня и ты, Юний, принарядился! завился, как асийский барашек!

Чтобы не обижать Гесперию, я не ответил ей ничего, хотя и подумал, что ей всего менее подобает упрекать другого в заботах о своей наружности, так как времени, потраченного ею на одевание, Цесарю, конечно, достаточно было бы для того, чтобы разбить отряд мятежных галлов.

Когда в конце концов Гесперия бросила последний взгляд в зеркало, в последний раз подправила какой-то непокорный локон и провела последнюю черточку под левым глазом, она сама же стала меня торопить:

— Идем, Юний, наш второй спутник, наверное, дожидается нас.

«Неужели это — Юлианий»,— с досадой подумал я, но в атрии среди небольшого круга посетителей, ожидавших Гесперию, его не оказалось. Зато с изысканной вежливостью поспешил к ней Цесоний, с которым я познакомился на ночном совещании, и напомнил, что должно спешить, если мы хотим застать начало игр. Довольно было взглянуть на Цесония, чтобы догадаться, что он на свое одевание употребил не меньше стараний, чем сама Гесперия, потому что его тога,— изделие какого-нибудь зна-

менитого браккария,— располагалась вокруг его стана самыми причудливыми складками, а его лицо было раскрашено, как восковая статуя. Рядом с ним и с Гесперией я должен был иметь вид не только скромный, но и жалкий, и это меня несколько смущало и делало неловким. Наедине с Гесперией в ее комнате я чувствовал себя равным ей, смел говорить с ней резко и властно, но, появляясь с ней перед глазами других, я ясно сознавал себя человеком другого круга, втершимся не в свое общество. Мне даже показалось, что Цесоний приветствовал меня и обращался со мною как-то свысока, словно снисходя ко мне лишь потому, что меня по своей прихоти избрала Гесперия, и это чувство еще более раздражало меня.

Сказав несколько любезных слов другим посетителям и обещав встретиться с ними в цирке, Гесперия Цесония и меня позвала следовать за собой. Хотя дни стояли уже теплые, сверх столы она накинула легкую паллу, а волосы, как весталка, закутала тонкой тканью. У дверей Гесперию дожидались богатые носилки и толпа рабов; Цесоний, ловко опередив меня, помог ей сесть и опустил занавески; рабы размеренным шагом двинулись вперед, а мы пошли вслед, и мне поневоле пришлось разговаривать с моим спутником. Но разговор этот состоял в том, что Цесоний покровительственно расспрашивал меня, давно ли я в Городе, что в нем видел, у какого профессора слушаю чтения и все подобное, заставляя меня, как ученика, отвечать ему. Вспоминая, что даже Симмах беседовал со мною, как равный с равным, я тут же в душе дал себе клятву никогда не вмешиваться в чуждое мне общество знати.

По мере того как мы приближались к Большому Цирку, стечение народа все увеличивалось, и скоро рабам стало уже нелегко прокладывать себе дорогу через сплошные ряды идущих людей. Перед нашими глазами словно разыгрывалась в лицах картина, нарисованная сатириком, так как, действительно, жители всего земного круга теснились к Римскому амфитеатру, все в своих народных одеждах, и с белыми тогами квиритов смешивались пестрые плащи индийцев, полосатые — персов, желтые — мидийцев, причудливое одеяние египтян, аравитян, африканцев, скифские меха, британские шапки, украшения из перьев на обитателях дальних островов. Так много было иностранцев в этой разноцветной толпе, что Рим казался только наполовину населенным Римлянами, причем все говорили, кричали и ругались на своем языке, и самые странные,

непонятные восклицания раздавались кругом, по-гречески, по-египетски, по-германски, гортанные говоры народов Африки, изнеженный распев жителей Востока, птичьи звуки, исходящие из уст индийцев,— наречия всех стран, над которыми только пробегает колесница Феба.

Около самого цирка стечение народа было еще заметней, и рабы, бежавшие впереди носилок Гесперии, должны были упорно работать локтями и даже кулаками, чтобы подвигаться вперед, в ответ на что нас осыпали градом разноязычной брани. Хотелось повторить молитву дочери Аппия Слепого, высказавшей пожелание, когда ее слишком стеснила толпа, выходившая из театра, чтобы ее брат воскрес и проиграл еще одно морское сражение, погубив столько же граждан, сколько в первом! Проникнуть к самым входам в цирк казалось совершенно невозможным, потому что около каждого из них происходили маленькие сражения между стражами и толпой, пытавшейся ворваться насильно. Ежеминутно возникали буйные ссоры по поводу того, что кто-нибудь пытался войти без тессеры или не с того входа, который был указан на его тессере, слышались угрозы и ругательства. Наконец носилки решительно остановились, так как мы оказались перед сплошной толпой народа, и Гесперия, высунувшись на минуту, спросила недовольным голосом:

— Что же это такое? Не стоять же мне целый час посреди площади! Цесоний, устрой это дело!

Что до меня, то я был в этом отношении совершенно беспомощен и только старался держаться ближе к носилкам, чтобы озлобленная толпа не отомстила мне за те толчки и удары, которые направо и налево раздавали рабы Гесперии. Но Цесоний мужественно втиснулся в самую гущу народа, подвергая крайней опасности свою изысканную тогу, добрался до десигнатора, стоявшего у входа, и потребовал у него защиты жене сенатора. Десигнатор тотчас же отправил к нам на помощь двух стражей, рослых пафлагонцев, и они благополучно проводили нас всех троих до ближайшего вомитория, через который мы беспрепятственно и проникли в цирк.

За всю зиму, проведенную мною в Городе, мне еще не пришлось побывать в цирке, и понятно, что я с величайшим любопытством рассматривал открывшееся передо мною зрелище. Нам были предоставлены места в первом мениане, поблизости от подия, тотчас за сенаторскими, и притом

в кунее, приходившемся как раз против первой меты, так что самые важные части состязания должны были происходить прямо перед нами. Вместе с тем нам был виден весь необъятный цирк, дивное создание Домициана, заставившее поэта воскликнуть в восторге:

Варварский пусть не твердит пирамид о чуде нам Мемфис;
Ревностный пусть Вавилон стен не возносит своих;
Нежные пусть ионийцы не хвалятся храмом Дианы,
Выю да склонит алтарь, что из рогов возведен;
И Мавсолей, уходящий в открытое небо, карийцы
Чрезмерной хвалой пусть не возносят до звезд!

Слева от меня был «городок», красивое строение, где находились комнаты для участников состязаний, конюшни для беговых лошадей, клетки для зверей; прямо — тянулась спина, уставленная обелисками, колоннами, фалами, статуями; кругом, словно холмы, опоясавшие долину, возвышались кавеи, уже усеянные все прибывавшими толпами народа. Над рядами голов поднимались новые ряды, людские волны колыхались, кричали, шумели, как волны морские. Головы на самых верхних ярусах казались маленькими мячиками и на противоположной нам, солнечной, стороне сливались в длинное, смутное пятно. Я подумал о том, сколько тайных радостей таится в этом человеческом море, сколько соединено здесь счастливых пар, и мне вспомнился стих Насона, советующий пользоваться амфитеатром для сближения с своей милой:

Можешь к ней в тесноте даже прижаться совсем!

Но, разумеется, это не относилось к тем рядам, где находился я, где все держали себя чинно и строго, словно в консистории принцепса. Каждую минуту мимо нас проходили сенаторы и сановники, все они почтительно приветствовали Гесперию, здоровались с Цесонием, останавливались, чтобы сказать несколько слов, и изумленно посматривали на меня, а я себя чувствовал почти несчастным, попав на не принадлежащее мне место.

Так как мы пришли поздно, то вскоре после того, как мы заняли свою скамью, раздались звуки труб, раскрылись ворота помпы, и началось торжественное шествие всех участвующих в играх и состязаниях. Впереди ехал устроитель игр, новый префект Города, Авенций, одетый в тогу, подобную триумфальной, на колеснице, запряженной белыми лошадьми, сопровождаемый толпою друзей,

клиентов и служащих своей консистории. За ним шли музыканты-энаторы, наполнившие всю арену звуками туб и букцин; далее на колесницах, запряженных четверкой,— знаменитые агитаторы, собиравшиеся оспаривать друг у друга победу, одетые в цвета своей партии, синие и зеленые, похожие на кукол, так как они были словно спеленаты широкими лентами, не позволяющими им ничем зацепиться во время бега; еще далее — охотники, которые должны были показать сегодня свою ловкость и силу в борьбе с дикими зверями, в причудливых одеждах разных стран и со своим оружием в руках; наконец, сзади всех, мимы, плясуны и петавристарии, которым предстояло закончить представление. Шествие медленно обходило спину, так чтобы все зрители могли подробно рассмотреть его, и Цесоний, с видом знатока, называл Гесперии по именам всех участников и даже всех лошадей, особенно фунал.

Я не буду описывать подробно всех игр, которыми наслаждался, быть может, с излишним любопытством провинциала, вызывая явно насмешливые улыбки Цесония, и скажу только, что этот день поддержал давнюю славу Римского цирка, являющегося образцом такого рода состязаний для всей империи.

Как только Авенций бросил на песок красную маппу, подав тем знак к началу состязаний, как одно зрелище за другим, словно ряд чудес, стали представать пред восхищенными взорами зрителей. Мы забавлялись ловкостью, с какой опытные охотники захватывали петлей шеи диких серн, пролетавших по арене, как дуновение степного ветра; смотрели с замиранием сердца, как целая свора свирепых медведей металась вокруг спины, и как один за другим из них падал под метким дротиком отважных иберийцев; любовались громадными скачками могучих рыжих львов, на которых были выпущены еще более сильные быки, поднимавшие на рога царей животных; женщины взвизгивали от страха и восторга, когда растворились дверцы клетки, и появились изящные леопарды, полосатая шкура которых красиво оттенялась на мраморе колонн и статуй, а против этих опасных соперников выступили смелые индийцы, вооруженные только тонким луком с губительными стрелами; когда, однако, один из охотников не успел уклониться от яростного прыжка зверя и тот, ринув его на землю, впился зубами в его шею, радостный гул пробежал по всем менианам, и я понял, что еще не угас

в народе древний Римский дух, позволяющий смотреть в глаза смерти! Еще много было показано нам других чудовищ, привезенных из галльских лесов, со снежных уступов Альп, из дебрей Гетулии, из пустынь Мавритании, и зрители вдоволь могли насладиться и видом редких животных, и искусством охотников, и страшным зрелищем убийства.

Когда кончилась первая часть представления и на арену вышли служители, чтобы замести следы крови и убрать валяющиеся трупы, Гесперия предложила мне с Цесонием сопровождать ее под аркады, где посетители проводят время перерыва между представлениями и расправляют члены, уставшие от долгого сидения. Едва мы оказались в пестрой толпе прогуливающихся, в которой сновали торговцы с фруктами и прохладительными напитками, как тотчас Гесперию окружили ее знакомые, в шитых золотом трабеях, завитые, блистающие золотом перстней, и затрещала, как крепитакул, та легкая беседа, в которой я не мог принять участия, так как говорили о людях, мне незнакомых, о событиях, мне неизвестных: о чьих-то свадьбах, похоронах, о назначениях на разные должности, о предстоящих обедах, обо всем, чем живет круг сенаторов и всадников. С досадой в душе я плелся сзади Гесперии, как вдруг услышал свое имя и, оглянувшись, к еще большему неудовольствию, увидел Юлиания. Опять, как если бы ничего не случилось, он самоуверенно взял меня под руку и начал расспрашивать, как понравились мне игры. Хотя я отвечал нехотя и очень кратко, Юлианий продолжал свою болтовню и спросил меня, поставил ли я какой-нибудь заклад на предстоящее состязание квадриг.

— Я держу громадный заклад за зеленого,— сказал Юлианий,— и советую тебе сделать то же. За него платят пять против одного, но он должен прийти первым. Я вчера всю ночь провел в конюшнях и знаю лошадей, как свою ладонь. Хочешь, я устрою тебе заклад? Ставь смело все деньги, сколько с тобою есть.

Я, разумеется, отказался от заклада уже по одному тому, что денег у меня почти совсем не было, и тогда Юлианий, понизив голос, попросил у меня взаймы, говоря, что хочет поставить еще и на второй бег, триг, чтобы окончательно обеспечить себе выигрыш. Когда же я и в этом довольно резко отказал Юлианию, он, пожав плечами, с оскорбленным видом отошел от меня, чему я был очень рад. Но сейчас же около меня оказался Ремигий.

— Как тебе не стыдно,— сказал он,— продолжать знакомство с этим негодяем, недавно оскорбившим меня! Это не по-товарищески!

Я не успел ответить Ремигию, как он продолжал:

— Конечно, это — твое дело. Но все же я хочу с тобой посоветоваться именно об этом твоем приятеле. Квинтилиан где-то говорит, что нет ничего слаще мести, и я с ним согласен вполне. Ты удивлялся, где я пропадал эти последние дни. Теперь я могу тебе сказать, что употребил их на то, чтобы выследить моих обидчиков. Как самый добросовестный соглядатай, я разузнал все, что только можно было, о Помпонии и о Юлиании, и, наконец, обоих их держу в своих руках, как паук мух в паутине. Первая очередь за Юлианием, который к тому же сам, во всех копонах, болтает про себя столько, что не стоит большого труда вывернуть его жизнь наизнанку.

Отведя меня под аркаду, где стояла какая-то статуя, Ремигий, спеша и путаясь, стал передавать мне все то, что он разузнал про Юлиания. Я не знал, куда смотреть, когда Ремигий, как великую тайну, сообщил мне, что Юлианий участвует в заговоре, направленном против жизни божественного Августа. Но мое смущение и мое негодование на болтливость Юлиания перешли в настоящее негодование, когда Ремигий приступил ко второй части своих сообщений. По его словам, у Юлиания были несомненные сношения с консисторией префекта и даже непосредственно с чинами школы agentium in rebus. Не раз видели, как Юлианий тайно пробирался в консисторию префекта и как в малопосещаемых копонах он вел беседы с подозрительными людьми, по всему похожими на императорских соглядатаев. Замечали при этом, что после посещения префекта у Юлиания появлялись деньги, причем он объяснял, что получил их из Вифинии от своего дяди, которого, по всей вероятности, у него вовсе не было.

— Я не сомневаюсь,— закончил Ремигий,— что этот Юлианий нарочно заманивает различных лиц в свой заговор, чтобы после выдать их префекту. Он — предатель по природе, и его темной душе низкие поступки столь же пристали, как Геркулесу его дубина или Амуру его лук. Мне доносить — противно, но я думаю, что сделаю доброе дело, если обличу Юлиания раньше, чем он приведет в исполнение свои постыдные замыслы.

В крайнем волнении я не знал, что отвечать Ремигию, так как, ревностно преследуя Юлиания, он мог тем самым

погубить меня, Гесперию и всех нас. Но сказать этого Ремигию я не мог и удовольствовался тем, что стал уговаривать его помедлить, настаивая, что всякий донос, даже с добрыми целями,— дело недостойное Римского гражданина. Ремигий возразил мне:

— Не думаю, чтобы медлить было уместно. Я знаю много другого о Юлиании: знаю, что он запутан в долгах до последнего волоска. Недавно он представил одному аргентарию заемное письмо от богатого торговца из Коринфа. Аргентарий, проверив подпись, заплатил деньги. А теперь оказывается, что подпись была поддельная. Юлианию грозит позор и тюрьма, если он не вернет деньги. Ты понимаешь, что ввиду этого он сам не будет медлить, и я тоже должен поторопиться, если хочу предупредить его.

Наш разговор был прерван звуками труб, объявлявших начало бега. Расставшись с Ремигием, я пошел на свое место, обеспокоенный и встревоженный, но долгое время не мог выбрать минуты, чтобы передать все Гесперии. Она сначала была всецело занята болтовней с окружавшими ее знакомыми и только из вежливости обращала ко мне отдельные слова, а потом с не меньшим любопытством увлеклась зрелищем бега, так как держала крупный заклад за квадригу синих. Она рукоплескала избранному ею агитатору, кричала ему приветствия вместе с чернью верхних рядов и во время самого бега даже привстала с места, чтобы лучше следить за его ходом. Лицо ее под слоем румян раскраснелось, глаза разгорелись, и можно было подумать, что в жизни ничто, кроме конских ристаний, ее и не занимает.

Что до меня, то, в своем волнении, я уже не мог следить с прежним вниманием за происходящим на арене. В этот день было лишь два заезда, причем в одном из них участвовало четыре квадриги, а в другом пять триг, но то были лошади, снискавшие всесветную славу в амфитеатрах Италии, Галлии и Испании, и на колесницах стояли наездники, имена которых с благоговением произносились всеми любителями этого рода состязаний. В самом деле, трудно представить себе зрелище более красивое, более увлекательное, чем стремительный бег этих новых Триптолемов, которые, стоя неподвижно, как бронзовые статуи, сохраняли на всем лету полное присутствие духа, правили, натянув вожжи, всеми четырьмя лошадьми, и на поворотах, огибая обе меты, когда колесницы наклонялись к земле почти под прямым углом, умело выбрасывали вперед

свою четверню. Лошади, явно понимая, что от них требуют, напрягали все свои силы, вытягивали шеи, и казалось, что их ноги не касаются земли, что еще миг — и эти Пегасы взлетят на воздух, оспаривая первенство у крылатых драконов Медеи. Не обошлось без неудачи, и одна колесница, облетая на седьмом круге вторую мету, со всего размаха опрокинулась на песок, но я видел, как наездник вовремя взмахнул левой рукой, в которой держал острый нож, одним ударом обрубил вожжи, крепко намотанные на его правую руку, и тем спасся от неминуемой гибели, потому что упал в стороне, отброшенный силой падения на несколько шагов, а не под ноги лошадей и не был повлечен дальше. Пока я засмотрелся на эту сцену, в которой проявилось поразительное самообладание и ловкость человека, шумные клики и гул рукоплесканий показали мне, что состязание окончено: против ожидания всех, победили, как предсказывал Юлианий, зеленые, которые давно уже не были первыми у меты, и громадное большинство зрителей проиграло свои заклады. С приветственным гулом смешивались восклицания недовольных, и раздавались крики, обвинявшие наездников в обмане. Гесперия, также проигравшая, рассердилась не в шутку и, когда я попробовал заговорить с ней, отвечала мне гневно, что я ей мешаю.

Недовольство зрителей возрастало и грозило перейти в открытое буйство, и когда возничий-победитель появился на своей колеснице перед рядами, чтобы, согласно с обычаем, торжественно объехать вокруг арены, его встретили свистками и негодующими восклицаниями: «обманщик», «мошенник». Распорядители поспешили со вторым бегом, и на арене быстро появились триги, не менее красивые и не менее знаменитые, чем только что бежавшие квадриги. Снова повторилось захватывающее дух зрелище летящих лошадей, и так как на этот раз победил общий любимец, агитатор Центурион, то цирк понемногу успокоился. После второго бега следовали любопытные упражнения десультуров, которые скакали, стоя, на неоседланных лошадях, выезжали сразу на двух лошадях, то перепрыгивая с одной на другую, то стоя каждой ногой на спине одной из них, наконец, прыгая, на всем скаку лошади, сквозь обручи и через протянутые канаты. Это представление примирило всех с проигрышем, и, когда был объявлен второй перерыв, народ опять с веселым шумом хлынул волнами под аркады.

Только в эту минуту я нашел время пересказать Гесперии то, что мне сообщил Ремигий, но того впечатления, какое мои слова на нее произвели, я не ожидал. Сразу сбежала у нее с лица та приветливая улыбка, с которой она не расставалась в цирке, сразу пропала ее легкомысленная веселость, и я опять увидел перед собой ту Гесперию, которую знал. Нахмурив брови, она мне сказала:

— Я давно подозревала, что Юлианий замышляет предательство, но думала, что мы обеспечены теми уликами, какие есть в наших руках против него. Однако проигравшийся игрок иногда ставит на кон, как в индийских сказках, свою жизнь. Если твой друг прав и Юлианий точно вступил в сношения с префектурой,— нам может грозить большая беда. Необходимо в самом скором времени сделать это все яснее зеркала.

Я объяснил Гесперии причины, почему в этом деле был дорог каждый час, и она нахмурилась еще больше. В течение нескольких мгновений, забыв, что она находится в цирке, что на нее устремлены тысячи глаз, Гесперия, стоя у колонны, раздумывала, видимо, ища выхода из затруднения. В это самое время я увидел, что к нам приближается Элиан, но Гесперия уже подняла голову с прояснившимся взором, обменялась с мужем какими-то незначащими словами, ничего ему не сказав о моем сообщении, и потом отозвала меня опять в сторону.

— Юний,— сказала она мне,— ты должен немедленно достать мне дощечки и стиль: мне надо написать письмо.

Я понял, что отказываться нельзя, и, не возразив ни слова, пошел на поиски. По счастию, мне пришло в голову обратиться в «городок», и, так как несколько мелких монет у меня с собою было, я скоро вернулся к Гесперии и, торжествуя, передал ей то, что она просила. Даже не поблагодарив меня, она наклонилась к окну, выходившему на площадь, быстро написала несколько строк, а потом вновь обернулась ко мне.

— Видел ты,— спросила она меня,— против нас, во вторых рядах, юношу, курчавого, с буллой на поясе, особенно негодовавшего после проигрыша синего? Я знаю, что он служит в консистории префекта, и слышала, что он давно мечтает о знакомстве со мною. Я тебе сейчас укажу его, а ты передашь ему мое письмо.

Мы вернулись на наши места, и Гесперия показала мне на завитого щеголя, похожего скорее на торговца арома-

тами, чем на будущего сановника империи. Я все еще недоумевал, не понимая, что намерена сделать Гесперия, она же, заметив это, с легкой усмешкой, прежде чем запечатать таблички, подала их мне.

— Если хочешь, прочти,— сказала она.

Искушение было слишком сильно, и я пробежал глазами написанное. В письме стояло следующее:

«Ты, может быть, знаешь меня, но я до сегодняшнего дня тебя не знала. Твои глаза мне нравятся, и я желала бы говорить с тобою. Если таково и твое желание, будь сегодня, по окончании игр, у Большого рынка, у средней колонны, и последуй за женщиной в черном, которая позовет тебя. Может быть, твои мечты неожиданно исполнятся. Не «прощай», но «здравствуй»!»

Гесперия невозмутимо смотрела на меня, когда я читал это письмо, в котором она назначала совершенно ей незнакомому человеку любовное свидание, когда же я кончил чтение, добавила:

— Он догадается, что писала я, потому что сейчас пристально смотрит на нас. А про меня рассказывают в Городе, что я выбираю своих любовников на улицах, так что он письму не удивится. Итак, ступай и исполни мое поручение.

— Где же ты будешь с ним разговаривать, не на улице же? — спросил я.

Гесперия улыбнулась.

— У меня есть для таких встреч свое убежище,— отвечала она.— Когда-нибудь я тебе покажу его.

Я не стал спорить дальше и с тяжелой душой пошел исполнять странное поручение. Проплутав довольно долго по разным прецинкционам, потолкавшись от одного балтея к другому, я, наконец, добрался до того места, где сидел незнакомец, и, вежливо поклонившись, передал ему письмо Гесперии со словами:

— Это мне поручила отдать тебе одна женщина, имя которой ты, может быть, угадаешь.

Едва незнакомец взял письмо, я, не глядя на него, быстро удалился и почти бегом вернулся на свое место.

Последнюю часть представления я смотрел еще невнимательнее, нежели бега, хотя весь цирк хохотал, видя забавные кривляния мимов и головоломные упражнения петавристариев. Была разыграна целая пантомима, заново сочиненная и намекавшая довольно явно на неудачу Сенаторского посольства, ездившего в Медиолан, по делу об

алтаре Победы. Впрочем, аттической соли в пантомиме не было, и ее автор далеко не сравнялся в остроумии с Аристофаном, так что никто не мог на нее обидеться. Представление закончилось великолепным изображением пожара, охватившего целый дворец, быстро для этого воздвигнутый на арене. Перед глазами зрителей горели целые башни и рушилось целое здание, а в огне скакали и кривлялись ловкие плясуны, вызывая восторг всего собрания. Эта последняя часть игр понравилась едва ли не больше всех, и народ, расходясь, громко выражал свою благодарность Авенцию, сумевшему поддержать славу Римского цирка и предания своей семьи, хотя, как передавали, он и был тайным христианином.

Прощаясь со мною, Гесперия мне сказала:

— Ты, Юний, можешь идти домой отдыхать; мне же предстоит еще работать для нашего общего дела. Клянусь Юпитером, сегодня я узнаю всю правду о Юлиании. И на нашем ночном собрании он сам произнес свой приговор, говоря о рабе, замышлявшем предательство.

— Если окажется, что мой Ремигий прав?..— спросил я, не доканчивая речи.

— Юлианий умрет,— спокойно ответила Гесперия.

Опять я содрогнулся, глядя на эту женщину, которая утром вся была предана заботам о своей красоте, тратила часы на притирания и выбор украшений, а вечером обрекала на смерть, может быть, своего любовника, которого несколько недель назад обнимала, целовала и называла нежными именами. «В каких новых обликах предстанет мне этот Протей, принявший пока вид женщины,— думал я,— и не будет ли права моя Реа, если она, встретившись с ней, признает ее за воплощения христианского Дьявола?» Так я думал, возвращаясь из цирка в унылый дом сенатора.

XI

Подобно тому как река, приближаясь к тому месту, где она свергается водопадом, начинает течь стремительней, так жизнь иногда ускоряет свое течение, словно готовясь упасть в разверстую бездну. Сколько ни успел я привыкнуть к быстрой смене событий за те месяцы, что провел в Городе, все же новый водоворот моей жизни, закружившийся после того дня, когда с Гесперией я был в цирке, опять меня поразил и ошеломил. В два-три дня я видел

столько перемен, совершившихся в судьбе людей, мне близких, что мне казалось, будто некий Демон то бросает меня в огонь, то опускает в ледяную воду.

Утром, после праздника, данного новым префектом Города, я поспешил к Ремигию, чтобы остеречь его от какого-нибудь необдуманного и поспешного поступка. Я ожидал, что застану своего друга унылым, распростертым на ложе, обдумывающим, как Фиест, замыслы мести, но, вместо того, столкнулся с ним в дверях дома, где он жил, и лицо Ремигия, против обыкновения последних дней, было оживлено и обличало радость. Увидя меня, он схватил меня за руку и воскликнул:

— Милый Юний, я только что узнал, что моя Галла вчера бросила Помпония, ушла из дома, не взяв с собой ни одного криналя. Я бегу к ней. Я был уверен, что она — девушка добрая!

Большего от Ремигия я не мог добиться и только попросил его, до новой встречи со мною, не предпринимать ничего против Юлиания. Ремигий так был увлечен полученным им известием, что охотно дал мне обещание, какое я просил, и убежал от меня, словно на крыльях Эвра. В ту минуту я порадовался удаче друга и в душе возблагодарил за него Киприду бессмертную, все устраивающую к лучшему.

Подумав, что мне делать, я направился было к Гесперии, но раб-придверник объявил мне, что госпожа спит и сегодня не позволила пускать к себе никого. Так как идти в школу у меня не было охоты, то я вернулся в дом сенатора и поспел прямо к завтраку. Ничего не подозревая, я занял свое привычное место, между дядей и отцом Никодимом. Этот, по своему обыкновению, набивая усердно себе желудок, не забывал высыпать перед своими невнимательными слушателями свежие новости Города.

На этот раз отец Никодим, конечно, говорил о вчерашних играх, восхваляя мудрость префекта Авенция, не позволившего выступить на арене гладиаторам. Отец Никодим приписывал это влиянию Амбросия, которого, по его словам, Авенций очень уважал и с которым был в постоянной переписке. Дядя, почти всегда слушавший доклады христианского священника молча, на этот раз вмешался в беседу и сказал:

— Хоть и не по душе мне поступки этого Амбросия, но я ценю в нем истинного Римлянина, истинного Аврелия. Став христианским епископом, он остался Римским магист-

ратом. Церковью он управляет, как префект, и с императором говорит, как первый из сенаторов.

Тетка, разумеется, с негодованием осудила сравнение, сделанное мужем, а отец Никодим, тоже защищая епископа, стал говорить о его пребывании в Городе. Амвросий был в Риме в те недели, когда я томился в медиоланской тюрьме, и, по словам отца Никодима, в эти дни знатнейшие матроны оспаривали друг у друга честь принять в своем доме славного гостя; Амвросий же всех изумлял простотой своего обращения, силой своего ума и даже способностью творить чудеса. Я рассеянно слушал сомнительные рассказы о том, как Амвросий исцелял немых и параличных, и длинную повесть о том, как он, когда хозяин одного дома стал похваляться перед ним своими богатствами, молча встал и вышел, а дом на другой день обрушился. Но вдруг отец Никодим обратился прямо ко мне.

— Да вот вам другой пример,— сказал он,— самый новый. Ты, Юний, кажется, знал несчастного молодого человека, именем Юлианий, который, подобно тебе, упорствовал в заблуждениях идолопоклонства. Однажды, когда епископ шел по улице Города и все почтительно давали ему дорогу, навстречу попался этот Юлианий и, несмотря на то, что был гораздо моложе годами, пути не уступил. Спутники святого человека хотели достойно проучить дерзкого юношу, но сам Амвросий строго запретил им это, скромно посторонился и только сказал: «Этот человек кончит плохо».

— И что же?— спросил я в волнении.

— Сегодня предсказание исполнилось,— торжественно произнес отец Никодим.— Юношу нашли в его комнате повесившимся.

Тетка и Аттузия, ахнув, молитвенно вознесли руки, я же воскликнул:

— Не может быть! Я еще вчера видел Юлиания; он был здоров, весел, вовсе не намеревался кончать жизнь...

— Что жизнь человеческая,— возразил отец Никодим.— Как цветок полевой, сегодня цвел, а завтра спросишь, где он, и нет его.

— Так это правда? — опять спросил я, потому что не мог примириться с известием.— Юлианий сам наложил на себя руки?

— Я знаю это от человека верного,— возразил отец Никодим.

Дядя снова вмешался и тоже высказал сомнение:

— Ты что-нибудь путаешь. Я видал Юлиания. Он был повеса, но добрый Римлянин. Никогда не выбрал бы он род смерти, достойный раба: истинные Римляне, когда решались умереть, открывали себе жилы.

— Одинаково постыдно,— наставительно заметил отец Никодим,— умереть от кинжала и от веревки, если Создатель не позвал еще к вечной жизни.

Он добавил к рассказанному несколько подробностей. Накануне Юлианий был в цирке и выиграл большой заклад. Получив деньги, он повел друзей в ночные копоны и пировал до утра. Но еще раньше полуночи к нему пришел неизвестный человек, объявивший, что должен его дождаться. Действительно, он дождался возвращения Юлиания и ушел из дому пред рассветом. Утром соседи удивились, увидя дверь в помещение к Юлианию отворенной, и, войдя к нему, нашли уже похолодевший труп.

Споров, поднявшихся за нашим столом о том, сам ли Юлианий покончил со своею жизнью или был убит ночным посетителем, я почти не слушал. В страшном событии мне виделась рука Гесперии, и крайнее волнение потрясало меня. С трудом дождавшись конца завтрака, я опять побежал на Целий.

Раб-придверник повторил мне те же слова, как утром,— что госпожа не велела пускать к себе никого. Но так как я настаивал упорно и так как меня хорошо знали в доме, раб согласился, наконец, передать мою просьбу одной из рабынь. Та пошла сказать о моем приходе Гесперии и, вернувшись, сообщила, что госпожа согласна меня видеть, но только на несколько минут, так как у нее болит голова.

Меня провели в комнату Гесперии: там она лежала на ложе, завернувшись в легкий плащ, который закрывал ей даже лицо. На мои беспокойные вопросы Гесперия отвечала нехотя и очень сдержанно; когда я спросил, узнала ли она правду о Юлиании, ответила:

— Нет, Юний, представь себе: тот человек не пришел на назначенное место, и я напрасно прождала его полчаса.

Не поверив Гесперии, я спросил ее прямо:

— А знаешь ли ты, что Юлиания нашли сегодня утром повесившимся или кем-то повешенным?

Гесперия выставила маленькую часть лица из-под ткани, которой его кутала, посмотрела на меня и сказала протяжно:

— Я этого не знала. Конечно, он сам произнес над собою суд. Тем лучше для нас, мы избавлены от хлопот наказывать изменника.

Больше я ничего не мог добиться от Гесперии и ушел от нее с уверенностью, что она притворяется, что все свершившееся было подстроено ею, этой Харибдою, созданной на погибель людей.

Покинув Гесперию, я принялся вторично разыскивать Ремигия, но это мне не удалось, так как его не оказалось ни дома, ни в тех копонах, которые он обычно посещал. Но, толкаясь по Городу без цели, я неожиданно увидел самое Галлу, но не в бедной одежде, пешком, как я думал ее встретить после рассказа Ремигия, но в новых роскошных носилках, более богатых, чем могли у нее быть при Помпонии. Человек двадцать рабов сопутствовало ей, расталкивая впереди толпу, и Галла, небрежно развалясь, разглядывала, сквозь большой изумруд, раздвигавшихся перед ней прохожих. Изумленный, я протиснулся к носилкам и приветствовал девушку.

— А, это ты, Юний,— сказала мне Галла, нарочно коверкая выговор, наподобие того, как произносят по-латыни гречанки,— очень тебя рада увидеть. Если ты свободен, иди за мной.

Я последовал за носилками и, конечно, спросил, правда ли, что Галла покинула дом Помпония.

— Да,— отвечала она,— он мне надоел своею скаредностью. Я просила его подарить мне жемчужное ожерелье, которое высмотрела в таберне около Форума; это ожерелье очень шло ко мне, и я хотела явиться в нем на вчерашних играх. Помпоний же, потерявший какие-то деньги из-за слухов о гражданской войне, мне отказал. Тогда я предпочла уехать от него.

— Где же ты сейчас живешь? — спросил я.

— Увы,— я покидаю Город,— ответила девушка,— меня увозит на Восток пресид Карии.

Это было ново, и я осведомился:

— Ты намерена там остаться навсегда?

— Ни в каком случае,— быстро возразила Галла,— я не люблю греков. Но моего нового друга, наверное, скоро переведут в Галлии, и я вернусь с ним. А после покажусь снова и в Городе. Я еще заставлю Римлян говорить обо мне.

Судя по стремительным успехам, какие сделала эта

девушка на моих глазах, я не сомневался, что она сдержит свое слово, и только спросил еще:

— А что же Ремигий? Он не едет с тобой?

Галла прищурила глаза и сказала:

— Он для меня слишком тощ. Я люблю птицу пожирнее.

После такого ответа я попрощался с Галлой и вернулся домой, не ожидая ничего хорошего для моего друга.

На другой день Ремигий ворвался ко мне, когда я был еще в постели. Вид у него был расстроенный, он был бледен и говорил порывисто.

— Ты все знаешь, Юний? — спросил он.

— О Юлиании?

— Нет, о ней, о Галле!

Я ответил, что знаю все, и Ремигий разлился в потоке бесконечных жалоб.

— Кому мне теперь мстить? — спрашивал он.— Меня все обманули. Жертва моя ушла из моих рук. Помпоний сам одурачен. Пойти и убить Галлу? Но разве она стоит того?

Напрасно я указывал Ремигию, что он сам подготовил свою судьбу, отдав свою любовь девушке из лупанара,— он не хотел слушать никаких доводов, продолжая называть себя несчастнейшим из смертных. Исчерпав все убеждения и утешения, я воспользовался тем, что на столе у меня лежала книга Сенеки, которую я читал перед сном, и, взяв ее, я привел моему другу несколько изречений мудреца: «Человека доблестного можно назвать несчастным, но быть несчастным он не может», «Огнем испытывается золото, несчастьем — сильные люди», «Бедствие есть причина проявить доблесть»,— и другие подобные.

Ремигий вырвал свиток из моих рук, яростно швырнул его в угол и закричал:

— Проклинаю всех древних мудрецов и всю мудрость мира! Мы не живем, а только проверяем изречения древних! Всю нашу жизнь мы превратили в подражание старине! Не хочу ее больше! Прошлое умерло, и мы, новые люди, чувствуем по-новому. Пусть Сенеке казалось доблестью сносить несчастия, а я не хочу терпеть их, и у меня найдется средство избавить себя от печальных дней.

Горячность, с какой Ремигий говорил эти слова, напугала меня, и я, поспешно одевшись, предложил моему другу погулять, так как не хотел оставлять его одного. Ремигий неохотно согласился, мы пошли сначала на фо-

румы, любуясь никогда не утомляющим зрелищем пестрой, шумной, переменчивой толпы, потом сидели в какой-то копоне, и я уже думал, что успокоил друга. Но когда я стал ему говорить, как стыдно отчаиваться при первой неудаче в жизни, он возобновил все свои жалобы. И как прежде Ремигий был неистощим, подбирая все новые доводы в пользу того, что жить легко, весело и приятно, так теперь он, словно бусы на нитку, нанизывал все новые доказательства того, что жизнь скучна, полна горестей, недостойна мыслящего человека.

— Для чего мы с тобой живем? — спрашивал он.— Правда, приятно выпить несколько кубков доброго вина, весело провести вечер с хорошенькой девушкой, может быть, есть удовольствие в том, чтобы стать пресидом провинции или на старости лет облачиться в консульскую трабею. Но ради этих немногих радостных минут сколько часов, дней и годов скорби должен пережить каждый человек! Сколько испытать желаний, которые неосуществимы! Сколько изведать унижений, от которых нет защиты! Сколько раз изведать неблагодарность близких, неверность возлюбленных, обман людей, тысячи низких поступков со стороны врагов, которых нажил лишь тем, что ты умнее их! И что же в конце концов? Смерть, небытие, исчезновение. Стоит ли после этого жить, страдать, даже просто сносить зубную боль? Изо всех изречений любезных тебе древних мне теперь милы только стихи Катулла:

Едва мелькнув, закатится день краткий,
Одна ночь вечная дана для сна нам...

Никакими усилиями я не мог отклонить моего друга от таких грустных рассуждений, и он, осушая кубок за кубком, все говорил со мною в духе Эврипида, развивая его мысль, что «земле должно быть возвращено земное». Наконец я сказал Ремигию:

— Стань христианином, и ты обретешь надежду. Христиане верят в блаженную жизнь за гробом, в воздаяние за страдания, испытанные в этой жизни.

— Это не очень ново,— возразил мой Ремигий.— Не тому ли самому, и много раньше, учили наши поэты. Перечти своего Вергилия. Но мы уже не настолько молоды, чтобы верить басням поэтов. Я твердо знаю, что за похоронным костром нет ничего, и это моя последняя надежда.

Тогда я попытался направить мысли Ремигия в другое русло и стал говорить ему о странной смерти Юлиания. Ремигий, занятый своими печалями, еще ничего не слышал

об этом таинственном происшествии, о котором уже спорил весь Город, и, несколько оживившись, настойчиво расспрашивал меня о подробностях. Я передал все, что сам знал, и даже не умолчал о суждении, высказанном Тибуртином о роде смерти бедного щеголя. Мне пришлось горько жалеть о своей болтливости, потому что мои слова, может быть, подали Ремигию первую мысль о том, что вскоре он и привел в исполнение...

Под каким-то предлогом Ремигий вышел из копоны, где мы сидели, и не вернулся. Прождав своего друга около часа, я принужден был убедиться, что он тайно бежал от меня. С тяжелым сердцем я вернулся домой, и предчувствия не обманули меня, так как в тот же вечер я узнал о горестной судьбе Ремигия.

Покинув меня, он пошел в термы Каракаллы, самые роскошные из существующих в Городе. Сначала он поднялся в библиотеку, спросил себе «Размышления» императора Марка и долго читал их, несмотря на высказанное проклятие всем древним. Потом, вероятно, на последние деньги, занял отдельное помещение в несколько комнат и велел послать к себе красивейших мальчиков. Затем, выслав их и оставшись один, он в теплой ванне открыл себе жилы, как то советовал мой дядя всем истинным Римлянам, ищущим смерти, и как то сделал в свои дни философ Сенека, сентенции которого я недавно читал моему другу. Когда служащие догадались заглянуть к Ремигию и позвали к нему врача данной городской регионы, было уже поздно: Ремигий слабой рукой срывал повязки, которые пытался наложить медик, и вскоре скончался.

Хотя я узнал Ремигия едва год назад, на пути в Город, я успел полюбить юношу, острого на язык, умного, честного. Его ранняя смерть тронула меня глубоко и навела на печальные мысли о людях наших дней, неспособных противостоять самым первым и самым малым ударам Фортуны. «Неужели,— думал я,— подобных же, и даже более жестоких неудач не встречали в своей юности Сципион, Цесарь, Август? Что, если бы и они, в свое время, так же малодушно отказались бы перетерпеть выпавшие на их долю черные дни? Тогда, быть может, не Рим, но Карфаген владел бы миром, Галлия не была бы присоединена, империя осталась бы без устроения». Но эти соображения не мешали мне плакать над несчастной участью друга, и мне казалось, что под своды Орка сошел самый близкий мне человек.

Конечно, я принял на себя распоряжаться похоронами Ремигия, тотчас послал письмо его родителям и известил о горестном событии его сотоварищей по школе. Однако этого дела до конца мне довести не пришлось. Прежде всего новая беда рухнула на дом Тибуртина: дядя застал ночью в спальной своей жены отца Никодима. Ни для кого не было тайной, почему христианский священник так возлюбил дом сенатора, ревностного защитника веры отцов, но дядя, всегда занятый или делами Сената, или своими книгами, или, что бывало чаще всего, кубками вина из своих поместий, не подозревал ничего дурного. Открытие поразило его так, что он тут же, по-древнему праву, хотел убить свою жену, и только отсутствие оружия у сенатора спасло перепуганную Меланию, так много любившую говорить о добродетели. Наутро тетка и Аттузия куда-то скрылись из дома Тибуртина, а сам он, утратив и мужество и волю, только горько плакал и всячески жаловался мне на свою неудачную жизнь.

— Я все терпел,— говорил он мне,— и то, что в моем доме, доме Римлянина, потомка Бебиев, устроили христианскую молельню, и то, что дочь мою сделали христианкой, и то, что новая жена моя отбирала у меня все деньги и держала под замком мой погреб с винами! Но чтобы Римская матрона, хотя бы и гречанка родом, обесчестила мужа со служителем религии, враждебной империи, враждебной богам отцов, этого я снести не могу! Не мне одному здесь нанесено оскорбление, но всему нашему роду, изображениям предков, Сенату и народу Римскому. Лучше остаток дней своих я проведу в одиночестве, как изгнанник, лишенный огня и воды, чем прощу преступницу и допущу ее в дом, ею оскорбленный. Имени ее не хочу никогда более слышать и буду считать, что была у меня лишь одна дочь — та, что ныне в полях Элисийских!

Я, бедный, метался из дома, где жил Ремигий и где делались приготовления к его похоронам, в дом дяди, которого опасно было оставлять одного на попечение грубых и ненадежных рабов, и чувствовал себя как бы потерянным в хаосе событий. Наконец, в нашем доме появились Элиан и Нумерия, которые до некоторой степени внесли порядок в жизнь и взяли на себя необходимые распоряжения. Но тут я получил письмо от Гесперии, которая объявляла мне, что мы должны немедленно выезжать из Города. Напрасно я просил дать мне время исполнить последний долг перед другом, сказать ему последнее «vale», дождаться, пока

несколько успокоится дядя. Гесперия была неумолима и на все мои доводы отвечала, что долг пред империей выше, чем все обязанности личные.

— Тебя огорчает судьба дяди,— говорила она мне,— а я должна была бы позаботиться о судьбе матери. Но предоставим это все Времени, этому все легко устрояющему богу. Может быть, судьба всего мира зависит от нашей поспешности.

Втайне я думаю, что Гесперия торопилась так из боязни расследования, предпринятого префектом Города по поводу таинственной смерти Юлиания. Во всяком случае, Гесперия не дала мне отсрочки ни на один день, и накануне похорон моего Ремигия я должен был вместе с нею покинуть Рим. Впрочем, после смерти маленькой Намии, после так быстро последовавших одно за другим двух самоубийств — Юлиания и Ремигия, после позорного происшествия в доме Тибуртина мне казалось, что ничего дорогого мне в Риме более не остается. Он был мне столь же чужд, как девять с лишним месяцев тому назад, когда я впервые подъезжал к Портуенским воротам, не зная еще, что меня ждет в этом золотом средоточии вселенной. В глубине души я даже рад был покинуть темный водоворот страстей, козней, преступлений, который мы называем Вечным Городом, забывая только, что не менее страшным водоворотом была душа той, которая была моей спутницей в предпринимаемом путешествии.

Книга четвертая

I

Путешествие мое с Гесперией значительно отличалось от моей поездки с Сенаторским посольством. Придя в назначенный, утренний час к дому Гесперии, я увидел целую вереницу повозок, нагруженных мешками и ларями, как если бы было задумано переселение нескольких семейств. Большая толпа рабынь и рабов хлопотала около карров и карпент, устраивая удобные сиденья и размещая вещи: все шумели, кричали, бранились. Скоро я узнал, что мы повезем с собою всевозможные припасы: вина и заготовленные снеди, ящики с одеждами и утварью, все, что только может понадобиться женщине, или, вернее сказать, все, что может удовлетворить прихоти десяти женщин. В отдельном ковине ехал вольноотпущенник Египций, который должен был управлять всем нашим поездом, а всего в путь отправлялось около двадцати человек, из которых часть была вооружена, на случай нападения разбойников. И я, наблюдая эти приготовления, не мог не подумать, что Гесперия решила не возвращаться в Рим.

Мне сказали войти в атрий, где я и просидел, совершенно одиноким, до самой минуты отъезда, так как, повидимому, никто из клиентов о нем извещен не был. Наконец появилась Гесперия, закутанная в шерстяную пенулу с кукуллом, хотя даже ранним утром было уже вполне тепло, а следом, с лицом мрачным, шел Элиан, приветствовавший меня всего несколькими холодными словами. Чувствуя себя виноватым перед этим человеком, я такого приема ему не мог поставить в вину и молча присутствовал при сцене прощания мужа и жены. Гесперия неожиданно показала себя очень нежной, несколько раз поцеловала Элиана и сказала ему, намекая на цель своего путешествия:

— Прощай, будь без меня весел и помни, что я еду, чтобы исполнить важное.

Мне Гесперия приказала сесть с ней рядом в легкую карпенту, верх которой мог открываться, но, откинувшись в угол, закрыла глаза и не произносила ни слова. Мы медленно двинулись по улицам Города, где уже начиналось обычное дневное движение: купцы открывали свои лавки, служащие шли на место своей службы, женщины направлялись на рынки, разносчики с лотками и корзинами, рабочие, носильщики, гадатели и разный люд высыпал из домов. Все с любопытством оглядывали, останавливались, наше движение, так как наш поезд напоминал, конечно, путешествие какой-нибудь восточной царицы, древней Семирамиды или Зенобии.

Третий раз мне пришлось свершить весь путь от Рима до Медиолана, но на этот раз мы не только не торопились, но как будто намеренно старались подвигаться вперед так медленно, как только возможно. Часто в поле мы останавливались, выходили из карпенты, и для нас на нежной весенней траве или на разостланных коврах рабы приготовляли маленький пир, в котором, кроме меня и Гесперии, принимал участие и Египций, оказавшийся человеком смышленым и не лишенным образованности. На ночь мы останавливались не в мансионах, но в домах и виллах людей, знакомых Гесперии, или тех, к которым были у нее письма,— и подобных лиц встречалось так много, что невольно я себя спрашивал: не вся ли Гесперия знает Гесперию-прекрасную или хотя бы слышала о ней?

Везде нас встречали с почетом, а в иных богатых виллах в честь жены сенатора и прославленной красавицы Города устраивались целые празднества. В Умбрии, на вилле Марка Корнуция, доводившегося родственником Элиану, где мы пробыли полных трое суток, все время прошло в непрерывных пирах и увеселениях. Извещенный заранее о приезде Гесперии, хозяин созвал гостей даже из удаленных местностей и не пожалел денег на роскошь своего приема. Мы то пировали в пышных покоях виллы, блиставшей мраморами и позолотой, расписанной лучшими художниками века Адриана, украшенной тонкой мозаикой и наполненной греческими статуями, убранной драгоценной обстановкой и увешанной сардийскими, александрийскими и карфагенскими коврами; то шли веселиться в великолепный сад, разбитый искусным садоводом по обе стороны маленькой речки, с мраморными беседка-

ми, прозрачными водоемами, хитро подстриженными деревьями, множеством редких растений, кончавшийся у обширного здания терм. Гости, среди которых были первые лица провинции, всячески старались сделать для Гесперии приятным пребывание в доме Корнуция, и едва ли не все прославляли ее красоту, окружали ее поклонением и видимо добивались ее благосклонности. В последний день перед нашим выездом гостеприимный хозяин устроил представление в домашнем театре, и мы могли видеть «Прометея освобожденного», в старинном переводе, прекрасно исполненного молодыми рабами Корнуция.

В таком же роде были наши остановки в других виллах и городских домах, причем разнообразились они только большей или меньшей роскошью, в зависимости от богатства хозяина, но всегда Гесперия оставалась средоточием внимания всех, и везде приходилось ей выслушивать немолчные гимны своей красоте.

Со мною Гесперия обращалась совсем не просто, и я, уже привыкший за девять месяцев жизни в Городе к лукавству женщин, явственно видел, как она старательно опутывала вокруг меня свою сеть, готовя меня, вероятно, для какого-то нового трудного предприятия. Более я уже не был неопытным юношей, каким впервые с ней встретился, но понимал коварство и обдуманность поступков Гесперии, которая опять то приближала меня к себе, то подвергала всем мучениям больно жалящей ревности. Иногда во время переездов Гесперия долгими часами не говорила со мною ни слова, делая вид, что углублена в свои размышления; иногда, когда мы оставались вдвоем, словно вдруг вспомнив обо мне, начинала просить прощения за свою невнимательность, ласкать мне волосы нежными руками и вкрадчивым голосом напоминать, что любит меня; иногда при нашем пребывании на чьей-нибудь вилле нарочно проводила весь вечер на моих глазах с каким-нибудь провинциальным щеголем, улыбалась ему ласково, давала тайком целовать свои руки и плечи, ободряла его искания, так что в мечтах тот, наверное, уже торжествовал победу над прославленной красавицей Города... Потом, видя, что эти изведанные способы оказывают на меня мало действия, Гесперия прибегала к более жестоким: приказывала мне тайно прийти к ней ночью в спальную, опять меня целовала горячими устами, приникала ко мне телом, обвитым одной тонкой туникой, и, промучив меня

своими приближениями до зари, утром настойчиво прогоняла из своей комнаты, опять напоминая:

— Наше счастие, Юний, должно начаться тогда, когда будет исполнено наше дело. Имей мужество ждать...

И странно: хотя теперь я понимал ясно игру этой женщины, все же по-прежнему одной близости к ней было достаточно, чтобы я сознавал себя ее покорным рабом. Было что-то в самом ее существе, в чертах тех изгибов, которые принимало ее тело, в запахе тех ароматов, которыми она себя умащала, и в запахе ее волос, к которым порой она позволяла мне прикасаться губами,— что делало ее для меня единственной среди всех других. Уже то не была детская любовь к женщине, прекрасной и богиноподобной, но неодолимое влечение к ней одной всего моего тела, привыкшего быть близ нее и терявшего способность жить вне этой близости, подобно тому как человек не может жить без воздуха. Мои чувства словно бросили якорь подле Гесперии, и этот якорь запутался где-то в глубине среди подводных скал и растений, так что ладья более не могла сдвинуться с места.

Когда я оставался с Гесперией наедине, видел перед собою ее лицо, плечи, грудь, руки, когда вдыхал знакомое благоухание ее одежд и ее кожи, я снова мог говорить и даже мыслить лишь то, что она хотела и что она от меня ожидала. Пользуясь этим, Гесперия вновь заставляла меня давать ей страшные клятвы, и я покорно призывал подземных богов во свидетельство того, что исполню каждое ее повеление, подчинюсь каждому ее приказу. Я чувствовал, что незримо она вновь вооружает мою руку кинжалом,— я еще не знал, против кого,— но опыт прошлого не служил мне на пользу, и я не сомневался, что вновь пойду убивать, если она того захочет.

— Юний, мой милый Юний,— говорила мне Гесперия,— я скажу тебе словами христиан: «Претерпевший до конца — спасется». Терпеть же осталось немного.

— Хотя бы вечность! — отвечал я, зная, что такого именно ответа ждет она.

А однажды Гесперия сделала мне такое признание:

— Ведь я не виновата, Юний, что я красива. Красота — моя сила и мое отчаяние. Все, что я имею, я достигла этой красотой, но и все горе, все страдания, что я пережила, были созданы ею же. Всю свою жизнь я несу тяжесть этой красоты и забочусь об одном: не показать другим, как она меня давит. Мне стыдно, когда меня любят

за одну красоту, но мне обидно, если, несмотря на красоту, меня кто-либо не полюбил...

Когда Гесперия говорила это,— где-то в горах во время нашей стоянки, выделяясь, как мраморная статуя на лазурном небе,— она действительно была прекрасна, как Троянская Елена, эта «общая Эринния», по выражению Вергилия. «На погибель людей создана ты!» — подумал я и потом, также про себя, добавил: «На погибель мою!» А вечером того же дня, когда мы прибыли в дом местного пресида, Гесперия выбрала своей жертвой его сына, юношу, преданного наукам; за несколько часов, проведенных с ним, заставила его почти обезуметь от страсти, и наутро, когда мы уезжали, он, не стыдясь, плакал, умоляя позволить ему нас сопровождать.

Среди таких сцен совершалось все наше путешествие, и я не изменю правде, сказав, что мне оно принесло безмерно больше страданий, чем радости. Измученный резкими переходами Гесперии от ласковости и дружественности к холодности и враждебности, истомленный ее издевательствами над порывами моей любви, потеряв все надежды на настоящее сближение, я иногда в одиночестве вновь помышлял о бегстве. Я говорил себе, что самым для меня разумным поступком было бы тайно ночью покинуть своих спутников и идти хотя бы пешком прочь от Гесперии и прочь от Города в родную Аквитанию, где я вновь обрету мир и ясность. Но, и обдумывая замыслы своего бегства во всех их подробностях, я в глубине души знал, что в исполнение их не приведу, что я повлачусь за Гесперией всюду, как некогда Римский триумвир за триерой египетской царицы.

Когда через восемнадцать дней после нашего выезда из Города вдали забелели стены знакомого мне Медиолана, я их приветствовал, как маяк спасения. Мне казалось, что в этом городе, где кончалась первая часть нашего пути, я найду какое-то решение окруживших меня загадок. Втайне я надеялся встретить Рею и, как падающий в пропасть готов схватиться за гибкий стебель дикой розы, у этой безумной девушки надеялся найти помощь и спасение.

II

В Медиолане мы воспользовались гостеприимством того же дома Тита Коликария, в котором жило и Сенаторское посольство. Не без суеверного страха вошел я в те же по-

кои, из которых вышел в последний раз затем, чтобы быть брошенным во мрак и ужас подземной тюрьмы: мне казалось, что эти комнаты не могут не принести мне нового несчастия. Однако все в доме смотрело иначе, нежели в первый раз: какая-то особенная тишина его наполняла; виделось меньше рабов; многие комнаты были совсем заперты. Дело в том, что сам Коликарий два дня тому назад выехал из города вместе с императором и всеми его приближенными, направляясь в Галлии и на берега Рейна, так как Грациан получил, наконец, известие о возмущении в Британнских легионах и о новом движении германцев.

Гесперия просила Фальтонию не устраивать никакого торжества и не приглашать никого к обеду, желая отдохнуть после путешествия и заняться делами. Опередивший нас окольными дорогами табелларий доставил письма из Рима, и Гесперия позвала меня разбирать их. Были среди них сообщения важные, как, например, письмо Симмаха, говорившее о положении в Городе. Симмах писал, что народ в Риме взволновался ввиду вздорожания припасов, плохого подвоза хлеба из Африки и Сицилии и предвидящегося неурожая. Это дало повод Сенату, ссылаясь на волю народа, предложить выслать из Города всех иностранцев, чтобы бесплатной раздачею хлеба могли пользоваться лишь одни Римские граждане. Такой мерою Сенат надеялся удалить из Рима значительное число христиан и ослабить тем враждебность населения к сторонникам родной старины. Исключение предполагалось сделать только для акторов, мимов и всех лиц, занятых в увеселениях Города, так как среди них христиан мало. Однако в вопрос вмешался новый префект, Авенций, которого считают другом Амвросия и тайным христианином, и воспретил приводить эту меру в исполнение. Конечно, такое запрещение послужило только на пользу Сената, в котором народ стал видеть защитника своих исконных прав.

— Это хорошо,— сказал я, прочитав письмо вслух,— если Грациан будет побежден, Рим сразу станет нашим.

Гесперия мне ничего не ответила и только странно и чуть-чуть насмешливо улыбнулась.

Когда все письма были нами рассмотрены, она послала за Марком Рустиком, членом Медиоланской курии, человеком, с которым я раньше не встречался, но который, по-видимому, был посвящен во все наши замыслы. То был низенький старичок, служивший еще при божественном

Юлиане и бывший другом одного из его сподвижников — Пентадия. Рустик говорил затейливо и осторожно и сначала косился на меня, но, видя, что Гесперия оказывает мне полное доверие, разошелся и рассказал немало любопытного, так как все, что делалось в Медиолане, было ему столь же известно, как хорошему хозяину его дом.

Понизив голос, старичок рассказывал нам о ссоре между императором и Амбросием.

— Епископ последнее время,— говорил он,— забрал такую силу, что без его разрешения и птицы не могли летать в империи: надо было иметь на хвосте его метку. Он христианин, это так, и даже вождь христиан, но душа у него осталась Римская, не может он забыть, что был консуляром: ему бы диктаторские фаски, право жизни и смерти; а императора он чуть ли не своим подчиненным считал. Грациан всегда у кого-нибудь в подчинении,— кто к нему ближе, тому и поддается, как женщина. То им вертел по своему усмотрению выживший из ума Авсоний, а потом вот неистовый Амбросий: сперва мы везде реторские школы открывали, а теперь стали строить везде церкви. Но все-таки душа у Грациана своевольная; как он был испорченным мальчишкой, таков и теперь, хотя нападать предпочитает не прямо, а тайком. Помните, как только уехал от Авсония, так все его законы отменил. Потом приезжает старый ретор ко двору, а император на него и не смотрит. Так и с Амбросием: поехал епископ к вам в Город, а здесь уже тотчас забрал силу Македоний, магистр оффиций. Прежде епископ имел позволение во всякое время входить к императору без доклада, словно Меценат к Августу. Вернувшись в Медиолан, идет, по обыкновению, к своему Грациану, как в свой дом, а ему говорят: «Никого не дозволено пускать». Он было возражать стражам: «Вы что же, меня не узнали? Запрещение ко мне не относится!» — «Нет,— говорят,— не приказано ни для кого делать исключения». У епископа, рассказывают, так борода и запрыгала, но он Римлянин, умеет себя держать, повернулся и вышел. Потом стал думать, как ему вернуть к себе Грациана, придумал прийти к нему с просьбой о помиловании одного негодяя, которому должно было отрубить голову,— самая христианнейшая просьба. Даже нарочно, хитрая лиса, выбрал не христианина, а человека, державшегося веры отцов. Опять приходит и лицом к лицу натыкается на самого Македония. Тот ему опять говорит: «Император не велел никого допускать к себе,— он раз-

влекается охотой». Амбросий посмотрел дерзко и возражает: «Я по делу церкви, исполняю долг епископа, никто меня не смеет остановить!» — и хочет прямо пройти в ворота. Но ведь нашего Македония ничем не смутишь, он мигнул скифским стражам, те натянули луки и ждут: им все равно, епископ так епископ! А стрела ведь одинаково проткнет сердце, что раба, что императора, что епископа, и Амбросий-то это хорошо знает: сам стрелял немало. Видит он, что дело плохо, не потерялся, шмыгнул в сторону, обошел ограду да через маленькую калиточку и пробрался в лес. Там уже Македоний с императором, стоят, рассуждают, и вдруг к ним подходит сам Амбросий. Македоний позеленел, Грациан затрясся, уж не знаю от гнева или от страха, а епископ стал на колени и говорит: «Не встану, пока ты, возлюбленное мое чадо, не подаришь мне жизнь несчастного, ибо богу одному дано отымать жизнь!» Смотрит Амбросий своими глазищами, как змея на птицу, на Грациана, а тот уже весь в его власти, ни в чем не может ему перечить. Ну, да и Македоний — хитрец испытанный, ему бы евнухом быть при дворе персидского царя: только что император объявил свою милость, сейчас на коне — в тюрьму и приказал преступнику отрубить голову. Потом возвращается и говорит: «Я, Твоя Святость, поскакал исполнить твое приказание, но было уже поздно, правосудие уже совершилось». Тут Амбросий посмотрел на него, должно быть, обо всем догадался, и говорит: «Скоро придет день, когда и тебе придется спасать свою жизнь, ты тогда обратишься к церкви, и церковь останется заперта пред тобой». Хорошенькое пророчество, не правда ли? А на другой день Грациан уехал, с Амбросием не повидавшись, как говорят, догадался разгневаться на то, что тот нарушил его императорское приказание. И сидит теперь епископ в своем доме один, как сыч, и предчувствует, что кончилась его слава. А кругом все всячески прославляют Македония, потому что еще Помпей сказал, что у восходящего солнца больше поклонников, чем у заходящего.

Слушая длинную болтовню старика, Гесперия, как это она делала и при чтении писем, что-то записывала в свои маленькие пугиллары, с которыми не расставалась во все время пути. Потом она начала подробно и настойчиво расспрашивать Рустика о всех других событиях и происшествиях в Медиолане и вела допрос, как самый хитрый судья. Рассказав множество незначащих пустяков, пере-

сыпанных клеветами и злыми отзывами решительно обо всех поминаемых лицах, старик неожиданно заговорил о деле, которое касалось меня близко, так что, слушая его, я весь похолодел. Именно, он стал рассказывать о том мятеже христиан, который подняла Реа со своими сторонниками.

По его словам, мятежники, которым удалось бежать из Медиолана, были сначала малочисленны. Но скоро к ним стали примыкать жители селений, недовольные поборами и притеснениями. Тогда против мятежников, отказывающих в повиновении императору, была отправлена когорта с приказанием переловить всех и доставить в город. Произошло однако неожиданное: колоны, вооруженные вилами и старыми мечами, разбили в правильном бою Римскую когорту и обратили ее в постыдное бегство. Понимая все же, что против значительных сил им не удержаться, они после того удалились в горы к Ларию и там возмутили еще пять или шесть селений. Император перед самым своим отъездом отдал распоряжение послать против них префекта с полным легионом и в корне уничтожить восстание. В настоящее время с этой толпой всякого сброда идет настоящая война, Римские воины загородили все дороги, держат мятежников в осаде и ждут только подходящего времени, чтобы идти приступом на их горное гнездо.

Трудно описать, в какое смятение привел меня этот рассказ старика. Мне ясно вспомнился образ странной девушки, которая влекла меня в области, мне чуждые, но с которой провел я столько сладких минут. Мне представилась Реа, окруженная своими новыми приверженцами, людьми, ей чужими и грубыми, без поддержки и дружественного совета,— и мне стало бесконечно жаль ее. Еще я подумал о том, что кому-то она, может быть, говорит те же нежные слова, как когда-то мне, и — странное дело — я почувствовал, что гарпийные когти ревности вонзаются мне в сердце. Наконец, я сказал себе, что, окруженная врагами, запертая целым легионом в горах, она со своими друзьями обречена на неизбежную гибель, и мне захотелось Рею предупредить, спасти, отговорить от ее безумного предприятия. Воображая пред своими глазами ее тело, насилуемое дикими скифами грацианов ского войска, пробитое стрелами или копьем, ее голову, с безумными глазами, отсеченную от плеч мечом,— я сознавал, что долг мой — идти к ней и увести ее из той середины Тартара,

в которую она бросилась сама в своем безудержном ослеплении.

Когда Рустик, рассказывавший еще немало другого, наконец ушел, я тотчас обратился к Гесперии с просьбой отпустить меня на несколько дней, чтобы попытаться проникнуть к Рее, тем более что все равно мы намеревались пробыть в Медиолане не меньше недели.

— Быть может,— говорил я,— мне удастся там сделать что-нибудь полезное для наших замыслов. Быть может, этих христиан мне удастся привлечь на нашу сторону, так как у нас общий враг — Грациан. Наконец, быть может, я сумею помочь им в их борьбе с императорскими войсками, и это тоже будет для нас не лишнее.

— Не лицемерь! — возразила мне Гесперия.— Ты просто хочешь вновь увидеть ту девушку, о которой ты мне говорил. Несмотря на все твои клятвы в любви ко мне, ты горишь от желания опять ее обнимать. Ты недостаточно насытился ее ласками, а мужчины любят каждую женщину исчерпать до дна.

Невольно покраснев, я стал клясться Гесперии, что она не права, что нет никого в мире, кого я любил бы, кроме нее, что никакая другая женщина не может быть мне желанна, что руководит мною только ревность к нашему общему делу, которому я могу быть полезен по своей прежней близости к Рее.

— Все равно я тебе не верю, Юний,— сказала Гесперия,— я вижу, что эта Герса очаровала моего Меркурия (так иногда меня называла Гесперия), но все равно я не могу тебя отпустить ни на час. Ты мне нужен всегда, и я не знаю, когда именно. Затем подумай, что приют мятежников оцеплен войском, проникнуть туда можно, но выйти оттуда будет нелегко. Тебя убьют или захватят, а все мои расчеты построены на том, что со мною должен быть человек, совершенно мне верный. Нет, тебе идти нельзя.

Когда я попытался настаивать еще, Гесперия нахмурила брови и произнесла уже строго:

— Ты поклялся повиноваться каждому моему слову. Что же, при первом же испытании ты хочешь нарушить свою клятву? Если так, ступай, но тогда ко мне ты не вернешься никогда. Я так сказала.

Конечно, после этого я стал просить прощения в своей дерзости, отрекался от своего желания и умолял вернуть мне прежнюю благосклонность. Однако весь тот день Гесперия, как бы наказывая меня, больше со мною не гово-

рила. За обедом она беседовала исключительно с Фальтонией и рано удалилась в отведенную ей комнату, сославшись на усталость после дороги.

Я, очутившись вновь в той же комнате, где когда-то обдумывал способы убить императора, испытал непобедимую дрожь. Мне то казалось, что в углу еще стоит мой ларь с роковым колобием, то, что сейчас отворится дверь, войдет с коварной улыбкой сириец и меня опять потащат в смрад подземной тюрьмы. Ощущение всего недавно пережитого мною было так сильно, что нечто вроде позорной робости овладело мною. Я стал думать о том, что моя мысль — идти в стан к Рее — была безрассудной. Помочь ей я не мог ничем, но легко мог погибнуть вместе с нею или, по меньшей мере, быть схваченным среди мятежников. Тогда, наверное, я снова попал бы в подземелье и на этот раз, вероятно, не миновал бы пытки и рабской смерти. Эти размышления убедили меня, что Гесперия поступила правильно, отказав мне в своем разрешении, и я готов был радостно ее благодарить за то, что она спасла меня от немалой опасности и от поступка безумного. С такими мыслями я и заснул.

Но утром Гесперия призвала меня к себе и сказала мне:

— Юний, я передумала, ты можешь идти в лагерь христианских мятежников, я это тебе разрешаю.

— Нет, нет,— возразил я,— ты была права, мне не следует идти к ним, я остаюсь с тобой.

— Нет,— ответила, в свою очередь, Гесперия,— ты пойдешь к ним. Я не хочу, чтобы ты думал, что я запрещаю тебе видеться с твоей возлюбленной. Иди и делай с ней, что хочешь, но только возвратись сюда до истечения восьми дней. После этого срока я уеду одна.

Я стал спорить, уверяя, что у меня более нет никакого желания видеть Рею, что накануне я был безумен, выразив такое намерение. Но снова Гесперия сдвинула брови и снова строгим голосом приказала мне повиноваться ей.

— Я так хочу,— повторила она.— И притом ты действительно можешь быть там полезен нашему делу. Я найду для тебя надежного проводника. Ты проникнешь в самое сердце мятежа и потом расскажешь мне все, что там видел и что там делал.

Я увидел, что спорить бесполезно, и так уже привык к неожиданным переменам решений Гесперии, что в конце концов не слишком изумился. Правда, ночные соображения еще несколько тревожили меня, но все же втайне я

был рад вновь увидеть Рею. Поэтому я подчинился приказаниям моей госпожи, повторив только, что иду к мятежникам не ради женщины. Гесперия же так деятельно принялась за приготовления к моему путешествию, словно то была самая ее заветная мысль. Она вновь вызвала к себе Рустика и попросила его найти для меня проводника, который мог бы провести меня в горы, мимо стражи, выставленной префектом.

Весь день, занимаясь разными делами, принимая разных лиц, Гесперия возвращалась к моему путешествию и торопила Рустика. Когда к вечеру нужный человек был отыскан, Гесперия призвала меня для последних указаний и советов. Она говорила с деловым видом, холодно, словно отдавая приказание домоправителю.

— Лепонций Кунигаст,— говорила она,— проводит тебя завтра утром до самых мест, занятых мятежниками. Дальше ты должен будешь найти дорогу сам. Высмотри у христиан все: их силы, их вооружение, их способы сражаться; узнай все их потаенные замыслы. Намекни им о той борьбе, которую мы начинаем. Если удастся, убеди их подождать с решительными действиями, временно скрыться, рассеяться в горах и потом нанести удар одновременно с нами. Это все ты должен сделать, и да помогут тебе боги, прежде же всех быстрый посол Меркурий. Теперь слушай дальше. Здесь, в Медиолане, я буду ждать тебя до ближайшей нундины, и если к тому времени ты не вернешься, поеду дальше, в Галлии. Ты же, если тогда будешь жив, не возвращайся в Медиолан, но попытайся добраться горными дорогами в Генаву. Там, около города, есть поместье нашего верного друга, Мания Вибиска. Назови ему мое имя, и от него ты узнаешь, где я. Тогда спеши за мною, я буду ехать медленно, так как у меня много дел по пути. Ничего не говорю тебе о том, как ты должен хранить в чужом стане и среди врагов, если попадешь в их руки, наши тайны: это ты сам знаешь. Теперь же возьми это.

И опять, как много месяцев назад, Гесперия подала мне кошелек с деньгами и кинжал. У меня не было ни оружия, ни денег, и я не мог отказаться от такого дара, но воспоминание о первом поцелуе Гесперии так мучительно сдавило мое сердце, что я едва не заплакал при этих спокойных, строгих словах, так непохожих на страстный шепот того другого дня.

— Гесперия! — воскликнул я,— когда-то ты предложила мне те же две вещи, но, помнишь, с ними ты дала мне

свои губы. Дай, дай мне их и сегодня, и тогда ты будешь уверена, что я скорее умру за тебя, чем сделаю одно движение, которое может тебя обидеть.

Я уже протянул руки, чтобы обнять женщину, но она своим обычным движением уклонилась от моего поцелуя, хотя эти последние дни, во время нашего переезда, я целовал ее так много раз. Решительно отстранив меня, Гесперия сказала:

— Ты не получишь сегодня моих губ. Они останутся у меня как залог твоей верности. Когда ты вернешься прежним ко мне, может быть, я тебе ни в чем не откажу. Иди с этой надеждой, а теперь — прощай.

Повернувшись, Гесперия вышла из комнаты, и я ее достаточно знал, чтобы не настаивать больше. Глаза стали у меня влажными от обиды и горя. «Я вернусь достойным ее!» — сказал я сам себе, и образ Реи представился мне в ту минуту таким чужим, таким ненужным, что я опять проклинал себя за свою глупую затею. Мне казалось, что я готов отдать все, только бы не быть принужденным ехать в стан мятежников, остаться с Гесперией, продолжать с ней наше путешествие.

Несколько успокоившись, я рассмотрел дары Гесперии. То был прекрасный испанский кинжал, на ручке которого был красиво изображен бог Меркурий с факелом и вырезаны два слова: «Disce mori». В кошельке было золото и серебро и письмо к какому-то аргентарию Генавы с приказанием выплатить подателю еще две тысячи денаров. Я подумал о том, как внимательно позаботилась обо мне Гесперия, и это меня несколько утешило.

В тот день я более не видел Гесперии: она намеренно не хотела мне показаться, чтобы у меня в воспоминаниях осталось то ее лицо, какое я видел в час нашего прощания. Только какой-то раб, по ее приказанию, передал мне, что я должен быть готов в начале четвертой стражи. Действительно, еще было темно, когда ко мне в дверь постучались. Но я уже не спал и, быстро одевшись, вышел на зов. Неизвестный человек в простой одежде стоял у дверей и спросил меня на плохом латинском языке:

— Это ты, кого я должен проводить в горы?

Я ответил утвердительно и вернулся в свою комнату, чтобы сделать последние приготовления к пути. Я спрятал монеты и денежное письмо под платьем, а кинжал прикрепил у пояса, чтобы оружие всегда было у меня под рукою. Через несколько минут мы вышли, вдвоем с моим

вожатым, из дома Тита Коликария. Аврора едва лишь успела растворить ворота неба, и легкая прохлада еще плыла по пустым улицам императорского города.

III

Пройдя почти весь город, мы вышли через ворота, причем мой проводник предъявил стражам пропуск, подпись под которым заставила их оказать нам знаки величайшего почтения. Недалеко от городской стены, в маленьком диверсории, нас ждали оседланные лошади. Все эти доказательства внимания, проявленного ко мне Гесперией, опять исполнили мою душу чувством умиления.

На лошадях мы поехали по прекрасной дороге, шедшей прямо на север. Мой спутник плохо владел латинским языком, а я не понимал его странного горного наречия; кроме того, он вообще был, по-видимому, неразговорчив, и мы подвигались вперед молча. У меня было время предаваться своим размышлениям, и я думал о Гесперии. Я вспоминал все, что она говорила мне на прощание, ее поступки, ее лицо, и новая волна радостной любви заливала мою душу.

Мне казалось несомненным, что отпустила меня Гесперия только из чувства ревности, которая, как все в ее душе, принимала формы обратные, чем у других женщин. Догадавшись, что меня влечет к Рее, что мне томительно хочется еще раз ее увидеть, Гесперия почувствовала себя оскорбленной, именно как женщина. И тогда как для всех других это послужило бы причиной воспретить мне мою поездку, она, напротив, настояла на том, чтобы я отправился в стан мятежников. Именно потому, что она ревновала меня, она желала дать мне все возможности ее ревность оправдать. Так думая, я, впервые в жизни, начинал верить в то, что Гесперия меня действительно любит.

Потом мои мысли обратились к тому месту, куда я направлялся. Я стал думать о Рее, и в том порыве любви, нежности и благодарности к Гесперии, который владел мною, я тут же давал себе клятвы не поддаваться более хитрым искушениям девушки. «Гесперия! — восклицал я в душе,— я оправдаю твое доверие, оправдаю более, нежели ты ожидаешь! Я скажу Рее, что ее не люблю, что ее замыслы мне вполне чужды, что я не христианин и не сторонник ее религии Змия и Антихриста, что я чту и всегда буду чтить богов бессмертных! Я скажу Рее, что

явился лишь затем, чтобы спасти ее от неизбежной гибели под мечом легионариев. Я ей предложу бежать со мною, а если она откажется, то мне не в чем будет себя винить. И на все ее безумные заискивания и льстивые ласки я сумею ответить строго и холодно. На всем круге земли я не хочу другой женщины, кроме Гесперии, прекрасной, мудрой, великой Гесперии!»

И вполголоса я повторял те слова, что мне сказала Гесперия на прощание: «Когда ты вернешься прежним ко мне, может быть, я тебе ни в чем не откажу»,— слова, заставлявшие мое сердце усиленно биться предвкушением какого-то неведомого счастия.

Между тем мы продолжали подвигаться вперед по той же прекрасной дороге. Сначала она была окаймлена садами и возделанными полями, но потом все чаще стали встречаться покинутые дома и заброшенные нивы. В некоторых селениях, через которые мы проезжали, едва ли не половина всех жилищ стояла с дверями и окнами, заколоченными досками. Я беспрестанно порывался ускорить шаг коня, чтобы скорее достичь стены Альп, которые все отчетливей и величественней вырисовывались передо мною, но мой проводник сдерживал мое нетерпение, говоря, что все равно нам должно будет прервать наше путешествие, чтобы в утреннем сумраке обойти отряды, выставленные префектом на тропах, ведущих в горы. Мы позавтракали с моим молчаливым спутником в дорожной стабуле, причем пропитание показалось мне достаточно скудным после роскошных пиров, на которых я участвовал за последние дни, и потом продолжали наш путь на север, пока не достигли первых холмов. Здесь мой проводник объявил, что мы должны остановиться, хотя было еще совершенно светло и мы могли бы еще до темноты достигнуть берегов Комацея.

Ночь мы провели в хижине какого-то пастуха, вместе с ним и его свирепыми собаками, похожими на леопардов из цирка, тесной и душной. Но еще до пробуждения Эос проводник уже разбудил меня, торопя в путь. Лошадей мы оставили у пастуха, а сами отправились окольными путями, по каким-то, едва различимым, тропинкам. Горная местность едва начиналась, но торжественные вершины, на которых не постыдился бы избрать свое местопребывание сам отец богов и царь людей, сверкали своими снегами в ясной утренней мгле и казались странно приближенными к нам. Спотыкаясь о мелкие камни, цепляясь

за кусты там, где приходилось идти вдоль обрывов, я не мог не любоваться красотой страны, которая венчает Италию, как диадема императора.

Мы то подымались на самый гребень холма, то вновь спускались в долину, чтобы начать новое восхождение. С одной из вершин мой проводник показал мне рукою вдаль и сказал кратко:

— Новый лагерь.

Я смутно различил вдали правильный четыреугольник окопов и рвов, и мне даже показалось, что я вижу значок, поставленный перед преторием и трибуналом. Странно, что какая-то сладкая тоска сдавила мне сердце, словно во мне заговорила кровь моих предков, водивших Римские легионы к победам, и словно мне стало больно, что сам я не ношу меча и не привык прислушиваться к звукам военной трубы. Я настолько забыл, что в эту минуту именно Римских легионариев должен опасаться больше всего, что готов был рукоплескать и кричать приветствия, как женщины, когда по городу проходит войско.

Когда мы покружили еще около мили, мой проводник сказал мне:

— Дальше ты пойдешь вот по этой тропе, и ты придешь, куда тебе надо. Мы теперь миновали все сторожевые отряды, и мое дело исполнено. Я вернусь обратно.

Поблагодарив моего спутника, я хотел дать ему несколько серебряных монет, но он отказался решительно, сказав, что за все услуги ему уплачено. На своем настоять я не мог, и честный Лепонций, попрощавшись со мною, повернулся и быстрыми шагами стал удаляться, так что скоро я остался совершенно один в местности пустынной и мне неизвестной. Кругом было тихо, как в стране мертвых, никакого признака жилья нельзя было заметить нигде, и одну минуту у меня даже мелькнуло соображение, что проводник завел меня сюда с коварством, чтобы погубить в горах. Однако я поспешно отогнал от себя эту мысль, сел на камне под лучами Феба, палившими уже горячо, и стал обдумывать свое положение, прежде чем продолжать дальнейший свой путь.

С детства я привык к жизни среди книг великих древних авторов, которые всегда были лучшими друзьями моего отрочества, и все годы моей недолгой жизни прошли в безопасности большого города или загородного поместья. Но также с детства непонятное влечение жило во мне, манившее меня к опасностям и приключениям, может быть,

отголосок иных чувств, знакомых моим славным предкам, чьи изображения украшают атрий моего родного дома,— мужей, умевших подставлять свою грудь под тучи парфянских стрел, персидских дротиков и под угрозу германских мечей. И теперь, зная, что я окружен врагами, что сзади меня — Римские легионарии, готовые схватить меня, как мятежника против святости императора, а впереди — исступленные почитатели Змия, которые, быть может, примут меня за императорского соглядатая и первые предадут смерти,— я не испытывал страха, но, напротив, необыкновенная бодрость разливалась по моим членам. Душа моих предков оживала во мне, исконная душа Римлянина-воина, здесь, на этой пограничной полосе, где скоро должен был разразиться бой между сторонниками Грациана и мятежниками, в своем безумии мечтающими установить на земле новую веру и новое царство — грядущего Антихриста. «Дерзающим помогает Фортуна!» — сказал я себе словами моего любимого Вергилия и, встав, пошел по указанному мне направлению.

Около часа я шел вперед, и местность становилась все более дикой и все более гористой, деревья и кусты на приволье росли кругом, закрывая вид на удаленные снежные вершины, но по-прежнему ничто не указывало мне, что поблизости живут люди. Внезапно звуки какого-то пения стали достигать до меня, странно поражая серые скалы и завязая в колючих кустарниках. Я замедлил шаги и сжал рукою кинжал, данный мне Гесперией, готовясь в первый раз в жизни оружием отстаивать свою жизнь и свободу. Тропа в этом месте делала крутой изгиб вокруг почти отвесной скалы, и мне не было видно, кто идет навстречу мне, хотя уже все явственней слышались голоса, среди которых я без труда различил и женские. «Не новый ли Сфинкс ждет меня, как нового Эдипа, на этой горной дороге?» — шутя, спрашивал я сам себя.

И вот из-за поворота показалось странное шествие: впереди шла женщина, одетая во все алое, с обнаженным мечом в руке; ее голова была увенчана белой повязкой вроде диадемы или тех, что носят жрецы. За женщиной двигалась целая толпа в самых разнородных одеждах, большею частью простых, причем все шедшие тоже держали в руках мечи, дубины или ветви. Медленно подвигаясь, все пели некий гимн, похожий на песнопение христианского служения, но слов которого я не мог различить. И когда между нами было уже не более как шагов

сорок, я вдруг узнал, что женщина в алом не кто иная, как Реа.

Пока я стоял от изумления неподвижным, Реа приблизилась ко мне, простерла торжественно руку и возгласила:

— Salve, Юний, ожидаемый и желанный, мой брат возлюбленный, приходящий вовремя к новым людям.

И вдруг вся толпа, неистово потрясая мечами, кольями и ветвями, закричала ей в ответ нестройно и дико, почти оглушая меня этим воплем:

— Salve, salve, Юний!

Я не знал, что говорить, что делать, но Реа охватила меня руками, поцеловала в губы и властным голосом приказала своим приближенным:

— На руках несите его в наш храм.

Тотчас, прежде чем я успел сделать одно движение, десяток дюжих рук подхватил меня и поднял на воздух. Через минуту шествие тронулось обратно под пение того же странного гимна, а я неловко колыхался, высясь над головами толпы, и предпочитал подчиняться неизбежному, потому что не мог придумать, как я могу сопротивляться. Впрочем, я воспользовался своим положением, чтобы осмотреть сопровождавшую меня толпу: в ней было не меньше ста человек, из которых больше половины были женщины, все шагали бодро и весело, и мне казалось, что на всех лицах была какая-то неодолимая уверенность и что все глаза были словно у пьяных.

Так мы обогнули отвесную скалу, вокруг которой вилась тропа, спустились в небольшую долину, сплошь заросшую кустарником, и потом вновь стали подыматься на новую возвышенность. Тогда я увидел, что там, прилепясь к другой скале, была расположена семья маленьких домиков, грубо сложенных из серого камня. Из этого селения навстречу нам тянулась новая вереница людей, мужчин, женщин, детей, причем даже казалось странным, что в таком пустынном месте могло быть такое стечение народа, которому негде было даже поместиться.

По мере того как мы приближались к тем, кто шел впереди других, Реа быстро говорила им несколько слов, и все тоже начинали восклицать восторженно:

— Salve, Юний!

Поистине, как триумфатор, я был внесен в это маленькое горное селение, и несшие меня не прежде позволили мне стать на ноги, как когда я оказался перед дверью дома, несколько более обширного, чем другие, украшенной

зеленью и грубо сделанным из дерева изображением Змия. То был, как я вскоре узнал, одновременно храм и дворец, и двое простоватых юношей с копьями в руках стояли у дверей, как сторожевые. Реа, подойдя ко мне, позвала меня войти в храм и растворила дверь, толпа же, пропустив нас, почтительно осталась у порога.

В небольшой комнате с земляным полом почти не было обстановки. Часть помещения, впрочем, была отгорожена занавеской, перед которой стояло невысокое ложе, вероятно, знавшее когда-то лучшее соседство, если судить по украшениям в виде позолоченных змей, конечно, и соблазнившим исповедников новой веры. На этом ложе в сладком сне покоился юноша, в котором я тотчас признал нашего Антиноя, представшего нам на ночном собрании змиепоклонников. Подойдя к юноше, Реа легким прикосновением разбудила его и сказала:

— Проснись, Люцифepат! К тебе я привела нового брата, твоего предтечу, Иоанна, приготовившего тебе пути царственные! От него ты крещен во Иордане огненном, и ныне ты воздай ему по заслугам его.

Юноша оглядывался столь же изумленно, как я, и тоже, как я, не знал, что отвечать. Тогда Реа обернулась к народу, продолжавшему с любопытством толпиться у двери, и, повысив голос, заговорила ко всему сборищу:

— Люди новые! Исполнилось последнее ожидание наше! С нами тот, кого мы так долго тщетно ждали. Теперь заполнено все число апостолов ваших и не страшны нам мечи врагов наших и угрозы преследующих нас. Посланники Князя воздушного станут на защиту нашу и слепотой поразят всех, кто подымет руку на нас. Радуйтесь, люди новые, слава великая уже осенила вас и торжество великое ожидает нас. Народы всех земель поклонятся нам, и из нас изойдет спасение миру. Теперь разойдитесь по домам, потому что свершили мы, что было нам предназначено, а вечером вновь мы соберемся на молитву общую Господину нашему. Тогда узнаете, что нам предстоит. Идите.

Повинуясь приказанию Реи, все начали удаляться, и дом опустел, так что в комнате осталось нас трое: Реа, я и мой Антиной, которого теперь называли Люцифepатом. Я все еще не промолвил ни слова и все еще не знал, как мне приступить к Рее после нашей долгой разлуки. Но Реа, оставив меня, набросилась с грубыми упреками на красивого юношу.

— Стыдись, Люцифepат, — сказала она с гневом,— неужели ты никогда не научишься говорить! Разве не предупреждала я тебя, что в один из этих дней к нам должен прийти Юний, твой брат по духу? Разве не учила я тебя, что должен ты ему сказать? Или ты все забыл?

Красавец юноша, нареченный императором и признанный Антихристом, виновато потупил глаза под упреками девушки и возразил нежным голосом:

— Милая моя сестрица! ты знаешь, что я не умею говорить. Кроме того, я спал и не сразу мог понять, кто пришел. Ты на меня не сердись, я тебя очень люблю.

— Молчи, негодный,—ответила Реа,—нашел чем оправдываться: он спал! Ты целые дни спишь и ничего другого не делаешь! И я не сестра тебе более: со мной теперь мой брат, Юний. Тебе же я выберу другую сестру из наших женщин.

При такой угрозе юноша весь побледнел и жалобным голосом, словами бессвязными стал умолять Рею не прогонять его от себя, но она оставалась неумолимой. Тогда нашел возможным вмешаться я и сказал:

— Милая Реа, если ты меня называешь братом, как друга, ты права, но если ты в это название влагаешь иной смысл, ты очень ошибаешься. Я пришел сюда лишь затем, чтобы спасти тебя, и надеюсь, что мне это удастся. Ты, вероятно, не знаешь, какая опасность тебе грозит. Но здесь остаться я могу всего один день, так как важные дела заставляют меня немедленно возвратиться в Медиолан.

Не обращая внимания на мои слова, Реа продолжала говорить к юноше:

— Ложись опять и спи еще. Но не смей выходить из дому без моего позволения. И если придет твоя мать, пошли ее ко мне. Прощай.

Взяв меня за руку, Реа вывела меня из дома, и я заметил, что, уходя, она закрыла дверь на ключ, так что бедный Люцифepат остался в комнате запертым. На улице Реа снова приняла свою царственную осанку, приказала юношам с копьями охранять вход в храм, не впуская в него никого, и медленно повела меня на край селения, причем встречавшиеся почтительно расступались перед нами. Так мы дошли до маленькой хижины, которую занимала сама Реа и у дверей которой тоже стоял человек на страже; Реа ввела меня внутрь, старательно закрыла дверь, потом усадила меня на скамью и, вдруг

став обыкновенной женщиной, опустилась предо мною на колени и разлилась в безудержных жалобах:

— Юний, мой Юний! как долго я ждала тебя! Я каждый день выходила с народом навстречу тебе, но тебя все не было. Но теперь ты со мною, и снова все хорошо. Теперь я опять верю и в себя, и в свое дело.

С утра я ничего не ел и не пил и был довольно утомлен переходом по скалам, однако я поспешил воспользоваться случаем, чтобы сразу выяснить свое положение. Я отстранил руки Реи, так как она обнимала меня, и сказал ей строго:

— Не будь безумной, Реа. Я пришел только потому, что узнал, какими опасностями ты окружена. Знай, что Грациан, с которым вы мечтаете бороться, выслал против вас полный легион. Я сам видел новый лагерь в горах. Еще через несколько дней легионарии ворвутся сюда, и вы все, ты и твои новые люди, будете перебиты мечами или уведены в город, где вас бросят в тюрьму. Ты должна бежать со мною: еще есть время. Оставь свою безумную затею. После, в свободное время, я укажу тебе другие пути, чтобы ниспровергнуть власть Грациана, теперь же надо думать лишь о собственном спасении.

Словно изумленная, Реа встала с колен, посмотрела мне в лицо и возразила гордо:

— Ты все забыл, Юний, за те месяцы, что был далеко от меня. Мы не можем быть побеждены. Мы, помощью сил тьмы, уже торжествовали над воинами Римскими. Мы восторжествуем еще не раз. Нам Роком суждена победа. За меня вся Реция, и стоит мне сказать слово, как десять тысяч человек придут сюда, чтобы сражаться за своего Господина. Силы врагов мне не страшны.

— Ты опять безумствуешь и обольщаешься,— ответил я.— Вспомни судьбу Помпея, тоже уверявшего, что ему достаточно топнуть, чтобы из земли вышли легионы. И что могут твои пастухи и колоны, вооруженные старыми мечами и вилами, против легиона, окрепшего в боях с франками! Ты знаешь, что я не менее твоего желаю погибели Грациану; послушайся меня, я дам тебе совет, как успешнее бороться с императором и нанести ему больший вред.

— Я слушаю голос божий, указывающий мне, по какой дороге идти,— гордо ответила Реа.— Я подчиняюсь Року, ибо из его лука брошена я, как стрела, в стан

врагов. Я — в руке бога живого, и он направляет мои шаги.

Пока Реа говорила так, я рассматривал ее лицо и вновь отчетливо видел, что она была некрасива и старообразна. У нее был сероватый цвет кожи, неправильные черты, глаза, в обычное время казавшиеся бесцветными. И ничего, кроме большой жалости к этой женщине, не было в моей душе. С радостью подумал я, что ее чары более надо мною не властны, и без всякого волнения спросил ее:

— Неужели ты думаешь, что этот юноша, которого мы застали сонным, в самом деле назначен для того, чтобы стать Господином мира? Мне кажется, он более пригоден быть гистрионом.

Волнение овладело Реею при этих моих словах; она, в своем пышном одеянии, опять опустилась на колени предо мною, наклонила голову в белой жреческой повязке, как виноватая, и тихо прошептала:

— Ты — прав. Мы с тобою ошиблись: это — не *он*. Наш императорский колобий не на тех плечах, которые должен был бы украшать. И в этом мое горе.

Тогда я воскликнул:

— Если ты поняла это, не связывай своей судьбы с делом погибшим. Твои успехи,— весьма небольшие, впрочем,— зависели лишь от того, что ты в себя верила. Кто усомнился в себе, тот уже не может побеждать!

Но с обычным своим упорством Реа возразила:

— А в этом ты не прав! Если это — не *Он*, то все же где-то уже явился другой, истинный. Пророчества не могут обманывать. Все равно мы должны начать нашу борьбу, ибо времена и сроки исполнились: ты сам это знаешь. Здесь мы положим начало, и наши победы воссияют миру, как яркий маяк. Там, в другой стране, где ждет *Он*, истинный, услышат о них, и тогда, с пением молитв, мы пойдем поклониться настоящему Царю, грядущему, чтобы установить свое царство.

Я рассердился на упрямство девушки, которая на этот раз говорила не в бреду, не в исступлении, не как Сибилла, но с ясным разумом, и ответил резко:

— Глупая, неужели ты хочешь, хотя бы с десятью тысячами полудиких рецийских селян, без оружия, без умения, без опытных предводителей, вести войну со всей империей? Вы будете рассеяны, как мякина по ветру.

Оставь свои бредни и пойми, над какой пропастью ты стоишь.

— Глупый! — возразила Реа.— Неужели ты думаешь, что я надеюсь на силу оружия? Я верю и знаю, что силы невидимые помогают нам, а что перед ними легионы, закованные в железо? Как протекающая вода, исчезнут они и побегут, как робкие бараны от волка. Не выдуманные Диоскуры споборают нам, но духи сильные, разящие огнем, ищущие победы после унижений долгих! Сломятся роги нечестивых и вознесутся роги праведных.

Так мы спорили с Реей еще долго, но напрасно я тратил все доводы логики, какие только мог найти,— она ничего не хотела слушать. И, наконец, я решил, что сделал достаточно, чтобы не упрекать себя никогда в гибели этой девушки. «Она сама избрала свою судьбу,— сказал я себе,— и теперь мне остается позаботиться о своей».

Решив так, я круто переменил разговор и напомнил Рее, что устал и голоден. Она, к моему удивлению, не удивилась моим словам, не ответила мне гневными упреками, не стала говорить, что должно заботиться о душе, а не о теле, но тотчас встала, пошла за перегородку, отделявшую часть домика, сама принесла мне хлеба, козьего сыра и немного вина. Пока с понятной жадностью я утолял свой голод, Реа стала участливо расспрашивать меня обо всем, что со мною произошло после того, как мы виделись в последний раз. Я рассказал о неудаче своей попытки убить Грациана, о своем тягостном заточении, о возвращении в Город и не скрыл, что теперь еду в Британнию с важным поручением. Все это Реа выслушала внимательно, ничего не возражая и делая вид, что все знала раньше, но о себе и своих приключениях не сказала мне ни слова, как я полагаю, умышленно. Вообще я заметил сразу, что безумие ее ослабло: она говорила вполне разумно и реже пересыпала свою речь словами из христианских священных книг.

«Клянусь Геркулесом,— говорил я себе,— она выздоравливает!»

Но когда я кончил свой завтрак, Реа, словно забыв мои слова о Британнии, неожиданно сказала:

— Теперь я прикажу созвать совет старейшин: надо, чтобы они узнали тебя.

— Помилуй,— возразил я,— на что им меня узнавать! Сегодня же вечером я уйду отсюда,— один, если ты не

хочешь за мною последовать,— и не возвращусь никогда. Я прибыл сюда лишь затем, чтобы тебя видеть.

— Сегодня ты не уйдешь отсюда,— отозвалась Реа.

— Так завтра,— сказал я настойчиво.

Реа, как это ей случалось часто, не обратила на мои слова никакого внимания, но, отворив дверь, приказала человеку, сторожившему вход, идти и собрать тех старейшин, которые были поблизости. Страж поклонился и пошел исполнять приказание. Я пожал плечами и повторил:

— Завтра мне необходимо вернуться в Медиолан: меня ждут.

— Она не дождется тебя, или, вернее, ты ее не дождешься! — произнесла Реа пророческим голосом.— От века ты обречен мне.

Я подумал о том, что мне полезно узнать как можно больше о жизни и замыслах мятежников, и перестал спорить.

IV

Медленно стали собираться в низкую и душную хижину Реи те, кого она называла старейшинами. Все, входя, почтительно Рею приветствовали и, молча, садились на скамьях, стоявших вдоль стен. По большей части то были люди не молодые, даже старики, простые селяне, с грубыми лицами, обветренными горными вихрями, и внешность только двух или трех выдавала горожан. Все, вероятно, уже слышали о моем прибытии, потому что всматривались в меня внимательно. Когда собралось восемь человек, Реа спросила:

— Остальных трех нет?

Кто-то ответил:

— Оба Иакова — в Малом Селе, а Матфей, по твоему приказанию, проповедует горным пастухам.

— Хорошо,— сказала Реа,— значит, в сборе все. Теперь есть среди нас и двенадцатый, тот, кого мы называли Иоанном. Он к нам прибыл, чтобы исполнить число.

Говоря так, она подошла ко мне и взяла меня за руку; я невольно встал; а все присутствовавшие тоже встали и поклонились мне.

После короткого молчания тот, кого потом называли Андреем, спросил:

— А знает ли новый брат все правила нашей общины?

Реа поспешно ответила:

— Он раньше других пришел к истине, и мы должны не спрашивать его, но его слушать.

Андрей, старик, с длинной седой бородой, возразил осторожно:

— Мы знаем, что брат Иоанн много послужил проповеди истины и пострадал за нее, но пусть все же он, как все другие, даст клятву соблюдать наши правила, подчиняться нашим решениям, служить только нашим целям и вечно быть во вражде с императором, неправо занявшим престол Грядущего.

— Нет, нет, Андрей,— быстро воскликнула Реа,— от него мы не будем спрашивать клятвы. Иоанн — ученик любимейший, и мы ему верим без клятвы. И еще объявляю вам, что его с этого дня я избираю своим братом. Этого с вас довольно.

Было явно, что собравшиеся таким решением Реи недовольны, но никто не посмел спорить. Один лишь Андрей с упрямством сказал:

— Пусть все-таки он отдаст все, что имеет, в общину,— ибо никто из нас не должен обладать своим имуществом.

Реа тогда обратилась ко мне с такими словами:

— Возлюбленный брат! Ты знаешь, что ко всем врагам нашим мы не ведаем пощады: для них у нас — кинжал, и меч, и яд. Но между нами, до тех пор, пока мы не победили мира, у нас все общее: все мы братья и сестры друг другу, каждый и каждая — муж и жена друг другу, и кто что имеет, отдает это всем другим. Так и ты, входя в общину новых людей, передай все, что есть у тебя, всем другим, и будешь обладать всем, чем владеют другие.

Я покорно вынул несколько серебряных монет и выложил их на стол, делая вид, что больше у меня ничего нет. По-видимому, скудное содержание моего кошелька произвело дурное впечатление на присутствующих. Тот, кого потом называли Фомою, спросил меня:

— Брат! У тебя подлинно нет ничего более? Вспомни историю Анания и Сапфиры. Ведь неправду ты скажешь не человекам, но богу.

При таких словах Реа пришла в крайний гнев и, выпрямившись, закричала на Фому:

— Как смеешь ты высказывать эти сомнения! Видно, недаром мы тебе дали имя Неверного! Молчи и знай, что

брат Иоанн ближе тебя стоит и ко мне, и к Грядущему.

После такого заявления никто более не решался возражать. Другие апостолы молчаливо признали меня включенным в свое число. Кто-то напомнил, что уже время перейти к вопросам очередным, и начался род военного совета, на котором я присутствовал с великим изумлением.

Из собравшихся старейшин двое, кажется, совсем не говорили по-латыни, некоторые говорили с грубыми ошибками и мало, и только двое горожан свободно владели благородным языком Западной империи. Поэтому, слушая произносимые речи и вникая в их смысл, порою просто хотелось смеяться. Но сами апостолы держали себя с важностью необыкновенной, как если бы они были на заседании полного Сената или в консистории принцепса. Один за другим они сообщали, что успели узнать за день, и предлагали те или иные меры.

Сначала речь шла о мелких проступках жителей селения, о юноше, не пришедшем на вечернее богослужение, о женщине, утаившей в свою пользу петуха, о девушке, отказавшей брату, который требовал ее любви. Старейшины обсуждали эти преступления и тут же постановляли свои решения, без соблюдения каких бы то ни было форм судопроизводства, не спрашивая даже обвиняемых и приговаривая их то к отлучению от общественных обедов, то к принудительным работам на кухне, то к несению лишней сторожевой службы. Только после этого перешли к делам более важным и заговорили о том, что единственно должно было бы занимать внимание всех — о наступлении на стан мятежников префекта с его легионом.

Все уже были осведомлены, что Римский лагерь стоит в каких-нибудь шести — десяти милях от селения. Некоторые рассказывали, что видели передовые отряды и военных лазутчиков под самой горой. Кто-то уверял, что одна когорта обходит горы, чтобы оцепить всю местность. Раздались даже голоса, что в самом селении есть переодетые соглядатаи.

Когда зашел спор о том, что делать, старейшины стали подавать мнения одно другого нелепее. Андрей предложил на всех дорогах поставить изображение Змия, говоря, что это одно отразит все приступы легионариев, потому что их глаза будут ослеплены. Варфоломей высказался за то, чтобы обратиться к легиону с проповедью и тем его весь привлечь на свою сторону. Фома решительно настаивал

на том, чтобы немедленно вступить в открытый бой, не сомневался в победе и советовал после нее прямо идти на Медиолан.

Тогда и я счел минуту подходящей, чтобы вмешаться в обсуждение, и сказал так, применяясь к речам присутствующих:

— Братья! Вы, верно, забыли, что такое наши легионарии. Во-первых, это — люди, привыкшие к безусловному повиновению своему начальнику. Они, если им прикажут, не шевельнув бровью, размечут тысячи изображений священного Змия. Во-вторых, это, часто,—дикие германцы или скифы, которые не станут слушать наших проповедей, да и не поймут их. Им проповедать столь же бесполезно, как говорить к мертвым скалам. В-третьих, это — бойцы, закованные в железо, хорошо вооруженные, с которыми — конница и баллисты. От отца к сыну переходит ремесло воина, и поколение за поколением привыкают они к военным трудам; их ли вы надеетесь сокрушить с толпою людей необученных и плохо вооруженных? Я вам дам свой совет: мы все должны рассеяться по горам, всюду собирать новых приверженцев, всюду сеять мятеж, привлечь на свою сторону другие легионы и ждать, когда к восстанию будет готова вся Реция и соседние провинции.

Говоря так, я полагал, что правильно исполняю поручение Гесперии, так как только большой мятеж нескольких провинций мог бы быть полезен нашему делу, а не маленькое восстание нескольких селений, которое, конечно, без труда будет подавлено военными силами. Но Реа, которая с беспокойством следила за моей речью, боясь, что я скажу что-нибудь неуместное, здесь прервала меня и воскликнула:

— Брат Иоанн — прав! Не на силу, не на хитрость, не на убеждения должны мы уповать, а единственно на помощь незримых покровителей наших! Или вы забыли, что ангелы тьмы берегут нас и крылами своими покроют нас в час битвы? Но с последними словами брата мы не можем согласиться: не отступать должны люди новые, но идти вперед, не прятаться, но выйти на яркий свет. Не так ли, брат Петр?

Лица всех обратились к человеку, молчавшему до сих пор, еще не старому, с лицом горожанина, умным и хитрым, и, улыбнувшись, он заговорил плавно и правильно, обличая хорошее знакомство с правилами риторики. Ви-

димо, стараясь говорить как можно проще и яснее, он сообщил, что в одиннадцати селениях, пока примкнувших к мятежу, можно собрать до двух тысяч мужчин. К ним надо присоединить несколько сот горных пастухов, готовых помогать в борьбе с ненавистными императорскими войсками. Однако только половину этих сил можно вооружить мечами, копьями, шлемами, наколенниками; на долю остальных приходятся ножи, дубины, самодельные луки. Поэтому сосредоточивать всех людей в одном месте и вступать в открытый бой было бы безумно. Напротив, должно силы раздробить, укрепить каждое селение, каждую гору и везде сопротивляться до последней возможности.

— Из каждой скалы,— говорил Петр,— мы должны создать крепость. Каждый дом должен на несколько дней задерживать легионарпев. Мы будем поражать врагов из-за угла стрелами, будем скатывать им на головы камни, будем ночью поджигать их стоянки. Когда в одном месте сопротивляться станет невозможно, мы будем переходить в другое. Посмотрим, долго ли префект выдержит такую борьбу. Римские воины отступят перед неприятелем невидимым и сами потребуют, чтобы их отвели обратно в долины. Мы останемся в горах властелинами и будем собирать новые силы.

Речь была настолько дельная, что спорить против нее было трудно, и даже простые селяне поняли все преимущество предлагаемого им способа действий, который, впрочем, немногим отличался от того, который советовал я. После недолгих рассуждений все согласились с Петром, и он, как бы приняв на себя обязанности вождя, стал отдавать другим подробные приказания. Так, Филиппу и Варфоломею он сказал идти немедленно в какие-то отдаленные селения и там строить укрепления; Матфея послал к горным пастухам, чтобы раздать им оружие; нам всем посоветовал завтра же утром покинуть место, где мы находились, и перебраться в Новое Село, которое защищено самой природой, так как стоит над глубокой пропастью и прислонено к высокой скале. И с этим все также согласились почти без спора.

На том военный совет закончился. В комнате становилось жарко и душно, все мы были рады выйти на свежий воздух, и один за другим старейшины с низким поклоном покидали собрание. Так как я не знал, что мне делать, то Петр, обменявшись с Реей несколькими словами, подошел ко мне и сказал:

— Брат Иоанн, Царице надо отдохнуть, пойдем со мною, я покажу тебе все достойное внимания.

Мне оставалось только подчиниться, и Петр повел меня через все селение, где на улице весело толпились его жители. Одни были заняты домашними работами, другие укладывали свое добро, вероятно, уже прослышав о предстоящем переселении, третьи просто разговаривали между собою на местном наречии, хохоча, толкая друг друга. Все было так просто, как в любом маленьком горном селении, и ничто не выдавало, что здесь — средоточие мятежа, потребовавшего посылки целого легиона, что здесь — столица, где пребывает новый император, соперник божественной особы Грациана, что здесь, в маленьком домике, спит тот, кого прочат во владыки вселенной, кто думает стать противником и победителем Христа, заместителем его в умах людей нашего времени.

Водя меня по селению, Петр показывал мне то дом, где было собрано оружие, немалое количество мечей, копий, щитов, дротиков, шлемов, то длинные общественные столы, за которыми все жители обедали вместе под открытым небом, то большие печи, сложенные прямо на земле, на которых женщины, назначенные на этот день, уже начали готовить пищу. По дороге Петр знакомил меня с разными встречавшимися людьми, и те, узнав мое имя, уже известное им, приветствовали меня, как одного из вождей. Я воспользовался случаем и старался обо всем расспросить моего спутника, но он был очень осторожен и, охотно отвечая на мои вопросы, касавшиеся устройства общины, делал вид, что не слышит меня, когда я его спрашивал, кто он сам, откуда попал сюда и какие цели преследует. Я видел только, что он — человек бывалый, опытный, образованный, и недоумевал, что заставило его соединить свою судьбу с делом, явно безнадежным.

Разговаривая, мы миновали последний дом и продолжали подвигаться вперед, вниз, по той тропинке, по которой меня утром принесли в селение. На одном повороте Петр предложил мне отдохнуть, и мы сели на камне, так что перед нами простиралась вся долина, поросшая кустарником, между которым извивалась тропинка, ведущая на дорогу к Медиолану. Мне захотелось исследовать ее подробнее, так как я уже не сомневался, что из стана мятежников мне придется бежать тайно, и потому, посидев немного, встал и сказал своему спутнику:

— У тебя, вероятно, есть дела в селении, возвращайся

туда, а я пройду еще несколько шагов вперед: может быть, мне удастся подметить присутствие поблизости Римских лазутчиков.

— Нет, нет,— возразил Петр,— дальше идти нельзя: мы оба должны вернуться в селение к обеду.

— Но я не хочу обедать,— сказал я.

— По нашим правилам, на обеде мы должны присутствовать все,— ответил Петр.

Я не без гнева сказал в ответ, что если правила так стеснительны, то их исполнять я не намерен. Не знаю, сделал ли Петр при этом какой-нибудь знак, но только в эту минуту из кустов появилось двое рослых юношей с толстыми дубинами в руках и загородили мне дорогу. Поняв, что меня насильно заставляют вернуться, я невольно схватился за кинжал, но здесь произошло следующее: рукою, быстрой, сильной и ловкой, Петр, прежде чем я успел опомниться, вырвал у меня кинжал и с добродушной улыбкой сказал мне:

— Возлюбленный брат Иоанн! Ты, верно, не понял, что мы обязаны отдать общине не только свои деньги, но и все, чем мы владеем. И этот твой кинжал должен быть также присоединен к складу оружия. Он нам пригодится: таких хороших кинжалов у нас мало.

Охваченный понятным раздражением при таком насилии, я резко стал негодовать на то, что у меня отнимают мою вещь, мне необходимую, но Петр опять возразил:

— Ты ошибаешься: у тебя берут твой кинжал, но зато ты становишься обладателем всего того оружия, что собрано нами. Взамен одного кинжала ты получаешь сто с прибавкой многих мечей, копий, дротиков. Ты стал богаче, а не беднее. Притом твой кинжал тебе возвратят, когда тебе в нем будет нужда: в час боя.

Говоря так, Петр прочел надпись на рукоятке кинжала: «Учись умирать!»— и усмехнулся.

После этого мы пошли обратно в селение, но я, конечно, уже не мог разговаривать с моим спутником, так как гнев, ярость и злоба буйствовали в моей душе, сплетаясь и расплетаясь, как змеиные волосы Горгоны. Я чувствовал теперь, что при всем почете, какой мне оказывали, в стане мятежников я был пленником, и понимал, какой опасности себя подверг, предприняв свое безрассудное путешествие. Однако в то же время я надеялся, что с помощью Реи, которая, по-видимому, готова была меня защищать против всех, я сумею освободиться и еще к сроку вернуться

в Медиолан. Я обдумывал планы побега и даже помышлял о том, чтобы отомстить этому Петру, унизившему меня своим насилием. С такими невеселыми мыслями я вернулся в селение, где уже делались последние приготовления к общественному обеду.

Как то было в древней Спарте, по улицам были расставлены длинные столы, за которыми уже размещались все жители: мужчины, женщины, дети. Для старейшин был приготовлен стол особый, и Петр повел меня к нему, предупреждая не без насмешки, что пища будет, может быть, не столь изыскана, как я к тому привык.

— Мы на войне,— говорил он,— а во время походов надо уметь питаться одним хлебом и водою. Эти люди, разумеется, лучшего не видали во всю свою жизнь. Но вспомни Великого Александра, вылившего при переходе через Гедрозию ту воду, что воин принес ему в шлеме. Мы должны поступать так же.

Я не ответил ничего, так как мне было нестерпимо разговаривать с моим оскорбителем, но отметил в душе, что этот Петр охотнее в своих речах приводил примеры древности, чем имена Христа и слова христианского святого Писания. Я подумал, что он — или изменник, императорский соглядатай, или человек подлый, из личных целей прикидывающийся христианином, одним из «людей новых», как они называют себя. И, думая так, я решил быть настороже и свои сомнения сообщить Рее.

Ни Реи, ни Люцифера среди нас не было, так как, по словам того же Петра, они готовились к вечернему служению, и, как это ни странно, я при этом известии испытал чувство, похожее на порыв ревности. Угрюмым сел я за стол и во все время обеда молчал, а на обращаемые ко мне слова Петра старался отвечать как можно короче, каким-нибудь «ita», чтобы только прекратить разговор. К тому же главным кушаньем оказалось что-то, действительно напоминавшее спартанскую черную похлебку, а так как я не купался в Эвроте, то и пришлось мне ограничиться одним козьим сыром, хлебом и местным вином, бывшим, впрочем, на столах в изобилии. Зато за другими столами господствовало безудержное веселие, раздавались громкие голоса, смех, вскрики, и я видел, как там мужчины бесстыдно обнимали женщин и как сидевшие рядом вольно заигрывали с маленькими девочками и мальчиками.

Благодаря медленности, с какой кушанья подавались на столы, обед затянулся до сумерек, чем, кажется, все

были скорее довольны, но вдруг Петр, взглянув на солнце, скрывавшееся за горой, встал, ударил ножом по доске стола и крикнул таким голосом, что он пронесся всюду:

— Братья! время кончить нашу общую трапезу! Настал час вечернего служения!

И тотчас все повскакали из-за столов и двинулись с шумом к тому домику, который называли дворцом-храмом. Я заметил при этом, что среди толпы было много совсем пьяных. Около храма все остановились и по чьему-то знаку начали петь свой гимн,— слов которого нельзя было разобрать,— еще более пьянея от тесноты и пения.

Меня Петр поставил около самой двери, и я видел, что другие апостолы расположились поблизости. Между тем вокруг постепенно темнело и на небе означались первые звезды.

Вдруг двери храма раскрылись, и стала видна внутренность дома, освещенная маленькими лучернами. Прямо перед входом, на каком-то подобии трона, восседал Люцифер в высокой египетской тиаре и в том пурпурном колобии, который так долго тревожил меня, покоясь на дне моего дорожного ларя, а в руке у юноши был жезл с золотым изображением Змия. Около стояла Реа, закутанная в белый плащ; лицо ее при мерцании света казалось бледным и странным, и вновь я в ней узнал ту пророчицу, которая умела увлекать за собою обезумевших людей. Еще в глубине комнаты я различил Филофрона и его жену, которых видел когда-то в Медиолане, на собрании Змиепоклонников.

При этом зрелище толпа закричала восторженно и неистово, а иные даже падали на колени и простирали молитвенно руки к своей Царице. Но Реа сделала знак, чтобы все замолчали, и, выступив вперед, остановилась на пороге дома. Здесь несколько мгновений она стояла, качаясь, как пьяная, потом заговорила голосом громким и звучным, который должен был долетать до последних рядов толпы:

— Да не смущается сердце ваше! Веруйте в бога и в нас веруйте. Мы — путь и истина и жизнь; нет пути к богу, как только через нас. Кто любит нас, того и мы возлюбим и воочию явимся ему. И мужайтесь, любящие, ибо нам дано победить мир. Что и где были вы? — в безвестности скитались, и вот мы призвали вас, чтобы вы владели народами и повелевали странами. Люди новые! ведайте, что вам все разрешено и все позволено, что ни в чем нет

для вас запрета. Вы все святы, потому что возлюбили нас и тем освятили свою душу и свое тело. Нет ныне никакого осуждения тем, которые в Пришедшем живут не по плоти, но по духу. Всякий грех освятится в вас, зло совершите — и будете увенчаны с Неба, преступите закон — и ангелы возопиют вам: «Слава!» Господь есть Дух, а где Дух господень, там свобода. Дерзайте, братья, потому что должны вы чувствовать святость, нисшедшую на вас! По всей земле разольется учение наше, и неверные станут рабами нашими, и власть над людьми дастся вам за то, что первыми вы явились к поклонению Пришедшему. Сильные унизятся, гордые будут низложены, владыки преклонятся, и вам дан будет скипетр земли. К победе и к царству веселия идите за нами, люди новые!

Еще долго так говорила Реа, причем, вероятно, иным все же не было слышно ее слов, а другие не понимали их, не зная нашего языка; но на всю толпу речь производила впечатление удивительное. Женщины уже не могли удержаться, плакали и что-то восклицали, старики селяне дрожали, словно от холода, все порывались вперед, чтобы стать ближе к пророчице. Тогда Реа, прервав свою проповедь, опять сделала знак замолчать, и хор девушек довольно стройными голосами запел то подобие христианской литании, которое я слышал в Городе. Снова раздавались в ночном безмолвии горного селения страшные призывы к греху, любодейству, убийству, и толпа, в которой многие стояли на коленях, отвечала на возгласы:

— Да будет!

Когда же литания кончилась, старуха, жена Филофрона, подала Рее сосуд с вином, и девушка, вновь вышедши на порог, возгласила те же слова, что произносятся и на христианских богослужениях...

. . . . . .

Волнение народа достигло к этой минуте напряжения высшего, Реа же продолжала молитвенно:

— Час настал сумрака, покрывающего все деяния! час настал радости и наслаждений! час настал награды за дневные труды! Сумрак священный, черные крылия единого нашего Заступника, великого, мощного Царя Тьмы! Когда затмилось солнце, когда погас свет ненавистный, служим тебе помыслами и делами, ибо достойно восхвалять тебя душами и телами нашими, кои ты освятил. Владыка сильный, радости ниспосылай, за которые твои слуги тебя славят. Слава тебе, приведшему мрак.

Подступив тогда к Люциферату, продолжавшему сидеть безмолвно и неподвижно, со своим озмиенным жезлом в руке, как восковая кукла, Реа ему подала сосуд с вином, и тот приник к нему губами. Потом медленно она стала снимать с отрока его одеяния: и пурпурный колобий, и тунику, и золоченые полусапожки, и когда его тело было совсем обнажено, к нему припала губами, целуя его поцелуями длительными и сладострастными. При этом виде некое безумие охватило толпу, и смятение наступило среди всех стоявших перед храмом. Мужчины бросались к женщинам и женщины к мужчинам, и здесь же, на глазах у других, замыкали один другого в объятия. Словно какая-то оргия времен Эллагабала повторялась на маленькой лужайке, в этом, затерянном в горах, селении, или словно громадный лупанар вдруг оказался перенесенным за много миль от большого города и предан простым селянам, недавно еще казавшимся добрыми работниками и честными женами. Я видел, как в свете звезд падали на землю обнявшиеся пары и продолжали ласкать друг друга, а тишина наполнилась тихими вскриками и радостными стонами.

Но я не в силах был наблюдать совершающееся, потому что внезапная и нестерпимая ревность сжала мне сердце. Я не мог вынести зрелища Реи, отдававшей свои ласки кому-то другому, хотя еще несколько часов назад говорил себе, что она мне чужда и что больше я не поддамся ее обольщениям. Не помня себя, я вбежал в дом и хотел оттолкнуть девушку от обнаженного тела в сладкой истоме покоившегося отрока, но меня удержали сильные руки Филофрона. Я освободился, однако, от объятий старика и вторично устремился к Рее с горькими упреками. Но в ту же минуту я заметил, что двери храма уже закрыты и что в полуосвещенной комнате нас всего четверо: Реа, старик, спящий Люциферат и я.

Реа тихо выпрямилась и шепотом сказала мне:

— Юний! он — спит, и я всегда усыпляла его, потому что не хочу другого брата, кроме тебя. Ты был мне послан судьбой, и иного я не знаю. Иди за мною.

Старик, погасив догоравшие луцерны, бесшумно скрылся. Обнаженный Антиной был простерт на своем троне без движений. Последний отголосок воли побуждал меня теперь бежать из этого дома соблазна, но Реа в своем белом плаще вновь казалась мне прекрасной. Было ли то влияние вина, которое я пил за обедом, или странного

служения, при котором я присутствовал, или чудовищного зрелища, которого я был свидетелем, но уже я не мог сопротивляться девушке. Она ласково, но настойчиво повлекла меня за собою за перегородку, разделявшую храм на две половины, и я покорно, в невольной дрожи, следовал за нею.

Как слабая попытка оправдать свое поведение, скользнула в моем уме мысль, что только на дружбу и любовь Реи я могу рассчитывать, чтобы вырваться из рук мятежников, державших меня в плену, но и сам я почти не поверил такому своему соображению. Я снова поддался таинственным чарам, исходившим от всего существа Реи, снова был в ее власти, как спутники Улисса во власти волшебницы Цирцеи. Словно во сне увидел я мягкое ложе, приготовленное в маленькой комнатке, в глубине храма, и словно во сне почувствовал на своем лице те же нежные уста девушки, которые только что прикасались сладострастно к обнаженному телу отрока. Я не сопротивлялся более, и странно желанной представлялась мне эта удивительная девушка, днем еще казавшаяся некрасивой и старой: как будто что-то необыкновенно дорогое и давно утерянное обретал я вновь. И уже я сам шептал любовные слова, безудержные и неразумные, уже сам добивался губ, алевших в темноте, сам сжимал в объятиях тело гибкое, как у змеи, и дрожавшее в моих руках, как речной тростник под ветром...

Так в эту первую ночь, проведенную мною в стане мятежников, я нарушил клятвы, что со всей искренностью давал и самому себе, и пославшей меня в путь Гесперии.

V

Когда утром я проснулся, при свете солнца, проникавшего в комнату через ставни, закрытые неплотно, Реи со мною не было, и я, вспоминая вчерашний вечер, не мог понять ни своих поступков, ни своих чувств. Оправив одежду, я вышел за перегородку и увидел, что Люцифер ат продолжал покоиться в объятиях, не знаю, Ицелона или Фантаса, на своем змееукрашенном ложе. Больше никого в храме не было, но когда я попытался выйти на улицу, оказалось, что двери заперты вновь и что я закрыт в нем, как узник.

Понятное раздражение наполнило мою душу после такого открытия, и, подумав немного, я решил, что против людей, держащих меня в заточении, как пленника, всякая хитрость позволена. Я начал будить прекрасного юношу, что удалось мне не сразу, причем, сознаюсь, пленённый его красотою, я прибегал и к помощи поцелуев, охотно прикасаясь губами к тому телу, которое накануне сладострастно целовала Реа. Когда мой Антиной, наконец, открыл свои удивленные глаза и понял, кто перед ним, я, верно угадывая, что ко мне он отнесется с недоверием, всячески постарался рассеять его предубеждения.

— Милый мальчик! — сказал я.— Как я рад, что нам с тобою пришлось остаться наедине. Ты, может быть, видишь во мне врага, но я — несчастный, которого коварством завлекли сюда и здесь держат взаперти, как и тебя, впрочем. Я хочу тебе довериться, потому что у тебя лицо доброе и нет у тебя причин желать мне зла. Вчера я видел, как ты огорчился от слов Царицы, сказавшей, что вместо тебя теперь она меня избирает своим братом. Хочешь сделать так, чтобы она вернулась к тебе? Тогда помоги мне бежать отсюда: лучшего мне не надо.

Люциферат сначала слушал мои слова подозрительно, но я продолжал говорить со всей убедительностью, какую только мог почерпнуть в своей жажде свободы, и так как юноша не отличался ни особой остротой ума, ни более тонкой сообразительностью, то понемногу он поверил моим доводам и в конце концов воскликнул простодушно:

— Неужели это правда, и ты в самом деле здесь, у нас, в плену, а не пришел с тем, чтобы отнять у меня сестру?

— Клянусь звездами,— сказал я,— что у меня в мыслях нет отнимать у тебя твое счастие, и что если ты мне поможешь, я отсюда уйду и не возвращусь никогда!

Уверившись в моей искренности, юноша огляделся кругом, убедился, что мы одни, и, наклонясь ко мне, стал быстро и сбивчиво шептать свои признания.

— Знаешь,— говорил он,— если так, я тоже уйду с тобою. Мне здесь очень худо. Когда мы жили в городе, меня все любили и многие ласкали. Здесь мать и отец отдали меня Царице и позволяют ей делать со мною все, что она хочет. Прежде она тоже была добрая, но потом стала злая. При других она меня ласкает, а когда мы бываем вдвоем, только бранит и иногда бьет. Меня никуда не пускают и целый день велят спать. Будь ты теперь моим братом, уведи меня отсюда, я тебя буду очень любить.

Особенно многого юноша сообщить мне не мог, так как он не способен был замечать, что совершалось вокруг него, да и мало что ему приходилось видеть, все же я кое-что от него выспросил. Так я догадался по его смутным и спутанным рассказам, что жители селения делятся на две стороны: одну, меньшую, составляют приверженцы Реи, верящие в ее бредни и в то, что Люцифepат — пришедший Антихрист; другую, гораздо более многочисленную,— поклонники Змия, называющие юношу своим живым алтарем. Между двумя сторонами постоянно происходят ссоры, а порою даже драки, и только стараниями Реи да Петра, значащего, по-видимому, в общине много, удается поддерживать некоторое согласие и успокаивать распри. Юноша передал мне еще тайное совещание своих родителей, на котором они говорили о том, чтобы Рею убить, так как она враждебна их вере и отвращает поклонников Змия от истины.

Рассказывая все это, Люцифepат по-детски плакал, и так мне стало жаль юношу, более прекрасного, чем звезда, что опять я обнял его обнаженное тело, достойное мрамора, и опять начал его покрывать поцелуями. Увлеченный этими ласками и согретый близостью нежных членов мальчика, я не расслышал, как проскрипел ключ в дверном замке и растворился вход. Внезапно и не без смущения я увидел перед собою Петра, подошедшего к нам уже вплотную. Апостол строго и подозрительно смотрел на нас, а я, выпустив из рук гибкое тело, почувствовал новый прилив ненависти к человеку, вчера жестоко меня обидевшему.

Помолчав мгновение, Петр сказал мне:

— Брат Иоанн, нам всем время в путь. Медлить нельзя, и не час теперь предаваться забавам. Дорога наша дальняя. Вставай и иди за мною.

Я ничего не ответил Петру, предпочитая не говорить с ним, но не считал возможным и спорить. Встав с ложа, я последовал за Петром на улицу, стараясь держать себя независимо, как равный. А когда мы выходили из дверей храма, мимо нас прошел Филофрон, видимо, затем, чтобы увести Люцифepата.

Улица была оживлена, как в рыночный день, так как жители все уже приготовились к переселению, решенному вчера. Мужчины, женщины, дети, одетые по-дорожному, с котомками за плечами, гудели, как пчелиный рой, переходили с места на место, несли какие-то лари и узлы,

навьючивали несколько откуда-то появившихся мулов, переговаривались весело и хохотали беспечно. Отдельно держался отряд юношей, в полном вооружении, в шлемах и под копьем, который должен был, очевидно, охранять других во время пути. Дома́ стояли растворенными, и все селение уже имело вид покинутого и разоренного улья.

Петр меня провел к домику Реи, где собрались апостолы, державшиеся более молчаливо, вероятно, в сознании своей ответственности, как вождей, и все они меня встретили как товарища и им равного, называя братом Иоанном. Петр уверенной рукою постучал в дверь домика, и почти тотчас она открылась, и на пороге в том же алом одеянии, в каком встретила меня вчера, появилась Реа, в сопровождении двух девушек, заменявших ей рабынь,— Фивы и Агны. Словно истинная Царица, какая-нибудь Нитокрида Египетская, она сделала всему сборищу приветственный знак рукою, села с помощью Петра на подведенного ей оседланного мула и, тронув повод, поехала вперед, а за ней зашагал отряд вооруженных; следом шел Филофрон с женою, сыном Люцифератом и друзьями; потом мы, апостолы, а еще дальше толпа народа, вытягиваясь по узкой тропе, как некий дракон, и высоко подымая над головами золоченые изображения Змия. Оглянувшись на шествие, на людей, уносивших с собою все свое имущество, уводивших за руки малых детей, я подумал о том, что не иначе, когда-то, предки наши отправляли из Города избыток жителей и ветеранов в свои новые колонии.

Никто в толпе не жалел о покидаемом селении, которое, впрочем, для многих было лишь привалом в пути на несколько дней, но все шли шагом бодрым, не жалуясь на часто тяжелую ношу, продолжая свои разговоры, прерываемые смехом и песнями. Можно было представить, что люди идут в соседнее селение на годичный праздник в честь какого-нибудь веселого божества, где им предстоит лишь пить вино и плясать до поздней темноты, а не в укрепленный стан, чтобы там оборониться против натиска Римского легиона. С первой же мили я приметил, что без присмотра меня не оставили, так как рядом со мною оказался не отстававший от меня ни на шаг апостол Фаддей, старик, с лицом морщинистым и загорелым, словно неискусно вырубленным из дерева. Первоначально я смотрел косо на своего неотступного стража, но потом, скучая в пути, уступил его попыткам вступить со мною в беседу, хотя скоро должен был отказаться от надежды что-

либо от него узнать, так как невежество и легковерие этого старика поистине были шире самого моря.

— Да, брат Иоанн,— говорил он мне, выговаривая слова грубо, как все реты,— счастие нам выпало такое, какого нельзя было ждать. Святые мученики нам позавидовали бы! Легко ли сказать,— мы в апостолах! Притом первый-то раз сходил Христос в унижении, чтобы пострадать, а теперь грядет со славою и в торжестве. Исполнится пророчество, и мы воссядем на двенадцати престолах судить двенадцать колен израильских.

Фаддей, как дальнейшие его речи мне показали, разницы между Христом и Антихристом не понимал, Рею почитал девой Марией, воплотившейся вторично, истинных размеров земного круга не подозревал и был уверен, что добрая половина империи примкнула к восстанию, что через несколько дней все войска Грациана будут нами истреблены и мы вступим торжественно в самый Рим. Разубеждать апостола у меня не было оснований, и потому возражать я ему не пытался, что не мешало ему, послушно исполняя обязанности моего стража, восторженно рассказывать о чудесах, на его глазах сотворенных Царицей, о помощи ангелов в бою с легионариями, о радостности той жизни, какую теперь ведут люди новые и которая есть уже прообраз блаженства праведных в Раю.

— Думаю,— наивно заметил он,— что нам живется лучше, чем героям в полях Элисийских. Да и как же могло быть иначе? Время ли нам поститься, когда с нами жених наш?

Дорога наша, перейдя долину, углубилась в горы, становясь все уже, и нам постоянно приходилось то одолевать трудные подъемы, то переходить ручьи, то пробираться сквозь сросшиеся кустарники. Подобно мне, все другие, вероятно, тоже ощущали усталость от ходьбы, да и Титан, стоя высоко в небе, палил жестоко. Поэтому около полудня был сделан на небольшой луговине привал, и из вьюков достали наши съестные припасы, все тот же грубый хлеб, и козий сыр, и вино, но наши люди были этому обеду рады, как пиру Лукулла. Радостно все разместились на нежной, душистой траве, пропели, как приапическую песню, какие-то молитвы и, запивая неприхотливую пищу прошлогодним вином, тешились, как члены какого-нибудь братства, вышедшие на увеселительную прогулку. Перед началом этого пира Реа, обходя сидящих, с важным лицом благословляла их обед, и многие оста-

лись в убеждении, что такое благословение совершило чудо: благодаря ему скудных запасов достало на всех, все ели, насытились и еще собрали остатки в корзины.

После обеда еще часа два мы должны были идти вперед, взбираясь все выше и выше, пока вдруг с одного поворота не открылся нам, в своей синей красоте, Комацей. Молча, но со сладостным восторгом, я приветствовал «тебя, о, Ларий великий»,— озеро, помянутое бессмертным поэтом, и все время, пока наша тропа открывала нам новые просветы на зеленоватую водную гладь, протянутую внизу, подобно безмерной полосе лучшего шелка, на прихотливые изгибы окружающих ее смарагдиновых склонов и смуглых скал, на всю пышность и многоцветность поставленной перед нами дивной картины, далью для которой служили снежные вершины, а рамой — безоблачное небо,— повторял стихи великого Мантуанца:

Нет, ни Мидийцев земля, богатая лесом, ни пышный
Ганг, и не ты, о, Герм, от золота мутный, не смогут
Спорить с Италией славой, ни Бактра, ни Инды, ни даже
Вся, что песками тучна, приносящими ладан, Панхэя.

Но толпа, шедшая со мною, в которой многие были, впрочем, уроженцами этих гор и с детства привыкли к красоте страны, не обращала внимания на величие зрелища, и хор все пел свой нелепый гимн, восхваляющий богатство Иерусалима нового, сходящего от бога, где стены будут из ясписа, врата — двенадцать жемчужин, в основаниях — яспис, сапфир, халкидон, смарагд, улицы — чистое золото, строения — прозрачное стекло.

Увлеченный созерцанием и мыслями о Италии, царице мира, я не приметил, как мы приблизились к цели нашего путешествия. То был сравнительно большой поселок, почти похожий на городок, разместившийся на широком уступе горы, отвернувшемся от озера. Площадка сзади была действительно загорожена высокой, почти отвесной скалой, и казалось, что к Новому Селу есть лишь один доступ — по узкой тропинке, крутыми извивами подходившей к нему с соседнего холма, через неглубокую лощину. Даже неопытному глазу становилось ясно, что это место, с военной точки зрения, защищено самой природой и что небольшой отряд легко здесь может обороняться против натиска неприятеля, сильнейшего вдесятеро.

В Новом Селе ждали нашего прибытия, так как о нем известили посланные вперед гонцы, и когда приближение наше было замечено сторожевыми, на край горной пло-

щадки выбежали люди, издали представлявшиеся маленькими куколками из глины, махали руками и, вероятно, кричали приветствия. В нашей толпе все, словно забыв усталость, отвечали тем же, также махали руками и древками с изображениями Змия, кричали что-то и присоединяли свои голоса к пению девушек, так что скоро образовался нестройный хор из сотен голосов. В то же время невольно мы зашагали быстрее, спеша к отдыху и желанному приюту.

На полдороге, где начинался подъем, нас встретили выбежавшие вперед жители Села; они падали ниц перед мулом, на котором ехала Реа, бросали у ее ног зеленые ветви и кричали: «Благословенна идущая во имя господне!»

По мере приближения к Селу толпа возрастала, и наше шествие опять обратилось в триумфальное, потому что эти люди новые были готовы ликовать и торжествовать по всякому поводу. Я же тщательно наблюдал за Реей и видел, что поклонения она принимала как должное, с тем сознанием своих заслуг, с каким Флакк приглашал Мельпомену увенчать его Дельфийским лавром, и в ответ на восторженные клики только наклоняла немного голову, как император перед чернью. «Ты ли это,— думал я,— бедная, безродная девушка, которую в Римском Порте защитил я, юноша-путешественник, от наглости сирийца, который почитал себя в воле делать с тобою, что ему вздумается?»

Медленно подъехала Реа к домику, уже приготовленному для нее, и у дверей Петр, опять с величайшей почтительностью, помог ей сойти на землю. Обратившись к стоящим поблизости, Реа сказала:

— Мы все — сестры и братья. Дом каждого из нас — дом другого. У нас нет иных врагов, кроме тех, кто не с нами. Пусть же сестры и братья радостно принимают к себе сестер и братьев. Вы все — сыны божии по вере в нас, и потому все друг другу родные. Итак, одни входите в дом, как к отцу, к сыну, к мужу или жене; другие встречайте входящих, как родителей, как детей, как супруга или возлюбленную, бывшую в отсутствии. Ныне радуйтесь все, что вы вместе!

После этих слов Реа вошла в дом с Фивой и Агной, а наша толпа, исполняя указание Царицы, рассыпалась по селению, и каждый выбирал себе дом и сожителей по своему вкусу. Женщины радушно звали к себе мужчин и тут

же протягивали уставшим с пути чаши с вином, старики, кряхтя, сваливали свои котомки у случайного порога, женщины, беспечно бросив своих дневных спутников, выбирали более статного из юношей, наперерыв звавших их в свое жилище. Уже и я готов был последовать общему примеру, когда подошел ко мне Петр, всюду успевавший, и сказал мне голосом, возражений не допускавшим:

— Брат Иоанн! тебе приготовлена комната, где ты будешь жить с братом Фаддеем: так решила Царица.

Меня провели на самый край Села, где в небольшом домике часть была отгорожена для нашего жилья и где старик Фаддей уже положил свою мантику. Подумав, я решил, что мне благоразумнее не противоречить пока желаниям Реи, и, так как меня оставили одного, тотчас лег отдохнуть, после нелегкого перехода, на одну из деревянных скамей, составлявших все убранство моего нового дома. В те минуты я решительно проклинал свое юношеское безрассудство, сделавшее меня пленником христианских мятежников, заведшее меня в неизвестные мне глуби Альпийских гор, удалившее меня от Гесперии, с которой я мог бы быть вместе в этот самый час. Мысли невеселые стали опять надо мною кружиться, как в летнюю жару язвительные комары, и я сам осыпал себя горестными и бесполезными упреками, вытянувшись на жестком ложе, слушая гул радостных голосов, который летел ко мне и с улицы, и из домов, переполненных вновь пришедшими и местными жителями Села.

Конечно, обдумывал я и способы побега, но ни к какому окончательному решению не направил моих мыслей благосклонный бог, и только одно обещание я торжественно дал себе: не поддаваться более чародейственным соблазнам Реи.

— Венера Небесная! — молился я,— ты, царящая на морях, знаешь глубины души человеческой и видишь, что нет во мне другой любви, как к прекрасной Гесперии. Пусть она меня оскорбляет, коварно со мною обращается, посылает меня на гибель,— я ей хочу быть верным. Охрани же меня, Эриципа, от подводных камней и мелей, от опасных скал Пахина, о которые может разбиться корабль моей любви, потому что жажду я его сохранить, как мой дар тебе.

Но и в тот день Аматусия не вняла моим мольбам,или уже sic erit in fatis, только все вновь совершилось в том же порядке, как накануне. Через некоторое время меня выз-

вали на общественный пир, на этот раз устроенный на земле, так как в Селе не было достаточного числа столов для всех собравшихся. Опять происходило общее пьянство и ликование, в котором я всячески старался не принимать участия, опять, при свете звезд и факелов, началось странное богослужение, которое, может быть, всего более напоминало женские мистерии в честь Приапа; опять я увидел Рею, в час, когда она говорила к народу и выполняла чудовищные обряды,— преображенной, как если бы было в ней два существа: дневное — простая, некрасивая, хотя и разумная девушка, играющая, как в театре, роль Царицы, и ночное — неодолимая соблазнительница, постигшая чары и зелья фессалийских колдуний, умеющая казаться прекрасной и возжигать в сердце такое пламенное желание, которое подобно боли от кинжальной раны, и чтобы бороться с которым надо иметь силы Алкида или ту помощь, какую своему Ипполиту давала божественная Делосская Охотница.

Словно некий сон развивался перед моими глазами, по мере того как все ускоренное бежали минуты вечернего часа, посвященного обрядам в честь Пришедшего, или словно тайная отрава разливалась в моей крови, по мере того Реа из сомнительной Царицы полудикого сборища превращалась в исступленную жрицу и безумную пророчицу, и опять, на виду у зачарованного множества, с мерными движениями служительницы алтаря, сладострастно целовала обнаженно-прекрасное тело отрока Люцифера. Должно быть, и другие поддавались действию того же волшебства, потому что я видел, как преображались простые и грубые лица колонов и пастухов, днем покорно и усердно выполнявших трудные работы, как то ненасытной похотью, то несказанным восторгом воспламенялись их взоры и как женщины, недавно представлявшиеся скромными, или чуждыми всякой страсти, или перешедшими ее возраст, а с ними даже мальчики, едва ли понимавшие слово любовь, и девочки, которым было бы рано приносить свои игрушки к ногам пенорожденной богини, вдруг как бы вовлекались в неистовую пляску вакханок, сами тянули руки к объятиям, ласк требовали насильственно и искали их бесстыдно, готовые, подобно своим древним сестрам, растерзать в клочки сопротивляющегося Орфея. Как стрелы далеко разящего бога, некогда разносившие смерть по Ахейскому стану, во все сердца вонзались здесь стрелы вожделения, и это торжество Афродиты-всенародной, под

нежданной личиной проникшей в круг исповедников новой веры, делало понятным, что их побуждало разорвать узы семьи, отречься от прежней мирной жизни, обречь себя тягостным трудам и грозным опасностям, вплоть до самой смерти, и объясняло бесхитростные слова, сказанные мне утром апостолом Фаддеем: «Думаю, что нам живется лучше, чем героям в полях Элисийских».

В тот день, как накануне, поддался я заразе общего безумия, снова моему сбившемуся с пути разуму показалось самым страшным — отдать поцелуи Реи-Царицы другому, и моим ослепленным чувствам представилось самым желанным — еще раз изведать непонятную остроту ее ласк. Словно верный последователь почитания Змия или Пришедшего, послушный ученик тех выдумок, которые, путая учения философов и мечты Зороастра, излагала Реа, я опять признал себя братом избравшей меня сестры и не противился ее искушающей воле. Но все же в глубине души уже в ту ночь я понял, что гибну, как гибнет человек, нечаянно забредший в трясину и почувствовавший, что обе его ноги ушли в вязкую топь.

VI

После того проходил день за днем, повинуясь велениям старого Сатурна, и у каждого, как у древнего друга этого бога, было два лика. Время до заката солнца было посвящено работам, главным образом военным упражнениям и возведению укреплений для обороны Нового Села; часы после захода — безумным богослужениям и произволу страстей. И тщетно было мне повторять всем известный стих: «А между тем бежит, бежит невозвратимое время!» — тина засасывала меня все глубже.

В Новом Селе всего собралось не меньше шестисот человек, из которых много больше половины было мужчин. Конечно, едва ли не для трети — места в домах не нашлось, и эти проводили ночь под открытым небом, пользуясь тем, что наступало лето, хотя в этот год погода стояла не совсем теплая. Но радости каждого вечера, превращавшие для людей новых каждый день в праздник, как для фламинов Юпитера, свобода той жизни, которую установила в своей общине Реа, и безрассудная вера в конечное и скорое торжество над всеми врагами, которую она сумела внушить, делали то, что никто на лишения не жаловался,

все с рвением величайшим относились к своим обязанностям и без возражений выполняли те приказания, какие от имени Царицы и совета старейшин отдавал Петр. Если были в среде наших людей распри, то они возникали только из споров о вере, когда, словно на одном из тех совещаний, которые под именем соборов любят устраивать христиане, часть начинала прославлять истинность учения о божестве Змия, а часть поучать о тайне бытия Пришедшего, и грубые селяне, не умея разобраться в хитростях диалектики, от логических доводов переходили к доказательству своей правоты кулаками. Но такие столкновения первое время, когда всем жилось благополучно, легко успокаивал своими повелительными разъяснениями Петр или, в крайнем случае, Реа, решения которой всеми выслушивались как божеский голос из Додонской листвы.

Почти каждодневно небольшие отряды, преимущественно юношей, отправлялись на добывание припасов, спускались с нашей горы, прокрадывались или врывались в дальние селения, не примкнувшие к мятежу, переезжали в лодках через Ларий, доходили до округа Авсуции или на юг до Кома и даже дальше, и возвращались с желанной добычей, принося в Село ковриги недавно испеченного хлеба, прикатывая бочки вина, залежавшиеся в домашних погребах, пригоняя баранов, иногда и быков. Такие разбойничьи набеги тешили отвагу нашей молодежи и поддерживали жизнь всей общины, члены которой, освободившись от всем надоевшей повседневной работы, давившей прежде ярмом их жизнь, теперь ни в чем не знали недостатка и, сытые и пьяные, могли вольно предаваться очередным оргиям. Не удивительно поэтому, что вера в среде людей новых не ослабевала, что все более и более убеждались они в божественности откровения, принесенного им Царицею, что на самое Рею они смотрели как на посланную с неба, чтобы открыть двери той темницы, какой раньше было их существование, и ввести их заживо в сады блаженства.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы жизнь в Новом Селе проходила в праздности, так как, по настояниям Реи и Андрея, Петр всех заставлял усердно готовиться к неизбежному нападению Римского войска. Все мужчины, словно в постоянном лагере, учились владеть оружием, метали в цель копья, стреляли из лука, бились друг с другом на мечах, по ночам стояли, поочередно, на страже. В то же время единственную тропу, ведшую к Новому Селу, мы

перегородили высоким валом, сложенным из камней, вышиною в два человеческих роста, причем площадка на вершине была еще защищена деревянным портиком с бойницами. Поблизости поместили, под прикрытием выступающей скалы, откуда-то добытую старую ручную баллисту, управление которой было Петром поручено не кому другому как мне. То возвышение, на котором баллиста стояла, у нас называли горой Фавором, ручей, протекавший через Село и кидавшийся водопадом в пропасть,— потоком Кедроном, скалу, замыкавшую нас с севера,— Синаем.

Как-то неприметно заботы нашей жизни становились мне не чужими, и если первые дни я медлил в стане мятежников потому, что меня стерегли и я не знал, какой мне избрать путь для бегства, то позднее, когда надзор надо мною ослаб и с окружающими местностями я несколько ознакомился, меня удерживало только то странное оцепенение воли, которое всегда мною овладевало в присутствии Реи. Первое время я почти каждый день говорил себе, что уйду завтра, но искушающее желание провести еще одну ночь с Реей всегда заставляло меня откладывать исполнение своего замысла, и услужливый ум придумывал ряд оправданий, вроде того, что я все же способствую нашему делу, поддерживая попытку мятежников, или что теперь Гесперия уже покинула Медиолан, и мне должно переждать неделю, чтобы встретить ее в Виенненской провинции. Я даже, как ни казалось мне первоначально постыдным готовиться к истреблению Римских легионариев, деятельно занялся вверенной мне баллистой, изучил устройство этой военной машины,— отнюдь не досягавшей высотой до неба,— и долгие часы проводил, приучая четырех юношей, данных мне в помощники, к меткой стрельбе, по-детски радуясь на их успехи.

Среди жителей Села, обращенного в воинский стан, я, впрочем, не сдружился ни с кем, так как мне были чужды эти грубые люди, вдобавок сбитые с толку призрачными мечтами о предстоящем им величии. В их головах, привыкших думать лишь о простом и близком, пророчество о царстве Антихриста превращалось в ожидание роскошных домов, где они каждый день будут пить вина вволю, а хитрое учение о том, что должно умножать грех, чтобы приблизить час Страшного суда,— в призыв убивать людей богатых и образованных и грабить их имущество. Мне становилось нестерпимо, когда какой-нибудь горный па-

стух, некстати приводя слова из Посланий апостолов, начинал уверять меня, что скоро мы будем пировать в Золотом Доме, а бывшие префекты, квесторы, комиты, дуксы станут нам прислуживать. Перед подобными людьми мне даже нравилось играть несвойственную мне роль Иоанна, брата Царицы и любимого ученика Господина, и я приучился держать себя с толпой, как начальник. И только с одним Люцифератом порою я беседовал охотно, так как прекрасный отрок не мудрствовал, а просто скучал в нашем уединении и искренно меня полюбил за то, что я с ним говорил не как с богом, но как с другом, и целовал его не благоговейно, но страстно.

Впрочем, встречи и беседы с моим Антиноем мне приходилось по возможности скрывать, потому что Рее они не нравились: ей хотелось сохранить меня для себя одной. В Селе она была еще более одинокой, нежели я, и только наедине со мною решалась приподымать ту театральную маску, в которой выступала перед другими. При этом разительную перемену примечал я в Рее сравнительно с тем, какой я ее знал в Городе и в Медиолане. Она стала рассудительнее и спокойнее, и та восторженность, которая прежде почти никогда ее не покидала, теперь проявлялась лишь в отдельные часы, особенно на богослужении и пред народом. Тогда опять она была «полна богом», и ее речь лилась как варварская, но пышная поэма, потрясая слушателей неожиданными сопоставлениями и сравнениями, которых не предусмотрел бы никакой профессор реторики. Напротив, оставаясь со мною, Реа иногда совсем лишалась сил, вся окружающая ее таинственность рассеивалась, как облако, скрывающее бога, и я убеждался, что она тоже — обыкновенная женщина, со всеми обычными слабостями человека.

Однажды перед нашим храмом возник ожесточенный спор между Филофроном с его друзьями и апостолом Фомою с приверженцами Реи относительно того, когда именно наступит по всей земле царство Пришедшего. Филофрон, как человек более разумный, поучал, что высшая Мудрость постепенно отнимает владычество у сына Хаоса, что часть народов преклонится пред нашим Люцифератом, но другие будут обращены лишь новыми мессиями, которым еще предстоит воплотиться. Фома, наперекор своему имени, не хотел слышать ни о каких сомнениях и настаивал, что, по пророчествам, именно при Августе Грациане наступит конечное торжество людей новых. Спорящие спа-

чала довольствовались силлогизмами и ссылками на священные книги христиан, но потом начали кричать и браниться, и, так как толпа кругом возрастала и шумела угрожающе, понадобилось вмешательство Реи. Она торжественно вышла к противникам на порог храма, выслушала их доводы, подумала и объявила, как оракул:

— О тайнах спорите вы, и не вам разрешить их. От воплощения Слова до торжества Пришедшего должно пройти 3 333 333 часов, дневных и ночных,— и этот срок уже на исходе. После на такое же время должно утвердиться царство Восстающего из мрака. Кто способен слышать, услышит.

Толпа выслушала этот приговор в молчании, и люди стали расходиться, опустив головы, соображая и вычисляя. Когда же я вошел к Рее, она плакала, упав головой на скамью, и была в полном унынии.

— Я погибаю, Юний,— сказала она мне.— Мне стыдно самой себя. Я говорю к народу не то, к чему меня побуждает дух: я хитрю и лгу.

Я спросил ее, зачем она это делает, и Реа отвечала, продолжая рыдать:

— Пророчества были истинны, но я соблазнилась близким торжеством! Враждебные силы бродили кругом, чтобы обольстить меня, и я поддалась их обману. Свое дело я соединила с делом этих поклонников Змия, потому что их было много. Но не помощь я обрела, а тяжкий груз, который меня давит и сокрушит вконец. Вижу, что Рок в наказание отвратил от меня лицо свое, и чувствую, что это не я поведу людей к жизни новой.

Так в эту минуту мне было жаль девушку, плакавшую над кенотафием своих лучших надежд, что я как бы забыл все безумие ее мечтаний. Я опустился подле нее на колени, обнял и утешал ее, уверяя, что счастие к ней вернется. Словно сам уверовав в ее видения, я напоминал ей пророчества о близком наступлении нового века, и так Рее хотелось верить в мои слова, что она без негодования выслушала даже стихи Насона, которые я, забывшись, продекламировал:

Беспредельно и граней не знает могущество Неба.

И,— странное дело,— подобные сцены отчаянья Реи, которые повторялись не раз, вместо того чтобы вполне отвратить меня от дела, потерявшего смысл даже для его зачинательницы, более крепкими узами привязывали

меня к девушке, пути которой, против моей воли, перекрестились и слились с моими. Во мне вырастало, вместе с жалостью, упорное желание: вернуть Рее уверенность в себя, вновь сделать ее сильной и счастливой, вновь видеть ее лицо преображенным, как бы освященным молнией Юпитера. Эта почти отеческая забота о погибающей девушке и темная страсть, привлекавшая меня к ней в часы, когда связывала нас сама Цитерея, были столь непохожи на мое поклонение прекрасной и мудрой Гесперии, что одно чувство с другим в моей душе не сталкивалось, одно другое не оскорбляло, и я одновременно мог служить обоим, как двум богам единого Олимпа. По-прежнему следуя мечтой за путем Гесперии, храня в душе ее заветы и указания, по-прежнему на всю жизнь считая себя обреченным в жертву ее жестокости и коварству, я оставался близ Реи, способствовал выполнению ее замыслов, служил ее делу, и это было столь же естественно, как то, что свободная республика продолжала существовать при власти Августа.

Словно какой-то сон, наведенный чарами, длилась та моя жизнь, в которой я носил имя апостола Иоанна, но я не спешил и не стремился проснуться.

VII

Не знаю, сколько дней прошло в этом смутном сне, но понемногу ряд событий, не совсем неожиданных, нарушил обычный ход жизни в Новом Селе. Действуя медленно, но неуклонно, префект окружил все пространство, охваченное мятежом, и начал предпринимать походы против отдельных селений, разоряя их и истребляя жителей. К нам являлись, в испуге и отчаяньи, то гонцы из других селений, то беглецы оттуда, рассказывая про неистовства, совершаемые посланными против них когортами. Несколько наших отрядов, вышедших на добывание припасов, наткнулись на Римских воинов и были истреблены. Наконец, префект занял противоположный берег Лария и сделал для нас невозможным переправляться туда за добычей. Понемногу в нашем Селе стал ощущаться недостаток в хлебе и, что было для нас всего тягостнее, в вине.

Пока длился наш беспечный праздник, враги Реи, преимущественно сторонники поклонников Змия, не смели поднять головы и без возражений подчинялись власти

Царицы. Но как только начались затруднения, тотчас выступили хулители, которые сначала осторожно, потом более открыто стали обвинять Рею в том, что своим бездействием она всем готовит гибель. Поклонники Змия говорили, что прежде, таясь от императорских соглядатаев, они жили мирно и безопасно исповедали свою веру; теперь же, когда их принудили к явному восстанию, им нечего ожидать, кроме копья легионария и плахи палача. Люди собирались на улицах, громко обсуждали положение, злобно жаловались на лишения и Царицу уже не встречали более с тем безграничным преклонением, как прежде.

В один из дней, для нас особенно неудачных, когда припасов в Селе было так мало, что мы не знали, чем прокормить жителей, а в то же время к нам прибыло десятка два пастухов, так как воины префекта преследовали их, как диких зверей, устроена была попытка возмущения. Толпа заговорщиков, преимущественно стариков, окружила дом, где мы, апостолы, собрались, как обычно, чтобы вести суд и обсуждать дела, буйствовала, кричала угрозы. К шумящим вышел Петр, но его строгие окрики и суровые повеления цели не достигли, и люди продолжали бесчинствовать, называя нас тиранами и предателями. Тогда Реа, в порыве негодования, который всегда делал ее прекрасной, появилась на пороге, бледная, как бог Страха, ударила о доски змиевидным жезлом, который держала в руке, и гневно спросила, на что жалуются собравшиеся.

Так сильно было обаяние Реи, что, едва она стала в лицо заговорщикам, те смутились и смолкли, и только после молчания выступил старик Лука и стал говорить:

— Мы недовольны,— сказал он.— Не ту жизнь мы здесь ведем, как достойно. Разве мы для того бросили наши дома и семьи, чтобы сидеть в горах, терпеть лишения, а порою пировать? Пусть апостолы, как в старину ученики Христа, идут и проповедают новое учение по всей земле.

— Вы, значит, не веруете в Пришедшего? — спросила Реа, еще более бледнея.

— Веруем и исповедуем,— твердо возразил Лука,— только мы веруем, постигнув истину учения, и потому хотим ее проповедать другим. А вы соблазняете малых сих, прельщая их тем, что здесь каждый, что ни ночь, избирает себе новую жену. Берегитесь,— не о вас ли написано, что лучше такому человеку надеть на шею мельничный жернов и утопиться в пучине морской!

Дух Пифийский нисшел на Рею, и она заговорила:

— Безумный! хулящий учение вечное, проповедь спасения, обетование блаженства! Ветхий закон ты помнишь, нового же не разумеешь. Слушайте, что сказал апостол древний: Закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа. Так вы, люди новые, умираете для закона Ветхого, чтобы принадлежать другому, и нет для вас соблазна ни в чем, и ни в чем греха. Никакого нет на вас обязательства, или только одно: жить в радости. Люди новые должны быть счастливы и во всем творить волю свою, не заботясь ни о чем, ибо Отец небесный сам позаботится об них. К свободе призваны вы, братия, и против нее ли вы восстаете? Чего хотите? — нового рабства? Тело и душу вашу мы расковали, но вы вновь возжелали цепей и скорпионов. Что ж! покиньте нас, возвращайтесь в города, преклоните выю пред ложно именующим себя императором, сносите всяческие унижения, даже до побоев. Но знайте, что отымется у вас владычество над миром и отдано будет другим. Если вы не верите каждому моему слову, я — не Царица вам и вы — не братья мне, нет между нами союза, и я пойду к другим благовествовать им спасение.

Реа сорвала диадему с своей головы, бросила наземь жезл и, думаю, была в этот миг похожа на Великого Македонца, когда он гневно отсылал свои войска на родину и грозил, что один пойдет к Гапгу — покорять Индию. И хотя речь Реи не вполне отвечала на сомнения и упреки стариков, такова была ее власть над умами, что буйствовавшие, словно пристыженные дети, смолкли, опустили глаза, просили прощения, иные даже став на колени. Возмущение затихло, и вечером в тот день, после весьма скудного обеда, опять совершилось торжественное богослужение, и опять народ предавался всей свободе, которую и разрешала и требовала новая вера.

Тем не менее положение наше становилось день ото дня хуже, почти все проходы в горах были заняты отрядами префекта, и почти негде было добывать пропитание для жителей Села. Нам явно грозили бедствия осады, и я не без тревоги вспоминал рассказы о страданиях, пере-

житых Сагунтом, когда его обложил величайший из врагов Рима. Даже некоторые из апостолов говорили открыто, что мы сами готовим себе гибель, и первый Андрей бесстрашно нападал на Петра, обвиняя его в нерадении или измене.

Наконец на одном из наших военных советов дошло до открытой ссоры.

Когда Петр предложил послать отряд юношей с тем, чтобы он прокрался в Римский лагерь и там попытался добыть для нас припасы, Андрей воскликнул с презрением:

— Только детей можно обольщать такими выдумками! Ты, верно, хочешь, чтобы всех нас перебили по очереди! Зачем нас держать столько времени здесь, взаперти, словно свиней, откармливаемых на убой? Братьев наших в других селениях избивают, община наша уменьшается, об апостолах, посланных в дальние местности, нет вестей. Чего же мы ждем: чтобы Римляне добрались и до нас? Завтра же мы должны всем народом выйти отсюда, ударить во врагов, и те легионы сил, о которых нам говорила Царица, даруют нам победу!

Андрея поддержал Фома, который всегда был сторонником мер решительных, и Фаддей, который считал наши жалкие силы неодолимыми. Петр, в речи, построенной умно, возражал им, напомнил, что сходные укоры делались и Фабию Кунктатору, который, однако, спас республику; потом разъяснил, какое преимущество для нас заключается в том, чтобы обороняться, а не наступать, и доказывал, что мы, если потерпим еще немного, истощим все силы Римского легиона, заставим префекта отступить в долину и тогда быстро наверстаем потерянное. Но спорящие не хотели слушать Петра, нападали на него все яростнее и беззастенчивее, и он в конце концов им сказал:

— Если вы не хотите меня слушать, я замолчу. Я один среди вас знаю, что должно делать, и веду вас к торжеству. Но так как вам хочется погибнуть, идите одни, а я с этого часа от руководства делами отказываюсь.

Сказав так, он отвернулся от других и не хотел более говорить, словно Ахилл, оскорбленный в собрании Ахейских вождей, но это Андрея привело в исступление, и он закричал:

— Ты замолчал, потому что тебе говорить нечего, потому что мы твои ковы разгадали! Я давно догадывался, что ты подослан императором, чтобы погубить нас, и потому нарочно заманил в эту дыру. Ты полагаешь, мы не

знаем, что ты даже тайно сносишься с префектом! Ты не апостол, но предатель, и заслуживаешь одного — казни.

Тут поднялся неистовый шум, все вскочили с мест, одни защищали Петра, другие его проклинали и устремлялись на него, как когда-то в курии сторонники Брута на Цесаря, но Петр оставался спокойным и, среди общего смятения, продолжал сидеть неподвижно, презрительно озирая собрание. В порыве гнева старики колоны, забывая латинские слова, выкрикивали свои ругательства на местном наречии, Фома, как одержимый Демоном, размахивал руками и чуть не плясал, то набегая на Петра, то отступая под его строгим взором. Андрей даже схватил тяжелую скамью и замахнулся ею. Опять смятение успокоила Реа, которая своим телом загородила Петра и сказала:

— Как вы смеете бесчинствовать в моем присутствии? Кто я для вас? Не Царица ли я? Не свободна ли я в своем выборе? Если для других я не Царица, то для вас Царица, ибо печать моей царственности — вы в Господине нашем. Я избрала Петра апостолом, и я отвечаю за него. Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Кто властен указывать мне и богу? Мне известно, кого поставить апостолом, а вам неизвестно. Повинуйтесь, а не мудрствуйте, ибо пути, которыми мы вас ведем, выше вашего понимания.

Слова Реи заставили всех притихнуть, и поднятые руки опустились, но так как ропот продолжался, она добавила пророчески:

— Ждать вам осталось недолго: ныне говорю вам — трижды не взойдет солнце, как вы увидите свое торжество над врагами!

Этот последний довод убедил всех, старейшины медленно расселись по своим местам, избегая смотреть друг на друга, и военный совет возобновился. Но, словно отдав все свои силы на миновавший взрыв, апостолы более не возражали ни на что и теперь без спора согласились с предложениями Петра. Он вышел с собрания, высоко держа голову, как победитель, но я подумал, что, как эпирскому царю, ему было больше славы, чем радости от победы.

Когда в тот день, после богослужения, мы остались вдвоем с Реей, я, выбрав подходящее время, заговорил с нею о Петре и сказал ей, что обвинения Андрея мне представляются справедливыми.

— Мне самому давно подозрителен Петр,— говорил я.— Он не верует ни в Христа, ни в Пришедшего, ни даже в Юпитера,— ни в какого бога. Какие же выгоды может получить от союза с нами этот человек, хитрый, знающий, умный? И его распоряжения, с виду дельные, действительно ведут к тому, чтобы усыпить нашу осторожность и дать возможность префекту одним ударом захватить и тебя, и юношу Люцифера, и с корнем исторгнуть все восстание.

Хотя Реа в ту минуту была возбуждена недавним служением, на котором она, как всегда, говорила к народу, и хотя наш разговор происходил в час ласк, когда, соединив объятия, мы приникали друг к другу на нашем жестком, деревянном ложе, едва прикрытом бараньей шкурой,— девушка, услышав мои слова, задрожала; руки ее разомкнулись, я угадал во мраке, что ее голова упала на грудь, и чуть слышно она прошептала:

— Ты прав, Юний: он нам враг, он эмиссарий Грациана...

— Тогда зачем же ты защитила его сегодня! — воскликнул я.— Надо завтра же объявить народу и старейшинам, что ты уверилась в правоте Андрея. Петра мы схватим, будем судить, казним, избавимся от опасного врага...

Реа тихо мне ответила:

— Часто бог ведет нас к торжеству путями, которые нам непонятны. Орудие гибели он может сделать орудием спасения. Думая уничтожить нас, этот Петр, быть может, подготовит наше торжество. Он один среди нас знает военное дело, и он один способен руководить сражением. Верю, что козни его распадутся во прах, и сам он удивится, увидев, что послужил к прославлению Пришедшего.

— В твоих словах есть противоречие, Реа,— возразил я.— Сколько раз ты мне говорила, что полагаешься не на силу оружия и не на искусство вождя, а на помощь незримых воинов. И сейчас еще ты вверяешься таинственной силе, которая обратит к добру злые замыслы и коварные козни. Как же при этом ты возлагаешь какие-то надежды на знания Петра, на его умение начальствовать в сражении, на все эти земные ухищрения? Будь смелой, верь только себе и своему делу, и не позволяй себя обманывать, если ты знаешь, что это — обман!

Девушка еще более уныло проговорила:

— Милый Юний, эту веру в себя я теряю. Все, что было истинно и прекрасно в малом кругу, стало иным, когда

я пришла к народу. Притворство и ложь опутали меня своими сетями, и я не вижу, каким способом вернуться к истине!

И вдруг, с настоящим отчаянием, она воскликнула:

— Боже мой, боже мой, почто ты меня оставил!

С этим криком она залилась слезами, упала ничком на постель и билась в рыданиях, потому что скорбь, которую пред людьми ей приходилось сдерживать, нашла свой выход, и, в последней безнадежности, Реа повторяла сквозь плач:

— Гибну, гибну, и все гибнет!

Мы были вдвоем в маленьком домике Реи, где ставни у окон были закрыты, и луцерна погашена, так что непроницаемая тьма окружала нас. Но я как бы видел перед собою маленькое худенькое тело девушки, содрогающееся от судорог, лицо, все залитое слезами, обезумевшие глаза, которые больше нигде не встречали света спасительного маяка. Припикнув к Рее, ощущая грудью теплоту ее груди, чувствуя близ себя все ее тело, ласка которого исполняла меня радостью единственной, я в ту минуту опять испытывал лишь одно: желание утешить плачущее дитя, спасти эту девушку, дать ей полное исполнение ее безумных грез.

Я сказал:

— Реа, Реа, успокойся, приди в себя. Ты меня призвала, как помощника, и я им хочу быть. Дни настали решительные, надо действовать без колебаний. Завтра же мы обличим предателя, и завтра же мы начнем наше дело сначала. Ничего еще не потеряно, и мы еще восторжествуем.

Но вдруг Реа, в неизъяснимом ужасе вырвавшись из моих объятий, соскочила с постели, бросилась прочь, пробежала несколько шагов по комнате и с подавленным криком упала на пол. Я поспешил к ней, высек огонь и зажег лампаду. Реа полусидела на полу и озиралась кругом дико, руками судорожно перебирая свои распущенные волосы.

— Что с тобою? — спросил я в невольном испуге.

— Ты ничего не слышал? не видел, Юний? — спросила девушка.

Я ответил, что нет, и Реа, трепеща, передала мне, что внезапный луч пронизал тот мрак, в котором мы лежали, что некий муж, в сияющем облачении, предстал пред ней, подобный тем, что христиане рисуют на своих изображе-

ниях святых, и протянул ей свиток, на котором было написано буквами кровавого цвета: «Завтра ты умрешь». Рассказывая это, Реа содрогалась, как если бы над ней уже был занесен разящий меч, и никогда я не видел такого выражения ужаса, как на ее лице, члены ее ослабли, как у сонной или мертвой, и она едва понимала то, что я ей говорил,— состояние, которое где-то верно описал Цесарь.

Как ребенка, я перенес Рею опять на постель и употребил все усилия, чтобы успокоить и привести в себя. Но девушка долго не могла освободиться от страшного воспоминания, и все ей казалось, что сейчас опять появится лучезарный вестник, вóзвещающий ей смерть. Я прибег ко всем доводам логики, чтобы доказать Рее, что страх ее напрасен, что видение было не предвестие, посланное некием богом, но лживый сон, гость, прилетевший из Тартара не через роговую дверь, но через дверь из слоновой кости. Я напоминал Рее, что в ту минуту, когда явился призрак, она лежала ничком, и, следовательно, представший существовал только в ее грезах, а не в действительности; что я, находившийся рядом, не видел и не слышал ничего. Не забыл я указать и на то, что ничто не предвещало нам опасности и что завтрашний день, по всем вероятиям, должен был пройти столь же спокойно, как сегодняшний.

Когда Реа несколько успокоилась и стала понимать мои рассуждения, я вернулся к прежнему разговору и вновь стал советовать освободиться от Петра, к которому сам продолжал чувствовать и ненависть, и скрытое раздражение. Потрясенная и утомленная, Реа на этот раз уже не спорила и только слабо возразила:

— Но они, люди, не станут подчиняться мне. Они все же видят во мне только женщину. Вести в бой должен, по их понятиям, мужчина.

Тогда я сказал, и в ту минуту говорить иначе не мог:

— Не бойся и не останавливайся перед этим. Ты забываешь, что с тобою я. Меня ты назвала Иоанном, любимейшим из учеников Господина. Это имя я принимаю и буду его достоин. Это я поведу людей новых на бой с нашим врагом!

Легкий румянец окрасил обычно бесцветные щеки Реи, и она, впервые в ту ночь, подняла на меня глаза радостные и исполненные надежды.

— Итак, ты опять — мой? — тихо спросила она.

— Я — твой, Реа,— ответил я,— опять и навсегда.

VIII

Мне, однако, не пришлось привести свой замысел в исполнение. На другой день, рано утром, нас с Реей, уснувших крепко после долгих ласк, разбудили тревожным известием, что в виду Села появились передовые разъезды Римского войска. Когда я вышел на улицу, Петр, с мечом у пояса, в шлеме, в пышном халкохитоне вождя, распоряжался там, раздавал вооружение, назначал места, где кому стоять, женщинам приказывал оставаться в домах и заботиться о раненых.

Было не время перед началом боя подымать неурядицу в наших рядах, и потому я ничем не выдал того уговора, к которому мы пришли ночью с Реей, предоставил Петру начальствовать, но решил следить за всеми его действиями и, по возможности, ни на миг его не выпускать из виду.

— Вот общее желание исполняется,— сказал Петр, завидя меня.— Мы будем сражаться с врагами. Ступай, выбери себе в складе подходящее вооружение и займи свое место у баллисты. Кстати, возьми обратно тот кинжал, о котором ты так жалел: сегодня он тебе может пригодиться.

Петр протянул мне кинжал Гесперии, и я взял его, без одного слова, но когда, невольно, я прочел надпись на его рукоятке: «Учись умирать»,— мое сердце сжалось.

По пути в склад оружия мне пришлось идти мимо храма, и, заметив, что Люцифер там один, я зашел поговорить с ним. Юноша был печальнее, чем обыкновенно, так как его пугало предстоящее сражение, он жаловался, что я не исполнил своих обещаний,— не бежал с ним из Нового Села,— а потом, между прочим, сказал:

— Сегодня меня совсем забыли, потому что со мною нет даже Марка: Петр услал его...

Марк был расторопный мальчик, приставленный к Люциферату для услуг, и, изумившись, что такого нужного человека могли куда-то отослать, я стал спрашивать подробности. Оказалось, что накануне вечером Петр призвал к себе Марка, и с тех пор его никто более не видел в Новом Селе. Я вспомнил обвинение Андрея, что Петр тайно сносится с префектом, и мои подозрения еще усилились.

В складе оружия я выбрал подошедший мне круглый шлем с перьями и небольшой круглый щит, а на правое бедро повесил испанский меч. Я не надел панциря, потому что непривычка к нему затруднила бы мои движения, и

не взял копья, так как не умел им владеть. В военном одеянии я был, вероятно, довольно смешон, хотя Фива, повстречавшись со мною, и сказала мне лукаво:

— Из тебя вышел очень красивый воин.

Скоро появилась и Реа, в своем алом платье, с змиевидным жезлом в руке; на ее лице не было следа ночных тревог, и она, напротив, казалась радостной, бодрой и уверенной в удаче, как никогда. Величественным шагом Царицы проходила она сквозь толпу собравшегося народа, в кратких словах всем пророчествуя о победе. Петр пошел ей навстречу и сказал:

— Ты, Царица, должна остаться в храме и там молиться о той помощи тайных сил, на которую мы надеемся.

— Нет,— возразила Реа,— мое место среди сражающихся: я буду с ними!

Потом добавила, обращаясь ко всем нам:

— Не была ли я права, говоря, что трижды не взойдет солнце, как мы увидим наше торжество?

Петр насмешливо улыбнулся, но ничего не возразил и стал разъяснять апостолам, что каждый должен делать во время нападения. Старики, нахмурив брови, внимательно слушали объяснения Петра, но, по-видимому, понимали плохо.

Так как к Новому Селу был всего один подступ по тропе, перегороженной валом, то там и была сосредоточена вся оборона. У левого края вала, на выступе скалы, стояла моя баллиста, около которой, за неимением свинцовых ядер, был сложен большой запас тяжелых камней. На самом валу были помещены три отряда: первый — лучников, которые должны были издали поражать неприятеля стрелами; второй — особых бойцов, назначение которых было в том, чтобы на подошедших близко сбрасывать камни, тяжелые балки и лить горячую смолу, и, наконец, третий — наших триариев, которым предстояло, под начальством Фомы, сражаться грудь с грудью с легионариями, если бы они взобрались на самый гребень укрепления. Внизу за валом, на который вели три лестницы, были поставлены свежие отряды, чтобы сменять усталых и убитых, и все мальчики из Села, чтобы служить гонцами и приносить сражающимся новое оружие и боевые снаряды. Всем этим было занято около двухсот человек, а другой подобный же строй ждал наготове, под копьем, своей очереди в глубине Села. И снова я не мог оспаривать распоряжений Петра, вполне дельных и полезных.

Утро прошло в томительном ожидании, которое, как сказал поэт, хуже самого сражения. За это время я несколько раз заговаривал с Реей, но она была, как опьяневшая, и повторяла только:

— Пришел час моей славы. Да прославится Отец в Дочери своей.

Чтобы вернуть Рею к действительности, я напомнил ей о ночном видении, но она возразила:

— То был соблазн Ненавидящего меня. Ложным видением он хотел ослабить мои силы. Но сбудется предреченное пророками. Вижу теперь, что моя судьба ведет меня к великому и что истинны пути мои. Наступает время владычества Пришедшего.

Других речей, кроме подобных восклицаний, я от Реи добиться не мог и оставил ее, занявшись своей баллистой.

Колесница Феба уже высоко вскатилась на склон неба, когда мы увидели первых врагов. На противоположном холме, от которого мы были отделены лощиной, показались всадники в одежде Римских воинов. Наши лучники тотчас пустили в них несколько стрел, но безуспешно, и всадники скрылись. Через некоторое время на том же холме появились скифские стрелки и, прячась за подвижными плутеями, в свою очередь, стали пускать стрелы в наше Село, но, так как расстояние было велико, их стрелы также или не долетали до нас, или бессильно падали на самом валу. Это ободрило всех, и в нашем стане громко смеялись над неудачей неприятеля.

Наконец, на том месте, где утвердились враги, произошло новое движение: вероятно, преодолев большие трудности, легионарии вскатили на холм небольшую катапульту, и нам было видно, как они ее заряжали, как навертывали канат на колесо, как целились в нашу сторону. В эту минуту я впервые ощутил дрожь страха, и мне стало стыдно, хотя я и объяснил себе свою робость просто непривычкой к военному делу. Мы все продолжали наблюдать за действиями Римских воинов, как вдруг с сильным шумом дротик ударился в вал, и на нас полетели комья земли. Почти тотчас же ударил второй дротик, потом третий, и я видел, как побледнели стоявшие около меня юноши. В конце концов, летучее железо нашло свою жертву,— один из наших, неосторожно выставившийся из бойницы, был поражен прямо в грудь и повалился навзничь, стуча щитом и шлемом, как о том прекрасно говорит Гомер: «на падшем доспехи взгремели».

Эта первая смерть на минуту произвела смятение в наших рядах, но Петр громким голосом остановил нескольких, побежавших было прочь. Он приказал всем лучше укрываться за портиком вала и ни в каком случае не выходить под удары стрел. Вместе с тем он распорядился, чтобы в самом Селе женщины запели наш гимн, и звуки этой веселой песни, которую повторяло горное эхо, действительно вливали новую отвагу в сердца. Уже беспечно смотрели мы, как безвредные дротики один за другим вонзались в укрепление, делая его похожим на спину дикобраза.

Я оставался со своим маленьким отрядом близ своей баллисты, и мы пятеро удачно прятались за выступом скалы, откуда хорошо было видно все поле сражения. Реа величественно сидела за валом, на большом камне, как статуя некоей богини, почти не шевелясь, не двигая рукой, в которой сжимала свой жезл. Петр, как истинный полководец, переходил от одного отряда к другому, поднимался и на вал, успокаивал, отдавал приказания.

Около часа передовые отряды префекта осыпали нас дротиками и стрелами, пока не убедились, что не могут этим нанести нам никакого вреда. Тогда послышался звук букцины, и на вершине холма стала строиться пехота. Вероятно, то была целая когорта, которая готовилась идти на приступ. При ярком солнце сверкали шлемы, четыреугольные щиты, выкрашенные все в желтый цвет, оконечности длинных копий легионариев, и было красиво их ровное движение, обращавшее собрание людей в одно целое. Я невольно сравнил это войско с толпою наших бойцов, одетых, кому как случилось, толпящихся нестройно, неумело подымавших свои клипеи, скуты, пармулы, даже пельты, бравших то в одну, то в другую руку самые разнообразные гасты, пилы, ланцеи, германские фрамеи, македонские конты, даже простые спары, или домашние топоры, и почти пожалел, что я не в рядах наших врагов. Плотно сомкнувшись, легионарии спокойно зашагали вниз по тропе, направляясь к нашим высотам, и грозно над их строем высился значок когорты с изображением вепря.

Тогда Петр приказал действовать баллистой; мы привели машину в готовность, положили в нее тяжелый камень, натянули вербер и спустили затвор. Так как много дней мы упражнялись в стрельбе в цель, то промаха не было, и, описав в воздухе дугу, громадная тяжесть рухнула в самую середину быстро двигающегося строя. У меня

при такой удаче захватило дух от радости, наши приветствовали восторженными кликами меткий удар, и нам было видно, как несколько человек из числа легионариев повалилось на землю; но другие продолжали идти тем же мерным шагом, опять сомкнув ряды.

Охваченный волнением военного состязания, которое испытывал впервые в жизни, я порывисто приказал вновь зарядить баллисту, и второй камень ударил в подступающего неприятеля, потом и третий, и четвертый. В то же время наши стрелки опять натянули луки и стали посылать вниз стаи стрел, из которых не все пропадали даром. Теперь это мы осыпали врага метательными снарядами, и ликовали, и кричали при каждом успехе. Уже на тропе, ведшей в наше Село, валялись страшно скорчившиеся тела в медных шлемах, но когорта, в полном молчании, неуклонно подвигалась вперед, только несколько ускорив шаг, чтобы скорее выйти из-под ударов.

Шагов за двести от нашего вала, когда камни баллисты стали уже бесполезными, легионарии остановились, подняли щиты над головами и, образовав таким образом «черепаху», стали стремительно подыматься наверх. Я до сих пор знал о сражениях лишь по рассказам великих историков и поэтов, и теперь, в первый раз наблюдая, как все это совершается в действительности, испытывал детскую радость и неодолимое любопытство. Я забыл, что сам принимаю участие в бою, все мне казалось какой-то веселой игрой, и, не думая о людях, сраженных, может быть, насмерть камнями моей баллисты, я только любовался стройностью и соразмерностью движений хорошо обученных легионариев. Говоря по правде, душою я был с ними, с этими Римскими воинами, преемниками тех, которые одерживали победы под Замой и при Тигранокерте, чем с толпой смятенных колонов и пастухов, ободрявших себя чуждыми мне криками: «Слава Пришедшему!», «Змий, свят образ твой!»

Достигнув вала, когорта пошла на приступ. Быстро были приставлены лестницы, и воины стали карабкаться вверх. На них наши, крича неистово, бросали камни и палки, лили кипящую смолу, но они, прикрывая голову щитами, все подымались. В десяти шагах от меня началась рукопашная схватка. Мне было видно, как копья втыкались в живое тело, как мечи разрубали плечи, как люди с воем и стоном валились на землю и оставались лежать в каких-то неестественных и смешных положениях. При

этом зрелище новый порыв страха охватил меня, я почувствовал, что бледнею, так как мне представилось ясно, что я испытаю, если вражеское лезвее вонзится в меня, и мне стоило больших усилий остаться на месте, а не броситься бежать прочь, ища защиты где-нибудь за домом. Но когда я боролся с этим постыдным чувством робости, я вдруг увидел, что Реа, в своем алом одеянии, делавшем ее целью всех ударов, появилась на гребне вала, среди бойцов, и, размахивая жезлом, что-то кричит им. В ответ на призывы Реи наши отвечают оглушительным криком, приветствуя Царицу. Убитых тотчас сменяют запасные, и, словно люди, издавна привыкшие к военному делу, эти простые селяне колют копьями, рубят мечами, подставляют щиты под удары, сталкивают наступающих в пропасть. Пристыженный примером Реи, я тоже, преодолев робость, приказал лучникам стрелять в задние ряды когорты, и стрелы опять посыпались на Римских воинов.

Неожиданно я увидел, что один из легионариев, отделившись от строя и правой рукой прикрывая, видимо, раненое плечо, быстро спускается обратно в лощину; через минуту за ним последовал другой, потом еще несколько,— и вот вся когорта обратилась в бегство. Я наблюдал, как центурионы, с золотыми фалерами на груди, пытались удержать бегущих, я слышал звук туб, призывавший к новому приступу, но уже ничто не могло остановить отступления. Неприятели бежали от нашего окопа, одни бросая щит, другие прикрываясь им от стрел, падали, вскакивали, карабкались на окружные уступы, позорно прятались в кустах. Не оставалось сомнения, что мы победили.

Реа, обернувшись с гребня вала к Селу, выкрикивала какие-то слова, которые за общим шумом нельзя было расслышать. Недавние бойцы, в порыве радости, обнимали друг друга и поздравляли с победой. Из Села прибежали женщины и тоже что-то вопили и махали руками. А я, забыв всякую осторожность, выступил из-за своего прикрытия и, охваченный негодованием к бегущим, кричал им зло и бессмысленно:

— Трусы! трусы! трусы! Вы — не Римляне! Это сброд скифов и сарматов! Позор империи, что у нее такое войско!

Когда все несколько успокоилось, когда бегущие удалились от нас на такое расстояние, что мы не могли достать их ни стрелами, ни камнями баллисты, а потом и

вовсе скрылись из виду, а в окружающих нас горах снова наступило безмолвие, мы все, оставив стражу на валу, собрались посреди Села на совет. Общее воодушевление к этому времени значительно упало, стоны и проклятия раненых, доносившиеся из домов, заставляли содрогаться, а еще не убранные тела убитых, валявшиеся около вала, красноречиво говорили об том, что может ожидать каждого из нас. Только Фома ликовал, приписывая себе всю честь победы, да Реа как будто не замечала ничего и, с глазами исступленными, ежеминутно поднимая руку к небу, твердила, что этот день оправдал и ее надежды, и ее пророчества.

— Видите, видите,— повторяла она,— что не страшны нам легионы вражеские! От лика моего бегут они и тают, как воск от огня! Победа была суждена нам, и мы получили ее, как дар от Охраняющего нас!

Мне показалось, что лицо Петра мрачно, и я подумал, что он ждал и желал иного исхода битвы, но, стараясь иметь вид тоже торжествующий, он сказал нам:

— Как Спартанцы Леонида, мы отбили полчища нового Ксеркса, это — предзнаменование благое.

— Ты забываешь,— заметил я,— что в конце концов Леонид и его триста были уничтожены.

— Но среди нас нет малийца Эфиальта,— быстро возразил Петр,— который показал бы врагу путь через гору Эту.

Ни у кого не было сомнений, что неприятель нападение возобновит. Поэтому Петр распорядился отправить отряд юношей на разведки и перенести к валу новый запас стрел, метательных дротиков и камней для баллисты. Вместе с тем он посоветовал всем отдохнуть, и на улицах стали расставлять корзины с хлебом и сыром. Выкатили также две последние остававшиеся у нас бочки вина и предоставили всем пить, сколько кто хочет.

Это, однако, не могло вернуть людям прежней бодрости; не было слышно ни веселых разговоров, ни смеха, ни пения; все задумывались, и видно было, что бог дурного предчувствия обходит ряды обедающих и каждого касается своими черными перстами.

Я зашел было в храм и застал там несколько человек, в диком ужасе жавшихся около изображения Змия. К самому его подножию припал Люциферат, совершенно обезумевший от страха, а около него рыдала его мать и угрюмо сидел Филофрон,— подобно Приаму и Гекубе перед

разрушением Илиона. Завидя меня, оба вскочили и стали мне кричать, что мы не имеем права их удерживать насильно, что они хотят уйти отсюда, отдаться на волю Римлян и молить у префекта пощады. Сам Люцифер бросился к моим ногам, целовал мне колени и твердил:

— Милый брат Иоанн! Уведи меня! спаси меня! Я буду любить тебя! Я буду целовать тебя! Я не хочу быть убитым.

С трудом вырвавшись из рук юноши, я повернулся к двери, но мне загородил дорогу Филофрон, браня меня и по-латыни и по-еврейски; когда же я силой выбрался из храма, долго еще кричал мне проклятия, угрожая мне местью Змия и Саваофа.

Потом я заглянул в дом, где женщины перевязывали раненых, но там в воздухе, пропитанном кровью, тоже слышались стоны и проклятия. Только немногие, даже умирая от ран, прославляли Змия и радовались победе, но другие,— и таких было большинство,— громко жаловались и с усилием подымали кулаки, угрожая мне, как одному из виновников их страданий. «Будь проклят и ты, и все апостолы, и ваша Царица!» — крикнул мне один из лежавших, которому Фива, побледневшая и потерявшая всю свою веселость, врачевала голову, рассеченную тяжелым Римским мечом.

Я предпочел вернуться к своей баллисте и сел на свою скамью, откуда мог озирать всю лощину. Я видел распростертые по дороге трупы людей, убитых нашими снарядами, видел раненых, которых не подняли товарищи и которые теперь тщетно старались уползти в более безопасное место, видел хищных птиц, уже кружившихся над местом боя. Местами зеленая трава потемнела от пролившейся крови. Я восстановил в памяти недавнюю картину битвы и тихо проговорил стих Тибулла:

Там льется кровь, там резня, ближе подходит к нам смерть.

Слово «смерть» заставило меня вздрогнуть, и я задумался над тем, что суждено мне в этот день. Неужели, думал я, к вечеру я буду лежать, подобно одному из этих легионариев, уже бездыханным или умирающим, со жгучей болью в пробитой железом груди, не имея сил встать или жалостно корчась на окровавленной земле? «Смерть есть закон природы»,— говорят философы, но смерть после долгой жизни, когда человек насыщен всем изведанным и виденным, а не насильственный обрыв жизни, у самого

ее порога. Неужели мне суждено пойти вслед за моим милым Ремигием и обнять его бледную бескровную тень на полях асфоделей? Зачем? За что? Что общего у меня с этими бессмысленными мятежниками, проповедниками нелепой веры в Змия и еще более нелепой веры в Антихриста Пришедшего, который оказался юношей, годным лишь в гистрионы?

Вдруг бесконечно желанной показалась мне жизнь на земле, в душе проснулось желание видеть солнце и зелень, вернуться к родным, к дорогому отцу и матери, учиться, познавать тайны мудрости и любить. Лицо Гесперии выплыло предо мной, словно из дыма курильниц при волхвовании, и опять вся сила моей любви овладела мною. Смешными показались мне мои ночные чувства, обещания, которые я дал Рее, и чужой эта самая Реа, верящая в какие-то несбыточные надежды. Что, однако, было мне делать? Бежать? — но куда? не в руки же тех легионариев, которых я только что осыпал камнями из баллисты. Я был все еще узником, все еще в плену и против своей воли был должен сражаться за погибшее дело.

Такие и подобные этим мысли проходили в моей голове, и, укрывшись за выступом скалы, стоя одиноко, я готов был плакать, а может быть, и плакал, потому что никто меня не видел в моем уединении.

Из моей задумчивости вывело меня возвращение наших лазутчиков: двое из них прокрались к самой стоянке Римского войска и видели, что оно готовится к новому приступу. Они говорили, что у Римлян теперь уже две катапульты, а число легионариев определяли приблизительно в тысячу человек. Тотчас, по приказанию Петра, у нас стали вновь готовиться к обороне, все заняли свои места, и отряды наших бойцов, с Фомой во главе, опять выстроились на валу; но я ни в ком не видел прежнего одушевления, и лица воинов, под блестящими шлемами, были угрюмы.

IX

Прошло, однако, еще около часа, прежде чем военные действия возобновились, и только в начале десятого часа вечера на холме выдвинулись стройные очертания катапульт. Снова враги начали засыпать нас дождем якулей, но на этот раз машины, вероятно, были как-то усовершенствованы, потому что стрелы перелетали через вал и по-

ражали людей в самом Селе. Послышались среди нас крики, стоны и плач, и я думаю, не окружай нас с трех сторон пропасть, а с четвертой отвесная скала, многие, если не все, обратились бы в бегство. Но бежать было некуда: благодаря стараниям лукавого Петра, мы были заперты, как в мышеловке, и обречены на истребление.

Расстроив наши ряды обстрелом, враги снова пошли на приступ, но на этот раз строй, вышедший против нас, был гораздо многочисленнее: по-видимому, шли на нас две когорты, двигавшиеся одна за другой. Безо всякой надежды на успех, с сердцем, каждую минуту замиравшим от томительного ожидания чего-то ужасного, я распоряжался стрельбой из баллисты, и на этот раз наши выстрелы были гораздо менее метки. Первая когорта, прикрываясь щитами, быстро перебежала через лощину, и, скорее, чем я мог сообразить, как это произошло, уже возобновился бой, грудь с грудью, у нашего вала.

Если во время первого сражения я испытывал приступы постыдной робости, то, чтобы быть правдивым, я должен признаться, что теперь один сплошной страх сковывал мои члены, останавливал мое дыхание, не давал мне видеть. Так как я уже не мог быть полезен при баллисте, я сошел с возвышения и поместился подле Реи, которая, ничего не видя и не слыша, а может быть, и ничего не понимая, старалась одушевить воинов, стоя внизу, перед самым валом, выкрикивая громкие слова, убеждая всех верить в победу. Но мне все казалось, что я нахожусь в самом опасном месте боя, что каждый летящий дротик направлен в меня, что каждая следующая минута будет последней, и я испытывал позорную радость, видя падающего бойца, при сознании, что это не я.

Прямо предо мною, как стена, высился воздвигнутый нами вал, и на нем, беспорядочно суетясь, наши люди отбивали с громкими криками натиск легионариев. Поминутно по лестнице сбегали вниз окровавленные бойцы и, словно ошеломленные, постояв минутку, бежали дальше. «Радуйтесь!» — кричала им вслед Реа, но они ее не слушали, торопясь хотя на миг укрыться от страшного зрелища боя. А на смену ушедшим то Андрей, то Фаддей, то Иуда вели новые отряды, и люди послушно взбирались по лестницам, чтобы подставить свое тело под удары оружия, побуждаемые не знаю какой надеждой. Порой сверху слышался могучий, хриплый голос Фомы:

— Людей! Копий! Щитов!

И Петр, хмуро наблюдавший за ходом битвы, тотчас приказывал нести на вал оружие или посылал туда подмогу.

С каждой минутой мой неодолимый страх увеличивался, мои колени дрожали, неотступно я хотел одного — отдалиться от самого опасного места, и сказал Рее:

— Ты должна уйти отсюда: тебя могут убить. Пойдем, я отведу тебя в безопасное место.

Словно разгадывая мое чувство, Реа мне отвечала презрительно:

— Иди ты, Юний, если боишься или не веришь. Меня не тронет вражеская стрела. Незримые щиты охраняют меня. Видишь, видишь, крылатые всадники мчатся по воздуху на врагов наших. Юноши, в бой!

Потом она опустилась на колени и стала молиться вслух:

— Великий, темный, некогда поверженный, ныне восстающий в силе и славе своей, на тебя уповаю, да не постыжусь вовек! Ты — крепость народа твоего, ты спасительная защита помазанника твоего! Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда воздымаю руки мои к исходящему на нас сумраку ночи! Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо ты заступник наш. Рассей врагов наших, рассей в гневе, чтобы их не было, и да познают народы, что ты восстал в величии и владычествуешь до пределов земли. Как сновидение по пробуждении, да исчезнут идущие на нас, как будто и нет их. Чтобы утвердить царство свое, царство из мрака восстающее, помоги нам! Дождем пролей на неверующих горящие угли, огонь и серу; палящий ветер — их доля из чаши. Ибо ты могущ, жесток и неодолим, и видят лицо твое, достойное того. Эй, гряди! гряди! и возвести нам час новой победы!

Произнося такие странные слова, Реа распростерла руки, образуя всем своим телом как бы крест, но в эту минуту оглушительный крик наверху вала заставил меня взглянуть туда. С ужасом я увидел среди наших четыреугольные щиты легионариев и их шлемы, на которых блистало заходящее солнце. В то же время дротики посыпались в нашу сторону и в новый отряд подкрепления, который в эту минуту вел к валу Андрей. В безотчетном ужасе бросился я в сторону, но тут один из дротиков со всего размаха ударил в Рею. Не успев опустить распростертые руки, она, как большая алая птица, рухнула на землю.

На мгновение забыв свой страх, словно сам уязвленный в сердце стрелою жалости и любви, я подбежал к лежащей девушке. Дротик попал ей прямо в лицо, прошел сквозь рот, и острие вонзилось в землю, пригвоздив к ней голову Реи. Кровь вырывалась из ее рта и лилась, как из крана, смачивая кругом землю; глаза же девушки, еще открытые, были недвижны и не выражали ничего, кроме смерти.

При таком ужасном зрелище уже последний страх, тот, который, по рассказам, наводил на людей голос Пана, охватил меня. Блуждающими глазами я огляделся кругом и увидел, что легионарии заняли весь гребень вала, что они сбрасывают наших воинов вниз, теснятся к лестнице и что тщетно Фома, проявлявший мужество исключительное, старается сплотить немногих уцелевших для новой обороны.

Не помня себя, не зная, зачем я это делаю, я сбросил с левой руки свой щит, как то сделал когда-то при Филиппах сам Венусинский Орфей, отстегнув балтей, бросил меч и побежал по направлению к домам. За мною слышались яростные и победные крики легионариев, натиск которых еще сдерживали последние защитники вала; передо мною по улицам, обезумев, метались мужчины и женщины, тоже крича и не зная, куда им укрыться. Целая толпа ломилась в двери храма, думая там найти убежище; некоторые устремлялись к краю пропасти, предпочитая броситься в бездну, чем попасть в руки разъяренного врага. Крики, стоны, вопли наполняли воздух, как в том месте Тартара, где несут свое наказание нечестивцы. Впрочем, были и такие храбрецы или безумцы, которые с пением нашего священного гимна спешили к валу, чтобы продолжать сопротивление, и в этом числе были как апостолы, так и юноши, почти мальчики, и даже воинственные женщины.

Не желая разделить их участь, конечно, доблестную, я продолжал бежать прочь от вала и, только миновав последние дома, остановился; мое сердце билось прерывисто, и пот выступил у меня на лбу; я чувствовал, что сейчас меня настигнет страшная смерть, и не видел способа, как мне от нее спастись. Вдруг я заметил впереди себя фигуру человека, поспешно пробиравшегося к скале, загораживавшей ту площадку, на которой было расположено Новое Село. Всмотревшись, я узнал Петра, которого я было упустил из виду, и тогда дикая злоба зажглась в мо-

ей душе к этому человеку, который погубил нас. Я вдруг догадался, что это именно он, напуганный угрозами апостолов, дал, через Марка, как тайного гонца, приказ напасть на нас именно сегодня и что, следовательно, это он убил Рею и теперь приготовил смерть и для меня.

— Остановись, предатель! — закричал я и, обнажив кинжал Гесперии, бросился вдогонку.

Петр или не слышал моего голоса, или не желал ответить, но продолжал бежать, поразительно скоро для такого немолодого человека, как он, все по направлению к скале, а я бежал за ним. Достигнув почти отвесной стены, Петр неожиданно начал подниматься на нее по незаметной тропинке, существование которой я до того времени не подозревал. Цепляясь за кусты и за выступающие камни, он взбирался все выше и выше. Я же был в ту минуту в таком состоянии, что не мог рассуждать здраво, не понял даже того, что Петр указывает мне дорогу к спасению, и думал лишь об одном — догнать изменника и отомстить ему. Поэтому я последовал примеру Петра и смело стал карабкаться по такому пути, на который никогда не отважился бы в спокойном состоянии духа.

Так мы поднимались вверх; Петр был впереди меня и, зная дорогу, удалялся все больше и больше; я — сзади, крича ему угрозы и проклятия, поднимаясь на руках на нависшие камни, порой держась за хрупкую ветку кустарника и за колючий стебель, иногда почти срываясь в пропасть, но каким-то благосклонным Демоном спасаемый от падения. Снизу из Нового Села продолжали доноситься крики и стук оружия, показывавший, что сражение еще не было кончено, что мятежники продолжают упорно обороняться даже перед лицом последней гибели. А кругом нас быстро темнело, так как солнечный диск зашел за гору и из долин поднимался тот Мрак, который тщетно Реа призывала нам на помощь.

Я уже потерял Петра из виду, но все продолжал карабкаться, чутьем, как зверь, находя дорогу, потому что в минуту смертельной опасности человеку возвращаются способности животного; я изнемогал, я задыхался, мои окровавленные руки едва имели силы держаться за выступы камней, как вдруг увидел, что я уже на вершине скалы. Мне вновь в глаза сверкнуло солнце, прежде чем погрузиться в провал между дальними горами, и живительный вечерний ветер порывом ударил мне в грудь. Обессиленный, я упал

на чело скалы, но потом, сделав последнее усилие, отполз в сторону, спрятался между высоких камней, где меня не могли бы заметить, и, как то ни удивительно, тотчас погрузился в сон.

X

Разбудили меня голоса, раздававшиеся около моего убежища, и, осторожно высунувшись из-за камней, я увидел двух мужчин из числа жителей Нового Села, которые, присев на уступ, переговаривались вполголоса. Так как они говорили на местном наречии, я их слов понять не мог, но догадался по безнадежным голосам, что Новое Село в руках легионариев и что все дело бывших приверженцев Реи погибло. Одно время я готов был выйти к прежним сотоварищам, но потом счел более благоразумным не показываться. Только когда сидевшие поднялись и пошли прочь, я, следуя за ними ползком, заметил избранную дорогу, сообразив, что они должны были знать все пути этой местности, если им было известно, как и Петру, о существовании тропы, ведшей на вершину скалы.

Когда беглецы скрылись из виду, начав спуск в направлении к озеру, я не без труда дотащился до обрыва и заглянул вниз. Там представилось мне зрелище горестное, и я вспомнил стихи «Энеиды»:

> Уж вставал над хребтом высоким Люцифер Иды,
> День выводя; захватив, дверей занимали пороги
> Да́наи; не было нам никакой надежды на помощь.

Стража была поставлена у вала и у дверей домов, в которых, конечно, были заперты пленные; часть воинов еще спала, растянувшись на земле; и везде, наводя ужас своим видом, валялись мертвые тела наших и врагов.

Поспешив отвернуться от тягостной картины, я возвратился к своему приюту, откуда открывалась другая, божественная: великолепных гор, то, вдали, облеченных в снеговые мантии, то, ближе, зеленеющих лесами с просветами небесных озер и смарагдиновых луговин, под сводом безмятежного Урана. У меня не было колебаний, что должно было мне предпринять, так как, кроме поспешного бегства, ничто иное не могло меня спасти от позорной смерти, но такую усталость я чувствовал во всех членах, что сомневался, достанет ли у меня сил на него. Мои руки и ноги были изранены и распухли, одежда вся изорвана о колю-

чие кустарники и камни, голова непокрыта, так как шлем я где-то потерял. Несколько утешало меня лишь то, что у меня уцелел кинжал Гесперии и что в потайном кармане я разыскал данный мне ею кошелек и денежное письмо к аргентарию Генавы.

Несколько собравшись с силами, я принудил себя идти по тому пути, которым скрылись виденные мною беглецы. Преодолевая утомление, боль и мучившую меня жажду, я добрался до противоположного края скалы и начал спуск по извилистой тропе, иногда совершенно терявшейся. Вероятно, префекту не было известно об этом всходе, потому что иначе наш Синай в самом деле мог оказаться для нас Этою, на которую намекал Петр: с вершины было легко небольшому отряду, оставаясь в безопасности, истребить всех жителей Села.

Вперед я подвигался медленно, постоянно останавливаясь для отдыха, но, по счастию, утолив жажду из встречного ручья, и только далеко за полдень спустился в долину. Если бы я поддался одним своим желаниям, я, бросившись в густую траву, предпочел бы там лежать до другого утра, но, призвав имена богов, после краткой остановки все же повлекся дальше, ставя себе целью достичь Лария. В полубреду я повторял себе: «Ты должен дойти до берега!» — и, едва ступая израненными ногами, упорно продолжал свой путь. В эти часы я вполне понял страдания македонцев на страшной дороге от пределов побежденной ими Индии.

Уже вечерело, когда я добрел до берега прекраснейшего из альпийских озер и долго блуждал в разных направлениях, не зная, как мне переправиться на другую сторону. Наконец я наткнулся на небольшую рыбачью хижину и, так как выбора у меня не было, постучал в дверь. Лицо старика рыбака, вышедшего на мой стук, показалось мне достойным доверия, и я сказал ему, что прошу его дать мне чего-нибудь поесть и перевезти меня на противоположный берег, за что я заплачу хорошо: остаться в хижине на ночь я не смел, боясь, что префект разослал отряды, чтобы ловить беглецов.

Рыбак, как я полагаю, догадался, что я из числа жителей Нового Села, но оказался человеком и с доброй душой, и с честным сердцем. Он обещал мне исполнить мою просьбу и свое обещание сдержал, разделив со мною свой скудный ужин и потом, уже в сумраке, перевезя меня на утлом челне через Комацей. Ни о чем этот старик меня не расспра-

дивал,— да, впрочем, он плохо говорил по-латыни,— и на прощание дал мне в дорогу краюху хлеба. Я же, радуясь своему спасению, так щедро заплатил за услугу, что привел рыбака в изумление, сходное с ужасом.

— Да охранит тебя, мой господин,— сказал он мне, с трудом находя слова,— пресвятая дева Мария. Вижу, что ты — человек знатный. Прости мне мою простоту.

Не разубеждая старика, я с ним расстался: он поплыл обратно, все рассматривая монеты, которые держал в руке, а я углубился в лес, «надувом черным кругом и кустами торчащий». Ночь я провел, взобравшись на дерево, почти без сна, страдая от боли, дрожа от холода и каждый миг ожидая, что на меня нападут волки, которых в той местности много. Сравнительно с этим жутким приютом я согласен был признать царственным ночлегом мои ночи в медиоланской тюрьме.

К утру я чувствовал себя обессиленным до последней меры, совсем больным и почти умирающим. Моя голова горела, тело потрясала лихорадка, глаза видели плохо, а члены отказывались повиноваться. Все же я опять принудил себя идти, опираясь на палку, которую себе срезал, выбирая, как моряки, направление по солнцу, призывая на помощь бессмертных, но часто думая, что больше не в состоянии буду сделать ни шагу. Временами я падал от усталости и лежал на мху без сознания, иногда, остановившись, спрашивал себя, не прав ли был мой Ремигий, говоря, что не стоит терпеть в этой жизни страдания, когда так легко освободиться от них навсегда, но затем, поддерживаемый какой-то смутной надеждой, опять выпрямлялся и, словно слепой, шел по тропе, держась за деревья.

Постепенно у меня начался бред, и мне то казалось, что ласковые голоса меня окликают по имени, то, что страшный голос мне приказывает остановиться; образы недавнего боя восставали вокруг меня, и я видел людей, залитых кровью, с дротиками, вонзившимися им в грудь и в живот; призрак мертвой Реи являлся мне, и девушка с воспламененными глазами мне повторяла: «Юний, мой Юний! нам суждены победа и счастие! Поцелуй меня, Юний, мой брат, мой возлюбленный!»

На одном перекрестке я явственно расслышал бряцание оружия и шум шагов легионариев и, потрясенный ужасом, забыв боль и усталость, бросился бежать. Натыкаясь на стволы, я метался между деревьями, кружась

на одном месте, ожидая смертного удара. И вдруг мне представилось, что около меня стоит мой отец, печальный и суровый, берет меня за руку и говорит:

— Куда ты зашел, Децим! Вот что значит не повиноваться указаниям отца. Теперь слушайся меня и иди — туда!

Отец повернул меня прямо на Запад, и тотчас видение исчезло, но я упал на колени и воскликнул:

— Sequor et qua ducis adsum!

Напрягая уже последние силы, я двинулся сквозь заросли в направлении, указанном мне правдивым видением, и вдруг на лесной поляне предо мною оказалось грубо сколоченное из нетесанных бревен жилье. Я довлачился до двери и, не получив ответа на стук, толкнул ее: она растворилась. Я увидел чисто прибранную комнату, деревянные скамьи, грубые армарии с кастрюлями и другой посудой, простое ложе под опрятными одеялами, а посредине тлеющие угли в домашнем очаге и над ним — маленький ларарий, где стояли неумело вырезанные из дерева статуи Меркурия и Весты. Знамением спасения явились мне эти изображения родных божеств, я был охвачен такой же радостью, как если бы вошел в отцовский дом, в Лакторе, и, добежав до очага, упал около него на пол, говоря вслух:

«Вам я пребываю верен, боги бессмертные! Теперь, когда я на краю гибели, охраните меня, блаженные! Тебе, сын Майи, тебе, исконная богиня Лация, вручаю мою судьбу!»

Должно быть, около часа провел я распростертый на полу, не имея сил подняться, когда вдруг послышались неспешные шаги, и в комнату медленно вошли двое,— сначала дряхлая, морщинистая старуха, потом столь же дряхлый, но бодрящийся старик; изумленно они смотрели на неожиданного гостя, но я, умоляюще протянув руки, произнес:

— Добрые люди! Вижу, что вы чтите бессмертных! Вспомните, что странников охраняет сам Юпитер. Сжальтесь надо мною и дайте приют несчастному путнику, больному и изнемогающему от усталости.

Всмотревшись в меня, старик мне ответил на хорошем латинском языке:

— Не бойся ничего, путник. Законы гостеприимства для нас священны. Никто не скажет, что старый Стридул отказал просящему у него во имя богов. Отныне ты —

наш гость и будь в этом доме, как в семье твоих родителей.

Слезы потекли у меня из глаз,— так я был измучен,— и, поднявшись, я поцеловал грубую руку простого старика, потому что этим воздавал благодарность не ему, но богам, вера в которых объединяет людей. Старик же, поставив в угол удочки и сети, которые были у него в руках, приказал жене готовить ужин, а меня позвал сесть за стол. Скоро мы все трое сидели перед благоухающей ухой, и сладостно мне было видеть, как Стридул перед едой совершил, за неимением вина, ключевой водой возлияние бессмертным.

Я придумал для старика правдоподобную историю о том, что я, будто бы, ехал с товарищем через горы, направляясь из Медиолана в Генаву, но что на пути на нас напали разбойники, друга моего, пытавшегося сопротивляться, убили, а меня увели, как заложника; что после долгих страданий в плену я бежал, но сбился с дороги и совсем погибал, если бы счастливый случай или Гений этого места не направил моих шагов к хижине Стридула. Выслушав мой рассказ, старик сказал:

— Может быть, то были вовсе не разбойники, а шайка тех новых христиан, которые недавно подняли мятеж против императора. Часть их засела здесь неподалеку в Новом Селе, что на горах, и их люди опустошали окрестности хуже самых лютых грабителей. Но сегодня я слышал от одного прохожего, направлявшегося в Авсуцию, что префект добрался до их гнезда и вконец разорил его.

Вероятно, весьма изумился бы старик, узнав, что я сам птенец того же гнезда, но я остерегся сознаваться в этом.

С своей стороны, я спросил, что заставляет Стридула с женой жить столь уединенно, в диком лесу, и старик откровенно и доверчиво рассказал мне свою несложную жизнь.

Он родился в семье колона, близ Модиций, в императорском имении Ламбрионе, рано женился и был вполне счастлив, обрабатывая свой клочок земли и принося первые плоды года в жертву богу, о чем когда-то мечтал Тибулл. Мирно текла его жизнь в трудах и благочестии, и старик, имея пятерых сыновей, надеялся столь же мирно встретить и бога с опрокинутым факелом. Однако в

правление Валентиниана одно несчастие за другим стало падать на голову старика. Прежде всего, сверх всякого обычая, безмерно увеличили налог с его земли, так что семье едва оставалось, чем кормиться. Старший сын, Марк, не любивший земледелия, хотел учиться у золотых дел мастера, но это ему запретили, сказав, что по закону сын колона должен оставаться колоном, когда же он самовольно ушел в Медиолан, его вернули насильно; тогда он бежал и пропал без вести. Другой сын, Люций, полюбил девушку в городе, дочь купца, и так как она отвечала на его искания, решил на ней жениться; но закон позволял колону жениться лишь на дочери колона, и кончилось тем, что Люций наложил на себя руки. Третий их брат был убит легионариями, когда они проходили через земли Стридула и юноша не допускал их грабить имущество отца. Четвертый умер от заразной болезни, свирепствовавшей в крае. Наконец, последний, Квинт, вся надежда престарелых родителей, был обличен в том, что препятствовал ревностным христианам разрушать местное святилище Цереры, его судили, и палач ему отрубил голову. Старики остались одни, им не под силу стало своим трудом добывать столько, чтобы платить налоги, да к тому же им грозили, что у них отнимут всю землю, если они будут продолжать поклоняться идолам. Тогда, однажды ночью, они бросили родной дом со всем имуществом, ушли в горы, и вот уже несколько лет живут, скрываясь, никем не знаемые и свободные, пропитываясь рыбной ловлей и охотой на мелких зверей, вспоминая прошлое и свято сохраняя веру в богов, унесенную ими в глубь лесов от преследователей.

Когда старик Стридул рассказывал это, его жена, которую он сам называл Лакриматой, плакала навзрыд.

— Да,— говорила она,— все у нас было: дом, скот, довольство, сыновья; вот теперь не осталось ничего; живем с диким зверьем в лесу, по неделям не слышим человеческого голоса, а умрем, некому будет на наше тело бросить горсть земли.

— Мы не одни: они с нами, старуха! — строго возразил Стридул, указывая на изображения богов.

После ужина Лакримата устроила для меня прекрасную постель на охапках свежей травы, покрытых грубым, но чистым полотном, и впервые после многих дней я мог бы уснуть спокойно, если бы меня не мучила лихорадка.

За ночь я разболелся совсем, утром уже не мог подняться с ложа, и такое недомогание продолжалось с того дня больше недели. Приютившие меня старики не бросили своего случайного гостя, но с заботливостью, на которую я рассчитывать не имел права, ухаживали за больным. Старик ловил для меня своим ветхим неводом лишнюю рыбу, старуха лечила мои раны травами искуснее, чем городские медики, и оба относились ко мне как к родному сыну. Лакримата даже уверяла меня, что я похож на их покойного Квинта, и иногда плакала надо мною, укутывая мое сотрясаемое ознобом тело в теплое одеяло. Я же не знал, чем отблагодарить этих бескорыстных людей и как прославить благосклонность бессмертных, пославших мне чудесное видение, чтобы привести в эту лесную хижину.

Живя в доме Стридула и Лакриматы, я наблюдал их жизнь, и они, по взаимной любви друг к другу, по доброте их сердца и открытости их души, мне представлялись новыми Филимоном и Бавкидою, из века героев перенесенными в нашу буйную современность. Такой же был у них «малый дом, крытый болотным тростником», так же «во всем доме было их лишь двое» и друг другу они «и повиновались и приказывали», так же свято сохраняли они обычаи и правила жизни, в свой час готовили обед, в свой час ложились спать, и даже, для полного сходства, у них был в хижине стол с неровными ножками, так что под одну приходилось подкладывать камень. А когда я видел, с какой старческой нежностью встречала Лакримата мужа, когда он возвращался домой после рыбной ловли, или с какой неугасшей любовью старик заботился о жене, чтобы она не устала от работы или даже не сделала лишнего шага,— я не сомневался, что если бы и моим хозяевам Сатурний задал свой вопрос:

> Молви, правый старик, и жена, достойная мужа
> Правого, что вы хотите... —

Стридул ответил бы, как его древний прообраз:

> так как согласную прожили жизнь мы,
> Пусть час один нас двоих унесет; пусть костра не увижу
> Я жены никогда, и пусть ею схоронен не буду.

Умиление мое перед двумя стариками я выразил в такой эпиграмме, написанной в дни, когда начал выздоравливать и бродил по окрестностям:

Царственной где диадемой из льдистых огромных алмазов
Сладостный сад Гесперид мудрый венчал Демиург,
Где погибали в ущельях слоны одноглазого Пуна,
В дни, как Беллоны грозой Рим он мечтал сокрушить,—
Ныне в долине зеленой приют обрел долгожданный,
Новый ты, Филимон, с новой Бавкидой своей.
Их укрывайте, о горы, что были страшны Ганнибалу,
Озеро, чудо земель, рыбой их скромно питай,
Вы же, всемощные боги, чьи чтут алтари они свято,
Благо явите одно,— вместе им дав умереть.

Эти стихи я подарил Стридулу, когда наступила для меня возможность возобновить мое путешествие, и другой платы старик не согласился с меня взять. Напрасно я показывал ему кошелек, полный деньгами, старый колон твердил, что принял меня во имя богов и только от бессмертных будет ждать награды за свое дело. Лакримата же горько плакала, прощаясь со мною, и уверяла, что за эти недолгие дни полюбила меня как сына. И мне самому было грустно расставаться с уединенной хижиной, где я нашел больше любви, чем в общинах христиан, и больше веры, чем в среде заговорщиков, ведущих борьбу за восстановление алтаря Победы в Курии.

Лакримата тщательно починила мою одежду и обувь, Стридул снабдил меня на дорогу котомкой, где было достаточно хлеба и сушеной рыбы, и объяснил мне, какого пути я должен держаться. По его совету, так как я боялся показаться в Коме, я решил идти на Сибрий, потом на Агаминское Село и, наконец, в Эпоредию, откуда есть Августова дорога на Генаву. Старик далеко проводил меня от своего дома, и, когда я с сыновней почтительностью в последний раз целовал его, я думал, что встреча с ним и его женой останется лучшим моим воспоминанием за весь этот мятежный год моей жизни, когда воля Фортуны сводила и разводила меня со столькими людьми.

XI

Своего переезда до Генавы я описывать не стану, потому что по пути, помимо обычных дорожных приключений, ничего любопытного со мной не случилось. Денег, благодаря заботливости Гесперии и моей предусмотрительности, у меня было достаточно, и я не терпел никаких лишений, если не считать скучного ожидания лошадей в мансионах, скудной еды, которой приходилось довольствоваться в маленьких селениях, и жестоких укусов кло-

нов, бессонных врагов каждого путешественника. Но эти неприятности с избытком вознаграждались величественностью видов той страны, через которую пролегал мой путь, и не проходило дня, чтобы я не дивился красоте и разнообразию тех горных громад, что самой природой поставлены, как мощная стена, закрывающая прекрасную Италию от варваров Севера.

Достигнув после утомительного перехода пешком до городка Сибрия, я впервые за много недель посетил термы, умастил свое измученное тело, купил себе новое платье, взамен пришедшего в ветхость, и был истинно счастлив, слыша на улицах звучную латинскую речь. Не без удивления я здесь узнал, что уже приближаются календы Августа, так как во время своей, похожей на длительный сон, жизни в Новом Селе потерял счет дней, словно потерпевший кораблекрушение на пустынном острове. В Сибрии мне сообщили также последние новости о событиях в империи, о том, что Максим переправился со своим войском в Германию вторую, к устьям Рена, и открыто начал борьбу против Грациана.

Все это заставило меня подумать о том, что я, может быть, напрасно держу путь на Генаву, так как сроки, назначенные мне Гесперией, давно истекли, а начавшиеся военные действия вряд ли допустят меня с нею соединиться, если я даже осведомлюсь точно о ее местопребывании. Однако, словно властное повеление некоего бога, в моей душе неподвижно стояло желание вновь увидеть Гесперию, и к этой отдаленной цели влеклось все мое существо, как некогда к берегам Италии беглецы из разрушенной Трои. Наперекор доводам рассудка, я стремился к одному: ехать в ту Генаву, в которой мне приказала быть Гесперия. Мне казалось, что первый ласковый взгляд Гесперии заставит меня позабыть все пережитые горести, отгонит от меня окровавленный призрак Реи, страшным видением часто вставший у моего ночного ложа, вернет мне прежнее спокойствие духа, уверенность в себе, надежду на счастие в жизни. Как больной, который ждет исцеления у чудотворного источника, или как безумный, который твердит только одно слово, я повторял себе: «В Генаву! в Генаву!» — и не жалел ни денег, ни сил, чтобы ускорить свое путешествие.

В Сибрии я купил лошадь, которую потом продал, доехав на ней до Эпоредии, где вместе с одним попутчиком, купцом из самой Генавы, нанял реду. Спутник мой,

именем Лемовиций, оказался человеком бывалым, не раз совершавшим переправу через Альпы, что было подвигом в дни Ганнибала, а ныне оценивается определенным числом денариев. Благодаря опытности этого Лемовиция и благосклонности Фортуны, мы благополучно избежали всех опасностей пути, нигде не повстречались с разбойниками, счастливо преодолели трудности подъемов на чудовищные высоты Пенина, куда гений Августа сумел провести Римскую дорогу, и после двухнедельного переезда спустились, наконец, в прежнюю страну грозных Аллоброгов, где теперь мирное население Виенненской провинции наслаждается всеми благами Римского мира.

Мой попутчик хорошо знал Мания Вибиска,— лицо, в округе пользующееся почетом за свое богатство, и потому я без лишних расспросов и поисков, в той же реде, в которой мы совершали последнюю часть пути, был подвезен к самым воротам роскошной виллы, построенной в виду города, на высоком берегу великолепного Лемана. Здесь я распрощался с Лемовицием, направившимся в Генаву, а сам, захватив немногие вещи, бывшие со мною, приказал рабам, стоявшим у входа в сад, известить хозяина о моем прибытии. У меня не было коммендатицийного письма, которое представило бы меня Вибиску, но имя Гесперии, которым я воспользовался, произвело действие чудесное, и я тотчас был введен в дом.

Вибиск был человек не молодой, очень тучный, похожий лицом на статуи Виттелия, но меня он встретил радушно и объяснил, что Гесперия ему писала о моем возможном появлении у него, что опять наполнило мою душу благодарностью и умилением. Немедленно хозяин приказал рабам приготовить для меня ванну и ужин, а мне предложил распоряжаться в вилле, как в своем доме. Я должен добавить, что то были не просто любезные слова, но что действительно Вибиск меня принял так, как должен истинный Римлянин принимать гостя, но вдобавок с чисто галльской веселостью и с щедростью владельца обширных латифундий. Снова я увидел себя окруженным роскошью, распоряжался услугами множества рабов и в тщательно обставленной вилле нашел все, чего может желать человек просвещенный,— от удобных терм и изысканных кушаний до произведений знаменитых художников и библиотеки из нескольких тысяч свитков.

С самого начала,— пересказав вкратце свои бедственные приключения,— я осведомился у Вибиска, где теперь

находится Гесперия. Вибиск передал мне, что она, не дождавшись меня в Медиолане, благополучно совершила весь путь до берегов Галльского пролива и переправилась в Цезарианскую Флавию, незадолго перед тем, как Максим решил свою высадку. С тех пор Вибиск писем от Гесперии не получал, но знает, что она добилась благосклонности узурпатора, так как неизменно остается близ него и даже вместе с ним участвует в военном походе. Рассказывают, что Максим, человек невысокой учености, простой воин, охотно слушается советов Гесперии и ее мудрости доверяет больше, чем соображениям своих военачальников и указаниям христианских священников. Конечно, такие вести жестоко поразили мою душу, вновь пробудив в ней уснувших випер ревности, но так как нечто подобное я предвидел и раньше, то сумел свое волнение скрыть и постарался перед Вибиском сохранить вид беспечный.

Когда после того мы сели за ужин, за которым собралась вся многочисленная семья Вибиска, его жена, сыновья с женами и дочери с мужьями, хозяин виллы не преминул обнаружить предо мною и свою слабость: он с необыкновенной страстностью предавался астрологии, ради которой забывал все свои дела и которая служила предметом добродушных насмешек всех его семейных. В своей вилле Вибиск построил особую башню, откуда наблюдал движения небесных светил, а его библиотека, как я вскоре убедился, была полна сочинениями о предсказании судьбы по звездам на языках греческом, латинском и даже восточных народов. Любимым чтением Вибиска было: Птоломеево «Четверокнижие», книги Максима, Гемина, Таруция Фирмана и особенно Фирмика Матерна, которого он признавал величайшим ученым последнего времени, а из поэтов — Манилий, Овидий, Апулей, которых он знал наизусть почти полностью.

Хотя я хорошо помнил беспощадные нападки «Аттических ночей» на науку генетлиаков, старавшиеся выставить халдейские гадания в смешном виде, однако, из понятного чувства вежливости, внимательно слушал рассуждения хозяина и, по правде сказать, вовсе не находил их лишенными смысла. С жаром говорил мне Вибиск, радуясь, что обрел нового слушателя, о двенадцати домах неба, о трех родах эрратических звезд,— приносящих счастие, губительных, средних,— о знаках Зодиака и их отношении к четырем элементам, и всем подобном. Сыновья хозяина порой вставляли шутливые замечания о несбыв-

шихся предсказаниях отца, но он, не смущаясь такими напоминаниями, продолжал восхвалять тайны неба, на котором предначертаны судьбы каждого человека и каждой былинки.

После сытного ужина, залитого превосходным местным вином, Вибиск повел меня на свою башню, чтобы показать редкие сочинения магов, карты неба, сложные таблицы движений планет и хитрые инструменты, помогающие при наблюдении звезд. На открытой площадке крыши, где перед нами засверкали огни эфира, Вибиск, охваченный своим обычным восторгом перед чудесами звездного мира, не мог удержаться, чтобы не продекламировать торжественно:

Глянь в лучезарную высь, что все призывают, как бога!

И тут же, спросив у меня день и час моего рождения, предложил мне к завтрашнему дню составить мой гороскоп. Узнать свое будущее соблазнительно для всех, и я принял предложение с благодарностью, но присутствовавший при этом старший сын Вибиска заметил:

— Вспомни, отец, что ты предсказал нашему главному пастуху долгую жизнь и неожиданное богатство, а его на другой же день забодал до смерти взбесившийся бык.

— Этот неуч,— возразил Вибиск,— просто не знал точно дня своего рождения, вот он и получил предикт, относящийся не к нему.

На другой день Вибиск действительно показал мне мой гороскоп, над составлением которого проработал до поздней ночи и который мне показался сделанным с большим знанием дела. Может быть, я не сумею точно передать все ученые выражения, которые употреблял мой добровольный предсказатель, спутаю иные из его слов, но общий смысл пророчества я запомнил верно. Вот что приблизительно мне сказал Вибиск:

«Ты родился под знаком Девы, а такие люди откровенны, честны, благородны, обладают быстрой сообразительностью, душой чувствительной, но тщеславны, нетерпеливы, предпочитают жизнь в довольстве, влюбляются легко, не умеют хранить тайн ни своих, ни чужих. В небе в день твоего рождения господствовали две планеты: Люцифер и Пироент, а из созвездий — Дева и Близнецы, что образует аспект квадратный, ребенку враждебный. Посему ты должен больше всего остерегаться сочетания Венеры и Марса, голубя и волка. Однако злое влияние

Пироспта тем ослаблено, что он был в знаке Кастора и Поллукса, дающих спасение через дружбу. Через несколько лет тебе будет вторично грозить гибель, так как снова Венера и Марс будут в сочетании, и тогда ты должен будешь искать спасения в помощи друга, родившегося под знаком Стрельца. Конец же твоей жизни будет осенен знаком Рыб, потому что полный квадрат образуют созвездия: Дева, Близнецы, Стрелец, Рыбы».

Я внимательно вслушивался в предсказания Вибиска и потом, наедине, долго об них думал. Если слова об опасности для меня сочетания Венеры и Марса, то есть любви и войны, находили свое оправдание в недавних событиях моей жизни, то пророчества о друге, родившемся под знаком Стрельца, и о том, что конец моей жизни будет осенен знаком Рыб, остались для меня непонятными. Последующая моя судьба, так как в искусстве и знаниях Вибиска я сомневаться не могу, мне покажет, есть ли что верное в загадочной науке халдеев.

Много другого сообщил мне Вибиск о значении звезд, а также о знаменитейших пророчествах древних астрологов, и я с удовольствием воспользовался бы более долгое время обществом умного хозяина и его приветливой семьи, если бы неотступное желание увидеть Гесперию не жгло моего мозга. По-прежнему страшные картины миновавших дней и образ убитой Реи мучили мои сны и мою бессонницу, и я верил, что исцелить меня может лишь одна Гесперия. Поэтому, отдохнув меньше недели в вилле Вибиска от длинного переезда, я стал просить хозяев, чтобы меня отпустили в дальнейший путь. Вибиск высказал сожаление, что я так поспешно покидаю его дом, но понял, что удерживать меня не должно, и отечески поручил меня заботам Юпитера, охранителя странников. При этом Вибиск посоветовал мне ехать в Лугдун и дал мне письмо к пресиду Лугдунской провинции, Марциану, другу Гесперии, намекнув, что этот человек знает все ее замыслы и, конечно, осведомлен, где она теперь находится.

Я еще колебался, выбирая более благоприятный день для начала нового путешествия, когда пришли грозные вести из местностей, охваченных войной. Письмо, посланное Вибиску тайно его другом из Парисий, сообщало, что от устья Рена все города обеих Германий и обеих Бельгик отворили ворота Максиму, признав его власть, что Грациан укрылся в своей любимой Лютеции, но его войска волнуются и не хотят сражаться с счастливым завоева-

телем. Письмо кончалось словами, что ко дню, когда это послание будет Вибиском прочитано, судьба императора, наверное, будет уже решена.

При таких известиях я не мог не торопиться, получил деньги по денежному письму у аргентария Генавы и занял место в общественной карпенте, поддерживающей сообщение между этим городом и прежней столицей Галлии. Ночь накануне моего отъезда была бурная, гремела осенняя гроза и сверкала молния, но когда небо несколько прояснилось, Вибиск взошел со мною на свою башню и спешно рассмотрел положение светил, чтобы вывести предсказания о предпринимаемом мною путешествии. Я знал, что Вибиск, хотя об этом мы с ним не говорили, сочувствует делу Гесперии, однако, покачав седой головой, он сказал мне:

— Жестокие времена и страшные события предвещают звезды. Можно было бы ждать поворота дела к лучшему, светила —

Знаки, однако, дают не неверные скорби грядущей.

Ты едешь, юноша, в великую смуту, на зрелище кровавое. Да охранят тебя боги от мечей и кинжалов, и прежде всего (добавил он по праву старика) от женщины, которую мы все чтим, но душа которой тверже железного клинка, а помыслы острее лезвея кинжала.

Такое предупреждение, разумеется, не могло меня остановить, и на другой день я попрощался с берегами светло-синего Лемана, с пышным домом местного Креза, с его гостеприимной семьей и с самим добрым хозяином, который, забывая, что в его распоряжении леса, огороженные на сотни миль забором, для охоты с гончими собаками, дни и ночи проводит над старинными книгами и в созерцании вечных звезд.

XII

Дорога из Генавы на Лугдун идет по долине реки Родана, делая много поворотов, и на переезд мы потратили двое суток, хотя по прямому направлению между этими двумя городами едва ли более 50 лиг. К прежней столице Галлии я подъехал вечером девятого дня перед сентябрьскими календами.

Когда, год назад, я, скромный провинциал, отправлялся в свое первое путешествие, мне показалось бы недопу-

стиной дерзостью постучаться, прося приюта, у двери правителя такого города, как Лугдун. Но «что сильнее привычки?» — как справедливо заметил поэт, и после того, как я совершил длинный путь в одной реде с Симмахом, участвовал на пирах в домах сенаторов, комитов, богачей, присутствовал на императорском приеме в священном дворце,— я не подумал искать в городе гостиницу и прямо направился к дверям Марциана. Несмотря на поздний час, великолепные улицы Лугдуна были полны народом, таберны — шумны, и раза два я даже заметил уличных ораторов, собравших вокруг себя толпу, которую, впрочем, немедленно разгоняли ночные вигили.

В доме пресида меня приняли далеко не так радушно, как в вилле Вибиска, и сам Марциан приказал мне передать, что он занят и видеть меня не может. Однако дружественное письмо Вибиска все же оказало свое действие, мне отвели удобную комнату, приготовили для меня ванну и после нее подали ужин, за которым мне пришлось сидеть в полном одиночестве. Уже привыкший к разного рода неприятностям, я не стал унывать от такой встречи и остаток дня провел в том, чтобы написать Вибиску небольшое письмо, в котором благодарил его за коммендацию и немного подсмеивался над его дурными предвещаниями.

Утром пресид позвал меня к себе, в свой таблин, весь заставленный армариями с деловыми свитками, расположенными под цифрами, и я увидел человека лет пятидесяти, с постоянно нахмуренными бровями, с глазами, избегающими смотреть на собеседника, с губами тонкими и плотно сжатыми. На вопрос пресида о цели моего приезда я ответил, что должен по важному делу видеть известную ему Гесперию, жену сенатора Элиана Мецция, и надеюсь получить от него сведения, где она находится. Я добавил, что решился обратиться за такой помощью к пресиду только по совету Вибиска, его друга, который заверил меня, что я своей просьбой не причиню слишком большого беспокойства.

— Ты, вероятно, не знаешь,— сказал пресид в ответ на мои слова,— что эта женщина соединилась с врагом родины. Если бы тебя не защищало письмо моего друга, я должен был бы немедленно бросить тебя в тюрьму за сношения с мятежниками.

Догадавшись, что пресид говорит так из осторожности, я постарался в длинной и уклончивой речи намекнуть ему

на то, что также участвую в римском заговоре, знаком с Симмахом, Флавианом, Претекстатом и осведомлен о сочувствии их делу самого Марциана. Мои намеки произвели свое действие, и пресид заговорил со мной менее сурово.

— Все, что я могу сделать,— сказал он,— для тебя и для твоих друзей, которые все также мои друзья, это — позволить тебе остаться в моем доме и дожидаться, когда я получу вести о жене Элиана Мецция. Как только мне сообщат, где она находится, я передам это тебе: добиться встречи с нею будет уже твое дело. Только не забывай, что ты находишься в доме правителя провинции, получившего свою должность милостью императора и выполняющего свой долг, как честный магистрат.

Иного я и не искал, и потому, поблагодарив пресида, я удалился.

Так как никакого дела у меня не было, я пошел на улицу, намереваясь осмотреть город, славящийся своими зданиями, огромными театрами, прекрасными акведуками, но тотчас заметил, что население Лугдуна в еще большем возбуждении, нежели накануне. Граждане поминутно собирались в кучки и шумно обсуждали что-то, из копон вырывался шум буйных споров, и по площадям скакали германские всадники, водворяя порядок и запрещая произносить речи. Я стал вмешиваться в толпу и прислушиваться к разговорам, а потом и прямо задавать вопросы стоящим рядом со мною, но долгое время все,— конечно, принимая меня за соглядатая,— отказывались мне отвечать или отвечали словами неопределенными. Наконец нашелся один юноша, более смелый, который не побоялся объяснить мне, в чем дело.

— Если ты приезжий,— сказал он,— я понимаю, что ты удивляешься. Тогда узнай, что произошли события первой важности. Ночью прибыли достоверные гонцы с известием, что Грациан разбит. Пять дней его войска стояли у Парисиев, против войска Максима, но в бой идти не соглашались. На шестой день мавританская конница Грациана открыто ушла в стан императора Максима, а за ней последовали многие другие отряды. Грациан, потеряв все надежды, бросил остатки войска и с немногими верными скачет теперь сюда, думая найти убежище в нашем городе. Мы же хотим, чтобы и Лугдун закрыл перед Грацианом ворота, так как иначе за помощь ему Максим подвергнет город жестокому наказанию.

— Но справедливы ли эти известия? — спросил я.

Юноша наклонился ко мне ближе и сказал почти шепотом:

— Поутру к пресиду Марциану прибыл комит Виктор от самого императора Максима и подтвердил все!

Как ни тихо были произнесены эти слова, но какой-то человек в поношенном плаще, оказавшийся подле нас, осведомился:

— Что это вы здесь говорите о императоре Максиме?

— Я говорю,— не смущаясь, возразил юноша,— что господь бог не допустит, чтобы наглый мятежник одержал верх над благочестивым защитником святых алтарей, императором Флавием Грацианом Августом.

С этими словами мой собеседник юркнул под ближний портик, а я тоже поспешил скрыться.

Однако в других местах города я увидел людей, гораздо более смело выражавших свои чувства. Толпа кричала громко: «Слава Августу Максиму!» и «Да погибнет Грациан!» У здания местной курии стояла мраморная статуя Грациана, и народ, окружив ее с дубинами и веревками, пытался свалить ненавистное изображение: германские всадники не без труда оттеснили толпу и спасли статую. Особенно усердных крикунов стражи хватали и силой уводили, вероятно, в тюрьму, отбиваясь от толпы, старавшейся освободить взятых. Насмотревшись на такие случаи, я предпочел вернуться в дом пресида.

Завтракать меня позвали в маленький триклиний, где собралась вся семья Марциана, но за столом ничто не указывало на волнения, происходящие в городе. Рабы бесшумно и почтительно разносили кушанья, дочери пресида и его жена расспрашивали меня о моем путешествии через Альпы, двое молодых людей, сидевших тут же, остроумно шутили и говорили о новых книгах, присланных из Рима, выставляя на вид свое знание писателей, и только сам Марциан оставался мрачным и необщительным. Однако завтрак еще не был закончен, как в триклиний вошел, видимо, взволнованный, оффициал и что-то прошептал на ухо пресиду, который сейчас же встал и, торопливо извинившись, удалился.

После этого происшествия оживление за столом сразу пропало, так как все поняли, что случилось нечто важное. Лицо матроны побледнело, разговор прервался, и завтрак был доведен до конца наскоро. Гости немедленно простились, жена пресида ушла в свои комнаты, но я намеренно продолжал занимать рассказами двух молодых деву-

шек, чтобы не быть вынужденным вернуться в назначенную мне комнату. Мы сели в зале с колоннами, заменявшем в доме атрий, и я напрягал все силы ума, чтобы быть занимательным, повествуя о неимоверных высотах Пенина, о синеватом просторе Лемана и зеленоватом — Комацея, выдумывая истории о нападении волков и разбойников, о ледяных морях, преграждающих путь, о драконах, гнездящихся в черных ущельях, и многое другое.

Хитрость моя оказалась успешной, потому что мои юные слушательницы продолжали смотреть мне в рот, когда у входа послышались и шумные клики народа, и топот лошадей. Еще через несколько мгновений в комнату вошла целая толпа с пресидом во главе, подвигавшимся, пятясь, с величайшей почтительностью, а среди следовавших за ним я сразу признал высокую сухопарую фигуру императора Грациана. Одетый, по своему обыкновению, в скифский наряд, но весь засыпанный золотыми украшениями, он держался безо всякого величия, как человек, ежеминутно ожидающий оскорбления. Его лицо было бледно, глаза ввалились, он судорожно переступал с места на место, и только когда он заговорил, в его голосе почувствовалась привычка повелевать.

Никто не заметил присутствия в зале меня и двух девушек, и Грациан, едва перешагнув через порог, обратился к Марциану:

— Пресид! Теперь повтори свою клятву на святом Евангелии! Ты не думай, что я перестал быть твоим императором! Власть мне досталась от отца и дана от бога, и не дерзкому мятежнику отнять ее у меня! За меня Италициана, Испании, Африки. У меня еще сто тысяч войска. Мой брат Феодосий поможет мне, едва узнает о моем положении. Я сумею наградить за услугу щедро. Но берегись предать меня. Если не я, то Феодосий отомстит тебе жестоко. Ты ужаснешься той казни, какую он найдет для тебя. Клянись мне в верности на Евангелии!

— Я тебе уже дал клятву, Твоя Вечность,— возразил пресид.— Могу ли я изменить моему благодетелю и императору, поставленному над нами самим богом?

— На Евангелии! на Евангелии! — упрямо повторял Грациан.

По приказанию Марциана, кто-то из его людей побежал за Евангелием, а Грациан, все расхаживая у двери, продолжал говорить отрывисто, в бранных выражениях понося Максима, давая обещания беспощадно наказать изменив-

шие ему войска и города, закрывшие перед ним ворота, снова угрожая пресиду страшными карами в случае нарушения верности. Одежда императора была запылена и забрызгана грязью, и в таком же состоянии было одеяние его людей, которые казались растерянными не меньше своего повелителя. Только двое среди них, суровые воины, с франкскими чертами лица, в полном вооружении германцев, сохраняли достоинство и невозмутимо озирали все собрание; позднее я узнал, что то были — Меробавд и комит Балион, два самых приближенных лица к императору. Напротив, грек, одетый в златотканую, но изорванную и испачканную тогу, недавно еще всесильный магистр оффиций — Македоний, был живым изображением растерянности: его глаза блуждали, руки тряслись так, что это было видно, он не находил себе места и, опираясь на стену, неумолчно шептал молитвы.

Тем временем принесли Евангелие, великолепную книгу в переплете, украшенном серебром, и пресид, взяв ее в одну руку, другую же подняв ввысь, произнес торжественно:

— Призываю во свидетели всемогущего бога, что нет в моей душе лукавства, когда клянусь сохранять должную верность Его Вечности, нашему императору Цесарю Флавию Грациану Августу, отцу отечества, победителю германцев, аламаннов, франков, готов, Великому,— пока угодно будет Небу продлить его жизнь. Клянусь до последнего дыхания служить ему, оберегать его священную особу и, доколе господь по неисповедимым предначертаниям своим не отозвал его от нас, не признавать никого другого императором префектуры Галлий и опекуном-соправителем префектуры Италий. Если же нарушу эту клятву, да буду проклят людьми и отвергнут богом, да лишится моя душа надежды на спасение и да идет в огонь ада на вечные мучения.

Выслушав такую клятву, Грациан сразу повеселел, совсем не по-императорски ударил пресида по плечу и воскликнул:

— Теперь я тебе верю. Ты — честный человек и в своем поступке не раскаешься. Даю тебе мое слово: в следующем году ты будешь префектом Города! А сейчас — пусть нам готовят обед, потому что мы умираем с голода!

Только в эту минуту пресид заметил меня и, сделав несколько шагов ко мне, спросил недовольным голосом:

— Почему ты здесь, любезный Юпий? Ты видишь, что здесь не место посторонним.

Но Грациан прервал слова Марциана, крикнув весело:

— Оставь его, пресид. Мы — в походе, и не время считаться чинами. Я хочу, чтобы за нашим обедом присутствовали все мои люди, эти верные мне воины, и вся твоя семья, все, кто в твоем доме. Мы будем пировать, потому что Грациан не может смутиться от измены проклятых мавров.

Не довольствуясь этим, император сам подошел ко мне и к стоявшим рядом со мною дочерям пресида и еще раз повторил, что желает нас видеть за своим обедом. Особенно настойчиво он это говорил старшей из двух сестер, миловидной Павлине, которая ему, по-видимому, приглянулась. Однако Грациан не забыл добавить, вновь обращаясь к пресиду:

— Но распорядись запереть ворота города, и пусть войско, какое здесь есть, будет наготове. Может быть, еще сегодня нам удастся показать когти надменному британцу.

Марциан поспешно изъявил готовность исполнить все распоряжения императора, а пока предложил ему отдохнуть в наскоро убранных для него покоях, после чего Грациан удалился. Весь его комитат также был размещен в различных комнатах, и по дому торопливо забегали рабы, делая приготовления к императорскому обеду. Я же, окидывая мысленным взором чудесное сцепление событий, заставлявшее меня пировать за одним столом с человеком, в спальню которого я прокрадывался, как убийца, тая кинжал под одеждой, подивился причудливости человеческих судеб, и еще более загадочными и странными предстали мне —

И Фортуна, могущая все, и Рок неизбежный.

XIII

За те сравнительно недолгие часы, которые потребовались поварам Марциана, чтобы выполнить возложенную на них трудную задачу, домоправитель сумел из большого триклиния создать пиршественный зал, достойный императора. Из других покоев в триклиний перенесли ряд статуй и среди них — изображение самого Грациана, укра-

сив его лавровым венком; по углам расставили кадки с деревьями и ящики с цветами; на сцене расположился хор фидицинов; стол заблистал белоснежными мапами, хрусталем, серебряной посудой. Жена и дочери префекта облеклись к обеду в шелковые паллы с длинными фимбриями, а сам он — в праздничную тогу магистрата, которая сверкала золотом лерии и унизывавшими ее самоцветными каменьями.

На этот раз Грациан совершил свой выход в триклиний торжественно: ему предшествовали лица из числа его спутников, а мы, все присутствующие, следуя примеру пресида, склонились при появлении императора почти до земли. Грациан был одет в Римскую тогу, вероятно, предложенную ему Марциапом, на ногах императора были пурпуровые сандалии, в волосах — белая диадема, с изумрудами и пурпуровыми лемнисками, падавшими до плеч. Люди Грациана также украсили себя, кто чем мог, и весь их круг вновь производил впечатление пышности и роскоши.

Встретив императора и проводив его на почетное место, в возглавии стола, пресид подошел к Меробавду и Балиону, явившимся к обеду в полном вооружении, и сказал им почтительно:

— Viri spectabiles! К чему это оружие на нашем празднике, когда мы чествуем обожаемого императора и все готовы умереть за него? Позвольте мне взять у вас эти ненужные угрозы общему веселию.

— Оставь, пресид! — возразил Меробавд.— Мы с нашим мечом не расстаемся ни за столом, ни в спальне. Мы, франки, любим полагаться только на самих себя, да и император не захочет, чтобы около него мы были безоружными.

Пресид не настаивал и занялся размещением своих гостей, причем людей императора сажал не рядом друг с другом, а разделяя их теми, кого пригласил сам, или женщинами. Но Меробавд не подчинился и этому распоряжению: бесстыдно отстранив младшую дочь Марциана, которая хотела сесть слева от Грациана, он занял ее кресло, хотя для него, как для мужчины, было приготовлено ложе, и сказал твердо:

— Мое место здесь. Император хочет, чтобы я был подле него.

Мне опять досталось скромное ложе на конце стола, рядом с каким-то германцем, почти не говорившим по-ла-

тыни, и я опять с удобством мог делать свои наблюдения. Я смотрел, как рассаживались гости, следил за выражением их лиц, слушал льстивые речи пресида и втайне был полон негодованием. «Как! — говорил я себе,— этого Марциана Гесперия считает своим другом, поверенным своих тайн, а он, когда сам Грациан в его руках, унижается перед императором ради каких-то наград в будущем, вместо того чтобы одним ударом уничтожить врага империи и богов! Кто мог бы помешать пресиду? Не в его ли распоряжении военные силы Лугдуна? Не явно ли население сочувствует Максиму? О, если бы Гесперия знала, в какой западне находится ее враг и кто помогает ему спастись!»

Между тем торжественный пир начался, была прочитана христианская молитва, выслушанная присутствующими стоя, зазвучали нежным голосом фиды, цитары и лиры, рабы стали подавать первые блюда промульсида, а мальчики — смешивать в кратерах вино. Грациан предавался веселию празднества с таким безраздумием, что я удивлялся, как этот человек, властвовавший над полумиром, видевший самые богатые пиры, не знавший, есть ли препятствия для исполнения его желаний, мог сохранить в душе столько юношеской живости и такую способность наслаждаться минутой, «уловлять день». Я завидовал Грациану не за его высокий сан и могущество, уже поколебленное, но за ту беспечность, с какой он, преследуемый врагами, нашедший временный приют в городе, к нему расположенном враждебно, весело шутил над своими неудачами, нисколько их не скрывая, и беззастенчиво заигрывал с понравившейся ему Павлиной, которая не знала, как отвечать на вольные намеки Августа.

— Тебе жить не здесь,— расслышал я слова Грациана, обращенные к ней.— Лугдун был великим городом при Нероне, а теперь это — первое село в империи, не больше. Такая красавица должна быть в Риме или в Треверах, где найдутся мужчины, способные оценить красоту этих плеч. Если никто другой не похитит тебя, я сам увезу тебя отсюда, чтобы ты была на своем месте, как хорошая жемчужина в подходящей оправе.

Меробавд угрюмо молчал во время обеда, и комит Балион следовал его примеру; даже вино не дало свободы их языкам. Македоний зорко наблюдал по сторонам, отвечая осторожно и хитро на предлагаемые ему вопросы. Другие гости, среди которых было немало простых кан-

дидатов, по мере того как кубки успокаивали их опасения, все более и более увлекались пиром, говорили любезности женщинам, хохотали громко, вообще вели себя так, словно они на дружеской попойке, а не в доме пресида и в присутствии императора.

Уже выпито было, по предложению Марциана, за священное здравие императора число кубков, равное числу букв его имени, и, по предложению Грациана, за здравие пресида, его жены и прекрасных дочерей; уже не в первый раз мальчики вновь наполняли кратеры, чтобы щедро черпать из них циатами; уже приступили мы к феркуле, а фидицинов сменили на сцене хорошенькие рабыни-тибицины, когда вдруг оглушительные крики народа, раздавшиеся на улице, проникли даже сквозь толстые стены дома. Можно было угадать, что толпа неистовствует от восторга, и Грациан, с несколько встревоженным лицом, спросил, что это значит. Пресид ответил ему:

— Не знаю точно, Твоя Вечность, но думаю, что добрые жители Лугдуна радуются по поводу твоего благополучного прибытия в наш город.

— Это надо расследовать,— строго сказал Македоний.

— Поди спроси их, что им нужно,— распорядился Грациан,— и пусть на счет фиска устроят угощение всему городу: хочу, чтобы сегодня все пировали.

Пресид вышел из триклиния, а вертевшийся около стола ареталог, раньше потешавший нас смешными выходками, сказал, не без дерзости:

— Да, Август, брось народцу хвост: что у тебя и осталось, кроме хвоста!

Грациан нахмурился, а комит Балион крикнул гневно:

— Не зазнавайся, скурра! Как бы я не отрубил тебе и хвост, и твой колпак вместе с головой!

В эту минуту префект уже вернулся, но следом за ним шел высокий воин, судя по лицу, грек, в золоченом вооружении магистра конницы. Так как я сидел против двери, мне было видно, что далее подвигается целый отряд вооруженных людей.

— Кто это? — величественно спросил император, оборачиваясь к двери, но вдруг, узнав вошедшего, вскочил стремительно, так что серебряное блюдо покатилось на пол, отшатнулся, не зная, куда броситься, и закричал в каком-то детском ужасе:

— Андрагафий!

Тотчас в комнате наступило великое смятение, все повскакали со своих мест, германские воины и кандидаты подняли крик, не то от негодования, не то от страха, Македоний, как ловкая лиса, шмыгнул к стене, Меробавд и Балион выхватили из ножен мечи, но, прежде чем я успел сообразить, что происходит, пятеро вооруженных людей, по знаку Андрагафия, кинулись на Грациана. Я видел, как клубок тел завертелся на том месте, где только что, весь бледный, стоял император, перед глазами у меня мелькнули взлетевшие ввысь и опустившиеся клинки, и по всему триклинию пронесся пронзительный вопль Грациана:

— Амбросий! Амбросий! где ты?

В следующий миг Меробавд ринулся на убийц, раздался мощный удар его меча, отраженного чьим-то щитом, и в мирном триклинии началась схватка, словно в жилище Улисса при избиении женихов. Но уже новый отряд вооруженных вступил в комнату, загородил дорогу комиту Балиону, порывавшемуся на помощь к своему сотоварищу, и своим грозным видом как бы окаменил тех из людей императора, которые помышляли о сопротивлении. Одни из них остались бессмысленно сидеть перед дымящимся блюдом, другие, схватившие было столовые ножи, как оружие, застыли неподвижно, сжимая их в руке, третьи упали на колени и униженно молили о пощаде, а женщины между тем со стонами метались по триклинию, ища выхода.

Все это продолжалось не больше времени, сколько надо, чтобы залпом выпить кубок вина, и, едва опомнившись от неожиданности, я уже видел труп верного франка, распростертый подле тела того, кто еще сегодня был повелителем всего Запада. Оцепенение присутствующих стало проходить, и в комнате раздался повелительный голос Андрагафия:

— Да здравствует император Цесарь Великий Максим Август!

Несколько голосов недружно ответило:

— Да здравствует Максим Август!

Комит Балион, которого пять или шесть воинов, отняв у него меч, держали крепко за руки, внезапно вырвался, отбежал к стене и прерывающимся голосом бросил Марциану:

— Так вот, пресид, цена твоей клятвы на Евангелии! Всемогущим богом ты клялся сохранить верность импе-

ратору и в тот же день предал его! Иуда, ты разделишь участь с предателем Христа.

Пресид, который присутствовал при убийстве Грациана, спокойный, но сам бледный, как труп, возразил глухо:

— Vir spectabilis! Не я поднял руку на священную особу императора. Все произошло помимо моей воли. Я клялся служить императору Грациану, доколе он жив, и этой клятвы не нарушил.

— Гнусный лицемер! — воскликнул франк.— Таковы вы все, Римляне! У вас нет храбрости даже на то, чтобы самим совершить преступление. Вы для этого нанимаете руки германцев, а свои умываете, как Пилат. Но Правый Судия рассудит, на чьих кровь.

Несколько воинов снова двинулись к комиту, чтобы захватить его, но он остановил их движением руки и сказал еще:

— Не трудитесь убивать меня. Мне самому стыдно жить в наши дни измен и предательств. Мне стыдно жить в империи, где даже жизнь императора продается за деньги. Я тоже клялся до смерти служить Грациану, и я свою клятву сдержу точно.

Франк извлек из-за пояса кинжал, быстро погрузил его себе в грудь и, в содроганиях смерти, упал на мозаичный пол триклиния, подле ящика с высокими розами; третий труп присоединился к двум другим.

— Довольно убийств! — произнес Андрагафий.— Именем Августа Максима объявляю всем прощение и милость. Только один из вас будет немедленно взят под стражу за тяжкие преступления, учиненные им. Воины, задержите бывшего магистра оффиций, Македония!

Тут заметили, что Македония в триклинии нет: воспользовавшись общим смятением, он выскользнул из комнаты. Андрагафий тотчас отрядил людей в погоню за ним, а всем нам приказал покинуть зал, где лежало тело почившего императора. Люди Грациана все же, по выходе из триклиния, были окружены стражей, и им не позволили выйти из дому; нам всем остальным было объявлено, что мы свободны идти, куда хотим.

Потрясенный всем виденным, я, после некоторого колебания, вышел на улицу. По городу уже разъезжали преконы, выкрикивая на перекрестках, что император Грациан скоропостижно скончался, и приглашая возгласить славу Августу Максиму. Толпа встречала это известие

возгласами одобрения, впрочем, далеко не столь восторженными, как то можно было ожидать; недовольные же не смели высказывать своего мнения теперь, когда Лугдун был наводнен конными воинами Андрагафия. Но о действительной судьбе Грациана тотчас узнал весь город, и об этом говорили открыто на площадях.

Скоро я услышал и об участи Македония. Почти чудом выбравшись на улицу, он, обезумев, метался по Лугдуну, надеясь найти убежище у алтаря, но в ослеплении ужаса не замечал церквей и пробегал мимо их дверей. На окраине города его настигли посланные за ним в погоню и убили его. Так исполнилось предвещание Амбросия: «Скоро придет день, когда и тебе придется спасать свою жизнь: ты тогда обратишься к церкви, и церковь останется заперта пред тобой».

Вечером этого кровавого дня, предугаданного Вибиском по сочетанию светил, весь Лугдун осветился огнями: зажглись на домах луцерны, у ворот — факелы, на площадях — смоляные бочки. Я продолжал до поздней ночи бродить по улицам, долго не решаясь вернуться в дом, осквернённый убийством, и раздумывая над событиями, которых был свидетелем. Я сравнивал свою нерешительность и свои волнения в дни, когда мечтал убить Грациана, с той уверенностью и с тем спокойствием, с какими нанесли ему смертельный удар германцы Андрагафия, а также благородную смерть франка Балиона, поразившего себя прямо в сердце, с изнеженным самоубийством моего друга Ремигия, сначала пресытившего свои чувства в кругу красивых мальчиков. Не стали ли деяния и доблесть уделом других народов,— спрашивал я себя,— а Римлянам не осталось ли только гордиться величием прошлого и сладострастно истекать кровью в тепловатой ванне? И хотя со времен Приама не раз повторялась на подмостках истории трагическая сцена, как «на берегу лежит великое тело» и падает тот, кто недавно был «гордым повелителем стольких народов и земель», все же судьба Грациана заставляла подумать вновь о неверности и судеб империи и личной судьбы человека. Сопоставляя свое незаметное существование с блеском императора, от которого вчера еще зависели тысячи и тысячи жизней, я в поучение себе твердил стихи Флакка:

Знает ли кто, придадут ли к дням, до сегодня прошедшим,
Боги и завтрашний день?

XIV

Когда на следующий день семья пресида собралась за завтраком и среди нас оказался не кто иной, как магистр конницы Андрагафий, мне было стыдно смотреть в глаза Марциану. Я не мог забыть, что он запятнал свою душу клятвопреступничеством и что ему в лицо было брошено страшное обвинение человеком, готовым покинуть этот мир неправды. И хотя мы сидели в маленьком триклинии, мне все представлялось, что пол залит кровью и что повторяется пронзительный вопль убиваемого Грациана:

— Амбросий! Амбросий! где ты?

Между тем сам хозяин беспечно разговаривал со своим гостем о вопросах ничтожных, как будто ничего важного вчера не произошло: о жизни в Британии, о походе от устья Рена, об общих знакомых. На меня никто не обращал внимания, и дочери префекта молчали за все время завтрака, может быть, подавленные воспоминаниями о вчерашнем пире. Это на меня оказало такое тягостное действие, что я подумывал покинуть дом пресида и переехать в какую-нибудь гостиницу, но когда мы уже вставали из-за стола, Марциан, обращаясь ко мне, сказал:

— Сегодня мне предстоит высокая честь принять под своим кровом Августа Максима. Я узнал, что среди лиц, сопровождающих Его Вечность, будет та женщина, жена сенатора Элиана Меция, к которой у тебя, любезный Юний, есть поручения. Ты ее сегодня увидишь.

Кровь отхлынула у меня от лица, и я не мог произнести ни слова, потому что все заслонила собою мысль: «Сегодня я увижу Гесперию!» То, что я пережил за последние месяцы: оргии Нового Села, битва, в которой мне грозила верная смерть, трагическая гибель Реи и злодейское убийство императора на пиру,— все, все потонуло в этом сознании, как в водах Океана исчезают брошенные камни. Так сильно было потрясение, что я убежал в свою комнату, упал на ложе и вдруг заплакал.

По мере того как проходили часы, мое волнение возрастало неудержимо: мое сердце колотилось, руки остывали, я испытывал страх больший, чем под копьями легионариев. По временам мне казалось, что от томления я умру, не дождавшись вожделенной минуты. Я пытался подготовиться к тому, что скажу Гесперии, но мои мысли путались, и я молил богов об одном: дать мне дожить до встречи.

Когда улицы Лугдуна наполнились шумом и кликами народного сборища, приветствующего императора, когда вновь топот лошадей звонко раздался у дверей дома,— я почти падал от изнеможения и сладкого ужаса. С трудом, как больной, я вышел в ту самую колонную залу, где вчера еще мы встречали Грациана и где сегодня собрались знатнейшие лица города, куриалы, люди Андрагафия и семья пресида, чтобы приветствовать победителя. Затерянный в толпе, я руками сжимал свою грудь, чтобы подавить трепет обезумевшего сердца.

И под восторженные крики «Salve!», под стук щитов германских легионариев, тяжелой походкой воина, в боевой одежде, со шлемом на голове, вступил в комнату Максим. Загорелый испанец, с чертами лица грубыми, с движениями решительными, он прошел на середину зала и остался там, тогда как все возглашали: «Слава Цесарю Великому Максиму Августу!» Император махнул рукою, давая знак, чтобы замолчали, и из нашей среды выступил старик, первый местной курии, который, поклонившись низко, начал произносить приветственную речь. Но я этой речи не слушал, я всматривался жадно в комитат Августа, где было несколько женщин, и вдруг увидел Гесперию, со скромною гордостью державшуюся в стороне. Она была одета в простой дорожный плащ, и только одно украшение сверкало на ее груди: большой золотой крест.

Если видение Гесперии ослепило мои глаза, то этот крест потряс все мое существо. Что он означает? Почему этот знак христианства на ее груди? Зачем она выставляет напоказ символ того, против чего неутомимо борется? Такие вопросы так остро вонзались в мою душу, что я даже не испытывал более волнения от близости Гесперии. Я думал, я старался понять, я сам осуждал свои обидные догадки, но горькое подозрение жгло меня своим огнем.

Приветствия, обращенные к императору, длились бесконечно долго, и провинциальные ораторы употребляли все усилия, чтобы поддержать всесветную славу галльского красноречия. Периоды, красиво построенные по точным правилам риторики, следовали за периодами; экскламации, аллокуции, сермоцинации, диссимуляции сменяли друг друга; одинаковые слова то повторялись в анафорах, то отскакивали одно от другого в эпифорах, то противоречиво сталкивались в оксюморонах; можно было подумать, что я опять в школе Лимения, слушаю пробные речи моих сотоварищей. Наконец Максим, утомленный

изысканностью панегириков, к которым не привыкло его ухо, более знакомое с ржанием коней и бряцанием доспехов, отмахнулся от ораторов, как от надоевших мух, и пошел во внутренние покои дома. Все, суетясь, поспешили за ним, и на миг в зале наступило некоторое смятение.

Этой минутой я воспользовался, чтобы подойти к Гесперии, и сказал ей:

— Diva, ave!

Гесперия взглянула на меня и, как будто не сразу вспомнив, кто я, ответила равнодушно:

— Это ты, Юний? Здравствуй. Не совсем в назначенное время ты вернулся ко мне.

— Я все же вернулся, Гесперия, и мне надо, непременно надо передать тебе все, что я видел и что узнал.

Гесперия досадливым взором посмотрела на меня, но, поняв, что я не отступлюсь от своей просьбы, и, видимо, не желая спорить, так как на наш разговор обращали внимание посторонние, быстро проговорила:

— Хорошо, вечером я прикажу позвать тебя ко мне. Будь здоров.

Она уже двинулась в том же направлении, куда прошел император, но я, в отчаянии, готовый быть навязчивым, заступил ей дорогу и спросил:

— А почему у тебя на груди крест, Гесперия?

Кругом теснились люди, какие-то женщины, причесанные пышно, оффициалы в красных цингулах, и Гесперия, подняв глаза к потолку, ответила:

— Я познала истинного бога. Спаситель в неизреченном милосердии своем призвал меня к себе, как заблудшую овцу. От полноты души я желаю, Юний, чтобы ты последовал моему примеру.

После этого ответа Гесперия решительно пошла вперед, а я остался один среди опустелой залы и в великолепии этого дома чувствовал себя в такой же пустыне, как Марий на развалинах Карфагена.

Напряжение, с каким я ждал встречи с Гесперией, разрешилось теперь в беспредельное изнеможение: моя душа и мой ум были пусты, как выпитый кубок, и я даже не в силах был негодовать или отчаиваться. Опять в своей комнате я бросился на ложе и пролежал на нем, без сна и без мыслей, те часы, пока длился прием императора и новый пышный обед, на который меня не позвали. Сумерки наполнили комнату, дом пресида затих постепенно, а я все лежал, глядя на красные разводы по степам, мед-

ленно поглощаемые тенью. В воображении предо мною стояла Гесперия, по-прежнему прекрасная, по-прежнему манившая к себе все мои чувства, и дрожь потрясала меня, когда я представлял, что мог бы обнимать ее на этом самом ложе,— но в глубине души таилось сознание, что случилось что-то безмерно важное, что-то безнадежно непоправимое, что-то навсегда изменившее мое отношение к этой женщине.

Когда появился раб, посланный Гесперией, чтобы проводить меня к ней, я опять испытал чувство страха: что я ей скажу? как я буду слушать ее слова? И мне было почти стыдно, что в то же время желание приблизиться к Гесперии было живо во мне, что тайная надежда обнять ее, прижать свои губы к ее, еще раз изведать сладость ее ласки — подымалась со дна души. Гордость говорила мне, что я поступил бы благороднее, если бы сегодня же, не придя к Гесперии, покинул Лугдун, но вместо того я покорно пошел вслед за ее рабом.

Гесперия заняла отдельный дом, поблизости от жилища пресида, маленький, но уютный. Знакомые мне рабыни Гесперии, с которыми она не рассталась, проводили меня к своей госпоже. В легком вечернем одеянии, с тем же крестом на груди, возлежала Гесперия на ложе, предложила мне сесть подле и беспечным голосом начала расспрашивать о моих приключениях.

Делая над собою усилие, я откровенно рассказал все, что пережил после нашей разлуки в Медиолане, не скрыв и своей близости с умершей Реей. Я говорил нескладно, путаясь, потому что мой ум был занят другим; когда же я кончил, Гесперия сказала:

— Ты опоздал, Юний. Были дни, когда ты мне был очень нужен, и я горько жалела, что тебя нет со мною. Но я все устроила без тебя, сама. Напрасно ты совершил свое тягостное путешествие через Альпы. Поезжай же теперь в свою Лактору — отдохнуть и повидаться с родными, а потом возвращайся в Город — учиться. Сказать по правде, ты прошлую зиму не очень усердно посещал школу.

— Итак, ты более не хочешь, чтобы я был близ тебя? — спросил я.

— У меня теперь другая цель в жизни,— возразила Гесперия,— и ты не можешь идти рядом со мною.

— Ты изменила нашему делу? — тихо спросил я,— ты продалась христианам?

Прекрасная в минутном гневе, Гесперия встала с ложа и, надменно глядя на меня, произнесла строго и отчетливо:

— Мы сейчас наедине, и я не повторяю тебе тех слов, что сказала тебе сегодня днем. Какова моя вера, это — мое дело, но я нашла нужным носить этот крест и признавать Распятого. Ты же не имеешь права меня допрашивать. Упреков я слушать не хочу. Больше нам говорить не о чем. Уходи от меня и больше не ищи встреч со мною.

С жестокой болью сжалось мое сердце при мысли, что я должен расстаться с Гесперией навсегда, что отныне я никогда более не увижу ее. Снова мне показалось, что можно и стоит снести все: терпеть унижения, быть посмешищем людей, совершить позорную измену, только бы быть подле этой женщины. Но чувства негодования, презрения, ненависти еще боролись в душе с любовью, и я проговорил глухо:

— Ты ругаешься над богами бессмертными. Ты презираешь гнев Олимпийцев. Смотри, чтобы страшной казнью не покарал Громовержец твоего предательства!

Тонкие ноздри Гесперии раздулись от гнева, жемчужины зубов сверкнули из-за кровавых губ, голова ее откинулась, и еще более строго и властно она произнесла:

— Так говорить я тебе не позволяю. Уходи немедленно. Более ты меня не увидишь никогда.

Гесперия сделала шаг, чтобы выйти из комнаты, но уже моя гордость была побеждена: я упал к ногам Гесперии, которые обнимал так часто, приник губами к ее сандалиям и в привычном самозабвении, не находя нужных слов, воскликнул:

— Нет, нет, Гесперия! Ни судить, ни упрекать тебя я не могу, потому что я, как и прежде, обожаю тебя, поклоняюсь тебе! Нигде, никогда, ни в бою, ни на ложе с другой женщиной, твой образ меня не покидал! Другой любви в моей душе не может быть, сколько бы ни суждено было мне бродить по этому миру! Прости мне мое безумие, оставь меня близ себя: иначе я не могу жить!

Гесперия попыталась отстранить меня, но я полз за ней по полу, цепляясь за край ее платья, и продолжал твердить свои клятвы и просьбы. Я говорил, что опять отдаю в ее распоряжение свою жизнь, свое тело, свои помыслы; что я по-прежнему буду ее слугою, ее рабом, ее вещью, что исполню каждое ее приказание, как бы страшно оно ни было; что я готов убить, кого она укажет, готов стоять на страже у дверей ее спальни, когда она бу-

дет на ложе с другим, готов принять ту веру, какую она укажет.

— Ты хочешь, чтобы я стал христианином, Гесперия?— спрашивал я.— Я завтра же признаю Распятого, буду посещать христианские храмы, буду молиться Христу, крещусь. И я ничего не требую взамен: только позволь мне порою смотреть на тебя, иногда говорить с тобою!

Я презирал себя, когда произносил эти слова, но говорить иначе не мог, и я умолял долго, а Гесперия долго отказывала мне безусловно, но потом стала уступать и, наконец, сказала:

— Если ты этого так хочешь, Юний, я попрошу императора: он милостив и даст тебе какую-нибудь должность при своей особе. Но помни: ты со мною будешь встречаться лишь при других. Ты не явился вовремя ко мне, предпочел делить ложе с твоей Реей, и все свои обещания я беру обратно. Теперь прощай.

Почти насильно она заставила меня выйти из дому, и я не знаю, когда мне было тяжелей: когда я шел к Гесперии или когда возвращался от нее.

XV

Всю зиму я прожил после того при дворе усурпатора жизнью унылой и позорной.

Гесперия сдержала обещание, и император Максим назначил меня в свой комитат, в оффицию приемов. Я сопровождал нового Августа во всех его переездах, часто присутствовал на его выходах, жил вместе со схолой магистрианов, но вся моя работа сводилась к тому, что я писал или, точнее, переписывал, те редкие письма, которые отправлялись от имени императора. Такая должность была противна моим вкусам и не соответствовала моим познаниям, приближенные императора смотрели на меня свысока, а кроме того, меня удручало сознание, что я служу тирану, незаконно захватившему власть в моей родной стране.

Живя при дворе, я часто видел Гесперию, но, как она меня предупреждала, всегда в присутствии других лиц. Когда к Максиму приехала его жена, Елена, уроженка Британнии, дочь богатого дукса Евдды, Гесперия была причислена к сопровождающим ее женщинам и почтительно исполняла свои обязанности, но ни для кого не было

тайною, что душою Августа всецело владела прекрасная Римлянка. Во всех городах, которые мы посещали, Гесперия помещалась в отдельном доме, но император ежедневно посещал ее, часто приходил вечером и порою оставался до следующего дня. Говорили, что ничто в провинциях не делается без воли прекрасной Римлянки, что она поправляет все декреты Августа, и ее советами объясняли те мудрые меры, которые принимал Максим и до которых он сам, человек малоученый и простой, вряд ли мог бы додуматься.

При дворе строго соблюдались все правила христианской церкви, совершались долгие богослужения, христианские священники пользовались величайшим почетом, однако сам император вовсе не был набожен. Крещение он принял, по настоянию войска, всего за несколько дней перед тем, как открыто надел диадему, и в разных тонких различиях верований был плохо осведомлен. Это не мешало Августу принять сторону последователей Афанасия против ариан, и в этом тоже видели настояния Гесперии, которая мстила арианам за то, что в свое время они недостаточно поддержали ее стремления. Я тоже постоянно присутствовал на службах в христианских храмах, хотя переменить веру меня не принуждали.

После кратковременного пребывания в Лугдуне мы переехали в Треверы, великолепный город, может быть, второй по красоте на Западе, поставивший свои широкие стены по холмам на берегу воспетой Авсонием Моселлы. Здесь, откуда еще недавно Валентиниан сильною рукою правил империей и где юный Грациан послушно внимал советам своего первого, мудрого наставника, Максим теперь стремился вполне утолить свою жажду величия и власти. В пышном дворце Валентиниана, одетый в пурпур, он принимал поклонение льстецов, наслаждался их падением ниц перед собою, их бесстыдным восхвалением его ума и его мощи, а по вечерам — буйными попойками с бывшими сотоварищами по оружию, во время которых, как говорят, забывал о своей диадеме и вместе с другими пел непристойные песни, сложенные в лагерях. Мне передавали за достоверное, что в этих ночных пирах, не отличавшихся ни приличием, ни воздержанностью, принимала участие и Гесперия.

В Треверах нас посетил епископ Амвросий, как посол императрицы Юстины, приехавший, с комитом Бавтоном и братом императора Марцеллином, предложить мир от

имени юного Валентиниана II: Юстина соглашалась признать Максима Августом и императором Галлий, Британний и Испаний с тем, чтобы Валентиниану были предоставлены провинции по другую сторону Альп. Максим принял епископа надменно, много дней заставил его ждать приема и, наконец, выслушав предложения, объявил, что Юстина и ее сын лично должны явиться в Треверы и отдаться под покровительство нового Августа, который лучше других сумеет оберечь их жизнь и достояние. Некоторые говорили, что Максим желал заманить в свои руки Валентиниана и погубить его, но я думаю, что усурпатор хотел просто насытить свою гордость, заставив брата своего недавнего повелителя склониться у своих ног.

Мне случалось встречать Амвросия на улицах Треверов, по которым он ходил всегда без сопровождения, одетый скромно, с опущенными глазами. Но было в его походке величие, в чертах лица — непреклонная твердость, и я думаю, что не был прав Марк Рустик, когда уверял, что кончилась слава Медиоланского епископа: кровь Аврелиев не позволит ему долго оставаться в тени, и империя когда-нибудь еще почувствует вновь его тяжелую руку. То обстоятельство, что он, верный поборник учения Афанасия, принял на себя посольство от лица Юстины, ревностной защитницы ариан, показывает, что Амвросий готов схватиться за любой предлог, только бы снова выступить на арену общественных дел и стать посредником между императорами.

От Максима Амвросий уехал без определенного ответа, и произошло это, может быть, оттого, что гордость не позволила ему обратиться за поддержкой к Гесперии. Прекрасная Римлянка, как все ее у нас называли, была при дворе всемогущей, во все вникала и обо всем успевала думать. Об одном только Гесперия как бы забыла совершенно — о моем существовании. Пренебрежительно отвечая на мои приветы, отвращая лицо от моих страстных взглядов, она за все мое пребывание в Треверах не удостоила меня разговором с собой. Только раза два она отдавала мне приказания, столь же спокойным голосом, как любому из воинов, и это спокойствие оскорбляло меня больнее, чем гнев или укоры. Она держала себя со мною так, как если бы никогда мы не приближались друг к другу, как если бы никогда она не слушала благосклонно моих признаний, никогда не говорила мне сама

о своей любви ко мне, никогда не припадала к моим губам страстными поцелуями. Порой, встречая холодный, недоумевающий взгляд Гесперии, останавливавший мои робкие попытки с ней заговорить, напомнить ей прошлое, высказать все томление моей души, я сам готов был думать, что это прошлое лишь приснилось мне, что Гесперия ничего не знает о моем безумном сне и всегда была для меня далекой и недоступной, как небожительница.

Мое время проходило в скучной и бесплодной работе, в общении с товарищами, которых занимали только попойки и посещение городских лупанаров и среди которых я не нашел ни одного, с кем мог бы сблизиться, наконец, в мучительном ожидании, что с Гесперией произойдет одно из чудесных изменений, свойственных ей, и она вдруг сама позовет меня к себе, скажет, что опять хочет быть со мною, опять меня любит. Незначительный магистриан, довольствующийся своим скудным жалованьем, так как я стыдился даже уведомить отца, где нахожусь, я влачил цепь безрадостных дней, не видя ничего лучшего и в будущем. Таково было уныние, владевшее мною, что я охладел и к книгам и, хотя в городе были хорошие библиотеки, по целым неделям не раскрывал ни одного свитка, не говоря уже о том, чтобы попытаться продолжать свое образование в местных реторических школах, поставленных, благодаря щедротам Грациана, на большую высоту.

Много раз я говорил себе, что такое существование недостойно меня, но у меня недоставало воли разорвать с ним, покинуть двор Максима и навсегда расстаться с надеждою приблизиться к Гесперии. Как то было в Риме, так в Треверах, красота ее меня порабощала: в свое время покинуть Рею мне было трудно потому, что ее ласки давали мне радость единственную; теперь покинуть Гесперию мне казалось еще труднее потому, что я испытывал ни с чем не сравнимый восторг, смешанный с жестоким мучением, глядя на нее, приближаясь к ней, ежедневно подвергаясь ее оскорблениям. Каждое утро я начинал сладостными мечтами о том, где сегодня я увижу Гесперию, и каждый вечер, вспоминая обиды, которые она с небрежным видом нанесла мне за день, я сжимал рукою сердце, порывисто бившееся не то от боли, не то от счастия.

Однако с каждым днем мне становилось все тяжелее длить мою позорную жизнь, и мое самолюбие все настой-

чивее повторяло мне, что так или иначе я ее изменить должен. После долгой борьбы с самим собою, после горьких раздумий в течение целых ночей и одиноких слез я, наконец, решился на половинную меру. Максим отправлял свое посольство к Юстине и Валентиниану, чтобы продолжить переговоры, начатые при посредстве Амвросия. Я попросил, чтобы меня назначили в это посольство, надеясь, что разлука с Гесперией успокоит мои чувства и даст мне силы принять твердое решение. Моя просьба была удовлетворена, и, в звании магистриана, я поехал, с другими членами посольства, в Медиолан, куда переселился юный брат Грациана.

Опять довелось мне совершить переезд через Альпы и, по мере того как мы подвигались вперед и вставали передо мною знакомые местности, словно какая-то шелуха спадала с моей души. В моей памяти вставали пережитые мною бурные и счастливые дни, удивительный, оставшийся мне непонятным образ Реи, картины битвы, в которой я участвовал, «схватки и бой, пролитие крови, людей истребленье», странным мне стало казаться, что теперь я могу довольствоваться местом маленького служащего при сомнительном императоре, и честолюбие в моей душе начинало брать верх над безнадежной любовью. «Нет,— говорил я себе,— лучше вести жизнь безрадостную, но доблестную, лучше отречься от счастия навсегда, но быть полезным родине, чем изнывать в постыдном бездействии, скованным, как раб, цепями неразделенной страсти!» Встречая вновь людей, честно поклоняющихся богам предков, я чувствовал, что во мне возрождается вера в защиту бессмертных, и по ночам, наедине, я молил Олимпийцев помочь мне вернуться к настоящей жизни и набожно прочитывал молитвы, которым когда-то меня учила мать: «Luam Saturni, Iurites Quirini, Heriem Iunonis...»

В Медиолан мы приехали одновременно с новым Сенаторским посольством, во главе которого опять стоял Симмах. Римский Сенат, по смерти Грациана, решил сделать вторичную попытку добиться разрешения восстановить в Курии алтарь Победы, и вторично великий оратор взял на себя труд произнести перед юным императором речь в защиту древней Римской веры. Симмах узнал меня, когда мы с ним встретились на улице Медиолана, и дружески позвал меня к себе.

Словно чудодейственной водой, врачующей недуги души, была для меня приветливость префекта, который

принял меня как равного, несмотря на свое высокое положение и все возрастающую славу писателя. Умные речи Симмаха о современном положении дел, о новом распадении империи, об обязанностях каждого Римлянина в такие смутные дни были для меня целебным напитком, возбуждающим силы и желание бороться. Но, может быть, всего живительнее подействовали на меня рассказы Симмаха о жизни в Городе и о знакомых мне лицах.

Симмах сообщил мне, что мой дядя, Тибуртин, вновь принял в дом свою жену Меланию и ее дочь Аттузию, но сильно пал духом, окончательно предался радостям Бакха, так что почти не посещает заседаний Сената. Но работа тайного общества нисколько не прекратилась со времени отъезда Гесперии; напротив, можно даже сказать, что участники заговора добились значительных успехов: сам Симмах в этом году был префектом Города, Флавиан — префектом префектуры Италии, Претекстат назначен консулом. Таким образом три вождя общества сосредоточивали в своих руках власть над всей страной древнего Рима, от Альп до Сикулийского моря, и могли действовать настойчиво на пользу своих замыслов. Симмах не надеялся на успех и второго посольства, но был уверен, что известие о нем произведет на население нужное впечатление и что его релация Валентиниану, которая будет обнародована, подготовит умы для будущего восстания против императоров, насильно заставляющих потомков Ромула служить иудейскому Христу.

Наш разговор невольно привел нас к имени Гесперии, и Симмах спросил меня, встречаюсь ли я с нею. Откровенно я рассказал то, что знал о положении Гесперии при Максиме, а также о ее мнимом обращении в христианство, добавив, что ее поведения и ее намерений я не понимаю. Симмах мне ответил задумчиво:

— Я, конечно, слышал о том, что ты мне рассказываешь. Но я тоже перестаю понимать нашу Гесперию. Она писала мне из Треверов, требуя, чтобы я верил в ее честность, хотя бы все улики были против нее. Сознаюсь тебе, что такую веру мне сохранить нелегко. Если ее поступки не переменятся, я боюсь, что мне придется считать ее...

Симмах остановился и потом, с видимым усилием, договорил:

— ...считать ее за женщину, которая добивалась одного: разделять с кем-нибудь императорский престол.

Эти слова больно ударили меня по сердцу, и я еще долго помнил их звук, даже после того, как расстался с Симмахом.

К сожалению, мне не пришлось слышать речи Симмаха, которую он произнес в консистории принцепса, перед юным императором, в присутствии Юстины, Амбросия, арианского епископа Авксенция и высших придворных чинов. Теперь, когда эта релация обнародована, мы все можем судить о поразительном блеске красноречия Симмаха и о неопровержимости его осторожных и скромных доводов, а я еще узнал в ней те же мысли, которые когда-то великий оратор высказывал в моем присутствии самому Амбросию, в его доме. Говорят, что Юстина, из ненависти к последователям Афанасия и из боязни волнений в Городе, была готова согласиться на просьбу Римского Сената, но Амбросий опять одержал верх, повторяя свое излюбленное соображение, что должно истреблять все признаки поклонения идолам, хотя бы это грозило величайшими бедствиями, так как преследование Юпитера угодно Христу. «Истинное благочестие,— сказал опять епископ,— состоит в том, чтобы предпочитать небо — земле, блага вечные — выгодам сегодняшнего дня». Добавляют, что Амбросий даже пригрозил императору воспретить ему вход в храмы, если он сдастся на доводы Симмаха, и юный Валентиниан, испуганный такой угрозой и убежденный красноречием епископа, отказал Сенаторскому посольству в его просьбе. Оно должно было покинуть Медиолан, не добившись успеха.

Перед отъездом Симмаха я зашел к нему проститься и, помня его жестокие слова о Гесперии, а также думая о своем подозрительном положении при христианском дворе Максима, спросил:

— А мне, Симмах, веришь ли ты? Не считаешь меня за человека, ищущего только выгод? Не думаешь, что я изменил своей вере?

Симмах ответил мне, откровенно намекая на мою страсть к Гесперии:

— Тебе, Юний, я верю, потому что понимаю тебя. Любовь извиняет все.

Слова такого человека, как Симмах, были для меня большим утешением, но сам я не все в своем поведении мог извинить любовью. Оторвавшись от Гесперии, от прямого очарования ее близости и ее непобедимой красоты, я получил способность рассуждать более здраво,

а может быть, и благосклонные боги услышали мои мольбы и послали мне свою поддержку. К тому времени, когда наше посольство, добившись благоприятного ответа от Юстины, за спиной которой, конечно, стоял Восточный император Феодосий, собралось в обратный путь,— мое решение было принято. Я сказал себе окончательно, что должен покинуть Треверы, хотя бы это грозило мне вечной разлукой с Гесперией. Мать-Венера видела, как не легко было мне прийти к такому решению, но она же знает, что поступить иначе я не мог.

Сами боги словно хотели укрепить мою решимость, потому что в Треверах, когда я вернулся с посольством ко двору Максима, первое, что меня ждало, было письмо моего отца. Откуда-то узнав о моем местопребывании, отец воспользовался тем, что из Лакторы ехал в Треверы наш сосед и давний друг, которому можно было довериться, и послал мне как весть о себе, так и небольшое количество денег. Отец писал, чисто по-римски и сурово, что я унижаю славное имя Юниев Норбанов, служа усурпатору и врагу родины. Упомянув кратко, что моя мать захворала, узнав, где я и что делаю, отец строго приказывал мне немедленно покинуть двор Максима и вернуться к семье. Он добавлял, что обращается ко мне со своими приказаниями в последний раз и, если я им не подчинюсь, будет считать, что сына у него более нет.

В тот же день,— самый день моего возвращения из путешествия в Медиолан,— я написал письмо Гесперии, в котором извещал ее, что покидаю Треверы, и просил у нее позволения лично проститься с нею. Не знаю сам, что водило моим стилем, когда я поверял эту просьбу мягкому воску, но, вероятно, еще какая-то слабая искра надежды тлела под пеплом моего разуверения. Гесперия велела своему рабу передать мне устно, что я могу прийти к ней, чтобы проститься, на другой день вечером.

Следующий день я потратил на то, чтобы получить свою отставку и позволение уехать, чего, впрочем, добился без затруднений. Но, беседуя со своими товарищами по оффиции о том, что случилось в Треверах во время моего отсутствия, я услышал новости, совершенно изменившие состояние моего духа. Подсмеиваясь, так как моя безнадежная страсть к прекрасной Римлянке была очевидна для всех, один из юных магистрианов рассказал мне, что у императора нашелся соперник, в лице его родного брата, красивого Марцеллина, служившего преж-

де при дворе Юстины в Сирмии и приехавшего к нам вместе с Амвросием. Заметили, что Гесперия оказывает исключительное внимание Марцеллину, и потом убедились, что он часто входит в дом прекрасной Римлянки тайно и долго остается наедине с нею.

Разумеется, я постарался скрыть свое волнение и ответил, что это все — пустые россказни, которым не должно давать веры. Но, говоря правду, я был этим сообщением уязвлен больше, чем всем обращением со мною Гесперии за весь год. Я мог терпеть ее холодность, когда она не любила никого другого и только из своих тайных расчетов открывала двери спальни перед императором, но мысль, что Гесперия предпочла мне другого, человека к тому же ничем не примечательного, зажгла всю мою душу факелом нестерпимой ревности. В тот вечер, отправляясь к Гесперии, я, не признаваясь самому себе, зачем это делаю, засунул за пояс кинжал, подаренный ею мне, с надписью: «Учись умирать!»

Прекрасная Римлянка жила в Треверах в маленьком доме, далеко уступавшем по роскоши убранства ее вилле в Городе на Холме Садов. Гесперия встретила меня высокомерно и с первых слов объявила мне, что может слушать меня лишь несколько минут, потому что позже ждет к себе императора. Я употреблял все усилия, чтобы быть сдержанным, хотя вся кровь в моих жилах кипела, как над огнем, и сначала в почтительных выражениях объявил о своем решении уехать навсегда. Когда же Гесперия приняла мое сообщение равнодушно и даже не осведомилась, куда я еду, я рассказал, что видел в Медиолане Симмаха, и передал свой разговор с ним. Глядя прямо в лицо женщины, я повторил раздельно и ясно его слова о Гесперии. Выслушав меня спокойно, она возразила:

— Если бы ты знал, до какой степени мне безразлично, что обо мне думает или не думает Симмах! Какое мне дело до того, верит он в меня или нет!

— Да, Гесперия,— сказал я,— тому, кто изменил вере отцов и своим друзьям, поневоле приходится пренебрегать чужим мнением.

— Ты опять начинаешь говорить дерзости,— воскликнула Гесперия.— Прекратим нашу беседу. Ты со мною простился, теперь уходи: я тебя предупредила, что жду императора.

— Не брата ли императора? — спросил я, чувствуя, что бледнею.

Гесперия встала с ложа и, опять приходя в гнев, кинула мне:

— Юний, ты снова забываешься! Ах, да! ты не в силах снести, что кого-то предпочли тебе! Что же делать, если твои боги, кроме красивого лица, не одарили тебя ничем иным! Ты способен лишь на то, чтобы влюбляться в женщин и влюблять в себя тех, которые поплоше, вроде старой девушки Валерии, или этой твоей Реи, любовью которой ты постоянно передо мною хвастался! Я предпочитаю мужчин, способных рассуждать и действовать, а ты волен на это сердиться!

— Так это правда о Марцеллине? — спросил я, не зная, что говорю.

Гесперия посмотрела на меня презрительно и произнесла:

— Совершенная правда, но не беспокойся: если ты вздумаешь об ней доносить, я сделаю так, что тебя бросят в тюрьму, как клеветника.

Ответы Гесперии были подобны ударам бича по лицу, и мое сознание мутилось. Я переставал владеть своими чувствами и рассудком. Подступая близко к Гесперии, я сказал еще, весь дрожа:

— Да, это — твое дело: делать так, чтобы людей бросали в тюрьму, казнили, убивали. Из-за тебя я едва не погиб в медиоланском подземелье, из-за тебя умерла маленькая Намия, ты, может быть, собственноручно убила Юлиания! И люди и вера для тебя лишь ступени, по которым ты карабкаешься к императорскому престолу! Общая Эринния! Харибда, поглощающая людей! Медуза в красивом обличии! Предательница! клятвопреступница! продажная женщина!

Я был в исступлении, красный дым простирался пред моими глазами, голос Гесперии долетал до меня словно издалека, а она, направляясь к выходу из комнаты, говорила:

— Однако меня ты называл богиней и мои ноги целовал. Все твое благородство вытекает из того, что я своей цели достигла, а ты нет. Уступи я тебе сегодня, ты стал бы превозносить мою мудрость и решительность.

— Ты достигла своей цели? — воскликнул я.— Знаешь ли, быть наложницей сомнительного императора не то же, что быть Августой.

— Уходи, Юний! — тогда закричала мне Гесперия.—

А то сейчас придет сюда тот самый Марцеллин и прикажет высечь тебя, как дерзкого мальчишку.

— Нет, ты его не дождешься сегодня! — крикнул в ответ я.

Уже во власти Фурий, я вытащил из-за пояса кинжал, заступил женщине дорогу и нанес удар. Я направлял лезвие в грудь Гесперии, но она невольно, при блеске клинка, заслонилась рукою и удар пришелся именно в верхнюю часть руки. Быстро кровь окрасила белую паллу Гесперии и потекла на разостланный по мраморному полу сирийский ковер.

Я видел, как Гесперия побледнела, но силы сразу покинули меня, и, выронив из рук кинжал, я стоял неподвижно и смотрел на женщину остановившимся взором. Так несколько мгновений мы стояли друг против друга, не произнося ни слова, Гесперия — с губами, сжатыми от боли, но не пытаясь более защищаться, я — с ужасом и отчаянием в душе. Потом я упал на колени перед Гесперией и воскликнул со стоном:

— Гесперия! Гесперия! прости меня! Любовь сделала меня безумным! Пойми, что все та же богиня Венера направила мой удар, как прежде простирала мои руки к объятиям. Узнай из этого всю силу любви, которой ты пренебрегаешь.

Движением ноги Гесперия отстранила меня и прошептала тихо, сквозь зубы:

— Прочь, подлый! Мужества у тебя достаточно лишь для того, чтобы ударить исподтишка. Я тебя презираю.

Нетвердым шагом она вышла из комнаты, но крикнула мне из-за занавеси двери:

— Уходи сейчас же, или я прикажу схватить тебя и судить, как убийцу!

Некоторое время я оставался в комнате, не зная, должно ли мне идти за Гесперией, просить ее прощения и покорно отдаться в руки судей, или же просто повиноваться ее приказанию, уйти, скрыться. Наконец, почти бессознательно, я встал с колен и пошел к выходу. Никто меня не остановил, и я, выйдя из дома, медленно побрел через весь город.

Я был одним из последних, кому стражи позволили выйти за городские ворота. Я сел где-то на валу, под высокой стеной укреплений, и сидел там в сгущающемся сумраке. Внизу сверкала серебром Моселла, за рекою чернел сосновый бор.

Я думал:

«Кончилась моя так недавно начавшаяся и так быстро пролетевшая жизнь. Теперь, когда в ярком свете означалась передо мною вся низость Гесперии, когда я понял, что ее сирепные слова были пышной ложью, прикрывавшей постыдное честолюбие, когда я измерил всю глубину бесстыдства ее души, не признающей ничего священного,— мне больше не во что верить. Да, Гесперию я называл богиней, и, как богине, я молился ей, видя в ней воплощение высших начал Римской души, и когда это все оказалось обманом, я более не верю, что жив вечный Рим и его великий дух. В короткое время я испытал водоворот страстей, видел ожесточенную борьбу за власть, наблюдал столкновение двух религий, оценил души людей. Что же я узнал?—Что везде, как о том давно говорят философы и поэты, побеждает тот, кто более коварен, кто в жертву честолюбию приносит честность, благородство, веру, кто не пренебрегает никакими средствами для достижения цели. Но еще я узнал, что в наши дни в буйном вихре случайностей, которыми правит слепая Фортуна, в беспорядочном столкновении разнородных помыслов, желаний, страстей, всегда выплывает на поверхность тот, кто искренно или лукаво связывает свое дело с именем Христа. Умный и благородный Симмах тщетно добивается, всеми силами своего великого дарования, восстановить в общественном здании Города вынесенный из него алтарь. Мой дядя, Тибуртин, по-детски верующий в богов Олимпа, живет в унижении, обманутый женой, осмеянный товарищами. Мой милый Ремигий, истинный Римлянин лучших времен, кончает дни самоубийством. Маленькая Намия умирает. Даже низкий Юлианий, не за то ли, что он оставался приверженцем бессмертных, платит жизнью. А в то же время безвестная, безродная Реа, уча о втором пришествии Христа, подымает целые провинции, заставляет вести с собою всю империю подлинную войну. Максим, крестившись, достигает диадемы. Гесперия, отступив от веры предков, делит его престол. Амбросий стремится судить императоров. Даже отец Никодим блаженствует. Куда я ни взгляну, везде все то же: успех с теми, кто, как Константин, подымает знамение Христа со словами: «Сим победиши!» Прав был отец Николай, когда говорил мне: «Мои стрелы не сразу убивают, но ты ранен и эту рану почувствуешь после». Да, я чувствую яд его Филоктетовой стрелы, разливаю-

щийся в моей крови. Древние боги уходят, уступая свое место на Олимпе более молодым, более деятельным, которые готовы занять золотые дома, построенные Вулканом. В леса и горы, в непроходимые пустыни, в бедные хижины уходят прежние Олимпийцы, вместе с моими дорогими старичками, новыми Филимоном и Бавкидою, доживающими свой век в Альпийской долине. Ничто не может устоять перед вихрем, повеявшим с невысокого холма Голгофы: этот ветер уже выбросил алтарь Победы из Курии, и он снесет златоверхие храмы Города, разрушит самый Рим, а может быть, и всю империю. Не пора ли и мне смириться пред этой победной бурей и понять, что никогда более не стоять алтарю Победы в Сенате, что навсегда склонилось знамя Римского легиона перед лабаром с именем Христа!»

Я продолжал сидеть на валу, в холоде и сырости ночи. На другой день я должен был уехать в родную Лактору, чтобы там, в затишье маленького городка, затаить боль кровавых ран, нанесенных мне жизнью, и горькое разочарование в смелых мечтах моей миновавшей юности. Желание новой борьбы и новой жизни погасло во мне, словно убитое тем ударом, который я нанес Гесперии. Сквозь туман я смотрел на Восток, на ту страну, откуда приходят к нам светловолосые германцы, люди, как Меробавд и комит Балион, еще способные к решительным действиям и несущие с собою наивную веру во Христа, принимая которую, они не изменяли высоким заветам религии отцов. «Не оттуда ли,— подумал я еще,— придет и тот «варвар», который, «увы, как победитель, наступит на прахи предков»? Не эти ли германцы, готовые разить и не расстающиеся с мечом даже за пиршественным столом, будут той мощной дланью, которая окончательно водрузит символ христианства над всем кругом земель? Старый Бренн! повтори свои надменные слова перед униженным Римом! Горе побежденным! Крест брошен на одну чашу весов, и всего золота мира недостаточно, чтобы перевесить его!»

ЮПИТЕР ПОВЕРЖЕННЫЙ

Повесть IV века

Книга первая

I

Во имя Отца и Сына и Святого духа! Я, кого прежде звали Децимом Юнием Норбаном, ныне смиренный инок Варфоломей, недостойный член братства в Высшем монастыре, на Лигере, славной по всему Западу обители, коей начало положил сам незабвенный подвижник и наш патрон Мартин из Турон, ныне уже почиющий в Боге,— приближаясь к концу моего земного странствия, когда предстоит мне скоро дать ответ за все содеянные мною прегрешения пред Судьей нелицеприятным, вознамерился в этих книгах описать, ничего не утаивая, до каких страшных пределов падения я доходил и каким путем неизреченная милость Спасителя нашего привела меня к покаянию, истине и жизни новой. Помимо того, что история обращения от идолопоклонства, когда-то казавшегося мне единой божьей правдой на земле, к вере и упованию во Христа, истинный светоч мира, может быть полезна для умов колеблющихся, доныне не воспринявших в полноте откровения о спасении рода человеческого через крестную смерть господа нашего,— еще я думаю, что должно мне искупить один из тяжких грехов моей юности, в том состоящий, что в других книгах я изложил буйные приключения, пережитые мною в ранние годы, и тем, может быть, соблазнил единого из малых, ибо, в своем тогдашнем безумии, представлял в своих писаниях веру заблуждавшихся предков наших и служение кумирам, как нечто даже превосходящее учение святой церкви Христовой. Кроме того, самые те события, которые я хочу изобразить по мере моего умения, были и замечательны и важны, и заслуживают памяти, хотя в то же время и в высшей степени прискорбны и достойны всяческого осуждения, так как мне довелось видеть и самому быть «большой частью»,— как говорит певец Энея,—

последнего торжества в Городе, искупленном мученической смертью апостолов Петра и Павла, безумного идолослужения, попущенного Вседержителем, дабы полнее и несомненнее открылась спасительная истина Христова учения, свет коего просвещает всех. А Промысл божий дает нам видеть свое явное вмешательство в судьбы земные не с тем, чтобы мы познанное таили под спудом, но дабы мы об нем свидетельствовали миру, поучая не видевших.

Однако, чтобы понятно было читателю, почему я действовал так, а не иначе, и чтобы ясно стало мое душевное устроение того времени, мне должно вкратце объяснить, кто я, откуда родом и как провел жизнь.

II

Если бы земные почести еще могли меня занимать, не без гордости я сказал бы, что предки нашего рода были известны еще до времен царей, потому что мы, Юнии, ведем наше происхождение от Юна, с благочестным Энеем прибывшего в Лавинийскую землю, и добавил бы, что первой славой покрыл себя наш род при царях, напомнив имя Марка Юния, взявшего в замужество Тарквинию, дочь одного царя и сестру другого, того самого Марка, сын которого, называемый обычно Брутом-старшим, освободил республику от тирана, совершив дело кровавое, за которое да будет к нему милость Небесного Отца. Впрочем, надо ли Римлянам,—а к кому другому я могу обратить эти строки? — напоминать всем памятные имена Юниев: Луция Юния Брута, одного из четырех первых трибунов народных, Децима Юния Сцеву, первого консула из нашего рода, начальника конницы при диктаторе Публии, Гая Юния Бубулька, также консуляра и начальника конницы при диктаторе Папирии, и многих других, не говоря уже о втором Бруте, грех которого еще тяжелее, нежели деяние его предка, потому что убийца Цезаря подымал руку на своего благодетеля и благодетеля всей империи, но который все же представлен нам историками, заслуживающими доверия, как человек с побуждениями самыми благородными. Все столетия древней республики и все столетия империи означены именами Юниев, так как наш род, разделившись на многие отрасли, давал Сенату и Августам и победоносных полковод-

цев, и славных ораторов, и судей, и писателей: Юнии Бруты, Юнии Силаны, Юнии Перы, Юнии Пенны, Юнии Блезы, Юнии Галлионы, Юнии Гракханы, Юнии Копги, Юнии Отоны и другие — свои имена навсегда вписали в книгу, о которой говорили прежде, что ее ведет Клио. Отпрыском того же рода были и Юнии Норбаны, поселившиеся в Галлии, а именно в той Аквитании, которую наш знаменитый поэт Авсоний называет «улыбчивой», и в течение ряда поколений предки мои не покидали этой, недавно еще счастливой страны, первым Цесарем соединенной в одно с сердцем империи. И если даже правы недоброжелатели нашей семьи, утверждающие, что Норбаны ведут свой род от раба, отпущенного на волю одним из Юниев Силанов, все же длинный ряд восковых изображений, украшавших атрий моего родного дома, свидетельствует, что мои предки, в течение почти четырех столетий, не жалея сил и дарований, служили тому, что почитали самым высоким: славе родины, и через то сделались достойными носить громкое имя, принятое ими, конечно, не без согласия тех, кому оно принадлежало.

Дед мой, носивший одно со мною имя и в памяти у меня оставшийся как добрый старец, угощавший меня лакомствами,— потому что он скончался в моем детстве,— устранился от дел общественных и посвятил себя благородному занятию сельским хозяйством, что и было понятно в те смутные времена, которые тогда переживала империя. Отец мой, Тит Юний Норбан, продолжал заботиться об наших, не слишком обширных, но достаточных имениях, расположенных близ города Лакторы, гордого своей древней свободой, и, отказавшись от жизни в Бурдигалах, где остались наши родственники, поселился в тиши полей,— участь, о которой мечтал Вергилий,— лишь на зиму переезжая в ближний город, где скоро, с почетом, был избран в число декурионов. Был мой отец человек нрава строгого, честности исключительной, ума ясного и проницательного, сложением высок, строен и силен, со взором суровым, но душой — милосердый, короче говоря — истинный Римлянин, каких уже мало в наши дни, и хотя не был он просвящен духом истины и светом Христова учения, я все же надеюсь, что Судия праведный не осудит его за приверженность к верованиям предков, коих он беспредельно чтил. Тем большее упование я питаю на спасение матери моей, Руфины, по своей

матери из славного дома Римских Бебиев, а по отцу из достойной семьи Лугдунских Армиев, ибо мать моя, испытанная тяжкими горестями, после смерти моего отца, познала истинную веру и скончалась с именем Спасителя на устах. Оба они, и мой отец и моя мать, были люди достойные, о которых никто не скажет худого слова, и если не могли, по своему неведению, открыть мне путь к Истине, то воспитали меня в духе благочестия, доблести и честности, так что за все свои грехи, тяжесть коих сокрушает мои, уже старческие, плечи, должен на Страшном судилище нести ответ я один, как не сумевший черпать из сокровищницы добра, с детства раскрытой предо мною. В мире и согласии жили мои родители, любя друг друга, выполняя свои обязанности пред людьми, рача о своем имуществе, вверенном им волею бога, воспитывая своих детей, как они умели лучше, и милостиво относясь к нашим многочисленным рабам и слугам, так что мне надлежало лишь следовать примеру, бывшему у меня с первых лет пред глазами, чтобы не вовлекаться в те несчастия, которые дважды в жизни поколебали все мое существо и едва не привели меня к смерти постыдной и страшной, за коей не осталось бы мне надежды даже на неизреченное милосердие божие. Сам я, по буйству души своей, не восхотел принять этих благих уроков, и сам повел себя, в детской самонадеянности и в обольщении страстями, на край погибели, о чем ныне и хочу, со всей откровенностью, поведать тебе, о благосклонный читатель.

III

Я родился в календы февраля, в год, когда консулами были императоры Валентиниан и Валент, и был в семье третьим ребенком, первым же был брат Люций, умерший, к великому огорчению родителей, когда мне едва минуло два года, а вторым — сестра Децима Юния, бывшая старше меня на три года, ныне уже покойная и, надеюсь, обретшая спасение, ибо скончалась она, приняв ангельский чин в одном из женских монастырей Асианы, куда удалилась за своим вторым мужем. Так как рано я остался единственным сыном в семье и будущим представителем рода Юниев Норбанов, то на мое воспитание было обращено особое внимание. Отец, выступавший редко как оратор и никогда не желавший стать писателем, был, од-

нако, человек весьма просвещенный, глубоко усвоивший ту мудрость, какую можно воспринять без содействия благодати божией из книг великих поэтов и философов Греции и Рима, и большую часть своего досуга посвящавший чтению, преимущественно склоняясь к учению древних стоиков и особенно любя творения философа Сенеки. Посему отец сумел выбрать для меня лучших учителей, каких только можно было найти в нашем городе, и сам, своими беседами и поучениями, много помогал развитию моего ума.

После того, как я научился дома чтению и письму, меня послали зимой в школу начального учителя, доброго старика Мессия, преподавшего мне начатки математики и других наук. Потом перешел я в школу грамматика Патерна, славившегося в нашей местности, который действительно умел прививать своим ученикам, как опытный садовник — деревьям-дичкам, и любовь к знанию, и нужные сведения из геометрии, истории, землепознания, наук естественных и искусств. Единственный недостаток его, что он был драчлив, и мне самому случалось получать жестокие удары ферулой по ладоням, хотя я учился хорошо и за свои сочинения не раз получал в награду книги. Еще после того, отец пожелал, чтобы я, раньше, чем ехать к кому-либо из реторов, учился еще у лакторского грамматика Агапита, грека по рождению, но Римлянина по языку и по духу, почитавшего себя очень ученым и похвалявшегося, что он ни в чем не уступает реторам. Агапит, в самом деле знал многое, но уроки его вряд ли были полезны для всех его слушателей, так как он постоянно отвлекался в область чистой реторики и нам, мальчикам, всего охотнее толковал творения великих поэтов и ораторов или развивал перед нами учения философов. Но мне, по счастию, были даны от господа бога хорошие способности и умение все схватывать и понимать быстро, так что за те полтора года, что я посещал Агапита, я все же успел научиться у него многому и,— хотя позднее не закончил вполне образования в реторской школе, по праву уже не мог почитать себя невеждою. Впрочем, способствовало тому и то обстоятельство, что в нашем деревенском доме была большая библиотека, которую я, будучи любознателен и рано пристрастившись к чтению, прочел едва ли не всю.

Впрочем, пусть читатель не подумает, что все мое детство было посвящено учению и что в ранние годы меня

ничто, кроме книг, не занимало. Напротив того, я был ребенком скорее шаловливым, летом неустанно упражнялся и в верховой езде, и в охоте, и в рыбной ловле, в игре в трох, в кубарь и в треугольник, умел быстро бегать, ставить силки для птиц, владеть самострелом и домой нередко возвращался с синяками, полученными мною от падения или даже в кулачном бою со сверстниками. Отец смотрел на мои проказы снисходительно, потому что силу тела почитал наравне с силой ума, и останавливал мою мать, когда она начинала попрекать меня словами: «Женщины этого не понимают». Однако столь же рано предался я проказам иного рода, о которых ныне должен говорить со стыдом, но о которых не хочу умалчивать, так как решил писать здесь о себе всю правду: я разумею раннее мое увлечение женскими прелестями. Мне все говорили, что я был мальчик красивый, и позднее женщины не раз меня сравнивали, по лицу и осанке, с богом Меркурием, как его изображали художники,— и вот мне еще не исполнилось десяти лет, как одна из рабынь, живших у нас в доме, вечером завела меня к себе в спальню. После того много было девушек среди наших служанок, с которыми я соединялся в недостойной связи, а в городе, учась в школе, и посещал с товарищами тех женщин, что продают свои ласки за деньги, и не всегда умел противостоять соблазнам тех мужчин, которые, в свою очередь, пленялись моей отроческой красотою. Пусть судит мои давние прегрешения господь бог, я же скажу, что такова была жизнь и всех других юношей нашего круга. И мой отец, человек нравственности строгой, от которого не могли укрыться мои похождения, не видел в них особого зла, так как и сам до конца дней легко поддавался женским обольщениям и не пропускал случая позабавиться с красивой рабыней, хотя любил мою мать истинной супружеской любовью.

К сожалению, то, что в первой юности было действительно только проказами, с годами перешло в проступки более важные. Одною из причин того было мое особое положение в нашем городе, развивавшее во мне грех гордости. Так как семья наша весьма почиталась, как в самой Лакторе, так и в окрестностях, то ко мне все относились также с почтением, как к сыну видного человека, члену местной курии. Кроме того, наше имущество, которое, быть может, и показалось бы незначительным в Риме или в Италии, представлялось для местных жи-

телей целым богатством, отец же никогда не отказывал мне в деньгах, с самого моего раннего детства. Наконец, я всегда был впереди товарищей по успехам в школе, да не уступал им ни в силе, ни в ловкости. Таким образом я рано приучился считать себя человеком выдающимся, предназначенным к чему-то высшему, и находились люди, даже пожилые, которые не стыдились поддерживать во мне такое самомнение, льстя мне ради разных своих соображений. Как бы опьяняемый лестью и постоянными удачами, я уже ни в чем не желал остаться вторым, но стремился всегда быть первым, не только в успехах по учению, но и в щедрости, в победах над женщинами, в попойках и в других, не очень невинных, забавах молодежи. В то же время и на сверстников, и даже на всех жителей нашего города я смотрел несколько свысока, почитая себя и умнее и ученее их и тяготясь тем, что моя жизнь пока протекает в безызвестности.

Неизвестно, однако, как направилась бы вся моя жизнь, если бы я сам, своим недостойным поведением, не изменил всего ее течения [1]. Дело в том, что на предложение отца остаться еще на год в Лакторе и посещать школу грамматика Агапита, прежде чем ехать к кому-либо из реторов в Бурдигалы, я согласился охотно по одной особой причине. Была тогда в Бурдигалах одна матрона, из достойной семьи и замужем за достойным человеком (имени ее, однако, я здесь не назову), которая также нашла меня достаточно красивым мальчиком и, без труда возбудив во мне влечение к себе, сделала меня своим возлюбленным. Разумеется, связь со свободной женщиной есть грех гораздо более тяжкий, нежели мимолетные связи с рабынями, но в свое оправдание я могу сказать, что эту матрону, хотя и по-юношески, но все же я полюбил страстно. Мне тогда казалось, что прекраснее ее нет женщины на всем круге земли и что я, разделяющий тайно ее ласки, счастливейший из смертных. Расстаться с ней было для меня столь тяжко, что я предпочел отложить на год свой переход в школу ретора, только бы продолжить столь сладостные для меня свидания и продолжать наслаждаться своей любовью. Однако, во-первых, эти самые свидания требовали значительных расходов,

---

[1] Когда мне едва исполнилось семнадцать лет, в праздник Либералий совершилось торжество моего облечения в мужскую тогу. Я снял с себя детскую буллу и надел белое одеяние.

чтобы подкупать рабов и рабынь, во-вторых, сама моя возлюбленная не только не отказывалась от разных моих подарков, но даже как бы выспрашивала их у меня, в-третьих, наконец, нет ничего тайного, что с течением времени не делалось бы явным, и скоро появились лица, которые стали мне угрожать, что раскроют наши отношения пред мужем матроны, и требовать с меня денег за молчание. По этим причинам, а также потому, что я не покидал своей разгульной жизни, мне стало не хватать сумм, посылаемых мне отцом (который ту зиму провел в деревне), и пришлось прибегнуть к помощи ростовщиков, охотно согласившихся ссужать деньги богатому наследнику. День за днем я стал запутываться в своих денежных отношениях и к весне оказался обремененным долгами, весьма значительными для юноши моего возраста.

Внезапно я был вызван отцом в деревню, где он, объявив мне, что ему все известно, показал мне мои обязательства заимодавцам оплаченными и, с своей обычной решительностью, приказал мне немедленно собираться в дорогу. Напрасны были мое позднее раскаяние и слезы и все клятвы, которые я давал исправиться, и все доводы, которые я приводил,— отец подтвердил, с неумолимостью, что не только я не вернусь более в Лактору, но не поеду и в Бурдигалу, отстоящую от нее слишком недалеко: он решил отправить меня в Рим, чтобы там, в стороне от прежних товарищей и от окружавших меня недостойных людей, я, продолжая свое учение, постарался бы начать новую жизнь. Так велико было желание отца удалить меня из нашей местности, что он едва согласился не отсылать меня в ту же самую ночь, а отложить мой отъезд на три дня. От этого решения отец уже не отступил, несмотря на то, что к моим просьбам присоединила свои просьбы и свои слезы моя мать, которой страшно было отпускать меня одного в далекий путь и в громадную столицу империи. Я только успел кое-как собрать свои вещи и отправить тайно, с верным человеком отчаянное письмо своей возлюбленной, как на утро третьего дня, по приезде в деревню, уже должен был покинуть родной дом, направляясь, в сопровождении двух старых домашних рабов, по дороге в Массилию. Мать рыдала, провожая меня, отец сказал, как напутствие, несколько суровых слов, и я покинул наше поместие, почти как изгнанник, посылаемый в далекую ссылку.

IV

Было мне тогда восемнадцать лет. Я буду откровенен, если скажу, что в душе моей в те дни боролись чувства самые разнообразные. С одной стороны, меня угнетал стыд, после того как мое недостойное поведение было разоблачено и отец как бы отослал меня от себя; с другой — меня мучило и сознание, что я надолго расстаюсь с той, которую тогда я искренно любил, и что она мое послушание почтет недостатком любви к ней. В то же время, однако, мысль, что я скоро увижу Город и буду жить в нем, невольно наполняла меня тайной радостью. Уже давно меня томило, что я не мог проявить своих дарований на сцене более обширной, нежели наш маленький городок, и теперь мне представлялось, что в древней столице мира меня ждут не только неизведанные удовольствия, но и возможность обратить на себя всеобщее внимание. Конечно, то были детские мечты, но надо помнить, чем представлялся Рим для далекого провинциала, тот самый Рим, о котором он читал во всех книгах и рассказы о великолепии которого слышал изо всех уст: средоточием вселенной, мировой ареной состязаний, победитель на которой сразу становится известен во всех пределах земного круга, городом, который один имеет силу сделать человека великим и славным. Как бы то ни было, за время нашего пути до Массилии я то предавался мрачному отчаянию, то против воли тешился несбыточными надеждами и готов был думать, что все в моей жизни произошло к лучшему, по вмешательству какого-то благосклонного ко мне божества.

В Массилии я провел несколько недель в ожидании подходящего корабля. При этом насладиться удовольствиями большого приморского города в полной мере мне не пришлось, так как приехавшие со мной рабы, исполняя приказания отца, почти ни на шаг не отпускали меня одного. Напрасно я отдавал им приказания, как хозяин, и всячески грозил им: неподкупно служа своему господину, они оставались непреклонны, а так как именно в их руках были назначенные для меня деньги, то мне оставалось только подчиняться, негодуя, такой постыдной опеке. Лишь после того, как корабль, который должен был отвезти меня в Италию, был совершенно готов к отплытию, верные служители, проводив меня на судно, вручили мне проездную тессеру, отдали кошелек с деньгами (из ко-

торых, как мне известно, не утаили ни асса) и, став на колени, стали просить у меня прощения за строгое исполнение приказаний моего отца. Я, разумеется, уже не мог на них сердиться, передал им написанные мною письма к отцу, к матери и к сестре и даже, на прощание, дал поцеловать свою руку. Когда лодка с этими двумя моими дядьками отчалила от нашего корабля, на котором гребцы уже были рассажены рядами и паруса наполовину подняты, я почувствовал, что порвалась моя связь с родным домом, что я остался свободным, но и беззащитно одиноким. Признаюсь, что, несмотря на радость, какую я испытывал при мысли, что плыву в Италию, слезы покатились по моим щекам, и то было, конечно, горестное предчувствие всех бед, ожидавших меня в Золотом Риме.

Плавание мое было вполне благополучно, и через несколько дней мы пристали в Римском Порте. Оттуда в наемной реде я проехал в Город и прямо явился в дом своего дяди по матери, сенатора Авла Бебия Тибуртина, к которому имел коммендационное письмо и у которого, по распоряжению отца, и должен был жить. Встретил меня дядя весьма приветливо и, хотя у этого человека, о котором мне еще придется говорить, было много слабостей, я должен здесь засвидетельствовать, что ко мне он всегда относился с истинно отеческой заботливостью. Добрым словом должен я помянуть и вторую жену его Меланию, женщину, также не лишенную недостатков, но уже и тогда бывшую последовательницей веры истинной, к откровениям которой она тщетно призывала мою слабую и слишком юную душу. Наконец, слезы выступают на моих старческих глазах, когда я вспоминаю их дочь, маленькую Намию, которая сразу полюбила меня со всей нежностью, хотя, может быть, и более страстно, чем та, с какой позволено любить своего родственника. Во всяком случае, в доме сенатора я мог бы жить как в родной семье и, пользуясь этим тихим кровом, мог бы посвятить свое время учению и воспитанию своей души на пользу близким и на честь империи, если бы собственные мои слабости не увлекли меня быстро на совершенно другую, пагубную и темную дорогу.

Чтобы понятно было все дальнейшее, случившееся со мной, должен я объяснить, какие мысли всего более занимали меня в то время. Во-первых, как то свойственно молодости, я мечтал о каких-нибудь великих подвигах, которые дадут мне возможность проявить свои дарования,

казавшиеся мне исключительными, и прославят мое имя по всей земле. Во-вторых, я был полон воспоминаниями о древней славе Рима и, в своем тогдашнем ослеплении, приписывал его былое величие служению богам предков, а его упадок — отступничеству от веры в Олимпийцев. Что таковы были мои взгляды, не удивительно, ибо именно такие рассуждения слышал я постоянно и дома и в школе, причем и мой отец, и мои учителя равно относились с безумной ненавистью к истинной вере, считая, что все бедствия империи начались с тех дней, когда император Константин заменил знаком Креста изображение Геркулеса на военных знаменах. И вот обе эти основные мысли моей души сливались в одну, и мне все представлялось, что я призван именно к тому, чтобы способствовать восстановлению веры предков, а через то прежнего величия всей империи, и прежде всего древнего Рима. Стыдно мне теперь вспоминать, сколько нелепых мечтаний возникало в моей горячей голове под влиянием таких мыслей, сколько неосуществимых планов я строил и как часто целыми часами тешил себя, выдумывая разные события, изменяющие весь строй жизни в империи, в которых, разумеется, сам я играл первенствующую роль. Остается мне только добавить, что гибельные эти мои мечты, словно огонь от масла, еще более разгорались под влиянием бесед с моим дядею, который также был предан древней Римской вере, с таким же осуждением смотрел на новый порядок дел и так же, по-юношески, несмотря на свой почтенный возраст, жалел о жизни прошлых веков, их обычаях и установлениях.

Теперь понятно будет, какой неодолимый соблазн встал пред моим восемнадцатилетним сердцем, когда в доме моего дяди я повстречал прекрасную женщину, разделяющую те же самые взгляды и всю свою жизнь, по-видимому, посвятившую на осуществление тех же замыслов, какими тешился и я. То была падчерица сенатора, дочь его жены от ее первого брака, носившая красивое имя Гесперии и воплощавшая в себе все прелести и все коварство Египетской Клеопатры. Много еще мне придется говорить об этой женщине, но сейчас, когда ее имя впервые я пишу на этих листах, я не могу удержать в своей груди такого волнения, которое не приличествует ни моему положению, ни моим летам. Ах, сколько раз за те долгие годы, что я провел в строгом уединении нашей святой обители, образ Гесперии опять восставал предо мной и в часы ночного

бдения, и даже в часы общей молитвы! Боже! буди милостив ко мне, грешному, вспомяни всю ревность моих раскаяний, всю искренность моих исповедей пред духовником, всю мою готовность налагать на себя суровые эпитимии! Но, воистину, не слишком ли жестокое искушение поставил ты, праведный господи, пред нами, грешными людьми, послав в мир такую красоту, воплощенную в женском теле! Не знаю, не богохульство ли днесь произносят мои уста, но, боже сильный, будь милосерд к нам, слабым, обольщенным совершенством твоего создания! А ныне, в этой одинокой келье, где день за днем ожидаю я часа, когда ты воззовешь меня на свой суд, дай мне силы бестрепетно вести далее мой стиль и продолжать мое правдивое повествование во славу твою, а не на соблазн другим!

Нет, не буду я здесь описывать, сколь прекрасна была Гесперия, сколь обольстительны были все ее движения, каждый малейший изгиб ее тела! Никакая статуя древних прославленных ваятелей не сохранила нам воспоминаний о столь совершенной красоте. Добавлю только, что столь же обольстительна была и душа этой женщины, столь же соблазна умела она влить и в свой разговор, и во все свои поступки, так что следящим за ней казалось, что все делаемое ею — прекрасно! Достаточно сказать, что уже после первой встречи я, юноша, с детства привыкший, чтобы мной любовались женщины, почувствовал себя навсегда рабом Гесперии, ее покорным служителем, по одному ее слову готовым идти на любое дело или на любое преступление. С такой силой возгорелась во мне тогда любовь к Гесперии, что я уже почитал ее равной бессмертным богиням, согласен был поклоняться ей и приносить жертвы, как одной из небожительниц. И уже ничто с тех пор не могло исцелить в моей груди этой страстной раны, которая и сегодня, под моим монашеским одеянием продолжает болеть и сочиться кровью... Боже, милостив буди ко мне, грешному!

Гесперия опытным глазом красавицы, которой молва приписывала многих и многих возлюбленных, не могла не заметить, что совершается с таким наивным юношей, как я. Она тотчас решила воспользоваться моей исступленной страстью и немедленно приблизила меня к себе. Но в этом приближении таилась для меня другая опасность, так как Гесперия стояла в те дни во главе одного тайного заговора (одного из тех, которые так часто по-

трясали за последние годы нашу несчастную империю), цель у которого была свергнуть императора Грациана и возвести на Диоклецианов трон кого-либо другого, враждебного истинной вере и приверженного к вере предков. Участвовать в этом заговоре, объединявшем в своих рядах немало людей, особенно выдающихся, сенаторов, знаменитых писателей, прославленных ораторов, и предложила мне Гесперия. Можно представить, что сталось со мной при таком предложении! Я делался через то приближенным Гесперии, которую уже любил со всем безумием юности, и в то же время входил в круг знаменитейших людей нашего времени, чтобы служить тому делу, которое отвечало самым заветным моим мечтаниям! Без раздумия кинулся я на зов Гесперии, как кидаются воины в самый разгар боя по призыву любимого начальника, готовые принять вражье копье прямо в сердце и с хвалой на устах встретить страшную смерть. Я объявил Гесперии под страшной клятвой, что отдаю себя в ее власть, как простую вещь, и этой своей клятвы я не нарушил.

Долго было бы рассказывать все, что я пережил после того, но важно сказать, что никакие, самые жестокие, испытания не могли ослабить во мне любви к Гесперии. Она явно смеялась надо мной, как над наивным мальчиком, едва ли не на моих глазах избирала себе новых возлюбленных, мне же только позволяя целовать свои руки, — я продолжал любить ее. Она приказала мне ехать в Медиолан и там свершить страшное преступление: поднять руку на избранника божия, убить императора; и я, зная почти наверное, что меня ждет мучительная казнь, радостно повиновался и еще благословлял посылавшую меня. Захваченный с кинжалом в руках на лестнице священного дворца, я много недель томился в смрадной подземной тюрьме и в эти дни испытаний понял, что мною действительно распоряжаются, как не имеющей цены вещью; но довольно было после того нескольких ласковых слов, впервые сказанных мне Гесперией, чтобы я снова весь предался ее неодолимой власти. По ее приказанию я бросил учение, ради которого прибыл в Город, бросил гостеприимный дом Бебия Тибуртина, поступил наперекор воле отца и поехал за Гесперией в Галлию, к тирану Максиму, в тот год только что поднявшему свой мятеж. И в пути, покорно снося, что Гесперия то ласкала меня, как забавную игрушку, то отталкивала безжалостно и шла

к другим мужчинам, я продолжал ее любить столь же слепо и столь же беспредельно.

Но всего этого мало. Проникнув в доверие Максима, этого узурпатора, под тиранией которого несколько лет стонала наша бедная страна, Гесперия задумала стать в его лице императрицей, ибо высшая власть всегда была единственной целью, к которой она истинно стремилась. Но так как Максим чужд был наших мечтаний о восстановлении древней веры Римлян и, при всех своих неистовствах и пороках, всегда прикрывал свою тиранию покровом святой церкви, то эта женщина, для которой, в сущности, не было ничего святого, не колеблясь, отреклась от того дела, которому притворно служила всю свою жизнь, и кощунственно объявила себя христианкой. Она надела себе на грудь крест, символ искупительной жертвы Христовой, стала посещать христианские богослужения и лицемерными устами повторяла слова святых молитв, покупая ценой такой измены себе сомнительную честь именоваться наложницей лжеимператора. Все прежние друзья и сторонники Гесперии, после такого ее поступка, с негодованием от нее отвернулись, но я,— я спес и это, ибо такова была сила моей любви к ней, что я предпочитал подвергнуться последнему позору, но не разлучаться с ней. Я дошел до того, что поступил на службу к Максиму, зная, что и мой отец, и все благомыслящие люди считают его тираном, убийцей законного императора, врагом отечества, разбойником, захватившим высшую власть без права. Я служил государю, которого сам презирал, и я был счастлив тем, что живу близ Гесперии, изредка вижу ее, хотя знал, что она разделяет ложе Максима, не стесняясь притом обманывать его с другими молодыми людьми, которым она оказывала большее внимание, нежели мне. Нет такого унижения, нет такого падения, до которых я в те месяцы не доходил бы, все ради единой надежды: хотя бы раз на дню вновь увидеть Гесперию и хотя бы раз в неделю сказать с ней несколько слов.

Наступило, однако, такое время, когда я, наконец, оказался не в силах сносить далее свой позор. В порыве крайнего безумия и отчаянья я бросился на Гесперию с клинком в руке, думая одним ударом освободить и себя от мучительного рабства, и весь мир от существа гибельного, как сама Горгона. Милосердый бог отвел тогда мою руку, потому ли, что, по благости своей, хотел избавить

мою душу от тяжести смертного греха убийства, или потому, чтобы сохранить эту женщину для испытания и искушения еще многих других и меня опять в том числе. Но, после моего покушения, Гесперия, которой я давно стал не нужен, выгнала меня вон, как лишнюю собаку, и приказала мне немедля покинуть двор Максима. Мне не оставалось другого выбора, как или быть обвиненным в покушении на убийство и кончить жизнь в руках палача, или подчиниться суровому приказу, и я действительно бежал, бежал в единственное пристанище, которое еще было у меня на земле: в родной дом к отцу! И, стыдно сознаться, но, покидая дворец лжеимператора, я исполнен был ужасом и отчаяньем не потому, что должен буду явиться покрытый позором к своему отцу, гордость и упование которого я так жестоко оскорбил своим поведением, и не потому, что я так безрассудно растратил свои юношеские годы в безумстве исступленной страсти и в преступлениях всякого рода, тогда как мог бы употребить их на честное воспитание своего духа и ума; нет, меня мучила и ужасала в те дни одна мысль,— что я, может быть, навсегда расстаюсь с Гесперией.

V

Единственное сравнение, которое может дать понятие об том состоянии, в каком я находился, подъезжая к родной земле, к нашему родному поместью, это — образ того блудного сына, о котором повествует нам святое Писание. Как опый расточитель, я говорил себе, что недостоин войти в круг семьи, не смею увидеть чистые глаза сестры, скорбные — матери и суровые — отца, но что, может быть, и мне, в этом обширном доме, где живет так много рабов, найдется угол, чтобы в нем мог я провести жалкие остатки своей жизни. Тогда казалось мне, что жизнь моя разбита, как бывает разбит бурею корабль, уже более неспособный к плаванию и обреченный догнивать где-нибудь на пустом берегу. Я не мечтал более ни о счастии, ни о деятельности, ни об учении, но только хотел какого-нибудь покоя, чтобы немного забыть ту мучительную боль, которой страдала вся моя душа после всего того ужасного, что я пережил со дня прибытия в Рим, за два с половиною года. С такими мыслями, похожий на ту полураздавленную змею, о которой где-то

говорит Вергилий, добрался я до отчего дома, незамеченным вошел в атрий и там пал ниц у домашнего ларария, как безвестный странник.

Я не буду здесь подробно рассказывать мучительных мгновений моей первой встречи с родителями. Скажу только, что отец вполне остался верен себе и, подобно тому древнему Юнию, который бестрепетно осудил собственного сына на казнь, не сказал мне ни одного приветственного слова. Теперь я знаю, что он горячо любил меня и что в глубине души был уже рад тому, что я возвратился живым, но тогда он удовольствовался жестоким указанием на тот позор, который нанес я всему нашему славному роду, и пренебрежительным позволением жить под родной кровлей. Сказав эти несколько слов, отец тотчас отвернулся от меня и вышел из атрия,— как знать? может быть, затем, чтобы в своем таблине плакать обо мне. Но на меня тогда, хотя я и не ждал лучшего, эта суровость отца произвела впечатление сильнейшее: она отняла у меня последнюю веру в себя, и, помню, едва отец скрылся, я опять повалился ничком на плиты пола и стал рыдать, как обреченный на смерть. Разумеется, иначе отнеслась ко мне мать, которая всячески пыталась меня успокоить и утешить, которая плакала вместе со мной и ласкала меня вновь, как в годы, когда я был малым ребенком, но я почти не чувствовал этих утешений и ласк, так как, потрясенный, едва сознавал, что делается вокруг. Как бы сон, помню, что тотчас рабы отвели меня в ванну и одели в новую одежду, но я после того не захотел выйти к вечернему столу, но удалился в свою комнату, закрыл дверь, упал на ложе и предался мрачному отчаянью, уже сожалея, что решился появиться в этом доме. Мать тогда стучалась ко мне, конечно, затем, чтобы опять меня успокаивать и утешать, но я сделал вид, что не слышу.

Может быть, счастием для меня оказалось то, что в ту же ночь я опасно захворал. Не знаю, простудился ли я в пути, или просто потрясения последних недель жизни так на меня подействовали, но только сделалась со мной огненная лихорадка, и уже утром я не в силах был подняться с постели. Скоро затем начался у меня бред, и я совершенно потерял сознание всего происходящего, смутно лишь вспоминая, что я нахожусь в родном доме. Десять дней я находился в таком состоянии, несмотря на все усилия призванных медиков; десять дней я лежал в жестоком жару, смешивая образы бреда с действительностью,

принимая мать, ухаживавшую за мною, за Гесперию, и сестру — за умершую девочку Намию, выкрикивая бессмысленные слова и все порываясь бежать в лес и в горы, чтобы там укрыть свой позор. Заботы матери и ученое старание медиков вернули меня к жизни, и эта тяжкая болезнь явилась как бы некоторым искуплением за все содеянное мною. Более никто, в том числе и отец, уже не напоминал мне о моих постыдных проступках, и, выздоравливая, я медленно стал входить в обычный строй жизни в нашем доме, как если бы я его никогда и не покидал.

Но сам я не забыл всего пережитого. Образы недавнего прошлого неотступно стояли предо мною и днем, в мыслях, и ночью, в видениях, посылаемых Морфеем. Я не забыл Гесперии и ее красоты, и если при других я имел силы казаться спокойным, то, оставаясь один, я часами рыдал при мысли, что, может быть, в это самое время она ласкает кого-нибудь другого, отвергнув меня, пренебрегая мною, презирая меня. В родной семье, окруженный заботливыми попечениями матери, во всем видя проявления любви ко мне моей сестры, имея в своем распоряжении послушных рабов, которые знали меня с детства, я томился от того, что не могу увидеть Гесперии, еще раз взглянуть в ее удивительные глаза, услышать ее музыкальный голос. И, сознаюсь, часто мне стоило большого усилия удержать себя от поступка безумного: от того, чтобы не покинуть тайно отчего дома, не убежать, как ночному вору, по дороге в отдаленные Треверы — с одной надеждой: там, замешавшись в толпе, взглянуть на Гесперию, когда она, походкой царицы, будет проходить по улице в церковь. Я никому не говорил о своих мучениях, но они составляли и всю мою жизнь, и все мое счастие; если бы отняли у меня тогда и эти мечты, кажется, я отказался бы и от самой жизни.

Разумеется, в те дни я не думал ни о работе, ни о том, чтобы возобновить свое прерванное учение. Я проводил день за днем, как тяжелую обязанность, стараясь как можно меньше попадаться другим на глаза и как можно меньше говорить с людьми. На ласки матери я отвечал почтительно, но спешил от них освободиться; сестра понемногу стала меня бояться; и даже когда отец пытался вызвать меня на откровенность, я отвечал ему уклончиво и искал случая от него удалиться. Диким и нелюдимым я жил в родном доме, прячась в своей комнате, когда нас посещали соседи, бродя по окрестностям в тех местах, где

нельзя было встретить людей, просиживая иногда молча целые дни, живя горестной мечтой в прошлом и как бы не замечая настоящего. Постепенно все привыкли видеть меня таким, и уже никто не делал попыток меня развлечь или вызвать на моих губах улыбку.

Когда настала зима и отец со всей семьей поехал в Лактору, куда призывали его дела по курии, я попросил позволения остаться в деревне, чтобы наблюдать за хозяйством. То было, конечно, предлогом, так как на деле я просто не хотел вновь увидеть своих прежних сотоварищей и знакомых, да и вообще не хотел возвращаться в круг людей. Отец, не споря, согласился на мою просьбу, и я остался на всю зиму один в опустевшем доме. Нужно ли говорить, что хозяйством я почти не занимался? Целые дни я проводил в библиотеке, перечитывая своих любимых поэтов, причем все песни любви Кальва или Катулла, Овидия или Тибулла, даже Горация относил к себе, и все, что трагики говорят о страсти и ее мучениях, также применял к обстоятельствам своей жизни. Часто я писал безумные письма к Гесперии, умоляя ее о позволении вернуться к ней, но потом с горькой решимостью сам ломал исписанные дощечки и бросал их в огонь. Или сочинял элегии о той же Гесперии, но лишь затем, чтобы тотчас же стереть слабые буквы, выведенные на мягком воске. Или, наконец, простертый неподвижно на ложе, обдумывал способы самоубийства, колеблясь, что лучше избрать: открыть ли себе, по древнему обычаю предков, жилы в теплой ванне, как то сделал мой злополучный друг Ремигий, или оплести вокруг шеи прочную веревку, как другой мой Римский знакомец, не менее злополучный Юлианий. Так проводил я день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, всю долгую зиму. Потом принялся я за описание всего пережитого, исписал много листов, что составило четыре больших книги. Не знаю, где это пагубное писание, еще полное всей страстностью.

Нет, однако, ничего в мире, что не имело бы своего конца, и как ни глубоко было мое отчаянье, но и оно не могло длиться бесконечно у юноши, которому не исполнилось еще полных двадцати двух лет. Когда весной возвратилась в свой деревенский дом наша семья, она нашла меня одичавшим, как лесного зверя, с отросшей бородой, с бледным лицом, еще более жалкого, чем в несчастный день моего возвращения. Тогда отец, сжалившись надо мной, решил возвратить меня к жизни. Как

человек умный и проницательный, он не стал докучать мне ненужными советами и поучениями, понимая, что этим путем он не достигнет ничего, а напротив, прибег к благодетельной хитрости. Призвав меня к себе, он мне сказал, что чувствует себя стареющим, что прежние силы ему изменяют и что я, если сознаю себя чем-либо ему обязанным, должен заменить его в большинстве работ по нашему имению. Как мог я отказать отцу в такой просьбе, когда он дружески просил меня, вместо того чтобы приказывать, на что имел все права отца и домохозяина. Я, разумеется, должен был согласиться на такое предложение, и с того дня все заботы о наших полях и наших стадах перешли ко мне. Подобно древнему Катону, отец не допускал, чтобы во главе рабов стоял один домоправитель, но хотел, чтобы сам господин во все вникал и всем распоряжался; поэтому сразу оказалось у меня много дела, особенно при моей крайней неопытности, ибо я гораздо более был осведомлен в реторике, нежели в ведении сельского хозяйства. Пришлось мне вставать рано поутру, объезжать поля и наблюдать за работами, понукать ленивых рабов и накладывать наказания на нерадивых, выслушивать доклады домоправителя, считать запасы хлеба и сена, выдавать дневные рационы людям, словом, делать все, что когда-то составляло главное занятие наших доблестных предков. Пришлось мне немало и учиться, чтобы с достоинством исполнять свои новые обязанности, и я не раз, а многократно перечитал и книгу о земледелии славного Катона, и другие подобные сочинения, не забыв, конечно, медоречивых «Георгик» великого Мантуанца.

Расчет отца оказался верен. После нескольких месяцев упорного труда я почувствовал себя гораздо более бодрым. Не то чтобы исчезли те причины, которые наполняли мою душу одной беспредельной скорбью, но все же я вновь привык и к общению с людьми, и к разнообразным заботам. В горячие дни, когда надобно было заканчивать какую-либо работу и когда мы все с тревогой высматривали каждое облачко, то опасаясь, то с нетерпением жаждя дождя, не оставалось времени для того, чтобы предаваться мрачным грезам. После утомительного трудового дня, возвращаясь вечером домой с дальнего поля, думалось лишь об одном, как бы скорее броситься в свою постель, и уже не оставалось сил для бесплодных слез, а сон был глубок и спокоен и не смущаем мучительными

видениями прошлого. Здоровье мое вновь окрепло, душа не то что успокоилась, но как-то окаменела, и я, все оставаясь суровым и нелюдимым, начал думать, что для меня еще есть место на земле, что я еще могу прожить свою жизнь не без достоинства.

Следующую зиму я уже согласился провести в Лакторе. Я был очень сдержан в отношениях с людьми, но все кругом проявляли ко мне такое предупредительное внимание, ни единым словом не намекая на мои прошлые несчастия, что мне трудно было уклониться от возобновления старых и от заключения новых знакомств. Незаметно для самого себя я начал вновь посещать людей нашего круга, бывал и на обедах, и на разных торжествах. Молодость брала свои права, и мне вновь хотелось иметь успех и в философских спорах, и в разных проявлениях ловкости и силы. Только когда до нашей отдаленной Лакторы доходили вести о событиях при дворе тирана, прежние припадки неудержной скорби вновь овладевали мною; опять образ Гесперии со всей его непобедимостью вставал передо мной, я опять укрывался от людей и проводил долгие часы в тоске и унынии. Но я уже научился владеть собою и никому не позволял увидеть, какая незаживающая рана живет у меня под грудью, и только в одном отношении я оставался странным для моих сотоварищей: я решительно избегал женщин, и никто не мог меня принудить участвовать в том веселом времяпрепровождении, которое обычно для юношей того возраста, в каком я тогда был.

Так установилась моя новая жизнь. Всецело посвятив себя сельскому хозяйству, которое древние называли благороднейшим делом для свободного человека, я не искал ни других занятий, ни других почестей. Лето, до поздней осени, я проводил в деревне, работая неутомимо и с любовью, причем, как говорят, сумел значительно улучшить все статьи нашего имения. Зимние месяцы я проводил большей частью в Лакторе, не стремясь в другие города и даже не желая посетить нашей местной столицы, славной Бурдигалы. С сестрой я постепенно подружился, и она охотно делилась со мной своими девичьими мечтами, но вскоре покинула наш дом, став женой видного гражданина Лакторы, Акция Проба, тоже члена городской курии; мать вызывала у меня слезы своей неизменной любовью ко мне; отец, как бы простив мне все, был со мною ласков и говорил со мной, как с равным. В городе

я пользовался уважением и, если бы захотел, несмотря на свою молодость, уже мог бы занять какую-либо почетную должность; но этого я решительно избегал. Все предвещало мне жизнь тихую и мирную, без особых радостей, но и без тягостных потрясений.

VI

В начале третьего года после моего возвращения в родительский дом я узнал ту девушку, которая впоследствии стала моей женой. У моего отца в юности был друг, уроженец нашей Лакторы, Тит Талисий, с которым он был связан узами любви и благодарности, ибо Талисий однажды оказал моему отцу услугу чрезвычайно важную. Уже много лет назад Талисий должен был переселиться на Восток, и давно до нас не доходило об нем вестей. Каково же было изумление отца, когда однажды осенним вечером прибыла в наш дом, одна, без всякого спутника, молодая девушка, которая со слезами сообщила нам, что она — дочь Тита Талисия. Оказалось, что всякого рода несчастия преследовали последние годы друга моего отца: он потерял жену, двух сыновей и все свое имущество. Умирая, всеми оставленный, он завещал своей дочери ехать в далекую Аквитанию, говоря, что там она найдет Тита Юния Норбана, который заменит сироте отца. В письме, которое девушка привезла с собою, умирающий трогательно напоминал отцу об их прошлой дружбе и, с полной уверенностью, поручал ему свою дочь, не сомневаясь ни на миг, что наша семья примет ее, как родную.

Помню хорошо, что мой отец, читая это письмо, слабой рукой нацарапанное на восковых дощечках, плакал, и то были первые, да и последние слезы, которые я видел на лице этого сурового человека. Встав с кресла, на котором он сидел, отец обнял бедную странницу и тут же, торжественной клятвой, призывая в свидетели богов, поклялся, что отныне дочь его друга будет его любимейшей дочерью и что скорее он сам откажется от всего необходимого, чем допустит девушку впредь хоть в чем-нибудь нуждаться. Тотчас одели Лидию,— так звали нашу нежданную гостью,— в лучшее платье моей сестры, и с того дня наша семья увеличилась одним членом, милой и доброй девушкой, которую все мы скоро полюбили

искренно и которая всех нас полюбила такой же любовию.

Было Лидии тогда семнадцать лет. Она не была красавицей, но нет того хорошего, что я не мог бы сказать здесь об ней, и ни одного упрека я не могу ей сделать, не только потому, что сам виноват пред ней безмерно, но и потому, что то было бы нарушением истины и справедливости. Тяжелые лишения, пережитые Лидией в последние несчастные годы, сделали ее молчаливой и несколько робкой, но, когда она чувствовала себя окруженной людьми близкими, она становилась без конца привлекательной и умела говорить умно и красиво. Отец Лидии не пренебрег ее воспитанием, и она, кроме знания наших и греческих поэтов, умела играть на кифаре, вышивала золотом и вообще являла все признаки девушки из старинной и хорошей семьи. С сестрой моей, Децимой Юнией, скоро Лидия сдружилась тесно, и они стали неразлучны, как если бы всю жизнь провели под одной кровлей и были дочерьми одной матери. Доброта же и кротость Лидии расположили к ней всех наших рабов, и они тайно называли ее Беатой.

Что касается меня, то я вначале сторонился Лидии, как вообще сторонился всех людей в ту пору. Но ее, как я об том узнал после, с самого первого дня привлекло к себе мое печальное лицо. Узнав, в общих чертах, об моей скорбной судьбе, она стала видеть во мне человека несчастного, преследуемого Роком, и ее доброе сердце исполнилось ко мне сожаления, перешедшего затем в чувство более нежное. Понемногу и я не мог уклониться от сближения с девушкой, жившей в нашем доме, с которой я встречался ежедневно и которая всех привлекала своей обходительностью, услужливостью и юной прелестью. Дошло до того, что родные стали замечать явное расположение Лидии ко мне, и моя сестра прямо спросила меня, что я думаю о женитьбе на ней. Мне до того дня такая мысль не приходила в голову, и, услышав подобное предложение, я был смущен и даже глубоко поражен. Дело в том, что все еще образ прекрасной Гесперии жил в моей душе. Я ответил сестре, что не хочу связывать судьбы достойной молодой девушки со своей несчастной судьбой, и с тех пор стал избегать Лидии, что она переносила со своей обычной покорностью и кротостью.

Между тем всего через год после прибытия к нам Лидии отец внезапно заболел какой-то сильной болезнью.

Медикам так и не удалось определить его недуга, который был тем более странен, что отец отличался всегда здоровьем исключительным и что все в нашем роде всегда жили до преклонной старости. Однако, несмотря на все утешения призванных врачей, отец почувствовал сам, что ему от своей болезни уже не оправиться. Тогда, как истинный Римлянин, он поспешил привести в порядок все свои дела, пересмотрел свое завещание и, наконец, призвал к себе меня. Мне он сказал, что умирает и что я, таким образом, остаюсь главою семьи и единственным представителем рода Юниев Норбанов. Сделав мне ряд мудрых замечаний и указав мне на мои обязанности перед матерью и сестрой, отец затем прямо сказал, что спокойным умрет лишь в том случае, если я дам ему обещание взять женою Лидию.

— Этим,— говорил он,— ты искупишь свои вины предо мной, которого много огорчал. Отец Лидии некогда оказал мне великую услугу: спас более, чем мою жизнь — мою честь. Пусть же мой сын отплатит за это тем, что примет на себя заботы об его дочери. Кроме того, я уверен, что и для тебя этот брак будет спасителен и благодетелен. Лидия — девушка достойная и скромная, которая сумеет уберечь тебя в будущем от тех неразумных поступков, способность к которым ты проявил в своей ранней юности. Исполни мое пожелание, Децим, и верь, что умирающим боги дают видеть дальше и лучше, нежели видят те, кто еще далеки от смерти.

Что я мог возразить своему дорогому отцу в эти торжественные миги, стоя у его смертного одра? И как знать, не провидел ли он будущего действительно лучше нас, так как, несмотря на все прискорбные события, к которым меня привела собственная необузданность, не через этот ли брак пришел я, наконец, к познанию истинной правды? Что бы там ни было, но я, воздев руки, поклялся богами, что последнюю волю отца исполню, и даже прибавил такие клятвы, которые после мною сдержаны не были. Тотчас в комнату умирающего были призваны другие члены семьи, и тут же, у последнего ложа отца, мы с Лидией были торжественно обручены, как жених и невеста; Лидия тогда побледнела от страха и счастия, но сестра моя была, кажется, всех счастливее в этот час, радостно поздравляла нас обоих и твердила, что первая предрекла этот союз.

Отец сильно желал, чтобы наш брак состоялся еще при его жизни, и всячески торопил нас, говоря, что после него закроет глаза спокойно. Однако через несколько дней отцу стало много хуже. Напрасны были все усилия искуснейших медиков нашей местности. Так же как не помогли и жертвы, которые мы, в своем тогдашнем заблуждении, приносили на алтари лакторских храмов: ни греческая наука, ни Эскулапий и другие боги не помогли. Внезапно отец потерял сознание и после долгой, трехдневной борьбы со смертью скончался, к великому горю не только его близких, но всего города, который едва ли не весь пошел провожать к погребальному костру своего любимейшего декуриона. Мне говорили, что и в самом Риме, узнав, жалели о кончине человека известного и достойного.

После того как прошли месяцы, в которые всякое празднество в нашем доме было бы неуместно, я исполнил данное отцу обещание, и Лидия стала моей женой. Наш брак был совершен с соблюдением всех обычаев предков, и Лидия, сев на шкуру овцы, принесенной в жертву, одетая впервые в платье матроны, с шафрановой паллой на плечах, казалась мне в тот день воистину той женщиной, которая должна принести мне счастие в жизни. Когда мы вернулись в наш дом, предшествуемые носилками, на которых несли статуи Югатина, Домидука, Домиция и Мантурны, когда нас, по древнему обряду, осыпали мукой, когда прозвучал священный ответ: «Где ты, Гай, там и я буду, Гайя»,— я поверил, что начинается для меня новая жизнь и что все мое буйное прошлое отныне должно быть забыто, как дурной сон, сменившийся ясным днем.

Мне казалось даже, что все благоприятствует моим ожиданиям и что та Фортуна, которую наши предки изображали с рогом, наполненным всяческими благами, намерена их рассыпать над четой молодых супругов. Став главою семьи, я тем усерднее предался заботам о нашем поместьи, и скоро оно стало предметом восхищения и зависти для всех соседей. Жена меня любила страстно и через год родила мне сына, которого мы назвали, в память незабвенного моего отца, Титом, а еще спустя некоторое время — дочь, которая получила имя своей матери, Лидии. Граждане Лакторы уговорили меня, несмотря на мою молодость, принять участие в делах правления городом, и я уже не сомневался, что буду избран в состав декурионов. Мать мою, которую я столько огорчал в

юности, я мог теперь окружить полным спокойствием и новым достатком, так что она, успокоившись после тяжкой потери любимого мужа, проводила дни в почете и довольстве. Наконец, радовала меня и судьба моей сестры, Децимы Юнии, которая жила покойно и счастливо подле своего благородного мужа, воспитывая двух детей, родившихся у нее, моих племянников,— мальчика Децима и девочку Акцию.

Однако обманчиво и непрочно земное счастие, как часто говорят поэты. К тому же было одно обстоятельство, которое с самого начала, как некий тайный яд, разъедало и мое спокойствие, и мои надежды. Исполняя волю отца и называя своей женой Лидию, я надеялся, что прекрасные достоинства этой девушки не только заставят меня ее уважать, но и пробудят в моем сердце любовь к матери моих детей. И ничем старался я не показать Лидии, что связан с нею лишь чистой дружбой и что нет во мне того огня, который, по сказаниям поэтов, вызывают вонзившиеся стрелы крылатого Амора. Но велика над человеком власть ослепляющей его страсти, и с первых дней нашей общей жизни я понял, что розы супружества будут для меня окружены шипами воспоминаний. В тот самый вечер, когда, вернувшись домой, осыпанные мукой, приняв поздравления близких, мы с Лидией остались впервые наедине в кубикуле моего отца,— комнате, которая, по настоянию моей матери, стала после моего брака нашей супружеской спальной,— узнал я страшное будущее, готовящееся мне: образ покойной, ‹как я тогда полагал,› Гесперии ‹неотступно был предо мной›.

Помню я робкое и счастливое лицо моей новобрачной жены, помню ее несмелые движения и тот нежный шепот, каким она произносила обычные девичьи просьбы, но помню и ту внезапную тоску, которая вдруг охватила мою смущенную душу. Уже много месяцев не вспоминался мне ни образ, ни имя далекой Гесперии, и на самом пороге своего дома, возвращаясь после свадебного обряда, я мог думать, что все прошлое погасло навсегда. И вдруг, в обстановке брачной комнаты, в час, когда меня ожидали первые ласки прекрасной и любящей меня девушки, былое томление разлилось по моей душе, как при урочном приливе разливаются воды океана по прибрежному песку. Вдруг мне стало ясно, что та Гесперия, которой я не видел уже столько лет, лживость и коварство которой вполне постиг, на которую сам поднимал когда-то кинжал,—

остается для меня единственной женщиной, влекущей к себе мое сердце и мои еще юношеские силы. Так явно предстало предо мною словно из воска сделанное божественно-прекрасное лицо Гесперии, что ужас охватил меня, как пред привидением, и до сих пор я думаю, не было ли в этом вмешательства некиих волшебных чар.

Поспешно я погасил все лампады и, в полной темноте прижав к своей груди трепетную девушку Лидию, старался волей преодолеть Гекатовы наваждения. Но чем теснее сжимал я в объятиях другое тело, тем неотступнее представлялось мне, каким блаженством было бы для меня в это мгновение обнимать тело незабвенной Гесперии. Было ли то искушение Врага человеческого, или сам я был столь недостоин чистого счастия, только та радость, которую, по мнению всех, должен я был вкусить в первую ночь своего брака, обратилась для меня в горечь, подобную полыни. И хотя упорством я в конце свою слабость победил, но если бы кто-нибудь внезапно зажег в нашем кубикуле лампады, он увидел бы, что мое лицо, после страстных ласк, искажено страданием и по щекам струятся слезы.

Так и повелось с тех пор, что, ценя и уважая свою жену, которая достойна была уважения и любви, я никогда не мог преодолеть тягостного чувства, когда оставался с нею наедине в нашей супружеской спальне. Каждый раз, когда я целовал, как муж, покорные губы жены и обнимал ее, мучительная тоска начинала клещами пытать мое сердце, и мне казалось, что я поступаю недостойно, отдавая свои ласки не той, кому они принадлежат по праву. И странно (это я добавлю, чтобы быть вполне откровенным), такого чувства я не испытывал, когда случалось мне, прельстившись хорошенькой рабыней, склонить ее на любовь со мной, что в нашей жизни почиталось делом обычным. Много я страдал от такого своего отношения к женщине, которая делала все, чтобы заслужить иное, много я с собой боролся, доказывая себе доводами философии всю неосновательность своих чувств, но словно стеклянная стена была воздвигнута Роком между мною и Лидией, и эту стену я мог пробивать, только изранивши руки и испытывая жестокую боль. Ныне, думая о прошлом, еще раз я прихожу к выводу, что в свое время или каким-то волшебным напитком, или иным тайным способом Гесперия отравила мою душу и обрекла ее на страдания.

VII

Между тем события того времени непрестанно и настойчиво напоминали мне о Гесперии. Еще до моей свадьбы тиран Максим отважился на безумное предприятие: не пожелав довольствоваться предоставленной ему властью над тремя прекраснейшими диэцесами Запада, он коварно повел свои войска против императора Валентиниана II. Все слухи, доходившие до нас, единодушно повторяли, что к такому шагу побудила его жившая при его дворе «прекрасная Римлянка», ибо ее ненасытная душа должна была стремиться к власти над всем миром, а сам Максим, конечно, удовольствовался бы покойной и пышной жизнью властителя Галлий, Испании и Британии. Как раз на первые месяцы моей новой жизни с Лидией выпала та жестокая война, которую пришлось вести с тираном восточному императору Феодосию. Проезжие купцы и путешественники привозили к нам известия об том, как войска Востока вторглись в Галлию Цисальпинскую, как другой отряд под начальством Арбогаста шел через Рецию, как греческий флот готовился плыть к берегам Италии,— и все рассказчики, единогласно говоря о неспособности и трусости Максима, столь же единогласно свидетельствовали о изворотливости, ловкости и мужестве его советницы. Нетрудно представить, как меня волновали эти вести о Гесперии, изображавшие ее как состязательницу на арене великих событий, своей волей направляющей судьбу империи и приближающейся к ее заветной цели — императорской диадеме. Потом пришли известия о победоносном для Феодосия сражении при Сискии, о бегстве Максима, попытке тирана укрыться за степами Аквилеи и, наконец, его позорной смерти. Куда скрылась после того Гесперия, мне никто не мог изъяснить, хотя я,— должен в этом сознаться,— неоднократно расспрашивал об ее судьбе всех, кто мог дать мне какие-либо сведения.

Все Галлии приняли весть о гибели тирана с ликованием, так как почти никто из их жителей, подобно моему отцу, в душе не признавал Максима императором, но видел в нем недостойного усурпатора. Не было ни в чьем сердце и сожаления о внезапном исчезновении «прекрасной Римлянки», которую большинство считало за злую Эриннию нашей страны. Но если другие прислушивались к вестям о военных действиях с тайным опа-

сением за благополучие наших городов и за свое собственное благосостояние, если другие искренно негодовали на неистовство тирана и его жестокую советницу, то я ловил эти слухи с жадностью только потому, что в них поминалась та, которая продолжала царить в моем сердце, как Юнона на высоком Олимпе. Сколько раз в глубине моей души подымалось, как змей, отчаянное желание: тайно бросить все и бежать в войска тирана для того только, чтобы снова быть близко от Гесперии, ее видеть, может быть, умереть на ее глазах. Усилием воли и рассудка я побеждал это безумие, объясняя себе, что Гесперия и не захочет меня видеть, что в дни своего торжества она оттолкнет меня ногой, как лишнюю собаку. В томлении, с мыслями о далекой Италии, я продолжал свою жизнь новобрачного, пока не пришла весть о гибели Максима и исчезновении Гесперии. Тогда мною овладела неодолимая тоска, которую я не мог одолеть ничем, тоска, опять заставившая меня целыми днями проводить без дела в своем таблине, бессмысленно глядя на восковые изображения предков. И так длилось долгие месяцы.

Таково было начало моей семейной жизни. Постепенно и это тяжелое бедствие было пережито. Империя успокоилась, и благочестивый Феодосий восстановил над всем Западом власть императора, Валентиниана II. Гесперия как бы исчезла, и многие почитали ее мертвой. Я вернулся к моей жизни, к заботам по хозяйству, к моей молодой жене и мало-помалу начал выполнять день за днем свою жизнь, как неизбежный и невеселый труд.

Разумеется, от Лидии, несмотря на все мои старания, не могло вполне укрыться мое к ней отношение. Она видела, что я, будучи почтителен и заботлив к ней, подлинной любовью не одушевлен, и это тяготило ее безмерно. Она встречала мои принужденные ласки, как высшее блаженство, но часто я заставал ее плачущей и, по свойственной человеку непоследовательности, только гневался, когда на мои расспросы она отвечала мне, что вполне счастлива и что ее слезы — пустая случайность. Кротко снося свою судьбу, Лидия старалась бороться с ней лишь одним путем: нежной ко мне любовью, неустанной заботливостью обо мне, преданностью моей матери, а утешения искала в постоянных хлопотах и работах по нашему большому дому, требовавшему постоянного присмотра. Я наблюдал, как она неутомимо распоряжается нашими рабынями, как употребляет все

старания, чтобы мне жилось хорошо и покойно; на каждом шагу я встречал признаки ее заботливого внимания, и в дни неудач не было у меня более преданного друга, нежели Лидия. Нередко, оставшись один, я почти со слезами думал об том, какое благо послали мне боги в лице Лидии, и тогда мне хотелось одного: сделать ее счастливой, показать ей наконец, как я ей признателен и как она все же дорога мне. Но, при первой встрече, мое сердце вновь каменело, слова нежности не сходили с моих уст, и я опять довольствовался несколькими приветливыми выражениями, хотя и их было достаточно, чтобы сделать Лидию счастливой на весь день.

Единственной истинной отрадой в жизни Лидии были наши дети. Их она полюбила, может быть, сильнее, чем обычно матери любят своих детей, потому что им отдавала она всю ту страстность, которую принять не мог ее муж. Нашего сына и нашу дочь окружила она попечениями такими, как если бы то были дети императора, и относилась к ним с таким благоговением, как если бы то были маленькие божества. Малейшее нездоровье детей тревожило Лидию в такой степени, что она сама становилась чуть не смертельно больна, хотя и продолжала ухаживать за захворавшими с неутомимостью и самозабвением геройскими. И я, глядя на эту любовь матери, утешался несколько, говоря себе: «Если я не в силах был сделать Лидию счастливой как жену, все же это я дал ей счастие матери». Однако неумолимые Мойры стерегли меня и всех, кто связал свою жизнь с моей, и задумали поразить бедную Лидию в самое чувствительное место — в ее, так ею любимых детях.

На четвертый год после моей женитьбы произошло в нашем доме событие, которому тогда я не придал особого значения, но которое теперь, когда я умудрен опытом всей жизни, представляется мне огромным и важным. Господь бог, в неизреченной милости своей, в те дни еще раз перстом своим указывал мне правый путь, идя по которому я мог спастись и избежать горестных бедствий, иначе предстоявших мне. Я, однако, в своей тогдашней гордыне и слепоте, опять не захотел увидеть тесных врат спасения и тем обрек и себя и всех, связанных со мною, кого на страдания, кого на смерть, за которую и должен буду понести ответ на последнем Суде.

Тогда к нам в дом приехала, чтобы повидаться с родными, моя сестра, Децима Юния, которая после замужества

поселилась в Бурдигале. Мы все встретили Дециму очень радостно, потому что все, не исключая Лидии, любили ее нежно и горячо. Но скоро должны мы были убедиться, что во многом Децима стала иной, нежели была, живя в доме отца. Дело в том, что в Бурдигале вошла она в круг людей, исповедующих учение Христа, и своей чуткой душой поняла величие и истинность новой религии. Еще не примкнув открыто к христианам, Децима уже была душой христианкой и, незаметно для самой себя, всю свою жизнь направила во исполнение высоких заповеданий Иисуса. И когда мы настойчиво начали спрашивать у сестры о причинах перемены, замечающейся в ней, она, не тая истины, смело стала проповедовать нам учение Спасителя мира.

Часто до позднего вечера продолжали мы за обеденным столом наши страстные споры о правой вере. Не уступая нам, Децима, которая была очень начитанна, приводила доводы и из древних поэтов, особенно из моего любимого Вергилия, и из философов, и из натуральной истории, наконец из святого Писания, которого мы не желали слушать. Шаг за шагом опровергала она наши шаткие доводы, показывая нам, что Христос был истинный бог, о котором пророчествовали все истинные провидцы, и что его учение, в большой полноте, содержит все то доброе, что только есть и в религии наших предков. Я, разумеется, возражал сестре с жаром, вновь почувствовав в себе то рвение, с каким когда-то боролся за веру отцов в Риме, и не щадил ни голоса, ни выражений, чтобы хулить гибельные заблуждения (как мне тогда казалось) христиан и даже самого божественного основателя веры. Порой так возгорались наши споры и с такой яростью начинал я нападать на сестру, кротко сносившую мои насмешки, что мать должна была вступать в наш разговор и напоминать нам, что мы сидим за нашим семейным столом, а не состязаемся в публичном диспуте.

В тогдашнем моем ослеплении никакие доводы не могли поколебать моих убеждений, и чем разительнее были доказательства и соображения сестры, тем неистовее и более злыми становились мои возражения. Но что касается Лидии и моей матери, то на них рассуждения сестры производили совсем иное впечатление. Была ли их душа более подготовлена к принятию добрых семян, или они не закрывали ее намеренно от благотворной руки

сеятеля, только обе они слушали Децину сочувственно и невольно соглашались с нею. Напоследок, в наших спорах я уже оказывался один против трех женщин, которые, хотя и робко и неуверенно, но пытались доказать мне, что я не прав в своем отрицании. Мне стали указывать, что вот уже около столетия императоры исповедуют религию христиан, а империя стоит незыблемой, что многие достойнейшие люди, и в том числе наши родственники, приняли новую веру, что истина ее засвидетельствована многими чудесными явлениями и высокими подвигами, и многое другое. Когда я увидел окончательно, какое влияние оказывает проповедь Децины на мою жену и особенно на старую мать, я порешил, что обязан принять решительные меры.

Однажды во время одного из самых ожесточенных наших споров, когда Лидия, вообще говорившая реже нас всех, задумчиво сказала: «Поистине, кажется мне, что учение Христа выше, чем наша вера»,— я встал из-за стола и голосом, который мне самому показался неожиданным, произнес твердо:

— Довольно! Ты, Децина, вышла из-под моей власти и вольна поступать так, как тебе то позволяет твой муж. Но здесь я — отец семейства и более таких речей позволить не могу. В этом доме, где атрий украшен восковыми изображениями наших славных предков, где жил и умер наш отец, всю жизнь остававшийся верным религии предков, проповедь новой веры есть оскорбление его памяти. Прошу тебя, Децина, доколе ты будешь гостьей в моем доме, не начинать больше такого разговора, а тебе, Лидия, отныне я запрещаю произносить самое имя этого Христа. Так я требую, и да будут к нам милосерды бессмертные.

После того я совершил возлияние чистым вином и вновь сел на свое место. Настало за столом молчание, Децина опустила глаза, а Лидия вся задрожала, почти заплакав; мать тоже не решилась сказать ни слова в ответ мне. Я же был неумолим. Действительно, после того вечера наши споры о вере прекратились, да и Децина вскоре покинула нас, так как ей пора было вернуться в Бурдигалы.

Примечательно, однако (и да обратят на то внимание все, не придающие значения словам), что именно с этого времени начался ряд несчастий, которые посыпались на наш дом с такой же тяжестью, с какой падали камни

из жерла Везувия в памятный день, описанный Плинием.

То были те прискорбные дни, когда империя снова была потрясаема жестокими событиями.

VIII

То произошло в —ой год нашей совместной жизни, в пору, когда на долю нашей родины вновь выпали тяжкие испытания.

В Виене весной того года умер или, как все утверждали, был убит Арбогастом император Валентиниан II. Императором был избран, или, тоже по таким же всеобщим слухам, назначен Арбогастом, бывший магистр скриний Евгений. Новый император, отправив послов к Феодосию с извещением о своем избрании, сам поспешил на Рейн, где одержал победы над бруктерами и комавами... Позднее до нас стали доходить слухи, самые неожиданные. Говорили, что Евгений в Галлиях после победы вошел в сношение со знаменитым Флавианом, в то же время для укрепления своей власти ищет союза с людьми, оставшимися верными вере предков; что Евгений даже разрешил восстановить алтарь Победы; что в Городе возобновляются храмы, вновь происходят в легионах торжественные служения богам и что отменены законы, дающие разные преимущества христианам. Евгений поехал в Рим. Но, что было для меня всего тревожнее, говорили также, что близ Евгения оказалась женщина, руководящая им, в которой многие признавали «прекрасную Римлянку», жившую когда-то при дворе тирана Максима.

Последнюю весть принес нам один Пакколский купец, по имени Либерий, который время от времени посещал наше поместье, так как у меня были с ним дела. За обедом он рассказывал нам о новых бедствиях Италии и об том, что император Феодосий, конечно, не оставит без отмщения убийство своего шурина и брата своего благодетеля [1].

. . . . . .

...Лидия, недавно поправившаяся после родов.

— Разумеется,— говорил Либерий,— Восточный император уже стар, и ему неохота начинать новую войну,

[1] По нумерации Брюсова здесь потеряна одна страница текста.

но он не может спокойно закрыть глаза, думая, что своим сыновьям оставит угрозу тяжелой войны. Мне достоверно известно, что благочестивый император, хотя и отпустил послов Евгения с дружелюбными словами, уже готовится к походу. Из Византии был послан евнух Евтропий в Фиваиду к одному египетскому монаху, святому отцу Иоанну, славящемуся тем, что он предсказывал будущее лучше, чем в древние времена оракулы Дельфийский и Додонский. Отец Иоанн, который пять дней в неделе проводит запершись в пещере и никогда не вкушает пищи, приготовленной на огне, ответил императорскому гонцу, что Феодосия ждет хотя и кровопролитная, но несомненная победа. Впрочем, это, может быть, было придумано и без Нильского прорицателя, так как у императора великолепные полководцы, Стилихон и Тимасий, лучшие войска из иберов, гуннов, аланов, арабов, готов, наконец, и постоянное счастие, даруемое ему небом за его благочестие. А на стороне Евгения, говорят, появилась та же самая губительная женщина, которая уже довела до поражения и смерти бывшего тирана,— помнится, та самая прекрасная Римлянка, что много лет жила в Треверах при дворе Максима.

Когда купец произнес последние слова, я невольно побледнел, словно бы меня ранили острым оружием. Как бы онемев, я не мог вымолвить ни слова, видя опять перед собой образ Гесперии, и моя жена, наш гость и другие участники нашего обеда изумленно смотрели на меня. Победив свое волнение, я объяснил его чувством опасения за судьбу империи и спросил:

— Разве эта женщина жива? Я считал ее погибшей вместе с правителем Максимом.

— Такие чудовища — живучи,— возразил купец (а я при таком оскорбительном отзыве о Гесперии готов был схватить его за горло),— эта женщина умеет выпутаться из любых обстоятельств. Где честный гибнет, там негодяй выходит сух из воды.

Потом ⟨я⟩ косвенно стал расспрашивать о Гесперии, однако Либерий не мог сообщить более ничего: все, что он знал, он сам говорил по слухам, так как явился к нам из Массилии, а не из Италии. Но и слышанного для меня было достаточно, чтобы опять поколебать меня, тоска и отчаяние завладели моей душой, словно гарпии столами спутников Энея. Ту ночь и все следующие дни я был

как бы угнетаем Фуриями и искал лишь одного: новых известий о Гесперии.

В то время как я был в таком тягостном состоянии и когда империя готовилась к новому испытанию, несчастия одно за другим стали обрушиваться на нашу семью.

Не говоря уже о том, что весной, по разным причинам, я понес большие денежные убытки,— даже и такие средства употреблялись Божеством, желавшим указать человеку свой гнев на его безумие. Потом пришло неожиданное известие, что муж моей сестры внезапно захворал и в три дня умер от неизвестной болезни, оставив бедную Дециму без поддержки и без средств к жизни. Надлежало мне утроить и учетверить свои заботы и свою работу, чтобы помочь сестре, внезапно оказавшейся в несчастии, а я именно в то время душой постоянно уносился в далекий Рим, где моя Гесперия вторично простерла руку к императорской мантии. Весной, в год консульства императора Евгения, захворала наша маленькая дочь, которой было немногим более месяца. У нее открылась болезнь горла, которую наши медики считали неизлечимой. Бедный ‹ребенок› весь горел в жару, задыхался, не мог ни произнести слова, ни есть, ни пить. Ужас и отчаяние Лидии я здесь не сумею изобразить, но мне казалось, что в те дни она почти помешалась. Мы вызвали лучших медиков из Бурдигал, употребили все известные нам средства, дали обеты принести богатые жертвы в храм и усердно возносили мольбы Эскулапу и высшим богам, но все было напрасно. Ребенок явно умирал и на пятый день болезни умер, задохся на руках у матери.

Помню, как вбежала ко мне Лидия, с распущенными волосами, с блуждающими глазами, простирая руки и не имея силы высказать ужасное сообщение. В ту минуту я чувствовал, что от всего сердца люблю несчастную женщину. Я молча обнял ее, увел в наш сад, усадил на мраморную скамейку и, тихо целуя, пытался утешить ее, говоря о том, что ее люблю и всегда буду любить, что у нас остался наш сын, маленький Тит, которому было уже полтора года и который уже лепечет первые слова, что мы молоды и у нас будут еще дети. Мои слова открыли потоки слез, и Лидия начала рыдать в моих объятиях, кругом же была тишина сада, а над нами ясные звезды на небе, в которых мы не умели прочесть своей судьбы. Эта минута осталась в моей памяти навсегда как одна из

прекраснейших, может быть, потому, что тогда я всей душой хотел одного: сделать счастливой свою жену.

Наутро стало ясно, что и маленький Тит болен той же болезнью... Он запылал тем же жаром, и такая же боль сжала ему маленькое горло, мешая есть и дышать.

Весь дом был поднят на ноги. Гонцы, посланные мною, скакали во все стороны, разыскивали самых искусных медиков и даже заклинателей, славившихся умением заговаривать болезнь, потому что в том положении я не считал себя вправе отклонить даже малейшую тень надежды. День и ночь в нашем доме шли совещания, принимались всевозможные меры, варились разные снадобья, воскурялся на домашнем алтаре фимиам и читались заклинания. В отчаянии Лидия хотела даже прибегнуть к помощи христианского священника, но тот, узнав из нашего дома присланного за ним, отказался идти в семью явного кумиропоклонника.

На четвертый день стало ясно, что все наши усилия тщетны. Жизнь явно готовилась отлететь из маленького, исхудалого тельца ‹мальчика›, и мне в моем тогдашнем состоянии казалось, что я уже слышу в своем доме веяние крыльев Меркурия, который своим кадуцеем

Души уводит и приводит в мрачный Орк...

Послали за знаменитым медиком Гипподамом, который удалился от дел и, нажив большое состояние свое врачеванием, жил неподалеку от нас в своем поместии. Несчастья преследовали нас, ибо Гипподам ответил, что сам болен и приехать не может, но послал своего помощника, молодого грека Евкрита, который не сумел ничего нового предпринять. Ребенок задыхался.

Когда не оставалось более сомнения в печальном исходе, у меня недостало мужества смотреть на ужасную пытку. Жена моя, с помутневшим взором, с неубранными волосами, среди которых, несмотря на ее молодость, проступали уже седые пряди, сидела у постели ‹сына› и побледневшими губами шептала молитвы. Какие-то заклинатели (ибо моления честные отказывались помогать далее) творили в той же комнате какие-то нелепые обряды, что-то жгли на огне и что-то произносили нараспев. Испуганные рабы и рабыни толпились у входа в кубикул.

Потрясенный и подавленный, я тихо вышел из дому и опять сошел в сад. Опять была ночь, подобная той, когда я утешал Лидию после смерти нашей ‹дочери›; опять

кругом была тишина, на небе мигали звезды, в которых я не умел прочесть своей судьбы. Сам не сознавая зачем, я медленно перешел через весь сад и так достиг до ограды, которой он был всюду окружен, и остановился у высоких ворот, где в ту ночь был прикреплен фонарь, так как ждали еще одного знаменитого медика из ..., за которым было послано. Там я остановился и долго стоял, без воли, уныло думая о преследующих меня несчастиях, ища им объяснений и не желая признать самого простого,— что Небо карало меня за мое упорное нежелание признать истину.

Внезапно по дороге раздался топот лошади, и, подняв голову, я увидел всадника, остановившегося у ворот. Думая, что это один из разосланных мною во все стороны гонцов или тот знаменитый медик, за которым поехали в ..., я спросил всадника, кого он ищет.

— Мне нужно видеть по важному делу Децима Юния Норбана,— ответил подъехавший.

— Это я,— сказал я в ответ.

Всадник наклонился с лошади и стал пристально в меня всматриваться при свете фонаря.

— Это я — Децим Юний Норбан,— повторил я,— это мое поместье. Что тебе нужно?

Вероятно, убедившись, что перед ним именно тот, кого он ищет, приехавший, не сходя с коня, протянул мне что-то.

— Письмо,— почтительно сказал он,— которое приказала отдать тебе в собственные руки госпожа моя, Гесперия из Рима.

При этих словах мне показалось, что свет погас в моих глазах; я взял в руки дощечки и не видел ничего, ни ворот, ни ограды, ни темных деревьев, ни блистающих звезд. Потом я расслышал слова приехавшего: «Я буду ждать тебя в гостинице «Жирные петухи», что на перекрестке!» Сказав эти слова, всадник, столь же неожиданно, как приехал, повернул коня и поскакал прочь.

Долгое время я не мог совладать со своим волнением. У меня стучало в висках, в глазах было мутно. В памяти звучали слова таинственного вестника: «...госпожа моя, Гесперия из Рима» — и: «Я буду ждать тебя в гостинице». Оправившись немного, я сломал печать и, при скудном свете фонаря, прочел следующее:

«Дециму Юнию Гесперия, здравствуй!

Знаю, что ты не мог забыть меня, но узнай, что и я тебя помнила всегда и помню теперь. Я простила тебе все,

также и твой удар кинжалом, след которого доныне ношу на левой руке,— потому простила, что ты не знал моих тайных намерений, думал, что я изменила нашему общему делу и той моей любви к тебе, в которой однажды поклялась. Но, приняв личину, согласившись подвергнуться презрению людей, которых я ценила и уважала более всех других, я втайне продолжала работы для нашего общего дела и шаг за шагом, капля за каплей воздвигала здание обновления империи и нового храма богам бессмертным. Теперь настало для меня время скинуть обманное обличие, потому что близко осуществление всех наших высоких и прекрасных надежд и торжество истины над ложью, почти столетие угнетавшей народ Римский. Город в нашей власти, храмы возобновляются, великие служения Олимпийцам совершаются невозбранно, трусливо прячутся христиане, видя, что их ложь изобличена. Остается одна последняя борьба за правое дело, из которой мы должны выйти победителями, ибо так предвещают нам неложные знамения. Но для этой борьбы нужно, чтобы все верные соединились в единое войско, чтобы ни один из нас не стоял в стороне от общего дела. Сейчас отсутствовать — значит предательствовать. Где бы тебя ни застали эти строки, каким бы важным делам ты ни посвящал сейчас свои минуты, тотчас, не медля ни одного часа, отправься в путь и спеши в Город, потому что завтра уже может быть поздно. Враг опасен, он готов напасть на нас и грозит закрыть все дороги к Риму. Если ты промедлишь день, даже час, может быть, минуту,— будет уже поздно: ибо тогда тебе не удастся проникнуть в Рим. Поезжай немедленно, доверься вполне моему посланному; он тебе укажет путь ко мне, в Город. Если ты окажешься верен мне, в чем я не сомневаюсь,— знай, что настало время выполнения всех моих обещаний тебе. Я сказала — всех, потому что помню их все и хочу, чтобы теперь осуществились все! Нет, ты получишь больше, чем я обещала, и больше, чем ты сам ожидаешь. Тебя зову я, и зовет республика, зовет Рим.—Знай, я окружена прежними друзьями, Симмах и Флавиан говорят тебе через меня: Приезжай. Жду тебя.

Гесперия сказала: будь здоров!»

Что со мной сталось, когда я прочел это письмо! Я шатался, как пьяный, и в голове у меня был такой вихрь мыслей, какой производят все четыре ветра, когда

<«...и море, и сушь, и глубокое небо
Ринули быстро б они за собой, размели по просторам...»>

Одно время я хотел бросить восковые дощечки на землю и беспощадно истоптать их. Потом я уже стал обдумывать ответное письмо Гесперии. Еще позднее я, сам скрывая от себя свое намерение, тихо прошел в дом.

Из спальни <сына> все слышались голоса заклинателей, показывающие, что последняя минута еще не наступила. В своем таблине я собрал все деньги, какие были у меня в доме, но, подумав, половину их положил в мешок, на котором написал имя жены, так как сам мог получить деньги у своего аргентария в Массилии. Потом, надев дорожный плащ и шляпу, взяв кинжал, дорожные часы и несколько самых необходимых вещей, как вор, прокрался на конюшню, позвал Фракия, нашего верного домоправителя. Ему я сказал басню, будто хочу скакать к Гипподаму, и сам насильно привезти его. Фракий изумленно смотрел на меня, но я говорил так строго, что он не посмел возразить. Фракий предложил сопровождать меня, но я <возразил>:

— Нет! Нет! Я поеду один, ты нужнее в доме.

На конюшне я разбудил раба-конюха, Сатурнина, единственного, кажется, из наших рабов, который спал в ту ночь, и велел ему седлать двух коней. Раб с изумлением повиновался. Едва лошади были оседланы, я велел вывести их окольным путем на дорогу, сел на одну, а на другую приказал сесть Сатурнину. Оглянувшись на свой дом, я увидел слабый свет, выходивший из окон, вспомнил свою жену, которая в эту минуту сжимала холодеющие ручки нашего ребенка, и такая тоска сжала мое сердце, что слезы полились из моих глаз и я едва не повернул коня обратно. Но словно таинственная сила и какое-то чарование владели мною. Я сдавленным голосом прокричал:

— За мной!

И, направив коня по дороге к городу, погнал по ночной дороге. Проскакав некоторое расстояние, я невольно задержал коня; через миль ..... готов был возвратиться. Некоторое время я ехал почти шагом, готовый вернуться. Потом поскакал опять. Потом вновь задумался. И опять поскакал. Наконец решение было принято; я ударил коня по бокам и пустился вскачь.

Книга вторая

I

Мы ехали молча все расстояние, разделявшее нашу Васкониллу от Лакторы, но, к удивлению раба, я приказал не въезжать в город, но направиться по окольной дороге: в Лакторе все меня знали, и мне не хотелось, чтобы об моем отъезде стало известно. Обогнув на рассвете городские ворота, мы опять выбрались на большую дорогу, идущую в Толосу. Лошади наши устали, и нам пришлось сделать остановку в одной деревне, где нашлась маленькая грязная мансиона, объявлявшая, впрочем, надписью над дверью, что здесь путешественнику будет столь же удобно, как в самом Городе.

Там, за скудным деревенским завтраком, я впервые как бы пришел в себя. С ужасом я созерцал свой поступок, но в то же время чувствовал, что поступить иначе я не мог. Говорят, что люди, подверженные влиянию луны, с закрытыми глазами, погруженные в сон, идут вперед, никогда не ошибаясь в цели: так подвигался и я в то мое путешествие, подчиняясь влечению далекой Гесперии, которая влекла меня к себе, как ⟨гераклейский⟩ камень — железные обломки. Плача, я думал о своей жене, брошенной мною в жестокую для нее минуту, но знал, что буду свой путь продолжать.

В мансионе я спросил таблички и написал Лидии письмо, в котором ей клялся в постоянной любви, упрашивая меня простить, говорил, что дела важности чрезвычайной меня вызвали немедленно, давая обещание вернуться скоро и своей любовью смягчить ее страдания. Все это в тот час я писал вполне искренно, ибо именно так и думал, уверенный, что первая встреча с Гесперией излечит меня от моей неразумной страсти. Запечатав письмо своим перстнем, я передал табличку Сатурнину и прика-

вал ему вернуться в Васкопиллу и передать Лидии, что я еду в Рим лишь на короткое время, так что возвращусь еще в этом году. Дав еще несколько распоряжений, я отпустил недоумевающего раба, оставив себе другую лошадь, так как на той дороге трудно было найти лошадей наемных.

Отдохнув в мансионе, я продолжал путь один. Так как тяжелые думы угнетали меня, я непрестанно подгонял коня, не жалея его сил и желая подавить мысли быстрой скачкой и усталостью. Поэтому, несмотря на плохую дорогу, я в тот же день, еще засветло, достиг Толосы, где и решил провести день.

Этот день я посвятил на то, чтобы приготовиться, как должно, к далекому путешествию. Свою измученную лошадь я продал за бесценок хозяину гостиницы, в которой нашел для себя ночлег, а себе купил место в общественной реде, направлявшейся в Массилию. На другой же день я в торговых лавках купил все нужное для путешественника, одежду, провизию, всякие дорожные приспособления, что было нетрудно в таком большом и богатом городе, как Толоса. И в тот же день, с пятью попутчиками, по счастливой случайности оказавшимися людьми мне незнакомыми, я выехал в Массилию.

Весь мой дальнейший путь для меня прошел как бы во сне. Это ⟨не⟩ мешало мне совершать вполне разумные поступки, торговаться на мансионах, понукать ленивых возничих, обмениваться незначительными разговорами с товарищами по реде и т. п. В Массилии я явился к моему аргентарию и потребовал у него, к его изумлению, значительную сумму денег, объясняя это неурожаем того года и смертью моего ⟨зятя⟩. Затем я запасся тессерой на корабль общества «Меркурий», отходивший к берегам Италии через два дня.

В Массилии почти все время я просидел в гостинице, избегая всяких встреч и не думая об том, чтобы как-либо развлечься в шумном приморском городе, где расставлено столько соблазнов для приезжающих. Тягостные думы продолжали меня мучить, но я всячески отгонял их, как летом отгоняют мух, и старался разжечь свой дух мыслями о том высоком деле, в котором мне предстоит участвовать. Но это плохо мне удавалось, и в глубине души у меня вырастало сомнение, нужен ли я в Городе и не есть ли призыв Гесперии новое коварство со стороны этой новой Кирки.

Вступив на корабль, называвшийся «Кимотоя», я ото всех держался столь же особняком, как на пути из Толосы, несмотря на то, что во время морского путешествия все попутчики обычно сближаются между собой. Впрочем, общество на «Кимотое» было нелюбопытное: по большей части здесь собрались купцы, ехавшие по своим делам и обсуждавшие положение в империи с точки зрения своих торговых дел. Из их разговоров я не мог узнать ничего для себя нового. Обычных же путешественников совершенно не было, так как всех страшила угроза приближавшейся войны.

Только одно лицо из всего населения корабля привлекло мое внимание. То был молодой человек с несколько греческим лицом, очень хорошо одетый, в дорожном плаще с цветными отворотами. В его умении держаться, в его выговоре и всей осанке было то высшее изящество, которое дается лишь после долгой жизни в Городе и, кажется, совершенно недоступно провинциалам. Подобно мне, молодой человек держался особняком от других, не вступая в общие беседы, и никто не знал, с какой целью он совершал путешествие. Мне казалось, что он несколько раз внимательно посматривал на меня, и даже его лицо показалось мне несколько знакомым, однако я не мог припомнить, где я его видел. Раза два мы обменялись с ним незначительными словами, причем он называл меня Требонием,— имя, которым я себя назвал на корабле,— а себя назвал Гликерием. Однако и из этих немногих слов было видно, что Гликерий как-то выделял меня из числа остальных путешественников, потому что относился ко мне с неожиданным вниманием и почтительностью.

Плавание наше было трудным, так как, несмотря на хорошее время года, нас застала сильная буря. Между Корсикой и Ильвой нашу «Кимотою» так качало, что никакие предметы не могли удержаться на месте. Большинство путешественников очень страдало от качки, в том числе и я, не привыкший к морским переездам. Это обстоятельство тем более помешало моему сближению с попутчиками и знакомству со странным молодым человеком. Значительную часть времени я пролежал на палубе, не имея сил даже встать, и, право, в те часы готов был дать клятву никогда более не вступать на борт корабля.

По мере приближения к берегам Италии погода улучшилась, и «Кимотоя» снова стала двигаться плавно. Все путешественники стояли на палубе и ждали появления

земли. Я же в это время не мог не вспомнить своего первого путешествия в Рим, десять лет тому назад, и думал об том, как это второе на него не похоже. Тогда я ехал исполненный детских, но пламенных мечтаний, оставляя за собой только юношеские проказы и впереди видя целую жизнь, которая меня манила своей таинственной далью. Теперь за мной было счастливое, устроенное существование, была любящая жена, которую я оставил переживать тяжелое горе без всякой поддержки, а впереди я мог ждать лишь унижение, ряд обманов и коварств, может быть, даже смерть в рядах войска, дерзко выступавшего против могущественного императора Востока. И все-таки я ехал на этот позор, потому что передо мной, как в тумане, стоял образ Гесперии, по-прежнему имевшей надо мной непонятную и волшебную власть.

В Римский Порт мы вступили еще до полудня, так что я в тот же день мог найти себе место в общей реде. Гликерий предпочел взять для себя отдельную ⟨карпенту⟩. Он вежливо раскланялся со мной, но, уходя, с любезной улыбкой неожиданно сказал:

— Я надеюсь, что мы еще увидимся, Юний.

Пораженный тем, что ему известно мое настоящее имя, я хотел его расспросить, но молодой человек поспешно удалился, и мне осталось ждать от будущего разрешения этой маленькой тайны, которая, впрочем, объяснилась очень скоро.

В реде, прижавшись к углу средь шестерых попутчиков, я промолчал всю дорогу. Вечером мы были уже за Портуенскими воротами, на том самом месте, где юношей я впервые вступил на почву Вечного Города. Позвав носильщика, я приказал нести мои вещи в хорошую гостиницу и, идя за ним, впивался глазами ⟨в⟩ не забытые мною, да и незабвенные, очертания храмов, домов и улиц Города. Несмотря на вечер, улицы были еще полны людом; таберны едва закрылись; из конюшен слышались крики и песни; пробегали рабы с носилками; толкались рабочие, возвращавшиеся домой,— и ничто не указывало на то, что Город переживал какие-то великие дни, которые должны были изменить все существование империи. Все кругом мне казалось знакомым, и я готов был думать, что покинул Рим не десять лет назад, а всего накануне, что я природный житель столицы и что моя жизнь в Васкопилле, мой брак, моя семья — все это отлетевшие сновидения.

В гостинице я принял ванну и подкрепился легкой пищей. Рассудок говорил мне, что я должен подождать завтрашнего дня, чтобы идти к Гесперии. Но сердце мое стучало, волнение было так сильно, что я не мог оставаться в покое. Не осилив его, я оделся насколько мог лучше и, несмотря на то, что уже близилась ночь, вышел на улицу. Я еще не знал, пойду ли я в тот же вечер к Гесперии, но мои ноги как бы сами собой повели меня по знакомым улицам. Уже приближаясь к Холму Садов, я говорил себе, что только издали посмотрю на дом Гесперии. Но когда я оказался перед воротами ее сада, я не мог совладать со своим желанием и с силой ударил дверным молотком.

II

Едва прозвучал мой удар и этот звук наполнил пустую и почти темную улицу, как уже мгновенное раскаяние охватило меня и я был готов трусливо укрыться за углом, как делают уличные мальчишки, из озорства стучащие под разными дверями. Но уже послышался голос раба-привратника, осведомлявшегося, кто стучит, и я почти с досадой назвал свое имя. Тогда привратник звонком дал знать в большой дом другому рабу, оставив меня дожидаться по другую сторону ограды.

Многое перечувствовал я за те немногие минуты, что простоял перед этим столь знакомым мне входом. Я глядел на грязные камни мостовой и вспоминал, как лежал здесь ничком, целуя, в слезах, эти стародавние плиты, в то время как Гесперия проводила время со своим возлюбленным. Я смотрел на очертания виллы, белевшейся среди темной зелени сада, и мне казалось, что деревья как-то разрослись и одряхлели за мое отсутствие, что уже не так красиво и не так свободно встают из-за листвы легкие колонны и архитравы. А также вспомнил я и о своей жене, которую покинул ради сомнительного счастия вновь увидеть Гесперию, конечно, за эти десять лет постаревшую и утратившую свою красоту, но все же замыслившую какое-то коварство, какое-то отчаянное дело, на которое желает послать меня. И незаметно ход моих мыслей изменился, и, когда возвратившийся раб позвал меня следовать за собой, я уже жалел не только об том, что в первый же день пришел к Гесперии, но и <об> том, что вообще приехал в Рим.

Переходя обширный сад, видя знакомые лужайки, уже не так тщательно убранные, купы деревьев, подстриженные без прежнего искусства, и водоем, в котором более не плавали лебеди,— я говорил себе, что должен быть твердым и не поддаваться обманным чарам женщины, погубившей мою молодость. Свою детскую клятву я исполнил честно: несмотря на все самые крайние препятствия, стоявшие предо мной, я поспешил к Гесперии по первому ее зову. Более я ей ничего не должен и могу, как только замечу первую тень лжи в ее словах, в тот же день, не сказав ей прощальных слов, покинуть Город. И при мысли, что я скоро вновь увижу свою Васконниллу и неожиданным появлением обрадую свою печальную Лидию,— моя душа наполнилась потоком истинного счастия.

Раб провел меня через сад к главному входу и в ⟨вестибуле⟩ передал меня рабыне, лицо которой мне показалось знакомым. Та с поклоном провела меня через атрий и перистиль в небольшой триклиний, у входа в который стояли рабы. Откинув занавес, рабыня произнесла мое имя, и я, переступив порог, увидел при ярком свете двух триподиев — Гесперию.

Триклиний, куда я вошел, был небольшой комнатой, обставленной строго по-римски; кроме треугольного стола и трех лож около него, там был лишь светильник и угловой стол для смешивания вина. На двух ложах перед кубками вина возлежали два человека: Гесперия и тот юноша, который назвал себя на корабле Гликерием; третье ложе было пусто.

Первый взгляд, брошенный мною на Гесперию, привел меня в какой-то трепет, словно я увидел нечто страшное. В самом деле — передо мною была та самая женщина, с которой я расстался десять лет назад; ничто в ней не изменилось, ни дивная красота, ни изумительная прозрачность кожи, ни ласковая царственность взгляда,— как будто бы годы не смели коснуться этого совершенного создания. Мне представилось даже, что легкое и прелестное платье, надетое на Гесперии, одно из тех, которые я уже видел прежде. Все было именно то, что я воображал в своих потаенных мечтах, когда воображал себя чудом перенесенным в Треверы или в Лугдун, в присутствие Гесперии. И минуту я готов был верить, что ничто не изменилось, что я, опять восемнадцатилетний юноша, стою перед той, которой навсегда отдана моя любовь.

Не знаю, заметила ли Гесперия мое минутное оцепенение, но она легко встала с ложа и пошла мне навстречу, простирая руки, со словами:

— Милый Юний, мы тебя ждали!

Гликерий добавил:

— Прости, Юний, что я предупредил госпожу Гесперию о твоем прибытии в Рим.

Опять, как маленький мальчик, я не находил слов, которые должен был произнести в те миги, и бормотал что-то неясное, а Гесперия поспешно поместила меня на свое ложе и, приказав рабам подать мне кубок вина, сама заговорила, вновь меня чаруя своим нежным голосом, который я когда-то сравнивал с пением Сирен.

— Я не сомневалась, Юний, что ты приедешь. Не буду сегодня с тобой говорить о делах, так как ты утомлен. Но, совершая свой переезд и приближаясь к Городу, ты сам, конечно, заметил необыкновенное оживление всей страны и понял, что готовится нечто великое, когда все верные делу должны быть вместе. Сегодня ты — просто мой гость, прошу тебя испробовать эти вина и считать, что ты у себя дома.

Я осведомился, откуда Гликерий узнал мое настоящее имя.

— Как,— возразил юноша,— разве ты не узнал меня? Ведь это же я передал тебе письмо госпожи Гесперии.

Тут я действительно понял, что именно Гликерий был тот таинственный вестник, которого я встретил у ворот моего сада.

— Я не думал,— продолжал Гликерий,— что ты пустишься в путь тотчас, иначе я предложил бы тебе совершить путешествие вместе. На корабле же, узнав, что ты назвал себя вымышленным именем, я полагал, что у тебя есть на то важные поводы, и <не> желал нарушать твоей тайны.

После того разговор перешел на житейские вопросы, и Гесперия очень мило стала расспрашивать меня о моей жене, так как она знала о моей свадьбе. Со смущением давал я ответы, умолчав о трагических событиях последних дней, и поспешил перевести разговор на события в Городе. Я узнал, что Гесперия уже два года как овдовела, что император Феодосий ее, как пособницу врага отечества, хотел лишить наследства, которое ей вернул лишь новый император Евгений, хотя, впрочем, далеко не все, так что

у нее осталась лишь эта вилла на Холме Садов и одна загородная вилла, а также меньше половины когда-то принадлежавших Элиану рабов. Далее я узнал, что мой дядя Тибуртин живет вновь со своей женой, моей теткой Меланией, но совершенно опустился и целые дни проводит за кубком вина, так что его редко видят трезвым и в Курии он почти не появляется. Говорила еще Гесперия о смерти Претекстата, о чем я, разумеется, был уже осведомлен, так как весть о кончине столь значительного человека проникла в отдаленные углы империи, о Флавиане, Симмахе и о многих других лицах, которых я знавал во время моего первого пребывания в Городе.

— Ты увидишь их всех, Юний,— сказала мне Гесперия,— и скоро, быть может, завтра же, потому что я хочу, чтобы ты принял участие в наших самых важных совещаниях. Судьба Рима и империи теперь в наших руках. Император Евгений всегда исполнит то, что мы укажем. Франк Арбогаст верен нам. Мы должны действовать твердо и решительно, потому что в нас последняя надежда империи. Говорю прямо: в последний раз дана богами возможность Римлянам сознать свои гибельные заблуждения и восстановить величие республики. Если у нас недостанет мужества или искусства, боги от нас отступятся, и тогда, быть может, на целое тысячелетие наступит для мира непроглядный мрак.

В этих словах, произнесенных голосом вдохновенным, я все узнавал ту Гесперию, которая чаровала мое юное сердце. Я опять всматривался в ее шею, достойную <амиклейской> Леды, в ее алые уста, в ее глаза, казавшиеся бездонно глубокими, и испытывал это старое волшебство, овладевшее мною вторично. Но я не мог не видеть, что так же жадным взором следил за ней и наш третий собеседник, Гликерий, не спускавший с Гесперии глаз, но говоривший мало и лишь охотно подставлявший свой кубок мальчику-виночерпию.

Когда уже было поздно, Гесперия спросила меня, где я поместился в Городе, и я назвал свою гостиницу.

— Ни одной ночи ты не должен проводить в гостинице,— возразила Гесперия.— Это неприлично для человека твоего положения, которому будут поручены важнейшие дела в республике. Я не подумала, что у тебя нет друзей в Риме. С сегодняшнего же дня ты будешь жить у меня, и завтра все твои вещи будут перенесены в мою виллу.

Я начал было возражать, говоря, что прежде всего не хочу подавать повода к дурным слухам, но Гесперия прервала меня:

— Я — вдова,— сказала она,— и никому не обязана давать отчета в своей жизни. Нет, Юний, это решено. Эту ночь ты проведешь в комнате для гостей, и я извиняюсь за скромное ее убранство. Завтра же тебе приготовят отдельную комнату, где ты будешь себя чувствовать совсем спокойно.

Я видел, что Гесперия рассчитывает на мое долгое пребывание в Городе, и не знал, что возразить.

Между тем Гесперия, как хозяйка, поднялась с места, давая этим знать, что нам пора расходиться.

— Значит, я должен уходить сегодня? — спросил Гликерий, намеренно наивным голосом.

— Как же иначе? — возразила Гесперия холодно, глядя пристально в лицо юноши.

На меня этот маленький диалог произвел впечатление тяжелое, так как я подумал, что, вероятно, бывали дни, когда Гликерий не должен был уходить из дому Гесперии и с наступлением темноты. Но юноша, не возражая, стал прощаться, и мы проводили его до вестибула, так как в саду его дожидались рабы с носилками и факелами. Когда мы остались одни, Гесперия сказала мне:

— Милый Юний! повторяю: ты устал с дороги, и я не хочу тебя сегодня ничем тревожить. Все важные объяснения оставим до другого раза. Теперь прощай, но помни, что моя комната всегда для тебя открыта.

Сказав эти слова, она быстро повернулась и скрылась. Я остался один, не зная, как понять намек Гесперии: ждет ли она, что я последую за ней сейчас же, или то была лишь простая вежливость, я не мог решить. Пока я стоял в колебании, ко мне подошел раб, предлагая мне указать мою комнату. Неуверенным шагом я пошел за ним, но потом решил, что, во всяком случае, благоприятная минута пропущена и что моя попытка последовать за Гесперией была бы только смешной.

В помещении, извиняться за которое можно было только по излишней скромности, я нашел роскошное убранство, пышную постель и даже какую-то недавно выпущенную книжку, которую мог почитать перед сном. С душой смутной, неуверенной, что будет со мной в следующие дни, лег я на это ложе, но скоро усталость освободила меня ото всех забот.

III

Проснувшись утром, я не сразу мог понять, где я нахожусь, ибо все предыдущие дни, когда я совершал свой путь, я был в некоем горячечном бреду, почти не оставлявшем мне времени мыслить. Оглядевши комнату, я, разумеется, сразу все припомнил и невольно предался вновь грустным мыслям, раздумывая о безумии своего поступка. Воспоминания о жене неизбежно <вызывали> тяжелую скорбь, словно громадный камень, сброшенный Сисифом, лежал на моем сердце, но в то же время в душе стоял, как пламенное видение, и образ вновь увиденной мною Гесперии. Пока я так раздумывал, уныло и безнадежно, в комнату мою вошли рабы с предложением своих услуг, помогли мне одеться, причем мне были предложены лучшие одеяния, чем те, какие я когда-либо носил, и известили меня, что госпожа Гесперия уже меня ждет.

Гесперию я застал за завтраком, в легком утреннем платье, казавшуюся в нем еще более молодой, нежели десять лет назад, как если бы предо мной была юная девушка, мечтающая о замужестве, а не опытная женщина, пережившая двух мужей, бессчетный ряд возлюбленных и изведавшая тысячи превратностей судьбы. Меня Гесперия встретила с приветливостью исключительной, как давнего друга, который имеет все права на ее внимание, угощала меня с любезностью испытанной хозяйки и постоянно в разговор вставляла намеки о лучших днях нашего прошлого. Я же, зная коварство этой женщины, постоянно думал, какая новая западня кроется в этой приветливости.

Когда рабы были высланы из комнаты и мы остались вдвоем, с кубками легкого утреннего вина, Гесперия сказала мне:

— Теперь, милый Юний, мы можем говорить откровенно. И так как время не дает медлить, я оставлю в стороне все другое, кроме нашего дела. Ты живешь в уединении и вряд ли знаешь весь его ход. Поэтому я должна тебе объяснить все, хотя бы и вкратце, чтобы ты знал, чего должен держаться.

Я возразил, что, сколько мог, следил за великими событиями в империи. Гесперия же продолжала:

— Пришел великий час осуществления всего, о чем мы мечтали долгие годы. Разными путями мы, верные богам, стремились к этой цели, и, может быть, некоторые пути

были ошибочны. Теперь настало время дать последнюю битву безумству христиан, в течение столетий ведших к погибели Римский народ. Воскресить идеи о целости империи, о ее существовании, о существе духа Рима, о всем будущем всего человечества. Если бы и эту борьбу мы проиграли (чего я не думаю), больше не останется надежд, и над миром, может быть, на целое тысячелетие воцарится ночь. Вот почему мы должны все соединиться, должны напрячь все силы, и победить мы теперь должны.

Дальше Гесперия в быстрых словах изложила мне положение дел в Западной империи.

— Евгений,— говорила она,— ничто. Его поставил Арбогаст, который по своей воле сверг и властителя Валентиниана, так как самому Арбогасту, как франку, нельзя было мечтать о диадеме Римского императора. Ты знаешь, что сказал этот Евгений, когда ему предложили порфиру? Он сказал: «Было бы глупо отказываться от такого подарка Фортуны». Бедняк, в императорской власти он видит лишь любопытное приключение! В конце концов он человек неглупый, что доказывается уже тем, что его считал в числе своих друзей наш Симмах, но он недальновиден, у него нет подлинной силы, нет правильного представления о величии своего звания. При всех других условиях Евгений был бы просто игрушкой в руках Арбогаста, но мы не <зевали>, мы поспешили действовать и ныне можем сказать, что Арбогаст — наш. Флавиан победил его силой своей диалектики и силой своего ума. Евгений — игрушка Арбогаста, а Арбогаст — покорная игрушка в руках Флавиана, которого почитает своим лучшим другом и с которым неразлучен. Итак, пока судьба императора в нашей воле, и как бы ни было мало это «пока», его должно быть достаточно для людей, умеющих пользоваться временем, рассуждать и действовать.

Выслушав внимательно это объяснение, я возразил:

— Однако сила не в одной императорской власти. За эти годы я научился более трезво смотреть на вещи. И если ты оказываешь мне честь, сообщая мне все эти подробности, я спрошу тебя: во-первых, есть ли у вас деньги, ибо незавидна судьба Алкибиада; во-вторых, есть ли у вас войско; в-третьих, расположен ли к вам народ; в-четвертых, что предпринял император Феодосий?

Гесперия беспечно рассмеялась, как если бы мы вели шутливый разговор, и ответила:

— Милый Юний, ты стал слишком рассудительным! Чтобы ответить на твои четыре вопроса, мне пришлось бы говорить весь день, а у нас, как я сказала, нет времени. Но неужели ты думаешь, что мы сами не догадались поставить себе те же вопросы? Верь, что все предусмотрено, насколько человеческий ум способен предусматривать. Все есть, что можно было иметь, а больше да дадут нам бессмертные боги, волю которых мы исполняем!

Такой ответ мало меня удовлетворил, и я стал бы настаивать на своих сомнениях, но Гесперия возразила:

— Ты скоро все узнаешь подробно, потому что сейчас мы поедем к Флавиану на тайное совещание, где ты сам увидишь и этого Евгения, и Арбогаста, и Флавиана, и всех наших...

— Как,— изумленно возразил я,— ты хочешь вести меня к императору?

Гесперия, опять смеясь, пожала плечами.

— Называй его, если хочешь, императором,— ответила она,— хотя мы никогда не унижаем этого титула, применяя его к столь ничтожному существу. Ну да, я хочу вести тебя к императору и весьма рада, что ты прибыл в эти дни, потому что, вероятно, скоро Евгений и Арбогаст уезжают из Города в Медиолан. Но неужели тебя смущает необходимость говорить с ним? Я призвала тебя в Рим не для малых дел, и ты должен привыкнуть к обращению с великими.

Мне стало стыдно, и я поспешил заверить Гесперию, что отнюдь не побоюсь беседы с кем бы то ни было, она же заботливо начала мне растолковывать:

— Запомни, Юний, ты — давний участник нашего дела, я объявлю, что тебе известны все его тайны; что ты лишь медлил выступить, чтобы появиться в самый важный час. Ты знаешь Флавиана, и он тебя помнит, потому что я ему часто напоминала о тебе. Симмаха, к сожалению, сейчас нет в Городе; да и вообще наш бывший друг держит себя двойственно,— как будто он еще не вполне доверяет нашему делу. Но, конечно, он соединится с нами после нашего первого успеха. С Евгением ты можешь говорить совершенно свободно, конечно, соблюдая все внешние знаки почтения: ему, бедняжке, ведь ничего другого и не нужно. Впрочем, не называй его «святостью»: нам это не приличествует. Держись осторожно с Арбогастом,— он силен и опасен, но не будь с ним слишком подобострастным. Из других запомни имя комита Арбитриона,— это

человек дельный и способный: мы готовим его для положения важного.

Гесперия давала мне еще немало других советов, которые я даже тогда не сумел удержать в памяти. Между тем раб уже пришел с извещением, что носилки дожидаются нас. Гесперия, пристально взглянув на клепсидру и узнав, что уже поздний час, заторопилась, приказала мне дожидаться ее, а сама ушла переодеваться. Я остался один в атрии и провел странные минуты, раздумывая над той переменой, какая столь внезапно произошла в моей судьбе. Еще недавно я был скромный житель Васкопиллы, размышлявший о урожае этого года и здоровьи своих детей, а вот сегодня я уже должен идти в императорский совет, в консисторий принцепса, как равноправный член: не пошутили ли надо мной боги, и не вижу ли я все происходящее в странном сновидении? Но понемногу атрий наполнился клиентами. Они с недоумением смотрели на меня, но никто не заговаривал.

Между тем появилась Гесперия в роскошной, убранной золотом цикле. У входа нас ждало двое носилок и громадная толпа клиентов и рабов. Раб-негр стал на колени, чтобы я, ногой опираясь на его плечо, легче мог взобраться в носилки. Затем опустились завесы, и, мерно колыхаясь, я не стал двигаться, но полетел вперед. Рабы стремились полным бегом, впереди бежали другие, крича и разгоняя толпу палками. Время от времени уличная чернь, узнав носилки Гесперии, встречала их приветственными криками. И я, колыхаясь на спинах рабов, чувствовал себя в тот час знатным вельможей, и — в этом я должен покаяться — в то время это чувство меня обольщало, и, забывая, что все это было простой прихотью женщины, я уже сам чувствовал себя чем-то значительным и важным и не без пренебрежения выглядывал сквозь завесы на уличную чернь.

IV

Вирий Никомах Флавиан, назначенный исправлять консульство того года, <жил на via Lata, близ арки Диоклециана>. Когда мы оказались у входа в его дом, Гесперии было достаточно сказать лишь одно слово, чтобы рабы тотчас бросились со всех ног извещать хозяев о посещении и, вернувшись, через минуту пригласили нас, с поклонами, пожаловать в дом. Это дало мне убеждение,

что Гесперия не преувеличивала, говоря мне о своем влиянии.

Дом Флавиана был строго-римской архитектуры и убран весьма просто. Потемневшие стены казались суровыми свидетелями жизни предков, чьи восковые изображения смотрели на нас из армариев, и присутствие божества в этом доме казалось мне тогда несомненным, когда я увидел обширный домашний ларарий, уставленный статуями богов, пред которыми дымился фимиам.

В атрии толпились клиенты, но раб провел нас в более отдаленную часть дома и, возгласив наши имена, отдернул завес в уединенную комнату, где тотчас навстречу нам поднялся из-за стола Флавиан.

Вновь я увидел пред собой этот мужественный образ истинного Римлянина, напоминавшего образ Катона или Агриппы, со взором, подобным орлиному, с резко очертанным изгибом подбородка...

Хозяин почтительно приветствовал Гесперию, а та, указывая ему на меня, напомнила:

— Ты, конечно, узнаешь Децима Юния Норбана, нашего старого друга?

Пристально посмотрев на меня, Флавиан сказал:

— Боги да благословят твое прибытие, Юний Норбан! Римлянам долженствует быть в это время в Городе, и ты, прибыв сюда, поступил так, как того требовало твое славное имя.

Едва, по приглашению хозяина, мы разместились, как раб возвестил о прибытии еще комита Арбитриона.

— Прекрасно! — воскликнула Гесперия.— Мы теперь почти все в сборе. Я хочу, чтобы Юний был посвящен во все наши дела.

— Ты этого хочешь, domina? — переспросил Флавиан.

— Я это уже говорила тебе,— возразила Гесперия,— и настаиваю, что Юний вполне наш... Его я извещала о всем ходе дел. От него у нас не может быть тайн.

Комит Арбитрион, вошедший при этих словах, мне сразу не понравился. Правда, был он человек старый и видный, с лицом хотя и надменным, но благородным, но было что-то в его взгляде, что мне не внушало доверия. Он принадлежал к числу людей, не смотрящих в глаза собеседнику, но упорно отводивших взгляд, отчего их речь кажется угрюмой и сумрачной. Кроме того, лицо его время от времени начинало подергиваться, и это внушало мне какое-то неприятное чувство.

— Ну, что ж нового, Флавиан? — воскликнула Гесперия, когда мы, наконец, все разместились.

— Что может быть нового, domina,— уклончиво возразил Флавиан,— если ты меня видела еще вчера?

— Полно, старик,— с небрежностью, простительной женщине, возразила Гесперия,— не скрытничай. Вчера ты виделся с Арбогастом. Что говорил проклятый франк?

— Ему нечего говорить,— ответил надменно Флавиан, как бы колеблясь, быть ли ему откровенным; потом, решившись, продолжал:— Ему нечего говорить, потому что я приказал перехватить послов, и все новости у меня, а не у него.

— Это дело! — весело воскликнула Гесперия.— Что же сообщили послы?

— Мало хорошего,— угрюмо произнес Флавиан.— Война решена. Император Феодосий, несмотря на смерть Галлы, пожелал отомстить убийство ее брата. Громадные приготовления для похода сделаны. Собраны лучшие войска, которые пройдут через ‹Юлийские› Альпы. Флот готов плыть из ‹Никополиса› к берегам Италии. Нам предстоит борьба трудная и опасная.

Несколько времени мы обсуждали те приготовления, которые делались Восточным императором, и наконец Гесперия воскликнула:

— Но боги за нас!

— Феодосий верит, что его бог — за него,— ответил Флавиан.— Он отправил евнуха Евтропия в Египет, спросить ‹богоспасаемого Иоанна Ликопольского. Христиане верят этому старцу. Говорят, он в какие-то дни открывает окно своей затворнической кельи, построенной собственноручно на вершине высокой горы, и дает предсказания толпе. Рассказывают, будто Евтропий привез предсказание о кровопролитной войне и несомненной победе Феодосия.›

Помолчав, Флавиан добавил:

— В народе даже ходят слухи, что сам Феодосий, переодетый простым колоном, тайно удалился в Иерусалим, чтобы там испросить помощи в борьбе и вопросить тамошних святых людей об исходе войны.

— Ого! — воскликнула Гесперия,— значит, мы сильны, если сам Феодосий принял такие меры!

— Феодосий стар,— вставил свое слово Арбитрион,— не ему начальствовать над этой великой войной, делящей всю империю на две половины. Лучшие полководцы Фео-

досия, которые доставили ему победы над <готами>, давно умерли. Кто у него теперь? Какой-то неведомый Стилихон, ничем не замечательный, да этот Тимасий, бездарность которого засвидетельствована... Пусть идет на нас: мы дадим ему достойный отпор!

Гесперия поспешила присоединиться к этому утверждению комита, но Флавиан, казалось, не разделял ее уверенности, с глубокой раздумчивостью он возразил:

— Я полагаю, что Феодосий поступает хорошо, ища помощи того бога, в которого он верует. В этом мы должны подражать ему. И нам должно больше полагаться на силу богов, чем на остроту мечей. Торжественные молебствия, лектистерний, постоянные принесения жертв — вот на что мы должны всего больше опираться. Что до меня, я намерен очистить себя высшим таинством тавроболии. В Городе же, Риме, я намерен устроить торжественное шествие...

Сколько я мог заметить, Гесперия не без смущения слушала речи Флавиана.

— Милый Флавиан,— возразила она,— ты, конечно, прав. Будем усердно молить богов и приносить жертвы. Но не забудем также собирать новые войска, стягивать те, которые есть, к границам, укреплять города и запасать продовольствие. Боги не разят сами, а лишь помогают мощи легионов. Вспомни, что не боги поразили пунов, но Сципион!

Флавиан внезапно поднялся из-за стола, и его лицо странно преобразилось. Каким-то блуждающим взором обвел он нас, но потом овладел собой и голосом решительным, властным, пронизывающим почти прокричал:

— Римляне! Берегитесь таких мнений! Ради чего мы начинаем эту борьбу? Ради богов бессмертных, почитаемых, которых отвергли безусловно люди нашего времени! Ради славы могучего Юпитера и властной Юноны, ради вечно прелестной Венеры и вечно девственной Дианы! Ради чего я, старик, отказался от спокойной старости и стал в ряды мятежников против закона императора? Я, назначенный консулом на следующий год, за что бросаю на ставку свои фаски и пурпурные креп <иды>? Ради славы бессмертных! Разве земных мы ищем выгод? Разве нас привлекают власть и богатство? Нет, нет, все это каждый из нас имеет в избытке, но только ради истины подымем мы правый меч! За опозоренную веру наших предков, за униженные предания Рима, за отвергаемый дух Рим-

ский — идем мы грудью на победоносного императора Востока! Не нам, не нам, а имени богов будет слава наших побед! Лик Юпитера защитит нас от вражеских мечей лучше брони и шлема. Его молния разметет врагов сильнее, чем ядра наших баллист. Что же такое наши боги, если они бессильны защищать себя самих в этой борьбе, которую мы ведем ради них?

Сознаюсь, что, как ни был я в те годы обольщен своим верованием, я не без некоего ужаса смотрел тогда на Флавиана и слушал эту речь, напомнившую мне скорее те безумные вопли, которые я слушал в юности в лагере поклонников Антихриста. Одно время у меня мелькнула мысль, не повредился ли мощный ум старого понтифика, и казалось мне, что другие слушатели разделяли мои опасения. Ныне, когда все, что должно было совершиться, совершилось, я не без основания думаю, что мои предсказания были справедливыми и что старик утратил ту ясность ума, которая отличала его в прежние годы.

Я не знал, что говорить, Арбитрион смотрел в сторону, но Гесперия поспешила на помощь. В спокойных словах, отдав должное величию мыслей Флавиана, она все же постаралась перевести разговор на вопросы более точные. Флавиан, как бы утомленный своим порывом, снова сел, погрузившись в какую-то задумчивость, и уже нехотя отвечал на вопросы Гесперии. Таким образом разговор велся почти исключительно между Гесперией и Арбитрионом, причем они подробно обсуждали все способы, как сосредоточить наибольшее число легионов на наших восточных границах, как их прикрыть, снабдить всеми средствами, кого избрать вождем и т. д.

Не имея возможности участвовать в этих обсуждениях, я скучал на этом совещании. Когда ж оно уже подходило к концу, Гесперия вновь обратилась к Флавиану со словами:

— Теперь, Флавиан, мы должны найти достойное место, чтобы наш Юний мог приложить там свои силы, жаждущие дела, и свои прекрасные дарования.

Несколько оживившись, Флавиан посмотрел на меня и спросил:

— Что же ты умеешь, юноша?

Я скромно ответил, что не считаю себя ни в чем опытным, но не откажусь и от самой малой должности, если она нужна для успеха общего дела.

— У нас есть свободное место triumviri aedibus reconstituendis,— вставила свои слова Гесперия.

Флавиан медленно перевел на нее глаза и возразил:

— Это — одно из высших мест в городе.

— Что ж,— запальчиво возразила Гесперия,— разве потомок Юния Брута не заслуживает такой должности! Я бы не поколебалась сейчас же назначить его префектом города! Я так хочу, чтобы Юний занял должность triumviri aedibus reconstituendis.

— Хорошо, domina,— произнес Флавиан,— твое желание будет исполнено.

Смущенный и даже устрашенный, я начал было возражать, но Гесперия остановила меня:

— Так надо, Юний! — сказала она.— Мы все должны приносить жертвы. Уступи и ты. С завтрашнего дня ты — триумвир.

Только в этот миг я понял, что таким назначением я уже тесно связан с Городом, что мои мечты о том, чтобы вскоре его покинуть и вернуться к себе, к моей несчастной жене, становились неосуществимыми. Мне стало страшно.

«Бедная, бедная Лидия!» — подумал я со вздохом.

После того Гесперия рассказала еще Флавиану об Арбогасте и императоре, а затем мы попрощались с хозяином, причем Флавиан еще раз сказал мне на прощание:

— Юноша, помни! Боги — всё; мы — ничто. Верь в помощь бессмертных, им служи и на них надейся.

На пороге дома Гесперия сказала мне, что нам пока должно разлучиться:

— У меня есть другие дела. Я надеюсь увидеть этого Арбогаста и от него узнать последние новости.

Тут она наклонилась ко мне и шепнула тихо:

— Потому что если Флавиан перехватывает послов Арбогаста, то Арбогаст тоже перехватывает послов Флавиана.

Потом добавила громко:

— Ты свободен, Юний, до вечера. Может быть, ты хочешь посетить своего дядю? Располагай этими носилками и вообще считай, что в моем доме ты не гость, а хозяин. Вечером мы встретимся за обедом. Теперь прощай.

Ей помогли сесть в носилки. Она сделала мне прощальный знак рукой, и рабы помчали ее прочь. Я же, отпустив свои носилки, предпочел идти пешком.

V

Смутны были мои мысли во время этой моей первой прогулки по Городу. Я чувствовал, как и десять лет назад, что неожиданно какой-то тесный круг сжимается около меня, что я лишен своей воли и принужден подчиняться другой. И опять темное чувство ненависти к Гесперии стало подыматься со дна моей души.

Первое время я брел без цели, предаваясь думам и воспоминаниям, перебирая в уме друзей моей юности, которых мне уже не придется более увидеть, и прежде всего оживился образ милого Ремигия, юноши, окончившего жизнь самоубийством в термах Каракаллы. Потом, приблизившись к форумам; я невольно увлекся пышной и никогда не надоедающей картиной, представившейся мне. Опять я проходил по мрачным площадям, похожим на комнаты дворца, опять любовался многоязычной и многоцветной толпой, теснившейся всюду, опять с благоговением смотрел на древние здания, на колонны и арки побед, на золотой щит Юпитера Капитолийского. После затишья нашей Лакторы мне доставляло странное удовольствие прислушиваться к говору толпы, присматриваться к покупателям, спорящим у лавок менял или золотых дел мастеров, и даже наблюдать, как в стороне, на грубых камнях, оборванные тунеядцы играли в кости или как уличные фокусники обманывали легковерных ротозеев.

Мне казалось, что еще рано идти к дяде, да, по правде сказать, мне доставляло величайшее удовольствие вновь полюбоваться Римом, Городом для всех Римлян, потому что кто хоть однажды увидел его, остается непобедимо зачарованным, и его уж нельзя забыть. Кто хоть однажды увидел его, того всегда влечет к нему, как человека, выросшего на берегу моря,— к морю, как горца — в горы. Я вдыхал теплый воздух Рима, слушал его немолкнущий хриплый рокот, и этот запах, и этот шум мне казались сладостней лучшего благоухания и изысканнейшей музыки...

С каждым шагом с непобедимостью вставало в моей душе прошлое; недавняя беседа в доме Флавиана быстро стерлась в моей памяти, но я вспомнил все, что пережил десять лет назад, и уж мне казалось, что я вновь восемнадцатилетний юноша. Я готов был верить, что сейчас за ново-

ротом встречу моего друга Ремигия, бедного юношу, окончившего жизнь самоубийством в термах Каракаллы, что вдруг навстречу пойдет мне щеголь Юлианий, также уже умерший, что вдруг мне передадут таинственную записку от странной девушки Реи, которую я сам видел распростертую на земле с врезавшимся клинком в окровавленное ее горло... И когда я был предан этим горестным воспоминаниям, внезапно я увидел Рею, торопливой походкой шедшую передо мной, низко наклонив голову; и так было поразительно это видение и так я был полон своих воспоминаний, что, забыв все прошлое, нисколько не удивившись в первую минуту, я ринулся вперед к этой девушке и воскликнул:

— Реа!

Девушка, на миг остановившись, обратила ко мне лицо с недоумевающими глазами, потом еще торопливее поспешила вперед.

Разумеется, я сразу понял все свое безумие, вспомнил, что Реа умерла уже десять лет назад, но сходство было так изумительно, что я некоторое время стоял пораженный, как бы молящий Юпитера. Когда дар соображения вернулся ко мне, я сам сказал себе, что виденная мною девушка не может быть Реей, и не только потому, что той уже нет в живых. Если Гесперия со всеми исхищрениями современных притираний и ароматов и могла сохранить почти тот же облик, что десять лет назад, то доступно ли это было девушке, жизнь которой была полна лишений. А между тем та девушка, которую я видел, казалась нисколько не старше, но даже моложе той Реи, которую я знал в юности. Не могло быть сомнения, что это другая женщина, но странным образом похожая на Рею.

И все же сердце мое сильно билось, и я не мог преодолеть желания погнаться за женщиной. Ускорив шаг, я ее скоро настиг и продолжал идти за ней. Заметив это, она сделала попытку уклониться от преследования, но я был неумолим и все шел по ее следам. Так мы дошли до Тибра, потом девушка решительно вступила на мост ⟨Эмилия⟩, и опять мое сердце затрепетало от поразительного совпадения: моя Реа тоже жила в Транстиберинской части.

Когда опять мы сравнялись на пустынной улице, девушка стала внезапно проявлять явное беспокойство, так как ее, видимо, смущало мое преследование. Она несколько раз переходила на другую сторону улицы, но я

следовал туда за ней. Она остановилась, остановился и я. Она пошла вновь, пошел и я. Тогда, решившись, вероятно, на отчаянное средство, девушка обратилась ко мне и, смотря мне прямо в глаза, сказала:

— Что тебе нужно от меня, domine? Ты ошибся, приняв меня за девушку, ищущую знакомства. Прошу тебя, оставь меня идти своей дорогой. Иначе я буду просить о помощи.

Когда девушка стала передо мной, когда я видел близко ее лицо, сходство ее с Реей выступало еще разительней. И голос ее был похож на глухой голос Реи. Но девушка, по всем признакам, была много моложе, и лицо ее было через то привлекательнее, потому что Рею никогда нельзя было назвать красивой.

— Прости меня, девушка,— сказал я,— и верь, что у меня нет никаких дурных намерений. Я в Городе — приезжий, прибыл сюда лишь вчера. У меня нет обыкновения преследовать прохожих женщин. Но ты столь изумительно напоминаешь мне одну девушку, которую я знал в юности, что я хочу и я должен спросить тебя, не сестра ли ты ей. В таком случае я готов оказать тебе все услуги, какие могу, потому что память той, умершей девушки, свято чту.

Девушка недоверчиво посмотрела на меня и возразила:

— Если ты чужестранец, нехорошо насмехаться над бедной девушкой. Иди своей дорогой и оставь меня. Мне не нужно никаких услуг.

— Клянусь тебе богами! — возразил я,— что я не насмехаюсь. Как это ни удивительно, я говорю истину. Во имя святости Олимпа, скажи мне свое имя!

— Для чего тебе мое имя? — возразила девушка.— Если ты клянешься богами, между нами не может быть ничего общего, потому что я верую во Христа распятого. Прощай, оставь меня.

Она быстро побежала прочь, но я, распаленный и этими словами, потому что Реа тоже была христианка, опять бросился вдогонку, настиг мою незнакомку, загородил ей дорогу и воскликнул страстно:

— Умоляю, заклинаю тебя, не убегай! Ты не знаешь, как для меня важно знать твое имя. Я ничем не обижу тебя, я не скажу ни одного вольного слова, я ни о чем не прошу тебя, я только хочу знать твое имя!

Так неистовы были мои слова, что девушка уже начала смотреть на меня с изумлением, по-видимому, отказав-

шись от своего страха. Должно быть, лицо мое было бледно, и я весь дрожал. После колебания девушка сказала:

— Что тебе в том, что меня зовут Сильвия?

При таком ответе я едва не упал; у меня все закружилось в голове, действительность слилась с мечтой, и я невольно прислонился к стене соседнего дома, чтобы удержаться на ногах. Мне показалось, что я брежу или вижу сон.

— Сильвия,— пробормотал я,— Сильвия... Это не может быть!

— Разве ту звали так же? — спросила меня девушка.

— Почти так,— отвечал я, и потом с новым жаром продолжал: — Сильвия! Мы с тобой люди разной веры, может быть — разных стран. Но все равно, если ты веришь, что есть в мире люди честные, что не все одушевлены непременно дурным,— доверься мне. Я хочу узнать тебя, я хочу быть с тобой знаком. Я — Децим Юний Норбан, племянник сенатора Рима, только что назначенный префектом вигилей. Ты видишь, я не скрываю своего имени, не прячусь, доверься мне. Подумай, что хотя и редко, но бывают в жизни случаи странные, встречи удивительные. Ты веришь в бога: разве бог не может послать тебе навстречу человека, с которым ты должна стать другом? Я вижу в нашей встрече волю божества. Не противься ей.

Понемногу мое поведение успокоило волнение девушки. Ее молодое лицо уже было освещено улыбкой, и странно было ее и сходство с Реей, и странно несходство, так как Реа никогда не улыбалась. Осмелев, Сильвия спросила меня:

— Чего же ты хочешь, Юний? Я ничего не могу тебе дать. Я — бедная девушка, живу здесь со своей матерью. У нас дома убого, и не тебе, префекту, посещать нас. К тому же я — неученая, и тебе не может быть интересно говорить со мной. Теперь ты узнал мое имя, давай разойдемся.

— Нет,— возразил я, чувствуя, что эту битву я выиграл,— мы больше не разойдемся. Если хочешь, я пойду к твоей матери и скажу ей все то же, что говорил тебе. Или поступи, как хочешь, иначе. Но я хочу еще раз тебя видеть, говорить с тобой, я хочу узнать тебя.

— Ты — странный,— сказала девушка и медленно пошла вперед, уже не препятствуя, чтобы я шел с нею рядом.

Не помню, что я говорил во время пути, так как все это были какие-то бессвязные слова; что-то разговаривали о Рее, я что-то говорил о себе, а девушка отвечала мне кратко и часто изумленно посматривала на меня. Так мы дошли до высокой инсулы, высокого дома, помещения, сложенного еще до Диоклециановых времен, и там девушка остановилась.

— Я живу здесь,— сказала она.

— Войти мне к тебе? — спросил я.

Девушка подумала и ответила:

— Нет, этого не надо. Моя мать будет сердиться.

— Где же я увижу тебя? — жадно спросил я, уверенный, что получу отказ на свою просьбу.

Но Сильвия ответила:

— Приходи завтра под Большой Портик, в <пято>м часу, я буду там.

И, проговорив эти слова, быстро, как полевая мышь, скользнула в темную дверь и скрылась.

Постояв минуту у двери, я хорошо заметил дом и пошел прочь. Когда же, вскоре, рассудок опять прояснился во мне, я должен был осыпать себя горькими упреками.

«Юний! Юний! — говорил я себе.— Ты и теперь остаешься прежним безумцем! Не довольно тебе всего того, что ты совершил! Не довольно тебе, что ты вовлечен в сомнительную историю, что ты вновь подпал под власть этой Гесперии, гарпии во образе прекрасной женщины! что ты оторвался от семьи, от несчастной жены, от своих обязанностей и принял зачем-то должность префекта, предложенную тебе от имени сомнительного имп<ератора>, что в случае неуспеха тебе грозят великие беды, колодки мятежника, потеря имущества, а может быть, и казнь! Зачем захотел ты вовлечься еще в какое-то уличное приключение? На что тебе эта неопытная молоденькая девушка, которой, может быть, не более пятнадцати лет? Что ты от нее хочешь? Зачем смущаешь и ее и себя? Разве мало женщин, похожих друг на друга? Это ли причина произносить торжественные клятвы и давать безумные обещания? И что же! Завтра, как школьник, ты побежишь на свидание к Большому Портику, где все будут видеть тебя в обществе бедно одетой девушки,— ты, который завтра же будешь назначен префектом вигилей! Юний! Юний! ты безумствуешь!»

И много других тягостных истин говорил я сам себе. Но потом, вспомнив, что раскаяния бесполезны и что

сделано — сделано, я тряхнул головой, чтобы отогнать черные мысли, и решительным шагом направился через весь Рим, на Вимипал, в дом своего дяди Тибуртина.

VI

Снова забилось мое сердце, когда я подходил к столь известному мне дому на Виминале, где я пережил так много часов и последнего счастия, и краткой скорби. Неподалеку от дома я заметил несколько рабов, которые без дела толпились на улице, и среди них признал хорошо знакомого мне Мильтиада. Я его окликнул, и старик, тотчас узнав меня, подбежал ко мне.

— Ах, господин Юний,— вскричал он,— тебя ли я вижу! Отчаялся я уже еще раз повидать тебя в жизни. Я — стар, а тебе зачем было ехать в наш несчастный Город?

— Почему ты его назвал несчастным? — спросил я. Но, перебив сам себя, продолжал: — Или лучше расскажи мне, как в вашем доме поживают?

— Плохо, очень плохо, господин,— откровенно сознался старик, понижая голос,— illustrissimus почти ни во что не вмешивается... да ты знаешь, конечно, почему и чем он занят целые дни. А domina Мелания и domina Аттузия целые дни проводят с попами или по церквам. Скупы они стали ужасно, мы все голодаем, а все доходы идут в христианские храмы. Даже все клиенты нас бросили. Плохо, господин, очень плохо!

После таких неутешительных известий, я приказал доложить о своем приезде, но Мильтиад объявил мне, что это не нужно, и прямо повел меня к дяде.

Несмотря на дообеденный час, я застал досточтимого сенатора Тибуртина уже за кубком вина, в его любимом таблине. Самый беглый обзор дома показал мне, что обветшание его увеличилось безмерно и что содержится он крайне небрежно; а при первом взгляде на дядю я, с горестью, убедился, что он постарел за эти годы не на десять, а на тридцать лет; передо мною сидел совершенно дряхлый старик, с мутными глазами и трясущимися руками. Дядя не сразу узнал меня; когда же я себя назвал, проявил некоторое удовольствие и тотчас налил мне кубок какого-то вина.

После первых расспросов о моей судьбе, на которые я ответил уклончиво, дядя тотчас заговорил о современном положении дел в Городе.

— Губят империю,— сказал он,— не остается более Римлян. В Сенате и вокруг императора — одни варвары или низкие честолюбцы. И сам этот император (дядя оглядется, не подслушивают ли нас) — просто пройдоха, бывший писец, по соизволению нашего франка, надевший диадему. Я больше в Курию не хожу, не хочу участвовать в позорном деле. Благодарю богов, что мне осталось жить недолго и что я уже не увижу развалины вечного Рима!

— Помилуй, дядя,— возразил я,— как говорить это в дни, когда исполнены лучшие наши надежды! Храмы богов восстанавливаются, жертвы приносятся открыто, на значках легионов вновь изображение Геркулеса! По правде, Рим возрождается, а не гибнет.

— Я стар,— с сердцем сказал мне сенатор,— живу в Городе и лучше тебя вижу, в чем дело. Ведь император-то кто? Христианин! Велика ли честь получить позволение поклоняться богам от их врага, от христианина! Да и позволение-то дано лишь для того, чтобы привлечь людей старой веры в легионы! Погоди, будет одно из двух: или Феодосий разметет легионы этого Евгения, как сор, а самого императора прикажет высечь, как мальчишку, и бросить в тюрьму; или,— если наперекор всем вероятиям, одержит победу Арбогаст,— сразу кончатся все эти вольности. Христиан они затрут, а над Римом воцарятся франки, и тот же Арбогаст станет восьмым римским царем, первым после Тарквиния.

В том же духе дядя говорил еще многое, показывая все же ясность ума, несмотря на жалкое состояние, в какое его повергло давнее пристрастие к богу Бакху. Но когда появилась тетка и Аттузия, дядя сразу замолчал, словно испугался, и уже больше нельзя было добиться от него ни слова. Тетка также сильно постарела, превратилась в сморщенную старуху, на которую теперь не польстился бы никто даже ради денег, а дочь ее, Аттузия, только еще больше высохла и почернела и, в своем черном платье, имела вид монахини.

Тетка встретила меня сурово и почти с первых слов перешла к поучениям:

— Знаю я, зачем ты пожаловал! Спокойно мог бы оставаться в своей Аквитании. Больше пользы честно

обрабатывать свои земли, чем здесь вмешиваться в мятеж против законного государя. Да и в опасное дело ты здесь впутываешься: смотри, не сносить тебе головы.

Я возразил, что приехал по торговым делам, но мне не поверили, и Аттузия добавила:

— Ты воображаешь, что ваши сильны? Каждый мальчишка всякими насилиями удерживает власть до поры, до времени. Хотят восстановить времена неистовств Диоклециана и вновь устроить гонение на христиан. Но преклонится Рим пред истинной верой. Вот, месяца полтора назад, здесь, в Городе, был проездом святой человек, Павлин. Посмотрел бы ты, как все улицы были запружены народом, чтобы повидать его! Стар и млад теснились вокруг него. А когда вашего нового консула проносили по улицам, на них так <было> пусто, словно мир вымер. Погоди немного: благочестивый император Феодосий покажет вам скоро, что значит гнать христиан. Восплачут все тогда о своих головах, да поздно будет.

— Помилуй, Аттузия,— возразил я,— я вовсе не собираюсь гнать христиан. Но, с другой стороны, помню, что ваша вера повелевает за зло платить добром. Как же ты грозишь нам местью благочестивого Феодосия?

Тетка пришла в ярость и сказала:

— Ты, Юний, возмужал, но не поумнел. Опять заводишь свои диалектические споры.

Аттузия же, намекнув, что реторике я не доучился (словно сама она ее изучила!), важно стала объяснять мне, что между праведным гневом государя и местью — большая разница.

Такой скучный разговор продолжался еще некоторое время, после чего я начал прощаться. Тетка предложила было мне остаться обедать, но я, не ожидая от обеда в доме дяди ничего хорошего ни для своей души, ни для своего желудка, решительно отказался.

— Ты все-таки приходи к нам, Юний,— сказала тетка.— Мы рады видеть у себя родственника.

Я же, хотя в ответ на это приглашение и пообещал приходить, тут же мысленно дал себе клятву, что больше никогда не переступлю порога дома Тибуртина, где тяжело мне было видеть унижение моего дяди сенатора, а также торжество двух женщин-лицемерок.

От дяди я пошел домой, то есть на Холм Садов, в дом Гесперии, где меня уже ожидала предупредительно устроенная для меня ванна. После бани я отдыхал в своей ком-

нате, так как чувствовал большое утомление от непрерывно для меня сменявшихся событий в тот день, опять предавшись невеселым размышлениям. Но испытания того первого дня, проведенного мной в Городе, не были еще закончены.

Гесперия, очевидно, порешила, что ее влияние на меня недостаточно, и захотела укрепить свои сети новыми соблазнами. Поэтому к обеду никто не был приглашен, и мы оказались с ней наедине. Пока рабы подавали смены роскошных блюд, слишком изобильных для двух застольников, Гесперия вела со мной легкую беседу, то остроумно рассказывала мне о разных,— впрочем, совершенно незначительных,— событиях своей жизни, то опять начинала посвящать меня в дела империи, то вдохновенным голосом говорила о нашем великом деле и о истинной религии предков.

Когда же были поданы плоды и вновь наполнены вином наши кубки и рабы удалились, Гесперия переменила голос и заговорила со мной по-другому.

— Вот мы одни, милый Юний,— сказала она, — и можем, наконец, на свободе поговорить о самих себе. Я еще не сказала тебе, как я тебе признательна за то, что по моему первому зову ты сюда прибыл. Это было большое испытание, но я верила в тебя и знала, что все печальные события прошлого не могли изменить твоих чувств, как они не изменили моих.

Как всегда, в присутствии Гесперии душа моя двоилась. С одной стороны, я угадывал коварство и расчет в ее словах, ясно видел, что она говорит с определенной целью. С другой стороны, вкрадчивый голос Гесперии, ласковость ее слов и нежный взгляд ее глаз действовали на меня непобедимо, как магическая формула на заклинаемого Демона. Стараясь сохранить самообладание, я ответил:

— Domina, я помню, что дал тебе страшную клятву. Не столько ради моих чувств к тебе, сколько из благоговения к богам, я должен был ее исполнить.

— Милый Юний,— возразила Гесперия,— мы одни, и больше не надо притворствовать. Я хочу говорить с тобой вполне откровенно, так, как мне говорить долженствовало десять лет назад. Я ничего с тебя не требую, я хочу, чтобы ты во всем поступал по своей воле. Скажи, что ты больше не любишь меня, и тогда я первая посоветую тебе немедленно ехать домой.

В ту минуту я не знал, что ответить. Одну минуту мне хотелось сказать: «Да, я больше не люблю тебя»,— но я не уверен был, что после таких слов у меня станет сил уехать, и я не знал, будет ли такое признание правдой. Поэтому, колеблясь, я сказал:

— Гесперия! по совести, я не знаю, люблю ли я тебя теперь!

Глаза Гесперии стали печальными, как у маленькой девочки, которую незаслуженно обидели, и она, медленно подвинувшись ко мне, произнесла раздельно и тихо:

— Так, Юний! Ты этого не знаешь... А я знаю, что я тебя не переставала любить никогда, все эти долгие годы, когда не смела даже написать к тебе и думала, что ты меня презираешь! Сколько раз, в пышных Треверах, где протекали мои самые несчастные дни, ночью, одинокая на своем ложе, я вспоминала тебя и плакала, плакала, представляя твое лицо, подобное лику юного Меркурия!

Гесперия вдруг приподнялась на ложе и обнажила до плеча свою белую, словно из мрамора изваянную руку.

— Сколько раз, плача, я целовала этот шрам, оставленный на моей руке от твоего кинжала! Юний! Юний! я любила этот знак, как знак твоей любви ко мне! Целуя его, я думала, что целую твои алые губы! Ах, никто, никто в мире не получал столько поцелуев, сколько эта роковая черта на руке женщины!

Уже содрогаясь от близости Гесперии, я пробормотал, отодвигаясь:

— Гесперия, чего ты хочешь от меня?

— Чего я хочу? — воскликнула Гесперия и, вдруг порывисто вскочив, бросилась на пол у моих ног.

— Чего я хочу? Хочу, чтобы ты любил меня, любил опять все той <же> своей первой любовью, не знающей меры и не знающей предела. Чтобы ты снова ради меня был готов идти на смерть! А если этой любви в тебе нет, я хочу, чтобы ты убил меня. Возьми вновь кинжал, теперь твоя рука не дрогнет! Рази меня, я буду счастлива, принимая этот удар. Юний! Юний! убей меня!

И она ползала у моих ног с исказившимся, но все же прекрасным лицом, цепляясь за мои колени, простирая ко мне руки, раскрывая свою грудь, как бы для того, чтобы мне удобнее было поразить ее. Поистине, если эта

женщина притворялась, она была самым великим мимом в мире! А может быть, она и не притворялась, но правда и ложь уже так смешались в ее душе, что она сама не умела различать их.

И опять, под страстными выкриками Гесперии, под ее горячими руками, обнимавшими меня, я утратил всякую способность мыслить. Сам плача, я поднял женщину, мы сидели с ней рядом, и я, задыхаясь, рассказывал ей, что пережил в годы разлуки. Речь моя была бессвязна, как бессвязны были и ответы Гесперии, но я рассказал ей про отчаянье первых лет, про свои бессонные ночи, про свои слезы, потом про свою женитьбу и все, все, вплоть до смерти своих детей... И, среди этих трагических рассказов, мы обнимались и целовались, как безумные. Я прижал губы Гесперии к своим, когда говорил ей о смерти отца; она поцелуем прервала мои признания о скорби моей жены; и я был не то в ужасе, не то счастлив без конца... И, когда нужно было плакать, мы смеялись и пили вино, и вновь обнимали друг друга.

Так прошло, должно быть, много времени, когда Гесперия вдруг сказала, что уже поздно и что нам пора расстаться. Сразу она приняла строгий вид, оправила платье и освободилась из моих объятий. Я не посмел возразить, хотя в моих ушах еще звучали слова, сказанные ею мне накануне: «Помни, что моя дверь... ⟨всегда для тебя открыта⟩». В последний раз Гесперия приблизила свои губы к моим, но уже в спокойном дружеском поцелуе, и потом звонком вызвала рабов...

Словно оборвалось представление какой-то трагедии. Мы снова стали далеки друг от друга, и Гесперия рассудительно объясняла мне, в чем будут состоять мои обязанности триумвира. Потом мы попрощались и снова разошлись, каждый в свою комнату.

VII

Утром на следующий день мне уже принесли диплому на мое новое звание триумвира, подписанную самим императором. По совету Гесперии, я щедро одарил вольноотпущенников, явившихся ко мне с этим поручением, а затем отправился во дворец, чтобы лично отблагодарить императора. Гесперия припасла для меня богато вышитую тогу, приличествующую моему званию, в которой я чув-

ствовал себя крайне неудобно, и приказала мне подать роскошные носилки.

До того времени мне не случалось бывать на Палатине, где тогда временно жил император Евгений. Лишенный руководства, я чувствовал себя очень неловко, так как не знал, как должно себя вести. Впрочем, мой опыт службы при дворе Максима давал мне некоторые необходимые указания.

У входа в <вестибуле> дворца меня встретил <номенклатор>, которому я показал мою диплому и объяснил цель своего прибытия. <Номенклатор> записал мое имя в пугиллар и передал меня одному из стражей, который меня провел через ряд покоев в залу ожидания. Двор был столь велик, что один я заблудился бы в его переходах, как в диком лесу. Здесь не было безвкусной роскоши, как в Медиоланском дворце, не было позолоты и разноцветных мраморов; напротив, все обличало размеренность истинных художественных древностей — и соотношение стен, и строение линии колонн, и соответственное убранство покоев. Но на всем лежала печать медленного разрушения; кое-где украшения потолка уже осыпались и не были восстановлены, кое-где комнаты стояли пустые, так как их убранство было вывезено, виднелись пустые клетки, где когда-то пели птицы, и пустые ниши, где прежде стояли статуи.

В помещении ожидало большое множество народа, и я себе припомнил, как, в свое время, я присутствовал в Медиоланском дворце на приеме Сенаторского посольства императором Грацианом. На меня никто не обращал внимания, и я мог спокойно, устроившись в уголке, наблюдать бывшую предо мной картину. Среди разволоченных вельмож, собравшихся здесь, меня поразило громадное количество лиц не римских: здесь было много франков с суровым выражением, немало германцев, были какие-то африканцы с черными лицами и британцы с длинными усами. Весь этот люд тихо переговаривался, причем до меня долетали порой искаженные слова людей, плохо владевших римской речью, и вся зала гудела, как улей.

Ждать мне пришлось долго, потому что номенклатор поочередно называл ряд других имен, среди которых большинство также не были латинские.

Наконец, было произнесено и мое имя, с отчетливым добавлением титула:

— Decimus Iunius Norbanus, triumvir aedibus reconstituendis!

Сознаюсь, что сердце во мне забилось сильнее обыкновенного, когда под сотнями взоров, обратившихся ко мне, я перешел через обширную залу и по указанию <приставленного здесь раба> вступил в соседнюю комнату.

Согласно обряду, войдя, я пал ниц. Поднявшись, я мог рассмотреть маленького человечка с невыразительным лицом, с тупыми глазами и большим подбородком, одетого, впрочем, весьма просто,— то был император Евгений. Он сидел за маленьким столом, заваленным свитками. Около стоял могучий великан с чертами лица франка, и я понял, что это — Арбогаст. Несколько франкских воинов с копьями были тут же, готовых охранять жизнь императора от всяких покушений.

— Ты Децим Юний Норбан? — спросил меня Арбогаст, рассматривая меня.

— Я Децим Юний Норбан,— ответил я,— пришел принести благодарность его святости за дарованную мне милость.

— У тебя хорошее имя,— сказал тогда император скрипучим голосом,— и за тебя ручались хорошие люди. Служи же достойно. Не чини несправедливостей по отношению к тем, кто владеет храмами по праву, но закон исполняй неукоснительно. Остерегайся мздоимства. Мы нещадно караем всякое взяточничество, и, если ты провинишься в том, что за деньги потворствуешь кому-либо, ничто не спасет тебя от нашего праведного гнева.

Император закончил, а я, не зная, что должен дальше делать, снова повторил свою благодарность и дал клятву служить императору исправно. Маленький человечек за столом милостиво наклонил голову, и я вышел. Опять на меня устремились сотни глаз, но я поспешно направился к выходу из зала, где меня тотчас перехватили стоявшие там воины. Разумеется, мне пришлось раздать немало серебряных монет, а затем, получив от <распорядителя> указание, что в назначенный мне день я должен в храме <таком-то> принести присягу на верность, я мог выбраться на свободу, к своим носилкам. Через несколько минут я уже был дома, и все свершившееся казалось мне таким ничтожным, что я никак не мог понять, как может оно оказать влияние на всю мою жизнь.

VIII

Вернувшись домой, переменив свое торжественное одеяние на более простое и немного отдохнув, я отправился пешком под Большой Портик.

Уже во время моего первого пребывания в Городе я любил гулять по тем роскошным портикам, которые бесконечной полосой опоясывают чуть ли не всю область бывшего Мартового поля. И снова прежнее восхищение охватило меня, когда я вступил в эти прохладные приюты, где длинной чередой тянулись колонны из драгоценного мрамора, с золочеными капителями, где пол был убран яшмой и гранитом, где в нишах собран был целый мир изумительных статуй и где площадки, время от времени, утешали зеленью буксов, мирт, лавров и платанов. Как всегда, разнообразная толпа наполняла портики, так как сюда шли и богачи провести в прогулке часы перед баней, и знатные женщины, чтобы показать свои наряды, и знаменитые меретрики — повидаться со своими поклонниками, и бедняки, которым некуда было деваться и которым было приятнее в мраморных общественных палатах, чем в своем грязном углу. Одни шли сопровождаемые толпой рабов, другие — стесненные кругом друзей и поклонников, третьи гуляли одиноко, четвертые протягивали руку, просили подаяния,— и все вокруг было наполнено жужжанием речей и по-латыни, и по-гречески, и на многих других языках империи.

Так как было еще рано, я выбрал окольный путь через Портик Септа, чтобы подойти к Большому Портику со стороны Мавсолея. Однако в Септе я невольно замедлил, вновь увлеченный выставленными там диковинками Востока, изделиями художеств Индии и стран Серов, чучелами редких зверей и рыб, образцами разного оружия далеких стран. И когда я стоял там, рассматривая эти редкости, мое внимание привлекла женщина, одетая пышно, но слишком вызывающе, вся увешанная драгоценностями, с пальцами, сплошь залитыми перстнями, в которой нетрудно было угадать знатную меретрику. Толпа юношей, одетых тоже щегольски, окружала ее, но лицо женщины мне показалось знакомым, и, всматриваясь в нее, я уверился, что она тоже с любопытством меня разглядывает.

Через минуту из толпы ее поклонников отделился один, подошел ко мне и вежливо спросил, не я ли Юний Норбан,

племянник сенатора Тибуртина; когда же я ответил утвердительно, юноша объявил мне, что госпожа Мирра надеется, что я не забыл ее, и хочет со мной говорить. Хотя я не знал никакой Мирры, однако я счел своей обязанностью подойти к женщине и, приблизившись, вдруг ее узнал. То была ⟨Лета⟩, сестра Реи.

— Здравствуй, Юний,— сказала мне она,— мы давно не видались. Я даже не знала, жив ли ты. Давно ли ты в Городе?

Объяснив в нескольких словах свое присутствие в Риме, я, в свою очередь, спросил Мирру, давно ли она вернулась в Город, так как при нашей последней встрече она собиралась уехать на Восток.

Мирра весело засмеялась, показывая ряд очаровательных зубов, тщательно отполированных, и, прищуривая свои подведенные глаза, возразила:

— Я уже успела забыть, что была в Вифинии. Не мое место в этой ссылке, хотя там очень красивые мужчины и прекрасное вино! Нет, я уже давно опять в Городе и весьма рада видеть тебя здесь опять. Буду также рада, если ты придешь ко мне обедать. Мой дворец помещается на ⟨Виминале⟩. Спроси любого мальчишку, где дом Мирры, тебе укажут.

Я поклонился в знак благодарности на приглашение, а Мирра, вдруг вспомнив, добавила с лукавой гордостью:

— Ты помнишь, я ведь и тогда говорила, что мой дом будет на ⟨Виминале⟩.

По правде сказать, она говорила мне, что живет в жалком лупанаре, где, нынешняя залитая золотом, Мирра должна была продавать свое прекрасное тело за несколько сестерций. Я это также припомнил, да припомнил еще и тень моего бедного Ремигия, погибшего из-за любви к этой женщине, а также образ ее погибшей сестры Реи, и мне захотелось уколоть надменную гетеру. Я ей сказал:

— Да, помню! Ты говорила это мне вместе с моим другом Ремигием. Кстати, вспоминаешь ли ты когда этого бедного юношу, как и свою бедную сестру, Рею?

Мирра нахмурила свои слишком черные брови и досадливо заметила:

— Я не люблю вспоминать прошлого; с меня достаточно настоящего и будущего. Vale, милый Юний.

Я понял, что мне должно удалиться, поклонился вновь и хотел уходить, но Мирра, раскаявшись, вероятно, в своей невежливости, быстро добавила:

— Но я жду тебя к себе завтра на обед, приходи непременно.

Я же, продолжая свой путь, раздумывал печально: «Вот я вновь обрел и Гесперию, и Рею, и <Лету>, и словно ничего не изменилось в Городе за эти десять лет! только я сам стал иным, и нет во мне прежней бодрости и прежней силы!»

Под Большим Портиком я нашел толпу еще большую, чем в других, особенно по мере того, как я подвигался вперед по направлению <к> театру Помпея. Люди шли в непрерывном движении, один за другим, так что порой лишь новый голос и новые отрывки речей долетали до слуха, и новые фигуры поражали зрение, тогда как за крайними портиками, под знойным солнцем, дожидались, расположившись на камнях, рабы с носилками. Нелегко было найти в этом месте ту, которую я искал, но, наконец, я заметил Сильвию у небольшого пруда, устроенного на одной площадке. Перегнувшись через мраморную стену водоема, девочка внимательно рассматривала спокойную глубь воды. Подойдя, я ее окликнул, и она удивленно подняла голову.

— Я не думала, что ты придешь,— сказала она.

— Почему же мне было не прийти, Сильвия?

— Ах, очень многие говорили мне то же,— как-то печально ответила девочка,— уверяли, что их встреча со мной чудо, а потом забывали обо всем. А если кто и приходил (добавила она еще печальнее), то вел себя со мной так, что я сама должна была от него скрываться.

— От меня тебе не придется скрываться,— возразил я, вглядываясь в ее лицо и вновь дивясь ее странному сходству с Реей.

Подобно многим другим, мы начали нашу прогулку под прохладными сводами Портика. Мы говорили о разных пустяках, я расспрашивал Сильвию о ее круге, но она, отвечая на мои вопросы, упорно уклонялась от решительных ответов. Я узнал только, что она живет в бедности, что ее мать работает изделия из волос, которые продает в лавки, а ее отец уехал в Африку, где надеялся нажить деньги, но уже давно не дает вестей о себе, так что неизвестно, жив ли он еще. Понемногу, однако, девочка стала доверчивее, и наш разговор стал содержательнее. Наконец, я заговорил о том, что вечно привлекательно для молодых душ и что никогда не может быть исчерпано в разговоре,— о власти чувства, которое, по понятию

наших поэтов, подчинено светлой богине, родившейся из морской пены.

— Ты говоришь,— сказал я,— что многие искали знакомства с тобой? Неужели среди них никто тебя не привлекал? Неужели ты никого не любила?

Прошло несколько мгновений молчания, прежде чем девочка мне ответила. Не глядя на меня, она сказала:

— Я не так понимаю любовь, как вы все. Вы хотите от любви того, что мне не нужно. А если я кого и любила, то его больше нет в живых. И больше я любить никого не буду.

— Милая девочка! — воскликнул я,— ты так молода, что тебе еще рано произносить такие клятвы. Вся твоя жизнь еще впереди, как впереди и твоя любовь. А что было в прошлом, это — детские мечты.

Сильвия, как все очень молодые души, никак не хотела признать себя столь юной и начала решительно возражать мне, доказывая, что ей уже восемнадцать лет и что она пережила уже многое.

Мы еще говорили, но наш разговор быстро обрывался. Потом Сильвия сказала мне, что ей пора домой. Напрасно я ее уговаривал, напрасно просил возвратиться, и казалось, что мы больше не встретимся никогда. И мне не было жалко.

Но когда мы уже шли по направлению к театру Помпея, чтобы выйти на ‹дорогу к мосту Агриппы›, внезапно нам навстречу попалась Мирра с толпой своих поклонников. Мы встретились лицом к лицу, и я счел долгом вновь ее приветствовать. Я видел, как глаза Мирры изумленно устремились на Сильвию, и ясно было, что сестру Реи также поразило удивительное сходство. Но все это продолжалось лишь одно мгновение, потому что тотчас мы разошлись.

Сильвия спросила меня, кто была женщина, которой я поклонился.

— Это — твоя сестра,— ответил я невольно.

Потом, опомнившись, я заговорил о Рее. Я рассказал девочке все, что было можно, о Рее, о моей чудесной встрече с ней, о моей странной любви к ней, о наших новых встречах в Медиолане, а потом — в горах, лагере мытарств, о нашей жизни вообще и, наконец, о смерти бывшей пророчицы.

— Теперь я понимаю, что любил ее! — воскликнул я.— Теперь, потому что в то время не понимал этого. Воспоми-

нание об ней живо в моей душе, тоска по ней не оставляет меня. Вот почему я был так поражен, когда встретил тебя — ее живое подобие. Вот почему я так добивался знакомства с тобой. Понимаешь теперь, Сильвия, меня?

Неожиданно Сильвия заговорила со мной другим голосом.

— Да, я тебя понимаю,— сказала она,— я все это пережила сама. Я тоже встретила одного юношу, который также напоминал лицом того, кого я любила. Ах, как я была поражена! Мне казалось, что тот воскрес... Я добилась знакомства с этим... <Его зовут Лоллианом.> Но у него оказалось только то же лицо. Все остальное было такое иное. Но что ж лицо! Не могу же я только смотреть на него. Тот же голос, но душа другая! Ах, как это мучительно! И с тобой будет то же! Ты тоже будешь только мучиться, если будешь со мной. У меня сходно с той, с твоей Реей, только лицо, я вся другая. Ты еще не знаешь: я очень дурная. Итак, оставь меня, мы сейчас расстанемся и больше никогда не встретимся.

Не знаю почему, но именно эти слова зажгли в моей душе с новой силой все желание узнать ближе Сильвию. Мне опять показалось, что не случайно она послана мне на моем пути. Я вновь нашел в себе все силы убеждения и сразу почувствовал, что мой голос звучит сильно и убедительно. Я стал говорить, что хочу во что бы то ни стало, хочу быть с Сильвией, умолял ее не отказывать мне, клялся, что не обижу ее ничем.

Вздохнув, Сильвия сказала мне:

— Да ведь и я также просила того, другого, быть со мной, да прошу его об этом и теперь... Я знаю, что и ты должен просить об этом же меня.

Мы расстались, условившись вскоре встретиться вновь. Вечер того дня я провел в обществе Гесперии и нескольких ее друзей, среди которых был и Гликерий, причем мы обсуждали важные дела империи.

IX

С утра следующего дня я должен был начать исполнять свои обязанности, как триумвир по восстановлению храмов. Моими коллегами были назначенные раньше: сенатор Авл Альбин Камений, которого предложил Флавиан, и полуримлянин, полугерманец Сегест Висургий, ставленник

Арбогаста, к которым, по совету Гесперии, я и отправился для знакомства.

Камений был уже не молод, хотя до сих пор ничем не сумел выделиться, так как постоянно был в числе того меньшинства сенаторов, которое не одобряло мер, принимаемых последним императором. Он жил уединенно, в простом двухэтажном, истинно римском доме, где не было затей новейшего времени, но были соблюдены все обычаи доброй Диоклециановой старины. Меня провели в таблин к хозяину, и я увидел благообразного старика, несколько похожего на изображение императора Гальбы.

После первых приветствий ‹Камений› сказал мне:

— Наше дело правое. Христиане, пользуясь потворством императоров, захватили здания и земли, которые с незапамятных времен составляли собственность священных храмов. Имущество богов разграблено, святилища их осквернены знаком креста и разными богохульными изображениями. Мы не хотим ничего чужого, пусть христиане владеют тем, что они сами создали, пусть в их обладании остаются храмы, которые они сами построили, и вещи, которые они сами приобрели. Но украденное у нас должно быть возвращено. Если нечестно красть для собственных нужд, насколько постыднее воровать, прикрываясь именем бога!

Я тогда вполне согласился с доводом сенатора и сказал ему, что буду действовать всецело в его духе. Прощаясь со мной, он заметил:

— Ты — племянник Авла Бебия; я хорошо знал старика в прежние годы. Он был истинный Римлянин и всегда твердо отстаивал правду. В этом отношении следуй по его стопам!

Совершенно иным человеком оказался Сегест. Это был грубый воин, говоривший по-латыни с невероятным выговором и, по-видимому, необыкновенно гордый полученным им поручением. Он жил в караульне местной когорты вигилей, так как своего дома у него не было. Комната его была по возможности обставлена роскошно, то есть в ней были наставлены без порядка разные статуи, вазы и дорогие ложа. Несмотря на утренний час, я застал Сегеста за кубком вина, и он, кажется, даже не понял, зачем я к нему пожаловал.

Когда вполне выяснилось, кто я, Сегест заговорил со мной покровительственно, как старший с подчиненным.

— Мы свое дело сделаем,— сказал он,— и я надеюсь,

что ты нам тоже поможешь. Не давать пощады этим смиренникам и лицемерам! Мне Арбогаст дал в помощь всю когорту, стоящую в этом доме. Мы по кускам разнесем этих христианских агнцев и вздернем на крест их служителей. Надо показать римским бездельникам (так Сегест называл граждан Города!), что мы не собираемся шутить.

Сегест непременно хотел, чтобы я выпил у него кубок вина, и лишь с большим трудом я освободился от этого воина.

Возвратившись в виллу на Холм Садов, я застал в доме целый переполох. Оказалось, что император перед своим отъездом в Медиолан, который был назначен на следующий день, решил сделать великую честь Гесперии и объявил, что пожалует к ней обедать. Рабы бегали взад и вперед, приводя в порядок комнаты; другие были разосланы по всему Городу с приглашениями; третьи помогали поварам на кухне. Сама Гесперия казалась крайне озабоченной, и от нее я мог добиться лишь совета одеться как можно более торжественно для встречи императора.

Видя, что дома мне не найти покоя, я отправился в термы Диоклециана, где и провел с приятностью время до вечера среди мраморных палат, в беспрерывно сменявшейся толпе посетителей.

Вторично вернувшись домой, я нашел дом внезапно преображенным. Вилла Гесперии всегда изумляла изяществом и богатством своего убранства, но теперь она как бы преобразилась. Тысячи цветов развеивали свои благоухания. Редкие треножники и лампы, великолепнейшие ковры и занавески, множество различных роскошных предметов было принесено откуда-то из кладовых. Мне показалось, что роскошь виллы в этот день многим превосходила роскошь Палатинского дворца.

Гесперия показала мне список приглашенных. С императором должны были прибыть Арбогаст, комит Арбитрион, Левкадий, рационалий Африки, юный Симмах, сын знаменитого оратора, и еще несколько знатных лиц. Гесперия со своей стороны позвала Флавиана, моих коллег Камения и Сегеста, юношу Гликерия (присутствие которого мне показалось лишним), Маркиана, нескольких сенаторов, друзей ее покойного мужа. Стол в триклинии был приготовлен для восемнадцати человек, так как император выразил желание обедать в самом тесном кругу.

Первыми прибыли, конечно, гости Гесперии, которые, согласно с правилом, не должны были являться позже

императора. Все чувствовали себя как-то натянуто, и даже Флавиан, как казалось, был несколько смущен. Гликерий, который вообще держал себя со мной очень развязно, сказал мне, указывая на него:

— Наш старик-то струсил! Одно дело говорить, что император — кукла в его руках, другое,— что эта самая кукла в любое время может отправить его на отдаленный остров за..., а то и лишить головы.

В этих словах мне послышалось что-то похожее на голос покойного Юлиания, и я опять подумал, что все прошлое оживает вокруг меня! Неужели так мала человеческая жизнь, что в ней одному человеку дважды приходится переживать одно и то же!

Шум у двери скоро известил нас о прибытии гостей. Сначала появились сенаторы, которых Гесперия благодарила за честь, оказанную ей посещением. Потом нарочно для того назначенный раб со всех ног прибежал сказать, что показались носилки императора и его приближенных. Гесперия и Флавиан столь же стремительно поспешили на порог, чтобы приветствовать его святость. Мы же почтительно столпились в атрии, ожидая появления высоких гостей.

Послышалось бряцание копий: то стража размещалась у входа. Потом неспешной походкой, немного прихрамывая (так как он страдал подагрой), вошел к нам, впереди всех других, одетый в простую белую тогу, тот самый бодрый и чистенький стареющий человек, которого мы признавали за Августа. Громкими криками приветствовали его появление, и Евгений, уже привыкший к преклонению, небрежно отвечал нам на эту овацию. Шедший рядом с ним Арбогаст орлиным взглядом осматривал все углы комнаты, словно опасаясь, что где-нибудь спрятан злоумышленник.

Гесперия, одетая в златотканое платье, с волосами, тоже сплошь унизанными золотом, и в золотошитых сандалиях, казалась сверкающим видением, так как огни тысячи луцерн отражались в ее блестящих украшениях. Она проводила императора и его спутников в большую экседру, где были приготовлены прохлаждающие напитки и поставлено единственное ложе — для Августа. Но Евгений, заметив это, сказал добродушно:

— Пусть принесут ложа, и все садятся. В этом доме я — как друг, и хочу, чтобы все себя держали просто.

Потом лукаво добавил:

— Ведь я не забыл, что не так давно еще был сам простым писцом.

Рабы опрометью бросились исполнять повеление, и скоро все присутствующие расселись в кружок, и только один Арбогаст остался стоять во весь свой исполинский рост.

— Мы рады быть у тебя,— начал Евгений, обращаясь к Гесперии,— так как много знаем о твоем усердии и преданности нам...

Но после этих слов Евгений тотчас же оставил торжественные обороты речи и продолжал запросто:

— Ведь мы с тобой обменивались письмами, когда я был квестором, и ты тогда писала от лица императора Максима. Помнишь это?

Надо сказать, что напоминание было весьма неудачно, потому что всем хотелось забыть оба события: и то, что Август, которого мы почитали, занимал ему недостойную, скромную должность, и то, что наша Гесперия служила тирану Галлий. Однако всем приходилось делать вид, что они крайне довольны речью императора, и Гесперия ответила:

— Могу ли я забыть, твоя святость, что имела счастие вступать с тобой в такие отношения?

— Э, нет! — остановил резко Евгений,— мы здесь все свои, так что не называй меня святостью: мне это имя не подходит.

И так, в течение всего времени, что делались последние приготовления к обеду и что длилась наша беседа, или, вернее, пока присутствующие почтительно отвечали на вопросы императора, он пытался отклониться от всякого почитания и заставлял нас держать себя с ним запросто, что, впрочем, плохо удавалось.

Вскоре тягостное положение было прекращено тем, что все перешли в большой триклиний и заняли места за столом, причем бросалось в глаза, что среди семнадцати мужчин была лишь одна женщина, сама хозяйка дома. Император, разумеется, был помещен на самом почетном месте, где по ⟨обеим⟩ его сторонам сели Гесперия и Арбогаст. Поблизости разместились другие знатные лица, но и мне на этот раз было указано место довольно почетное, где рядом со мной оказался Гликерий.

Начался довольно скучный обряд торжественного обеда, который в свое время занимал меня, когда я был еще неопытным юношей, но который теперь казался мне

прямо нестерпимым. Подавались разные исхищренные блюда, на сцене сменялись флейтистки и мимы, но долгое время беседа не налаживалась: гости не смели говорить откровенно в присутствии императора, а Евгений все старался держать себя, как простой гражданин.

Понятно, однако, вино сделало свое дело, так как всем приходилось пить немало, и с самого начала, по древнему обычаю, было выпито за здоровье императора столько кубков, сколько содержится букв в имени Eugenius. Хотя я и старался соблюдать всю возможную воздержность, я сам чувствовал, что в голове моей шумит, и невольно значительно повышал голос, как и другие собеседники.

Естественно, разговор перешел на предстоящую войну, и все наперерыв высказывали полную уверенность, что император одержит легкую победу над неосторожным Феодосием.

— Из кого это он наберет себе войска! — спрашивал комит Арбитрион.— Не из грекулов же! А весь этот сброд гóтов, персов, арабов, сарматов, которые не понимают друг друга и плохо разбираются в приказах своих вождей, разбежится при первом натиске наших испытанных легионов!

— Ты забываешь, однако,— сурово возразил Арбогаст,— что этот самый сброд разбил войска Максима и...

— Не разбил, дукс! — ответил Арбитрион,— воины Максима сами его покинули. Такую победу одержать легко! Мы же знаем верных наших воинов: они умрут за своего императора!

Последние слова были покрыты рукоплесканиями, и тотчас было выпито за будущие победы.

— Знак Геркулеса на наших значках поможет нам,— строго произнес Флавиан.

На минуту наступило молчание, потому что присутствовавшие не знали, как примет император такой выпад против христиан, но Арбогаст быстро поддержал своего друга.

— Римлянам легко,— сказал он,— быть непобедимыми под этим знаком, и мы вернем им эту непобедимость.

Они подняли кубки и опять пили за доблестных легионариев императора, но вмешался сам Евгений со своим лукавым видом и сказал:

— Вспоминается мне, однако, что не всегда легионы с Геркулесом одерживали победы. Случалось легионам пропадать и под этим знаком, ⟨например⟩, около Кав-

динских ущелий. Голову ‹Красса› бросили в парфянском театре. Кесарь и Антоний оба вели легионы с Геркулесом, однако победил из них только один. А мало разве терпели наши воины, еще не так давно, от персов, германцев и готов!

— Мудрость говорит твоими устами, Август,— сказал один из сенаторов, по-видимому, сторонник нашего дела,— но да позволено будет мне сказать, что твои примеры, в которых проявляется вся твоя всеобъемлющая ученость, не совсем соответствуют нашему случаю. В те дни не вели войн священных, войн за оскорбляемых богов! Теперь — дело другое: на нашей стороне правда и боги; на стороне врагов — ложь и обман. Исход такой борьбы не может быть сомнителен.

Было очевидно, что все присутствующие (за исключением одной, может быть, Гесперии) уже весьма пьяны, потому что, не стесняясь присутствия императора, все начали шуметь и говорить разом.

— Опасность для нас,— вставил и свои слова Гликерий,— не в войсках Феодосия. Опасность для нас сзади, в среде наших таких правителей, христиан, которые готовы жалить нас, как змея, в пяту. Смотрите, как себя держит епископ Сириций! Смотрите, с какой неприязненностью выслеживает из своего Медиолана ‹Амвросий›!

— А что ж,— добродушно возразил Евгений.— Амвросий ведет себя очень дружески: в моем консистории чуть не ежедневно получались его письма, в которых он выражал мне свою преданность.

— Христиане — лицемеры! — злобно заявил Флавиан.— Они ссылаются на слова своего Писания: «Нет власти, которая не от бога»,— а сами устраивают заговоры и стремятся к обману, подчиняют своей власти дух императора, как этот самый ‹Амвросий› подчинил себе несчастного Грациана!

Всеобщее опьянение развязало всем языки. Кругом много смеялись и шумели, и все готовы были высказать свои самые заветные мысли. Сам император, с явно полупьяным лицом, потеряв всякие признаки своего величия и хохоча, что-то весело сообщал Гесперии, когда наступил конец спорам о христианстве и вере предков. Должно быть, Гесперия сказала ему что-то обо мне, потому что тот вскоре подозвал меня к себе и, когда я поспешно подошел к его ложу, спросил меня несколько заплетающимся языком:

— Я тебя помню, юноша. Ты вчера был у меня в Палатине. Хэ-хэ! Я не такой страшный человек, каким кажусь там. Мы с тобой поладим и даже подружимся. Конечно, если ты будешь служить верой... Ну, что, начал свои дела?

Я объяснил, что еще не было для этого времени, так как обязан действовать в согласии со своими коллегами.

— Начинайте, начинайте,— добродушно сказал император,— пора уже! А то скажут, что мы бездействуем. Я сам приду посмотреть вашу работу. Приду пешком. Я — как Август, который ходил по Городу пешком и без спутников. Так действуйте. Утешьте этих жрецов, у которых отобрали их имения. Хэ-хэ! Что им следует по справедливости, то отберется в их пользу,— но только это, ни асса больше! Слышишь!

И император, шутя, погрозил мне пальцем.

— А что же им предложить, Август? — смеясь, спросил Флавиан.— Все, что у них есть, они награбили в наших храмах.

— Ну, ну,— возразил император,— неужели же быть немилосердным? Надо и им что-нибудь оставить. Ведь ими они владели чуть не целых сто лет! Да и если мы их слишком прижмем, они возмутятся. Они ведь тоже зубасты, и за ними пойдет много народа.

— Этого не бойся, император,— отвечал Арбогаст.— Если они осмелятся поднять мятеж, я превращу в конюшни все христианские храмы и всех их священников и епископов, вместе с Сирицием, пошлю учиться своему долгу перед империей — в легионы!

— Хорошо сказано, Арбогаст! — веско подтвердил Флавиан.

— Однако ведь я тоже христианин,— внезапно заявил Евгений.

Но это было сказано почти что в шутку, таким голосом, что никто даже не обратил внимания на слова императора, и все сочувственно наперерыв прославляли смелое заявление Арбогаста.

После этого уж все смешалось в общем шуме и крике. Разговоры о делах и важных вопросах как бы потонули в дружеских излияниях, веселых восклицаниях и шутках. Красивые флейтистки, по знаку Гесперии, сошли со сцены и вмешались в наш круг. Пожилые сенаторы охотно подзывали их к себе и весьма откровенно заговаривали с ними и щипали их. Совсем пьяный император, побаг-

ровев и с помутневшими глазами, объяснял Гесперии, что она самая красивая женщина в Городе и во всей империи.

Окончание пира я уже смутно помню, потому что и у меня в глазах предметы как бы раздваивались, и я сосредоточенно старался рассматривать то ножку лампады, то стоявший близ меня сосуд.

— Брат Юний, ты пьян,— сказал мне сидевший поблизости от меня Гликерий.

Засмеявшись, я должен был согласиться.

Потом я видел, как в триклиний вносили пурпуровые носилки, и дукс Арбогаст настоятельно усаживал в них Евгения, который продолжал твердить, что он, как Август у Мекената, пирует запросто с друзьями. Гесперия пошла провожать высоких гостей, а меня предупредительный Гликерий, который сохранил более самообладания, чем я, отвел в мою комнату и передал на попечение рабам.

X

Обдумав на другой день, с жестокой болью в голове, происшествия нашего пира, я должен был прийти к неутешительным выводам, что судьба наша находится в руках весьма слабых. Сам Евгений представился мне, как об нем и говорили, действительно ничтожным человеком, под пурпуровой тогой сохранившим сердце простого писца. Среди приближенных императора я не видел ни одного человека, который мог бы сильными руками поддержать его слабость, кроме разве Арбогаста, человека, по-видимому, скрытного и своей простотой доказавшего, что он умеет довольствоваться поставленной себе целью.

«Но, может быть,— думал я,— все это к лучшему, и сама слабость императора обеспечивает удачу нашему делу».

Мне, однако, не было времени в то утро долее предаваться размышлениям, так как я был уже магистратом и мне предстояло исполнить свои обязанности. Надев подобающий цингул с красной пряжкой, я присутствовал при отъезде императора в армию ⟨в⟩ толпе других вельмож, сенаторов и магистратов, для чего мне пришлось несколько часов дожидаться на Священной улице под палящим солнцем. Стража немилосердно теснила нас, сзади напирал народ, желавший поглазеть на зрелище, и я должен был при-

знаться, что положение простых граждан гораздо привлекательнее, чем должность триумвира. Я от души возрадовался, когда, наконец, под крики и шум показалась личная охрана императора, а затем и длинный поезд носилок, среди которых выделялся пурпур императора. Сам я стоял на таком расстоянии, что вряд ли милостивый Август мог меня рассмотреть, но все же мне показалось, что, когда лицо Евгения обратилось в мою сторону, он лукаво подмигнул.

После обряда проводов я должен был отправиться к Камению, у которого было назначено первое совещание триумвиров. Мы взялись было за дело очень усердно, но вскоре выяснилось, что оно далеко не легко. Меньше других в предварительной разработке нужных приготовлений мог оказать услуг я, так как все же мое знание римской старины оказалось очень недостаточным, хотя я добровольно и прочитал когда-то все девяносто восемь томов Варрона. Едва ли больше меня знал Сегест, который твердо стоял на одном: все христианские храмы надо отнимать, объявлять государственной собственностью и учреждать в них служение Меркурию,— бог, который почему-то особенно пользовался расположением германца. Гораздо более сведущим оказался Камений, который уже составил заранее длинный список храмов, отнятых в разное время христианами, но все эти данные надо было проверить и относительно каждого постановить решение, так как мы пришли к выводу, что не следовало отнимать те храмы, которыми христиане владели свыше пятидесяти лет.

Провозившись над списком Камения более часа, пересмотрев ряд книг, принесенных из библиотеки хозяина, мы пришли в совершенное отчаяние. Писатели противоречили друг другу: где один указывал святыню Марса, другой называл храм Венеры, а на самом деле, по памяти Камения, там при его детстве стоял жертвенник Великой Матери. Столь же неверным оказался план Города, составленный к тому же в давние времена, после чего, по причине пожаров, новых построек и другим, многое в расположении изменилось, так что даже некоторые улицы исчезли, а площади оказались занятыми домами. Сегест, ум которого не был приспособлен к археологическим научным изысканиям, хотел было решительно прервать нашу работу.

— О чем тут думать,— сказал он.— Просто возьмем отряд воинов и пойдем по улицам. Где увидим крест, сбро-

сим его на землю, а двери запечатаем. После найдем, кому передать здания, это очень просто...

Камений, однако, не согласился с таким решением вопроса, напоминавшим удар меча Александра по Гордиеву узлу, но рассудительно заметил:

— Нам нужна помощь сведущего человека, и у меня есть такой. Я предвидел, что мы своими силами не разберемся в трудном деле, и потому заранее его припас. Сейчас я его прикажу призвать...

Позвонив в колокольчик, Камений приказал рабу привести человека, дожидавшегося в атрии. К моему изумлению, я узнал в пришедшем знакомого мне философа Фестина, с которым встречался в дни своего первого пребывания в Риме. То была еще одна тень прошлого, вставшая предо мной.

— Ты жив, милый Фестин, любимец богов! — воскликнул я входящему Фестину.

На этот раз Фестин был одет очень просто, хотя и не отказался от обычной одежды философа — большой аболлы. Он меня также признал и приветствовал почтительно, но с достоинством. Мы усадили Фестина рядом с собой, и он тотчас начал свои изъяснения, конечно, подготовленные заранее, с такой поспешностью, что писец едва успевал записывать.

— Я начну с Эсквилина,— заговорил он.— Здесь прежде всего, на большом плане, списанном с того, который находится при ‹храме Священного Города›, мы видим храм Дианы. По столь явным ‹признакам›, во времена царей был воздвигнут...

При таком способе речи дело подвигалось очень медленно, потому что каждый раз Фестин начинал со времени царей, а когда и раньше, от времен Сатурния, воздвигнувшего первые святилища на ‹Палатине›. Речь свою философ пересыпал ссылками на Варрона, стихами из Фаст Насона, изречениями оракулов, выписками из постановлений понтификов и сибиллиных книг — но, как бы то ни было, после работы в несколько часов мы составили более или менее достоверный список храмов на Эсквилине, которые подлежало отобрать от христиан. Когда мы с Камением решили, наконец, что на сегодня довольно и что можно продолжение работы отложить на следующий день, мы заметили, что Сегест глубоко спит в своем кресле, похрапывая весьма несдержанно. Переглянувшись и по-

смеиваясь, мы поручили разбудить его писцу, а сами вышли освежиться на улицу.

— Германец портит наше дело! — тихо сказал мне старик.— Что ему римские храмы, да что ему и наши боги! Он просто ненавидит Римлян и рад причинить им неприятность, хотя бы в лице христиан. Но чего же нам и ждать, когда во главе империи стоит не кто другой, как варвар Арбогаст!

Слова были, конечно, опасны, но Камений привык говорить смело, и можно было удивляться, что он безвредно пережил времена пяти императоров.

Что до меня, я был так утомлен работой, которая становилась вовсе не призрачной, что все мое существо настойчиво требовало отдыха. Подумав немного, я, попрощавшись с Камением, пошел к ⟨Сильвии⟩. Сказать по правде, меня самого изумило это решение; непостижимым для меня образом, с тех пор как я был в Городе, меня как-то не влекло к Гесперии. Невольно я часто избегал оставаться с ней наедине.

XI

Я пошел через Тибр на ту улицу, где жила Сильвия, и, как это было у нас с нею условлено, послал к ней встречного мальчишку с запиской. Мальчик, которого я дожидался в ближайшей копоне, вернулся с ответом, что меня просят прийти самого. Сказать по правде, я был разочарован, так как мне вовсе не хотелось заводить знакомство с семьей Сильвии и особенно в этот час вести какие-то случайные беседы о разных мелочах, однако делать было нечего; мальчишке я дал медную монету, а сам пошел в дом к Сильвии.

То был один из тех многоэтажных домов, в которых селятся бедняки, вроде того, в каком жила в Риме и Реа. По грязной лестнице я вскарабкался высоко и, по указанию соседки, постучал в низкую дубовую дверь. Голос Сильвии сказал мне: «Входи». Я переступил порог и оказался в скудном жилье, которое было все видно, так как состояло всего из двух комнат, и занавеска, отделявшая вторую, не была закрыта. Комнаты освещались с маленькой террасы, бывшей за второй комнатой. Распятие ⟨висело⟩ на стене. На всем лежала печать скудости: стояли простые скамьи, грубо сколоченные армарии и в глубине виднелись столь же простые две постели. Силь-

вия была здесь одна; она сидела на скамье, опустив голову, и даже не встала при моем появлении.

— Здравствуй, Сильвия! — приветливо сказал я.

— Зачем ты пришел? — неожиданно спросила она меня.

— Я пришел тебя видеть.

— Не надо было приходить,— угрюмо сказала Сильвия и вдруг добавила: — Я тебе говорила, что я — дурная. Не надо, не надо, не надо быть со мной!

Тут только я заметил, что лицо Сильвии было совершенно иное, чем при наших первых встречах. Глаза смотрели исподлобья и казались особенно большими, потому что зрачки их странно расширились, щеки были бледные, губы тесно сжаты. Так она еще поразительнее мне напоминала Рею.

Суровый прием не испугал меня. Я сел около Сильвии и взял ее за руку, но она тотчас вырвала свою руку из моей и отвернулась.

— Сильвия,— сказал я,— на меня тебе нет причины гневаться. Я не сделал ничего против тебя. Если же тебя кто-нибудь обидел, скажи мне; помни, что я твой друг и, может быть, сумею тебе помочь.

Сильвия ничего не ответила.

После молчания я спросил ее, где ее мать. Сильвия отрывочно ответила мне, что она уехала в другой город и вернется лишь на следующий день к вечеру. После этого разговор опять прервался.

Я делал попытки говорить о разных вещах, но Сильвия или не отвечала, или произносила отрывистые слова. Потом вдруг она встала, заломила руки и, смотря на меня глазами волчицы, сказала резко:

— Зачем, зачем ты пришел! Меня надо оставить, всем оставить. Меня надо убить. Я не должна жить. Такие, как я, не должны жить.

Я опять тщетно пытался взять руку Сильвии и стал осторожно ее успокаивать, но, кажется, она меня не слушала. Наконец я спросил, видела ли она Лоллиана.

— Ну, видела,— возразила Сильвия.— Что ж из этого? Одно лицо — и только. А душа у него другая. То же и я. Я знаю, знаю, что с тобой будет то же. Ты тоже видишь только мое лицо, но узнаешь, что у меня душа другая. Уходи! Уходи!

Я, однако, не ушел, так как мне показалось, что я понял настоящую причину того состояния, в котором нахо-

дилась Сильвия. Настойчивее, чем прежде, я стал ее уговаривать и, между прочим, сказал неосторожно:

— Если только не извинится Лоллиан,— забудь его. Я его не знаю, может быть, он — прекрасный юноша. Но ты говоришь об нем, что он только лицом напоминает тебе того, кого ты любила. Зачем же тебе быть с ним? Он никогда твоей любви не верил.

— Не верил,— как нимфа Эхо, повторила Сильвия.

Желая вовлечь Сильвию в разговор, я тогда спросил:

— Но расскажи мне, что сталось с той, твоей прежней, настоящей любовью?

При этом вопросе лицо Сильвии исказилось, одну минуту она смотрела на меня с ненавистью, а потом вдруг выкрикнула:

— Он умер! Он умер! Я его убила!

Я испугался действия своих слов и поспешил успокоить девочку.

— Полно, Сильвия,— сказал я,— как ты могла кого-нибудь убить?

— Я его убила,— с тоской повторила Сильвия,— он меня любил, и я его любила. Но он хотел... он хотел от меня того, что я не могла ему дать. И он умер, умер, умер.

Чем больше волнение овладевало Сильвией, тем больше она становилась похожей на Рею в часы ее исступления. У Сильвии были те же блуждающие глаза, тот же странный взгляд, те же неверные движения. Она уже не молчала, напротив, она говорила без умолку, может быть, забывая, что я ее слушаю, может быть, даже не видя меня. Охватив колени руками, смотря безумно вперед, она повторяла:

— Господь запретил нам такую любовь. И я ее не хочу,— я не могу. Но он этого не понимал! Как он страдал! Ах, я должна была уступить. Пусть погибла бы моя душа! Дьяволы! Дьяволы! берите мою душу, жгите меня в огне, мучьте в кипящей смоле! Мне все равно! Только пусть он вернется, пусть на один день вернется ко мне! Бедный, бедный, бедный! Он лежал на дне Тибра, в грязном иле, над ним текла вода. А я здесь сижу, я вижу солнце, я слушаю других людей. Господи! Господи! Спаситель, ты не прав!

Она плакала, слезы текли по ее щекам, все ее тело дрожало, и ее отчаяние было настолько сильно, что я не знал совсем, что мне делать. Охватив ее стан руками, я сказал ей с силой:

— Сильвия! Не думай об этом! Не бойся того, что тебя страшит. Нет никаких дьяволов! Никто не будет твою душу жечь огнем. Все это пустые выдумки, в которых нет и доли правды. И не бойся запретов своего Спасителя. Есть другая вера, более истинная, более прекрасная и свободная. Твоя — ужасает людей, та — делает их счастливыми; твой бог — карает, истинные боги — благословляют радость и жизнь.

С невероятным ужасом Сильвия вырвалась из моих рук. Обезумевшая, она смотрела на меня своими расширенными зрачками и безвольно делала перед собой какие-то знаки руками, словно крестила себя или меня. Потом вдруг она закричала мне:

— Дьявол! дьявол! дьявол! Теперь я знаю, что ты — дьявол! Вот почему я тебе доверилась. Ты — Лукавый, ты — соблазнитель! Прочь! Исчезни, во имя господа!

Но так как она видела, что ее заклинания не производят на меня никакого действия, она вдруг приняла другое решение. Еще отстранившись, она уже другим голосом сильно прокричала какие-то слова, может быть,— «я погибла» или «я осуждена», и, неожиданно повернувшись, бросилась в другую комнату.

Я последовал за девочкой. Но Сильвия, опередив меня, выбежала на террасу, быстрыми шагами и, не подоспей я в последнее мгновенье, стремительно перекинулась бы через низкую загородку на каменные плиты мостовой. Я схватил девочку поперек тела, и между нами началась борьба. Я никогда не был телесно слабым, а жизнь в поле, среди работы, еще более утвердила мои мускулы. Однако в маленькой девочке, которую, как мне казалось, я мог повалить одной ладонью, внезапно проявились силы Антея. Она вырывалась из моих рук, стремясь броситься вниз, с такой силой, что минутами я не знал, на чьей стороне останется победа. Своими маленькими руками, сделавшимися упругими, как лучший меч, она раскрыла мои руки и отталкивала меня в грудь, так что я шатался и едва не падал. Тяжело дыша, мы боролись, как борцы на арене, у самого края пропасти, и я видел перед собой совершенно безумное лицо Реи, как бы окаменевшее, превратившееся в лик бронзовой статуи.

Наконец мне удалось овладеть обеими руками девушки, и, уже не думая об том, что я ей причиняю боль, я просто закинул их ей за спину, охватив ее в свои руки, как веревкой, и, подняв, потащил внутрь комнаты. Почувство-

вав, что она побеждена, Сильвия вдруг сразу ослабла и стала покорная, как ребенок. Только все ее тело продолжало дрожать мелким и прерывистым трепетом. Я донес ее до одной из постелей, на которую и опустил свою ношу, и тотчас девочка забилась на подушке в припадке неудержимых слез.

Опыт прошлого подсказывал мне, что должно делать в таком случае. Я достал воды, смочил виски девочки, дал ей пить. Я сел рядом и осторожно гладил ее плечи и руки. Но прошло очень много времени, прежде чем Сильвия начала что-либо сознавать: до того она продолжала рыдать безутешно, повторяя бессвязные слова, не понимая, по-видимому, где она находится и кто с ней.

В комнате уже стемнело, когда слезы Сильвии немного стали стихать. Я мог рассмотреть в сумерках, что она открыла глаза и смотрит на меня.

— Тебе лучше, Сильвия? — спросил я.

— Это ты здесь, Юний? — ответила она мне вопросом.

— Это я, моя девочка, и я буду с тобой, пока ты не успокоишься.

— Не надо быть со мной, я — дурная,— проговорила Сильвия, потом закрыла глаза, и через несколько минут я убедился, что она спит.

Мне показалось невозможным оставить Сильвию одну, так как припадок ее безумия мог повториться. Поэтому я разыскал маленькую лампаду и зажег свет. Потом, уложив девочку поудобнее на постели, я поставил рядом скамью и, пристроившись на ней, стал смотреть на лицо спящей. Я много думал в те молчаливые часы, когда постепенно замолк за стеной шум Города. Я вспомнил Рею и ее безумства; я вспоминал, как она так же рыдала, подобно Сильвии и примерно в таком же исступлении; я вспомнил смерть Реи и опять видел ее перед собой, как тень, с копьем, пронзившим ей ‹горло...› Потом еще я вспоминал мою жену, Лидию, томящуюся одиноко в моем покинутом доме, не знающую ничего об том, как я провожу свое время в Риме. Много еще другого вспомнил я, но — странно! — лишь о Гесперии не приходило мне в голову. Потом незаметно я опустил голову на подушку рядом с головой Сильвии и заснул также.

Я проснулся от легкого толчка. Было почти совсем темно, так как лампада погасла и комната едва освещалась слабым светом молодой луны. Быстро приподнявшись, я

увидел, что Сильвия сидит на постели и недоуменно оглядывается по сторонам. Повернувшись ко мне, она сказала:

— Почему ты здесь, Юний? Что случилось?

— Ничего особенного,— отвечал я.— Ты была немного больна, и, так как твоей матери нет дома, я не решился оставить тебя одну.

— Тебе так неудобно,— проговорила девочка,— ложись сюда.

И она подвинулась на постели, давая мне место. Не без удивления, я лег около нее и осторожно обнял ее; она не сопротивлялась.

— Тебе тоже неудобно,— сказал я,— сними свое платье.

— Нет, нет,— испуганно возразила девочка.

Но, действительно, в комнате было нестерпимо душно. После некоторого настояния мне удалось уговорить Сильвию сбросить с себя верхнюю одежду и сандалии; я тоже последовал ее примеру, и, полураздетые, мы опять прижались друг к другу на тесной девичьей постели.

Было темно и тихо. Невольно мы тоже говорили шепотом. И была странной и чудесной эта моя близость с маленькой девочкой, случайно встреченной мной на улицах Города. Теперь Сильвия доверчиво прижалась ко мне и нежно шепотом отвечала на все мои вопросы, как другу. Она говорила мне о Веттии и о том, как он добивался от нее любовных чувств, но когда я начинал целовать ее, она страдальчески отстранялась, повторяя:

— Только не это! Не надо, не надо!

И я, не осмеливаясь нарушить ее запрета, спросил ее:

— Скажи мне, Сильвия, ты никогда не лежала так ни с кем, ни с одним мужчиной?

— Так, да, это было,— прошептала девочка,— но только так, понимаешь? С ним — с Веттием. Но он требовал от меня другого, а я не хочу, я не могу...

И мы, опять прижавшись, лежали в объятиях, при тихом свете новолуния, шепотом обменивались немногими словами. Взволнованный этой странной близостью, я, почти потерявший свою волю, прикоснулся губами сначала ко лбу девочки, потом к ее щеке и плечам. Но тогда она от меня отстранилась. Когда же я, упорствуя, хотел целовать ее шею и маленькие груди, она опять забеспокоилась, как перед приступом, и страдальчески простонала:

— Юний, Юний! ты хочешь, чтобы я опять убежала от тебя?

Смущенный, я опустил руки и дал Сильвии клятву, что без ее позволения не притронусь к ней, а потом спросил:

— Разве ты помнишь, как ты выбежала на террасу?

— Я все помню,— тихо ответила девочка,— все. И это не в первый раз. Со мной что-то делается, когда я не могу больше жить. Ты знаешь, меня раз вынули из петли,— да, да!.. тогда я уже ничего не помнила.

Потом с грустным лукавством она добавила:

— Что ж! не всегда ты будешь около меня. Когда-нибудь это случится.

— Я всегда буду около тебя,— сказал я и в ту минуту искренно верил в свои слова.

Еще довольно долго продолжался наш тихий разговор,— разговор двух друзей, которые давно и хорошо знают друг друга,— и потом мы оба, кажется, в один и тот же миг, заснули опять.

Утром я проснулся позже Сильвии. Она уже была одета и готовила завтрак в соседней комнате. Поспешно одевшись, я вошел к ней, и нам было странно глядеть друг другу в глаза, словно мы были связаны какой-то тайной. Мы вместе ели хлеб, обмоченный в вине, мед и сыр, разговаривали о разных незначительных вещах. Так как Сильвия показалась мне уже совершенно успокоившейся и так как мне опять надо было спешить к Камению, я попрощался.

— Мы еще увидимся, Сильвия? — спросил я, готовясь уйти.

— Конечно! — крикнула<в>ответ Сильвия.— Пришли мне записку, и я приду к тебе.

Когда я был за порогом, Сильвия вдруг подбежала ко мне, быстро обняла меня руками за шею, поцеловала прямо в губы и захлопнула дверь.

XII

После того жизнь моя приняла течение размеренное, словно вода спокойной реки. Большая часть дня уходила у меня на работу в коллегии. Мы составили наш список и объезжали Город, на месте осматривали храмы, которые подлежало отобрать у христиан. Вечером я большей частью

встречался с Сильвией, и мы гуляли с ней под Портиком, или в Лукулловых садах, или за чертой померия. Душа моя была так занята этой странной девочкой, что я начал было забывать о своем доме и жене, а в то же время почти не думал и о Гесперии.

С Гесперией мы, разумеется, встречались каждый день, но ненадолго и не наедине. Утренний завтрак мне приносили в мою комнату; прандий мне приходилось проводить у Камения, а за обедом у нас почти всегда бывало несколько человек, среди которых и непременный Гликерий; за этими обедами велись разговоры о важных вопросах, обсуждались известия, приходившие с Востока или из Медиолана, и не отводилось времени для беседы о личных делах.

Гесперия, кажется, замечала, что я отношусь к ней холодно, и это ее сердило. Несколько раз она пыталась вызвать меня вновь на откровенные объяснения, но я, предвидя, что опять поддамся ее чарам, всячески от нее уклонялся.

Так длилось время в течение почти двух недель, когда некоторые обстоятельства вновь изменили состояние моего духа.

Правда, вновь меня стало смущать мое пребывание в Городе. Я ехал туда, подчиняясь могущественной силе любви, но когда эта власть ослабла, мне стало казаться, что я напрасно отдаю свои силы делу, которое могло бы совершиться и без меня. Стыд, однако, удерживал меня от того, чтобы отказаться от поручения, принятого на себя. Но я твердо решил написать подробное письмо жене, объяснить ей, зачем я нахожусь в Риме, и просить ее простить мне мой внезапный отъезд и с надеждой ожидать моего скорого возвращения.

Потом и самое дело, порученное мне, стало мне казаться ничтожным. Я видел, что и без моей помощи все будет исполнено, как должно, благодаря знаниям Фестина, ловкости Камения и неукротимой воле Сегеста. Несколько раз я высказывал это мнение самой Гесперии, и она начала посматривать на меня с тревогой.

Кроме того, меня раздражало положение в нашем доме Гликерия. Я почти не сомневался, что этот надушенный и завитой щеголь — возлюбленный Гесперии. Он держал себя скромно, и все же чувствовалось, что в нашем доме он — свой. Рабы относились к нему почти как к хозяину. В отсутствие Гесперии он свободно делал распоряжения

и даже принимал гостей. «Если тебе люб этот юноша,— думал я о Гесперии,— зачем тогда ты опять лицемеришь, обольщая меня лживыми уверениями в своей любви ко мне!»

Наконец случилось и несколько происшествий, которые решительно стали меня склонять к мысли, что для меня лучшее — уехать из Города.

Однажды утром ко мне явился раб, посланный Миррой, которая напоминала мне мое обещание посетить ее и звала в тот день к себе на обед. Мне показалось неудобным отказаться, и я отправился на это собрание.

Мирра сдержала свое слово. Около самой Субурры у нее действительно был воздвигнут, как большой дворец,— великолепный дом, с рядом прекрасно убранных и обставленных комнат, блистающих мрамором, позолотой и статуями, с мраморным водоемом в перистиле, с обширной беседкой, оплетенной розами, на крыше.

У Мирры собралось лучшее общество Города, и я увидел, что почтенные отцы семейств и юноши лучших фамилий не стеснялись открыто посещать заведомую меретрику. Среди гостей я, к своему удивлению, увидал Гликерия. Как новая Аспасия, Мирра собрала у себя и философов, и поэтов, и ученых, и за столом все время шла умная и тонкая беседа, нисколько не похожая на пьяные речи того пира у Гесперии, который был почтен присутствием императора. Обсуждали новые открытия Диофанта, говорили ‹о поэзии, о философии›, и только о великих событиях в империи и о готовящейся войне не было произнесено ни слова.

Мирра была очень любезна со мной, отличала меня перед прочими, много говорила со мной, намеренно называя, не без легкой насмешки, триумвиром. Случилось мне говорить и с другими гостями, причем многие знали мое имя и как нового магистрата, и как племянника сенатора. В общем, я мог быть доволен вечером, если бы не одно обстоятельство.

Среди приглашенных был один приезжий, как потом оказалось, из Бурдигал, по имени Бибул. Когда, уже к концу вечера, мне случилось с ним разговориться, он передал мне, что недавно проездом был в Лакторе и слышал там вести о моей семье. Бибул говорил очень осторожно, видимо, стараясь не огорчать меня, но все же я узнал из его слов самые тягостные вести. Сын мой, конечно, умер в самый день моего отъезда. Жена моя так

была потрясена этой смертью и моим исчезновением, что несколько дней опасались за ее рассудок. Она ни с кем не говорила ни слова, не принимала пищи и не хотела выходить из своей комнаты. Оправившись постепенно, она поддалась влиянию христиан. Теперь все время она проводит на их собраниях, надела на грудь крест, молится целые ночи перед распятием и посещает все христианские богослужения. В этом соучастница с ней моя сестра, Децима, приехавшая в <Лактору> по смерти своего мужа. Она также предалась христианству, и в Лакторе говорят, что обе женщины намереваются в скором времени войти в один христианский монастырь.

Само собой разумеется, такие вести произвели на меня столь гнетущее впечатление, что я уже не мог оправиться более за весь вечер. Низкий широкоплечий мим разыграл перед нами на домашней сцене забавную комедию о Данае, в которой главную роль исполняла женщина, являвшаяся перед зрителями совершенно обнаженной. Напрасно Мирра пыталась вовлечь меня в спор о достоинствах недавно изданной книги моего соотечественника, славного Авсония. Я не мог преодолеть тоски, подавлявшей меня, рано простился и ушел домой.

Дома в тот же день я начал письмо к жене, потому что хотел раньше, чем появиться пред ней, предупредить ее письмом. Почти с полной откровенностью я рассказал в этом письме все, что переживал и переживаю. Говорил прямо о Гесперии, клялся, что наваждение ее чар сошло с меня, осторожно упомянул даже о Сильвии, так как слух об ней мог дойти до моей жены каким-либо другим путем, но обстоятельно объяснил положение дел в империи и, наконец, клятвенно обещал, что, бросив все ненужные дела в Городе, скоро вернусь в свою <Васкониллу>.

Письмо свое я не успел закончить в тот вечер, потому что было уже поздно, а я хотел еще написать убедительно об том, чтобы Лидия остерегалась христианских козней. Не надеясь победить ее упорства на расстоянии силой одних письменных доводов, я хотел, однако, удержать ее от решительного шага. Я знал, как трудно было бы мне вызвать ее из стен монастыря, потому что эти христианские западни уже не возвращают попавшую в них добычу (так я думал тогда).

Не закончив своего письма, я убрал его в мой ларь и запер на ключ, предполагая дописать его и отослать на следующий день.

Утром, однако, у меня не было времени заняться письмом, так как Камений прислал звать меня немедленно прийти на собрание коллегии. Заседание наше на этот раз продолжалось очень долго и было очень бурным, потому что Сегест, негодовавший на нашу медленность, требовал мер решительных. К сожалению, того же требовали и письма Арбогаста, которые нам переслал Флавиан. После долгих споров мы порешили исполнить волю императора и со следующего дня начать действительно отбирать здания, незаконно захваченные христианами.

После заседания я, как обещал раньше, пошел повидать Сильвию. Вместе мы отправились за город в Агриппиновы сады и там прятались среди пышной зелени разновидных деревьев, красивых бассейнов и милых, удобных беседок, где можно было целоваться вволю. Но Сильвия была очень грустна в тот день и на мои расспросы отвечала, что жизнь в Городе становится нестерпимой. Не говоря об том, что заработок ее матери падает с каждым годом, теперь начали всяческие притеснения христиан, ⟨...которым⟩ просто не дают заниматься их ремеслом... Я даже опасался, что буду опять свидетелем такого же припадка, как в тот день, когда я был в ее комнате. И долгое время она не хотела отвечать мне на мои расспросы. Наконец, Сильвия сказала мне:

— Зачем, зачем ты пришел! Зачем я тебя узнала! Мне было легче без тебя.

— Боги покровительствуют мне и тебе,— сказал я.

— Бог,— поправила меня Сильвия.

— Хорошо, пусть бог. Ведь ты знала, что я не искал тебя. Так случилось, что мы встретились, и надо подчиниться судьбе. Но что же плохого в том?

Сильвия не отвечала, опустив глаза, и я, взяв ее за руки, спросил:

— Ты меня любишь, Сильвия?

Девочка сначала посмотрела на меня и возразила:

— Нет, должно быть, не люблю. Дважды в жизни любить нельзя. Я уже любила и больше любить никого не буду. Но с тех пор, как я тебя узнала, мне стало несносно все, что меня окружает. И этот... тот, о ком я тебе говорила, ⟨Лоллиан,⟩ который лицом так похож на моего Ветия. Я его ненавижу теперь! А он все думает, что я его люблю. Как мне тяжело!

Мы сели в отдаленной беседке, оплетенной плющом, и я стал расспрашивать девочку о ее чувствах. Она уже при-

выкла говорить со мной откровенно, и с детской простотой она созналась мне, что у них происходят мучительные сцены. ‹Лоллиан› ревнует ее ко мне, требует, чтобы она не смела встречаться со мной, угрожает убить ее. Она же вполне понимает теперь, что ей этот ‹Лоллиан› не нужен, что его лицо — только красивое лицо, что она напрасно обольстилась его лживым сходством.

— Не бойся его, девочка,— сказал я.— Я сумею защитить тебя. Просто скажи этому ‹Лоллиану› или, еще лучше, напиши ему, что более не хочешь его видеть. Я имею некоторую власть и прикажу двум вигилям стоять около твоего дома, чтобы охранять тебя от всех опасных покушений.

— Ах, я не боюсь его угроз,— возразила Сильвия.— Но мне больно видеть, что он мучается. Мне уж все равно, мне не быть счастливой. Ах, если бы я могла исполнить все его требования! Но я не могу. И потом, потом я хочу быть с тобой. Зачем, зачем мы встретились?

Все это было очень похоже на признание в любви, возникающей в неопытной детской душе. Но тут мне вспомнилось мое решение уехать, и я подумал, что жестоко было бы мне оставлять девочку одну после того, как я встревожил ее чувство. Но, несколько колеблясь, я сказал:

— Милая Сильвия, пока я ничего не могу сказать определенного. Но, вероятно, я скоро уеду из Города. Хочешь, поедем вместе? Пусть едет и твоя мать. Где-нибудь в нашей Аквитании я найду, где вам жить и что делать.

— Но там твоя жена,— печально возразила Сильвия.

— Не знаю,— горько ответил я,— есть ли у меня еще жена. Но все равно. Я даю тебе обещание, я клянусь тебе, что никогда тебя не покину. Согласись уехать со мной. И для тебя начнется новая жизнь.

— Я не знаю,— прошептала девочка.

Я обнял ее и целовал в глаза, повторяя свою просьбу. Понемногу она почти уступила. Мне самому тогда казалось легко осуществить мой замысел. Я мечтал, что исчезнут все наваждения древнего Рима, что я вновь буду жить в своей тихой и милой Аквитании и что в Лакторе, близ меня, будет эта маленькая девочка, Сильвия, с ее большими глазами.

Почти веселыми, мы возвращались домой, вслух мечтая о новой жизни.

XIII

Я вернулся домой к самому времени обеда, и оказалось, что в этот день у нас нет никого, так что за столом я был наедине с Гесперией.

Теперь для меня несомненно, что это было сделано ею нарочно. Заметив мое охлаждение к себе, она решила поправить дело решительным ударом.

Неопытный глаз мог бы поверить, что Гесперия одета по-домашнему, но я не мог не приметить, что ее одежда и убор были тщательно выбраны. На ней было платье из восточной шерсти, такое легкое, что казалось пухом; перетянутое поясом, оно оставляло видеть середину тихо колыхающейся груди. Обнаженные руки были перехвачены браслетом по образцу германских женщин. Два крупные перла, словно две прозрачные капли воды, сияли в ушах; невысокая прическа была вся перевита нитями мелкого жемчуга.

За последние дни я привык встречаться с Гесперией запросто, говорить с ней о самых обиходных предметах, и сразу меня поразил ее голос, когда она ко мне обратилась, голос нежный и вдумчивый, словно выходящий из самой глубины души, тот самый, который когда-то чаровал меня. Так странно было впечатление этого голоса, будившего все мои лучшие воспоминания, словно бы кто-то вдруг сорвал повязку с моих глаз, застилавшую мне свет, и я, после тьмы, вдруг увидел солнце. Я вспомнил Гесперию, прекрасную Гесперию, и с робостью и с удивлением смотрел на ее и давно знакомый, и странно новый для меня лик.

Никогда, кажется, Гесперия не говорила так прекрасно, как в тот вечер. Ее речь всегда была плавной и изящной, оживленной яркими мыслями, но иногда, в удачные дни, эта речь становилась пленительной до крайности. Тогда все равно было, о чем говорит Гесперия: все вопросы становились одинаково завлекательны в ее словах, и к каждому, самому ничтожному предмету она умела подойти со стороны неожиданной. Тогда словно дождь огней сыпался в речи Гесперии, и ум едва успевал следить за головокружительной быстротой, с какой сменялись ее мысли.

Я не сумею точно воспроизвести речи Гесперии в тот вечер, но помню, что незаметно мы заговорили о вопросах, которые нас особенно волновали,— о начатой нами борьбе за богов.

— Мир изменился, Юний,— говорила Гесперия,— но ведь мы остались людьми. Нас солнце греет так же, как оно ласкало спутников Энея; не иначе мы слышим шум пучины, чем певучий Ахиллес; и наша любовь та же, которая привела Дидону на мстительный костер! И солнце, и море, и огонь, и ветер — все это вечно, вечно для нас, для людей, и тщетно нам искать иной, бóльшей вечности. И та же вечность в наших богах, нам понятных, земных, богах, которые близки к людям. Почем мы знаем, может быть, существуют те эоны, о которых мечтают восточные философы: у нас нет глаз, чтобы увидеть, нет слуха, чтобы услышать этих знакомцев. Пусть неведомое Божество, которое не отрицает ни Лукреций, ни Насон, ни Цицерон, за всеми пределами нашего познания правит миром. И, может быть, есть другие земли, где нет власти ни Юпитера, ни Плутона, ни Нептуна, ни прочих Олимпийцев, но здесь, на земле, нам довольно наших богов, для нас великих, для нас непонятных, для нас вечных! Как было бы безумно стремиться нам уподобиться бестелесному Творцу, своим перстом будто бы вписывающему звезды на небесную твердь! Но как прекрасна совершенность гармоний Аполлона, легкость Дианы и мужество Марта, в чьих жилах божественный ихор! Осмеянный Марсий — образ человека; бедный Фамира — наш прекрасный прообраз; Психея, удостоенная соприсутствия на пирах бессмертных,— наша надежда. Красота богов, их доблесть, их слава, даже их преступления — все это наше, то, к чему мы можем стремиться. Как вовеки человек остался существом, слитым из души и тела, так его боги должны быть не только духовными, но и телесными. Наша правда в том, что наши боги нам подобны. Наши боги могущественны, но они не творят чудес, потому что чудо — бессмыслица для рассудка, которой он не приемлет. Наши боги бессмертны, но не вечны, потому что вечности наш ум все равно не понимает. Мы, Эллино-Римляне — народ ясных образов, великих соразмерностей и гармоничной красоты. Пусть восточные варвары изображают богов в виде чудовищных зверей, пусть Египет складывает сказки о растерзанном и воскресшем Осирисе, пусть иудеи поклоняются безóбразному владыке, сидящему где-то за нéбесами; наша святыня — мудрость Фидиева Юпитера, совершенный в своей мужественной прелести Феб, прекраснейшая из женщин Венера. Останемся им верны, если мы хотим остаться людьми!

Ах, мне хотелось бы записать все слова, которые в тот памятный день говорила Гесперия, так как я чувствовал, что ни один ретор и ни один философ не говорили более глубоких слов в защиту веры наших предков! Но мне память уже изменяет, и я не хочу искажать прекрасной речи своими неумелыми вставками. Гесперия говорила со мной о богах, потом о тайнах природы, потом о чарах любви, потом о смысле растений и цветов, потом о великих людях, потом о стихах Гомера и еще о многом другом, причем одно причудливо цеплялось за другое, одно переливалось в другое, словно ряд сверкающих водопадов, устроенных искусным художником в таинственном саду,— и я, как очарованный, опять слушал эти песни Сирены, прикованный взором к горящим глазам и пылающему лику женщины.

— Прометей создал людей по своему подобию,— говорила Гесперия,— прекрасный миф украден у нас христианами. Мы подобие полубога, и потому в груди каждого из нас душа та же, что у Олимпийцев. О, безумные проповедники лжи и обманов, укоряющие нас за то, что наши боги любят, страдают и даже свершают преступления, как люди! Но разве кто-либо из людей знает что-либо иное, кроме надежды и отчаянья, радости и скорби, ненависти и любви? В этой многоцветной радуге чувств — весь мир, и другого нет нигде — нет для нас. И мы сами становимся как боги, когда позволяем этим чувствам свободно властвовать нашей душой. Ахиллес был не ниже Марта, когда предавался своему гневу. Первый Кесарь был как Юпитер, когда посмел наложить свою власть на всю землю. И все мы подобны богу, когда любим. Разве ты сам, о Юний, не ощущал себя столь же сильным и столь же блаженным, как Олимпиец, когда знал, что твои жилы стучат под дрожью любви? Божественная любовь, эта венчанная фиалками богиня, возносит нас до высот Платоновых идей, и, любя, мы дышим эфиром эмпирея. Юний! мы выпьем с тобой за любовь!

Гесперия подняла свою любимую чашу из разноцветного стекла, оплетенную парой изменчивых змей, и смотрела мне прямо в глаза пристальным взором. Час был поздний, мы были одни в маленьком триклинии. Ароматичные факелы разливали кругом нежное опьянение. Я тоже поднял свой кубок и спросил тихо:

— Почему ты мне это предлагаешь, Гесперия?

— Потому что сегодня мы пьем с тобой в последний

раз,— печально проговорила Гесперия,— сегодня мы прощаемся с тобой.

— Мы прощаемся? — переспросил я.— Разве ты уезжаешь?

— Нет,— возразила Гесперия,— уедешь ты.

Гесперия перегнулась через стол, приблизив ко мне свой грустный взор и свою открытую грудь. Все продолжая смотреть мне в глаза, но прежним тихим голосом Гесперия сказала:

— Милый, милый Юний! Как дурно, что ты передо мной притворяешься. Я знаю все. Я знаю и то, как ты томишься по своей покинутой жене. И я знаю, что здесь, в Городе, ты любишь маленькую девочку с черными глазами. И еще знаю, что ты более не любишь меня.

В ту минуту я уже снова был во власти тайных чар Гесперии. Я не желал лгать, когда воскликнул в ответ:

— Это неправда, Гесперия! Всегда, вечно я любил и буду любить тебя одну!

Медленно покачав головой, Гесперия возразила:

— Не обманывай меня и себя, Юний. Да, ты меня любил: я это помню. И мне горько сказать,— ты меня любил до того дня, пока во мне не родилась любовь к тебе. После того ты меня то ненавидел, то презирал, то желал, как мужчина желает женщину, но более не любил. Воспоминание о прошлом заставило тебя приехать на мой зов, но, едва меня увидев, ты понял — там, в глубине души, что меня не любишь. Разве иначе ты мог бы увлекаться той маленькой девочкой, опять напомнившей тебе ту твою Рею, ради которой десять лет назад ты потерял меня? Разве в сердце, которое любит, есть место для других чувств? Не лги, Юний, и не упорствуй. Уезжай, уезжай скорей, завтра же! Возьми с собой ту девочку и уезжай. Так будет лучше.

— Гесперия! я не могу уехать,— в волнении возразил я.— Я не могу покинуть наше дело.

— Наше дело! — горько ответила мне Гесперия.— Разве ты не видишь, что оно погибло. Евгений — тряпичная кукла; Арбогаст — дикий варвар, умеющий только рубить сплеча; Флавиан — от старости выжил из ума. Разве этим людям бороться с гением Феодосия? Наши легионы будут сметены, как прах, копытами готов Алариха. Нас всех, поклявшихся поднять мятеж, ждет смерть под топором палача. Беги, Юний, беги, пока не поздно: я не хочу, чтобы ты погиб.

— Гесперия! — воскликнул тогда я.— Я не могу уехать, потому что я люблю тебя.

Эти слова вырвались из меня невольно, но, едва произнеся их, я уже смутно понял, что все кончено, что сеть новой Кирки опять захлестнулась над моей головой. И вот я видел Гесперию, которая уже пересела на мое ложе; она положила свои руки мне на плечи, и мое тело трепетало от этого прикосновения. Мои глаза опять тонули в глубине изменчивых глаз Гесперии.

— Не говори таких слов необдуманно,— шептала Гесперия голосом подавленным.— Нет, нет, я не хочу, чтобы ты давал мне клятвы под влиянием вина и минуты. Ты должен уехать, я это решила, и это неизменно. Вот я поцелую тебя, как целовала когда-то, и это будет мой прощальный поцелуй тебе, мой милый Юний, мой маленький Меркурий.

И она сдавила мои губы своими губами, даруя мне один из тех своих поцелуев, которые пьянили острее самого крепкого кипрского вина.

А потом, когда я был еще в объятиях этого лобзания, вся прижимаясь ко мне своим телом, Гесперия, словно с мучением и ужасом, шепотом стала молить меня:

— Это моя последняя просьба, Юний! Завтра — ты уедешь. Но сегодня, эту ночь подари мне! Этой ночи я ждала годы. Я воображала ее на своем одиноком ложе в Треверах. Я тысячу раз ее переживала в мечтах. Должны эти мечты на одно краткое мгновение стать действительностью. Все будет, как в блеске молнии,— осветится, мелькнет и исчезнет. Помнишь, в первый день твоего приезда я сказала тебе, что моя дверь всегда для тебя открыта. Но ты не захотел. Сжалься теперь над новой Федрой, которая дошла до последнего стыда, вымаливая ласки у своего Ипполита! Будет слишком жестоко, если ты мне откажешь. Боги, боги отомстят тебе, как сыну Тесея, если и ты отвергнешь мольбы обезумевшей женщины.

Она воистину казалась безумной, потому что порывисто привлекала меня к себе, сжимала в объятиях, целовала и смеялась, тогда как настоящие слезы текли по ее щекам. И — о бессмертные боги,— скажите, кто из людей устоял бы против такого искушения! Может быть, и святой праотец Иосиф поколебался бы в своей стойкости, если бы жена Потифара явилась ему в этом образе прекраснейшей из женщин. Но и он ведь не любил египетской царицы, а я долгие годы томился несбыточной мечтой об ней! И в каком-то опьянении забвения я уже не знал, что со

мной делалось, что мне шепчут нежные уста, куда меня влекут ласковые руки.

Так, в этот вечер, впервые после более чем десятилетней нашей близости, свершилось наше соединение с Гесперией, как двух любовников. В роскошном кубикуле, завешанном восточными тканями, познал я, наконец, любовь той, о которой безнадежно томился в своей далекой юности. И в тишине этой спальной, едва озаряемой лампадой, заставленной цветным стеклом, слушая страстный шепот женщины, обжигаемый прикосновением ее горячих плеч, я готов был верить, что нам «на вершинах стонали нимфы», как некогда Энею и Дидоне, грозой приведенным в одну и ту же пещеру.

Мне не нужно говорить, что на другой день я не уехал из Города. Новая страшная сила сковала меня с Гесперией, и я уже чувствовал, что сейчас не в силах ее покинуть. Мои недавние мечты рассыпались, как песчаное сооружение под бурным вихрем, и я хотел теперь одного: продолжать начатую нами борьбу, все равно, ждет ли нас победа и слава или позор и смерть.

Свое письмо к Лидии я решил уничтожить. Но, когда я открыл свой ларь, я с изумлением убедился, что письмо лежит как будто несколько иначе, чем я его положил. Конечно, я мог ошибиться, но мне казалось, что в памяти моей сохранились точно все подробности в расположении моих вещей. Ничего достоверного я не мог утверждать, но у меня осталось сомнение, что, в мое отсутствие, кто-то подобранным ключом отпирал мой ларь и доставал мое письмо,— кто? может быть, сама Гесперия, которая из него узнала о моих чувствах, о моих встречах с Сильвией и о моем решении уехать.

Книга третья

I

Между тем Флавиан, распоряжавшийся в Городе, как полновластный владыка, торопил нашу коллегию с решительными мерами. Наш способ действия был очень прост. Когда, на основании данных истории и старых актов, мы приходили к убеждению, что такой-то христианский храм занимает здание прежнего святилища, мы постанавливали, что оно должно быть отобрано в ведение Сената. После того мы, с отрядом стражей, являлись на место и приказывали христианским священнослужителям покинуть храм и отдать нам ключи дверей, позволяя вынести лишь то, что явно было внесено позже.

Каждый раз возникали шумные распри по поводу того, что именно принадлежит христианам. Дело в том, что их священные изображения были украшены драгоценностями, снятыми со статуй богов; вместо своих священных сосудов они употребляли утварь древних храмов; многие золотые и серебряные вещи были переплавлены из таких же вещей, служивших для жертвоприношения Великой Матери, или Митре. Христиане настаивали, что все это принадлежит им, потому что этими вещами они пользуются уже много лет. Собранные нами свидетели и ученый Фестин возражали, что все это похищено из древних храмов. Среди криков, жалоб и причитаний дело решал обыкновенно Сегест, который, по примеру древнего Бренна, возглашал грозное: «Горе побежденным!» — и хладнокровно забирал даже такие вещи, которые несомненно были приобретены или сделаны самими христианами для своих надобностей.

Почти всегда во время нашего набега вокруг храма собирались христиане, среди которых одни рыдали, дру-

гие негодовали молча, третьи,— иногда,— пытались оказать сопротивление. Несколько раз нам приходилось вступать в бой с озлобленной толпой, причем в нас летели палки и камни. Не всегда даже решительные действия вигилей могли одолеть этот натиск, и впоследствии мы стали брать с собою отряд легионариев, которым доводилось пускать в дело копья и обнажать мечи.

Сам Флавиан тем временем делал приготовления для торжественного очищения Города, осквернённого (по его словам) многолетним господством ложного культа. Так как в те дни мне не раз случалось встречаться с Флавианом, я могу сказать, что он представлялся мне действительно как бы помешанным. Трезвость и ясность ума, отличавшие его прежде, заменились в нем каким-то исступлением и самым ярым суеверием. В его голове смешались все религии земли, и он с одинаковой страстью защищал поклонение Осирису и Исиде, не говоря о Великой Матери, или Митре, как божеству Юпитера и Юноны; только одна вера в Христа была ему ненавистна, и ее он презирал от всей глубины души.

Раньше всего Флавиан желал очиститься сам и с этой целью избрал великое священнодействие тавроболия. Он готовился к нему в течение многих дней уединенными размышлениями, благочестием, паломничеством к священным урочищам и постом, уподобляясь в том христианским монахам. Самое торжество было назначено в загородной вилле Флавиана, куда в назначенный день собралась громадная толпа его друзей, клиентов, приближенных и приглашенных. Мы с Гесперией, конечно, должны были присутствовать также.

В саду была выкопана глубокая яма, покрытая сверху досками [1].

. . . . . .

Торжество закончилось пиром, на котором много пили и много говорили о своем будущем торжестве. В этот день не было даже той небольшой сдержанности, которую проявило присутствие императора. За столом раздавались яростные крики против христиан, читались письма из Медиолана, в которых сообщалось, что легионы и наши все предводители находятся в великолепном порядке, произносились здравицы за императора и будущие победы. Среди присутствующих <были> христиане...

---

[1] См. план дальнейшего описания сцены на стр. 671.

II

Увлеченный своим новым счастием с Гесперией и занятый в разных празднествах, которые длинной чередой стали развиваться в Городе, я за эти дни не имел времени, чтобы видеться с Сильвией, и случилось так, что в течение почти двух недель я ее не видел. Я горько упрекал себя за такое небрежение, опасаясь, что мое отсутствие может дурно повлиять на девочку. Поэтому на другой же день после торжеств, проведенных в театре, я, воспользовавшись свободным днем, отправился разыскивать Сильвию.

Как обычно, я хотел послать ей записку, так как по-прежнему мне не хотелось заводить знакомства с ее матерью. Но когда я еще только переходил Эмилиев мост, я вдруг увидел впереди себя Сильвию в обществе какого-то юноши. Одно время я уже хотел незаметно удалиться, но и Сильвия и ее спутник меня заметили. Тогда я приблизился и приветствовал девочку в самых вежливых словах.

Сильвия внезапно смутилась, но потом оправилась и спокойно познакомила меня со своим спутником: то был Лоллиан, который также вполне любезно меня приветствовал. С любопытством я рассматривал этого юношу. Ему было лет двадцать, не более, по одежде он принадлежал к зажиточной семье; у него были светлые волосы и голубые глаза германца, но держал он себя с чисто городской непринужденностью.

Я спросил молодых людей, куда они идут, и они мне ответили, что направлялись провести время в Домициевых садах. Тогда я просил позволения присоединиться к их прогулке, так как мне хотелось ближе узнать этого Лоллиана. Я знал, конечно, что мое предложение должно было ему быть неприятно, но он не возражал, а Сильвия предложила мне сопровождать их.

Так втроем мы прошли через весь Яникуленский сад. Почти все время пути мы шли молча, так как естественная неловкость владела нами. Время от времени я обменивался отрывками слов с Лоллианом и Сильвией. Но они между собой не говорили.

С намеренной небрежностью я объяснил, что мой отъезд из Города отложен по важным причинам, что все последнее время был очень занят по своей должности триумвира и по приготовлению к играм Аполлона; воспользовавшись свободным днем, я решил повидаться с Сильвией, которую не встречал давно, и теперь рад, что вижу ее друга. Так как сегодня для меня — праздник, то я и предложил мо-

лодым людям принять как бы мое приглашение — разделить мой отдых.

Не знаю, насколько Лоллиан поверил моей речи, но он не возражал.

В мало посещаемых Агр‹иппинских› садах было пустынно, и наша прогулка решительно не налаживалась, так как мы были враждебны друг другу.

Тогда я предложил ненадолго зайти в загородную таберну, находившуюся здесь, род диверсория, посещаемого гуляками по ночам, но почти пустынного в этот час. Мы заняли места за столом, под тенью старинного платана, спросили себе фруктов и вина. Я сразу заметил, что Лоллиан настойчиво участвовал в моих распоряжениях слугам: он желал участвовать в пиршестве наравне со мной и не хотел принимать моего угощения.

Я понемногу расспрашивал Сильвию, как она провела эти дни, но она отвечала мне уклончиво. Тогда я спросил, намереваются ли она и ее друг пользоваться подготовлением праздников, и предлагал им без труда достать тессеры во все цирки, театры и прочие места.

Лоллиан, наконец, спросил меня:

— А что именно такое вы, нынешние правители, собираетесь праздновать? Разве вы одержали какую-либо победу над врагом?

— Нет, юноша,— спокойно отвечал я,— какая может быть победа, если война еще не начата. Это просто годичные игры в честь Аполлона, которые справляются со времен Августа и еще раньше.

— Однако,— возразил Лоллиан,— уже много лет этих игр не справляли.

— Что же такое,— ответил я.— Законы иногда нарушаются, но хорошо их восстанавливать.

— А что такое сделал этот ваш Аполлон,— запальчиво спросил Лоллиан,— чтобы его чествовать?

— Не будем поднимать споров о вере,— ласково возразил я.— Мы здесь для того, чтобы веселиться, а не ссориться.

Веселье наше, однако, несмотря на вино, не удавалось, и каждую минуту мне приходилось избегать стычек с Лоллианом, который готов был их затевать по всякому поводу.

Я ухаживал за Сильвией, предлагал ей фрукты. ‹Но› она, видимо, страдала от нашего общества. Вино разгорячило, наконец, ‹юношу›.

— Про тебя, Юний,— сказал он мне,— говорят, что ты

пользуешься в Городе большой властью. Перед тобой трепещут все священники и монахи, потому что ты имеешь право выгонять их на улицу. Но скажи мне, почему именно тебе поручено такое дело?

Я сказал, что такова была воля императора.

— А не твоей покровительницы, прекрасной Гесперии? — возразил Лоллиан, вызывающе глядя на меня.

Я заметил, что Сильвия вздрогнула при этом имени и обратила глаза ко мне.

— Госпожа Гесперия,— ответил я уклончиво,— оказывает мне много милостей, и я ей очень признателен.

— Почему же она оказывает тебе эти милости? — продолжал настойчиво спрашивать Лоллиан, вообще поддавшийся влиянию вина и явно готовый пойти на все.

— Это надо спросить у нее,— сказал я, принужденно смеясь.

— Может быть, за твои красивые губы,— произнес уже совсем дерзко Лоллиан.

— Милый юноша,— с достоинством возразил я,— такой разговор не может быть любопытен для Сильвии. Будем лучше говорить о другом.

— А я думаю,— с ударением на словах возразил Лоллиан,— что Сильвии этот разговор очень любопытен. Ей надо получше узнать того, кто себя выдает за ее друга.

Я уже начал жалеть, что затеял эту прогулку, так как мне казалось непристойным, в моем звании, затевать глупую ссору с каким-то неведомым мальчишкой, а оставить его оскорбления без ответа я не мог.

— Сильвия меня достаточно знает,— строго возразил я,— что же насчет тебя, Лоллиан, то если я тебе не по душе, я готов покинуть ваше общество. Давайте распрощаемся и разойдемся. Вы будете продолжать вашу прогулку, а у меня еще достанет дел и на сегодня.

— Нет,— яростно воскликнул Лоллиан, совершенно потерявший обладание собой,— ты не должен уходить, прежде чем я не обличу тебя перед Сильвией! Не пытайся скрыться бегством! Лицемер! посмеешь ли ты отрицать, что недостойно соблазнять эту бедную девушку, тогда как сам живешь на деньги другой женщины, ради милостей которой бросил свою жену?

Стараясь сдержать себя, я вскочил из-за стола и сказал:

— Юноша! Было бы непростительно мне отвечать на твои необдуманные слова. Я ухожу. Прости, Сильвия, что я был невольной причиной такой тяжелой сцены. Я по-

лагал, что мы приятно проведем время, и не ожидал таких оскорблений.

При этих словах я взглянул на Сильвию и прямо испугался. Она сидела совершенно бледная, как мраморная статуя, с обескровленными губами, прислонившись к стволу дерева, и казалось, с минуты на минуту потеряет сознание. Невольно я бросился к ней, чтобы оказать ей помощь, и уже яростно крикнул Лоллиану:

— Негодяй! видишь, до чего ты ее довел! Уходи сейчас прочь, ты! Или я заставлю тебя раскаяться в твоем поведении.

Но Лоллиан, тоже поднявшись, загородил мне дорогу и, сложив руки на груди, возразил надменно:

— Здесь, Юний, ты не перед монахами, над которыми тебе дана власть, и у тебя нет с собою послушных вигилей. Какое право ты имеешь меня гнать? Сильвия — моя невеста, и я останусь с ней.

Минута была решительная, и размышлять было не время. Я с силой, хотя и без внешней грубости, схватил юношу за плечи и отбросил его в сторону. Но он, в ту же минуту, вытащил откуда-то нож, и дело могло перейти в очень безобразную и опасную драку. Однако мне помогли рабы таберны, которые уже давно наблюдали за нашим столкновением и теперь схватили юношу за руки. Я был старшим среди троих, моя одежда обличала во мне человека видного, да, может быть, и мое звание было известно. Во всяком случае, не только рабы приняли мою сторону, но и хозяин таберны, прибежавший со всех ног к нам; он закричал своим слугам:

— Гоните этого негодяя вон, бейте его хорошенько, что задумал, мерзавец, убийство в моей таберне!

Я, разумеется, остановил горячность рабов и приказал им только удалить Лоллиана, который тщетно вырывался из мускулистых рук дюжих иберийцев. Видя, что его усилия бесполезны, Лоллиан крикнул Сильвии:

— Сильвия! Я обличил перед тобой этого молодчика! Немедленно покинь его и следуй за мной! Иначе ты меня больше не увидишь!

Сильвия, которая несколько пришла в себя, ответила твердо:

— Я остаюсь с Юнием.

Лицо Лоллиана исказилось от злобы, и, снова рванувшись, он крикнул уже с угрозой:

— Так? Ты думаешь, я не сумею отомстить за себя?

Но хозяин таберны продолжал кричать, чтобы юношу тащили вон, и дюжие иберийцы действительно поволокли его за пределы диверсория и, кажется, даже за ограду сада.

Вся эта безобразная сцена произвела на меня впечатление очень тягостное и, по-видимому, такое же на Сильвию. Она вся дрожала и почти не сознавала, что с ней. Кое-как успокоив ее и расплатившись за вино, я решил отвести ее домой. Но Сильвия не решалась идти, так как была уверена, что Лоллиан, с ножом в руке, подстерегает нас за каждым деревом. Только после долгих убеждений я заставил ее выйти из таберны, но и то она принудила меня идти далекой дорогой к Нерониановскому мосту. Да и я сам на пути счел долгом убедиться, что и мой кинжал при мне.

— Теперь он меня убьет! — повторяла в ужасе девочка.

Я придумывал всевозможные доводы, чтобы ее успокоить, говоря, что найду для нее другое помещение в Городе, что прикажу особым вигилям охранять ее, что постараюсь, чтобы Лоллиану было приказано покинуть Рим, и многое другое. В конце концов я должен был войти в дом к Сильвии и, наконец, познакомиться с ее матерью, доброй, простой женщиной, Таррацией, которая трогательно благодарила меня за заботы о дочери. В этот день я долго сидел у них, так что опоздал к обеду и не без смущения перенес укоризненный взор, которым меня встретила Гесперия.

III

После этого происшествия я счел своим долгом действительно позаботиться о судьбе Сильвии, и мое положение в Городе стало еще более затруднительным.

С одной стороны, приготовления к играм и мои занятия в коллегии по восстановлению храмов отнимали у меня много труда. С другой, Гесперия выказала неожиданно порыв ревности и настойчиво требовала от меня отчета едва ли не в каждой минуте моего времени. Мне приходилось лгать и выдумывать разные обманы, чтобы объяснить те мои отлучки, когда я посещал Сильвию.

Бедная девочка после происшествия в Домициевых садах захворала и слегла в постель. Я озаботился, конечно, прислать к ней медика, который, однако, мало что понял в ее болезни и назначил ей ‹лечение›. В то же время я исполнил одно из своих обещаний и снял для Сильвии и

ее матери, Таррации, хороший дом неподалеку от арки Галлиена, где можно было надеяться, что Лоллиан не скоро их разыщет. Таррация весьма благодарила меня за мои милости и, кажется, была очень довольна тем, что ее дочь нашла такого видного покровителя.

Сама Сильвия стала неожиданно проявлять ко мне такую привязанность, что это уже смущало меня. Она тосковала, если мне в какой-нибудь день не случалось навестить ее, упрашивала, чтобы я как можно дольше оставался с ней, нежно прижималась ко мне и целовала меня, когда мы оставались одни. Смущало меня еще то обстоятельство, что, поправляясь, Сильвия мечтала о том, что мы будем вместе с ней присутствовать на разных предстоящих празднествах, между тем как я предвидел, что все эти дни мне придется оставаться неотлучно близ Гесперии. Конечно, я ссылался на свои занятия и на свои обязанности триумвира и квипдецимвира, но видел, что девочка этим не удовлетворена.

К этим затруднениям присоединились еще волнения от одной встречи, происшедшей как раз накануне дня начала празднеств.

В этот день наша коллегия триумвиров отправилась на ⟨Авентин⟩, чтобы опечатать и отобрать храм во имя святой ⟨Марии⟩, построенный на месте разрушенного святилища Митры. Собственно говоря, права христиан на храм были бесспорны, потому что святилище Митры было разрушено до основания и на этом месте построено новое здание. Сегест, однако, настоял, чтобы мы не давали христианам потачки и наказали их за разрушение древнего храма отобранием нового.

Как часто случалось, нас встретила враждебная толпа ремесленников и разных граждан, вооруженных палками и камнями. При приближении нашего отряда эта толпа начала волноваться и кричать:

— Не дадим осквернять святого места! Умрем, но защитим храм божий! Прочь, нечестивцы!

Мы трое были на конях, и с нами было двадцать вооруженных человек, но нам не хотелось пускать в ход насилия, так как население Рима и так было возбуждено против нас. Камений пытался обратиться к черни с речью, ссылаясь на повеленья императора, но ему не дали говорить, заглушали его слова преступными криками:

— Не признаем Августом писца, потворствующего сенаторам! Не выдадим святого места на поругание!

Вспыльчивый Сегест, услышав, что поносят императора, не выдержал и первый приказал стражам гнать народ. Наш отряд кинулся на толпу, пытаясь оттеснить ее продольно поставленными копьями. Но тогда в нас полетели палки и камни.

— Бей их! — закричал Сегест.

Стража стала обороняться древками копий. Но это не помогло. Множество одолевало, тем более что с соседних улиц прибывали новые и новые кучки людей. Положение становилось опасным.

— Надо вызвать манипулу легионариев,— сказал мне Камений.

Мне не хотелось, чтобы на улицах Рима затевалось настоящее сражение, и я возразил:

— Попробуем обойтись своими силами. Я думаю, довольно будет одного удара, чтобы весь этот сброд разбился.

Подъехав ближе, несмотря на летевшие в меня камни, я крикнул сопротивляющимся воинам:

— Эй вы, ударьте-ка раз этих бездельников острием!

Рослый германец, бывший подле меня, не заставил повторять приказ дважды. Он повернул свою гасту и с размаху ударил ею какого-то мясника или булочника, упорно теснившего его. Копье вонзилось в грудь, брызнула кровь, и человек с воем повалился. Но вид крови и этот вопль привели толпу в ярость. Откуда-то в руках нападавших на нас появились большие ножи, вертела, железные полосы. Озверелые люди накинулись на наш маленький отряд, и началось плачевное избиение.

Наших двадцать человек не могло сопротивляться натиску, может быть, пяти или шести сотен людей. Нас оттиснули в угол между двумя домами; лошадь моя упала на задние ноги, и я едва удержался в седле, не имея возможности никуда пробиться. Удар камнем в голову едва не свалил меня на землю. У меня все смешалось в глазах. Кровь текла по моим щекам. На моих глазах двое или трое из нашей стражи упали под ударами. Сегест врезался было в толпу, нанося удары обнаженным мечом, но вдруг и его лошадь повалилась, и германец оказался в руках яростной черни.

Можно было уже опасаться за самую нашу жизнь, как вдруг наступило какое-то новое движение, поднятые руки стали опускаться и дикие крики стихать. На пороге того дома, к которому мы были притиснуты, стоял человек и знаками призывал толпу успокоиться. Когда все более

или менее стихло, этот человек заговорил мощным голосом, разнесшимся по всей площади:

— Дети мои! прекратите это побоище. Не камнями и палками должно защищать храмы божии: их охраняет свет истины и промысел божий. Оставьте безумству то его краткое торжество, которое попустил господь. Верьте моему слову: скоро-скоро мы вновь соберемся в этом храме славить всевышнего. Не противьтесь злой силе и не стыдитесь уступить. Господь бог, если бы захотел, сам защитил бы свое жилище лучше, нежели ваше оружие. Мирно разойдитесь, дети!

По мере того как оратор говорил, толпа стихала, так как, видимо, привыкла повиноваться речам этого человека. Послышались восклицания, но не враждебные, а, напротив, умиленные. Говорившего называли «отцом» и «миротворцем». И вдруг, словно чудом, скопище стало таять, и скоро мы были одни на площади.

Из всего нашего отряда сильнее всех пострадал Сегест, который был без сознания; у меня была рана от удара камнем за левым ухом, но незначительная; двое из вигилей получили более тяжелые ушибы. Оратор, обращаясь ко мне, сказал приветливым голосом:

— Domine Юний! Войди с твоими товарищами в мой дом. Вам надо оправиться. А я сам передам вам, если вы того требуете, ключи от храма, коего состою настоятелем.

Тут в этом человеке я узнал знакомого мне отца Николая, с которым беседовал десять лет назад.

Посоветовавшись с Камением, мы приняли предложение. Бесчувственного Сегеста внесли на руках в скромное жилище отца Николая, где скоро раненый пришел в себя; тогда вигили на руках понесли его домой. Мы же с Камением, поставив стражу у ворот храма, остались у отца Николая, чтобы закончить наше дело.

Священник безропотно передал нам ключи от входной двери и объявил на наш вопрос, что не имеет притязания ни на какие вещи.

— Вы возьмете все, что найдете нужным и справедливым,— сказал он нам.

При такой уступчивости отца Николая дело было покончено быстро, и Камений ушел, чтобы сделать необходимые распоряжения, а я остался в доме отца Николая, так как чувствовал себя еще несколько слабым, да и любопытство влекло меня еще раз побеседовать с этим человеком.

— Мы снова встретились, любезный Николай,— сказал я, когда мы остались одни.

— И я рад, видя, что мои давние поучения не пропали даром,— ответил мне с улыбкой Николай.

— Как? — удивился я.— Ты полагаешь, что твои поучения оказали на меня какое-то действие? Разве не пришел я сюда тем же, каким был десять лет назад? Разве не веду я снова борьбы с вашим, ненавистным мне, учением?

— Ты боролся прежде словом и убеждением,— сказал Николай,— потому что верил в свою правоту. Теперь же ты поднял оружие и отстаиваешь свою правду силой, так как уверился, что иначе ее защитить не можешь.

— Извини,— возразил я,— ты сам знаешь, что в былые годы у меня не было возможности бороться открыто, вот и вся разница. Но и прежде и теперь я готов всеми средствами искоренять гибельные восточные предрассудки, ведущие к погибели Рима.

— Воображаешь ли ты себя более сильным, чем Нерон, чем Тиберий, чем Диоклециан? — был ответ отца Николая.— Они и им подобные три столетия гнали и истребляли христиан, когда те были еще слабы, силами всей империи, но не сокрушили истины. Вы же, маленькие Юлианы, захватив власть на несколько дней, силой одних ночных вигилей, обученных тушить пожары и ничему больше, думаете оказаться сильнее могущественных императоров в годы, когда власть креста утвердилась уже по всей земле? Какой ответ на мой вопрос тебе подскажет твой Аристотель?

— Ты забываешь, что это лишь начало,— проговорил я.

— А ты вспомни, что это тоже и конец,— так же торжественно и властно произнес отец Николай.

И уже не как мирный собеседник, каким он только что был передо мной, но как учитель и проповедник он заговорил с силой и пламенем:

— Разве все, все кругом не убеждает тебя, что ваше предприятие — детская игра, а не дело мужей? Оглянись вокруг себя. Кто с вами? Двоедушный ваш император, который мирволит сенаторам, а сам принимает причастие у Римского епископа! Выживший из ума старый Флавиан, запутавшийся в легионе ваших богов и уже сам не знающий, кого и как чтить: Юпитера ли, Анубиса ли! Дикий франк Арбогаст, убийца, удавивший Валентиниана Второго и тянущий свои окровавленные руки к императорской диадеме, которую готов достать любой ценой: заигрыванием ли с Сенатом или покорением святой церкви! Кто еще? Симмах,

кто поумнее, уклонился. Левкадий — ничтожество, думающее лишь об том, как бы нажиться. Маркиан? Твой дядя Тибуртин? Ты сам их не станешь защищать. Ах, да, еще эта женщина, Гесперия. Но я не буду говорить об ней дурно лишь потому, что она при дворе Максима носила крест на груди. С этими ли людьми вы хотите повалить, уже не говорю истину, но дело, взросшее в три столетия, поддержанное Константином Великим, Валентинианом, Феодосием! Дети могут так заблуждаться, а ученику реторов — стыдно!

Я молчал, потому что не находил возражений, а отец Николай продолжал:

— Ты пришел сюда с вооруженными людьми. Значит, ты веришь в силу. Так раскрой глаза — и ты увидишь, что сила на нашей стороне. Кто победит в сражении, благочестивый Феодосий или ваши вожди, не это важно. И победителями, вы будете побеждены. Каждое время верует в того бога, который ему соответствует. Было время, когда подобало чтить Юпитера. Но это время прошло. Более нет тех людей, и никакими чарами не воскресить Декиев Мусов. В мир пришли другие люди и принесли другого бога. В ваших руках мечи, и вас боятся. Но ступай по улицам, ступай в дома бедняков, ступай в провинцию, обходи всю империю; много ли осталось поклонников древних богов? А толпы и толпы идут в храм Христа, и миллионы прислушиваются к словам Римских епископов, Амвросия, восточного Григория. Недавно здесь, в Городе, был Павлин, благочестивый юноша, бывший друг поэта Авсония, покинувший соблазн писательства ради истинной веры Христа. Если бы ты видел, как все население Города теснилось за ним, ты понял бы, куда и откуда дует ветер над кругом земли. Ты знаешь своих поэтов и веришь их басням. Вспомни образ вечной Судьбы, Мойры. Судьба, Судьбы решение упраздняет былое поклонение богам и ставит на его место веру в единого и вечного творца!

Мне не хотелось оставлять проповедь без возражения, но я не чувствовал себя в силах вести долгий диспут, тем более вспомнил, что лучшие диалектики терпели поражение в спорах с отцом Николаем. Поэтому я ограничился тем, что сказал твердо:

— Пусть ты прав и мы слабы. Но на нашей стороне истина. Пусть мало у нее приверженцев. Когда-то и вы, христиане, были слабы, но одержали победу. Я верю, что мы в конце концов восторжествуем, потому что истина не может умереть!

И опять, как десять лет назад, отец Николай приблизился ко мне, устремил на меня проницательные глаза, понизил голос и, как бы открывая мне некую тайну мистерии, почти шепотом проговорил:

— Ты ошибаешься, юноша, истины умирают.

— Как,— вскричал я, думая, что поймал моего диалектика,— но тогда и истина христианства умрет?

Тем же тихим и спокойным голосом отец Николай ответил:

— Да, юноша, придут времена, и истина христианства тоже умрет. Ее заменит другая, высшая. Но это будет через сотни, и сотни, и еще сотни лет. Ни тебя, ни меня тогда не будет в этой жизни, и сама память о наших именах пройдет. Кто знает, будет ли тогда еще стоять на своих семи холмах тот Рим, который вы называете вечным, и будет ли еще звучать под солнцем латинская речь? Теперь же, когда мы живем, далеко, куда только достает наш умственный взор, мы можем видеть одно: торжество Креста. Он идет по землям и водам, по городам и полям, сияет над каждым видимым источником, над каждой горной возвышенностью. Когда вихрь пролетает над потоком, безумно противоставить ему паруса: буря сорвет их, сломает мачту и моряков потопит. Юноша, поверни свои ветрила по ветру.

— Нет,— все так же твердо возразил я,— пусть я погибну, недостойно чести всегда присоединяться к большинству; прекрасно стоять и в меньшинстве, защищая правое дело. Если бы все рассуждали, как ты, не было бы Леонида и его трехсот, не уступивших полчищам персов.

— Не надо бросать жребий,— все так же тихо возразил отец Николай,— между буйволом и медведем: это ошибочный выбор. Не надо различать только правых и неправых перед нашим человеческим судом: это взгляд близорукий. Надо выбирать правых перед таинственной Судьбой,— вот решение мудрости, и оно всегда приведет на сторону сильных. Греки были сильнее персов, и Леонид был прав перед богом, защищая дело греков. Юноша, ты нападаешь на нас во имя силы; пойми, на чьей стороне сила воистину, и стань под те знамена!

Тут нас прервал Камений, приславший за мной, чтобы утвердить опись предметов, найденных в храме. Я попрощался с отцом Николаем, и тот, опять подсмеиваясь, сказал мне, пророча:

— Будь здоров, Юний, и помни, что мы и еще раз увидимся!

IV

Со следующего после того дня начались Аполлоновы игры, которые должны были длиться восемь суток, с десятого по третий день до июльских календ.

На первый день было назначено торжественное представление в театре Помпея трагедии Эсхила в латинском переводе «Прометей освобожденный», которую уже давно не видел Рим.

Я должен был идти в театр с Гесперией и со всевозможными предосторожностями объяснил эту необходимость Сильвии. Для нее и ее матери я нашел два места в более отдаленных рядах, так как они чувствовали бы себя неловко среди знати.

Нечего говорить, что все входные тессеры были розданы задолго до дня представления, так как весь Рим рвался на это торжественное зрелище, и многие были раздосадованы и огорчены отказом, несмотря на то, что старинное здание могло вместить до сорока тысяч зрителей. Раньше я знал это великолепное округлое здание, построенное при первом триумвирате и в последний раз возобновленное после пожара при Диоклециане, лишь с внешней стороны и только во время приготовлений к празднествам узнал его внутреннее убранство, поражающее своей роскошью. Весь театр, как стены, так и сидения, был из мрамора; колонны частью мраморные тоже, частью из драгоценного красного египетского гранита; в залах находились редчайшие статуи древних ваятелей и замечательное собрание картин греческого письма; за сценой был портик, окружающий площадку, усаженную сикоморами, украшенную водоемами, уставленную бронзовыми и золочеными изваяниями. Для нашего празднества многое в театре было подновлено, заново отделано, и все здание украшено тканями и цветами.

Гесперия начала готовиться к представлению еще накануне, так как ей хотелось явиться пред всем Римом во всем блеске своей красоты и роскоши. Два дня наш дом напоминал таберну торговцев дорогих материй, драгоценностей и разных женских украшений, а по комнатам стоял удушливый запах всевозможных ароматов и притираний. Рабыни совершенно изнемогали, исполняя все прихоти госпожи, а причесывающие плакали с отчаяния, что госпожа гневается на них за недостаточное их умение. Я тоже, по настоянию Гесперии, должен был к этому дню заказать себе новую тогу с золотым шитьем, на которой кра-

сиво выделялся мой милиционный пояс с красным кингулем.

К назначенному часу в нашем доме собрались все наши обычные посетители, так как Гесперия непременно желала прибыть в театр в сопровождении большой толпы друзей и поклонников. Здесь были и Гликерий, и Левкадий, и Маркиан, и многие другие, гордившиеся тем, что они будут в толпе сопровождающих Гесперию. Но на этот раз я был выделен ее особым вниманием: мне были поданы особо роскошные носилки, которые несли рядом с носилками Гесперии, и мы совершили свое прибытие ко входу в театр, почти как властелины. Толпа по пути кричала нам приветствия, и я не без удивления разбирал среди криков: «Vivat Гесперия!», «Vivat Юний!» Впрочем, то были, может быть, нанятые за небольшие деньги уличные крикуны.

В театр я вошел с Гесперией рядом и видел, что тысячи голов обращались в нашу сторону, устремляя на нас глаза. Как ни стыдно мне в этом сознаться, но я должен сказать, что такое внимание странно польстило моему самолюбию, и я чувствовал какую-то гордость, ощущая на себе эти взоры. Но потом у меня мелькнула мысль, что это самое внимание, конечно, обратит на меня глаза и Сильвии, сидящей где-то в задних рядах, и тогда мною овладело беспокойство и смущение, которые я долго не мог преодолеть.

Впрочем, появление Флавиана произвело впечатление еще большее. Весь театр встал с мест и устроил консулу овацию, рукоплеща, топая ногами и выкрикивая его имя. Несмотря на то, что громадное число входных тессер было роздано людям нам близким и вообще тем, на которых мы могли полагаться, все же нельзя было забывать, что в театре находились четыре мириады людей, по греческому счету. Невольно я подумал, что отец Николай был не очень прав, уверяя, что все население Города против нас.

Поминутно к нам подходили сенаторы и разные магистраты приветствовать Гесперию и предупредительно осведомляться о моем здоровье. В отношениях ко мне чувствовалось что-то заискивающее, и я явно сознавал, что занимаю теперь в Городе видное место. Как-то очень быстро я освоился с этим новым для меня положением и сам ловил себя на том, что седым старикам отвечаю покровительственно и несколько небрежно обращаюсь с юношами, не занимавшими никакого положения в империи.

Наконец началось самое представление, которое исполнялось знаменитейшими Римскими акторами, избранными

изо всех театров, общественных и частных. Хотя отчасти я был знаком со всеми приготовлениями к представлению, все же меня поразила необыкновенная роскошь обстановки и одежд играющих. Перед нашими изумленными взорами явилась одинокая скала Колхиды, омываемая волнами океана, с прикованным к ней великим страстотерпцем, и красивый хор океанид; потом по голубому эфиру, словно на настоящих крыльях, пролетел вестник богов, Меркурий; потом ‹появился Геркулес›, и потом ‹другие боги...› Отряд океанид блистал индийскими перлами, казавшимися каплями воды на их плечах, грудях и волосах; одежда богов сверкала золотом; подлинный гром, благодаря искусным машинам, гремел в руках Юпитера...

Что касается самой игры актеров, она мне не очень понравилась, и, по правде сказать, на наших аквитанских сценах мне случалось видеть лучшую. Актеры слишком кричали, размахивая руками, ложились на землю в красивых сочетаниях, но все это не увлекало. Возможно, что мешали играть и громадные размеры театра, которые заставляли насиловать голос. Впрочем, сам голос всех игравших звучал изумительно хорошо благодаря замечательному устройству театра. Искусные геометры так распорядились его формой, что малейший звук со сцены доходил отчетливо во все углы здания, а скрытые в стенах, в разных местах, серебряные вазы отражали эти звуки, придавая им особую нежность и очаровательность.

По окончании трагедии, завершившейся бурными рукоплесканиями театра, была исполнена еще смешная мимическая комедия, в которой было много непристойных и забавных сочетаний. Мы видели толпы обнаженных женщин, серебристых нимф, за которыми гонялись коренастые фавны, так хорошо одетые, что казались подлинными лесными божествами. Посередине сцены оказалось озеро, в которое женщины бросались со всего бега; они плавали и играли в настоящей воде, причем ее брызги долетали даже до первых рядов. Затем появился старый Пан, как бы для того, чтобы опровергнуть рассказ о его мнимой смерти, и все закончилось бакхическими танцами, перешедшими в оргию, причем в ту самую минуту, когда фавны овладели нимфами и те уже уступали мужскому насилию, быстро поднялся занавес.

Мим понравился зрителям еще больше трагедии, и рукоплескания были еще оглушительнее.

После представления мы прошли на сцену, где Геспе-

рия вместе с консулом лично благодарила устроителей представления и раздавала им подарки. Потом по улицам, наполненным веселой праздничной толпой, мы все отправились в дом Флавиана на парадный обед, где снова сошлось все наше обычное общество и царило обыкновенное веселье торжественных пиров.

Оно было несколько омрачено известиями, которые утром привезли гонцы. Флавиан откровенно сообщил всем, что император Феодосий уже сделал смотр своим войскам в Адрианополе и объявил поход. Вместе с тем Восточный император объявил Евгения низложенным и все его назначения ничтожными. Таким образом Флавиан повелениями из Константинополя был лишен консульских фаск, и консулом Запада на этот год назначался сын Феодосия, десятилетний ребенок Гонорий.

Сообщая нам это, Флавиан старался сохранить вид беспечный.

— Да, мои друзья,— говорил он,— итак, я уже не консул, и вы должны подчиняться мальчику в детской тоге. Ну, что же, посмотрим, однако, насколько подобен Феодосий Фемистоклу и достаточно ли длинны его руки, чтобы вырвать секиры у моих ликторов.

Другое сообщение гонцов Флавиан, однако, утаил от гостей и сообщил его лишь самым близким, в том числе Гесперии и мне. Оно касалось того, что правитель Африки префект Гильдон, на помощь которого с его испытанными легионами мы очень рассчитывали, ответил решительно, что не вмешается в борьбу, не будет оказывать поддержки ни той, ни другой стороне и останется в стороне от войны.

Все эти угрожающие вести не помешали общему веселью, которое длилось до поздней ночи. Потом, из дома Флавиана, при свете фонарей и факелов, под музыку флейт, мы, вооруженные, в темноте возвращались домой. Там меня ждали объятия и ласки Гесперии, и черным предчувствиям не было места в ту счастливую ночь.

V

Следующий день был назначен для народных празднеств. Флавиан, который, за отсутствием императора, распоряжался в Городе, как государь, решил не щадить расходов, тем более что средства наши постоянно пополнялись золотой и серебряной утварью и другими драгоценностя-

ми, забираемыми нами в христианских храмах. В загородных садах и на Мартовом поле были уставлены огромные столы, за которые мог садиться каждый желающий из граждан, и для их угощения были заготовлены целые горы хлеба, свинины и бобов, а также многие тысячи бочек с вином. Так много было этих запасов, что их едва успели подвезти, и в виде потока, всю ночь по улицам Города тяжело гремели, мешая спать, телеги, нагруженные мехами с вином и свиными тушами.

Так как я не участвовал в устройстве этого народного празднества, то был более свободным и воспользовался этим днем, чтобы повидать Сильвию. Ее я нашел очень расстроенной и увидел, что все мои дурные предчувствия оправдались. Девочка упорно меня спрашивала, кто была та красавица, с которой я присутствовал в театре.

Напрасно я ссылался на свое положение в Городе, говорил о том, что оно обязывает меня ко многим поступкам, которые я, может быть, и не совершил бы иначе, изображал мое отношение к Гесперии в самом скромном виде,— Сильвия ничего не хотела слушать и повторяла:

— Не знаю, не знаю почему, но я не могла тебя видеть с этой женщиной! Я больше никуда не пойду, где ты будешь с ней.

Я ничем не мог утешить девочку, но, напротив, все разгораясь, она дошла до совершенного безумства и стала говорить:

— Зачем тебе она, если ты говоришь, что хочешь быть со мной? Ты мне предлагал уехать с тобой,— давай уедем! Я согласна быть там, где твоя жена, но не хочу, чтобы с тобой была эта Римлянка. Ты должен выбирать между нею и мною.

Я заговорил о судьбах империи, о том деле, которому я служу, но все это было для Сильвии пустыми словами. Она не хотела меня и слушать и горько возражала:

— Ах, ты уверял, что твоя встреча со мной — чудо, что во мне для тебя воскресла твоя Реа. Где же эти твои клятвы? Что же ты не стараешься сохранить свою Рею? Помни, что ты вторично ее потеряешь. Я так жить не могу, не могу!

Все это были какие-то детские речи, объясняемые неопытностью Сильвии, но меня они весьма встревожили, так как я знал ее порывистую душу и мог ожидать от нее поступков безумных. Я более не сомневался, что под влиянием даже самого малого волнения она могла бро-

ситься в Тибр или оплести себе шею веревкой. С другой стороны, не было во мне и той страсти, чтобы ради этой маленькой девочки, которая, правда, мне очень нравилась, бросить все свои дела и отказаться от счастия с Гесперией.

Пробыв весьма долго с Сильвией, погуляв с ней по Городу, который весь был наполнен пьяной и веселящейся толпой, угостив ее сладким вином и сластями в одной приличной таберне, я достиг того, что несколько успокоил ее волнение. Однако я знал, что это ненадолго, и вернулся домой удрученный.

Судьбе было угодно сделать так, чтобы те самые мучения ревности, которые только что я видел в лице Сильвии, тотчас же пришлось пережить мне самому.

До того времени я никогда не позволял себе следить за Гесперией, так как знал, что у нее много дел, что в ее руках нити всего нашего предприятия и что поэтому она должна постоянно посещать разных лиц или принимать их у себя. В тот день, вернувшись домой и узнав, что Гесперия приказала подать себе закрытые носилки и куда-то удалилась, я почувствовал неожиданное беспокойство, настолько сильное, что не устоял и стал осторожно расспрашивать Марину и рабов. По их ответам я догадался, что Гесперия отправилась к Гликерию.

Какое дело могло быть у Гесперии к этому юноше, не занимавшему никакого положения в империи? Прилично ли ей было посещать его одинокое жилище, словно какой-то Коринне, приходящей к Овидию? После недолгой борьбы с собой я также вышел из дому и направился к дому, где, как я знал, живет Гликерий. Действительно, у двери стояли носилки Гесперии и стояли наши рабы.

Я преодолел в себе желание войти в дом к Гликерию, но в тот же день, когда Гесперия вернулась, не удержался и спросил ее, какое у нее было дело к этому юноше.

Сначала Гесперия на мой вопрос рассмеялась и, ответив уклончиво, что дел у нее много, хотела говорить о другом, но я настаивал, кажется, побледнев, и в очень решительных выражениях. Тогда Гесперия, рассердившись, сказала мне:

— Ты сошел с ума, Юний! Думаешь ли ты, что у тебя есть право задавать мне такие вопросы?

— Ты сама дала мне это право,— возразил я.

Гесперия опять пыталась обратить все в шутку, обняла меня за плечи и воскликнула:

— Он меня ревнует! Милый Юний, ты мне этим очень

мил! На этот раз успокойся. Никаких любовных дел с этой маленькой куклой у меня нет и не будет. Я люблю тебя одного. Но в будущем (прибавила она, нахмурив брови) запомни, что я не терплю никаких стеснений своей свободы. Есть в моей жизни многое, что я не могу открыть даже тебе. Ты не должен, не смеешь, я запрещаю тебе следить за мной и требовать от меня объяснений. Помни это, а теперь помиримся.

Мы помирились, но в моей душе остались мои подозрения, и я...[1]

VI

Еще через день назначена была великая процессия очищения. Гесперия настаивала, чтобы я принял в ней участие, и я не мог отказаться. С утра я должен был надеть свою праздничную одежду триумвира и отправиться к Флавиану, где собрались мои товарищи, много сенаторов и все виднейшие магистраты того года. Маленький атрий Флавиана был переполнен, все ожидали его появления, словно выхода императора.

. . . . . .

После довольно долгого ожидания показался из двери Флавиан, одетый в консульскую трабею, гордый и решительный. Он приветствовал нас не без величия, но стараясь держаться просто.

Речь Флавиана:

— Отцы, воины и квириты! Се пришли великие дни, когда наш древний Рим восстает в своем древнем величии. Обычаи и предания отцов, поколебленные безумцами, ныне восстановляются. Храмы отеческим богам открыты, и в них курится фимиам. Те, которые были, во дни несчастия, отняты христианами, возвращены их истинным властителям — бессмертным Олимпа. Другие, которые были построены в местах, мешающих городской езде, разрушены. Нечестие, которое так долго оскверняло Город, уничтожено, а все мы трехмесячной лустрацией очистили себя от скверны. Я, назначенный императором и сенаторами как консул этого года, почел своим долгом, за себя и за народ, очистить себя тавроболией. Сегодня — последний день великого очищения. Обойдем весь город, поклонимся древним святыням, чтобы явить всему миру благочестие Города. После же приступим к другой задаче — к отражению

[1] Глава не окончена.

врага, ибо неистово устремляются на нас безумцы, забывшие, что Римляне непобедимы под защитой своих орлов и значков с образом Геркулеса!

Мы приветствовали эту речь восторженными кликами. Мы вышли. Я сел на коня...

Процессии было назначено собраться у ‹храма Salutis›. Там уже собралась огромная толпа народа, жадная до всевозможных зрелищ. Тут были жрецы, одетые в тоги, обшитые золотом, весталки, закутанные с головой в свои белые одежды, были этрусские гадатели, в былые дни занимавшиеся мошенничеством, гаруспики или выдававшие себя за таковых, были галлы, служители Кибелы, так называемые «собаки ее» — восточные евнухи, безбородые и отвратительные, была толпа служительниц Сераписа и других иноземных божеств,— женщины, показавшиеся мне весьма похожими на уличных ‹проституток›.

Постепенно устроили процессию. Впереди должен был идти отряд африканских рабов, чтобы разгонять толпу. Потом первыми шествовали шесть весталок. Далее, на коне, в консульской трабее, окруженный шестью милитариями,— консул. За ним — жрецы лучших храмов Города. Еще дальше — сенаторы, магистраты и разные видные лица. Наконец, сзади — толпа гадателей, гаруспики, служители и прислужники храмов и все женщины ‹из› народа.

Я мог только дивиться, откуда взялась вся эта толпа служителей богов, тогда как недавно еще руководители жаловались, что некому служить в храмах, что нет девушек, согласных принять на себя обет весталок, что все гаруспики и гадатели — мелкие мошенники и пьяницы. Всмотревшись, даже я, человек, которому Рим был все же знаком мало, узнавал некоторые лица: то были люди, недавно занимавшиеся совершенно другими делами.

Впрочем, порядок процессии поддерживался только первое время. Сначала, действительно, шли торжественно. Люди, одетые корибантами, стучали в медь; какие-то молодцы в восточных балахонах трубили в трубы; галлы плясали; жрицы Сераписа разбрасывали цветы из корзин, весьма скоро опорожнившихся. Отряды воинов по сторонам должны были охранять порядок. Но потом все смешалось и спуталось. Задние напирали на передних, жрецы отставали, чтобы идти вместе с женщинами, постоянно забегали в попутные копоны выпить чарку вина, сам консул не мог удержаться среди своих милитариев и наезжал на весталок, а толпа все теснила и теснила.

В давке я оказался рядом с Веллеем, который также ехал на коне, так как был префектом египетским. Узнав меня, он охотно со мной заговорил, и было в его голосе утомление и уныние. Я спросил его, откуда взялась такая толпа жрецов и жриц, тогда как еще недавно ‹некому было служить в храмах›.

— Милый Юний,— отвечал мне Веллей,— мы сейчас хорошо платим, это первое и самое важное. Потом мы — в силе, это второе и тоже очень важно. Сейчас народ не только становится поклонником Олимпийцев, но готов, если надо, стать жрецом сразу и Дианы, и Кибелы, и египетского Гора. Вот видишь этого толстого старика, с венком на голове? Теперь он состоит жрецом в храме Флоры, что ‹на Квиринале›, а назад месяц он был просто сыном откупщика, любившим покутить, а еще три месяца назад усердно посещал христианские обряды. Там, в толпе жриц Сераписа, ты насчитаешь многих известных проституток, из тех, что прогуливаются днем и вечером под портиками. А эти пляшущие галлы обычно занимались тем, что на форуме обыгрывали простаков в фальшивые кости.

Увы! достаточно было всмотреться в лица, чтобы увериться, что Веллей был совершенно прав...

Между тем порядок процессии все более и более нарушался. Жрецы и даже иные магистраты приставали к жрицам, щипали и обнимали их. Число пьяных все увеличивалось, и уже происходили непристойные сцены. Послышались дикие выкрики, прославлявшие богов, консула, Город и поносившие христиан и Феодосия.

Однако мы, как могли, выполняли задуманное шествие. Одной из главных его целей было обновление храма Сабинской ‹Юноны›, стоящего ‹на Эсквилине›. Там было устроено торжественное служение, причем... [1]

За время остановки у храма Флоры наша толпа увеличилась чуть не вдвое, но половина ее оказалась пьяной. Когда мы двинулись потом оттуда к Капитолию, на пути уже начались драки. Поймали какого-то человека, уверяя, что он христианин и тайно обрызгивает нас заговоренной водой. Бедного сильно избили, и только благодаря вмешательству Веллея воины спасли его жизнь. Потом напали еще на какого-то человека, в котором признали соглядатая императора Феодосия, хотя другие уверяли, что это известный мясник с боен Рима. Этого человека увели в тюрьму. Наконец, на углу улицы, с криками: «Долой христи-

[1] Фраза Брюсовым не дописана.

ан!» — бросились разбивать какую-то маленькую христианскую часовню, намереваясь, конечно, грабить. Наемные войска, по приказу самого консула, пустили в ход оружие, и началась свалка.

Мне все это стало так противно, что я незаметно свернул за угол и, очутившись на пустынной улице, поскакал домой. Мне не хотелось видеть конца зрелища в Капитолии. Я думал об одном, как бы позабыть это осквернение древних обычаев.

«Неужели,— думал я,— древнее римское благочестие погибло навсегда и остались лишь лицемерие, притворство и ложь? Неужели только за деньги можно теперь найти людей, готовых славить Олимпийцев? Неужели...»

Дома, отдав лошадь рабам, я осторожно пробрался к себе, чтобы меня не видела Гесперия; она стала бы упрекать меня за то, что я не исполнил своих обязанностей триумвира до конца.

VII

Мне не пришлось, однако, отдохнуть в тот день. Я лежал, закрыв глаза и предаваясь грустным раздумьям, когда неожиданно ко мне вошел раб с известием, что меня немедленно зовет Гесперия. С неудовольствием и некоторой тревогой я пошел на зов, как ученик школы, которого зовет учитель для выговора.

Гесперия была явно встревожена и взволнована. Она ни слова не сказала мне о том, что я покинул процессию. Но едва я вошел, обратилась ко мне с решительными словами:

— Юний, ты должен немедленно ехать к воротам ‹Капена›. Шайка христиан избивает там наших. Говорят, целое маленькое восстание. Скачи немедленно.

— Domina,— возразил я,— какое же я имею право усмирять восстания? Это дело префекта Города.

— Ах! — гневно воскликнула Гесперия,— не такое теперь время, чтобы говорить о правах! Ты сам знаешь, что и префект, и Флавиан, и все сейчас заняты в процессии. Дело не ждет. Садись на лошадь, собирай вигилей и скачи в лагерь нашего легиона! Спеши!

— Но вигили и легионарии откажутся мне повиноваться,— продолжал возражать я.

— Прикажи им,— еще более гневно воскликнула Гесперия,— и не медли!

Так повелителен был голос Гесперии, что я не посмел ослушаться. Я немедленно вышел, приказал подать мне лошадь, с которой еще так недавно сошел, и поехал через Город к знакомым мне казармам IX корпуса вигилей. Улицы были пустынны, так как все население глазело на процессию. В казармах оказалось всего человек двадцать. Я приказал им вооружиться и следовать за мной. Мы пришли к казарме V корпуса и забрали там тоже человек двадцать. После поисков мне с трудом удалось собрать отряд человек в шестьдесят.

Этот небольшой отряд, не зная, что из того выйдет, я повел к мосту ‹Проба›.

Я был бы весьма рад, если бы вигили меня не послушались, так как это сняло бы с меня тяжкую ответственность; я вспомнил пример ‹Манлия Торквата›, казнившего своего сына за то, что без его распоряжения вступил в сражение с ‹врагом›, хотя и одержал победу. Флавиан, бредивший родной стариной, способен был сделать что-либо подобное и со мной.

Уже когда мы приближались к окраине, мы стали встречать бегущих. Остановив одного из беглецов, я расспросил его, в чем дело. Он мне сказал, что громадная толпа в несколько тысяч человек христиан громит наши храмы и, вооружившись чем попало, идет на Город, чтобы избить, как он кричал, подлых язычников.

Я подумал, что мои шестьдесят человек весьма недостаточны для борьбы с такой толпой, но, вздохнув, повел свое войско дальше.

На поле я увидел действительно большую толпу, может быть, и не больше как человек в пятьсот — шестьсот, которая с палками и вилами грозно двигалась к Городу.

Я видел, что дело опасное, и решил применить военную хитрость. Отделив человек тридцать от своего отряда, я велел им идти через ‹Авентин› в тыл толпы. С остальными я двинулся на толпу и громким голосом приказал ей остановиться. В ответ в нас полетели камни. Я приказал моим вигилям обнажить мечи и быть готовыми к удару.

Вигили вооружены, как известно, только ‹мечом›... Укрытые от метательного оружия только лишь пряжкой на руке, ‹они› приняли рукопашный бой.

Толпа выставила имя Христа и свое самодельное оружие, защищаясь отважно, но я заранее велел не щадить никого, и жестокие мечи рубили женщин. Я сам, впервые участвуя в битве, внезапно почувствовал в себе кровь

моих предков-завоевателей и нещадно рубил всех, подвертывавшихся мне. Несмотря на то, численность нас стала одолевать, и мы принуждены были отступать шаг за шагом. Но тут сбоку, из-за памятников, выбежали наши, посланные в обход, и тоже ударили в толпу. Это решило исход сражения, и мятежники с криками стали рассеиваться.

Мы их гнали некоторое время и еще поражали между могилами. Скоро вся Аппиева дорога и все пространство вокруг было усыпано поверженными телами христиан. Так одержал я первую,— да, впрочем, и последнюю,— победу в сражении «при моих ауспициях». Разумеется, мало было почета в победе над безоружной толпой, но тогда, в пылу увлечения, я искренно чувствовал себя героем, чуть ли не Сципионом, разбившим Ганнибала. Собрав своих вигилей и убедившись, что все целы и число раненных, да и то слабо, весьма незначительно, я торжественно, словно в триумфе, повел их в Город.

Скоро навстречу нам заблестели шлемы. Это центурионы вели мне на подмогу отряд легионариев, вызванный Гесперией. Увидев, что восстание подавлено, центурионы присоединились к моему отряду, и мы продолжали торжественное шествие вместе. В самых воротах Города уже стояла толпа, и я узнал носилки Гесперии. Она первая приветствовала меня как избавителя Рима от страшной опасности.

Потом мы направились к Капитолию, где только что закончились торжества того дня и еще стояла громадная толпа, окружавшая Флавиана. Громкие крики, сопровождавшие нас, известили всех, что случилось что-то особенное. Гесперия приказала нести себя прямо к Флавиану и рассказала ему о моем подвиге, изображая его так, будто я с небольшими силами отбил нападение опасного врага — христианские ополчения, которые, хорошо подготовившись, хотели воспользоваться праздником, чтобы захватить власть в Риме в свои руки. Флавиан благодарил меня как консул, а я, по малодушию, не возражал на похвалы, которых, конечно, никак не был достоин.

Флавиан спросил меня, много ли христиан убито. Я ответил, что не считал, что, во всяком случае, значительное число.

— Их надо рубить без пощады,— сказал Флавиан, нахмурив брови.— Их надо истреблять, как диких волков! Они еще узнают меня!

Потом, повысив голос, он обратился ко всему сборищу:

— Квириты! Нам донесли сейчас о безумной попытке к восстанию, предупрежденной храбростью и бдительностью одного из наших триумвиров. Запомните раз навсегда, что возврата к недавнему прошлому не будет! Никакие мятежи не помогут! Боги возвратились в свой Город и здесь останутся. Все, кто осмелится воспротивиться новому порядку дел, будут истреблены! Я прикажу распять на кресте каждого, кто осмелится поднять руки на храмы богов. Легионы за нас, квириты,— а вы, христиане, будьте счастливы, что мы еще терпим. Я сказал!

Послышались буйные клики, славящие Флавиана, которые я отчасти принимал и на свой счет.

Потом Флавиан, приказав мне ехать с ним рядом, медленно повернул в обратный путь; милитарии ехали впереди, толпа кричала приветствия. И мне казалось, что вместе с именем Флавиана прозвучало и мое.

Во всяком случае, с этого дня мое имя стало известным в Риме. Обо мне стали говорить, как о человеке выдающемся. Кажется, Гесперия старалась раздувать эту молву.

VIII

Последний день празднеств был посвящен играм в Амфитеатре.

Мне эти игры доставили столько же неприятностей, как и представление в театре Помпея. Сильвия непременно хотела идти со мной, и опять напрасно я объяснял ей, что мое положение мне этого не позволяет. Бедная девочка плакала и твердила, что любовь выше всех требований dignitatum.

Кончилось тем, что мы в первый раз поссорились. Я пришел в негодование от упрямства девочки, которая свой бред ставила выше соображений о благе империи.

— Пойми же,— твердил я,— что ты — маленькая девочка, а я тебе говорю о событиях, имеющих значение для ‹государства›. Что значит твоя ревность да и вся наша любовь пред величием всей страны! Разве я должен, разве я смею...

Плача, Сильвия возражала мне:

— Ты мне прежде говорил иное. Ты насильно заставлял меня позабыть ‹Лоллиана›. Ты принудил меня любить тебя. А теперь, когда...

Когда оба мы истощили все свои доводы, Сильвия сказала мне:

— Умоляю, упрашиваю тебя, не ходи вовсе в этот цирк! Хочешь, приди в этот день ко мне. Я буду совсем одна. Мать уйдет... Я буду целовать тебя, как ты хочешь. Я буду совсем твоя, как этого требуют мужчины, понимаешь, совсем твоя, как ты этого захочешь,— только не иди в цирк с этой женщиной!

Искушение было сильное, но, когда я вспомнил о Гесперии, я понял, что не могу уступить ему. Сильвия стала предо мной на колени и обняла мои ноги, умоляя меня, но я решил вырваться из ее объятий и сказал ей:

— Неужели ты думаешь, что я могу продать честь родины хотя бы за твои ласки? Нет, девочка, знай, что благо империи для меня дороже всего — и любви и жизни. Прощай, будь умница! Верь мне, я вернусь к тебе.

Сильвия начала рыдать так сильно, что я боялся, чтобы с ней не сделалось вновь припадка. Но потом вдруг успокоилась и сказала мне яростно:

— Так вот зачем ты звал меня! Я для тебя была просто как игрушка! Теперь я знаю все! Ты любишь ту женщину, а мною только забавляешься. Глупая я была, что поверила тебе! Нет, тысячу раз лучше я вернусь к моему ‹Лоллиану›! По крайней мере, я знаю, что он меня любит.

— Вернись к нему, если хочешь,— зло сказал я и вышел из дому Сильвии.

Она бросилась за мной, с плачем, и я долго еще слышал ее восклицания:

— Юний! Юний! Юний!

Но я, стремясь быть твердым, все же удалился, хотя на душе у меня и было тяжело.

Столь же тяжело было мне собираться на представление ‹в› Амфитеатр. Несколько раз я готов был пойти на все трудности и исполнить просьбу Сильвии — не пойти в Амфитеатр, остаться дома. Но решительные требования Гесперии, которая не допускала и мысли, чтобы я мог так поступить, лишали меня воли. Как в бреду, я облекся в пышную тогу, такую же, какую надевал в театр Помпея и ‹в театр Бальба›. Даже еще в последнюю минуту я готов был малодушно убежать, скрыться. Но Гесперия уже ждала меня опять разодетая, как восточная Семирамида, и я, как кукла, которую дергали за веревку, последовал за ней.

Опять необыкновенно торжественное шествие через весь Город в пышных носилках. Опять толпа, приветствовавшая приход великой Гесперии...

Опять в Амфитеатре, в тех первых рядах, где мы си-

дели, пришлось мне выслушивать льстивые речи разных молодых и старых людей, завидовавших моему незаслуженному успеху, беседовать с сенаторами и консулом, с префектами и ⟨другими⟩. Но мне было тяжело.

Самой игры я не помню. Она прошла для меня, как во сне, потому что одна мысль — о Сильвии — стояла в моей душе.

Были скачки синих и зеленых; было торжественное шествие авриг. Авриги летели стремительно и падали. Народ на спине и в кунеях кричал. Люди выигрывали и проигрывали. ⟨Был⟩ бой со зверями. Потом было мимическое представление.

Ничего этого я не видел, погруженный в раздумье настолько, что Гесперия не раз шепотом напоминала мне, что на нас обращают внимание и что мой печальный вид может подать повод к толкам о дурных вестях с войны... Я употребил все усилия, чтобы казаться беспечным.

Когда кончились игры, нас провожала толпа сенаторов до самых носилок. Все наперерыв воздавали хвалы изумительным играм, подобных которым будто бы Рим не видел со времен Валентиниана. Все говорили так, словно Гесперия была единственной устроительницей празднеств.

Наконец мы сели в носилки, и нас понесли. По дороге, совершенно случайно, произошла странная встреча. На углу, где стечение народа сделало движение невозможным, мы были принуждены остановиться. Гесперия приоткрыла занавес и раздраженным голосом спросила меня, неужели и нам не дают дороги. Я ей что-то ответил.

Но в это время я взглянул в толпу и вдруг увидел Сильвию, которая стояла рядом с ⟨Лоллианом⟩ и смотрела на нас. Сердце мое упало. Я едва не выпрыгнул из носилок, чтобы бежать к ней, но овладел собой, поняв, что это было бы неприлично и что все равно я ничего не мог бы сделать сейчас. К тому же наши рабы растолкали толпу, и движение возобновилось. Я еще раз взглянул на Сильвию: она все смотрела на меня глазами не то укоряющими, не то торжествующими. Я совершенно весь похолодел, как мертвец.

Мы направились домой, так как в этот день у Гесперии должны были обедать все наши.

Прибыв домой, Гесперия направилась к себе, чтобы переодеться, а меня остановил раб и передал мне письмо, которое, по его словам, доставил без меня раб какого-то купца из Массилии. Я сломал печать. То было письмо от моей жены. Это было как бы той последней каплей, от

которой проливается полный сосуд. Еще не прочтя письма, я залился слезами.

Придя в себя, я прочел вот что:

«Лидия Юнию, здравствуй! Потому я пишу тебе, что пишу в последний раз. Много я плакала о тебе, потому что я любила тебя всей любовью женщины. Любила, говорю я, хотя люблю и теперь и никогда не буду любить никого другого,— но уже я отказалась навсегда от земной любви. Знай, мой возлюбленный супруг, что я отреклась от этой земной жизни, которая дала мне столько скорби, чтобы приобщиться к жизни иной, как невеста Христа. Ни в чем не подобает мне теперь упрекать другого, и я все простила тебе, Юний, хотя велика и нестерпима была та скорбь, которую ты мне причинил. Знай, что последнее дитя наше умерло в самый день твоего отъезда, и я плакала одна, я осталась одна со своей печалью и своим отчаянием, тщетно призывая тебя, кого я так любила и который не захотел облегчить мне моих страданий. Потом я получила вести о тебе от людей верных и знала все, как проходят твои дни в Городе. Но не думай, что это лишь женская ревность побудила меня на мое решение. Нет, я могла бы, если все, что я знаю, считать правдой, перестать быть твоей женой, хотя я люблю тебя, но... познай истину. Возлюбленный мой супруг, свет Христов осиял меня, и тайна просветила меня. Познав же истину, я уже не могу не следовать ей и следовать всем моим грехам прошлого, <невозможно>, чтобы я не искала всех средств искупить и замолить их. Возлюбленный мой супруг! Если голос той, которой ты говорил когда-то о своей любви и которая любила тебя бóльшей любовью, чем дозволено нам любить на земле смертного человека, значит что-либо для тебя,— услышь мои последние слова, которые я произношу прежде чем, как отказаться от мира. Воззри на ту истину, от которой ты всегда отвращался и от которой пытался отвратить меня. Подумай о безумии своих заблуждений, которые не могут не опротиветь твоему уму, ясному и сильному, и обрати думы к единственно истинной вере, к единственному спасению...

Брат мой во Христе, ты, кто был моим возлюбленным и отцом моих умерших детей,— в последний раз целую тебя заочно и заклинаю тебя: не иди против всемогущего, вспомни слова, услышанные Савлом: «Трудно тебе прати против рожна». Предвижу гибель твою и, любя тебя, заклинаю: оставь, пока не поздно! Прими мое целование и здесь Лидия сказала — vale».

Я был потрясен этим письмом. Целый хаос воспоминаний, чувств нахлынул на меня, как поток, прорвавший плотину. Я плакал, я отчаивался, я готов был тотчас ехать в свою родную Васкониллу. Я желал во что бы то ни стало увидеть Лидию, сейчас, немедленно, чтобы сказать ей, что люблю ее одну, что все мои последние поступки были безумием, злым наваждением, волшебным чародейством. Мне было душно, и временами мне казалось, что я сейчас упаду.

Пришли меня звать к обеду. Я приказал сказать, что болен и не могу идти. Гесперия прямо возмутилась и даже пришла сама. Но, должно быть, вид мой был таков, что она не посмела настаивать. Мрачно я посмотрел на нее, одетую как меретрика, с голыми руками и полуголыми грудями, и сказал ей резко:

— Я не пойду к твоим гостям сегодня!

Гесперия побледнела под слоем своих румян и проговорила сквозь зубы:

— Тем хуже для тебя. Ты раскаешься.

Она ушла, а я опять бросился на ложе, целовал письмо Лидии и плакал долго и упоительно.

IX

Утром на следующий день меня разбудил раб, говоря, что меня настойчиво спрашивает какая-то женщина. Это оказалась соседка, посланная Таррацией, матерью Сильвии. Совершилось ужасное дело. <Какой-то> юноша, поссорившись ночью с Сильвией, убил ее ударом кинжала, и мать, бедная мать, умоляла меня прийти к ней на помощь и отомстить за убийство.

Такое известие подействовало на меня, как удар грома. Я онемел, я едва мог стоять на ногах. На минуту опять в моей голове смешались времена, и мне казалось, что это я услышал весть о смерти маленькой Намии или о самоубийстве моего друга Ремигия. Вчерашнее письмо Лидии, эта ужасная смерть Сильвии,— неужели, неужели я тот несчастный, который приносит гибель всем, приближающимся к нему?

Я бросился к дому, где жила Сильвия. Но пока я бежал по улицам, тяжелое раздумье овладело мною. Я думал: «Зачем я пойду в этот дом? Зачем мне видеть труп бедной девочки и ее окровавленную грудь? Чем я могу помочь матери в ее неутешном горе?..»

ПРИМЕЧАНИЯ

В творчестве В. Брюсова были два периода, когда античные темы играли для него особенно важную роль. Первый — это 1890-е годы, второй — 1910-е годы. В первый период это дало стихи из знаменитого цикла «Любимцы веков», юношеские драмы о Помпее, об Октавиане, о Каракалле, повесть «Легион и фаланга», переводы из «Науки любви» Овидия и первый подступ к переводу «Энеиды», замыслы «Истории римских императоров», монографию «Нерон» и т. п. Во второй период это дало романы «Алтарь Победы» и «Юпитер поверженный», повесть «Рея Сильвия», замысел книги очерков «Aurea Roma (Золотой Рим)», новый перевод «Энеиды», серию переводов из римских лириков («Римские цветы», «Erotopaegnia»), начало «Истории римской лирики», курс лекций «Рим и мир (падение Римской империи)». Многое из этих работ осталось незавершенным, очень многое — неопубликованным; но все они складываются в два внутренне цельных комплекса опытов по освоению и осмыслению античности.

Между взглядами Брюсова на античность в 1890-х и 1910-х годах существует очень большая разница. В 1890-х годах в брюсовском отношении к античности не было историзма — то есть внимания к исторической конкретности, своеобразию и взаимосвязи явлений. Брюсова интересовало в его героях не то, что в них было конкретно-исторического, а то, что в них было надысторического, что позволяло Ассаргадону, Александру, Баязету и Наполеону подавать друг другу руки через голову веков в пантеоне брюсовского культа мощной личности. В 1910-х годах в центре внимания Брюсова стоит уже не личность, а общество, на смену стихам о героях прошлого приходят стихи о культурах прошлого, на смену стихотворению об Александре («Tertia Vigilia») — стихотворение о деле Александра («Зеркало теней»); стихотворный обзор смены мировых цивилизаций от Атлантиды до современности присутствует едва ли не в каждом новом сборнике Брюсова, начиная с «Семи цветов радуги»; около 1912 г. задумываются «Сны человечества», исполинский цикл стилизаций поэзии всех времен, а около 1916 г.—«Филь-

© Издательство «Художественная литература», 1975 г.

мы веков», серия исторических картин в прозе из жизни человечества от первобытных времен до наших дней [1].

Отчего произошел у Брюсова этот перелом к более конкретному историзму, понять легко. Между ранним и поздним Брюсовым пролегла русско-японская война и революция 1905 г., наполнившая новым, в высшей степени конкретным содержанием то неопределенное ощущение «конца века», fin de siècle, которое было общим для всего поколения. Отсюда и особая роль темы «античного декаданса» для Брюсова. Она была общей для европейского модернизма едва ли не со времен Верлена («Я римский мир периода упадка...»). Но европейским писателям не приходилось делать из римского опыта таких практических выводов, какие пришлось делать русскому писателю.

В центре внимания Брюсова 1910-х годов — Рим IV в. н. э. В эту эпоху происходит действие обоих его романов, поэтов этой эпохи он усиленно переводит (Авсония, Пентадия и других, еще менее известных), эту эпоху он собирается описать в очерках «Золотой Рим». Принято считать, что IV век — это время упадка Римской империи. Брюсов с этим не согласен. Для него это — время высшей зрелости античной цивилизации, наибольшей полноты осуществления всех качеств, в ней заложенных: «IV век был веком высшего расцвета римской идеи, когда римский мир пожинал плоды посеянного; то была эпоха, когда не надо было ни завоевывать, ни организовывать, ни искать, но удерживать завоеванное, сохранять сделанное, углублять найденное в искусстве и литературе» [2]. Если через каких-нибудь сто лет блистательная цивилизация рухнула под натиском христианства изнутри и варваров извне, это не означает, что она была в упадке. Брюсов не боится парадокса: «Падение — не аргумент (повторим выражение Ницше). Если государства центральной Америки пали под ударом полудиких конкистадоров, не следует, что они недостойны были существовать. Если римский мир был сокрушен германскими племенами, не следует, что Риму нельзя было развиваться далее».

Отчего же Рим погиб и античная цивилизация уступила место христианской? Брюсов отвечает: именно потому, что античность уже сказала все, что могла сказать, уже раскрыла до предельной яркости какую-то грань того гения Человека и Человечества, которому Брюсов пел гимны всю жизнь; [3] и теперь настало время

---

[1] План и предисловие опубликованы в кн.: В. Брюсов. Неизданная проза. М., 1934, с. 4—6; упоминания Яфетидского царства и Армении указывают на время не ранее 1915 г.

[2] «Золотой Рим», гл. 7.— *ГБЛ*, ф. 386.48.11, листы ненумерованные. Следующая цитата — оттуда же.

[3] Эта концепция смены культур, декларированная Брюсовым еще в пьесе «Земля» (1904), подробно разобрана в статье: П. Н. Берков. Проблемы истории мировой культуры в литературно-художественном и научном творчестве Валерия Брюсова.— «Брюсовские чтения 1962 года», Ереван, 1963, с. 30—34.

раскрыть какую-то другую его грань. Христианская цивилизация, по мнению Брюсова, сменила античную не потому, что она более высокая или более передовая, а просто потому, что она — иная. Понятие прогресса чуждо Брюсову этих лет. Сменой культур правит не историческая закономерность, доступная уму, а неисповедимая воля судьбы, доступная только чувству. («Ты веришь в силу. Так раскрой глаза — и ты увидишь, что сила на нашей стороне»,— говорит герою «Юпитера поверженного» отец Николай. И далее: «Не надо различать только правых и неправых перед нашим человеческим судом... Надо выбирать правых перед таинственной Судьбой — вот решение мудрости, и оно всегда приведет на сторону сильных»). Отказ от теории прогресса и переход к теории самозамкнутых цивилизаций — явление, общее в буржуазной философии истории начала XX в.: Брюсов шел здесь в ногу со временем.

Из этого понимания истории следовал вывод, важный для художественной практики Брюсова. Так как все сменяющие друг друга цивилизации равноправны и самоценны, то каждая из них интересна не тем, что в ней общего с другими, а тем, что в ней отличного от других. А это значит, что, рисуя иную эпоху, Брюсов всеми силами подчеркивает ее экзотичность, ее отдаленность от нашей. Именно поэтому он насыщает и перенасыщает свои римские романы археологическими реалиями и лексическими латинизмами; именно поэтому он стремится в своих переводах из римских поэтов к такому режущему слух буквализму, какой совершенно чужд его переводам, например, из французских поэтов. Когда он называет светильник «луцерной», бассейн «писциной», а кинжал «пугионом», он знает, что от этого ни один читатель не представит яснее этих предметов, но знает, что зато каждый читатель почувствует в них нечто отдаленное и экзотическое; а это ему и нужно. «Ее волосы, частью завитые каламистром, были потом собраны на затылке в пышный тутул... потом на золотых криналях были укреплены на висках особые цинцинны»; «нам были предоставлены места в первом мениане, поблизости от подия, тотчас же за сенаторскими, и притом в кунее, приходившемся как раз против первой меты»,— вот фразы, характерные для брюсовского декоративного историзма.

Здесь необходима одна оговорка. Есть лишь одна область, в которой Брюсов нисколько не заботится об эффекте отдаленности и, напротив, не стесняется никакой модернизацией. Это эротика. Любовь IV в., изображаемая в «Алтаре» и «Юпитере», ничуть не отличается от любви XVI в., изображаемой в «Огненном ангеле», и от любви современной и будущей эпохи, изображаемой в рассказах и повестях Брюсова[1]. Это не случайность, а принцип: для

[1] Отмечено еще в статье: А. И. Белецкий. Замыслы Брюсова — прозаика.— Журн. «Художественная литература», 1934, № 9, с. 49.

Брюсова страсть вечна, ибо она — стихия, а исторические декорации преходящи, ибо они — культура; цивилизации сменяются, а страсть остается одна и та же и в пещерном человеке, и в римлянине, и в человеке наших дней. Эта тема станет одной из самых устойчивых в послереволюционной поэзии Брюсова.

Описываемая концепция смены мировых культур сложилась у Брюсова в 1909—1913 гг. Это были годы последней стабилизации старого режима Российской империи и годы временного «приятия действительности» в дореволюционном творчестве Брюсова. Русскую и европейскую культуру своего времени Брюсов явно представляет себе такой же, как римская IV в.: зрелой и могучей, хотя и предчувствующей скорое столкновение с «варварами» («варваров», для полноты сходства, Брюсов представляет себе не столько классовыми, сколько расовыми врагами: это — носители азиатских и африканских культур, в противоположность европейской [1]). И когда годы мировой войны и революции разом опрокинули представления Брюсова о современности, ему вместе с этим пришлось пересмотреть и свои представления о поздней античности и о смене культур во всемирной истории.

Пересмотр этот шел в трех направлениях. Во-первых, расширился круг рассматриваемых культур: кроме перехода от античной культуры к современной, Брюсов живо интересуется переходом от доантичных культур к античной и даже от гипотетической атлантской — к доантичным («Учители учителей» и смежные работы). Во-вторых, наряду с политическими и культурными явлениями Брюсов впервые обращает усиленное внимание на явления социальные: экономические реформы в Риме, народные волнения, военные мятежи (курс лекций «Рим и мир», незаконченная статья «Времена тридцати тиранов» [2]). В-третьих,— и это главное,— меняется взгляд Брюсова на самый характер смены культур; теперь он подчеркивает не своеобразие сменяющихся цивилизаций, а их общность, их единое культурное наследие, передаваемое из эпохи в эпоху, от учителей к ученикам. В статье 1918 г. «Смена культур» [3] он прямо провозглашает, что «нарождение» совершенно новой культуры — вещь почти немыслимая и что каждая новая культура есть прежде всего переработка и синтез наследия предыдущих. «Как же должны мы себе представлять гибель новоевропейской культуры и замену ее другой?» На этих словах обрывается статья, но

---

[1] Эта мысль неоднократно мелькает в статьях и набросках Брюсова 1910-х годов; даже в статье «Эпоха чудес» (газ. «Новая жизнь», 1918, 1 июня), уже после Февраля и Октября, Брюсов думает, что пережитые социальные потрясения — лишь предвестие будущих национальных потрясений, переселений народов и пр.

[2] *ГБЛ*, ф. 386.49.3 и 10—20.

[3] В архиве Брюсова не сохранилась; приводится у П. Н. Беркова, ук. соч., с. 51.

ответ Брюсова ясен: как христианская новоевропейская культура развилась, лишь впитав в себя наследие античной, так и коммунистическая культура будущего разовьется, лишь усвоив наследие современной культуры. А передать это наследие должны его носители — люди, подобные самому Брюсову. Выражаясь по-современному, можно сказать, что Брюсов сознательно моделирует свое приятие революции по образцу приятия христианства образованным римлянином IV в.— таким, как Юний, герой «Алтаря Победы» и «Юпитера поверженного». «Раскрой глаза — и ты увидишь, что сила на нашей стороне»,— говорил Юнию отец Николай. Брюсов «раскрыл глаза» и стал на сторону «правых перед таинственной Судьбой».

Так вписывается проблематика «римских романов» Брюсова в общий ход его идейной и творческой эволюции, который вел писателя от индивидуализма и «сверхчеловечества» ранних лет к приятию революции и советской власти.

Разумеется, эта перемена взглядов Брюсова на историю еще никоим образом не означала, что он овладел историческим материализмом. Слишком многие факторы исторического процесса оставались для него скрыты за понятием «таинственной Судьбы». Да и сама марксистская историческая наука в это время лишь начинала подступаться к проблемам античной истории. Однако для Брюсова-художника его эмоциональный историзм оказался бесспорно благотворен. Он удержал писателя от обеих крайностей, обычных в романах XIX в. на позднеантичные темы,— от ностальгии по идеализированной античности и от умиления перед идеализированным христианством. И он помог ему достичь лучшего, что есть в его «римской дилогии»,— художественной достоверности, точности и яркости бытового, «археологического» фона эпохи.

Стремясь полнее воссоздать историко-культурное своеобразие изображаемого мира, Брюсов старательно изучал первоисточники и научную литературу о Риме IV в. В заметке из цикла «Miscellanea» (ок. 1912 г.) он с гордостью писал: «Последнее время исключительно занимаюсь древним Римом и римской литературой, специально изучал Вергилия и его время и всю эпоху IV века — от Константина Великого до Феодосия Великого. Во всех этих областях я, в настоящем смысле слова, специалист; по каждой из них прочел целую библиотеку». Петербургский профессор-классик А. И. Малеин, консультировавший Брюсова, вспоминает: «В. Я. Брюсов весьма усердно готовился к выполнению этой темы. Он перечитал для нее буквально всех латинских писателей той эпохи, не исключая даже и грамматиков. Везде, даже и в их утомительно монотонных перечнях правил и исключений, хотел он уловить живое веяние

того времени и очень огорчался, что эти длительные розыски давали далеко не соответствующие затраченным трудам результаты: «Всячески сетую на писателей IV в., что они так заботились о красоте слога и так, сравнительно, мало говорили об окружающей жизни: урок современным писателям и, прежде всего, мне самому» (Письмо от 30 июля 1911 г.). Как велика была добросовестность Брюсова, показывает сделанное тогда же замечание его: «Перечитывая «Юлиана-Отступника» Мережковского после внимательного изучения Аммиана Марцеллина, я нахожу у Мережковского столько анахронизмов и промахов против «эпохи», что сейчас боюсь буквально за каждое свое написанное слово»[1].

Перечень источников, приложенный к «Алтарю Победы», действительно занимает целых шесть страниц. Однако главных пособий у Брюсова было не больше десятка. Для общей картины это — «История римлян» В. Дюрюи и «История упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиббона; для борьбы язычества и христианства — «Церковь и Римская империя» А. де Брольи и «Падение язычества» Г. Буассье; для состояния римских провинций — V том Моммзена; для состояния Рима — «История города Рима» Ф. Грегоровиуса и «Римский форум» А. Тедена; для деталей быта — «Лексикон» Р. Кагья и потом «Частная и общественная жизнь римлян» П. Гиро; все остальные пособия использованы раз или два, не более. Большинство этих книг — далеко не новые (даже для эпохи Брюсова), а отчасти даже не столько научные, сколько научно-популярные.

Эти книги служили Брюсову как бы путеводителем по античным источникам. Материалы, сохраненные Брюсовым в папке «Золотой Рим»[2], показывают как бы три стадии его работы. Первая — это карандашные записи по ходу чтения той или иной книги, на разные темы, в последовательности страниц; вторая — чернильные записи, систематизирующие эти выписки по темам («Города», «Дороги и акведуки», «Гражданское управление империей», «Костюм» и т. п.); третья — наброски связного изложения, обычно небольшие — они должны были войти в книгу «Золотой Рим». Большинство заметок — это записи фактов с двойным указанием на источник: «сообщается Сульпицием Севером там-то, приведено у Дюрюи там-то». Без «вторых рук» Брюсов обращается лишь к немногим авторам: Аммиану Марцеллину, Авсонию, Симмаху, Августину, «Историкам эпохи августов». В предисловии к «Золотому Риму» Брюсов сам признает, что брал факты из вторых рук и только проверял их по первоисточникам.

---

[1] А. Н. Малеин. В. Я. Брюсов и античный мир.— «Известия Ленинградского университета», т. 2, 1930, с. 186.

[2] В предисловии к «Золотому Риму» Брюсов сам пишет, что замысел этой книги возник «из подготовительных работ для романа «Алтарь Победы».

Отбирая из этой груды выписок материал для использования в «Алтаре Победы», Брюсов подчинял его двум основным темам: первая из них — великолепие Рима, вторая — обреченность Рима. Первая раскрывается в романе главным образом в описаниях, вторая — в речах персонажей.

Именно в описаниях мест действия текст более всего насыщен экзотическими латинизмами и уснащен упоминаниями дальних стран, откуда предметы роскоши привозились в Рим (эта тема, всегда дорогая Брюсову, даже отпочковалась в отдельное «Приложение»). Брюсов нарочно показывает своего героя на фоне всех возможных римских декораций: перед читателем проходят корабль, порт, дом, улицы, форумы, таберна, школа, лупанар, молельня гностиков, термы, дорога, храм, мастерская, дворец, тюрьма, цирк, военный лагерь, усадьба, крестьянская хижина; подробно описываются похороны, пир, цирковые игры, сражение и пр. На этом фоне контрастно прослеживается цепь речей и споров, цель которых — показать, что «римский дух» уже исчерпал себя. Основные звенья этой цепи: речь Ремигия в похвалу Риму и тотчас за ней — речь Тибуртина об упадке римских нравов; рассуждения Симмаха об обреченности Рима, а затем спор Симмаха с Эцием о неизбежности перемен в Риме и спор Симмаха с Амбросием о неизбежности перемен в вере; речь Валерии о единстве всех вер и беседа отца Николая об отмирающей старой и торжествующей новой вере; и наконец, после наглядного противопоставления старой и новой культуры в их отношении к смерти (с одной стороны — самоубийство Ремигия и убийство раба заговорщиками, с другой стороны — самоубийство Меробавда и гибель фанатиков-христиан)— полные сомнений и колебаний размышления самого Юния в конце IV книги. Завершение этого идейного лейтмотива — речь отца Николая о бесконечной смене религиозных истин — вынесено за пределы «Алтаря Победы», в роман «Юпитер поверженный».

Все эти элементы, составляющие роман, организуются в единое целое и сюжетом и стилем.

В разработке сюжета Брюсов широко опирался на опыт своего предыдущего романа — «Огненного ангела». Как там центральная ситуация — женщина между двух мужчин, так здесь — мужчина между двух женщин. Гесперия как бы представляет стремление к царству земному, а Рея — к царству небесному; одна открывает герою и читателю мир знати, другая — мир простонародья; ради первой герой участвует в покушении на Грациана, ради второй — в альпийском восстании. Сам характер Реи до некоторой степени напоминает характер Ренаты; а картины религиозных оргий, ею предводимых, имеют аналогии не только в «Огненном ангеле», но и в «Земной оси» («Последние мученики») и в «Ночах и днях» («Ноч-

ное путешествие»). С такой же симметрией расположены вокруг образа героя и два второстепенных женских образа: старая Валерия и маленькая Намия[1].

В разработке стиля задача Брюсова была труднее. Вслед за «Огненным ангелом» он и в новом романе обратился к рассказу от первого лица. Но здесь у него не было таких образцов, какие давала проза Возрождения; единственным таковым могла бы быть «Исповедь» Августина, но это был явно неподходящий образец. Поэтому Брюсов и не пытается стилизовать свой рассказ под латинскую прозу и довольствуется тем, что насыщает его реминисценциями из римских поэтов и в речах персонажей умело имитирует приемы античной и христианской риторики.

Положение несколько меняется при переходе от «Алтаря Победы» к «Юпитеру поверженному». Здесь материал Брюсова скудеет: и описания исторических декораций, и споры о Риме и вере во всем основном уже были использованы в первом романе и не должны были повторяться (Брюсов предвидел это сокращение материала: в проспекте «Полного собрания сочинений» 1912 г. он отвел для «Алтаря» два тома, а для «Юпитера» только один). Средства сюжетной напряженности также были исчерпаны; за неимением лучшего Брюсов пошел на самоповторение и ввел в новый роман образ Сильвии, откровенно повторявший образ Реи (в ранних планах «Юпитера поверженного» Сильвии еще нет, и действие однолинейно развертывается вокруг политической авантюры Гесперии); но и он оказался сюжетно не связанным с действием романа[2]. Тем более важной оказалась для Брюсова возможность использовать здесь организующие средства стиля: предположив, что герой описывает события не по горячим следам, как в «Алтаре Победы», а спустя много лет, из монастырской старости с осуждением оглядываясь на свою языческую молодость, Брюсов создал эффектную стилистическую перспективу между рассказчиком и рассказом. Первые главы «Юпитера поверженного»—отличный образец имитации стиля латинских христианских авторов, и прежде всего «Исповеди» Августина.

Однако выдержать такой стиль на протяжении всего романа оказалось слишком трудно. Со второй книги «Юпитера поверженного» следы стилизации исчезают, рассказ ведется в том же привычном тоне, что и в «Алтаре Победы». Черновик Брюсова становится все более торопливым, автор записывает лишь основной ход развития событий, помечая то и дело на полях: «подробнее!» и т. п. В сюжете остаются неувязки (например, должность Юния в Риме

[1] V. Setschkareff. Narrative prose of Brjusov.— «International Journal of Slavic Linguistics and poetics». 1—2, 1959, p. 237—265.

[2] Может быть, с образом Сильвии связан глухой намек И. М. Брюсовой относительно автобиографических мотивов, имеющихся в «Юпитере поверженном» (см. «Неизданная проза», М., 1934, с. 171).

называется то «префект вигилей», то «триумвир по восстановлению храмов»), фразы не дописываются и заканчиваются многоточиями или «etc», целые эпизоды записываются конспективно или совсем пропускаются (тавроболия и пир Флавиана), имена лиц перепутываются, для топографических и бытовых реалий оставляются пробелы. (В настоящем издании большинство таких случаев оговорено в примечаниях.) Совершенно явно Брюсов решил отложить разработку античного колорита и стиля до следующей стадии работы над текстом; но эта стадия так и не наступила. Образ Сильвии подсказал писателю тему отдельной повести «Рея Сильвия», он отвлекся от романа и более не возвращался к нему, если не считать эпизодических попыток переработки в 1914 (?) и 1918 гг.; но оба раза дело не пошло дальше начальных глав.

Необычайная насыщенность историческими реалиями делает римские романы Брюсова трудным чтением для современного читателя. Брюсов пытался отчасти смягчить эту трудность, снабдив «Алтарь Победы» обширными примечаниями. Но, во-первых, сам постраничный порядок примечаний делал их разрозненными, мешал сложиться в общую картину, а во-вторых, они все же были рассчитаны на читателя подготовленного, и сведения, знакомые ему из гимназического курса, в них не разъяснялись. Поэтому целесообразно дать здесь краткий и связный обзор исторической обстановки, в которой развертывается действие «Алтаря Победы» и «Юпитера поверженного».

Действие «Алтаря Победы» происходит в 382—383 гг. (четыре книги приблизительно соответствуют осени, зиме, весне и лету), действие «Юпитера поверженного» — в 393—394 гг. (начало весной, конец летом). Это — последний век существования Римской империи: меньше ста лет прошло с тех пор, как императоры Диоклециан (284—305) и Константин (306—337) вновь утвердили императорскую власть после долгой анархии, и меньше ста лет оставалось до тех пор, когда после двух германских нашествий (410—455) императорская власть в Риме прекратится окончательно (476 г.). У историков этот период называется «христианской империей» или «доминатом».

Римская держава в эту пору занимала всю Южную Европу, Переднюю Азию и Северную Африку; северной ее границей были Рейн и Дунай, восточной — Евфрат и Сирийская пустыня, южной — Сахара, западной — океан. На всех границах она подвергалась натиску «варварских» народов: на Рейне — германцев, на Дунае — готов, на Евфрате — персов. Чтобы противостоять этому натиску, императоры обычно правили империей вдвоем: один — западной половиной, из Рима, другой — восточной, из Константинополя.

Восточным императором в описываемые годы был Феодосий (379—395), западными — Грациан (375—383) и Евгений (392—394). Связь между двумя половинами империи все более слабела: Юний и его друзья в Риме мало знают и мало думают о событиях на Востоке.

Императорская власть была самодержавной и считалась священной: император носил титул «августа», к нему обращались «ваша святость» и «ваша вечность», перед ним преклоняли колени, он носил диадему и пурпурное облачение, его церемониальный выход обставлялся с театральной торжественностью и пышностью. Высшим органом власти был императорский совет — консисторий, главным лицом в котором был магистр оффиций — нечто вроде министра внутренних дел или начальника императорской канцелярии. Лишь как пережиток республиканского прошлого продолжал существовать сенат, собиравшийся в здании «курии» близ римского форума, но власти он никакой не имел; продолжали назначаться ежегодно два консула, именами которых обозначался год, но это было лишь почетное звание.

Империя делилась на четыре префектуры, префектуры—на диэцесы, диэцесы — на провинции; наместники в них носили звания префектов, викариев, пресидов, корректоров, прокураторов и пр.; начальники войск назывались комитами и дуксами. Город Рим управлялся особым «префектом Города», которому был подчинен, между прочим, «префект вигилей», начальник городской стражи,— пост, на который был назначен Юний. Провинциальные города (например, Лактора, родина Юния) управлялись городским советом (курией), члены которого назывались декурионами (или куриалами); но их деятельность сводилась к заботе о выплате налогов. Из больших городов империи в романе чаще всего упоминаются Медиолан (Милан), Треверы или Тревиры (Трир), Лу́гдун (Лион), Массилия (Марсель), Бурди́гала (Бордо).

Государственной религией империи было христианство. Еще в 313 г. император Константин объявил христианство равноправным с язычеством, а потом и сам принял крещение; преемник Константина Констанций (337—361) начал прямое наступление на язычество, запретив жертвоприношения богам и закрывая древние храмы. Это вызвало языческую реакцию — возврат к традиционным культам в недолгое правление Юлиана (361—363), прозванного христианами Отступником, а язычниками — Восстановителем (сыном этого языческого героя объявляет себя в «Алтаре Победы» Юлианий). Затем все повторилось сначала: новый император Валентиниан I (364—375) восстановил равноправие христианства с язычеством, а его преемники — на Западе его сыновья Грациан и Валентиниан II (383—392), опекаемые энергичным миланским епископом Амвросием, на Востоке же упомянутый Феодосий — вновь начали пасту-

пление на язычество, запрещая культы, закрывая и громя храмы. За этим естественно последовали новые попытки языческой реакции, но уже робкие и безнадежные: первой такой попыткой было дело об алтаре Победы (383), второй — выступление Арбогаста и Евгения (392—394); первая попытка была пресечена решительным сопротивлением Амвросия, вторая — военными действиями Феодосия. Делу об алтаре Победы посвящен первый роман брюсовской дилогии, выступлению Евгения — второй роман.

Следует помнить, что само христианство в это время еще не пришло к внутреннему единству. Господствующей ортодоксальной церкви (в лице, например, Амвросия) приходилось усиленно бороться, с одной стороны, против рационалистического течения в христианстве — так называемого арианства, и с другой стороны — против разнообразных мистических сект, часто проповедовавших скорый конец света и царство божие на земле (то есть социальную революцию в религиозном осмыслении). Об арианстве в романах упоминается лишь мимоходом: Юния и его друзей мало интересуют споры в недрах новой религии. Зато революционно-мистические «ереси» заняли видное место в романе через сюжетную линию Юния—Реи.

Господство христианства в IV в. еще не успело заглушить языческой основы античной культуры. Образование в христианской империи продолжало распространяться через сеть грамматических и реторских школ, и в основе его лежали память о древней истории, традиция древней литературы и арсенал древней мифологии.

История в представлении римлян IV в.— это исключительно римская история: из греческой истории они лишь раз-другой вспоминают хрестоматийные образы героев греко-персидских войн Фемистокла и Леонида. Из римской истории современники Юния хорошо помнят события последнего столетия — Константина, Юлиана, Валентиниана; «обновитель Рима» Диоклециан (284—305) для них уже довольно далекое прошлое; предшествующий этому период анархии III в. (упоминаются императоры Александр Север, Галлиэн, Карин, Аврелиан) для них отдален приблизительно так, как для нас — 1812 г.; период расцвета империи при Траяне и Антонинах (II в.) — так, как для нас эпоха Петра I и Екатерины II; основание империи Цезарем и Августом (конец I в. до н. э.— начало I в. н. э.) — так, как для нас избрание Романовых на царство (эти сравнения употреблены самим Брюсовым в его неизданных лекциях «Рим и мир»). А далее в древность простиралась эпоха республики, казавшаяся уже полусказочным временем доблести и героизма; Нума Помпилий (VIII в. до н. э.) для Юния только символ мудрости, Лукреция (VI в.) — целомудрия, Цинциннат (V в.) — простоты, Фабриций (III в.) — прямоты, Регул (III в.) — стойкости, Брут (I в.) — гражданского мужества; и почти одина-

ковы для него основатель Рима Ромул (VIII в.), восстановитель Рима после галльского нашествия — Камилл (IV в.), спасители Рима от ганнибаловых карфагенских (пунийских) войск — Фабий Кунктатор и Сципион Африкан (III в.).

Литература для Юния существует тоже только римская; из греков им цитируются только Гомер и Эсхил да упоминаются понаслышке Сократ, Платон и другие философы. Римских писателей эпохи республики, даже самого Цицерона (I в. до н. э.), он тоже вспоминает редко, делая исключение лишь для любовной лирики Катулла и уже полузабытого Кальва. Зато Юний блестяще знает и охотно цитирует классических поэтов эпохи Августа (конца I в. до н. э.): Вергилия («великого мантуанца»), Овидия, реже — Горация и Тибулла. Из писателей эпохи империи (I — II вв. н. э.) отец Юния питает склонность к философским сочинениям Сенеки, сам же Юний предпочитает вспоминать легкомысленные романы Петрония и Апулея да порой — сатиры Ювенала и, как образец изящного слога, письма Плиния Младшего; к громоздким эпическим поэмам Лукана и Силия Италика он равнодушен. В современной литературе единственные почитаемые им авторы — престарелый поэт Авсоний, бывший воспитатель императора Грациана, и прозаик Симмах, автор речей и писем, одно из действующих лиц «Алтаря Победы».

Мифологическая ученость проявляется в романах прежде всего изысканной краткостью намеков на древние сказания. Как нечто общеизвестное упоминаются любовь нимфы Эноны и троянского царевича Парида (Париса), Гемона и фиванской царевны Антигоны (дочери Эдипа), богини Дианы и пастуха Эндимиона; томление покинутой Лаодамии (героини драмы «Протесилай умерший», написанной Брюсовым в эти же годы) и Элиссы (другое имя Дидоны, героини «Энеиды»), безумие Аянта (Аякса), месть Атрея (накормившего брата мясом его детей), гибель Ниобы, обращенной в камень, и Актеона, растерзанного собаками; загробные муки жаждущего Тантала, колесованного Иксиона, катящего камень Сисифа, прикованного Пирифоя, наполняющих бездонную бочку Данаид; чудовища — Сцилла с шестью руками, Медуза с окаменяющим взглядом, великан Антей, Аргус, чьи сто очей украсили потом павлиний хвост, и др. Боги часто обозначаются упоминанием эпитетов или перифрастическими именами: Юпитер — Статор, Сатурний, Отец Богов, Optimus Maximus («всеблагой и величайший»); Марс (в транскрипции Брюсова — Март) — Градив; Вакх (в транскрипции Брюсова — Бакх) — Либер; Солнце — Титан; Меркурий — Циллений; Диана — Латония; Юнона — Сатурния; Венера — Киприда, Диона, Цитерея, Аматусия, Пеннорожденная богиня и пр. Кроме традиционных олимпийских богов, в романах упоминаются

египетские Исида, Осирис, Анубис, персидский Митра (Мифра), сирийский Баал (Ваал), малоазиатская Матерь богов и другие боги восточных религий, привившихся в Риме.

Все эти исторические реалии, густо насыщающие два брюсовских романа, призваны, таким образом, подсказывать читателю далеко идущие образные ассоциации, переплетение которых образует широкую и сложную картину материальной и духовной, социальной и культурной действительности позднеантичного мира на рубеже одного из величайших исторических переворотов в судьбе Европы. Именно это богатство реальных подробностей, их художественная убедительность и яркость придают «Алтарю Победы» и незаконченному «Юпитеру поверженному» то литературное значение, которое они сохраняют и для современного читателя.

АЛТАРЬ ПОБЕДЫ

Впервые опубликовано в журн. «Русская мысль», 1911, №№ 9, 11, 12; 1912, №№ 1—6, 8—10.

Из автографов сохранились: черновик I книги почти полностью (начальные главы — в нескольких вариантах); черновик III книги, глав 5, 6, 9; беловик примечаний к III книге; неполный беловик IV книги, глав 5—8, 11—15; а также корректура с авторской правкой книги II, гл. 10—12, и наборная машинопись книги IV, гл. 11—15 (*ГБЛ*, ф. 386.31, 5—6 и ф. 386.2.18).

Сохранились два бегло набросанные плана романа, из которых видно, что первоначально дело об алтаре Победы совсем не входило в сюжет или в лучшем случае было проходным эпизодом; упоминаются любовь героя к двум женщинам, участие в заговоре, поездка с секретными письмами на Восток (Константинополь, Антиохия), похищение и поиски писем, плен, возвращение в Рим, поездка в Галлию, «хаос событий» и, в одном из вариантов конца, «отъезд в страну аксомитов».

Повесть вошла в Полное собрание сочинений и переводов, тт. XII, XIII, СПб., изд. «Сирин», 1913. Для этого издания Брюсов сам готовил текст, внеся в него некоторые изменения и снабдив обширным комментарием. Работая над текстом, писатель прежде всего упорядочил русскую транскрипцию латинских имен и названий (см. ниже Предисловие), ввел еще несколько латинских названий вместо русских (вместо «бассейны» — «писцины», вместо «часовня» — «ларарий» и пр.), уточнил переводы цитируемых греческих и латинских авторов. Стилистическая правка текста была минимальной: автор главным образом зачеркивал отдельные лишние слова или предложения, если смысл был достаточно ясен из ранее сказанного, и ввел несколько словесных замен, заботясь о чистоте и правиль-

ности языка (вместо «покровительственным тоном» — «покровительственным голосом», вместо «греческих шарлатанов» — «греческих обманщиков», вместо «выглядела моложе» — «казалась моложе» и т. п.).

Повесть предполагалась к переизданию в тт. 8—9 Собрания сочинений, которое Брюсов намеревался выпустить в 1917 г. в изд. «Парус», а в 1918 г. в изд. З. Гржебина. Переиздание не состоялось. Готовя переиздание, Брюсов внес несколько мелких исправлений в текст, сильно сократил примечания (за счет латинских цитат и повторений), переделал предисловие.

Брюсов неоднократно начинал дополнять и исправлять предисловие к роману. Приводим последний рукописный вариант:

«Две особенности повести «Алтарь Победы» требуют, как мне кажется, объяснений со стороны автора: исторические примечания, научного характера, присоединенные к произведению беллетристическому, и необычное написание некоторых латинских имен и названий.

В примечаниях я прежде всего имел в виду объяснить те, встречающиеся в повести, черты быта и нравов IV века, которые могут быть непонятны или неизвестны читателю. Но я нашел также не лишним использовать в этих примечаниях некоторые из тех материалов, которые были у меня под рукой при работе над повестью. Поэтому иные примечания сообщают и такие сведения, показавшиеся мне не безынтересными для читателя, которые непосредственного отношения к действию повести не имеют. Список источников, которыми я пользовался при составлении примечаний, приложен в конце второго тома повести.

В повести мне пришлось постоянно употреблять латинские названия некоторых вещей и явлений, так как соответствующие им русские слова имеют не совсем то же значение. Этим названиям, по возможности, я предпочел сохранить их подлинные формы,— например «легионарий» вместо обычного галлицизма «легионер», «ретор» вместо «ритор» и т. п. Латинское правописание сохранено отчасти и для собственных имен — например «Юпитер» с ударением на первом (а не на втором слоге), также «Вéнера» с ударением на первом слоге (что важно знать для чтения приводимых стихов), «Март» вместо «Марс», «Амор» вместо «Амур» и т. п. Я заботился, однако, чтобы не было слишком резких отступлений от начертаний общепринятых: так, передавая латинское s всегда через «с», а не через «з», я воздержался от передачи (что было бы правильно) латинского «с» везде через «к», потому что формы, например, «Кикерон», «Кинкинат» еще слишком непривычны для нас. При этом некоторая непоследовательность в транскрипции собственных имен оказалась неизбежной, и я прошу мне ее извинить.

Июнь, 1913 *Валерий Брюсов*».

В настоящем издании повесть печатается по тексту Полного собрания сочинений и переводов, тт. XII — XIII. СПб., «Сирин», 1913, с отдельными исправлениями по авторскому экземпляру (*ГБЛ*, ф. 386, 4—5).

М. Гаспаров

Примечания В. Я. Брюсова к роману «Алтарь Победы»

КНИГА ПЕРВАЯ

I

Стр. 9. *«Рим золотой»*[1].— Prima urbes inter divom domus aurea Roma[2],— говорит Авсоний (Aus.[3] Ordo urbium nob., I). Et venerata Deum percenseat aurea Roma[4],— повторяет Пруденций (Prud. Apotheos., 385). *Божественный Юлий*, т. е. Цесарь. *Аквитанией* вообще назывался юго-западный угол Франции, который носил это название в до-Цесаревой Галлии. Позднее (I — III в. по р. Х.) понятие Аквитании было расширено почти на половину Галлии. Реформа Диоклециана, изменившая деление всей империи, образовала две провинции Аквитании, первую и вторую, входившие в состав Виенненской диэцесы. *Трижды-четырежды блаженными те...*— Намек на выражение Вергилия (Aen. I, 94):

O, terque quaterque beati...

Ср. стихи Рутилия Намациана (IV — V в., Rut. Nam., De Reditu, 5—8):

O quantum, et quoties, possem numerare beatos
Nasci felici qui meruere solo!
Qui, Romanorum procerum generosa propago,
Ingenitum cumulant Urbis honore decus[5].

Принести триумфальные жертвы.— Принесение пышных жертв на Капитолии триумфатором составляло существенную часть триумфа. Последний триумф в Риме был отпразднован Диоклецианом. *Пока «Римлянин власть отцов сохраняет».*—Стих Вергилия (Aen., IX, 449):

---

[1] Отсылки к тексту и порядок примечаний даны, как у Брюсова.
[2] Рим золотой, обитель богов, меж градами первый *(лат.— Пер. В. Брюсова)*.
[3] Объяснение сокращений, принятых в примечаниях, см. в списке источников, которыми пользовался автор. *(Прим. Брюсова.)*
[4] Рим золотой, почтенный меж всех, да уведает бога *(лат.)*.
[5] Сколь блаженны и как блаженны, и мне ли исчислить
Тех, кто судьбою рожден в этой счастливой земле,
Тех, кто умножил от римских отцов благородное племя
И возвеличил своей славою римскую честь *(лат.)*. (Неоговоренные переводы латинских стихов сделаны *М. Гаспаровым.*)

Dum —
...imperiumque patrum Romanus habebit.

Выражение «patrum» вместо читающегося в кодексах «pater» — удачная конъектура, предложенная Kvičala. *О печальном состоянии многих прославленнейших памятников старины...*— О состоянии памятников старины в Риме в IV в. см. Грегоровиуса, Thédenat и др. До нас дошли два описания (путеводителя) Рима IVв.: Curiosum urbis (новейшие исследователи относят ко времени между Константином В. и Феодосием Мл.) и Notitia (относится ко времени Феодосия Мл.). *Новый Рим* — Константинополь, название официальное (Roma Nova). *Вечный Город* — официальный титул Рима в Cod. Theod., напр., Intra urbem Romam aeternam ...(Lib. XV, tit. I, 11), и выражение, употребляемое многими римскими писателями.

Стр. 10. *О старинных театрах...*— Число собственно театров не увеличивалось в Риме с эпохи Августа; их было три: Бальба, Марцелла, Помпея. *Храмы, покрытые золотом*, и, прежде всего, храм Юпитера Капитолийского с золотой крышей и золотыми воротами, и подали повод к именованию Рима «золотым». *На сцене можно видеть арабийских танцовщиц или кастабальских кулачных бойцов...* и т. д.— В описании империи, составленном во времена Констанция, говорится о Сирии: «Антиохия имеет в избытке все, чего может желать, но главным образом конные ристания. В Лаодикее, Берите, Тире, Цесарее (Палестинской) также есть конные ристания. За свои пределы Лаодикея посылает наездников, Тир и Берит — актеров, Цесарея — пантомимов, Гелиополь у Либана — флейтистов, Газа — музыкантов, Аскалон — силачей, Кастабала — кулачных бойцов» (Моммсен, V, 450). *Рим...— средоточие мира.*— В сходных выражениях прославляли Рим своего времени Аммиан Марцеллин, Пруденций, Клавдиан, Рутилий и др. Оратор Темистий пишет: «Inclyta ac celebris Roma immensum est, atque omni oratione maius pelagus pulchritudinis»[1] (Themist. Orat. 13, цитата у Грегоровиуса, I, 44). Аммиан Марцеллин называет Рим «lar imperii»[2] (Amm. Marc., XVI, 10) и т. д. *Ехали в Рим, чтобы учиться.*— Таких было много. См. эдикт Валентиниана, Валента и Грациана: Quicumque ad Urbem discendi cupiditate veniunt...[3] (Cod. Theod., Lib. XIV, tit. IX, 1). *Как реторы перебивают друг у друга учеников.*— Евнапий, Фаворин и др. свидетельствуют, что профессора собирались на пристани, чтобы заманивать к себе приехавших учеников, давали для них обеды с красивыми служанками, ждали у дверей, пока ученик проснется, и т. п. См. G. Boissier, I, 177—178.

---

[1] Безмерен славный и знаменитый Рим — он есть море красоты превыше всякого описания *(лат.)*.
[2] Очаг державы *(лат.)*.
[3] Кто прибудет в Город из желания учиться... *(лат.)*

Стр. 11. *Изысканные люди едут на острова Британнского океана.*— «Ни в одной стране нет таких многочисленных и прекрасных останков римских городских домов и загородных вилл, как в Британнии» (Р. Грин). *Вся риторика.*— Предметы высшего образования назывались в Риме риторикой и их профессора реторами. Об организации высшего образования у римлян см. G. Boissier, R. Pichon, нашу брошюру «Великий Ритор» и ниже примечания к гл. X — XI. *Римский Порт.*— Так как Остия была мало пригодна для правильного судоходства (частые заносы русла реки песком и т. п.), то императоры поблизости устроили искусственный порт, который получил название Portus Augusti или Traiani, а в IV в. обычно именовался Portus Romanus.

Стр. 12. *Гептера*, hepteris,— военное судно в семь рядов весел. *Магистр корабля* — капитан, под начальством которого находились: hortator, gubernator и nautae (матросы).

II

Стр. 12. *Реда*, reda,— четырехколесная повозка. В эпоху империи по суше и по морю, частными предпринимателями, поддерживалось срочное товаро-пассажирское сообщение. Независимо от этого существовала государственная почта, для перевозки правительственных писем и для проезда должностных лиц (cursus publicus). *В сирийской шапке.*— Высокий головной убор. В конце империи, с одной стороны, чужеземные моды вторгались в Италию, с другой, замечалось пристрастие провинциалов к своим национальным одеждам. *Поэт о боге Любви.*— Намек на стихи Апулея (Apul, Metam., IV):

Nec speres generum mortali stirpe creatum,
Sed saevum atque ferum, vipereumque malum[1].

Стр. 13. *Как смотрели на сикофантов древние греки.*— Намек на слова Сократа, который в ответ на жалобу Критона, что в Афинах трудно жить ввиду частых доносов, сказал, что подобно тому, как следует держать собак, чтобы волки не трогали овец, надо иметь при себе человека, знающего законы, который бы мог защищать от преследований сикофантов[2]. Жалобы на сикофантов находим у Аристофана, Демосфена и мн. др. *Палла*, palla,— плащ, который женщины носили сверх туники и столы[3].

---

[1] Лютый и дикий, злой, как ехидна (отец, не надейся!),
Не от природы земной отпрыском будет твой зять *(лат.)*.
[2] Профессиональных доносчиков (от *др. греч.* sycophanta).
[3] Tunica — нижняя рубашка *(лат.)*, stola—верхнее платье *(лат.)*.

Стр. 14. *Колобий*, colobium,— род туники с очень короткими рукавами или вовсе без рукавов. Lexique определяет: courte tunique tombant jusqu'aux genoux et munie de deux manches *très courtes*[1]. *Словно холод Британии пробежал по моим членам.*— Сходное выражение находим у Петрония: ego autem frigidior hieme Gallica ictus[2] (Petr. Sat., XIX). *Участь Аполлинария и Мараса.*— Два Аполлинария, отец и сын, и диакон Марас были казнены в 353 г., в Антиохии, по обвинению (по-видимому, несправедливому) в причастности к темному делу о изготовлении в Тире пурпурного императорского облачения (indumentum regale). Аммиан Марцеллин, рассказывающий эту историю, определяет одеяние именно как «тунику без рукавов» — pectoralis tunica sine manicis (Amm. Marc., XIV, 7, 20; 9, 7). *Твоя родина славится канатными плясунами.*— См. выше, примеч. к гл. I. *Из корпуса agentium in rebus.*— Schola agentium in rebus — учреждение, которое можно сравнить с современной тайной полицией и корпусом жандармов. Члены его стояли в распоряжении magistri officiorum и делились на чины: ducenarii, centenarii, biarchi, circitores, equites. *Curiosi* — буквально значит: любопытные, т. е. шпионы, соглядатаи. См. Ю. Кулаковский, I, 2. Ср. Cod. Theod. Lib. XII, tit. 20, 3 et passim.

Стр. 15. *Массилия*, Massilia,— ныне Марсель. *Лактора*, Lactora,— ныне Lectoure, город в Галлии, на реке Aegirtius, ныне Gers. См. о Лакторе и ее правах особое исследование в Revue de Philologie, 1911 г. (avril). *Юний* — известный римский gens[3]. В последние времена империи, по консульским фастам и по упоминаниям авторов, мы знаем Юниев с cognomina:[4] Niger, Rufinus, Rusticus, Severus, Silanus, Veldumnianus и др. Ср. объяснения самого Децима Юния Норбана в повести «Юпитер поверженный», гл. II.

III

Стр. 17. *Торговля шелком* приняла огромные размеры в эпоху империи. О путях этой торговли см. Приложение (к следующему тому)[5]. *О налогах, портериях и разных сборах.*— Portorium — таможенный сбор, взимавшийся при провозе товаров через границы государства, провинций и городов (так что он соответствовал французским: douane, péage и octrois). Обычный его размер был 0,025 цены товара. Сборщик портория именовался portitor (с. 18). *О сирийском холсте* и т. д.— «Сирийский холст,— говорит описание

[1] Короткая туника до колен с двумя очень короткими рукавами *(франц.)*.
[2] Я же стал холоднее галльской зимы *(лат.)*.
[3] Род *(лат.)*.
[4] Фамильные прозвища *(лат.)*
[5] См. стр. 646 наст. т.

империи времен Константина В.,—рассылается из Скитополя, Лаодикеи, Библоса, Тира, Берита по всему свету»... Милетская и галатская (по-нашему «ангорская») шерсть, золотошвейные изделия атталийцев, сукно, приготовленное на фабриках фригийской Лаодикеи, изделия ювелиров Эфеса,— все это были прославленные продукты (Моммсен, V, 455). *О знаменитой ярмарке в Батне* (Batna — город неподалеку от Евфрата) пишет Аммиан Марцеллин (Amm. Marc., XIV, 3, 3). *Быстро проезжали карпенты.*— Carpentum — повозка на двух колесах с верхом и занавесями. *Медленно тащились плавстры.*— Plaustrum — общее название, которое вообще давалось повозкам. Однако ближе оно означает род грубой колесницы, колеса которой, сделанные из одного куска, не имели спиц. Ось была прикреплена к колесам и вертелась с ними.

Стр. 18. *Наша реда остановилась около храма Фортуны Сильной.*— Езда по Риму в экипажах была долгое время воспрещена, но за последние столетия все чаще этот запрет нарушался. Александр Север разрешил ездить по городу сенаторам (Hist. Aug., Alex. Sev., XLIII). Аммиан Марцеллин говорит о быстрой езде по городу богатых лиц (см. ниже). Впрочем, храм Фортуны Сильной (templum Fortis Fortunae) находился тотчас за городскими воротами. *Носильщики* (baiuli) образовывали особую корпорацию среди римских ремесленников. *Копона*, может быть, правильнее *кавпона*, caupona,— виноторговля, где на месте пили вино. *Виминал*[1], в позднейшую эпоху, был населен более бедными людьми, и сенатор мог жить в этой местности Рима лишь как исключение. *Мост Проба*, позднее Феодосия,— самый западный из мостов через Тибр в Риме. *Прохожих, за которыми шли рабы с фонарями.*— В Италии не было обыкновения по ночам освещать улицы. Либаний (IV в.) с восторженным удивлением говорил о ночном освещении Антиохии. «Ночью солнечный свет затмевают другие светила, которые далеко превосходят праздничную египетскую иллюминацию; у нас ночь различается ото дня только различием освещения. Прилежные руки не находят между ними никакой разницы и не прекращаются работы, а кому это не нравится, тот поет и танцует» (Моммсен, V, 448). Аммиан Марцеллин, рассказывая, что Галл, брат императора Юлиана, увлекался в Антиохии ночными похождениями, удивляется, что он это делал в городе, «где ночное освещение почти равняется дневному свету» (Amm. Marc., XIV, 1, 9).

Стр. 19. *Берегись собаки.*— Обычай писать мозаикой на пороге дома «Cave canem» сохранялся до самых поздних времен империи. *Раб-привратник*, ostiarius, часто приковывался на длинной цепи близ входной двери, в своей комнатке (cella ostiaria). *Освещенный*

[1] Один из семи холмов Рима.

двойной висячей луцерной.— Образцы таких ламп, с двумя резервуарами для масла, можно видеть в Неаполитанском и др. музеях. *Вестибул*, vestibulum,— в более древнее время было в римском доме небольшим внешним портиком или просто современным «подъездом». С эпохи Антонинов вестибулом называют первую комнату дома, в которую посетители попадали, перейдя порог, по-нашему «переднюю», «прихожую». *Таблин*, tablinum,— комната в глубине атрия[1], служившая большею частью кабинетом хозяину дома. *Номенклатор*, nomenclator,— раб, на обязанности которого было объявлять имена посетителей. *Таблички*, т. е. вощаные tabellae, которыми римляне пользовались для записи разных заметок. *Абак*, abacus,— римские счеты. *Раб-вилик*, vilicus,— раб, поставленный старшим над другими рабами в загородном имении, во главе так называемой familia rustica. *Пресидом Новемпопуланы.*— После реформы Диоклециана империя была разделена на диэцесы, а диэцесы — на провинции; во главе провинций стояли большею частью пресиды, praesides. Novempopulana — провинция в юго-западном краю Галлий, граничащая с Океаном и Пиринеями.

Стр. 20. *Ты над народами...*— Стихи Вергилия (Aen. VI, 851—2):

> Tu regere imperio populos, Romane, memento.
> Haec tibi erunt artes...[2]

Агизамба, Agyzamba,— «страна носорогов», лежащая на юге от Фазании, куда, по свидетельству Плиния (Hist. Nat., V, 1, VI, 29), проникли (в I в. по р. Х.) сначала Септимий Флакк, потом Юлий Матерн. Последний, по-видимому, переступил 20 параллель и немного не дошел до озера Чад (Duruy, IV, 431, Моммсен, V, 584, 627). *Цинцинат, Регул, вдова Сципиона.*— Сходные примеры скромности и нестяжательности древних римлян приводит Аммиан Марцеллин. «Ex collatitia stipe Valerius humatur ille Poplicola, et subsidiis amicorum mariti inops cum liberis uxor alitur Reguli, et dotatur ex aerario filia Scipionis»...[3] etc. (Amm. Marc., XIV, 6, 11).

Стр. 21. *Нерон... исполнял древний обычай.*— По римскому преданию, царь считал своим долгом на всякий пожар являться лично; эта обязанность перешла на консулов. Нерон, присутствуя на большом пожаре Рима, ссылался на этот древний обычай. В наши дни его соблюдает иногда итальянский король. *Позвонил в колокольчик.*— Колокольчик, tintinnabulum, в Риме, в повседневной жизни,

---

[1] Atrium — центральный зал *(лат.)*.
[2] Ты же народами править властительно, римлянин, помни.
Се — твои будут искусства... *(лат.— Пер. В. Брюсова.)*
[3] На собранные по мелочи деньги погребен был Валерий Попликола, на средства друзей кормилась, обнищав, жена Регула с детьми, из государственной казны получила приданое дочь Сципиона... *(лат.)*

употреблялся приблизительно для тех же надобностей, как теперь (Lexique). *Местное деревенское вино* — vinum rusticum. *Марсу Градиву.*— Gradivus, т. е. грядущий (на поле битвы) — обычный эпитет Марса. *Утратили мы Дакию, Германию, часть Британии и пять провинций между Евфратом и Тигром.*— Дакия[1] была уступлена потом Аврелианом в 270 г.; германские провинции были утрачены римлянами еще при Августе, но здесь разумеется занятие аллеманами «декуматских полей»[2], в начале IV в.; часть Британии была очищена от римских войск при Диоклециане, другая часть при Валентиниане I (369 г. по р. Х.); пять провинций между Евфратом и Тигром были уступлены персам по миру, заключенному, после убиения Юлиана, Иовианом (363 г. по р. Х.). *Какое звание на земле выше сенаторского.*— Симмах называет сенаторов: «pars melior humani generis»[3]. (Symm., I, 52 aliis ed. 46). *Бебии*, Baebii,— плебейский род, достигший сенаторства поздно. Мы знаем Бебиев с cognomina: Honoratus, Macer, Tullus, Dives, Sulca, Tamphilus и др. (Fasti; Amm. Marc. etc.). *Битва у Мульвиева моста* (pons Mulvius) или у Красных скал (при via Flaminia) произошла между Константином В. и Максенцием 27 октября 312 г.

Стр. 22. *Дормиторий*, dormitorium,— спальня. *Фотида*, Fotis,— героиня «Метаморфоз», т. е. «Золотого осла» Л. Апулея (который был родом из Африки).

IV

Стр. 22. *Найду там толпу клиентов.*— Обычай, чтобы клиенты ежедневно утром приветствовали патрона, не только сохранялся, но и был широко распространен в IV в. См. Amm. Marc., XIV, с. VI, 13: salutandi adsiduitas[4]. *Крылья атрия* — alae; *перистилий*, peristylium,— внутренний двор, окруженный колоннадой, иногда с водоемом посередине.

Стр. 23. *Лактора* славилась своим храмом Матери богов. *Толоза* — ныне Тулуза; *Бурдигала* — Бордо; *Гарумна* — Гаронна.

Стр. 24. *Clarissimi* — титул римских сенаторов.

Стр. 25. *В Риме жить дорого.*— Уже Веллей Патеркул говорил, что тот, кто проживает в год всего 6000 сестерций, едва может считаться сенатором (Speck, III, 3, с. 614). *Триклиний*, triclinium,— название обеденного ложа и столовой. *Acta diurna* — ежедневная газета, рассылавшаяся должностным лицам; в эпоху, изображаемую

---

[1] Нынешняя Румыния.
[2] Область между верхним Рейном и верхним Дунаем.
[3] Лучшая часть рода человеческого *(лат.)*.
[4] Усердие в приветствовании *(лат.)*.

в повести, она, может быть, уже не существовала, хотя G. Boissier думает иначе (II, 159). *Сообщал все происшествия за день.*— Что священники в IV в. играли в семьях роль французских аббатов XVII — XVIII в., см. G. Boissier, II, 190—191. Там приведено свидетельство св. (по-нашему — блаженного) Иеронима (330—419), который говорит (Epist. XXII) о священнике-паразите: «Он торопливо встает с восходом солнца, определяет черед своих посещений, выбирает самые короткие пути, и застает едва ли не в постели тех женщин, к которым идет. Увидит он красивую подушку, или скатерть, или что-нибудь в этом роде,— он их хвалит, трогает, восхищается ими и жалуется, что у него нет ничего подобного, и достигает, что ему дарят это. Куда бы вы ни пошли, это первое лицо, которое вы встретите. Он знает все новости и бежит, чтобы всем их рассказать. В случае надобности, он и выдумывает известия».

V

Стр. 26. *Порой по улице стремглав пролетала колесница.*— Ср. Amm. Marc., XIV, с. VI, 16—17. «Отмечу, что иные из знати разъезжают сломя голову по обширным пространствам Города и мощеным улицам и, не думая об опасности, мчатся, как курьеры, волоча за собой толпы рабов, словно какую шайку разбойников, не оставляя дома даже и шута, как выразился комический поэт (Terent. Eun., 780). Подражая им, и многие матроны мечутся по всем концам Города, хотя и с закрытыми лицами и в носилках. Как опытные полководцы ставят в первую линию густые ряды людей посильнее, за ними легковооруженных, далее стрелков, а позади всех резерв, чтобы он мог прийти на помощь в случае надобности; так начальники подвижной праздной городской челяди, которых так легко признать по жезлу в правой руке, тщательно расставляют свою команду, и словно по военному сигналу выступает впереди экипажа вся ткацкая мастерская, к ней примыкает закопченная дымом кухонная прислуга, затем уже вперемежку всякие рабы, к которым присоединяется праздное простопародье из соседства, а позади всего — толпа евнухов, всякого возраста, от стариков до детей, с зеленоватыми, безобразно искаженными лицами». (Перев. Ю. Кулаковского и А. Сонни.) *Единственное в мире зрелище.*— Ср. Claud. De VI cons. Honor., 42 sq.

Attolens apicem subiectis regia rostris
Tot circum delubra videt tantisque deorum
Cingitur excubiis! Iuvat infra tecta Tonantis
Cernere Tarpeia pendentes rupe Gigantas
Caelatasque fores mediisque volantia signa

Nubibus et densum stipantibus aethera templis
Arvaque vestitis numerosa puppe columnis
Consita subnixasque iugis inmanibus aedes,
Naturam cumulante manu, spoliisque micantes
Innumeros arcus. Acies stupet igne metalli
Et circumfuso trepidans obtunditur auro[1].

Стр. 27. *Храм Отца Богов* — Юпитера Капитолийского. *Щеголь в цветном плаще.*— Ср. Amm. Marc., XIV, с. VI, 9; «Другие... потеют под тяжестью плащей, застегнутых на шее и прихваченных у пояса. Делая их из чрезвычайно тонкой материи, они дают им развеваться, откидывая их частыми движениями руки, особенно левой, чтобы просвечивали широкие бордюры и туника, вышитая изображениями различных звериных фигур». (Перев. Ю. Кулаковского и А. Сонни.) *Слова персидского царевича.*— Amm. Marc., XVI, с. X, 16. В тексте: «Id tantum sibi placuisse, aiebat, quod didicisset ibi quoque homines mori»);[2] Гиббон предлагает читать displacuisse. *Около ростры*[3].— Ростры, в IV в., стояли на самом западном конце форума, между арками Тиберия и Севера; около ростр обычно произносили речи приезжие и местные риторы. См. Thed., 125—133, и G. Boissier, I, 1. II, ch. I. *Атис*, *Капис*, *Капет*, Atys, Capys, Capetus,— имена царей Альбы Лонги (Liv., I, с. III, 8).

Стр. 28. *Пик*, picus,— дятел, птица, посвященная Марсу и считавшаяся прорицательницей. Picus — сын Сатурна, дед Латина, обращенный Цирцеею в дятла. *Смешивает лемуров с ларвами.*— Лемуры, lemures,— общее название духов умерших; ларвы, larvae,— привидения, непокойные души грешников. Ежегодно, в ночи на 11 и 13 мая, справлялись лемурии, когда домохозяин, обходя свое жилище, бросал лемурам черные бобы, ударяя в бронзовый сосуд. *Перед алтарем Вулкана.*— Алтарь Вулкана стоял против ростры и был, по преданию, воздвигнут Ромулом; алтарь не раз перестраивался. Около рос кипарис, считавшийся ровесником Рима (и погибший при Нероне), и цветок лотоса, также будто бы посаженный Ромулом и существовавший еще во времена Плиния. Ежегодно, 23 августа, во время празднеств Vulcanalia,

---

[1] Кровлю ввысь вознеся над ростpами площади нижней,
Сколько державный дворец святилищ божеских видит,
Сколько храмов вокруг! Из-под крыши гремящего бога
Любо смотреть на гигантский уклон Тарпейской твердыни,
На золотые врата, на парящие в облачной выси
Статуи, чувствовать воздух стесненным от множества храмов,
Видеть, как над землей вырастают колонны, с которых
Кормы глядят кораблей, как на мощные встали подножья
Здания, как без числа сверкают добычею арки,
Как человечьей руке покорна природа. Металлы
Закалены огнем и в разящей стоят позолоте... *(лат.)*

[2] Только то ему и понравилось (вариант: не понравилось), что и здесь люди смертны *(лат.)*.

[3] Ораторская трибуна, украшенная корабельными носами.

народ приносил на этом алтаре Вулкану (Vulcanal) жертву из рыб, которая здесь сожигалась. См. Théd., 69—71. *У золотого столба.*— Milliarium aureum — столб, воздвигнутый Августом, где полагалось средоточие всех дорог, выходивших из Рима. См. Théd., 133—134.

Стр. 29. *Варрон* — писатель-энциклопедист (116—27 до р. Х.); *Авл Геллий* — автор «Аттических ночей» (II в. по р. Х.). *О древних договорах, языка которых никто не понимает* и т. д.— Ср. портрет просхола (proscholus) Виктория у Aus. Prof. XXII:

Victori studiose, memor, celer, ignoratis
Assidue in libris nec nisi operta legens;
Exeas tineis, opicasque evolvere chartas,
Maior quam promptis cura tibi in studiis.
Quiduis, pontificum quae foedera, stemma quod olim
Ante Numam fuerat sacrificis Curibus,
Quid Castor cunctis de regibus ambiguis, quid
Coniugis e libris ediderit Rodope:
Quod ius pontificum, veterum quae scita quiritum,
Quae consulta patrum, quid Draco, quidve Solon
Sanxerit; et Locris dederit quae iura Zaleucus;
Sub Iove quae Minos, quid Themis ante Iovem...[1] etc.

Quiduis — конъектура Peiper'a; рук., как далее: Quid ius... *О исследованиях Кастора и Родопея.*— Кастор — автор не дошедшей до нас книги Χρονικῶν ἀγνοημάτων, о которой говорит Свида. О Родопее, писателе по древностям, мы ничего не знаем, но он упоминается в стихах Авсония, приведенных в предыдущем примечании. *При Храме Священного Города* (templum Sacrae Urbis) был архив древних актов и планов Рима. См. Théd., 338—339.

Стр. 30. *Дом Энея пока...*— Verg. Aen., IX, 448—9:

Dum domus Aeneae Capitoli immobile saxum
Accolet...[2]

Любоваться ... колоннами Константина и т. д.— На Римском форуме в эпоху Константина В. было воздвигнуто восемь колонн вдоль via Sacra (Théd., 164). *Храм Венеры Родильницы* (Venus Genetrix) стоял на форуме Цесаря; храм был из мрамора, с колоннами коринфского ордера (Théd., 179—180). *Храм Марса Мстителя*

---

[1] Ты, Викторий, проворным умом и памятью острой
В книгах, неведомых нам, тайн сокровенных искал.
Свитки, угодье червей, ты любил разворачивать больше,
Нежели дело свое делать, как должно тебе.
Все — договоры жрецов, родословья, какие до Нумы
Вел из древнейших веков первосвященник-сабин,
Все, что Кастор собрал о владыках загадочных, все, что
Выбрав из мужниных книг миру Родопа дала,
Древних уставы жрецов, приговоры старинных квиритов,
То, что решал сенат, то, что Дракон и Солон
Дали афинянам, то, что Залевк — италийским локрийцам,
То, что людям — Минос, то, что Фемида — богам... *(лат.)*

[2] Будет пока населять Капитолия камень недвижный
Дом Энея... *(лат.— Пер. С. Соловьева.)*

(Mars Ultor) стоял на форуме Августа; в храме были две картины, изображающие Александра В., налево и направо от входа (Thёd., 183—184). *Форум Августа* был украшен рядом статуй (Suet. Aug., XXXI; Dio, LV и др.); между прочим, Август поставил там архаическую статую Минервы, произведение Эндоия (Thёd., 187—189). На форуме Нервы (иначе forum transitorium) Александр Север воздвиг несколько колоссальных статуй императоров, удостоенных апофеоза (Thёd., 196). Триумфальная *арка Траяна* вела на форум его имени; на этом форуме стояла *базилика Ульпия*, которую Павсаний называет зданием замечательным (Paus., V, 12, 6). *Колонна Траяна* стояла по другую сторону базилики, на маленьком дворе, по обеим сторонам которого помещались здания *библиотек*: bibliotheca Ulpia u bibliotheca templi Traiani, где хранилось много редких и драгоценных книг и некоторые документы величайшей важности, как-то — libri lintei, senatus-consulta, эдикты древних преторов и т. п. (Thёd., 198—202). Юний и Ремигий, направляясь с Римского форума, прошли на форум Цесаря, оттуда на форум Августа, «заглянули» на форум Нервы, вновь перешли через форум Августа и вышли на форум Траяна. *Теперь время пить.*— Hor. Carm., I, 37.

Nunc est bibendum...

Поселянки, т. е. из полукрепостного сословия колонов (coloni), получившего особое развитие в III — IV в.

VI

Стр. 31. *Собрания в Курии.*— Курия Юлия (Цесаря), может быть, занимала то же место, что древняя curia Hostilia. Август украсил ее портиком (chalcidicum), в древних путеводителях именуемым atrium Minervae. Курия, вероятно, пострадала от пожара при Нероне. Во всяком случае, она была возобновлена при Домициане и (после пожара при Карине) при Диоклециане. Курия просуществовала до VII в., когда папа Гонорий I обратил ее в христианский храм (Thёd., 96—104). *За редким свитком Кремуция Корда.*— Aulus Cremutius Cordus — писатель эпохи Тиберия; сочинения Корда были проникнуты республиканским духом, приговорены к сожжению, но спасены его дочерью; до нас они не дошли. *Представил магистру ценза удостоверение.*— Эдикт Валентиниана, Валента и Грациана, 370 г., гласит (Cod. Theod., XIV, tit. IX, 1): «Quicumque ad Urbem discendi cupiditate veniunt, primitus ad magistrum Census provincialium iudicium, a quibus copia est danda veniendi, eiusmodi litteras proferant, ut oppida hominum, et natales,

et merita expressa teneantur»[1]. Это удостоверение можно приравнять к нашему паспорту. *Бродяжничество по полю Агриппы.*— Campus Agrippae — место в Риме, близ Марсова поля, служившее населению местом для гуляния и для разных «спортивных» упражнений; нечто вроде наших городских парков.

Стр. 32. *Oecus* — общее название для зал в доме. *Ее роскошный наряд.*— Ср. стихотворение, приписываемое Эмилию Магну Арборию, дяде Авсония, «Ad nympham nimis cultam»:

Parce, precor, virgo, toties mihi culta videri...
. . . . . .
Ne stringant rutilos tibi serica vincla capillos,
Cum vincant rutilae serica vincla comae...
Utraque fert auris aurum, fert utraque gemmas:
Utraque nuda novis anteferenda rosis...[2]
etc.

См. Baehrens, V, 391, который относит стихотворение к отделу «Dubia, suspecta, falsa», хотя добавляет: quin antiquum est non dubito[3]. Ср. Burckhardt, 274—275, который, на основании этого стихотворения, изображает наряд богатой женщины IV в.— Об употреблении шелка в Риме см. Приложение (к следующему тому)[4].

Стр. 33. *Какой ей являться* и т. д.— Verg. Aen., II, 591—592:

qualisque videri
Caelicolis et quanta solet.

Косы... кругами лежали на голове — in multiplicem orbem (стихотв. Арбория, указанное выше). *Аболла*, abolla,— двойной плащ, первоначально носившийся лишь солдатами, но позднее ставший щегольской одеждой, которую сохраняли не только на улице, но и в домах. *Состою в коллегии луперков* (luperci).—Существовало три коллегии луперков: с древнейших времен lupercі Fabiani u lupercі Quintiliani, имевшие назначение чествовать Фавна (lupercalia — 15 февраля), чтобы вымолить плодородие земле, стадам и женщинам. Во время луперкалий происходит и тот бег вокруг pomerium, когда бегающие били жгутом женщин, чтобы дать им плодородие, который поминается в «Юлии Цезаре» Шекспира. Третья коллегия,

---

[1] Всякий, кто прибудет в город для того, чтобы учиться, прежде всего должен представить магистру цензa удостоверение от провинциальных чиновников, от коих зависело разрешение на выезд; в удостоверении должны содержаться сведения о месте жительства, родственниках и известных заслугах *(лат.)*.

[2] «К девице, не в меру разукрашенной»:

Дева, молю, не являйся очам в столь пышном убранстве...
...Не обвивай ты шелковой лентою русые пряди,
Ибо ведь кудри твои сами прекрасней, чем шелк.
Золото в каждом ушке, драгоценные в золоте камни —
А ведь оно и без них взору приятнее роз... *(лат.)*

[3] Древность его несомненна *(лат.)*.

[4] См. стр. 652 наст. т.

luperci Iulii, была основана в честь Цесаря в 44 г. до р. Х. (Lexique). В эпоху империи членами этих коллегий были преимущественно всадники (как и Элиан Меций). *Это мы уже читали у Плиния.*— Plin. Epist., I, 11: «Спроси у кого-нибудь, что он сегодня делал. Я был, ответит он, в доме, где мальчик надевал мужскую тогу, присутствовал на обручении или на свадьбе, друг просил меня подписать завещание, другой участвовать в семейном совете. Все это дела, от которых, как в тот день кажется, нельзя отказаться, но когда вспомнишь, что именно делал все дни, находишь, что все эти дела были не нужны, и говоришь себе: сколько времени я потратил даром!» Св. Иероним (Epist., XLVI) спрашивает: «В чем проходит время в большом городе?» и отвечает: «В том, чтобы видеть других и показывать себя самого, принимать гостей и посещать знакомых» (G. Boissier, II, 190).

Стр. 34. *Хорошо бы бросить всю эту суету Города.*— Ср. письма Симмаха к Флавиану; см. G. Boissier, II, 181, 266 etc. *Игры в Амфитеатре* продолжали оставаться любимым зрелищем римлян за весь IV в. (ср. G. Boissier, II, 171—175). С боями гладиаторов христианство боролось усердно, но долгое время безуспешно. Константин В. писал в своем эдикте (Cod. Theod., XV. tit. XII, 1): «Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent. Quapropter (qui) omnino gladiatores esse prohibemus»:[1] (Cod. Iust. om. qui). Однако мы видим гладиаторские бои значительно позднее, и еще Пруденций (ок. 350—410) взывал в стихах о их уничтожении.

Стр. 35. *Усердие императора Грациана.*— В 382 г. Грациан повелел, чтобы суммы, которые расходовались на языческие празднества, делились между фиском[2] и кассою префекта претории; жалованье, полагавшееся весталкам, назначалось на поддержание cursus publici;[3] наконец, все земли, которыми обладали храмы, переходили в фиск. См. Ambros. Epist., I, 12, 17, 18, 57 (Symm. LIII — LIV). *Закон признает право...*— Известное изречение римского права гласит: possessor hoc ipso, quod possessor est, plus iuris habet quam ille qui non possideat[4].

Стр. 36. *Аполлодор* — греческий грамматик II в., написавший между прочим сочинение о богах, «Библиотека» (дошедшее до нас, хотя и не в полном виде), где пересказываются античные мифы. *На Холме Садов.*— Collis hortorum — ныне Пинчио. *Имена Претекстата, Флавиана, Симмаха.*— О них см. ниже.

---

[1] Кровавые зрелища средь гражданского мира и общего покоя нам не угодны; посему быть гладиаторами мы решительно запрещаем *(лат.)*.
[2] Fiscus — личная казна императора *(лат.)*.
[3] Государственная почта *(лат.)*.
[4] Обладатель в силу обладания имеет более прав, чем необладающий *(лат.)*.

VII

Стр. 37. *Актор*, actor,— артист, актер. *Альмон*, Almo,— ручей, пересекающий Аппиеву дорогу.

Стр. 38. *Изменчива женщина и многолика.*— Verg. Aen., IV, 569—570:

varium et mutabile semper
Femina...

Клепсидра, clepsydra,— водяные часы.

Стр. 39. *Дельфийская дева* — пифия. Деятельность Дельфийского оракула в IV в. была уже далеким преданием. Цицерон (De Div., II) говорит, что Дельфийский оракул давно безмолвствует; Лукан (Phars. V) рассказывает, будто Аппию, приверженцу Помпея, пришлось взламывать двери святилища, закрытого уже целое столетие. Однако Светоний уверяет, что с Дельфийским оракулом совещался Нерон (Suet., Nero, 40): «Ut vero, consulto Delphis Appoline, septuagensimum ac tertium annum cavendum sibi audivit»...[1] etc. *Горшечник не властен ли...*— К Римл., IX, 21.

Стр. 40. *Magnus et potens erit, sed iunioris robure accrescet.*— Он будет велик и мощен, но возрастет благодаря силе юноши. Игра слов: iunior (юноша) и Iunius (имя).

Стр. 41. *Не может Добро прийти в мир иначе, как через Зло*, и т. д.— Идеи, родственные учению офитов, о которых см. ниже. *Рея*, Rea,— значит виновная; *Децим*, Decimus,— десятый, намек на обычай декумации, казни каждого десятого по счету из толпы или отряда.

VIII

Стр. 43. *Роскошь Рима.*— Роскошь римских садов и загородных вилл описывают Стаций, Плиний и мн. др. Даже зимой, для украшения городских садов, привозились цветы из более южных стран. Те же писатели говорят о роскоши внутренней отделки домов в Риме. О доме Ведия Поллиона говорили, что в нем больше комнат, чем в ином городе. См. Speeck, III, § 863.

Стр. 44. *Окна со стеклами*, мало распространенные в Италии, находили обширное применение в Галлиях III — IV вв., с их более суровым климатом (Моммс., V, 99). *Вещи, привезенные из далекой страны синов и серов.*— См. Приложение (к следующему тому)[2]. *За-Имайская Скифия* — страна за горным хребтом Imaus (Гималай по Egli; может быть, Тянь-Шань); *За-Гангейская Индия* — страна

[1] Спросивши Дельфийского Аполлона, он услышал, что ему следует опасаться семьдесят третьего года *(лат.)*.
[2] См. стр. 647 наст. т.

за Гангом. *Цикла*, cyclas,— женское одеяние из легкой материи. Известен декрет Александра Севера, воспрещавший женщинам украшать циклы более чем 6 унциями золота: «matrones... contentas esse debere... cyclade quae sex unciis auri plus non haberet» (Hist. Aug., Alex. Sev., XLI). *Гальбан*, galbanum,— одеяние желтого цвета, которое носили женщины и женственные мужчины (Lexique). Обычай носить одежду восточного покроя стал распространяться в Риме с эпохи Константина В. См. Burckhardt, 275—6.

Стр. 45. *К Энделехию.*— Может быть, это тот же Энделехий (или его родственник), о котором читаем на одном кодексе «Метаморфоз» Апулея: «Ego Sallustius legi et emendavi Romae felix Olybrio et Probino v. c. conss. (395 г.) in foro Martis controversiam declamans oratori Endelechio»[1] (Symm., CLVI). *Преемник великого Минервия.*— Tiberius Victor Minervius, учитель Авсония, почитался Демосфеном и Квинтилианом своего времени. Минервий преподавал сначала в Бурдигале (Бордо), но потом переселился в Рим, где его лекции слушал Симмах (В. P., 14). Авсоний посвятил Минервию первое стихотворение среди своих прославлений «Профессоров» (Aus. Prof., I):

Primus, Burdigalae columen, dicere, Minervi,
Alter rhetoricae Quintiliane togae...
Et Demosthenicum, quod ter primum ille vocavit,
In te sic viguit cedat ut ipse tibi... etc.[2]

Судья изящества — arbiter elegantiae. *О некоем Тамевии Олимпии Агенции.*— Агенций, построив на свой счет храм Митре, хвалился в надписи, что «воздвиг священное здание без помощи государства». «Так,— добавляет он,— благочестивые души предпочитают немилость богатству. Кто богаче человека, могущего разделить свое имущество с небожителями?» См. P. Allard, 86. Культ Митры получил широкое распространение при Антонинах и достиг апогея в III — IV вв.

Стр. 46. *Сын Титана*, т. е. Гиперион, одно из имен Гелиоса — Солнца.

Стр. 48. *С божественным ихором в жилах.*— Ἰχώρ— кровь богов (у Гомера и др.) *Истинно лишь теперь* и т. д.— См. Anth. Meyer., 1195:

Nunc etiam vivis, nunc et felicius aevum
Ducis ab humana conditione procul.

---

[1] Я, Саллюстий, прочитал и выправил (эту книгу) в Риме, в консульство Олибрия и Пробина, выступая на Марсовом поле с речью против оратора Энделехия *(лат.)*.

[2] Первым скажу о тебе, оплот Бурдигалы, Минервий,
Новый Квинтилиан в риторской тоге своей...
То, что трижды назвал Демосфен самым главным в витийстве,
Больше блистало в тебе, чем в Демосфене самом... *(лат.)*

Мать, привыкшая просить и т. д.— Божества — Intercidona, Pilumnus, Deverra, охраняли роженицу и новорожденного от ярости бога Сильвана (Aug. De Civ., VI, 9). Как известно, Rumina помогала новорожденному сосать молоко, Educa и Potina — есть и пить, Cunina оберегала его колыбель, Cuba — помогала ему лежать покойно, Ossipaga укрепляла его кости, Statina учила его стоять, Fabulina— говорить, Abeona, Adeona, Interduca, Domiduca были заняты первыми выходами его из дома и т. д. См. G. Boissier. Etude sur la vie et les ouvrages de Varron, 235.

Стр. 49. *В саду Гесперид.*— Гесперид, Hesperides,— дочери Атланта (или дочери Геспера) и Ночи, жившие на Счастливых островах по соседству с Горгонами, где золотые яблоки (дар Геи — Гере) охранялись драконом Ладоном.

IX

Стр. 49. *Сады Лукулла* были подарены городу и в большей части застроены. *Копона*, caupona,— см. выше; *лупанар*, lupanar,— публичный дом; *диверсорий*, diversorium (или deversorium),— загородный трактир.

Стр. 50. *Для всех есть вино.*— Сходная вывеска известна: Commune est culina et puteum et iter at triclia[1] (Vulg. Inschr., 1296). *Циат*, cyathus,— сосуд с высокой ручкой, из которого на пирах брали вино в кратере, чтобы разливать пирующим, $^1/_{12}$ секстария (sextarius) — около 0,456 литра вместимости (Lexique; по другим — меньше). *Ambubaiae* — восточные флейтистки (ambub, по-сирийски — флейта), игравшие также на других национальных инструментах,— на разных дудках, цимбалах, арфах (Lexique). *В прозрачных... коах.*— Coa vestis — одежда из прозрачного шелка, которую носили танцовщицы и флейтистки.

Стр. 51. *Тонстрина*, tonstrina,— парикмахерская.

Стр. 52. *Дафна*, Daphne,— местечко под Антиохией, со знаменитой лавровой рощей и храмом Аполлона. Дафна, служившая излюбленным местом гуляния для антиохийцев и местом блестящего праздника в честь Аполлона (10 августа), была столь знаменита, что Антиохию, шутя, называли «Антиохия при Дафне».

Стр. 53. *Пока в Капитолии* и т. д.— Hor. Carm., III, 30:

...dum Capitolium
Scandet cum tacita virgine pontifex[2].

---

[1] Для всех есть кухня, питье и спальня *(лат.)*.

[2] ...пока по Капитолию
Жрец верховный ведет деву безмолвную *(лат.— Пер. В. Брюсова)*.

Его убили изменники.— Что император Юлиан был убит римлянином, было мнение распространенное. «Iulianum telo cecidisse Romano (audierant)»[1], говорит Amm. Marc., XXV, 6. Ср. Amm. Marc., XXV, 3.

Стр. 54. *О Латония, вышнего.*— Catull., V:

O Latonia, maximi
Magna progenies Iovi.

Іова (читать Йова) — род. пад. от Юпитер. *Culeus* — наибольшая мера для вина, равная 20 амфорам, 525 литров. *Вперед, квириты!* — Начало песенки в честь Приапа (Petr. Sat. et lib. Priap., XXVI):

Porro, nam quid erit modus? Quirites,
Aut praecidite seminale membrum,
Quod totes mihi noctibus fatigant
Vicinae sine fine prurientes
Vernis passeribus salaciores,
Aut rumpar, nec habebitis Priapum.

Стр. 55. *Субурра*, Subura,— квартал в Риме, один из наиболее грязных, где жили преимущественно мелкие торговцы и были сосредоточены публичные дома.

X

Стр. 55. *Полил... благоуханий.*— Римляне времен империи употребляли громадное количество благовоний; Восток поставлял в Италию ежегодно тысячи пудов различных ароматов, и мужчины пользовались ими столь же щедро, как женщины. См. Speck, III, § 862.

Стр. 56. *Есть такие...*— Hor. Carm., I, 1:

Sunt quos curriculo pulverem Olympicum
Collegisse iuvat.

Статуи... философов, от Фалеса и Пифагора до Плотина и Порфирия.— Плотин — неоплатоник (204—269), Порфирий — его ученик (232—305). О них см. ниже, примечание к гл. XI. *Ларарий*, lararium,— алтарь Лару дома, первоначально всегда стоял в атрии; позднее ларарий чаще ставили поблизости от столовых и кухни, в глубине дома. Ларарий состоял из маленького алтаря-очага (focus), на который возлагали снедь для Лара и пенатов. В богатых домах ларарий образовывал как бы маленькую часовенку, в которой ставили вместе с изображением «домашних божеств» также изобра-

[1] Слухи были, что Юлиан пал от римской стрелы *(лат.)*.

жения богов, наиболее чтимых в доме (Lexique). *Одетый... в большую аболлу.*— Abolla maior — длинный плащ, который обычно носили философы.

Стр. 57. *Подобно Вергилию.*— Вергилий думал, закончив «Энеиду», остаток жизни посвятить философии; так сообщает античная биография Вергилия — Donat., 35. *Истинная наука* и т. д.— Таков был вообще взгляд римлян на науку, которые не считали наукой медицину, механику, вообще естествознание, считая их практическими дисциплинами. Сенека писал сыну: «Eloquentiae tantum studias: facilis ab hac ad omnes artes discursus»[1]. См. G. Boissier, R. Pichon и др. *Не из всякого дерева...*— Non ex omni ligno debet Mercurium exsculpsi. (Поговорка, см. Pythagores ap. Apul. Mag., XLIII, 499.) *Трудным для меня греческим языком.*— Авсоний тоже признается. что в юности плохо учился греческому языку (Aus. Prof., VIII), хотя впоследствии даже писал греческие стихи (B. P., 12). *Грамматики.*— Начальное образование в Римской империи давал primus magister (или litterator); среднее — grammaticus; высшее — rhetor. Primi magistri учили чтению, письму, началам арифметики. Grammatici — правильной речи и всему, что нужно для понимания авторов, причем в это последнее понятие включались и геометрия, и астрономия, и естественные науки, и история, и философия, и музыка. Отдельно существовали грамматики греческие и латинские. Rhetores учили всему, что надо знать оратору, т. е., во-первых, дикции и приемам декламации, далее «реторике» в широком смысле слова (по-нашему — «теории словесности», только разбитой в целый цикл наук) и юридическим наукам. Начальные учителя открывали частные школы; грамматики и реторы считались на муниципальной или государственной службе: они, кроме гонорара со слушателей, получали определенное жалованье из муниципальной или государственной казны и пользовались различными служебными преимуществами (освобождение от военной службы, от исполнения обязанностей опекунов и т. п.). Жалованье, даже реторов, большею частью было незначительно, за немногими исключениями (так, напр., профессора афинской школы получали из императорской казны по 10 000 драхм ежегодно). В 376 г. не без влияния Авсония, был издан эдикт, устанавливающий размер жалованья, которое должны выплачивать профессорам города,— но дело шло только о Галльской диэцесе. Преподавание специальных наук, математических и естественных, а также медицины, производилось не в официальных (государственных и муниципальных) школах, но в частных, из которых особенно славились школы в Афинах и Берите. См. B. P. 10—16; G. Boissier, I; R. Pichon, и др.

[1] Изучай только красноречие: от него легок переход к любому искусству (*лат.*).

Стр. 58. *О способах носить тогу.*— Развернутая тога имела полукруглую форму, точнее — форму овала, размеры которого относились как два к трем. Обычно тога складывалась надвое, в длину, и так накидывалась на плечи: та часть тоги, которая покрывала спереди левую часть тела, ниспадала до лодыжки; остальную часть проводили под правой рукой и, прикрыв грудь, перебрасывали через плечо на спину. Затем левой рукой приподымали левую часть тоги, чтобы уложить ее в красивые складки. Складки эти обыкновенно подготовлялись заранее, разглаживались и удерживались неизменными с помощью маленьких подвешенных тяжестей. При древнейшем способе носить тогу правое плечо оставалось не покрытым ею. При новых способах — плечо прикрывалось. При габинском способе тога застегивалась на поясе, так что обе руки оставались свободными: введение этого способа приписывалось царю Сервию Туллию. Были и другие способы носить тогу (Lexique).

XI

Стр. 58. *Преподавал реторику.*— См. примечание к слову *грамматики* в предыдущей главе.

Стр. 59. *Пугиллары*, pugillares,— таблички, обычно соснового дерева, с одной стороны покрытые воском, которые служили как записные книжки. *Солнца дворец...*— Ov. Met., II, 1:

Regia Solis erat...

О Хаосе, бывшем «раньше моря и земли»...— Ov. Met., I, 5—7:

Ante mare et terras...

Стр. 60. *Боги... суть...*— В основе рассуждений Энделехия лежат учения Плотина (204—269), Порфирия (232—305) и Ямблиха (ум. около 333), основателей неоплатонизма. Им принадлежит учение о трех ипостасях, духовной триаде. Они же распределяли богов на классы. Так, например, Плотин различал богов и астральных духов; Ямблих — богов высших, сверхмировых и мировых (или еще высших богов, поднебесных богов, мировых властителей и богов-покровителей). Учение, что «боги суть основные и высшие воплощения всех явлений и всех действий», соответствует учению Ямблиха, который различал κόσμος νοητός — мир прототипов, и κόσμος νοερός — мир идей. Стремление истолковать мифы философски было широко распространено в III — IV в. среди философов. Плотин старался вскрыть в мифах заложенную в них глубоко мысль; Порфирий написал особое сочинение «De antro nympharum», посвященное толкованию мифов. (Учение неоплатонизма сжато

изложено в книге Целлера и в содержательных статьях Вл. Соловьева.) *«Общество пловцов»*.— В Риме с давнего времени были очень распространены различные коллегии-общества, спортивные, религиозные, политические. Почти в каждой школе ученики также образовывали общество, нечто вроде наших студенческих корпораций. *О каком-то письме к Симмаху...*— Симмах вел обширную переписку, которая частью дошла до нас; она еще при жизни Симмаха делалась общим достоянием, ибо письма в ту эпоху заменяли собою публицистические статьи и газеты. *О делах в Сардинии.*— Речь, конечно, шла о Ампелии и других сардинцах (Symm., II, 34a). Юний, не будучи знаком с кругом интересов, занимавших Гесперию, путает содержание разговора. *Эвсебия* Симмах называет medicorum potissimus[1] (Symm., II, 18) и в другом месте archiater [2] (Symm., V, 36).

Стр. 61. *Локуста*, Locusta,— известная отравительница времен Нерона и Клавдия.

Стр. 62. *Аликула*, alicula,— короткий плащ, вроде пелерины, застегивавшийся у шеи аграфом.

Стр. 63. *Компит*, compitum,— маленькая часовенка, часто ставившаяся на перекрестках улиц. Бывали особые празднества (зимой, перед сатурналиями) в честь Ларов перекрестка (lares compitales). *Любовь проникает в кости, как пламя.*— Verg. Aen., IV, 66:

est mollis flamma medullas.

«Не оставляет надежды любовь».— Sil. It., VIII, 95:

Non umquam spem ponit amor.

XII

Стр. 65. *«Увы, о Постум»*...— Hor. Carm., II, 14:

Eheu fugaces, Postume, Postume,
Labuntur anni...

«Дева, розы сбирай»...— Aus. De rosis nascentibus, 49:

Collige, virgo, rosas, dum flos novus et nova pubes.

Алекто — одна из трех фурий. *Вышитый пояс* — zona (или zonula); им подпоясывали тунику; в позднейшее время пояса часто бывали роскошно вышитыми.

---

[1] Самый сильный из медиков *(лат.)*.
[2] Перволекарь *(лат.)*.

Стр. 66. *Клянусь Геркулесом* — me Hercle; Авл Геллий сообщает, что в старые времена, в Риме, женщины никогда не клялись Геркулесом, а мужчины — Кастором (Aul. Gell., XI, 6). *«Юноши, не небрегите»*...— Ov. Art. Am., II, 667—8:

Utilis, o iuvenes, aut haec aut serior aetas:
Iste feret segetes, iste serendus ager.

Женщины вовсе голые.— Ср. Petr. Sat., VII: «video quosdam intus titulos nudasque meretrices furtim conspatiantes».

Стр. 67. *Гуляли женщины.*— В Риме проститутками были преимущественно рабыни. Но каждая женщина имела возможность получить licentiam stupri, что имело для нее значение как бы гражданской смерти: она лишалась права завещать, опекать, присягать и т. п. *Надписи, со множеством ошибок грамматики.*— Безграмотные римские надписи известны нам во множестве. См., например, Vulg. Inschr., 1504: Ducenia posuit Dydymu at se in suo ideo posibi, ne quis pos me iuriam faciat[1].

Стр. 68. *Строфий*, strophium,— женский пояс, который носили на рубашке (tunica interior) и который поддерживал груди, как наш корсет.

Стр. 69. *Словно их искусал тарантул.*— Римляне верили, что укус тарантула вызывает сумасшествие, причем для излечения укушенного предписывалось играть определенные танцы (откуда будто бы произошла тарантелла). *Два денара.*— Denarius равнялся, в эпоху империи, 16 ассам; стоимость его была около 0,25 франка. См. ниже, примечание к гл. IX книги II.

XIII

Стр. 70. *Выйдя на Тусскую улицу.*— Vicus Tuscus, т. е. Этрусская улица, выходила на via sacra между базиликой Iulia и храмом Кастора. Около базилики на ней находилась и статуя Вортумна (Vortumnus, или Vertumnus), божества этрусков; здесь же находился ianus — одна из маленьких арок, которые ставились на улицах. Близ базилики Iulia помещались книжные торговли. На это и намекает стих Горация (Hor. Epist., I, 20, 1):

Vertumnum Ianumque, liber, spectare videris[2].

Vicus Tuscus пользовался дурной славой: здесь, около маленьких лавчонок, всегда толпился всякий сброд, подонки общества (Thёd.,

---

[1] Дуцения поставила (этот памятник) Дидиму и себе (для себя ?), чтобы никто после меня не учинил (не)справедливости *(лат.)*.

[2] Кажется, ты уж глядишь на Вертумна и Януса, книжка... *(лат.)*

174, 213). *Одиннадцатый час.*— Римляне делили ночь на четыре стражи (vigiliae), а день, от восхода до захода солнца, на 12 часов: таким образом продолжительность часа менялась, смотря по времени года. Зимой 11-й час соответствовал, приблизительно, по нашему счету $3^1/_2$—$4^1/_2$ часа дня. *Гимнософисты*, gymnosophistae,— «нагие мудрецы», странствующие индийские дервиши. *Несмотря на эдикты... воспрещающие всякого рода гадания...*— Такие эдикты начали появляться с первого века империи и особенно участились при императорах христианских. Особенно известен среди них lex[1] Константия (Cod. Theod., IX, tit. XVI, 1): «Nullus haruspex limen alterius accedat...»[2] (ср. Cod. Theod. IX, tit. VII). Законы против чародейства были подтверждены Валентинианом и служили в его эпоху поводом для жестоких преследований (Amm. Marc., XXVIII, с. I, 19—29; XXIX, с. I, 28—42, с. II; Zosima, IV). Амм. Марц. рассказывает, что в Антиохии, во время одного процесса по обвинению в чародействе, было сожжено множество книг, будто бы содержащих запретные учения (XXIX, с. I, 41). *Великая Клоака* — Cloaca Maxima. Новые раскопки доказывают, что она не раз реставрировалась.

Стр. 71. «*Ecus bipes*» — «Двуногий конь», образец безграмотной вывески. Ecus, вместо equus, нередко в простонародных надписях. (См., напр., Vulg. Inschr., 1413: si qui cecurrit ecus). *Одетая в паллу с куккулем.*— Cucculus (или cuculla, cucullio) — конический капюшон, надевавшийся в дурную погоду и во время путешествий.

Стр. 72. *Ave* — привет. *Водяные органы*, hydrauli, обычно употреблялись в Риме при разных торжествах, устраиваемых в закрытом помещении. Такой орган играет на пиру Тримальхиона (Petr. Sat., XXXVI).

Стр. 73. *Сказала она.*— Речь Реи содержит ряд цитат из Евангелия, апостольских посланий и Апокалипсиса. См., напр., к Римл., VIII, 14, 29—32; IX, 3; XI, 32—35; к Коринф., III, 16; Матф., X, 39; Откр., XIII, 7—8, и др.— То же и в следующей затем литании.

XIV

Стр. 76. *Подкрепив силы сыром и глотком вина* — ientaculum, ранний завтрак.

Стр. 77. *Входил в различные лавки.*— Форумы были обычным местом прогулок римлян; закон Августа, давно не исполнявшийся, обязывал римлян появляться на римском форуме только в тоге.

---

[1] Закон *(лат.)*.
[2] Никакой чародей да не переступит чьего-либо порога *(лат.)*.

Вдоль форума были расположены лавки, в прежнее время занятые мелкими торговцами (особенно мясниками и начальными учителями), но позднее перешедшие к торговцам роскошными вещами и менялам (Théd., 18 et passim).

Стр. 78. *Варвары... селятся на Римских землях*: германцы в Галлии, готы в Дакии и т. п. *Варвар, увы, победитель...*— Hor. Epod., XVI, 11—14.

> Barbarus, heu, cineres insistet victor et Urbem
> Eques sonante verberabit ungula,
> Quaeque carent ventis et solibus ossa Quirini
> (Nefas videre) dissipabit insolens[1].

Святилища аргеев.— Argei — часовни в Риме, числом 24, основание которых приписывалось царю Нуме Помпилию. Ежегодно, 16 марта, перед их алтарями приносили как жертву по особой кукле (пережиток человеческих жертвоприношений). *Весталки блюдут залоги незыблемости Рима*, т. е. священный огонь на алтаре Весты, Палладиум, будто бы привезенный Энеем из Трои, и т. п. Грациан, в 383 г., отнял у весталок содержание, которое они получали от государства, но их храм был закрыт лишь в 394 г., Феодосием В. *Стой, воин...*— «Sta, miles, hic optime manebimus» или «Signifer, statue signum, hic manebimus optime»,— слова центуриона, сказанные им, когда после разграбления Рима галлами римляне думали переселиться в другое место, и истолкованные Камиллом, как omen, как знамение, что Риму должно остаться на том же месте (Liv., V, 55).

Стр. 79. *Завершив новую Курию...*— О Курии см. выше примечание к гл. VI (с. 567). В центре Курии Август поставил статую богини Виктории (Победы), когда-то привезенную из Тарента, и украсил ее вещами, захваченными в Египте. Перед статуей был сооружен алтарь, освященный 28 августа 29 г. до р. Х. Статуя изображала стоящую на шаре величественную женщину, в развевающемся одеянии, с распущенными крыльями, с лавровым венком в протянутой вперед руке. Сенаторы давали на алтаре этой богини клятву, что будут соблюдать законы империи и императора, и приносили ей в жертву вино и ладан, прежде чем приступить к публичным совещаниям. Мнение некоторых историков (Гиббон), будто алтарь был удален из Курии Констанцием, но восстановлен Юлианом, неосновательно: алтарь был только вынесен из Курии на несколько дней, во время пребывания Констанция в Риме (Théd., 99; Гиббон,

[1] Варвар, увы, победит нас и, звоном копыт огласивши
Наш Рим, над прахом предков напрягается;
Кости Квирина, что век не знали ни ветра, ни солнца,
О ужас! будут дерзостно разметаны... *(лат.— Пер. А. Семенова Тянь-Шанского.)*

III, 280—281; De Broglie, VI, 23). *Секстарий*, sextarius,— шестая часть конгия (congius), мера жидкости; $^1/_{12}$ часть секстария составляла циат (см. выше).

Стр. 80. *Есть некоторые глаголы безличные...*— Намия приводит цитату из книги грамматика Харисия (Flavius или Flavianus Sosipater Charisius — середина IV в.) «Institutionum grammaticarum libri V». См. lib. III. c. IV: «Sunt quaedam verba impersonalia, velut primi ordinis: iuvat me, te, illum; restat; distat»... (Corpus Gr. Lat., IV; о Харисии см. Schanz, IV, 1, S. 149 ff.)

Стр. 81. *Ночью прибыл посол.*— Ход этих событий мы узнаем из «донесений» Симмаха и писем св. Амбросия. См. Гиббон, III, 281—286; De Broglie, VI, 22—24 и др.

Стр. 82. *Прекрасно и сладко пасть за отечество.*— Hor. Carm., III, 2:

Dulce et decorum est pro patria mori.

XV — XVI

Стр. 84. *Domina* — госпожа, сударыня: обычное обращение, когда говорили с дамами. *Литератор*, litterator,— начальный учитель (см. выше).

Стр. 85. *Тессера*, tessera,— пароль (также билет для входа на различные представления, билет для проезда на корабле и т. д.).

Стр. 86. *В боях неодолимый Эрос* — Soph. Ant., 781:

Ἔρος ἀνίκατε μάχαν.

Стр. 88. *Клянусь Стиксом.*— Клятва Стиксом не была в употреблении в Риме. Юний, исполненный литературными реминисценциями, заимствует эту клятву у Гомера.

Стр. 89. *Сенат вчера постановил.*— См. выше примечание к гл. XIV, стр. 81.

Стр. 90. *Грациан... сделался игрушкой в руках Амбросия.*— См. De Broglie, VI, 3. *Претекстат*, Vettius Agorius Praetextatus,— был глубоким стариком в эту эпоху. Он родился в середине правления Константина В.; при Юлиане был проконсулом Ахайи; пред Валентинианом защищал право на существование Элевсинских таинств. Позднее был префектом Рима. Претекстата считали замечательным теоретиком римской религии, называли — princeps religiosorum, sacrorum omnium praesul [1]. Он был также великим знатоком восточных культов. Умер в 384 г. *Флавиан*, Virius Nicomachus Flavianus,— был истинной главой «языческой» партии. Родился около 334 г.;

[1] Первый меж верующих, верховник всего священного *(лат.)*.

после звания викария в Венусте получил, в звании консуляра, в управление Сицилию; в 376—377 г. управлял Африканской диэцесой; позднее, назначенный квестором священного дворца при Феодосии, достиг большого расположения императора и занимал высшие должности, в том числе магистра оффиций и префекта претории Италии. Флавиан был не чужд литературы, писал стихами и прозой. О дальнейшей судьбе Флавиана см. повесть «Юпитер поверженный». *Симмах*, Quintus Aurelius Symmachus,— родился около 345 г. и был, следовательно, значительно моложе двух своих сотоварищей. Но, благодаря сильным семейным связям, он сделал «блестящую карьеру»; рано, после претуры и жречества, получил (в 365 г.) должность корректора Лукании и Бруттий; посетив двор Валентиниана в Треверах в 369 г., был назначен проконсулом Африки в 373 г.; отбыв эту должность, вернулся в Италию и жил в Риме частным человеком. Симмах был богат; считают, что в Риме у него было три дома, один — в Капуе, пятнадцать вилл, из которых три под Римом, и т. п. Литературную славу составили Симмаху главным образом его письма, которые современники сравнивали с письмами Цицерона и Плиния. О Симмахе см. ниже passim. (Symm.: O. Seeck De Symmachi vita; G. Boissier, II, 262—273).

Стр. 91. *Присутствуй здесь Флавиан.*— Флавиан был в это время при дворе Феодосия, в Константинополе.

Стр. 92. *Медиолан*, Mediolanum,— ныне Милан.

Стр. 93. *Ребенка Валентиниана.*— По смерти Валентиниана I части войска, руководимой Меллобавдом и Эквицием, удалось настоять, чтобы соправителем Грациана был признан его младший брат, ребенок Валентиниан II. При жизни Грациана он только носил титул императора Италии, Африки и Иллирии, но ни сам, ни через свою мать, Юстину, не мог оказывать никакого влияния на дела правления. *Тому последнему блаженству...*— Разумеется учение неоплатоников об экстазе.

Стр. 94. *Флегий*, Phlegyas,— сжегший храм Аполлона, осужден в подземном царстве вечно сидеть под скалою, готовой обрушиться. *Иксион*, Ixion,— сын Флегия, посягнул на Геру и был осужден вечно вращаться на огненном колесе. Обоих поминает Вергилий (Aen., VI, 601, 618).

XVII

Стр. 96. *Немалое число подозрительных лиц.*— Штат тайной полиции был чрезвычайно развит в эту эпоху. Агенты состояли в ведении магистра оффиций, который и отправлял их во все концы империи для выслеживания людей неблагонадежных. Частные

случаи см. Amm. Marc., XV, с. III, 8; с. VIII, 9; XVI, с. IX, 7; XXI, с. VII, 3 etc. *Пошел в термы Диоклециана.*— Известна роскошь римских бань. Главными частями терм были: apodyterium, где раздевались; frigidarium, где брали холодные ванны; tepidarium, где банщики в теплом воздухе растирали тело стригилями; elaeotherium, где тело умащали и обливали благовониями; caldarium, где парились или брали теплые ванны. Иногда к этому присоединялись другие помещения, например, laconicum, где парились сухим паром; solia — отдельные «номера» с ваннами и т. п. В больших термах имелись еще помещения для гимнастических упражнений (gymnasium, palaestra), портики для прогулок, залы для беседы, наконец, библиотеки и даже маленькие комнатки для тех, кто ищет уединения. Бассейны для плавания в больших термах представляли собою целые мраморные озера. Любопытные данные о римских термах собраны в книге Cabanès. Mœurs intimes de passé, 2 série. *В нос так и бьет... дым от жертвоприношений.*— Сходную жалобу см. в письмах св. Амбросия (Ep. XVII — цитата у Гиббона, III, 281).

Стр. 97. *Стригиль*, strigilis,— бронзовая или железная скребница, которой очищали тело после бани.

Стр. 99. *Мы были Римляне...*— Пародия стиха Вергилия: Verg. Aen., II, 325—6:

> fuimus Troes, fuit Ilium et ingens
> Gloria Teucrorum[1].

Как... казнил Аврелиан.— Намек на жестокие казни 275 г., когда «рука палачей утомлялась».

Стр. 100. *Рустициана*, жена Симмаха, была вторая дочь Меммия Витрасия Орфита, бывшего дважды префектом Рима. Женился Симмах раньше 371 г. Достоверно нам известно о двух детях Симмаха, дочери, старшей, и сыне (Symm., XLIX — LI). *Пугион*, pugio,— короткий кинжал с треугольным лезвеем.

КНИГА ВТОРАЯ

I

Стр. 101. *Каррука* и *реда* — см. выше. *Децим Магн Авсоний*, Decimus Magnus Ausonius, лично познакомился с Симмахом в 369 г., когда тот приезжал в Треверы (ныне Трир), ко двору Валентиниана, как глава депутации от Сената, поздравлявшей императора с побе-

[1] ...Мы Троями были, был Илий, и слава Тевкров безмерная... *(лат.— Пер. В. Брюсова.)*

дами над аламаннами. О Авсонии см. нашу брошюру «Великий Ритор». *Погибает знание литературы древней* и т. д.— О постепенной варваризации населения империи в IV в. говорят все исследователи эпохи. В литературе господствующей формой стали комментарии к великим писателям прошлого и краткие извлечения из различных прославленных сочинений, наиболее известным образцом чего служит «Breviarium» Евтропия. Центон из стихов Вергилия написал и Авсоний («Cento Nuptialis», в котором из скромных стихов Вергилия составлена довольно непристойная поэма о первой брачной ночи). Грамматики того времени посвящали целые страницы перечислению ошибок в латинском языке, которые обычно делают их современники. См., например, интересный трактат Агреция (Agroetius, De orthographia et proprietate et differentia sermonis), где предлагается, между прочим, не смешивать выражения: accersit — arcessit, ecce — en, acervus — acerbus, abitum — habitum, cepit — coepit, rubor — robur — robor и т. д. (Œuvre d'Ausone, II).

Стр. 103. *Весталка в Альбе нарушила свой обет.*— Об этом деле и отношении к нему Симмаха см. Symm., IX, 147, 148. «Restat,— пишет Симмах,— ut legum severitas exeratur»[1] (ср. G. Boissier, II, 269—270). Когда, позднее, Симмах был префектом Рима, он отказался от торжественной колесницы префектов, потому что она не соответствовала обычаям древности (Symm., IX, 4; G. Boissier II, 269). *По Фламиниевой дороге.*— Via Flaminia была проведена цензором 220 г. до р. Х. Гаем Фламинием. *Мансиона*, mansio,— станция, гостиница; они были устроены по всему протяжению римских дорог, приблизительно на равном расстоянии одна от другой, для удобства проезжающих. *Мансионарий*, mansionarius,— собственно «относящийся к мансионе»; здесь: станционный смотритель.

Стр. 104. *Ездил на Рейн и в Африку.*— См. выше. *О вечном путешественнике Адриане* Дион (LXIX) говорит, что он «переходил из провинции в провинцию». Известна эпиграмма Флора на Адриана: Ego nolo Caesar esse // Ambulare per Britannos[2], etc. Ср. Пушкина:

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест,
Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест,—

стихи, в которых, кажется, есть намек на нашего «вечного путешественника», императора Александра I. *Разен* — свободный; так себя именовали этруски. *Диплома*, diploma,— подорожная, свидетельство на право пользоваться средствами государственной почты

[1] Остается исполнить всю строгость законов *(лат.)*.
[2] Цезарем быть не желаю // По Британии скитаться *(лат.— Пер. Ф. Петровского.)*

(cursus publicus). Частные лица без такого разрешения государственной почтой пользоваться не могли и должны были ехать «на своих». *Магистр оффиций*, magister officiorum,— см. ниже, примечание к гл. VII. *Разве Сенат существует не по воле императора!* — Таково было мнение той эпохи (ср. примечания к гл. VII).Впрочем, римский Сенат, в IV и даже V веке, сохранял еще некоторую тень державной власти. Сенату представлялись порою на утверждение (вернее, для регистрации) новые законы; выработанные в императорской консистории. В 408 г. в римском Сенате обсуждались требования Алариха. В 458 г. Майориан, возведенный на престол свевом Рицимером, писал римскому Сенату: «imperatorem me factum, patres conscripti, vestrae electionis arbitrio»[1] (Кулаковский, 38; Duruy, VII, 183; Mommsen R. Staatsr., III).

Стр. 105. *Дамас* был римским епископом (папою) с 336 по 384 г. О посольстве христиан к императору, руководимом Дамасом, мы знаем из писем Амвросия и донесений Симмаха (Amb. Ep., XVII, XVIII; Symm. Rel.). См. De Broglie, VI, 23. *Быть христианином в наши дни — это средство получать милости двора.*— Сходное суждение находим в письме Симмаха к Претекстату, 383 г.: «nunc aris deesse Romanis genus est ambiendi»[2] (Symm., I, 51). *Сатурний*, Saturnius,— сын Сатурна; обычно так именовали Юпитера, но также Плутона (Ovid.).

Стр. 106. *Дамас...— человек лукавый и неукротимый.*— De Broglie характеризует Дамаса так: «Saint homme de moeurs et de doctrine irréprochables, mais dont l'esprit ardent, curieux, amoureux des nouveautés et des réformes, était fait pour tenir toujours les esprits en éveil et en mouvement autour de lui»[3] (De Broglie, VI, 260). *Старые Фалерии* — Falerii Veteres. *Симмах... начал диктовать письма.*— Г. Буасье говорит о письмах Симмаха: «Ces dix livres de lettres sont d'une pauvreté incroyable; jamais on n'a tant écrit pour dire si peu de chose»[4] (G. Boissier, II, 157). Симмах как бы хвастался краткостью своих писем; он писал Авсонию: «Petis a me litteras longiores. Est hoc in nos veri amoris indicium. Sed ego qui sim paupertini ingenii mei conscius, Laconicae malo studere brevitati quam multiiugis paginis infantiae meae maciem publicare»[5] (Symm., I,

---

[1] Императором я стал, отцы сенаторы, по усмотрению вашего выбора... *(лат.)*

[2] Покинуть римские алтари — это ныне средство угождения *(лат.)*.

[3] Этот святой человек безупречных взглядов и нравов, но с умом пылким, пытливым, ищущим новшеств и перемен, был создан для того, чтобы держать все умы вокруг в напряжении и движении *(франц.)*.

[4] Скудость этих десяти книг писем невероятна: никогда не писалось так много, чтобы сказать так мало *(франц.)*.

[5] Ты просишь писать тебе подлиннее — это знак, что ты любишь меня по-настоящему. Но я-то, зная всю малость моих способностей, гораздо охотнее подражаю лаконской краткости, чтобы не разворачивать на множестве страниц ребяческое мое убожество *(лат.)*.

14). У современников письма Симмаха пользовались исключительной славой. Симмах сам, в тоне шутки, но не без явного самодовольства, говорит о том, что его письма списывались, собирались в сборники, хранились в драгоценных ларцах, и делает намек на то, что его письма перехватывались по дороге подосланными рабами (Symm., II, 48; IV, 34).

Стр. 107. *Гитон*, Giton,— герой «Сатирикона» Петрония. Здесь намек на Petr. Sat., XCVIII (в лучших кодексах читаем: ipsos sciniphes ore tangebat,— vulg.: ipsos cimices).

II

Стр. 107. *Заброшенные поля.*— Известно, что в последние века империи земледелие в Италии пришло в крайний упадок. В IV в. в благословенной Кампании насчитывали полмиллиона югеров пустующей земли; восьмая часть этой провинции превратилась в пустыню, где не было видно ни жилья, ни людей. Рутилий, в своем описании путешествия, говорит, что весь Тосканский берег был безлюден. Императоры тщетно боролись с этим злом, причем одним из средств борьбы было прикрепление колонов к земле. См. Duruy, VII, 193, 209, etc.

Стр. 108. *Мевания* — Mevania. *Цезарь,— говорил он...*— Фридлэндер считает, что ехавшие в экипаже могли делать, в среднем, 40—50 римских миль в день. Speck приводит примеры исключительно скорой езды, как приводимые Оптатом, так и некоторые другие (Speck, III, § 964). *Грациан... почти отказался от власти.*— «Грациан пережил свою собственную славу»,—говорит Гиббон (III, 214) и, ссылаясь на Аммиана Марцеллина, Виктора мл., Зосиму, делает характеристику императора, близкую к той, которую делает Пробин. Аммиан Марцеллин пишет о Грациане: «facundus et moderatus et bellicosus et clemens; ad aemulationem lectorum progrediens principum, ni vergens in ludibriosos actus natura, laxantibus proximis semet ad vana studia caesaris Commodi convertisset, licet hic incruentus»[1], etc. (Amm. Marc., XXXI, 10). De Broglie говорит об отношениях Грациана и Амвросия: «Едва император и епископ оказались в одном городе, более энергичный из них оказал на другого влияние неодолимое. Слабое и робкое сознание Грациана нашло опору, лучше сказать, господина, которого искало» (De Broglie, VI, 9).

---

[1] Словоохотливый и сдержанный, воинственный и милостивый, он стремился подражать избраннейшим из правителей, но природа его, обольщаясь потехами и пользуясь попустительством ближних, обратила его к пустым увлечениям цесаря Коммода, хоть он и не запятнал себя кровью *(лат.)*.

Стр. 109. *Симмах в родстве с Амбросием,* так как Амброснй происходил из рода Аврелиев. *Юстина* — мать Валентпниана II, вторая жена Валентиниана I, была женщина властолюбивая и, может быть, именно из соперничества с двором Грациана покровительствовала арианам. Известно, что позднее, после смерти Грациана, она настойчиво боролась с Амбросием, отстаивала церкви для арианских священников, издавала законы, покровительствующие арианам, и т. п. *Сирмий* — Sirmium, на берегу Савы. *Какими титулами именовать... сановников.*— Известно, что в новой служебной иерархии, разработанной Диоклецианом и его преемниками, различные сановники имели право на различные титулы: vir spectabilis, vir illustris, vir clarissimus, vir clarus etc. См. ниже примечание к гл. VII.

Стр. 110. *Маленькие мансионы* назывались также mutationes или stabulae. *Ориген* (ум. в 254 г.) написал «толкования» на псалтирь, на книгу пророка Иеремии, на Евангелие от Матфея и Иоанна, на послание апостола Павла и др. *Фанум Фортуны* — Fanum Fortunae (иначе: просто Fanum или Colonia Fanestris). *К гостинице... собралась толпа юношей.*— Интерес к литературе Г. Буасье называет характернейшей чертой эпохи. Когда Палладий, приезжий ритор, декламировал публично, его сбегался слушать весь Рим (G. Boissier, II, 178).

III

Стр. 111. *Comites vacantes* — комиты, не состоящие на действительной службе, были двух рангов и имели титул или vir illustris, или vir spectabilis. Комиты вообще делились на три ordo: были комиты первой, второй, третьей степени. *Блеск Медиолана меня поразил.*— В описании города, сделанном Авсонием (Aus. Ordo, VII), между прочим, читаем:

> Et Mediolani mira omnia, copia rerum,
> Innumerae cultaeque domus, facunda virorum
> Ingenia et mores lacti; tum duplice muro
> Amplificata loci species populique voluptas
> Circus et inclusi moles cuneata theatri;
> Templa Palatinaeque arces opulensque moneta
> Et regio Herculei celebris sub honore lavacri;
> Cunctaque marmoreis ornata peristyla signis
> Moeniaque in valli formam circumdata limbo...[1]

[1] Дивен Медиолан, и многого полон богатства:
Неисчислимы и пышны стоят в нем дома, даровиты
Люди и веселы нравы; двойною стеной окруженный,
Там раскинулся цирк, краса городу, люду услада,
И за такой же стеной сходят скатом ступени театра.
Пышные храмы, высоты дворцов, казны изобилье
И Геркулесова сень над прославленной в людях купальней,
Всюду дворы и сады в изваяниях мрамором блещут,
И огибают валы укрепленные город стеною... *(лат.)*

Стр. 112. *Пир.*— Роскошь римских пиров хорошо известна, как известна и прекрасная пародия Петрония «Пир Тримальхиона». «Обед (у римлян),— пишет, напр., А. Амфитеатров («Зверь из бездны», III, 175),— тем легче занимал время, посвящаемое в нашем обществе балам, концертам, спектаклям, что, в сущности, он всему этому уделял понемножку. Даже самый скромный дом, принимая гостя, угощал его музыкою; как бы ни был беден хозяин, нельзя было обойтись, не пригласив хотя бы одного флейтщика. В богатых домах флейтистам счета не было; к ним присоединялись кифаристы, певцы, певицы, хоры: обед превращался в настоящий концерт, столь пестрый, что гости начинали даже скучать от обилия вокальных и инструментальных наслаждений. Лучший пир, говорит Марциал, тот, на котором не слышишь оглушительной музыки». *Одни носили консулярскую тогу, другие — белую одежду кандидатов* и т. д.— Консулы до последних веков империи сохраняли свои внешние отличия: пурпурную тогу, золоченые полусапожки, право на курульное кресло и ликторов с фасками; консуляры, т. е. бывшие консулы (впоследствии consulares назывались также добавочные консулы), имели право на тогу с особо широкой пурпурной каймой. Candidati были члены особого военного отряда, составленного из людей привилегированного положения; свое название они получили от *белой* одежды (мундира), который они носили. О тогах, так пышно расшитых золотом (toga picta, palmata), что они затрудняли движения, см. выше. *Дуксы*, duces, были собственно начальники пограничных войск и заведующие оружейными заводами. Позднее звание дукса (как и звание комита, comes) жаловалось императорами просто как отличие. *Инстита*, instita,— особое, пышно вышитое, украшение внизу столы, вроде волана.

Стр. 113. *Арабийских и испанских плясуний.*— Особенно славились, с давних пор, танцовщицы-испанки (из Кадикса). Еще Марциал находил необходимым для светского человека быть знакомым с испанскими плясовыми мелодиями. С испанками соперничали танцовщицы азиатские и египетские (Ср. Амфитеатров, III, 176). *Искусственных яиц* и т. д.— Римские повара особенно гордились умением придавать кушаньям такой вид, что нельзя было угадать, из чего они приготовлены. См. ниже. *«Царь пиршества»*, rex convivii, arbiter bibendi, выбирался гостями, как председатель обеда. Он раздавал гостям венки, назначал порядок тостов и т. д. *Доместики*, domestici, был один из отрядов придворной гвардии; во главе доместиков стояли два комита, один — пехоты, другой — конницы. Рядом с доместиками (возникшими лишь в IV в.) стоял (образованный раньше) отряд протекторов, protectores lateris divini,— кадр людей офицерского звания, где начинали службу дети знатных военных и германские царевичи (Ю. Кулаковский,

I, 34). *В нашем городе собрались замечательнейшие люди.*— Медиолан был сделан резиденцией императора Валентинианом I. *Изобильные кубки.*— Hor. Ep. I, 5:

Facundi calices quem non fecere disertum[1].

Примицерий священной спальни, primicerius sacri cubiculi, был один из высших сановников, находившихся под начальством препосита священной спальни; в подчинении этого препосита стоял еще заведующий императорским гардеробом, comes sacri vestis, начальник личных слуг и рабов императора, castrensis sacri palatii, дворцовые евнухи, cubicularii и т. д. Штаты дворцовых слуг назывались paedagogia (Ю. Кулаковский, I, 31).

Стр. 114. *У него и волоска свободного нет.*— Capillos liberos non habere — поговорка (Petr. Sat., XXXVIII). *Во дни Ливия уже не понимали* и т. д.— Полибий свидетельствует, что в его время самые искусные ученые не умели объяснить многих выражений в древних договорах. Плутарх и Плиний сообщают, что одну женскую статую в Риме некоторые принимали за Клелию, другие — за Валерию, дочь консула Валерия; Цицерон передает, что Сципион Метелл принимал статую Сципиона Африканского за изображение своего прадеда Сципиона Насики (В. Герье, лекции IV и V). *Зачем же ты хочешь нас заставить говорить языком Ливия?* — Ср. Aul. Gell., I, 10, который рассказывает, что философ так сказал одному юноше, употреблявшему в разговоре выражения старинные: «Курий, Фабриций, Корунканий, эти древние мужи, три Горация, еще более древние, говорили со своими ясно и понятно, говорили словами своего времени, а не языком аврунков, сиканов, или пеласгов, которые, как говорят, первые населяли Италию. Ты же, как бы говоря теперь с матерью Эвандра, пользуешься языком, вышедшим из употребления уже много лет назад, как если бы ты не желал, чтобы никто тебя не понял и не узнал, что ты говоришь. Перестань, безумец (Nonne, homo inepte)» и т. д. *Фабий Пиктор*, по преданию, первый стал в Риме расписывать стены картинами. *Завоевав Сицилию* (242 г. до р. Х.), римляне стали назначать не двух преторов, как прежде, а трех; третий был правителем новой провинции. Впоследствии число преторов было значительно увеличено, а порядок управления провинциями совершенно изменен.— В IV в. преторов назначали сенаты, римский и константинопольский. С званием претора было связано получение сенаторских прав, и таким образом претура была средством пополнения сената.

Стр. 115. *Все обратили глаза на Симмаха, словно гости Дидоны.*— Verg. Aen., II, 1:

---

[1] Полные кубки кого не делали красноречивым *(лат.—Пер. Н. Гинцбурга)*.

Conticuere omnes intentique ora tenebant[1].

Кинеи был послан в Рим Пирром после поражения римлян при Гераклее (280 г. до р. Х.). Вернувшись к Пирру, он назвал сенат «собранием царей». Это вспоминает Amm. Marc., XVI, 10. *Или ты забыл... продажу голосов в трибутных комициях* и т. д.— Авсоний в своей благодарственной речи к Грациану, назначившему его консулом, также восхваляет новый порядок, при котором консулы не избирались народом, а назначались императором: «Valete modo, classes populi, et urbanorum tribuum prerogativae et centuriae iure vocatae. Quae comitia pleniora unquam fuerunt, quam quibus praestitit Deus consilium, imperator obsequium?»[2] (Aus. Gr. actio). Гиббон называет это произведение Авсония «раболепным и пошлым» (Гибб., III, 216).

Стр. 116. *Галлия... после Цесаря славилась только окороками и пивом.*— В эпоху Августа, усердно заботившегося о развитии земледелия и скотоводства в Галлии, славилась ветчина, которую приготовляли менапии (в нынешней Фландрии). Пиво, во все времена империи, оставалось самым употребительным спиртным напитком в Галлии, особенно на севере. Император Юлиан, во время своего пребывания в Галлии, пристрастился к пиву. До нас дошла античная эпиграмма на пиво (Antol. Pal., IX, 368, цит. у Моммс., V, 93):

Эй, Дионис, ты откуда? клянуся истинным Бакхом,
Я не знаю тебя: мне лишь сын Зевса знаком.
Нектаром пахнет тот, козлом пахнешь ты. Это кельтом
(С гроздьями кто незнаком) сварен из хлеба ты был.
Должно тебя называть Деметрий, а не Дионисий,
Бромия имя оставь, огнерожденный ты Бром.

Βρόμιος, Bromius,—одно из имен Бакха; βρόμος— овес. О *Ямблихе* (ум. около 330 г.) и *Авсонии* (ум. в 394 г.) см. выше. Историк *Аммиан Марцеллин* (ум. в конце IV в.) общеизвестен; Гиббон, в том месте своей истории, где он, после последних страниц истории Аммиана Марцеллина, принужден обратиться к другим источникам, скорбит «о такой невозвратной потере» (III, 189). *Папп Александрийский* был одним из величайших математиков древности (Александрийской школы); точная дата его жизни неизвестна, Ф. Кэджори («История математики», 91) относит его к 300—370 г.; M. Simon («Geschichte der Mathematik», 366) — к эпохе Диоклециана. В. Бобынин (в «Энцикл. словаре» Брокгауз-Ефрона), особенно указывая

[1] Смолкли все и глаза устремили, вниманием полны *(лат.— Пер. В. Брюсова)*.

[2] Прощайте, народные сословия, и городские трибы с их преимуществами, и центурии, скликаемые по уставу. Какое собрание может быть полномочней, чем то, в котором господь—повелитель, а император—исполнитель? *(лат.)*

на работы Паппа по геометрии, ныне называемой новой или высшей, признает его «вполне выдающимся геометром». *Богиня Астрея вернулась на землю.*— Намек на стих Овидия (Ov. Met., I, 150):

Ultima caelestum terras Astraea reliquit[1].

Эсхил... сказал...— Aesch. Prom., 909:

αὐτὸν ἐκ τυραννίδος
θρόνων τ' ἀίστον ἐκβαλεῖ.

Редкие пловцы и т. д.— Verg. Aen., I, 118.

Apparent rari nantes in gurgite vasto.

IV — V

Стр. 118. *Тот седьмой день.*— Константин В. установил в 320 г. праздничный отдых. В dies Solis, который политеисты считали посвященным Аполлону, а христиане — памяти воскресения, должны были быть закрыты все присутственные места. *Амвросий*, его характер, его жизнь, особенности его сочинений прекрасно изображены у De Broglie (VI, 1—22 и в отдельном сочинении, Paris, 1899). Мысли проповеди Амвросия повторяют отдельные места из его сочинения «Об обязанностях дружбы» («De officiis», французский перевод в изд. E. Thomas).

Стр. 119. *Не на крыльях же Персея* и т. д.— Намек на стихи Овидия (Ov. Tristium, III, 8).

Nunc ego Triptolemi cuperem consistere curru,
Misit in ignotam qui rude semen humum;
Nunc ego Medeae vellem frenare dracones,
Quos habuit fugiens arce, Corinthe, tua;
Nunc ego iactandas optarem sumere pennas,
Sive tuas, Perseu, Daedale, sive tuas[2].

Стр. 122. *Избранный епископом, Амвросий роздал... имущество...*— Доходы со своих имений он оставил своему брату Сатиру и сестре Марцеллине (De Broglie, VI, 9).

Стр. 123. *Входите свободно.*— «Его (Амвросия) дверь оставалась открытой,— пишет De Broglie (VI, 10),— входили все, кто хотел, даже без доклада». *Стол... был завален грудами... книг.* — «С ранней зари, — пишет De Broglie (ibid.), —

[1] И из бессмертных последней оставила землю Астрея *(лат.)*.
[2] На колесницу б я стать то Триптолема желал бы,
Что по безвестной нови первое семя бросал;
То желал бы взнуздать драконов Медеи, на коих
Из твоего, о Коринф, замка умчалась она;
То бы я возложить желал для летания крылья
Или твои, о Персей, или, Дедал, хоть твои *(лат.— Пер. А. Фета)*.

Амбросий садился за стол, пожирая томы святого Писания, к которым он присоединял комментарии Оригена, святого Ипполита, проповеди Василия Кесарийского и др.». *Пояс с золотой пряжкой.*— Красный пояс (cingulum) с золотой застежкой носили все чиновники, состоящие на государственной службе; штаты их именовались militia.

Стр. 123—127. Разговор Симмаха с Амвросием передает вкратце содержание той речи Симмаха в защиту алтаря Победы, которую он намеревался произнести перед Грацианом, но которую мог сказать лишь полтора года спустя перед Валентинианом II и затем повторил (может быть, с изменениями) в 388 г. перед Феодосием В., и содержание двух писем Амбросия, написанных в предостережение и в опровержение речей Симмаха (см. Symm. Rel., III; Amb. Epist., XVII, XVIII). Содержание этого спора прекрасно изложено у Гиббона (III, 282—283) и De Broglie (VI, 58—73). Ср., напр., утверждение Симмаха: «Hic cultus in leges meas orbem redegit, haec sacra Hannibalem a moenibus, a Capitolio Senonas reppulerunt»[1] и насмешливый вопрос Амбросия по поводу того, что боги спасли Рим от галлов: «Ubi tunc erat Iupiter? an in ansere loquebatur?»[2] «В этой полемике,— пишет Гиббон,— Амбросий снисходит до того, что говорит языком философа».

Стр. 127. *«Я запрещу служить идолам».*— Амбросий,— пишет De Broglie (VI, 18),— не мог терпеть того, что в империи не было единого принятого культа, или, вернее, что было два таких культа... Будь он префектом, он уничтожил бы это смешение, как общественный непорядок; будучи епископом, он негодовал на него, как на оскорбление святыни».

VI

Стр. 128. *Он трудился над фигурой маленького Амура.*— Первоначально христианство относилось очень сурово к языческим изображениям. Арабский текст «апостольского канона» сохранил нам правило, по которому ремесленник, сделавший после того, как получил крещение, идола, должен быть отлучен от церкви. Позднее, однако, христиане стали смотреть на это гораздо снисходительнее. В катакомбах, в женских могилах, находят камеи и другие украшения с изображениями Бакха, Ганимеда, Горгоны; дочь Стилихона получила, как свадебный подарок, вещи Ливии, принадлежавшие потом Поппее, Фаустине и др. Тертулиан разрешает

[1] Эта вера повергла мир под мои законы, эти святыни отринули Ганнибала от римских стен, а сенонов от Капитолия *(лат.)*.

[2] Где же тогда был Юпитер? не в гусе ли он гоготал? *(лат.)*

ремесленникам-христианам делать изображения языческих богов, если только самое изображение не предназначается для целей культа. Образы Орфея, Психеи, олицетворенных времен года, Тритона, Океана — обычны на стенах катакомб и на христианских гробницах (см. P. Allard, X).

Стр. 130. *Прозерпина готовилась срезать волос на твоем темени.*— Ср. Verg. Aen., IV, 698—9:

Nondum illi flavum Proserpina vertice crinem
Abstulerat Stygioque caput damnaverat Orco[1].

Цинед, cinaedus,— плясун, юноша дурного поведения.

Стр. 131. *Помня уверения Насона.*— Ov. Ars Amat., I, 673:

Grata est vis ista puellis.

Стр. 132. *Мог бы поверить... только «Иудей Апелла».*— Hor. Sat. I, 5:

Credat Iudaeus Apella.

Стр. 133. *Квартилла*, Quartilla,— одна из героинь «Сатирикона» Петрония. *Давом, а не Эдипом.*— Terent. Andria, I:

Davus sum non Oedipus.

Стр. 134. *Хламида*, chlamys,— широкий греческий плащ.

VII

Стр. 134. *Арелата*, Arelate, Arelas или Arelate-Constantina,— город в южной Галлии (ныне Арль). *Поднесение золотого венка* городами императору — был особый косвенный налог, которым императоры охотно пополняли свою казну. Иногда, вместо венка, подносилась соответствующая сумма денег, aurum coronarium. В надписях сохранилось много милостивых рескриптов императоров в благодарность за такие подношения. *К дворцовым твердыням.*— Ср. Aus. Ordo VII: palatinae arces.

Стр. 135. *Македония*, тогдашнего магистра оффиций, De Broglie (VI, 45) называет «assez triste personnage»[2]. Магистр оффиций, вместе с префектом претории, префектом столицы, квестором, quaestor sacri palatii, и двумя комитами, заведовавшими финансами, comes sacrarum largitionum и comes rerum privatarum, составляли

[1] И еще волос златой Прозерпиною с темени не был
Снят у нее, и глава не взята была Стигийским Орком *(лат.— Пер. В. Брюсова)*.

[2] Весьма мрачная фигура *(франц.)*.

высшие гражданские чины империи. Круг компетенции магистра оффиций был чрезвычайно велик. Он — начальник дворца и всех дворцовых служб. Под его начальством — личная охрана государя. Он начальник канцелярии приемов, officium admissionum (и в этой должности составляет списки тех, кто имеет в данный день доступ во дворец). В его же ведении стоят четыре других императорских канцелярии: scrinia memoriae, epistolarum, libellorum, dispositionum. Далее он заведует государственной почтой (cursus publicus) и пограничными войсками. Наконец, ему же подчинена тайная полиция, agentes in rebus. Говоря современными терминами, можно сказать, что магистр оффиций соединял в себе власть министра внутренних дел, дворцового коменданта, начальника собственной его величества канцелярии и некоторые другие права (см. Ю. Кулаковский, 31—33). Важнейшие сведения о «священной иерархии», существовавшей в империи, нам дает «Notitia dignitatum», редактированная в начале V века. В разделе, озаглавленном «sub dispositione viri illustris magistri officiorum»[1], мы находим 46 разных учреждений, которыми он должен был руководить, начиная с военных частей, кончая переводчиками со всех языков (interpretes omnium gentium). *Схоларии*, scholarii,— члены личной охраны императора, делившиеся на 7 конных полков (scholae). О кандидатах, протекторах и доместиках см. выше, примечания к гл. III.Там же о препосите священной спальни. К сожалению, в «Notitia dignitatum» главы об этом сановнике и круге его ведомства до нас не дошли.

Стр. 136. *Патриций*, со времен Константина В., стал лишь почетным званием, которое давалось пожизненно. *Куриал* — член городского сената (думы). *Примицерий нотариев*, primicerius notariorum. «Notitia» так определяет его обязанности: «sub cura viri spectabilis primicerii notariorum — notitia omnium dignitatum et amministrationum tam civilium quam militarium. Officium autem non habet sed adiutores»[2]. Дело в том, что, кроме канцелярий, находившихся в ведении магистра оффиций, был еще особый класс государственных секретарей, носивших название нотариев, notarii. Во главе их стоял примицерий. В ведении нотариата находился список чинов (laterculum maius), и через нотариат шли все дипломы о назначениях. *Отцы*, patres,— т. е. римские сенаторы. *О замечательном стихотворении...*— Образцы такого рода стихотворений сохранились в сочинениях Порфирия (см. Publilii Optatiani Porfyrii Carmina).

Стр. 137. *О стихах Горация.*— Hor. Carm. III, 5:

---

[1] В распоряжении светлейшего мужа, магистра оффиций *(лат.)*.

[2] В ведении высокодостойного примицерия нотариев — заведование всеми должностными лицами и чиновниками как военными, так и гражданскими; канцелярии у него нет, но есть помощники *(лат.)*.

Caelo tonantem credidimus Iovem
Regnare.

Началось императорское шествие.— Зосима жалуется (Zosimi, IV, 35), что Грациан, «приняв к себе многих бежавших алан, зачислил их в ряды войска, одарил богатыми подарками и верил исключительно им, нисколько не доверяя своим римским воинам».

Стр. 138. *Обряд поклонения* пред императором был введен Диоклецианом. Говоря о том, как некто Урсиции должен был поцеловать полу пурпурной императорской мантии, Аммиан Марцеллин (XV, 5) замечает: «Этот способ приветствия учредил впервые, по обычаю чужеземных царей, император Диоклециан, тогда как до того государей приветствовали таким же способом, как и сановников» (перев. Ю. Кулаковского). *Грациан... был одет* и т. д.— Гиббон пишет (III, 218): «Как будто нарочно стараясь оскорбить общественное мнение, Грациан часто появлялся перед солдатами в одеянии и вооружении скифского воина,— с длинным луком, гремучим колчаном и меховыми обшивками. Унизительный вид римского императора, отказавшегося от одеяния и правов своих соотечественников, возбуждал в душе солдат скорбь и негодование». Описание внешности Грациана в повести соответствует словам Аммиана Марцеллина (см. выше) и сохранившимся изображениям на монетах и геммах (см. напр., «Numismata»).

Стр. 139. *Диадема* — белая повязка, надевавшаяся на голову исключительно императорами, украшенная шитьем и драгоценными каменьями. Ленты, свободно спадавшие от диадемы сзади, назывались lemnisci. На монетах Грациан изображен в такой corona lemniscata. *Города, которые желают* и т. д.— См. эдикт 382 г. (Cod. Theod., XII, tit. XII, 8): «Quaecumque civitas legatos ad sacrarium nostrum voluerit ordinare, libera ei tribuatur facultas». *«Другом божиим»* и т. д.— Сходные выражения находим у Авсония (Gratiarum actio): «amicus Deo es». «Augustus sanctitate», «Deo participatus». Сам император говорил о «дворе нашей божественности» («Ad nostri numinis comitatum», Cod. Theod., XII, tit. XII, 7). *Увертий Ювенала...*— Iuv. Sat. IV, 70—71.

Nihil est, quod credere de se
Non possit, cum laudatur dis aequa potestas.

VIII

Стр. 141. *Против нас стоят сильные* и т. д.— См. Царств XVIII, 45; Псалом XCIII, 22; XC, 13. *Звезда Полынь пала на реки и источники водные* и др.— Откр. VIII, 8, 10—12; IX, 1. *Квиндецимвиры*, quindecimviri sacris faciundis,— коллегия, заведовавшая сибиллинскими книгами и иностранными культами. Состав этой колле-

гии в 15 человек был установлен Суллою (сначала он был в 2, потом в 10 человек). *Буйство всех четырех ветров.*— Намек на стихи Verg. Aen. I, 82—83:

ac venti velut agmine facto
Qua data porta ruunt et terras turbine perflant[1].

Стр. 142 и сл. *Наасены* (по-еврейски nahash — змей) или офиты — гностическая секта, точнее, группа сект, чтивших в змее образ, принятый верховной Премудростью. Учение наасенов подробно излагается в «Обличении против всех ересей», приписываемом св. Ипполиту. Учение это сходно с тем, что излагает в повести Манаим. Полагают, что секта офитов возникла в Египте; культ змеи, по-видимому, был связан с фаллизмом. Секта офитов еще продолжала существование в VI веке. *По благости императора,*— т. е. Валентиниана I, установившего широкую веротерпимость в империи.

Стр. 143. *Таким... богоравный Улисс...*— Одиссея, VII.

Стр. 145. *Гермес Трисмегист* — предполагаемый автор книг, излагающих оккультное учение о мире. Лактанций (конец III и начало IV в.) уже цитирует эти книги.

Стр. 146. *Как молния, что исходит от Востока и видна бывает даже до Запада.*— От Матфея XXIV, 27; Деяния XVIII, 22—23.

Стр. 147. *Для чего ты допустил сатане* и т. д.— Деяния V, 3—4. *Антиной*, любимец императора Адриана, был родом из Вифинии.

Стр. 148. *Ныне видели очи мои спасение мира.*— От Луки, II, 30.

Стр. 149. *Аматусия*, Amathusia, т. е. Венера, называвшаяся так по святилищу в ее честь, бывшему в Амате (Amathus), древнефиникийскому городу на Кипре.

IX

Стр. 149. *Ночные служения Приапу* (женщин) были описаны в «Сатириконе» Петрония, в утерянной части, но указание на них сохранилось в гл. XVI.

Стр. 150. *Цингул*, cingulum,— см. выше примечание к гл. V. *Лена*, laena,— широкий плащ, мохнатый с обеих сторон, который в холода носили сверх тоги. Сначала чисто военное одеяние, лена позднее стала носиться всеми гражданами и часто заменяла собою тогу. Бедняки носили лену из грубой материи; щеголи — окрашивали ее в различные цвета, преимущественно лиловый (Lexique). *Золотой солид*, solidus — золотая монета, ценность которой определялась различно. В 445 г., при Валентиниане III, был издан закон

[1] ...и ветры, как будто сомкнутым строем,
Рвутся, где дверь отворилась, и вихрем над землями веют *(лат.)*.

de pretio solidi et ne quis solidum integrum recuset, который гласит: «ne umquam intra septem milia nummorum solidus distrahatur emptus a collectario septem milibus ducentis». Моммсен толковал это место так: менялы были обязаны отдавать золотой солид за цену, не превышающую 7200 динариев, а частные лица — принимать по меньшей мере за 7000 динариев. Вальтцинг находит, что новелла обязывает менял менять золотой (солид) на медь по курсу, границы которого определялись снизу в 7000 динариев, между тем как они сами покупали золото по 7200. Моммсен определял ценность диоклециановского денария в 8,6 пф.; теперь (благодаря находке «Элатейского фрагмента») мы знаем, что эта оценка приблизительно в 5 раз выше действительной (см. Струве, 252—256). Следовательно, золотой солид в середине V в. равнялся приблизительно 120—140 маркам. Однако для конца IV в. цена солида должна была быть ниже; первоначально aureus (который был заменен солидом) равнялся только 100 сестерциям и лишь постепенно возрастал в цене. Высокая стоимость его в V в. объясняется недостатком золота в то время.

Стр. 151. *Напоминала полную луну* и т. д.— Petr. Sat. CXXVII: «Illa risit tam blandum, ut videretur mihi plenum os extra nubem luna proferre»[1]. *Томириса*, Tomyris,— скифская царица, победившая и умертвившая Кира. У Юстина (Just. I, 8) — Tamyris. *Дочери Даная*, данаиды, по мифу, были осуждены в Тартаре наполнять водой бездонную бочку.

Стр. 152. *Педагог*, paedagogus,— дворцовый слуга. См. выше. *Гиматий*, ἱμάτιον, — у греков соответствовал римской тоге. *Все товары... сипов* и т. д.—См. Приложение (ко второму тому)[2]. *Аксомитское* царство было расположено в Африке, поблизости от Абиссинии. В половине IV в. царство аксомитов соединилось с царством гомеритов, лежавшим на противоположном берегу Аравии. В одном документе, около 356 г., царь аксомитов называл себя: Βασιλεῦς Ἀξωμιτῶν καὶ Ὁμηριτῶν. В позднейшие времена империи царства аксомитов и гомеритов находились в постоянных сношениях с Римом. *Миос-Гормос* — гавань в Египте на Красном море. *Салика* — ныне Цейлон, *Каттигара* — город в южном Китае (может быть, ныне Кантон, Нанкин или Ханой). *Эритрейское море* — с.-з. часть Индийского океана (Аравийское море); египетские мореплаватели рано научились пользоваться муссонами для далеких экспедиций. См. Приложение (ко второму тому)[3].

---

[1] Улыбалась она так ласково, что мне показалось, будто из туч выступила полная луна *(лат.)*.

[2] См. стр. 647 наст. т.

[3] См. стр. 643 наст. т.

Стр. 153. *Метора*, Methora,— город на Цейлоне. *Тамошние люди* и т. д.— «В домах индийской знати,— пишет Моммсен (V, 596),— пили арабские вина наряду с италийским фалернским и с сирийским лаодикийским, а копья и сапожные шила, которые покупались туземцами берегов Занзибара, выделывались в Музе». *Арсиноийские ткани*, т. е. изделия арсиноийских ткацких фабрик (Арсиноя — город в Египте на Файуме), славились во всей империи и особенно на Востоке. Египетские фабриканты для восточного экспорта готовили специальные товары по вкусу туземцев; мы видим, что вывозились ткани «для варваров», «для арабов», «для туземцев» (ἱμάτια βαρβαρικά, ἱματισμὸς Ἀραβικός и т. п.). См. М. Хвостов, стр. 167. *Египетское стекло* также было очень известно на Востоке. «Индия получала из Египта частью готовую стеклянную посуду, частью необделанное стекло для собственной фабрикации; даже при китайском дворе возбудили сильное удивление те стеклянные сосуды, из которых приезжие римляне пили за здоровье императора» (Моммсен, V, 565). *Статуи* римских художников также попадали на Восток. «Египетские торговцы привозили цивилизованным владетелям южно-аравийских и индийских берегов подарки, состоявшие между прочим из статуй, конечно, бронзовых, и из музыкальных инструментов» (Моммсен, ibid.). *Нашей сурьмой подвести себе глаза.*— В гавани западного Индостана вывозились еще реальгар, мышьяк и сурьма (στίμμι); последняя на Востоке употреблялась и употребляется женщинами для подкрашивания бровей и подведения глаз (М. Хвостов, стр. 163—4). *Везде ходят наши деньги.*— «Явственным свидетельством торговых сношений Римской империи с гаванями Индостана и Индо-Китая представляются нам римские монеты, здесь находимые» (М. Хвостов, стр. 232). Монеты находят в Мадурском округе (от монет Тиберия до — Аркадия и Гонория и даже Зенона), на Коромандельском берегу (от монет Траяна до — Каракаллы), на северо-востоке Индостана (от монет Тиберия до — Константина и более поздних императоров), на Цейлоне и т. д. Клады с римскими монетами находят и на восточном побережии Африки; в Родезии была найдена монета Антонина Пия (М. Хвостов, стр. 81). См. Приложение (ко второму тому)[1]. *Острова Сатиров*, Satirorum insulae,— Борнео; *лесные люди* — орангутанги. *«Дважды шесть».*— Намек на стихи Verg. Aen. XII, 899—900.

Vix illud lecti bis sex cervice subirent,
Qualia nunc hominum producit corpora tellus[2].

[1] См. стр. 649 наст. т.
[2] На плечи только с трудом его взвалили б двенадцать
Самых могучих мужей из рожденных ныне землею.
(лат.— Пер С. Ошерова.)

Panta — Занзибар; *Лунные горы* — Кения и Килиманджаро. *Переплыв Океан, нашли за ним новую землю* — т. е. Америку. См. свидетельства Элиана (III в.), Марцелла Эмпирика (IV в.), Прокла Диадоха (V в.) и др.

Стр. 155. *Колумбарии*, columbaria,— отверстия в борту корабля, в которые продевались весла.

X—XI

Стр. 156. *Опыт учит нас... соразмерять свои плечи с бременем* и т. д.— Seneca, Epist. CVIII. *Давно было указано, что... события, считавшиеся злом* и т. д.— Seneca, Epist., CX.

Стр. 157. *Как говорит поэт* — Phaedr. IV, 20:

Homo doctus in se semper divitias habet[1].

Человек образованный обладает силой побеждать все бедствия и т. д.— Seneca. Epist. LXXXV. *Этим ты обеспечишь свою жизнь* и т. д.— Ср. Seneca, Epist. CXVIII.— Вообще в письме отца Юния есть ряд намеков на мысли, выраженные в письмах Сенеки. *Vale ut valeam* — будь здоров, чтобы и я был здоров (обычное заключение писем). *S. D.*— salutem dixit (привет, обычное начало писем). *Vale* — будь здоров.

Стр. 159. *Сольется ли моя душа с элементами мира, будет ли мой призрак блуждать вокруг мертвого тела, тогда как моя тень* и т. д.— Учение, изложенное, между прочим, и Овидием, что человек состоит из четырех элементов: маны, тело, дух и тень (manes, corpus, spiritus, umbra). *Стикс*, *Ахеронт*, *Коцит*, *Флегетон* — реки в Тартаре. *Иксион*, *Пирифой*, *Тантал* — мифические герои, известные теми мучениями, на которые обречены в Тартаре. *Элисса* — другое имя Дидоны.

Стр. 162. *Раба, который фонарем освещал бы им дорогу...*— Ср. Petr. Sat. LXXIX: «Neque fax ulla in praesidio erat, quae iter aperiret errantibus»[2]. *Перевертывать стиль* — stilum vertere; чтобы можно было стирать написанное (на доске), верхний конец стиля делался плоским или закругленным.

Стр. 163. *S. D. P.*— Salutem dixit plurimam (привет, обычное начало писем). *Domina* — госпожа, обычное обращение к даме. *Cura ut valeas* — будь здорова (обычное заключение писем). *Пугиллары* — записная книжка (см. выше). *Он прочел мне... эпиграмму.*— Среди сочинений Симмаха сохранилось несколько стихотворений, из которых одно написано сходным размером (Symm., I, 8).

[1] Ученый сам в себе несет добро свое *(лат.)*.
[2] У нас не было в запасе факела, чтобы освещать путь *(лат.)*.

Стр. 164. *Победителем Британии и Африки* Валентиниан I может быть назван лишь условно. Лично он совершал походы лишь против германцев; победы в Британии (усмирение каледонцев, в 367—370 г.) и в Африке (подавление мятежа Фирма, в 372—373) были одержаны полководцем Валентиниана I, Феодосием (старшим). Но известно, что императоры с первых времен империи приписывали себе подвиги своих полководцев и даже праздновали за них триумфы. Валентиниан, впрочем, не имел титулов ни Britannicus maximus, ни Africanus maximus, но только Germanicus, Alamannicus, Francicus, Gothicus (Fasti).

Стр. 165. *Косские мастера*, т. е. жители острова Коса (одного из Спорадских), славились своими золотошвейными изделиями.

Стр. 166. *В сей жизни счастлив тот...*— Hor. Ep. II, 1:

Beatus ille, qui procul negotiis.

Стр. 167. *Изречение Цицерона* — Cic. De Div. II, 41: «Nihil est quod deus efficere non possit».

Стр. 168. *Iuppiter Optimus Maximus* — Юпитер милостивый, величайший! — обычное обращение к Юпитеру.

Стр. 169. *Пугион*, pugio,— короткий кинжал (см. выше). *Кратос и Биа*, Κράτος καὶ Βία,— Мощь и Сила, действующие лица трагедии Эсхила «Прикованный Прометей».

XII — XIII

Стр. 170. *Здесь не было обычных трех этажей.*— Обычные римские тюрьмы имели три этажа. Нижний этаж (carcer inferior, carnificiaria) служил местом казни; преступника сбрасывали туда через маленькое отверстие в потолке и после доставали оттуда тело крюком (uncus). Средний этаж (carcer interior) обыкновенно был на уровне земли. Верхний этаж (carcer superior) служил для заключения менее важных преступников (Lexique). *Скотты* — племя, жившее в южной части Шотландии (Caledonia) и в Ирландии (Hibernia). Аммиан Марцеллин называет скоттов и пиктов «gentes ferae»[1] (Amm. Marc., XX, 1). *Галльские башмаки*, gallicae,— галльская обувь, с очень плотной подошвой, иногда двойной или тройной, без каблуков, нечто похожее на современные галоши (Lexique).

Стр. 171. *Высокий холм... Лакторы.*— Лактора была расположена на возвышенности. «Tout près du plateau où elle (Lectoure) était bâtie, au sommet du rocher qui la porte»[2] etc.,— пишет C. Jul-

[1] Дикие племена *(лат.)*.

[2] Возле самой возвышенности, на которой была построена Лактора, на вершине скалистого холма, где она стоит... *(франц.)*

lian, посвятивший Лакторе отдельную статью (Revue de Philologie, avril 1911).

Стр. 172. *Юлия Домна* — жена сначала Септимия Севера, потом Каракаллы, известная и своим распутством, и покровительством ученым, имевшая большое влияние на государственные дела. *Мамея*, дочь Месы, долгое время, вместе с матерью, правила делами вместо Элагабала. Другие, упоминаемые здесь имена — общеизвестны. *Сатурния*, Saturnia,— дочь Сатурна, т. е. Юнона, покровительница браков. *Богиня Верности* — Fides. *Бледность и Страх* — Pallor et Pavor. Как известно, многие божества у римлян были лишь олицетворением отвлеченных понятий.

Стр. 173. *Формы судопроизводства*, actio — у римлян, народа-юриста, были разработаны весьма подробно, но больше по отношению к гражданскому процессу, чем уголовному. В позднейшую эпоху империи дела о государственных преступлениях весьма часто велись без соблюдения каких бы то ни было юридических норм. Аммиан Марцеллин приводит многочисленные примеры подобных судебных дел, в которых все решалось волею императора, цесаря, или даже иного сановника. Констанций покарал, на основании сомнительного доноса, тяжкой ссылкой комита Геронция, подвергнув его предварительно пыткам (Amm. Marc., XIV, 5). Нотарий Павел в Британии «благородных людей заключал в темницу, а иных из них томил в кандалах» (XIV, 5). При цесаре Галле (брате Юлиана) «никто не производил правильного следствия о проступках, действительно совершенных или измышленных, не делалось различия между виновными и невиновными, умолкла законом установленная защита, и по всем провинциям Востока царили — палач, казни, конфискация имущества» (XIV, 7). При том же Галле, «нисколько не разобравшись в деле, не различая между правыми и виноватыми, одних приговорили к ссылке, после предварительного наказания палками и пыток, других разжаловали, остальных казнили» (XV, 3). В самом Риме, при Валентиниане I, гаруспику Аманцию, после тайного доноса, пришлось «изгибаться под тяжестью пыток» (XXVIII, 1). И т. п. (все цитаты по переводу Ю. Кулаковского). *Право апелляции*, appellatio,— в эпоху империи состояло преимущественно в апелляции к императору. *Аудитория*, auditorium,— в юридическом языке, группа лиц, присутствующих в суде, при префекте, преторе и т. п. *Дело ведут... иной раз магистры конницы.*— См. Amm. Marc., XIV, 9. Цесарь *Галл* был обезглавлен в заточении, по приказанию Констанция (Amm. Marc., XIV, 11). *Всякого рода пытками.*— В позднейшую эпоху империи римляне широко прибегали, при уголовном следствии, к пыткам, ранее применявшимся у них лишь к рабам (см. многочисленные свидетельства Аммиана Марцеллина и др.). Наиболее употребительными орудиями пытки

были разной формы бичи (flagrum, flagellum, lorum), клещи (uncus), дыба (eculeus) и др. *Туберон в истории Регула.*—«Regulum Tubero in historiis redisse Carthaginem novisque exemplorum modis excruciatum a Poenis dicit»[1] etc. (Aul. Gell., VI, 4). *Мужество стоика Зенона* упомянуто Аммианом Марцеллином (XIV, 9): «qui (Zeno) ut mentiretur quaedam laceratus diutius avulsam sedibus linguam suam cum cruento sputamine in oculos interrogantis Cyprii regis impegit»[2].

Стр. 174. *Богиня Надежда.*— См. стихи неизвестного поэта (Riese, Ant. Lat. 415; Baehrens, II, 25):

Spes fallax, spes dulce malum, spes summa malorum[3].

Стр. 175. *Евридику — змея* и т. д.— Сходное расположение слов было очень любимо позднейшими римскими поэтами, напр. (Riese, 798a, 25—26):

Armeniae tigres, Libyae fert terra leones,
Est elefas Indis, tura Sabaeus habet...[4]

Ср. приписываемую Пентадию эпитафию на могилу Вергилия (Riese, 800):

Pastor arator eques pavi colui superavi
Capras rus hostes fronde ligone manu[5].

Стр. 176. *Кебрен*, Cebren, Κεβρήν,— божество реки в Троаде, считавшееся отцом Эноны и Гесперии. *Кебрениды* — дочери Кебрена. См. Ov. Met. XI. 769; Stat. Silv. I, 5. *Адамантовые оковы*, ἀδαμαντίνοι δεσμοί,— оковы стальные, несокрушимые (Aesch. Prometh., 6). *Не было алтаря, который я мог бы обнять, и некому было мне подсказывать... слова молитвы...*— Произнося молитву, римляне держались за алтарь руками, потом подносили руку к устам (adoratio). Ошибка хотя бы в одном слове молитвы уничтожала ее действие, и потому лица сведущие (жрецы) подсказывали слова молитвы (verba praeire).

Стр. 177. *Циллений*, Cyllenius,— Меркурий; намек на стих Verg. Aen. IV, 276—7:

Tali Cyllenius ore locutus
Mortalis visus medio sermone reliquit[6].

Орк в преисподнюю вас и т. д.— См. Aul. Gell. XVI, 7:

---

[1] Туберон в «Истории» рассказывает, что Регул, воротившись в Карфаген, был замучен до смерти новопридуманными пытками *(лат.)*.

[2] Зенон, которого долго мучили, чтобы вынудить у него ложь, отгрыз себе язык под самый корень и с кровавой слюною выплюнул его в лицо допрашивающему кипрскому царю *(лат.)*.

[3] Ты, надежда,— обман, зло из зол, сладчайшее горе *(лат.)*.

[4] Тигров — Армения, львов родят нам ливийские земли,
В Индии славны слоны, ладан — в сабейской земле... *(лат.)*

[5] См. т. 3, стр. 510.

[6] Так устами промолвив, Киллений
Смертные взоры покинул речи своей в середине *(лат.— Пер. В. Брюсова)*.

Tollet bona fide vos Orcus nudas in Catonium.

Стр. 180. *Паллий*, pallium,— греческое одеяние, вошедшее в Риме в употребление лишь при империи; в паллий завертывались как в позднейшую мантию; на груди или на плече паллий застегивался фибулой (fibula) — родом аграфа или нашей «английской булавки», богато изукрашенной. С паллием римляне обычно носили греческую обувь, именно *крепиды* (crepida),— сандалии, состоявшие из толстой подошвы и «задка», так что передняя часть ступни оставалась обнаженной. *Кальцеи*, calceus,— были официальной обувью римлян; кальцеи прикрывали всю нижнюю часть ноги; носили их с тогой. Calceus senatorius несколько отличался от обыкновенного и делался большею частью из черной кожи. Чистили кальцеи губкой. *Пилей*, pileus,— фетровая полукруглая или коническая шляпа, заимствованная римлянами у греков; пилей носило чаще простонародье, но иногда и лица высокого положения (Lexique). *В наши дни все продается.*— «Кодекс Феодосия,— говорит Duruy (VII, 211),— показывает, что в позднейшей империи все и всех можно было купить. Понижение цензa, уменьшение таксы, перемена положений — все продается. Для того, кто платит, у приемщика неверные весы, у судей смягченные приговоры... Бакшиш царит полновластно... Сами государи требуют щедрости от того, кто к ним обращается (Nov. XXX, cap. IV, 1). Юстиниан, который будет хвалиться тем, что раздает должности бесплатно, потребует от вновь назначаемых на должность, чтобы они вносили по 50 фунтов золота в пользу благочестивейшего императора... Одному из государей Синесий в свое время скажет: «все можно купить». Далее Duruy делает ряд ссылок: Syn. XXX; Cod. Theod., VIII, tit. V, 10; VII, tit. 14, 28 et 29; XIV, tit. IV, 9, etc., etc.

Стр. 181. *Амфималл*, amphimallum,— шерстяная материя, мягкая и мохнатая с обеих сторон, употреблявшаяся для зимних одеяний, одеял, ковров и т. д.

Стр. 182. *Над «нестройной и бессвязной громадой».*— Намек на стих Ov. Met. I, 7:

rudis indigestaque moles...

КНИГА ТРЕТЬЯ

I

Стр. 183. *Рустициана*, жена Симмаха,— см. выше, примечание к гл. XVII книги I. *Эвсебий*, знаменитый медик,— см. выше, примечание к гл. XI книги I. *Выстукав все тело молоточком...*—

Выстукивание и выслушивание больного — метод, предлагаемый Гиппократом и в XIX в. лишь воскрешенный в медицине. *Добродетель матери Гракхов*, Корнелии, как известно, была предметом многих исторических анекдотов.

Стр. 184. *Вознесли до звезд славу.*— Намек на стих Verg. Aen., I, 379:

fama super aethera notus[1].

Стр. 185. *Fides* — вера; *opinio dei* — уверенность в существовании божества. *Христиане все словно помешаны.*— Гиббон, ссылаясь на Жоржена, приводит такое наблюдение Григория Назианзина: «Если вы попросите одного из них разменять серебряную монету, он расскажет вам, чем Отец отличается от Сына; если вы спросите о цене хлеба, вам на это ответят, что Сын ниже Отца; а когда вы спросите, готова ли баня, вам скажут, что Сын создан из ничего» (Гиббон, III, 226).

Стр. 187. *То она... говорила о учении индийских брахманов* и т. д.— Все это рассуждение Валерии напоминает то место, где Апулей во «Флоридах» (Apul. Flor., II) рассказывает о учителях Пифагора. *О крутящихся смерчах и галисах, световых кругах вокруг солнца* и т. д.—также говорит Апулей в сочинении «De Mundo»: «Halysis est catena quaedam luminis clarioris per solis ambitum in se revertens»[2] etc.

Стр. 188. О *драконите* говорит Плиний (Plin. Nat Hist. XXXVIII, 10, 57): «Draconitis sive draconitas e cerebro fit draconum, sed nisi viventibus absciso capite non gemmescit invidia animalis mori se sentientis; igitur dormientibus amputant... Esse candore tralucido, nec postea poliri aut artem admittere»[3]. *Ее... называли, шутя, не Валерия, а Валерий.*— Ср. то, что говорит Авсоний о своей тетке Эмилии Гиларии (Aus. Parent. VI.):

Aemilia, in cunis Hilari cognomen adepta,
Quod laeta et pueri comis ad effigiem[4].

Стр. 189. О *землетрясениях* подробно говорит Апулей в сочинении «De Mundo»; он различает следующие формы землетрясений:

---

[1] Молвой до эфира прославлен *(лат.— Пер. В. Брюсова)*.

[2] Галис есть полоса блестящего света, кольцом опоясывающая солнце и т. д. *(лат.)*.

[3] Драконит происходит из мозга дракона, которому отрубили голову, но только живому: если животное предчувствует смерть, то от горя мозг его не окаменевает, поэтому голову ему отрубают во время сна... У него прозрачный блеск, и ни шлифовке, ни какой другой обработке он не поддается *(лат.)*.

[4] Крошку Эмилию стали Гиларием звать, словно сына,
Ибо имела, смеясь, нежного мальчика вид *(лат.)*.

epiclintae, brastae, chasmatiae, rhectae, ostae, palmatiae, mycctiae, описывая их в тех же выражениях, как Валерия. «Horum motuum,— говорит Апулей,— tam varia sunt nomina, quam diversi esse videntur»[1].

II

Стр. 191. *Сферистерий*, sphaeristerium,— особое помещение для игры в мяч, устраивавшееся и в частных домах и при термах или гимнасиях. Игра в мяч была очень распространена в IV—V вв., упоминается Авсонием, Сидонием Аполлинарием и др., а раньше Плинием, Светонием и др. *Лампы*, в древности, делались из самых разнообразных материалов. Сохранились до нашего времени и лампы золотые. Формы античных ламп и подставок, на которых они утверждались, крайне разнообразны. *Зеркала*, в древности, делались из композиции меди и олова; позднее также из серебра. Вделывались зеркала в богатые металлические рамы, нередко украшенные драгоценными каменьями (cistae). Лучшие зеркала приготовлялись в Брундисии. В позднейшее время римской жизни вошли в моду круглые *столы*, т. е. три lecti или ложа, сливаясь в одно, образовывали полукруг в форме буквы С. Часто эти столы делались из досок самых редких и дорогих деревьев. Цицерон, никогда не бывший слишком богатым человеком, заплатил за один стол 5000 сестерций. Римские историки говорят и о более высоких ценах столов (Уэлькенс, 46). *Библиотека.*— Книги (libri и codices) располагались в библиотеках обычно в особых нишах в стенах или в шкапах. Оросий (VI, 15), описывая состояние александрийской библиотеки, разграбленной и уничтоженной христианами, говорит: «Nos vidimus armaria librorum, quibus direptis, exinitata ea a nostris hominibus, nostris temporibus memorant»[2] (Гиббон, III, 293). *Издания... замененные новыми.*— К последним временам империи относится усиленная работа реторов над сочинениями старых писателей, которых они перездавали со своими исправлениями (emendatio). *Бумаги рода Аврелиев.*— Как известно, римские фамильные архивы давали богатый материал историкам.

Стр. 192. *Два других* (дома).— См. выше, примечание к гл. XVI книги I. *Книги*, в древнем Риме, имели или форму современной книги (codices), или свитка (libri). Переписанный свиток приклеивался к палке, на которую навертывался; таким образом получался том, volumen, который, читая, постепенно развертывали (librum volvere, pervolutare). Оба края палки, на которую был навернут

[1] Как различны виды этих землетрясений, так разнообразны и названия их *(лат.)*.

[2] Мы видим полки из-под расхищенных книг, напоминающие, что опустошены они были в наше время, нашими людьми *(лат.)*.

список, обычно украшались шариками из металла или слоновой кости, *умбиликами* (umbilici, cornua). Часто весь том помещался в особый футляр из пергамента, *мембрану* (membrana). Название книги писалось на этом футляре или на особой дощечке, привешенной к умбилику. *Эмендацией* (см. выше) называлось редактирование сочинения (Lexique). *Спортула*, sportula,— собственно корзинка; так назывались те порции пищи, которые прежде патроны ежедневно раздавали своим клиентам.

Стр. 193. *Быть декурионом.*— Звание декуриона (decurio), т. е. члена провинциального городского сената (думы), не давало права ни на какое вознаграждение, но было соединено с различными расходами. Позднее жители многих городов всячески уклонялись от такой почести.

Стр. 194. *Асия*, Asia,— провинция Асиатской диэцесы.

Стр. 195. *Стихи Назона.*— Ov. Rem. Am., 7—8.

Saepe tepent alii iuvenes, ego semper amavi;
Et, si quid faciam nunc quoque, quaeris: amo.

Стр. 196. *Катулл несчастный* и т. д.— Cat. VIII:

Miser Catulle, desinas ineptire.

Стр. 197. *Три фурии*: Alecto, Megaera, Tisiphone. *Помпонии* — старинный патрицианский род, уже угасший в IV веке. *Груб и невежествен.*— В сочинении Агреция (Agretius, De orthographia) читаем: *Alvus* virorum recte dicitur, *uterus* mulierum, *venter* in utroque sexu... *Lepus* animal est, *lepor* — iucunditas voluptatis, *lepos* — eloquii... *Instar illius rei* dicere debemus, non *ad instar*... *Memini me facere* dicere debemus, *non memini me fecisse*, nam *memini* sermo est totus praeteriti temporis, qui ante factam rem in praesens revocat[1] (Œuvres d'Ausone, I). Обилие сходных руководств, напоминающих французские « Ne dites pas », доказывает, что в IV в. разговорная латинская речь была полна ошибок. *Варрон*, M. Terentius Varro Reatinus,— знаменитый ученый, современник Цицерона; *Варий*, L. Varius,— поэт, друг Горация и Вергилия.

Стр. 198. *Асс*, as — старинейшая римская медная монета, первоначально приравнивавшаяся по весу 1 фунту, но в позднейшее время имевшая лишь $^1/_{36}$ своего прежнего веса. *Время, пожиратель вещей.*— Ov. Met. XV:

---

[1] Перечень неправильных и соответствующих им правильных слов и оборотов латинского языка: Alvus говорится о животе мужчины, uterus — о животе женщины, venter — и о том и о другом... Lepus — это животное (заяц), lepor — приятность наслаждения, lepos — приятность речи... Говорить: Instar illius rei — правильно, ad instar — нет... Memini me facere — правильно, memini me fecisse — нет, потому что за memini следует рассказ о прошедшем времени, в котором действия прошлого представляются в настоящем *(лат.)*.

«*Тупится сошник*»... и т. д.— Стихи Sulpicii Luperci Sebasti iunioris (A. Baehrens, IV, 118):

Ferreus vomis tenuatur agris.

Me miserum!— О, я несчастный!

III — IV

Стр. 201. «*Хранить дух твердый*»... и т. д.— Hor. Carm., II, 3:

Aequam memento rebus in arduis
Servare mentem.

«*Я... держусь эмпирической школы*»...— Эмпирическая школа медицины возникла в александрийский период. «*Вскрытием*» эмпирики называли непосредственное наблюдение; «*теоремой*» — сравнение наблюдаемого случая с другими, описанными раньше; «*эпилогизмом*» — установление связи причины болезни с ее проявлениями.

Стр. 203. *Меретрика*, meretrix,— распутная женщина, см. выше. «*Где я, Гай*»... и т. д.— Ubi tu Caius ibi ego Caia,— древняя формула, которая произносилась при той форме заключения брака, которая называлась coemtio. *Feliciter*, счастливо!— восклицание, которым гости на свадьбе приветствовали новобрачных. *Гарпии*, harpyiae,— мифические полуптицы, полуженщины; по выражению Вергилия (Aen. III, 227—8), они «contactu omnia foedant immundo»[1].

Стр. 204. *Атрей*, по одному варианту мифа, мстил Фиесту за то, что тот соблазнил его жену. Впрочем, миф о Атрее и Фиесте и их взаимной мести имеет очень много вариантов.

Стр. 205. *S. D.*— salutem dixit, см. выше примечание к гл. X книги II. *Тонсор*, tonsor,— парикмахер; tonstrina — парикмахерская, место, где обычно собирались все праздношатающиеся, чтобы обменяться новостями.

Стр. 206. *Цикла*, cyclas,— женское одеяние, из легкой материи, с золотым шитьем внизу. См. выше, примечание к гл. VIII книги I.

Стр. 208. *Мать сына Анхиза* — т. е. богиня Венера.

Стр. 209. *Жена Клавдия* — Мессалина. *Актора... изображающего страдания Октавии или Медеи.*— Женские роли в римских театрах обычно исполнялись мужчинами. Известно, что Нерон одной из своих лучших ролей считал — Канаку, мучающуюся родами (Suet. Nero, XXI: «cantavit Canacen parturientem»)[2].

---

[1] ... Все оскверняют нечистым прикосновением *(лат.— Пер. В. Брюсова)*.

[2] ... пел арию Канаки в родах *(лат.)*.

Стр. 210. *Три Парки*: Clotho, Lachesis, Atropos. *Пожелание Катона*: ceterum censeo[1] etc.

Стр. 211. «*Если что боги правые могут*».— Verg. Aen. IV, 382:

Si quid pia numina possunt.

По обычаю пифагорейцев...— Пифагорейцы советовали каждый вечер восстанавливать в памяти все, что было сделано, сказано, услышано за день.

Стр. 212. «*Белые лилии*».— Намек на стих Verg. Aen. VI, 709—710:

candida circum
Lilia funduntur...[2]

Симмах ничего не добился.— «Злые люди,— говорит сам Симмах,— нас предупредили (имеется в виду депутация сенаторов-христиан), и в приеме нам было отказано». Вскоре после в государственную казну (фиск) были отобраны земли, посвященные богине Виктории (De Broglie, VI, 24). *Гемимонт*, *Европа*, *Родопия* и др.— провинции не Западной, а Восточной части империи. Впрочем, в эпоху Грациана единство империи еще чувствовалось живо. *Метелл и Муммий* названы завоевателями перечисленных провинций, как римские полководцы во время последней войны Рима с Македонией.

Стр. 214. *Либитина*, Libitina,— древнеиталийская богиня смерти и погребения.

V

Стр. 214. «*Земля, разверзнись!*» — Sen. Oed., 867:

Dehisce, tellus!

Стр. 215. *Что осуждают... законы империи.*— Длинный ряд декретов, от Константина В. до Феодосия В., формально воспрещают магию и все формы гадания. См. Cod. Theod., IX, tit. XVI, озаглавленный: De maleficis et mathematicis et ceteris similibus, т. е. О колдунах, математиках и им подобных. См. выше, примечание к гл. XIII книги I. Только по настойчивому представлению Претекстата были разрешены Элевсинские таинства, в которых власть также видела занятия колдовством или магией. *Цитерея*, Cytherea,— Венера.

Стр. 216. *Имена Протесилая и Лаодамии* и др., перечисляемых Гесперией, прославлены в «Героидах» Овидия. *Письмо Федры.*—Ov. Her. IV, 149 sqq.:

---

[1] Впрочем, я полагаю... (что Карфаген должен быть разрушен.—*лат.*)
[2] ... и лилий вкруг белых роями реют... (*лат.— Пер. В. Брюсова.*)

Non ego dedignor supplex humilique precari
Heu! ubi nunc fastus altaque verba? iacent!
Et pugnare diu nec me submittere culpae
Certa fui, certi siquid haberet amor:
Victa precor genibusque tuis regalia tendo
Bracchia! quid deceat, non videt ullus amans.
Depuduit, profugusque pudor sua signa relinquit.
Da veniam fessae duraque corda doma!

Сын Тесея — Ипполит.

Стр. 218. *Возмущение среди легионов Британнии.*— «Нам нет надобности доискиваться,— пишет Гиббон (III, 218),— какие причины вызвали восстание Британнии. Беспорядки обыкновенно возникают от какой-нибудь случайности, а случилось так, что семя мятежа упало на такую почву, которая чаще, чем всякая другая, производила тиранов и усурпаторов, и что легионы этого отдаленного острова давно были известны своей самонадеянностью и высокомерием». В подтверждение своих слов Гиббон приводит слова Иеронима: «Britannia, fertilis provincia tyrannorum»[1] (хотя слово tyrannus, кажется, имеет здесь иное значение, чем то, которое придает ему Гиббон) и слова Зосимы о британских солдатах: «τῶν ἄλλων ἁπάντων πλέον αὐθαδείᾳ καὶ θυμῷ νικομένοι»[2]. De Broglie, с своей стороны, пишет (VI, 48): «Gratien regnait déjà depuis six années, et on avait tiré de lui, en fait de gratifications et de largesses à peu près tout ce qu'il était permis d'espérer, tandis qu'on pouvait se promettre des merveilles d'un prétendant nouveau, dont la bourse n'était pas epuisée»[3]. «*Si princeps*» etc.— Игра слов, основанная на созвучии имени Maximus и звания Pontifex maximus. Фразу можно перевести двояко: или — «Если государь не хочет быть первосвященником, он скоро будет верховным первосвященником», или — «если государь (Грациан) не хочет быть первосвященником, скоро первосвященником будет Максим». Этот каламбур, поправившийся современникам, сохранен нам (по-гречески) историком Зосимою (Zosimi, IV, 36). До Грациана все императоры (не исключая и Константина В.) носили также титул Pontifex maximus. Зосима (ibid.) уверяет, что в 382 г. Грациан отказался принять поднесенное ему одеяние верховного жреца: «Quum ergo pontifices, ex more, talem Gratiano amictum adtulissent, aversatus est id, quod petebant; ratus non esse fas illiusmodi habitu christianum uti»[4] (латинский перевод в изд.

---

[1] Британния, провинция, урожайная на тиранов *(лат.)*.
[2] Всех побеждавшие дерзостью и отвагой *(др.-греч.)*.
[3] Грациан правил уже шесть лет, из него уже извлекли почти все пожалования и щедроты, на какие можно было надеяться, между тем как от нового претендента с его еще не истощенными средствами можно было еще ожидать чудес *(франц.)*.
[4] Когда понтифики по обычаю поднесли Грациану такое облачение, он отверг их подношение, полагая, что грешно христианину носить такое одеяние *(лат.)*.

Reitemeier). Впрочем, Авсоний (Gratiarum Actio), в 379 г., именовал Грациана «potestate imperator, augustus sanctitate, pontifex religione»[1]. *Некий Максим.*— «Этот император, или, вернее, мятежник,— пишет Гиббон (III, 219),— был родом испанец; он был соотечественником, боевым товарищем и соперником Феодосия... Уже задолго перед тем обстоятельства заставили его поселиться в Британии, и я был бы очень рад найти подтверждение слухов (Кемден), что он был женат на дочери богатого лорда Кернарвоншпрского». Сократ пишет кратко: «Μάξιμος ἐκ τῶν περὶ τὰς Βρεττανίας μερῶν ἐπανέστη τῇ Ρωμαίων ἀρχῇ»[2] (Socr. Hist. V, 11). Зосима утверждает: «Maximus, Hispanus natione, qui Theodosii principis in Britannia commilito fuerat»[3] (Zos. IV, 35). Пакат, в панегирике Феодосию, говорит о Максиме презрительно, как о клиенте или слуге Феодосия (Paneg. XII, 38, 40, 42, 45 et passim). Сульпиций Север уверяет, что Максим против воли принял власть. «Cum Maximum se non sponte sumpsisse imperium adfirmaret sed impositum sibi a militibus divino nutu regni necessitatem armis defendisse»[4] etc. (Sulp. Sev. De vita b. Mart., 20; cf. Sulp. Sev. Hist. II, 49).

Стр. 219. *Сенаторы каждый день...* и т. д.— Ср. De Broglie (VI, 57): «A chaque séance du sénat, en jettant les yeux sur cette place vide, ils sentaient bouillonner tout ce qui restait encore de sang romain et républicain dans leurs veines»[5]. *Ариане раздражены преследованиями.*—«(Ambroise),— пишет De Broglie (VI, 29),— engageât Gratien à extirper partout les germes et les souches de la mauvaise doctrine»[6]. Специально с целью борьбы с арианством был созван церковный собор в Аквилее, в сентябре 381 г., на котором были осуждены последователи Ария. Сульпиций Север восторженно хвалит меры, принятые Грацианом против ариан (Sulp. Sev. Hist. II, 47). *Храмы, у которых отняты их земли.*— См. выше примечание к гл. VIII книги I. *Верхнее море*, mare Superum,— ныне Адриатическое. *Куклу, отполированную пемзой.*— Пемзой (pumex) римляне растирали тело после бани, чтобы придать ему нежность и особый блеск. *Потомком Констанция Хлора* Юлианий мог себя считать как сын Юлиана, внука Констанция.

---

[1] Могуществом — император, святостью — август, священнослужением — понтифик *(лат.)*.

[2] Максим из британских областей восстал на римскую державу *(др.-греч.)*.

[3] Максим, родом испанец, некогда соратник императора Феодосия в Британии *(лат.)*.

[4] Так как Максим утверждал, что принял власть не по своей воле, а заставили его солдаты произволением божьим взяться за оружие в защиту неизбежности царского сана *(лат.)*.

[5] На каждом заседании сената, бросая взгляд на это опустевшее место, они чувствовали, как в жилах их кипит последний остаток крови римлян, крови республиканцев *(франц.)*.

[6] (Амвросий) требовал от Грациана повсеместного истребления ростков и корней лжеученья *(франц.)*.

Стр. 220. *Жрицы Круглого храма* — весталки. Круглая форма храма Весты была смутным воспоминанием о древнеиталийских круглых шалашах, образ которых сохранился в погребальных урнах (Thédenat, 85). Овидий утверждает, что форма храма Весты не изменялась в течение веков (Ov. Fast. VI, 265—268):

Forma tamen templi quae nunc manet, ante fuisse
Dicitur; et formae causa probanda subest.
Vesta eadem, quae terra. Subest vigil ignis utrique:
Significant sedem terra focusque suam[1].

Свой обет весталки давали на 30 лет: первые десять лет они учились священнослужению, вторые десять лет исполняли обязанности священнослужительниц, последние десять лет учили вновь вступивших. После 30 лет весталки имели право вернуться в частную жизнь и выйти замуж, но редко кто из них этим правом пользовался (Thédenat, 317—319).

Стр. 225. *Игрушки — Венере* приносили в жертву девушки, выходя замуж. «*Мы должны принести в жертву Эскулапию петуха*».— По рассказу Ксенофонта, то были последние слова Сократа перед смертью. Эскулапу приносили жертву выздоровевшие от тяжелой болезни. *Просерпина, обрезая волос...*— См. выше.

Стр. 226. *Намия, Намия, Намия!* — conclamatio, древний римский обычай; когда кто-либо умирал, присутствующие несколько раз восклицали его имя, чтобы убедиться, что его действительно нет в живых, закрывали ему глаза и уста и лишь после того говорили ему последнее прости (extremum vale).

VI

Стр. 226. *Плакальщицы*, praeficae, певшие унылые песни (naeniae) в честь умершего, в более древнюю эпоху Рима были необходимыми участницами похоронного шествия. Приблизительно после эпохи Пунических войн этот обычай стал исчезать. В IV в. выражение «плакальщица» было лишь условным словом. *Через какого-то Иеронима.*— Отец Никодим имел в виду, конечно, бл. Иеронима (330—419), который в эту эпоху был ближайшим советником папы Дамаса. Дамас, по утверждению самого Иеронима, «говорил его словами».

Стр. 227. *Тело было сожжено на костре.*— См. ниже примечание к словам *погребальные обряды*. *Либитинарии*, libitinarii,—

[1] Формой, однако же, храм остается таким же, как раньше,
И эту форму теперь надобно мне объяснить.
Веста — ведь это земля, при обеих — огонь негасимый,
А и земля и очаг обозначают жилье *(лат.— Пер. Ф. А. Петровского)*.

род нашего похоронного бюро, состоявшего при храме Венеры Либитины. За определенную плату либитинарии принимали на себя все хлопоты по похоронам, доставляли все необходимые предметы (похоронное ложе, факелы и т. п.) и присылали рабов, выполнявших все, что требовалось по обычаю: преконов, поллинкторов, веспиллонов, десигнаторов и др. (о них см. ниже). *Поллинктор*, pollinctor,— раб, натиравший тело умершего маслом и благовониями. *На пышно убранном ложе.*— Тело умершего, натертое благовониями (до цекоторой степени бальзамированное) и одетое в лучшие одежды, выставлялось обычно в атрии на особом ложе (lectus funebris), ногами ко входу; на голову умершего возлагали венок; на тело и кругом него клались, как и у нас, цветы. В комнате на курильницах постоянно жгли ароматы. В вестибуле дома и перед дверью вешали и разбрасывали сосновые и кипарисовые ветви, означавшие, что в доме — покойник. Такое «выставление» тела умершего (expositio) имело целью — дать возможность попрощаться с ним родным и знакомым.

Стр. 228. *Кресло консула.*— См. ниже примечание к гл. VIII (к словам *принять* и т. д.). В *каменоломни* ссылали в наказание рабов (как на наши «каторжные работы»).

Стр. 229. «*Будь жребий твой лучше!*» — Verg. Aen. VI, 546:

Melioribus utere fatis!

Рабы ходили по... Городу.— Перед похоронами особые глашатаи (praecones) приглашали, ходя по улицам, родственников и знакомых умершего принять участие в проводах его. *Префика* — см. выше примечание к слову *плакальщицы*. *Десигнатор*, designator,— вообще распорядитель; на похоронах — лицо, заведующее всей церемонией и особенно выносом тела из дома и шествием к погребальному костру или к гробнице. *Несли носилки...*— По римскому обычаю, покойника следовало непременно к месту последнего успокоения нести на руках (а не везти на лошадях). Тело умершего императора несли обычно сенаторы и высшие магистраты; людей богатых — родственники, клиенты, вольноотпущенники; бедных людей — особые рабы, поставлявшиеся либитинариями и называвшиеся веспиллоны (vespillones). Носилки, на которых несли тело, назывались feretrum или (более простые) sandapila. Впрочем, в позднейшую эпоху тело иногда и везли на особом катафалке. *Факелы и музыканты* были обычными спутниками похоронного шествия. Большею частью погребальная процессия открывалась флейтщиками, барабанщиками и трубачами. В позднейшую эпоху в шествии участвовали иногда актеры, распевавшие речитативом соответствующие места из поэтов. Музыка не всегда была печальной, но иногда, наоборот, веселой (особенно на похоронах лиц молодых или знат-

ных); актеры также примешивали иногда к своей декламации комические жесты и разные буффонады. За телом человека знатного несли восковые маски (imagines) предков, обычно хранившиеся в особых армариях в атриуме или развешанные там по стенам. Лица, сопровождавшие похоронное шествие, облекались в траур (черные одежды, без украшений и без должностных знаков отличия); мужчины, между прочим, покрывали голову, а женщины шли с непокрытой головой (что в других случаях считалось для них на улице неуместным). *Семейные гробницы*, как известно, были расположены вдоль больших дорог, ведших из города. Для лиц бедных существовали общие склепы, называвшиеся по своей форме columbaria (голубятни). Богатые люди строили такие columbaria для своих рабов.

Стр. 230. *Лиея... освобождающего...*— Lyaeus (т. е. Бакх) значит «освободитель». *Лахеса*, Lachesis,— одна из парок. *Клио* — муза истории. *Погребальные обряды.*— С древнейших времен римляне пользовались и погребением тела покойника, и сожжением его на костре. Уже в законах XII таблиц встречаются оба термина: sepelire и urere. К концу республики, под греческим влиянием, возобладал обычай сожжения на костре (хотя, напр., род Корнелиев продолжал упорно придерживаться погребения). С эпохи Антонинов вновь возобновляется обычай погребения и в IV в., не без влияния христианских взглядов, становится господствующим. Древний обычай устраивать похороны ночью был восстановлен Юлианом. *Нении* — см. выше, примечание к слову *плакальщицы*. *Силицерний*, silicernium,— похоронная трапеза, устраивавшаяся перед самой гробницей, тотчас после похорон. *Bustum*, *rogus* etc.— Было несколько способов устраивать погребальный костер. Bustum был костер, разложенный над выкопанной ямой, в которую падали угли и прах покойника; rogus — костер, разложенный прямо на земле; руга — более высокий костер. Подобно этому было несколько типов гробниц. *Tumulus* — более общее означение гробницы, состоял из здания, заключающего в себе помещение для погребальных урн и кончающегося пирамидой, конусом, круглой башней и т. д. *Loculus* называлась отдельная ниша в общей гробнице, куда помещалось тело покойника, если его не сжигали. *Conditorium* был особый род tumulus'a; подземным кондиторием называлось строение, главную часть которого составлял склеп, где помещались тела покойников (в гробах или саркофагах), надземным — строение для хранения урн с пеплом. *Sarcophagus* означал вообще каменную гробницу, в которую полагали тело умершего, обычно украшенную барельефами. *Mausoleum* называли особенно величественные tumulus'ы; *cenotaphium* — гробницу (или tumulus) пустую, поставленную в память того умершего, чье тело не сохранилось или не было

найдено;[1] *cippus* — невысокую (обычно четыреугольную) колонну, воздвигнутую на месте погребения. *Sepulcrum* называли преимущественно могилу в нашем смысле слова; *puticulus* — общую могилу для рабов.

Стр. 231. *Битва у Трифана* (между Синуэссой и Минтурнами) происходила в 339 г. до р. Х. *Тибур*, Пренест и некоторые другие латинские города должны были после того уступить часть своих земель (одну треть) Риму. О подкупе народного трибуна Гая *Бебия* (Jugurtha C. Baebium tribunum plebis magna mercede parat... C. Baebius pecunia conruptus...)[1] — рассказывает Саллюстий (Sall. Belli Jugurth. XXXIII — XXXIV).

Стр. 232. *Устрин*, ustrinum,— отдельное помещение для сжигания тел, имевшееся при некоторых фамильных гробницах. Тела бедняков сжигались на особо для этого назначенном участке земли на Эсквилинском холме. *Отвратив лицо, зажег* и т. д.— Погребальный костер обычно зажигал кто-либо из ближайших родственников покойного.

Стр. 235. *Базилика святого Климента* — см. ниже примечание к гл. VIII. *Собирали прах... в урну.*— Прах, оставшийся после сожжения тела, особым образом высушивали, иногда смешивали с вином и благоуханиями и лишь потом помещали в погребальную урну (urna, olla ossuaria); имя покойного означалось или на самой урне, или на той нише в склепе, куда урну помещали.

Стр. 236. *Illicet!*— т. е. «можете идти», отпуск, который, по окончании обряда похорон, произносил жрец, окропив присутствующих очистительной водой. *Произнести речь.*— При похоронах лиц выдающихся речи обычно произносились на форуме, куда приносилось тело по пути к гробнице. В IV в. этот обычай почти исчез. *Дочь — Рим.*— Roma по-латыни женского рода.

VII

Стр. 237. *«Велика сила привычки»* — Cic. Tusc. II, 17: «Consuetudinis magna vis est». *Веститор*, vestitor,— портной.

Стр. 238. *Морион*, morio,— шут, постоянная роль на представлениях мимов. *Луцерна*, lucerna,— лампа. *Циат* — см. выше. *Кокцина*, coccina,— алое одеяние; *гавсапа*, gausapa,— косматая шерстяная материя.

Стр. 239. *Аргентарии*, argentarii,— банкиры. Система денежных переводов на местных банкиров существовала еще в древнем

---

[1] Югурта за большие деньги приобретает себе народного трибуна Г. Бебия... Г. Бебий, польстившись на деньги... *(лат.)*

Египте и получила широкое развитие в эпоху империи. *Аврей*, aureus — золотой; в IV в.— солид.

Стр. 240. *Внутреннее море*, mare Internum,— Средиземное. *Таберной* называлась вообще всякая лавка; Помпоний имеет в виду свою контору аргентария (taberna argentaria). *Посещаю янус.*— Разумеется янус (арка, см. выше) близ храма Кастора, где собиралась римская биржа. *Кроталии*, crotalia,— серьги.

Стр. 241. *Атриенсий*, atriensis,— смотритель за атрием, рабдомоправитель. *Клепсидра*, clepsydra,— водяные часы. Клепсидры были известны еще в древнем Египте. В древности славилась клепсидра при храме Арсиноэ. В ней вода капала из глаз статуэтки, и с повышением уровня воды другая статуэтка подымалась и указывала час на колонке, содержавшей определенные деления; по прошествии суток вода механически вытекала и вращала зубчатое колесо, а с ним и всю колонку, подставляя указателю другие деления (ввиду того, что продолжительность часов менялась по временам года); полный оборот колонки происходил в год. В Риме клепсидры появились во II в. до р. Х. *Армарий*, armarium,— шкаф. *Тоги цветные* вошли в употребление лишь в позднейшую эпоху империи.

Стр. 242. *Квинарий*, quinarius,— серебряная монета, полдепария. *Блюда были приготовлены таким образом...*— См. выше, примечание к гл. III книги II. Ср. Petr. Sat. LXIX — LXX, где Тримальхион так хвалит своего повара: «Volueris, de vulva faciet piscem, de ladro palumbum, de perna turturem, de coliphio gallinam»[1]. *Ацетабул*, acetabulum,— уксусница. *Петавристарий*, petauristarius,— гимнаст, канатоходец.

Стр. 243. *Sophos!* — умно!

Стр. 244. *Стихи ученика Сенеки*, т. е. Нерона. Светоний говорит об них: «carmina libenter ac sine labore composuit»[2] (Suet. Nero, LII). *Иные слоги могут быть либо долгими* и т. д.— См., напр., сочинение Maximi Victorini De ratione metrorum, segm. V, где говорится о первом слоге в именах собственных, если этот слог не долог по природе: «tales erunt syllabae, ut eas ponere volueris sive longas, sive breves»[3] (Corpus grammaticorum lat., I). *Соперничать с Апулеем.*— У Апулея в сочинении De Mundo (перевод псевдоаристотелева трактата) есть перечисление семи небесных сфер и семи планет: «Hic Phaenonis globus quem appellamus Saturnum; post quem Phaëthontis secundus est quem Iovem dicimus; et loco tertio Pyroeis quam multi Herculis plures Martis stellam vocant;

---

[1] Захоти только, и он тебе из свиной матки смастерит рыбу, из сала — голубя, из окорока — горлинку, из бедер — цыпленка *(лат.— Пер. Б. И. Ярхо)*.

[2] Стихи он сочинял охотно и без труда *(лат.)*.

[3] Такие слоги можно по желанию считать как долгими, так и краткими *(лат.)*.

hanc sequitur Stilbon cui quidam Apollinis caeteri Mercurii nomen dederunt; quintus Phosphorus, immo Veneris stella censetur; deinde Solis est orbis, et ultima omnium Luna»[1].

Стр. 245. *Если хочешь быть любимым, люби!*— Sen. Ep. IX, 4: «si vis amari ama». *Грекул*, graeculus,— насмешливое прозвание греков. *Римляне... носят право на оконечности мечей* — слова, приписываемые историками не римлянину, но Бренну — предводителю галлов, сжегших Рим.

Стр. 246. *Мнемон*, μνήμων,— председатель пира.

Стр. 247. *Вино возжигает гнев.*— Sen. De ira, II, 19: «vinum incendit iram».

Стр. 248. «*В навозной куче*» и т. д.— Phaedr. III, 12:

> In sterquilinio pullus gallinaceus,
> Dum quaerit escam, margaritam repperit.

VIII

Стр. 248. *Принять, подобно... консулу, honorem sine labore.*— После реформ Диоклециана рядом с новой бюрократией продолжала существовать старая магистратура. Избирались квесторы (как чисто городская, римская должность), назначались сенатом преторы, даже сохранялся институт народных трибунов, явно утративший всякое значение. Наконец, неукоснительно императором ежегодно назначались два (иногда больше) консула, именами которых помечались правительственные акты того года. Сенату, квесторам, преторам, народным трибунам еще были предоставлены кое-какие, хотя и очень ограниченные, права. Звание консула было исключительно почетное. «В консулате,— говорит писатель Мамертин (IV в.),— почет приемлется при отсутствии какого бы то ни было труда,— in consulatu honos sine labore suscipitur» (XII Paneg. XI, 2). 1 января новые консулы, облеченные в торжественные, вышитые золотом тоги (trabea), с пурпурной каймой, держа в руке жезл из слоновой кости, выходили в сопровождении ликторов на форум. Там консулы совершали различные религиозные (чисто «языческие») обряды и садились на курульные кресла. Затем остальное время года консулам не оставалось ничего делать (В. Р., 31, со ссылками на Momms. Römisches Staatsrecht, Claud. Elogia Stilich. etc.).

Стр. 249. «*Среди людей всех искреннее...*» — Plin. Epist. II, 3: «scholasticus est, quo genere hominum nihil aut sincerius, aut sim-

[1] Вот сфера Фенона, которого мы называем Сатурном; за нею вторая — Фаэтонта, которого именуем Юпитером; на третьем месте Пироент, которого многие зовут Геркулесовой, а еще более многие — Марсовой звездой; далее следует Стильбон, которому иные дают имя Аполлона, остальные же — Меркурия; пятый — Фосфор, почитаемый Венериною звездою; затем круг Солнца, и последняя из всех — Луна *(лат.)*.

plicius, aut melius». *Либаний*, Libanius (314—393),— знаменитый ретор и писатель, друг Юлиана.

Стр. 250. *От нее... легок переход* и т. д.— Sen. Contr. II, praef.: «facilis ab hac (ab eloquentia) ad omnes artes discursus». *Риторика — царица вещей.*— Quint. I, 12: «regina rerum oratio». *Риторика — доблесть.*— Ib. II, 20 (G. Boissier, I, livre II, ch. 2). *Литература — высшая из доблестей.*—Cod. Theod., XIV, tit. I, 1: «litteratura quae omnium virtutum maxima est.» Cf. XII, Paneg. IV, 8: «litteras omnium fundamenta esse virtutum». *Лимений заставлял... учеников* и т. д.— Приемы Лимения были общераспространенными в школах реторов (см. G. Boissier, R. Pichon, B. P. etc.).

Стр. 251. *Общество «Совы».*— См. выше, примечание к гл. XI книги I (к словам *общество «Пловцов»*). *Procul negotiis* — вдали от забот. Hor. Ep. I, 2.

Стр. 254. *Аквитания.*— См. выше, примечание к гл. I книги I. *Новемпопулана* — провинция Виенненской диэцесы, примыкавшая к Пиренеям. *Недавно отстроенной христианской базилики.*— Речь идет о базилике св. Климента, упоминаемой бл. Иеронимом. Она была расположена между Латераном и Колисеем и построена на разрушенном святилище Митры. Ныне стоящая на том же месте церковь св. Климента построена в XI в. (Грегоровиус, I, 86).

Стр. 255. *Сам Иероним...*— См. выше, примечание к гл. VI. *Этот евангелист...*— Намек на апокрифическое Евангелие Никодима, весьма распространенное на Западе (русский перевод: Вега «Книга Никодима», СПб., 1912).

Стр. 256. *Пессин*, Pessinus (Πεσσινοῦς),— город в Малой Азии. *Учение евсевиан*, или полуариан, было основано Евсевием Никомедийским, который, получив сан патриарха Константинопольского, добился, чтобы Антиохийский собор 341 г. принял догмат о подобосущии Сына Отцу. Евсевиане в те годы, о которых говорит отец Николай, *не* подвергались особым преследованиям, так как на Востоке императоры покровительствовали арианству. *Работал в мастерских ткацких и золотошвейных, был башмачником и золотых дел мастером, одно время... пастухом.*— Все это были наиболее распространенные промыслы в Малой Азии того времени. Мы знаем, напр., о едва не вспыхнувшем мятеже в Эфесе в среде золотых дел мастеров; нам известны названия двух кварталов (из общего числа семи) в Филадельфии,— кварталы ткачей и башмачников; галатская (т. е. «ангорская») шерсть славилась по всей империи, и т. д. (Моммсен, V, 323—324). *Валентиниане* — гностическая секта, основанная во II в. Валентином Александрийским; позднее она разделилась на две школы — восточную и италийскую, и в IV в. еще существовала. *Манихеи* — секта, тоже родственная гностикам, основанная в III в. персидским магом Мани; манихей-

ство исчезло лишь в VI в. *Донатисты* — секта, возникшая в IV в., после избрания в 311 г. карфагенским епископом Цецилиана, которому приверженцы суровых правил противопоставили епископа Доната; только свою «церковь святых» донатисты считали истинно христианской церковью, требовали нового крещения от вступающих в их общину и во все продолжение IV в. упорно боролись против правительства и господствующего учения (O. Seeck, III). *Иконий*, Iconium (Ἰκόνιον),— город в Малой Азии.

Стр. 258. *Афанасий* (Великий) — известный отец церкви (298—373); *Мани и Донат* — основатели сект (см. выше).

Стр. 259. *Статор*, Stator,— установитель, учредитель,— обычное название Юпитера.

IX

Стр. 260. *Лысым прелюбодеем* был назван Цезарь в сатурнических стихах, которые, по словам Светония, распевали солдаты во время галльского триумфа (Suet. Divus Iulius, LI):

> Urbani, servate uxores, moechum calvom adducimus.
> Aurum in Gallia effutuisti, hic sumpsisti mutuum[1].

Гераклейский камень, lapis Heracleus,— магнит.

Стр. 261. *Флавиан*, Virius Nicomachus Flavianus (334—394) — см. выше, примечания к книге I. Г. Буасье называет его истинной главою языческой партии в Риме, но говорит, что «Флавиан был скорее суеверен, чем благочестив». Позднее ему суждено было сыграть очень видную роль в борьбе с христианством. До нас дошли две надписи, посвященные Флавиану, подробно перечисляющие должности, которые он занимал. Начало одной из них, открытой на форуме Траяна, гласит: «Nicomacho Flaviano, consulari Siciliae, vicario Africae, quaestori aulae divi Theodosi, praefecto praetorio Italiae, Illyrici et Africae iterum»[2]. Другая, найденная близ места, где стоял на Целии дом Симмаха, добавляет еще: «viro clarissimo, pontifici maiori, consuli ordinario, historico dissertissimo»[3] (Symm., CXII). *Пириды*, pierides,— музы.

Стр. 262. *Festina lente* — поспешай потихоньку, «тише едешь, дальше будешь»,— поговорка Августа, сохраненная нам Авлом

---

[1] Прячьте жен: ведем мы в город лысого развратника.
Деньги, занятые в Риме, проблудил ты в Галлии *(лат.)*.

[2] Никомаху Флавиану, консуляру Сицилии, викарию Африки, дворцовому квестору божественного Феодосия, дважды префекту претории Италии, Иллирика и Африки *(лат.)*.

[3] Светлейшему мужу, великому понтифику, первоочередному консулу, красноречивейшему историку *(лат.)*.

Геллием, который приводит ее по-гречески: Σπεῦδε βραδέως (Aul. Gell., X, 11).

Стр. 263. *Холодная зима и запоздавшая весна.*— Действительно, в 383 г. почти во всей империи был неурожай; не хватало хлеба для Италии, и в Риме голодали. Сторонники язычества указывали на это как на явный гнев богов за оскорбление святыни (Symm. Rel. III; G. Boissier, II, 273; De Broglie, VI, 42). *О Максиме* см. выше, примечания к гл. V.

Стр. 264. *Moriamur!* — умрем! «*Тот царь, кого не страшит ничто!*» — Sen. Thiest., 388:

Rex est qui metuit nihil.

«*Слова не прибавляют храбрости*».— Sall. Cat. LVIII: «verba virtutem non addere (conpertum habeo)»,— из речи Катилины к войску. «*Не всегда отвага бывает счастливой*».— Liv. XXVIII, 42: «non semper temeritas est felix». «*Non liquet*» — «неясно», выражение, которое обозначали судьи буквами NL на табличках при голосовании, если не находили возможным написать ни A (absolvo — оправдываю), ни C (condemno — осуждаю), т. е. желали воздержаться от голосования. *Распределение должностей.*— В следующем, 384 г. Симмах был назначен префектом Города, Флавиан префектом претории Италии, Претекстат — консулом (consul designatus).

Стр. 265. *Диэцеса Виенненская* составляла часть префектуры Галлий, *Африканская*—Италий. *Перворожденная дочь Юпитера*—богиня Фортуна, primigenia, которую обычно изображали в виде одетой женщины, опирающейся одною рукою на руль, а другой—держащей рог изобилия, иногда — стоящей на шаре. Культ Фортуны — один из самых старых, заимствованных Римом культов италийского происхождения (di novensidenses). *Заставил вместо себя поститься другого.*— Symm., II, 53, письмо Flaviano fratri: «sed memento exactis feriis participes facere luxuriae tuae, quos tantopere laborasti consortes habere ieiunii»[1]. «*Назначьте меня Римским епископом, и я тотчас сделаюсь христианином*».— G. Boissier, II, 263, со ссылкой на бл. Иеронима (Contra Ioann. Hieros.).

Стр. 266. *Мофон*, μόθων,— раб, воспитанный в доме своего господина (а не купленный со стороны).

Стр. 267. *Императорские декреты.*— Адриан воспретил, под страхом уголовного наказания, самовольное убийство рабов господином, заключение их в тюрьмы (ergastula), продажу для проституции и гладиаторских игр. Антонин предписал за убийство

[1] Не забудь только, когда кончатся праздники, допустить и к твоему объеденню тех, кого ты так заставлял разделить с тобой пост *(лат.)*.

раба подвергать господина наказанию по lex Cornelia de sicariis. Константин В. приравнял умышленное убийство раба к убийству свободного человека.

Стр. 268. *Мудрый Катон*, действительно, советует продавать «старых быков, больной скот, хворых овец, старые повозки, железный лом, старого раба, больного раба и вообще все ненужное». В старинном римском праве раб вполне был приравнен к вещи (res mancipi), поставлен наравне с землей, лошадьми, быками (servi pro nullis habentur[1],— говорили римляне). Закон Аквилия не делал разницы между нанесением раны домашнему животному и рабу. Ведий Поллион, страстный охотник до морских мурен, когда рабу случалось чем-либо провиниться перед ним, бросал его в садок с рыбами. *Тит Манлий Торкват казнил собственного сына...*— Эпизод этот римские историки относили к 340 г. до р. Х.

Стр. 269. «*Отвага редким в пользу*» и т. д.— Phaedr., V, 4:

Paucis temeritas est bono, multis malo.

О *Месе и Мамее* см. выше, примечание к гл. XII книги II.

Стр. 271. «*Проблистала розовой шеей*» — Verg. Aen., I, 402:

rosea cervice refulsit.

X

Стр. 273. *Большой Цирк*, Circus Maximus,— древнее здание, много раз перестраивавшееся, между прочим Траяном и Домицианом. *Авенций*, Aventius, был префектом Города в 383 г. после Басса (Bassus) и перед Симмахом (Symm. CXCVIII). Авенций открыто держался старой религии, но некоторые считали его тайным христианином. *Бой гладиаторов.*— См. выше, примечание к гл. VI книги I. Что гладиаторы существовали в эту эпоху, видим из закона 367 г., воспрещающего присуждать христиан в гладиаторские школы (Cod. Theod., IX, tit. XL, 8): «Quicunque Christianus sit in quolibet crimine deprehensus ludo non adiudicetur»[2]. В Риме гладиаторские игры окончательно были запрещены Гонорием (Ю. Кулаковский, 69, со ссылкой на Theodoret. V, 26). *Префект не пожалел денег.*— Позднее, когда игры устраивал Симмах, он тоже всячески старался поразить римлян роскошью, выписывал львов, медведей, шотландских собак (canes scotici), крокодилов, искал бесстрашных охотников, умелых наездников, опытных актеров. Symm. IV,

[1] Рабы не ставятся ни во что *(лат.)*.
[2] Кто из христиан будет схвачен в каком-либо преступлении, того на (гладиаторские) игры не осуждать *(лат.)*

58, 59, 63, 72; V, 59; IX,12 (G. Boissier, II, 172). *Квадрига*, quadriga,— колесница, запряженная четверней; *агитатор*, agitator,— возничий, наездник.

Стр. 274. *Орнатрица*, ornatrix,— рабыня, назначение которой было — причесывать свою госпожу; *цинерарий*, cinerarius,— раб, помогавший орнатрице (нагревавший щипцы и т. п.). *Каламистр*, calamistrum,— прибор для завивки волос; *тутул*, tutulus,— особая форма прически; *криналы*, crinales,— шпильки; *цинцинны*, cincinnus,— фальшивые локоны; *фронтале*, frontale,— украшение для головы, вроде высокого гребня; *ампулла*, ampulla,— круглый сосуд с узким горлышком для туалетного масла; *унгвентарий*, unguentarium,— флакон для духов; *алуты* — туфли, сделанные из особо размягченной кожи, называвшейся тоже aluta; *фибула*, fibula,— род аграфа, служившего и брошью.

Стр. 276. *Браккарий*, braccarius,— первоначально означало портного, шившего braca (панталоны, штаны, носить которые в Риме начали не раньше II в. по р. Х.), потом — вообще портного и даже портного модного. *Картина, нарисованная сатириком.*— Mart. De Spect. III:

Quae tam sepositа est, quae gens tam barbara, Caesar,
Ex qua spectator non sit in urbe tua?
Venit ab Orpheo cultor Rhodopeius Haemo,
Venit et epoto Sarmata pastus equo;
Et qui prima bibit deprensi flumina Nili,
Et quem supremae Tethyos unda ferit,
Festinavit Arabs, festinavere Sabaei,
Et Cilices nimbis hic maduere suis.
Crinibus in nodum tortis venere Sicambri,
Atque aliter tortis crinibus Aetiopes.
Vox diversa sonat...[1]

Стр. 277. *Молитву дочери Аппия Слепого.*— Aul. Gell., X, 6. Анекдот относится к поражению римского флота при Дрепане, в 249 г. до р. Х. (первая Пуническая война). *Тессера*, tessera,— см. выше, примечание к книге I. Здесь — входной билет (бронзовый или свинцовый). *Десигнатор* — см. выше, примечание к гл. VI. Здесь — распорядитель, старший капельдинер. *Вомитории*, vomitoria,— входы в цирк; *менианы*, maeniana,— ярусы, на ко-

[1] Есть ли столь дальний народ и племя столь дикое, Цезарь,
Чтобы от них не пришел зритель в столицу твою?
Вот и родопский идет земледелец с Орфесва Гема,
Вот появился сатран, вскормленный кровью коней;
Тот, кто воду берет из истоков, им найденных, Нила;
Кто на пределах земли у Океана живет;
Поторопился араб, поспешили явиться сабеи,
И киликийцев родным здесь благовоньем кропят.
Вон и сикамбры пришли с волосами, завитыми в узел,
И эфиопы с иной, мелкой завивкой волос.
Разно звучат языки... *(лат.— Пер. Ф. А. Петровского.)*

торые делились места для зрителей; *подий*, podium,— стена, отделявшая арену от зрителей; *кунеи*, cunei,— клины, на которые делились места для зрителей продольными проходами; *первая мета*, meta prima,— призовой столб на арене, заканчивавший *спину* (spina) — невысокую стену, перегораживавшую арену вдоль на две половины; *городок*, oppidum,— строение, где помещались службы цирка; *кавеи*, caveae,— самые скамьи для зрителей. Устройство римского цирка, в своих главных чертах (с отсутствием спины), сохранилось в современных испанских аренах для «боя быков».

Стр. 278. *Поэта воскликнуть...*— Mart. De Spect. I:

Barbara Pyramidum sileat miracula Memphis;
Assiduusque iacet nec Babylona labor;
Nec Triviae templo molles laudentur Iones;
Dissimuletque deum cornibus ara frequens.
Aere nec vacuo pendentia Mausolea
Laudibus immodicis Cares in astra ferant.

Стих Пасона.— Ov. Art. Am. I, 140:

Iunge tuum lateri qua potes usque latus.

Ряды, где находился я.— Нижний ярус скамей в цирке был назначен для сенаторов; второй — для всадников. *Ворота помпы*, porta pompae,— ворота в «городке», из которых выходило шествие участников игр, называвшееся pompa.

Стр. 279. *Энаторы*, aenatores,— музыканты, игравшие на медных инструментах; *туба*, tuba, и *букцина*, buccina,— различные роды медных труб. *Одетые в цвета своей партии.*— Первоначально поставка лошадей и возниц сдавалась магистратами на откуп. Позднее возникли два предприятия, может быть, субсидируемые правительством, которые содержали конюшни с лошадьми для бегов, персонал возниц, школы для них и т. д. Эти предприятия назывались factiones и различались между собою цветами, в которые одевали наездников: красная (russata) и белая (albata). В эпоху Калигулы впервые упоминаются зеленые (prasina), при Вителии — синие (veneta); еще позже: пурпуровые (purpureus pannus) и золотые (auratus pannus). В конце III в. белые соединились с зелеными, а красные с синими. Известно, какое значение приобрели партии ипподрома в Константинополе. Торжественное шествие участников состязания перед его началом (pompa) было пережитком того времени, когда бега колесниц составляли часть религиозно-политических торжеств. Дававший игры магистрат шел (или ехал) впереди шествия в триумфальной одежде, держа в руке скипетр, украшенный орлом; в прежние времена сзади него шел венчавший его золотым дубовым венком общественный раб. Впереди играла музыка;

магистрата окружали его дети, друзья, клиенты; за ним несли статуи богов (М. Ростовцев, в Э. С.; Ю. Кулаковский, I, 67). *Петавристарии* — см. выше, примечание к гл. VII. *Фуналы*, funales,— левые пристяжные. *Manna*, mappa,— платок, бросая который на арену подавали знак к началу игр в цирке. *Словно ряд чудес.*— Ср. описание игр Амфитеатра, сделанное Клавдианом (Claud., XVII Paneg., 290, sqq.):

Tu iuga Taygeti frondosaque Maenala, Clio,
I Triviae supplex; non aspernata rogantem
Amphitheatrali faveat Latonia pompae.
Audaces legat ipsa viros, qui colla ferarum
Arte ligent certoque premant venabula nisu...
Conveniant ursi, magna quos mole ruentes
Torva Lycaoniis Helice miretur ab astris,
Perfossique rudant populo pallente leones...
Obvia fulminei properant ad vulnera pardi...
Nec molles egeant nostra dulcedine ludi:
Qui laetis risum salibus movisse facetus,
Qui nutu manibusque loquax, cui tibia flatu,
Cui plectro pulsanda chelys, qui pulpita socco
Personat aut alte graditur maiore cothurno...[1] etc.

Стр. 280. *Трабея*, trabea,— парадная тога; трабеей называли также консульскую тогу. *Крепитакул*, crepitaculum,— музыкальный инструмент, вроде погремушки, в котором бренчали бубенчики (иногда серебряные и золотые). *Заклады* были широко развиты на состязаниях колесниц. Существовали профессиональные букмекеры, принимавшие заклады на определенных условиях. *Трига*, triga,— тройка.

Стр. 282. *Триптолем*, по мифу, получил в подарок от Деметры запряженную драконами крылатую колесницу. *Лошади, снискавшие всесветную славу.*— Все знали знаменитых левых пристяжных (funales), побеждавших по сотне раз. Испания, Африка, Италия, Греция, Каппадокия конкурировали высотою крови и скаковых качеств своих конских заводов. Каждая лошадь имела свое имя и свою генеалогию; сотни имен переданы нам разнообразными

[1] Клио! в нагорный Тайгет, в лесистые выси Менала
К Тривии с просьбой иди, чтоб, к твоей мольбе преклонившись,
Дочь Латоны сошла к процессии амфитеатра.
Пусть она сама изберет храбрецов, что искусны
Шею звериную сжать, захлестнув охотничьей снастью...
Пусть соберутся медведи такой сокрушительной стаей,
Чтоб подивилась на них Ликаонова Гелика с неба;
Пусть пронзенные львы рычат, устрашая глядящих...
Быстры, как молния, пусть поспешат леопарды на гибель...
Радостью будут для нас и более кроткие игры:
Тот, кто потешным прыжком на скамьях вызовет хохот,
Тот, кто речист головой и рукой, кто свистящею флейтой,
Кто черепаховой лирой звучит, кто плоской подошвой
Приударяет в помост или в важном выходит котурне... *(лат.)*

памятниками (М. Ростовцев). См., напр., описание мозаик в термах при доме Помпеана (Pompeanus), развалины которых открыты близ Константины (в Африке). Мозаика изображает между прочим конюшни хозяина и портреты его лучших лошадей, имена которых подписаны: Delicatus, Pullentianus, Titas, Scholasticus. К изображениям некоторых лошадей присоединены их характеристики. О коне, названном Altus, говорится: «unus es et mons exultas»; о другом: «vincas, non vincas, te amamus, Polidoxe»[1] (G. Boissier. «L'Afrique Romaine», IV, 1). Воспроизведение этой мозаики см. у Duruy, VII. *Наездники, имена которых...* и т. д.— Искусные наездники составляли себе колоссальные состояния из призов и особой платы от партий. Имена их гремели повсюду; все знали Скорпа или Диоклета, и ряд надписей подробно рассказывает нам их цирковую карьеру (М. Ростовцев). *Огибая обе меты.*— Бег начинался направо от меты и кончался у места на противоположной стороне, отмеченного белой линией, после семикратного обега spinae (М. Ростовцев).

Стр. 283. *Наездник... взмахнул левой рукой.*— Самый костюм возниц указывал на опасность их профессии. Поверх короткой туники они были обмотаны ремнями, на голове носили гладкую кожаную шапку, ноги, вплоть до сандалий, также обвернуты были ремнями, все это — чтобы защитить по возможности тело от ударов и чтобы не иметь такой одежды, которая могла бы за что-нибудь зацепиться. Вожжи привязаны были к пояснице, чтобы можно было править одной рукой, а в другой держать бич: у пояса висел кривой нож, для отрезывания вожжей в случае падения (М. Ростовцев). *Десультор*, desultor,— вольтижер на лошади.

Стр. 285. *Балтеи*, baltei,— невысокие стены между круговыми проходами, разделявшими ярусы; эти проходы назывались *прецинкциопы*, praecinctiones.

Стр. 286. *Представление окончилось... изображением пожара.*— Claud., XVII Paneg., 330:

Fida per innocuas errent incendia turres[2].

XI

Стр. 287. О *Фиесте* см. выше. *Криналь*, crinalis,— шпилька. *Амбросий, которого... Аэпций очень уважал.*— См. De Broglie, VI, 43.

Стр. 288. *Пребывание Амбросия в Риме* (на Римском соборе 382 г.) соединено с целым рядом легенд, сохраненных в житии св.

[1] «Единственный, ты и гору перепрыгнешь (?)»... «Победил ты или нет, мы любим тебя, Полидокс» *(лат.)*.

[2] И обегает послушный пожар неповинные башни *(лат.)*.

Амбросия, S. Ambr. Vita, p. 43, где пересказываются все те чудеса, о которых говорит отец Никодим (De Broglie, VI, 41).

Стр. 290. *Кария* — провинция Асианской диэцесы.

Стр. 291. *Изречения мудреца.*— Sen. De prov. III, 1; V, 8; IV, 6: «(Bonus vir) miser dici non potest esse».— «Ignis aurum probat miseria fortes viros». — «Calamitas virtutis occasio est».

Стр. 292. *Стихи Катулла.*— Cat. V, 5—6:

Nobis cum semel occidit brevis lux,
Nox est perpetua una dormiendum.

Мысль Эврипида.— Eurip. ap. Cic. Tusc. III, 25:

Reddenda terrae est terra.

Стр. 293. *Термы Каракаллы* славились своей роскошью. Известно, что именно в их развалинах были открыты статуи Геркулеса Фарнезского, Фарнезского быка, Флоры, группа Цета и Амфиона и др. *Император Марк*, т. е. Марк Аврелий. *Отдельное помещение*— см. выше, примечание к гл. XVII книги I. *Регионы*, regiones,— части, на которые был разделен Рим. В каждой части был врач, состоявший на службе у города.

Стр. 294. *По древнему праву.*— Известно, что в древнейшем Риме жена переходила вполне во власть (in manu) мужа. За нарушение супружеской верности муж мог безнаказанно убить свою жену. *Изображения предков*, imagines maiorum,— восковые маски, сохранявшиеся в атрии родовитых семейств. *Лишенный огня и воды* — старинная формула, осуждавшая на изгнание: aqua et igni interdicere.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

I — II

Стр. 296. *Карр*, carrus,— род телеги; о *карпенте* см. выше. *Везем... всевозможные припасы.*— То был обычный способ путешествия лиц богатых (см. E. Speck, III, § 965). *Ковин*, covinus,— дорожный экипаж, в котором путешественник сам управлял лошадью. *Пенула*, paenula,— мантия без рукавов, делавшаяся обычно из шерстяной материи (реже — кожаная) и часто снабженная капюшоном (cucullus, *кукулл*).

Стр. 297. *Не вся ли Гесперия знает Гесперию?* — Hesperia, у поэтов,— Италия. *В Умбрии.*— В IV в. Тусция и Умбрия были соединены в одну провинцию. *В пышных покоях виллы.*— Виллы в провинциях устраивались не с меньшей, если не большей роскошью, чем дома в Риме. См., напр., описание виллы у Сидония Аполли-

нария и мн. др. Во многих виллах были домашние театры (E. Speck, III, § 863).

Стр. 298. «*Прометей освобожденный*» (Προμηθεῦς λυόμενος) Эсхила не дошел до нас полностью ни в оригинале, ни в латинском переводе. Среди сохранившихся отрывков известен один в латинском переводе Цицерона (Cic. Tusc. II, 10).

Стр. 300. *Общая Эриннія.*— Verg. Aen., II, 573:

communis Erinys.

Пресид, praeses,— общее название начальников провинций. *Римский триумвир*, т. е. Антоний.

Стр. 301. *Грациан получил... известие* о восстании Максима не в Медиолане, а в Парисиях (Париже), куда он переехал весной 382 г. *Табелларии*, tabellarii,— род почтальонов, однако не состоявших на государственной службе. *Предвидевшийся неурожай.*— См. выше, примечание к гл. IX книги III. Волнение народа по поводу дороговизны побудило сенат изгнать из Рима иностранцев, за исключением актеров и других лиц, профессией которых было увеселение жителей. Авенций собрал наиболее богатых граждан города и убедил их добиться отмены постановления. Эту историю рассказывает Амвросий: S. Amb. De Off. min., III, 7 (De Broglie, VI, 43—44).

Стр. 302. *Пентадий*, Pentadius,— нотарий, потом магистр оффиций при Юлиане, несколько раз упоминается Аммианом Марцеллином, который называет его vir gravis[1] (Amm. Marc., XX, 8). *Отменил законы Авсония.*— Это — неверно. Грациан не отменял законов о школах реторов, которые были им изданы под влиянием Авсония (см. примечания к книге I), но действительно изменил все направление своей политики (B. P., 32—33). *Так и с Амвросием.*— Анекдот о столкновении Амвросия с Македонием рассказан в житии св. Амвросия. Vita a Paul, script., p. 10 (De Broglie, VI, 45—46).

Стр. 304. *Когорта*, cohors,— десятая часть легиона. *Ларий*, Larius,— ныне озеро Комо. *Префекта с полным легионом.*— В позднейшую эпоху командующий легионом назывался praefectus. Численность легиона в IV в. определяется различно; во всяком случае, она была значительно ниже, чем его численность в предыдущие эпохи (до 6000 человек). Ю. Кулаковский считает, что состав тогдашних пехотных частей не превосходил одной тысячи человек (Ю. Кулаковский, I, 82).

Стр. 305. *Герса*, Herse,— дочь Кекропса, возлюбленная Меркурия.

---

[1] Достойный муж *(лат.)*.

Стр. 307. *Меркурий, быстрый посол,*—ἀργειφόντης. *Нундина,* nundina,— девятый день, когда, по-старинному обычаю, в некоторых местностях бывали базары. *Генава,* Genava,— Женева.

Стр. 308. «*Учись умирать*».— Luc. V, 364: «Disce mori». *Четвертая стража* ночи начиналась под утро.

III — IV

Стр. 309. *Диверсорий* — загородный трактир, см. выше.

Стр. 310. *Стабула,* stabula,— маленькая станция на проезжей дороге, см. выше. *Комацей,* Comacaeus (Comacinus),— другое, более позднее название озера Комо (Egli). *Отец богов и царь людей* — Юпитер.

Стр. 311. *Значок... между преторием и трибуналом.*—Римский лагерь всегда устраивался по определенному плану. Он делился на четыре части двумя проходами, пересекавшимися под прямым углом (via principalis, via praetoria). На их пересечении стояло помещение (палатка) начальника легиона, преторий (praetorium) и трибунал (tribunal), с которого начальник держал свои речи к войску. Между ними ставился значок легиона (signum), наверху с орлом, крестом или изображением императора. Каждый легион имел свой отличительный значок.

Стр. 312. «*Дерзающим помогает Фортуна!*» —Verg. Aen. X, 284:

Audentis Fortuna iuvat.

Стр. 316. *Реция,* Raetia,— провинция, обнимавшая центральные Альпы.

Стр. 317. *Гистрион,* histrio,— актер.

Стр. 318. *Как протекающая вода...*— Здесь, как раньше и дальше,— в речах Реи намеки на различные тексты Псалмов. Напр., пс. LVII, 8; X, 6; LXXIV, 11, и др.

Стр. 321. *Полный Сенат,* Senatus plenus,— т. е. его пленарное заседание.

Стр. 322. *Баллиста* было общим названием для метательного снаряда (артиллерийского). *От отца к сыну переходит ремесло воина.*— В IV в., как известно, ряд законов утвердил потомственное прикрепление людей к их должностям. Кроме того, ряды римского войска в эту эпоху пополнялись преимущественно из тех варварских племен, где военное дело было занятием наследственным.

Стр. 323. *Наколенники,* ocrea,— покрывали низ ноги и колено; они делались из металла и поддерживались ремнями.

Стр. 326. *Как... в древней Спарте...*— Намек на συσσιτίαι. *Вспомни Великого Александра...*— Этот известный анекдот рассказан

у Арриана (Arr. Epx. VI, 26), который добавляет: «Τοῦτο ἐγώ, εἴπερ τι ἄλλο, το ἔργον εἰς καρτερίαν τε καὶ ἅμα στρατηγίαν ἐπαινῶ Ἀλεξάνδρου»[1]. *Ita* — так, да. *Так как я не купался в Эвроте...*— Намек на известный анекдот об ответе спартанца Дионисию[2].

Стр. 327. *Тиарой*, tiara, римляне называли вообще восточные головные уборы. «*Да не смущается сердце ваше*».— В речи Реи ряд текстов из Библии. Напр., от Иоанн. XIV, 1, 6; к Римл. VIII, 1; 2 к Коринф. III, 17 и др.

V — VI

Стр. 330. *Ицелон* и *Фантас* — боги сна. Ov. Met. XI, 640—642:

> Hunc Icelon superi, mortale Phobetora vulgus
> Nominat. Est etiam diversae tertius artis
> Phantasos...[3]

Первый — Morpheus.

Стр. 331. *Клянусь звездами*, per sidera testor,— выражение поэтическое, а не разговорное.

Стр. 332. *Юношу, более прекрасного, чем звезда.*— Намек на стих Горация (Hor. Carm. III, 9):

> Quamquam sidere pulcrior
> Ille est...[4]

Стр. 333. *Нитокрида Египетская*, Νίτωκρις — последняя царица VI династии, упомнпаемая Геродотом (Her. II, 100, 134) и отожествляемая с знаменитой Родопой (Rodopis). Новые исследования установили ее точное имя — Нитакри.

Стр. 334. *Реты*, raeti,— жители Реции. *Титан*, Titan,— у поэтов обычно в значении Солнца. *Члены... братства.*— В жизни римлян были очень распространены коллегии или братства, нечто вроде наших обществ или клубов (см. выше), часто устраивавшие, в складчину или на деньги своего магистра («почетного председателя»), пиры и увеселительные прогулки (см. об этом, напр., Ф. Зелинский. «Из жизни идей», X).

Стр. 335. «*Тебя, о, Ларий великий*»...— Verg. Georg. II, 159:

> Te, Lari maxime.

---

[1] Я хвалю Александра за этот поступок, который, как ничто, говорит о его выдержке и военачальственном искусстве *(др.-греч.)*.

[2] Дионисий велел спартанскому повару приготовить себе знаменитую спартанскую кровяную похлебку; похлебка ему не понравилась; повар сказал: «Чтобы она понравилась, надо сперва выкупаться в Эвроте».

[3] Боги его Ицелоном зовут, и Фобетором кличет
Смертное племя людей. От них отличен искусством
Третий — Фантас... *(лат.)*

[4] Хоть звезды он прекраснее... *(лат.)*

Смарагдиновый, smaragdinus,— изумрудный. *Стихи великого Мантуанца*, т. е. Вергилия.— Verg. Georg. II, 136—139:

> Sed neque Medorum, silvae ditissima, terra,
> Nec pulcher Ganges atque auro turbidus Hermus
> Laudibus Italiae certent, non Bactra, neque Indi,
> Totaque turiferis Panchaia pinguis arenis.

Герм — река в Лидии. *Где стены будут из ясписа* и т. д.— Откр. XXI, 19—21.

Стр. 336. *Флакк приглашал Мельпомену.*— Hor. Carm. III, 30:

> mihi Delphica
> Lauro cinge volens, Melpomene, comam[1].

Вы все — сыны божии по вере в нас.— К Галат. III, 26.

Стр. 337. *Мантика*, mantica,— дорожная сумка, котомка. *Эрицина*, Erycina,— одно из имен Венеры. Эрикс (Eryx) — гора в Сицилии со знаменитым храмом Венеры. Сервий объясняет: «Eryx Veneris et Butae filius qui occisus ab Hercule monti ex sepultura sua nomen imposuit»[2]. *Пахин*, Pachinum,— мыс в Сицилии, опасный для мореплавателей. Венеру, как рожденную из морской пены, почитали также покровительницей мореплавания (Ἀφροδίτη θαλασσία, πελαγία). *Sic erit in fatis.*—Так было назначено судьбой (Ov. etc.).

Стр. 338. *Фессалийских колдуний.*— Фессалия почиталась классической страной колдуний, о чем говорит Апулей в начале своего «Золотого Осла». *Делосская Охотница.*— Диана. *Подобно... древним сестрам.*— Орфей был растерзан бакханками. *Далеко разящий бог* — Аполлон. *Афродита всенародная* — vulgivaga, πάνδημος.

Стр. 339. *У древнего друга этого бога* (Сатурна), т. е. у Януса. Мифологи рассказывали, что Янус дал убежище Сатурну, низвергнутому с трона Юпитером и, после долгих скитаний, на корабле доехавший по Тибру до Яникула. Об этом рассказывает сам Янус у Овидия (Ov. Fast. I. 235. sqq.): «Hac ego Saturnum memini tellure receptum»[3]... etc. Вергилий тоже соединяет имена Януса и Сатурна (Verg. Aen. VIII, 357—358):

> Hanc Ianus pater, hanc Saturnus condidit arcem:
> Ianiculum huic, illi fuerat Saturnia nomen[4].

Известный стих.— Verg. Georg. III, 284:

> Fugit interea, fugit irreparabile tempus.

---

[1] Дельфийским мне главу увенчай лавром, Мельпомена *(лат.— Пер. В. Брюсова)*.

[2] Эрикс, сын Венеры и Бута, был убит Геркулесом и по гробнице своей оставил имя свое горному кряжу *(лат.)*.

[3] Помню я, как приняла земля эта бога Сатурна... *(лат.— Пер. Ф. А. Петровского.)*

[4] Яном построен отцом этот кремль, а оный — Сатурном,
Имя Яникул сему, а тому — Сатурния имя *(лат.— Пер. С. Соловьева)*.

Фламины Юпитера, flamines Diales,— жрецы Юпитера. Авл Геллий говорит, что они должны были праздновать бога каждый день (Aul. Gell. X, 15): «Dialis quotidio festatus est»[1].

Стр. 340. *Додонский оракул* (в Эпире), в эту эпоху давно уже был только историческим воспоминанием. *Авсуция*, Ausucia,— городок на берегу Лария (Комо). *Постоянные лагери*, castra stativa, были учреждены еще Августом; в IV в. все войска обычно были расположены по постоянным лагерям, образовавшим ряд сильно укрепленных крепостей и давшим начало многим городам.

Стр. 341. *Деревянным портиком с бойницами.*— Портиком, porticus, между прочим, называлось особое деревянное прикрытие, обычно устраивавшееся на валу укреплений. *Ручная баллиста*, manuballista,— маленькая баллиста, для передвижения которой не требовалось лошадей и потому не имевшая колес (в отличие от caroballista). *Не досягавшей высотой до неба.*— Намек на стих Вергилия — Verg. Aen., IV, 89:

aequata machina caelo[2].

Стр. 342. *Золотой Дом*, domus aurea,— дворец Нерона. *Облако, скрывающее бога.*— Так изображали явление богов Гомер, Вергилий и др. поэты.

Стр. 343. 3 333 333 часов приблизительно и прошли от р. Х. до изображенной эпохи (лето 383 г.). *Стихи Насона.*— Ov. Met. VIII, 608—609:

...immensa est finemque potentia caeli
Non habet.

Стр. 344. *Свободная республика продолжала существовать при власти Августа.*— Как известно, Август формально не изменил государственного устройства, лишь приняв на себя ряд магистратур.

VII

Стр. 345. *Бог Страха* — Pavor.

Стр. 346. *Она заговорила.*— В речи Реи ряд текстов из Нового завета. Напр., к Римл. VII, 1—4; VI, 2; от Иоанн. XIV, 13; к Галат. V, 13, и др. *Грозил, что один пойдет к Гангу.*— «Sed solus quoque ire perseverabo»[3],— говорит Александр у Квинта Курция (Quint. Curt. De rebus gest. IX, 2, 33).

Стр. 347. *Величайший из врагов Рима* — т. е. Ганнибал.

Стр. 348. *Не Царица ли я?* и т. д.— 1 к Коринф. IX, 1—2;

---

[1] Жрецу Юпитера всякий день праздник *(лат.)*.
[2] ...И постройки, всходящие к небу *(лат.— Пер. В. Брюсова)*.
[3] Но я и один продолжу свой путь *(лат.)*.

к Римл. IX, 13, и др. *Как эпирскому царю* — т. е. Пирру. Юстин (Iust. Hist. XVIII, 1), по поводу победы Пирра при Авскуле (279 до р. Х.), когда царь будто бы сказал «Еще такая победа, и я погиб», замечает: «maiorem gloriam eius victoriae, quam laetitiam habuit»[1].

Стр. 349. *Эмиссарий*, emissarius,— шпион.

Стр. 351. *Верно описал Цесарь.*— Caes. Bell. Alex. XVIII. *Не через роговую дверь.*— Намек на стихи Вергилия. Verg. Aen., VI, 893—896:

Sunt geminae Somni portae, quarum altera fertur
Cornea, qua veris facilis datur exitus umbris,
Altera candenti perfecta nitens elephanto,
Sed falsa ad caelum mittunt insomnia manes[2].

VIII — IX

Стр. 352. *Халкохитон*, χαλκοχίτων,—медная кираса. *Круглый шлем с перьями* — gallea cum crista. Римляне различали несколько видов шлемов. *Круглый щит* — parma; см. ниже. *Испанский меч* — тот короткий меч, gladius, которым обычно были вооружены римские легионарии. *Панцирь* — lorica. Вегеций уверяет, что после Грациана в римских войсках панцирь носить перестали (Гиббон, III, 275—276).

Стр. 353. *Лучников* (стрелков из лука) в составе легиона не было: метательным оружием служил дротик. Употребление луков возобновилось лишь с привлечением в римское войско германцев. *Сбрасывать камни* и т. д. было обычным приемом древних при обороне укрепленных мест. *Триарии*, triarii,— старинное выражение для означения тяжеловооруженных, в IV в. имевшее лишь условный смысл.

Стр. 354. *Как сказал поэт.*— Sen. Thyest., 572.

Peior est bello timor ipse belli[3].

Плутей, pluteus,— подвижная (на колесах) загородка, позади которой солдаты укрывались от дротиков, подвигаясь вперед. *Катапульта*, catapulta,— орудие тяжелой римской артиллерии, бросавшее дроты больших размеров. Тетива ее натягивалась с помощью вращения колеса (ворота). Дальность боя катапульт доходила до 500 метров. «*На падшем доспехи взгремели*» — выражение Гомера:

---

[1] Он получил от своей победы больше славы, чем радости (*лат.*).

[2] Сном суть двоякие двери: одни, говорят, роговые —
Оными легкий дается исход для теней правдивых;
Блещут другие, из белой сделаны кости слоновой,
Лживые к небу чрез них посылаются Манами грезы (*лат.— Пер. В. Брюсова*).

[3] Хуже, чем война, страх перед войною... (*лат.*)

...ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ'αὐτῷ.

Стр. 355. *Букцина*, buccina,— военная труба. *Четыреугольные щиты* — scuta; см. ниже. *Выкрашенные... в желтый цвет.*— У каждого легиона был свой цвет щитов. *Клипеи, скуты, пармулы* и т. п.— разные виды щитов: clipeus (овальный, вышедший из употребления), scutum (четыреугольный, составлявший обычное вооружение солдата), parmula (уменьшительное от parma,— совершенно круглый, который раньше носили всадники и легковооруженные), pelta (фракийский, в форме полумесяца). Были и другие виды щитов. *Гасты, пилы, ланцеи* и т. д.— разные виды копий: hasta (метательное копье, которым прежде были вооружены первые ряды, hastati), pilum (также метательное копье, постепенно вышедшее из употребления при сражениях в поле и сохраненное лишь для приступов на укрепленные места), lancea (копье вроде нашей пики), framea (видоизменение гасты, германский дротик, с коротким острием), contus (длинное копье, употреблявшееся в римской кавалерии), sparus (охотничье копье). Были и другие виды копий. *Значок когорты.*— Отдельные когорты также имели свои значки. *Вербер*, verber,— тетива баллисты (она делалась из сушеных жил).

Стр. 356. *Черепаха*, testudo,— старинный военный маневр, состоявший в том, что солдаты, тесно сблизившись, подымали щиты над головой, надвигая один на другой. *Победа под Замой* — 203 г. до р. Х.; *при Тиграноцерте* — 69 г. до р. Х.

Стр. 357. *Центурионы, с золотыми фалерами.*— Центурионы были высшими начальниками в легионе после претора. Фалерами, phalerae, назывались круглые пластинки, большею частью серебряные, с разными эмблемами на них, которые давались военным в знак отличия и которые носили на груди (род наших крестов и медалей). *Звук туб*, tuba cornea,— сигнальный рожок.

Стр. 358. *Тают, как воск от огня.*— Пс. LXVII, 3. *Подобно Приаму и Гекубе.*—Намек на стихи Вергилия: Verg. Aen., II, 524—525.

Стр. 359. *Стих Тибулла.*— Tib., II, 3:

Hinc cruor, hinc caedes, mors propiorque venit.

«*Смерть есть закон природы*».— Sen. N. qu. VI, 32: «Mors naturae lex est».

Стр. 360. *Якулы*, iaculae,— общее название дротиков, всякого метательного оружия.

Стр. 362. *Стала молиться.*— В молитве Реи ряд текстов из Псалмов. Напр., LVIII, 10; LXXII, 20; X, 6, 7, и др.

Стр. 363. *Венусинский Орфей* — т. е. Гораций (родом из Венусии, Venusia). Намек на его стихи. Hor. Carm., II, 7:

celerem fugam
Sensi relicta non bene parmula[1].

Балтей, balteus,— ремень, на котором носили меч. *Как в том месте Тартара...*—Намек на стихи Вергилия. Verg. Aen., VI, 425—426:

Continuo auditae voces vagitus et ingens
Infantumque animae flentes...[2]

X

Стр. 365. *Стихи «Энеиды».*— Verg. Aen. II, 801—803:

Iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae
Ducebatque diem. Danaique obsessa tenebant
Limina portarum nec spes opis ulla dabatur.

Урана — т. е. неба; uranos, в этом смысле, встречается у латинских писателей (Chalcid. Tim., 98).

Стр. 367. *«Падубом черным кругом и кустами торчащий».*— Verg. Aen., IX, 381—382:

(Silva fuit) late dumis atque ilice nigra
Horrida.

Стр. 368. *Sequor et qua ducis adsum!*—Следую за тобой и, куда ты ведешь, там буду. Несколько измененный стих Вергилия: Verg. Aen., II, 701. *Сын Майи* — Меркурий; *исконная богиня Лация* — Веста.

Стр. 369. *Модиция*, Modicia,— город на реке Lambrus, притоке По. *О чем... мечтал Тибулл.*— Tib., I, 1:

Et quodcunque mihi pomum novus educat annus
Libatum agricolae ponitur ante deo[3].

Бог с опрокинутым факелом.— Так художники изображали гения смерти.

Стр. 370. *По закону сын колона* и т. д.— Преобладающей формой состояния сельского земледельческого населения в IV в. был колонат. Колоны, coloni, жившие на арендованной земле, противополагались свободным земледельцам (vicani propria possidentes),

---

[1] ...роковой побег
Познал я, бросив щит свой недоблестно *(лат.— Пер. В. Брюсова)*.

[2] Тотчас стали слышны голоса и вопль великий,
Души малых детей... *(лат.— Пер. В. Брюсова.)*

[3] Сколько бы мне ни послало плодов грядущее лето,
Я пред богами полей дар земледельца сложу *(лат.— Пер. Л. Остроумова)*.

жившим на земле, принадлежавшей общинам (metrocomia) и которую не имели права приобретать лица, к общине не принадлежащие. Постепенно, рядом законодательных мер, колоны были прикреплены к земле и к своей профессии. Закон 332 г. воспретил колонам покидать обрабатываемые ими участки и приравнял уходящих к беглым рабам, подлежащим насильственному возвращению к прежнему состоянию (Cod. Theod., V, tit. IX, 1). Колоны считались лично свободными людьми, ingenui, могли владеть собственностью, вчинять иски, но в то же время были «рабами земли», servi terrae. Земля без сидящего на ней колона и колон без земли, которую он обрабатывает, не могли быть проданы (Ю. Кулаковский, I, 87—88). *Препятствовал ревностным христианам разрушить... святилище Цереры.*— Писатели говорят нам (оставляя в стороне известное разрушение христианами храма Сераписа, сопровождавшееся уничтожением александрийской библиотеки) о целом ряде походов христиан на языческие храмы. См., напр., Sulp. Sev. De vita b. Mart. XIII: «item, dum in vico quodam templum antiquissimum diruisset...»[1] *Ушли в горы.*— Побеги колонов с течением времени все учащались, и императоры издавали ряд законов, имевших целью удержать сельское население на местах.

Стр. 371. *Такой же был у них* и т. д.— Намеки на стихи Овидия о Филимоне и Бавкиде. Ov. Met., VIII:

> Parva (domus), stipulis et canna tecta palustri...
> Tota domus duo sunt, idem parentque iubentque...
> ...mensam succinta tremensque
> Ponit anus; mensae sed erat pes tertius impar:
> Testa parem fecit...[2] etc.

«*Молви, правый старик...*»—Ibid., 695—696:

> Dicite, iuste senex, et femina coniuge iusto
> Digna, quid optetis?

«*Так как согласную прожили жизнь мы*»...— Ibid., 699—701:

> quoniam concordes egimus annos,
> Auferat hora duos eadem, nec coniugis unquam
> Busta meae videam, neu sim tumulandus ab illa.

Стр. 372. *Сибрий*, Sibrium,— город на реке Olonna (приток По); *Агаминское Село*, Agaminus pagus,— город западнее Сибрия; *Эпоредия*, Eporedia,— большой город у начала Западных Альп, где сходились большие дороги, ныне Ivrea.

---

[1] Затем, разрушив в каком-то селении старинное святилище... *(лат.)*

[2] Малый, однако же, дом, тростником и соломою крытый...
Все-то хозяйство — двоих, все — сами: прикажут — исполнят...
...Подоткнувшись, дрожащая ставит
Столик старуха, но он покороче на третью был ногу —
Выровнял их черепок... *(лат.— Пер. С. Шервинского.)*

Стр. 373. *Календы Августа* — т. е. 1-е августа 383 г. по р. Х. *Максим переправился с войском в Германию вторую.*— Германия вторая — провинция диэцесы Галлий на западном берегу нижнего Рейна (Рена). «(Militcs),— рассказывает Зосима (Zos., IV, 35),— tradita illi (Maximi) cum diademata purpura, confestimque transmisso oceano, ad ostia Rheni adpulerunt»[1].

Стр. 374. *Пенин*, Poeninus mons,— Большой Сен-Бернар. Некоторые полагают, что такое название произошло от перехода через этот проход Ганнибала с пунами (Egli). Римляне провели две дороги через Альпы: одна шла через Малый Сен-Бернар, вдоль верхней Изеры и Роны, в Лион (Лугдун); другая через Большой Сен-Бернар в долину Роны и к Женеве (Генава). *Коммендатицийное письмо*, litterae commendaticiae,— рекомендательное.

Стр. 375. *Галльский пролив*, fretum Gallicum,— Па-де-Кале; *Цезариенская Флавия*, Flavia Caesariensis,— провинция на юго-востоке Англии. *Любимым чтением Вибиска было* и т. д.— «*Четверокнижие*», Τετράβιβλον, Quadripartitum, приписывалось Птоломею, конечно, неосновательно; сочинение по астрологии *Максима* дошло до нас, но в нем нельзя видеть произведение учителя Юлиана,— это труд какого-то его одноименца; *Гемин* — греческий астроном I в. до р. Х.; Луций *Таруций Фирман* (116—28 до р. Х.) пользовался большой славой в древности, но его сочинения погибли; «Восемь книг астрономии» *Фирмика Матерна* (IV в.) сохранились, и в них мы находим уже все основные положения новой астрологии; поэма *Манилия* (эпоха Августа) «Astronomica» также дошла до нас; *Овидий* и *Апулей* были известны как приверженцы оккультных знаний, в том числе астрологии. Манилий в таких выражениях говорит о влиянии звезд (Manil., I; 51—55):

Singula nam proprio signarunt tempora casu,
Longa per assiduas complexi saecula curas;
Nascendi quae cuique dies, quae vita fuisset;
In quae fortunae leges quaeque hora valeret;
Quantaque quam parvi facerent discrimina motus[2].

Нападки «Аттических ночей».— Имеется в виду рассуждение Авла Геллия «Adversum istos qui sese Chaldeos seu genethliacos apellant»[3] (Aul. Gell., XIV, 1). Любопытно, что в этом рассуждении Авл Геллий высказывает мысль, «что, может быть, существуют другие планеты,

[1] Воины, поднесши ему (Максиму) пурпурную диадему, тайно пересекли море и подступили к устьям Рейна *(лат.)*.

[2] Звезды движеньем своим отмочают всякое время,
Долгие сроки объемля в своей неустанной заботе,
Всякий рождения день и всякую жизнь означают,
Всякий час через них подчинен законам Фортуны,
Сколько бы ни были малы различья в движении звездном *(лат.)*.

[3] Против тех, кто зовет себя халдеями или составителями гороскопов *(лат.)*.

о которых наука еще не осведомлена». *О двенадцати домах неба* и т. д.— Эти учения, развитые позднейшими астрологами (XIII — XVII вв.), мы находим уже у Фирмика Матерна. Двенадцать «домов» неба соответствуют двенадцати знакам Зодиака; соединенные по три, они образуют сочетания, соответствующие четырем стихиям: овен, лев и стрелок — огню, телец, дева и козерог — земле, близнецы, весы и водолей — воде, рак, скорпион и рыбы — воздуху. *Эрратические звезды*, stellae erraticae,— планеты. В зависимости от того, какие созвездия и планеты господствуют на небе в час рождения (или зачатия) данного лица, различаются «аспекты». Так, напр., тройной аспект (trigonum), при господстве знаков овна, льва и стрельца, делящий небо на три равные части, считается благоприятным; шестерной аспект (quaternis) — средним; квадратный аспект (quadrata) — несчастным. Планеты также, и сами по себе, и по своему положению, считались счастливыми, средними и губительными. В III в. астрология пользовалась даже покровительством императоров, и астрологи, учившие в астрономических школах, получали содержание от государства; в IV в. астрология, вместе со всеми тайными науками и гаданием, довольно строго преследовалась (см. выше).

Стр. 376. *Местное вино* — «вино аллоброгов», славилось во времена империи (ныне бургундское). *Карты неба* и т. д.— Первые изображения небесной сферы относятся еще к IV в. до р. Х. Птоломей упоминает о сфере, начертанной Гиппархом и т. д. *Сложные таблицы движений планет* были составлены Птоломеем и его школой. Астрономические *инструменты*, созданные древними, почти не изменялись до самого изобретения телескопа. «*Глянь в лучезарную высь...*» — Ennius ap. Apul. De Mundo:

Aspice hoc sublime candens, quem invocant omnes Iovem.

Гороскоп, horoscopos,— в современном смысле употребляет уже Манилий (Manil., III, 189. etc.); *предикт*, praedictum,— предсказание. *Общий смысл пророчества.*— «Человек, родившийся под знаком Девы, хорошо сложен, откровенен, благороден, умен, любит почести. Обкраденный, он сам отомстит вору. Хранить тайн ни своих, ни чужих не умеет. Он горд, стыдлив в любви, делает добро друзьям» и т. д. (Dict. Inf. «Horoscope»). *Люцифер и Пироент* — Венера и Марс; Венере был посвящен голубь, Марсу — волк. *Аспект квадратный* — см. выше.

Стр. 377. *Лугдун*, Lugdunum,— ныне Лион. *Парисии* или Лютеция, Lutetia Parisiorum, или просто Parisii,— ныне Париж; *Бельгики* — две провинции диэцессы Галлий, примыкавшие к двум Германиям, граничившим Рейном. *Города... отворили ворота Максиму.*— «Галльские армии,— рассказывает Гиббон (III, 220),— вместо того чтобы воспротивиться наступлению Максима, встретили

его изъявлениями преданности». Это мы видим из рассказа Зосимы (Zos., IV, 35); иное, как будто бы, вытекает из панегирика Феодосию, написанного Пакатом (XII Pan. Lat., XII, 38).

Стр. 378. *Прежней столицей Галлии.*— Лугдун первоначально был единственным городом в Галлиях, имевшим латинские права. Он один получил постоянный гарнизон, какой ставили в главных городах. Единственный монетный двор на Западе, в раннюю эпоху империи, находился в Лугдуне. Приезжая в Галлии, первые императоры всегда останавливались в Лугдуне. Август именно в Лугдуне учредил центр административного управления Галлиями. Позднее Лугдун затмили сначала Парисии (Париж), потом Треверы (Трир). См. Моммсен, V, 73—75. «*Знаки, однако, дают*»...—Ov. Met., XV, 782:

Signa tamen luctus dant haud incerta futuri.

XII — XIII

Стр. 378. *Родан*, Rhodanus,— Рона. *Лига* — национальная мера расстояний в Галлии. Во всей империи дороги измерялись римской милей (1,48 километра). Такой порядок существовал и в Галлиях до конца II в.; со времен Севера официально была введена в трех Галлиях и обеих Германиях мера расстояний, отличная от римской, хотя и приспособленная к ней (именно, равняющаяся $1^1/_2$ мили — 2,22 километра), получившая национальное название лиги (Моммсен, V, 88). *Вечером девятого дня перед сентябрьскими календами* — a. d. IX Kal. Sept., т. е. 24 августа (383 г.).

Стр. 379. «*Что сильнее привычки?*» — Ov. Art. Am., II, 345:

...nil assuetudine maius.

Ночные вигили, vigiles,— стражи. Мы знаем, что, по примеру Рима, в позднейшую эпоху империи, завели вигилей Равенна и др. города.

Стр. 380. *Осмотреть город, славящийся...*— До сих пор в Лионе сохранились развалины трех римских акведуков, театров и т. п. *Грациан разбит.*— Зосима подробно рассказывает об этой неудаче Грациана (Zos., IV, 35): «Ubi copiae propius ad se invicem accessissent, ad quinque dies inter se velitationibus utebantur. Conspicatus autem Gratianus, primo Mauros equites universos discessionem fecisse ac Maximum augustum conclamasse; deinde caeteros etiam paulatim ad Maximi partes transire...»[1]

Стр. 381. *Комит Виктор*, сторонник Максима, упоминается св. Амбросием (De Broglie, VI, 53, 56). *Флавием* Грациан именуется в официальных актах (Fasti). *Оффициал*, officialis,— чиновник.

[1] Когда войска сошлись ближе, в течение пяти дней они вели между собою легкие схватки. Но вот Грациан увидел, как прежде всех отложились от него мавры, провозгласивши Максима августом, а затем постепенно на сторону Максима перешли и другие войска... *(лат.)*

Стр. 382. *Грациан держался безо всякого величия.*— Св. Амбросий вспоминает, в каком несчастном положении тогда находился Грациан (Hom. in Psalm., LXI): «subito egens omnium ab ipsis quorum haereditarium fuerat sortitus obsequium, coepit urgeri... ingruentibus in exitum, inferentibus mortem, nullo auxiliatore, nullo socio sui, nullo comite»[1] (De Broglie, VI, 49). О внешности Грациана и его одежде см. выше, примечание к гл. VII книги II. *Italiciana, Hispaniae, Africae* — диэцесы (т. е. Италия, Пиренейский полуостров, северо-восточная Африка). *Твоя Вечность* — обычное обращение к императору.

Стр. 383. *Меробавд и комит Балион*, Merobaudes et Balio,— лица, приближенные к Грациану, который оказывал им большое доверие, упоминаются у ряда историков (напр., XII Pan. Lat., XII, 28; см. De Broglie, VI, 47). Меробавд был консулом этого года (Fasti; Duruy, VII, 456). О *Македонии* см. выше, примечания к гл. VII книги II и к гл. II книги IV. *Принесли Евангелие.*— Об этой клятве пресида на Евангелии говорит св. Амбросий (Hom. in Psalm., LXI): «lavit manus, cum evangelium tangeret»[2] (De Broglie, ibid., 49). *Отцу отечества* и т. д.— То был официальный титул Грациана: «Imperator Caesar Flavius Gratianus Augustus pater patriae Germanicus maximus Alamannicus maximus Francicus maximus Gothicus maximus» (Fasti). В Италии Грациан считался «опекуном-соправителем» своего брата Валентиниана II.

Стр. 384. *Комитат*, comitatus,— двор, свита. «In comitatu,— говорит Авсоний (Aus. Epist., II, 34),— qui frontes hominum aperit mentes tegit...»[3] «*И Фортуна, могущая все...*» — Verg. Aen., VIII, 334:

Fortuna omnipotens et ineluctabile Fatum.

Стр. 385. *Фидицины*, fidicines,— музыканты, играющие на струнных инструментах. *Маппы*, mappae,— салфетки. *Фимбрии*, fimbriae,— бахрома. *Лерия*, leria,— золотая кайма внизу одежды. *Пурпуровые сандалии* были отличительной чертой императорского облачения. *Лемниски*, lemnisci,— ленты, прикреплявшиеся к задней части диадемы (см. выше). *Viri spectabiles* — досточтимые мужи (титул). Это низший титул для комита; comites consistoriani имели право на титул vir illustris [4].

---

[1] Внезапно он оказался в беде, покинутый всеми, от кого приличествовало ему наследственное повиновение... теснимый в изгнание, угрожаемый смертью, без единого помощника, без единого товарища, без единого спутника *(лат.)*.

[2] Омыл руки, чтобы коснуться Евангелия *(лат.)*.

[3] При дворе тот, кто заставляет обнажать головы, заставляет и скрывать мысли... *(лат.)*

[4] Светлейший муж *(лат.)*.

Стр. 386. *Фиды, цитары, лиры*, fides, citharae, lyrae,— струнные музыкальные инструменты. *Промульсид*, promulsis,— первая часть обеда, закуска. *Уловлять день.*—Намек на выражение Горация (Hor. Carm., I, 9): «carpe diem». *Лугдун был великим городом при Нероне.*— После пожара Рима 64 г. по р. Х. жители Лугдуна прислали погорельцам денежное пособие в 4 миллиона сестерций.

Стр. 387. *Кандидаты* — члены личной военной охраны императора (см. выше). *Число кубков, равное* и т. д.— обыкновение той эпохи. *Феркула*, fercula,— третья, заключительная часть обеда. *Тибицина*, tibicina,— играющая на флейте. *Фиск* — казна. *Аметалог*, aretalogus,— шут (буквально: говорящий правду). «*Брось народцу хвост*».— Caudam iactare popello (бросать хвост, льстить народу) — поговорка. *Скурра*, scurra,— латинское название шута. *Андрагафий*, Ἀνδραγάθιος, Andragathius,— магистр конницы у Максима, родом с берегов Понта Эвксинского, упоминается Зосимою (Zos., IV, 35), Сократом (Socr., V, 11) и др.

Стр. 388. «*Амбросий! Амбросий! где ты?*» — Об этом предсмертном восклицании Грациана свидетельствует св. Амбросий (S. Amb. De Obitu Valent.): «Tu me inter pericula requirebas; tu in tuis extremis me appellabas»[1] (De Broglie, VI, 50).

Стр. 389. *Потрясенный всем виденным.*— Обстоятельства гибели Грациана различными историками рассказываются различно. Пакат, Оросий, Зосима только говорят, что Грациан был убит по повелению Максима; Зосима, по странному недоразумению, переносит смерть Грациана в город Сингидун, в Месии. Сократ и Созомен противоречат им и друг другу, и т. д. «Свидетельство Амбросия,— говорит Гиббон,— самое достоверное»; «testis tamen non oculatus»[2], замечает все же об нем его издатель. Наиболее достоверный рассказ о смерти Грациана, составленный на основании всех разноречивых свидетельств, мы находим у De Broglie, VI, 49—50. Он же признает достоверным самоубийство комита Балиона, о чем говорит Амбросий, но, по-видимому, полагает, что Меробавд остался жив. Напротив, Гиббон (III, 221), из своих источников, вынес убеждение, что Меробавд был убит тотчас после убиения Грациана. *Прекоиы*, praecones,— глашатаи, герольды.

Стр. 390. *Об участи Македония* — см. De Broglie loc. cit. «*На берегу лежит*» и т. д.— Несколько измененные стихи Вергилия. Verg. Aen., II, 554, sqq.:

...iacet ingens litore truncus...
...prolapsa videntem

[1] Ты искал меня среди невзгод, ты взывал ко мне в последний миг *(лат.)*.
[2] Свидетель, но не очевидец *(лат.)*.

Pergama, tot quondam populis terrisque superbum
Regnatorem Asiae...[1]

Стихи Флакка.— Hor. Carm., IV, 7:

Quis scit an adiiciant hodiernae crastina summae
Tempora di superi?

XIV

Стр. 392. *Salve!* — привет! *Цесарю Великому* и т. д.— Официальный титул Максима: Imperator Caesar Magnus Maximus Augustus. Впрочем, он еще нуждался в утверждении другими соправителями империи и прежде всего Феодосием. *Первый курии* — princeps, председатель городской думы. *Славу галльского красноречия* поддерживали реторские школы Августодуна, Бурдигалы, Треверов и др. Галльские реторы славились на всем Западе, и Авсоний посвятил им ряд панегириков в своих Professores, сравнивая их и с Демосфеном, и с Квинтилианом, и с Саллюстием. По словам Авсония, Юлиану больше славы принес живший в его время в Бурдигале ретор Алцимий Алетий, чем скипетр (Aus. Prof., II):

Et Iulianum tu magis famae dabis,
Quam sceptra, quae tenuit breve[2].

Exclamatio, *allocutio*, *sermocinatio*, *dissimulatio* — реторические фигуры мыслей; *anaphora*, *epiphora*, *oxymoron* — реторические фигуры слов.

Стр. 393. *Diva*, *ave!* — Божественная, здравствуй! *Цингул*, cingulum,— особый пояс, знак государственной службы (см. выше).

XV

Стр. 396. *Оффиция приемов*, officium admissionum, состояла в ведении магистра оффиций; она ведала всю публичную жизнь императора, для чего нужен был огромный штат разного рода чиновников. Чины, отправлявшие дипломатические поручения, назывались *магистрианы*, magistriani. *Я служу тирану...*— Авсоний, в эти годы уже дряхлый старик, после захвата власти Максимом решительно уклонился от государственных дел и все время правления Максима провел в добровольном уединении. Говоря о годах правления Максима, Авсоний всегда употребляет выражение «tyran-

[1] ...Лежит на бреге труп величавый...
...Кто сожженную Трою видел и падший
Пергам, когда-то владыке гордому стольких Асийских
Стран и народов... *(лат.— Пер. В. Брюсова.)*

[2] Дал больше славы Юлиану-кесарю,
Чем скипетр кратковременный *(лат.)*.

nicis temporibus»;[1] так смотрели на Максима и многие другие видные жители Галлий. Сходные выражения находим у Паката, но тот произносил панегирик победителю Максима. *Елена... дочь Евдды* (Eudda).— «Ее гробницу,— говорит Гиббон (III, 219),— и теперь можно видеть в Керсегонте (Caersegont) подле Кернаворна», но намекает, что гробница эта — легендарная.

Стр. 397. *Человек малоученый.*— Сульпиций Север (De Vita b. Mart., XX) называет Максима: «ferocis ingenii vir». *Крещение он принял... ва несколько дней, как... надел диадему.*— См. De Broglie, VI, 56. *Принять сторону... Афанасия.*— Максим выступил против ариан потому, что их поддерживала Юстина, мать Валентиниана II, которого Максим считал своим соперником (De Broglie, VI, 192, sqq.). *Мы переехали в Треверы.*— Сульпиций Север (Sulp. Sev. Hist., II, 49) говорит о воцарении Максима: «ubi Maximus oppidum Treverorum victor ingressus est...»[2] *Великолепный город.*— Моммсен говорит (V, 75), что «этот северный Рим (Треверы) получил городские стены и бани, достойные стоять наряду с городскими стенами римских царей и с банями императорской столицы». Авсоний, описывая Треверы, говорит (Ordo VI):

> Lata per extentum procurrunt moenia collem,
> Largus tranquillo praelabitur amne Mosella,
> Longinqua omnigenae vectans conmercia terrae[3].

Воспетой Авсонием...— Известнейшее произведение Авсония посвящено описанию Моселлы, т. е. Мозеля (см. В. Р.) *Первый наставник Грациана* — Авсоний (см. выше). *Нас посетил... Амвросий.*— Подробности этого первого посольства Амвросия к Максиму мы знаем из писем Амвросия. *Комит Бавтон* был по происхождению франк. *Марцеллин*, брат нового императора, служил при дворе Юстины в Сирмии (De Broglie, VI, 53).

Стр. 398. *Объявил, что Юстина* и т. д.— Св. Амвросий пишет (Epist., XXIV): «ubi primum veni, cum diceres quod Valentinianus ad te quasi filius ad patrem venire deberet...»[4] (De Broglie, ibid., 55). De Broglie добавляет о Максиме: «en vrai parvenu, il voulait se donner la jouissance d'humilier sa victime»[5]. *Любому из воинов.*— Milites было общее название всех состоявших на государственной службе (см. выше).

Стр. 399. *О местных реторских школах.*— Грациан назначил

---

[1] Во времена тиранические *(лат.)*.
[2] Когда Максим вступил с победою в Треверы... *(лат.)*
[3] Вширь по просторным холмам разбегаются крепкие стены,
Тихой струится волной широкая влага Моселлы,
Самых дальних земель на себе несущая грузы *(лат.)*.
[4] Когда я пришел в первый раз, и ты сказал, что Валентиниан должен явиться к тебе, как сын к отцу... *(лат.)*
[5] Как настоящий выскочка, он хотел потешиться удовольствием унизить свою жертву *(франц.)*.

содержание профессорам Треве́р значительно большее, чем других городов (см. выше).

Стр. 400. *Максим отправлял посольство.*— Это посольство было отправлено под влиянием настоятельного требования Феодосия, соглашавшегося признать Максима императором в Галлиях, Испаниях и Британии с тем, что во власти Валентиниана II остается Италия, Африки и Иллирия. Юстина переехала в Медиолан тотчас после того, как пришло известие о гибели Грациана (De Broglie, VI, 51). *Схватки и бой* и т. д.— Стих Гомера:

Ὑσμῖναι τε, μάχαι τε, φόνοι τ', ἀνδροκτασίαι τε.

Luam Saturni etc.— Названия молитв. См. Aul. Gell., XIII, 22: «Comprecationes deum immortalium, quae ritu Romano fiunt, expositae sunt in libris sacerdotum populi Romani et in plerisque antiquis orationibus, in iis scriptum est: Luam Saturni, Salaciam Neptuni, Horam Quirini, Iurites Quirini, Maiam Volcani, Heriem Iunonis, Molas Martis, Nerienemque Martis»[1]. *Одновременно с новым Сенаторским посольством.*— Это именно то посольство, во время которого Симмах произнес свою речь в защиту древней религии (см. выше, примечание к гл. V книги II). *Приветливость префекта.*— Симмах был в этом (384) году назначен префектом Рима (см. выше).

Стр. 401. *Сикулийское море*, mare Siculum,— ныне Тирренское.

Стр. 402. *Консисторий принцепса*, consistorium principis,— совет высших чинов при императоре. Помимо обсуждения общегосударственных вопросов, в консистории происходили торжественные приемы посольств. *Амбросий... одержал верх.*— «Решительное и искусное противодействие миланского архиепископа,— лукаво пишет Гиббон (III, 283),— расстроило планы Симмаха и предохранило императора от обманчивого красноречия римского оратора». Сам Амбросий утверждает (Epist., LVII), что дело решил юный император, заявив, что он не может отменять то, что постановил его брат.

Стр. 403. *Чисто по-римски и сурово.*— Ср. Aul. Gell., XIII, 21: «Romane et severe dixit».

Стр. 408. *Лабар*, labarum,— знамя с именем Христа, впервые выставленное Константином В. *В леса и горы...*— Известно, что язычество дольше всего держалось в маленьких селениях, откуда возникло и самое название язычников: pagani (pagus — селение). «*Варвар, увы, победитель...*» — См. выше, гл. XIV книги I. Hor. Epod., XVI, 11—12:

---

[1] Молитвы бессмертным богам, положенные по римскому обряду, изложены в книгах священнослужителей римского народа и во многих старинных речах. Там перечисляются: «Луа» Сатурну, «Салакия» Нептуну... и т. д. *(лат.)*

Barbarus, heu, cineres insistet victor et Urbem
Eques sonante verberabit ungula.

Должно было пройти еще четверть столетия после падения Грациана до исполнения пророчества Горация. Только в 410 г. варвары, как победители, впервые вступили в Рим (Аларих).

ПРИЛОЖЕНИЕ

(К главам III и VIII книги I, главе IX книги II и др.)

Сношения, преимущественно торговые, народов, живущих по берегам Средиземного моря, с народами Дальнего Востока, т. е. живущими по берегам Индийского и Великого океана, начались задолго до возникновения Римской империи. Историки относят первые экспедиции египтян в землю Пунт, т. е. к побережью Баб-эль-Мандебского пролива, к середине 3-го тысячелетия до р. Х., а первые сношения Египта с Индией к эпохе XVIII династии (XVIII — XVII век до р. Х.). Но есть некоторые основания относить начало этих сношений к гораздо более раннему времени. Впрочем, широкое развитие торговых сношений Египта с землями по Индийскому океану принадлежит уже греко-римскому периоду, когда Египет повел оживленную торговлю с европейскими центрами. С африканского побережья Египет вывозил в Европу слоновую кость, рога носорогов, черепаху, живых зверей, черное дерево, «мирobалан» (растительный продукт), имбирь, стираксову смолу, мирру, ладан, драгоценные камни (топазы и др.), наконец, рабов; из Аравии египтяне везли в Европу жемчуг, кораллы, опять мирру и ладан, бальзам, нард, финики; из Индии — индийскую слоновую кость, жемчуг, сахарный тростник, мускатный орех, рис, разные пряности, имбирь (индийский), гвоздику, шафран, корицу, кардамон, перец, кост (корень одного растения, употреблявшийся для придания запаха маслам), индиго, строительные материалы, черное дерево, индийский дуб, бамбук, драгоценные камни (индийские алмазы и др.), далее — хлопок и различные ткани; из Китая — прежде всего шелк (как шелк-сырец, так шелковую пряжу и готовые шелковые ткани), затем меха и кожи. С своей стороны, египтяне стали возить в Аравию, Индию и Китай свои продукты и продукты Европы, в том числе хлеб, растительные масла, металлы (железо, медь, олово и др.), произведения текстильной промышленности, вино, ювелирные изделия, стеклянные изделия, различные художественные произведения и т. п. Естественно, что столь обширный круг предметов торговли должен был вызвать оживленнейшие торговые сношения. И действительно, торговля Европы с Дальним Востоком через египетские гавани в цветущее время Римской империи была в

высшей степени интенсивна. Можно сказать, что Европа и Дальний Восток в ту эпоху были в постоянных сношениях.

Главным центром этой торговли была на Востоке Индия. Значительную часть китайских товаров египетские купцы получали через индийских посредников. Поэтому важнейшим торговым путем для египетской торговли был путь в Индию. В древнейшее время египтяне довольствовались плаванием вдоль берегов (каботажным), которое, конечно, было чрезвычайно медленным. С усовершенствованием судостроения и после изучения свойств муссонов египетские мореходы стали отваживаться на плавание через открытое море. Есть известие, будто первым, решившимся на это, был некто Гиппал (вторая половина I в. по р. Х.). Он заметил, что в Индийском океане правильно чередуются два ветра: летом, с мая по сентябрь, дует юго-западный муссон, зимой, с октября по апрель, муссон северо-восточный. Выехав из гавани Восточной Африки летом, Гиппал, пользуясь летним муссоном, непосредственно достиг берегов Индии; зимой он вернулся тем же путем, пользуясь противоположным, зимним муссоном... С того времени такой способ плавания стал обычным для египетской торговли с Индией. Постепенно выработались определенные традиции, которым эта торговля следовала. Были определенные сроки, к которым все купцы собирались со своими кораблями в известных гаванях, чтобы совершать плавание целой флотилией, и были такие же определенные сроки, к которым ждали купцов обратно. К этим срокам были приурочены разные другие морские рейсы, развозившие заокеанские товары по Европе или доставлявшие европейские товары в Египет для отправки их на Дальний Восток.

К концу I в. по р. Х. морские торговые сношения Египта с Индией вполне установились. Каждый год, около времени летнего солнцестояния, египетский флот, в числе более ста кораблей, пользуясь муссоном, пускался в путь через океан и возвращался зимой, в декабре или январе. По берегу Красного моря был устроен ряд удобных гаваней, которые были соединены хорошими дорогами с Нилом. Самой южной из таких гаваней была Береника Троглодитика, оттуда дорога вела в Копт (ныне Кебт), город, лежавший по Нилу немного севернее Фив. Более значительной гаванью и обычным пунктом отплытия был Миос-Горм (Mioshormos), соединенный дорогой с Кенеполем, лежавшим близ Копта. Между Береникой и Миос-Гормом была еще гавань — Левк (Leucos-limen). Из Красного моря корабли, большею частью минуя остров Диоскоридов (ныне Сокотра), плыли прямо к западным берегам Индии, причем на этот переезд надо было от тридцати до сорока дней. На Малабарском берегу Индии был ряд городов, служивших центром торговли с европейцами; наиболее обычными гаванями, куда прибывали

египетские купцы, были Нелькинда (ныне Нилесвара) и Мусир (ныне Мангагор), но писатели I — II в. называют там же и ряд других гаваней. Индийцы большей прибыли направлялись иногда на север, по Малабарскому берегу, к устью Инда, где были важные гавани Барбарик (точно местоположение не определено) и Баригазы (ныне, вероятно, Броач), или на остров Салику, раньше называвшийся Тапробаной (ныне Цейлон), где была знаменитая гавань Мефора (на южной оконечности острова, ныне Матара), а некоторые, более отважные, на север по Коромандельскому берегу к устью Ганга.

Эти ежегодные поездки римско-египетских купцов в Индию довольно хорошо ознакомили с ней римлян. Птоломей, Плиний, анонимный автор «Перипла» («Плавания по Индийскому океану») и другие греко-римские писатели времен империи оставили довольно точные описания Индии. Мы знаем, что и правительство всячески старалось поддерживать сношения с Индией; целый ряд официальных посольств был отправлен к индийским государям римскими императорами, в том числе посольства Августа, Клавдия, Граяна, Антонина Пия, Элагабала, Аврелиана, Константина В., Юлиана. Индийские государи, в свою очередь, посылали посольства в Рим; такие посольства принимали Август, Клавдий, Антонин Пий, Элагабал и др. Точно так же индийские купцы, в свою очередь, приезжали в Египет и были там не редкими гостями (как то видно из сообщений Диона Хрисостома, Элия Аристида и др.). Значительное число кладов римских монет (начиная с эпохи второго триумвирата до последних императоров), находимых в разных местностях Индии, также свидетельствует об оживленности сношений в I — IV в. по р. Х. между Европой и Индией. В Модуре (на южной оконечности Декана) существовала целая римская колония, чеканившая, по-видимому, собственную монету. Можно еще отметить, что в недавнее время среди «оксиринхских папирусов» была найдена греческая комедия, действие которой происходит в Индии, причем выступающие в комедии индийцы произносят слова, оказавшиеся словами одного из дравидских языков. Папирус относится к эпохе Антонинов.

Однако наиболее отважные из римско-египетских купцов-мореходов не довольствовались торговлей с Индией, но пытались распространить свои сношения с народами далее на Восток. От Салики (Цейлона) они плыли на Золотой полуостров, в Хризу (Малакка), на западные берега Индо-Китая, в гавани Саду и Тамалу (последняя в дельте Ирравади), или даже на восточные берега Индо-Китая, в Забу (в Камбодже) и далее в Кортафу (близ Сайгона). Иные попадали,— иногда случайно, занесенные бурей,— на острова Зондского архипелага, на остров Сатиров (Борнео), Благого

Демона (Суматра) или Ябадиу (Ява). Наконец, последним пределом, которого достигали римско-египетские купцы, были гавани южного Китая, из которых наиболее известной была Каттигара (ныне или Кантон, или Нанкин, или Ханой). Хотя эти посещения Китая римскими кораблями и были сравнительно редкими, все же несомненно, что китайские продукты поступали в Европу не только через индийских посредников, но и непосредственно через руки отдельных отважных египетских купцов.

Китайские летописи сохранили нам сведения о нескольких «посольствах», являвшихся от римских императоров к богдыхану. Наиболее известное из них — посольство императора Ан-Туна, как его называют китайцы, т. е. Марка Аврелия Антонина, в 166 г. по р. Х., к императору Гванг-Ти, в его столицу Ло-Янг (на среднем течении Гоанго). По рассказу китайских летописей, посольство приехало морем из империи Та-Цин (Великий Рим), высадилось в Йи-Нане (Аннаме), было эскортировано в столицу и принесло в дар «сыну неба слоновые клыки, рога носорога и броню черепахи». «С этих пор,— сообщают китайцы,— начались беспрерывные сношения с этой страной» (т. е. с Римской империей). Среди других сходных известий упоминают китайские летописи о прибытии, в 227 г., в Киа-Чао (т. е. уже в Желтое море) римского купца по имени Цин-Лун (т. е. римлянин Лун). Он был представлен высшим чиновникам провинции, его расспрашивали «об обычаях и песнях» его страны и отправили обратно в Киа-Чао, откуда он уехал к себе на родину. Еще одно «посольство», тоже в начале III в. по р. Х., привезло императору Тан-Цу дары из стеклянных вещей, возбудившие удивление китайцев. В 284 г. новое «посольство» привезло в дар 30 000 свитков папируса. Так как римские источники ничего об этих «посольствах» не говорят, надо предположить, что они не были официальными; простые римские (египетские) купцы самовольно выдавали себя за представителей империи.

Во второй половине III в., под влиянием великих смут во всей империи, морская торговля с Дальним Востоком начала приходить в упадок. У египетских купцов явились опасные соперники в лице купцов из царства аксумитов и гомеритов (точнее химьяритов). Гомериты, или химьяриты, было одно из арабских племен, живших на юго-восточной оконечности Арабского полуострова, в стране, называвшейся у древних Счастливая Арабия (область Мохи и Адена). Цивилизация этого народа достигла значительной высоты еще до утверждения римского владычества над Египтом. В столице химьяритов, Сапфаре, возникли роскошные строения; там развивались науки и искусства. До нас дошел, между прочим, судебник этого царства, составленный на греческом языке. Химьяриты с давних пор занимались торговлей, сухопутной и морской, и были в сно-

шениях с Индией. Против царства химьяритов, на Африканском берегу (в области нынешней Абиссинии), лежало царство аксумитов, с главным городом Аксум,— народа, также стоявшего на значительной культурной высоте. Во II в. по р. Х. химьяриты подчинили себе аксумитов и оба царства слились в одно. Позднее связь эта распалась, но потом возобновилась вновь, но на этот раз господствующим явилось уже царство аксумитов. В IV в. общей столицей соединенных царств был Аксум, и его царь именовал себя «Βασιλεύς Ἀξωμιτῶν καὶ Ὁμηριτῶν καὶ τοῦ Ῥαειδάν»[1] (кремль в Сапфаре). Царство аксумитов сносилось с Римской империей, как равное государство с равным. Констанций в 356 г. обратился к тогдашнему царю аксумитов Аезану с дружеской просьбой; в Кодексе Феодосия поминается посольство «ad gentem Axumitarum et Homerita(rum)»[2]. Это-то аксумо-гомеритское царство и захватило в III в. торговлю с Дальним Востоком. Аксумиты стали посредниками индийцев и римлян в их торговых сношениях, и непосредственная морская торговля Египта на Востоке упала. Однако она не прекратилась совершенно. Мы знаем из сообщения Вописка (Hist. Aug.), что в конце III в. «(Firmus) naves quoque ad Indas negotiatorias saepe misit»[3]. К концу III в. относится и одно из римских «посольств» в Китай. В IV в. непосредственные морские сношения Египта с Индией снова несколько оживляются, и в индийских кладах, в которых римские монеты III в. редки, находят довольно много римских монет IV в.

Независимо от морской торговли с Индией римляне вели торговые сношения с Дальним Востоком и по сухопутным дорогам. В начале империи уже был определенный путь для такой торговли (преимущественно с Китаем). Этот путь шел через Персию и Бактрию (через нынешний Афганистан и Бухару) до Исседона Скифского (ныне Кашгар), где раз в году устраивалась грандиозная ярмарка. Описание одного путешествия, которым пользовался Птоломей, указывает следующие этапы этого пути: из Гераполиса на верхний Евфрат, оттуда через Персеполь, Гекатомпилу, Бактру к Гиссару, далее через горную страну к Суркхабу. Тотчас за горным проходом, по этому описанию, находилась знаменитая «каменная башня» (ныне, вероятно, развалины «Дараут-кургана»). То была лишь одна из возможных дорог, и автор «Перипла» указывает несколько сухопутных путей в Исседон и далее в Китай. Ко времени прибытия в Исседон римских купцов, туда являлись купцы китайские, проводившие свои караваны через Монголию. В Исседоне римское золото и римские товары обменивались на произведения Срединной им-

[1] Царь аксумитов, гомеритов и Раиды *(др.-греч.)*.
[2] К племени аксумитов и гомеритов *(лат.)*.
[3] (Фирм) не раз посылал корабли для торговли с Индией *(лат.)*.

перии, и таким образом ежегодно громадное количество римских денег уходило на Восток.

Эта сухопутная дорога для торговли с Китаем стала затруднительной во II в. вследствие усиления царства парфян и их враждебных отношений к римлянам. На это жаловались римские «послы» при китайском дворе в 166 г. Ново-персы, в III в., попытались было совершенно закрыть римлянам пути через свою страну. Некоторое время сухопутная торговля Рима с Китаем должна была вестись при посредстве промежуточных народов. Впоследствии посещение ярмарки в Исседоне римскими купцами возобновилось, но все же главные нити торговли остались в руках персов, и главным рынком китайских товаров для римлян стал Нисиб. Известно, что еще Юстиниан упорно искал новых путей для торговли с Китаем. Эти поиски прекратились лишь в 50-х годах VI в., когда византийцы научились сами разводить шелковичных червей и Сирия стала покрываться плантациями тутового дерева.

Цены на дальневосточные товары в Европе за все время Римской империи стояли очень высокие. В эпохи, когда торговля с Индией и Китаем замирала, они достигали фантастических размеров. Во второй половине III в., когда прервалась торговля сухим путем, а морская торговля временно ушла из рук египтян, фунт золота и фунт шелка, по свидетельству Вописка (Hist. Aug.), были равноценны. Но все усилия императоров ограничить употребление шелка в империи были напрасны. Тщетно издавались законы, разрешавшие носить шелковые одеяния лишь определенным классам лиц,— с каждым десятилетием в больших городах шелк входил все в большее и большее употребление. Менандр (вторая половина III в.— эпоха особенной дороговизны шелка) говорит, что ни один народ на земле не потребляет столько шелка, как византийцы. Аммиан Марцеллин (IV в.) говорит, что шелк прежде употреблялся лишь знатными людьми, а теперь им безудержно пользуются и самые простые («Seres conficiunt sericum, ad usus antehac nobilium, nunc etiam infirmiorum sine ulla discretione proficiens»). В империи дальневосточные товары, по свидетельству Плиния, продавались по цене в сто раз высшей, чем они стоили на месте («apud nos centuplicato veneant»). Но тот же Плиний говорит, что, «по самому умеренному расчету, Арабия, Индия и Китай ежегодно поглощают из Римской империи по сто миллионов сестерциев». После этого понятно, что некоторые современные историки самое падение Западной Римской империи приписывают тому обстоятельству, что она разорилась, отдав все свое золото на Восток,— в Индию и в Китай. (Plin. Nat. Hist., VI, XII; Amm. Marc., XXIII, 10—88; Hist. Aug., Aurel.; Хвостов, passim; Моммсен, V, 593—609; G. Ferrero, VI; Duruy, V; Ш. Диль, 540—552; R. Darest, Lois des Homérites, и др.)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Чтобы дать возможность желающим проверить мои цитаты и чтобы указать объем материалов, которыми я пользовался, я привожу здесь список сочинений, на которые сделаны ссылки в примечаниях. Список разделен на три части: 1) издания античных авторов, 2) новые исследования, 3) справочные издания.

Из сочинений античных авторов важнейшее значение для меня имели, конечно, произведения той эпохи, к которой относится действие повести: историки Аммиан Марцеллин, Зосима, Сократ и др., поэты Авсоний, Клавдиан, Сидоний Аполлинарий (последние два несколько позднейшей эпохи) и др., письма Симмаха, автобиография Августина, кодекс Феодосия, Notitia dignitatum и т. п. Эти произведения я старался читать в их наиболее авторитетных изданиях и сожалею, что должен был пользоваться старым изданием кодекса Феодосия, а не новым, вышедшим под редакцией Моммсена. Что касается других произведений, то я довольствовался теми изданиями, которые были у меня под рукой. Читатель заметит, что иногда то были издания, представляющие больше ценности для библиофила, чем для историка. Но я полагаю, что в тех случаях, когда мне нужна была незначительная цитата, мои выводы не были бы опровергнуты той или иной конъектурой нового издания. Если я пользовался, кроме подлинного текста, переводом, в списке указано также издание этого перевода (желание иметь латинский перевод сочинений Зосимы заставило меня, между прочим, обратиться к старинным изданиям этого историка). Когда в примечаниях есть ссылка на писателя, сочинения которого в списке не названы, это означает, что я пользовался цитатой из вторых рук (как, например, сочинениями св. Амбросия,— что в примечаниях всегда указано).

Из новых исследований моими лучшими руководителями были де Бролье, Г. Буассье, А. Тедена (во всем, что касается археологии римских форумов) и до сих пор остающийся живым и «неувядаемым» замечательный труд Гиббона. Этих историков я цитирую

во всех тех местах, где речь идет о истории, быте и правах IV века, то есть эпохи, к которой относится действие повести. Когда же мне казалось полезным напомнить читателям некоторые факты из более ранней истории Рима, сообщить некоторые данные по общеримским древностям, истолковать тот или другой термин,— я не видел надобности обращаться к изданиям специальным. Если в каком-либо популярном сочинении или даже учебнике я находил правильное освещение данного вопроса, я довольствовался ссылкой на эту книгу. Ряд таких справочных изданий указан в 3 отделе списка.

Считаю долгом принести глубокую благодарность проф. А. И. Малеину, сделавшему мне ряд ценных замечаний по прочтении первых глав повести, и П. Б. Струве, оказавшему мне существенную помощь библиографическими указаниями.

Перед названием каждой книги в списке стоит (в скобках) сокращенное название, под которым она упоминается в примечаниях.

В. Б.

I. ИЗДАНИЯ АНТИЧНЫХ АВТОРОВ

(в подлиннике и в переводе)

(Aesch.). Aeschyli tragoediae. Edidit H. Weil. Bibliotheca Teubneriana.

(Agr.). Agroetius de orthographia et proprietate et differentia sermonis. Vide Œuvres complètes d'Ausone (Aus.).

(Amm. Marc.) Ammiani Marcellini quae supersunt. Accedunt auctoris ignoti de imperatoribus excerpta. Editio Tauchnitiana. Lipsiae, 1876.

Аммиан Марцеллин, История. Перевод (по изданию Гардтгаузена 1874—1875 г.) Ю. Кулаковского и А. Сонни. 3 тома. Киев, 1906—1908.

Ammien Marcellin ou les dix-huit livres de son histoire. Nouvelle traduction. 3 vol. A Lyon, 1778.

(Ant. Riese). Anthologia latina sive poesis latinae supplementum. Pars prior (fasciculi I — II) recensuit Alexander Riese. Lipsiae in aed. B. G. Teubneri, 1894—1906.

(Ant. Mejer). Antologia veterum latinorum epigrammatum et poematum. Editionem Burmannianam digessit et auxit Henricus Meyerus. Tomi I — II. Lipsiae, 1835.

(Arr.) Arriani Anabasis et Indica. Emendavit Fr. Dübner. Reliqua Arriani et scriptorum de rebus Alexandri M. fragmenta collegit Carolus Müller. Firmin-Didot ed. Parisiis, 1877.

(Apul.). Œuvres complètes d'Apulée traduites en français (texte en regard) p. Victor Bétolaud. 2 vol. Garnier frères. Paris.

(August.). Augustini de civitate Dei. Recensuit B. Dombart. Vol.

I — II. Bibliotheca Teubneriana.
La Cité de Dieu de Saint Augustin. Traduction nouvelle p. Emile Saisset. Charpentier libr. Paris, 1855.
Confessions de Saint Augustin. Bibliothèque Charpentier. Paris.
(Aul. Gell.). Œuvres complètes d'Aulu-Gelle. Traduction française (texte en regard) p. M. Charpentier et M. Blanchet. 2 vol. Garnier frères. Paris.
(Aus.). Decimi Magni Ausonii Burdigalensis Opuscula. Recensuit Rudolfus Peiper. Bibliotheca Teubneriana.
Œuvres complètes d'Ausone. Traduction nouvelle (texte en regard) p. E.-F. Corpet. (Appendix: Agroetius de orthographia). 2 vol. C. Panckoucke éd. Paris, 1842.
(Baehrens). Poetae latini minores. Recensuit Aemilius Baehrens. Vol. I — VI. Bibliotheca Teubneriana.
(Caesar). Caesaris commentarii de bello Alexandrino. Recensuit E. Woelfflin. Bibliotheca Teubneriana.
(Carm. Priap.). Carmina priapea. Vide Petronii Satirae.
(Cat.). Q. Valerii Catulli Carmina. Recensuit Lucianus Mueller. Bibliotheca Teubneriana.
(Cic.). M. T. Ciceronis scripta. Tuscululanae disputationes, de natura deorum etc. Edidit Lucianus Mueller. Bibliotheca Teubneriana.
(Claud.). Claudii Claudiani Carmina. Recognovit Iulius Koch. Bibliotheca Teubneriana.
Œuvres complètes de Claudien traduites en français (texte en regard) p. Héguin de Guerle, Garnier frères, Paris.
(Cod. Theod.). Codicis Gregoriani et codicis Hermogeniani fragmenta. Codicis Theodosiani libri XVI. Instruxit Gustavus Haenel. Bonnae, 1837.
(Corp. Gramm.). Corpus grammaticorum latinorum veterum. Collegit auxit recensuit Fridericus Lindemanus. Tomi I — IV. Sumptibus B. G. Teubneri et F. Claudii. Lipsiae, 1831—1840.
(Eutr.). Eutropii breviarium Romanae Historiae. Recensuit Christophorus Cellarius. Cizae, 1678.
(Hist. Aug.). Historiae Augustae scriptores VI, accurante Cornelio Schrevelio. Lugduni Batavorum, 1661.
Шесть писателей истории о августах. 2 тома. СПб., 1775.
(Herod.). История Геродота. Перев. Ф. Мищенка. 2 тома. М. 1888.
(Hor.). Q. Horatii Flacci Carmina. Recensuit Fridericus Vollmer. Bibliotheca Teubneriana.
(Hom.). Homeri Ilias. Edidit Guilielmus Dindorf. Bibliotheca Teubneriana.
(Iust.). Histoire universelle de Justin extraite de Trogue-Pompée traduite (texte en regard) p. M. l'abbé Paul. 2 vol. Paris, 1774.

(Iuven.). Satires de Juvenal traduites (texte en regard) p. M. Dusaulx. 2 vol. Paris, 1782.
(Liv.). Titi Livi ab urbe condita libri. Iterum recognovit Wilh. Weissenborn. Bibliotheca Teubneriana.
(Luc.). Lucain, Silius Italicus, Claudien. Œuvres complètes avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard. Firmin Didot fr. libr. P. 1855.
(Manil.). Marci Manilii Astronomicon. Vide Mart.
(Mart.). Stace, Martial, Manilius, Lucilius iunior, Rutilius, Gratius Faliscus, Némésianus et Calpurnius. Œuvres complètes avec la traduction en français publiées p. M. Nisard. Firmin - Didot éd. Paris, 1878.
(Notitia.). Notitia dignitatum. Edidit Otto Seeck. Berolini apud Weidmannos, 1876.
(Ovid.). P. Ovidius Naso. Edidit R. Ehwald. Vol. I — III. Bibliotheca Teubneriana. (Ссылки на Amores, Epist., Tristia). P. Ovidii Nasonis Carmina. Edidit Alexander Riese. Vol. I — III. Ex off. B. Tauchnitz. Lipsiae, 1871. (Ссылки на Ars Amat., Remed., Metam.).
(XII Paneg). XII panegyrici latini. Recensuit Aemilius Baehrens. Bibliotheca Teubneriana.
(Petr. Sat.). Petronii Satirae et liber priapeorum. Tertium edidit Franciscus Buecheler. Berolini apud Weidmannos, 1895. Œuvres complètes de Pétrone avec la traduction français p. Héguin de Guerle. Nouvelle éd. Garnier frères. Paris.
(Phaedr.). Phaedri Fabulae Aesopiae. Recognovit Lucianus Mueller. Bibliotheca Teubneriana.
Fables de Phèdre suivies des œuvres d'Avianus, de Denys Caton, de Publius Syrus, traduites (texte en regard) p. Levasseur et J. Chenu. Nouvelle éd. Garnier frères. Paris.
(Plin.). C. Plini Secundi Naturalis Historiae. Edidit Carolus Mayhoff. Vol. I — VI. Bibliotheca Teubneriana.
(Plin. Epist.). Plini iunioris Epistulae. Recensuit C. F. W. Mueller Bibliotheca Teubneriana.
(Porf.). Publilii Optatiani Porfyrii Carmina. Recensuit Lucianus Mueller. In aedibus B. Teubneri. Lipsiae, 1877.
(Quint. Curt.) Quintus Curtius Rufus. De rebus gestis Alexandri M. Macedonum regis. Cum supplementis Ioh. Freinshemii. Apud H. Wetstenium. Amstelaedami, 1687.
(Rut. Nam.). Claudii Rutilii Namatiani De reditu. Vide Mart.
(Sall.). C. Sallusti Crispi Catilina Iugurtha etc. Edidit Adam Eussner. Bibliotheca Teubneriana.
(Sen.). Œuvres de Sénèque le philosophe. Traduction de Lagrange. 8 vol. A Tours, an 3 de la République.

(Sen. Trag.). L. Annaei Senecae Tragoediae. Editionis. Tauchnitianae nova impressio. Lipsiae, 1872.
Tragédies de Sénèque. Traduction (texte en regard) p. E. Greslon. Garnier frères. Paris.
(Sid. Apoll.) C. Sollius Apollinaris Sidonius. Recensuit Paulus Mohr. Bibliotheca Teubneriana.
(Socrat.). Socrates' Ecclesiastical History according to the text of Hussey. Clarendon Press. Oxford, 1893.
(Stat.). Papinii Statii Silvarum libri. Vide Mart.
(Suet.). C. Suetoni Tranquilli quae supersunt omnia. Recensuit Carolus L. Roth. Bibliotheca Teubneriana.
(Sulp. Sev.). Sulpicii Severi Opera omnia. Ex recensione Ioannis Clerici. Tomi I — II. Lipsiae, 1709.
Сулпиция Севера Священная История. Переведена с латинского языка. В царствующем граде Москве, в лето 1793. (На славянском языке.)
(Symm.). Q. Aurelii Symmachi quae supersunt. Edidit Otto Seeck. Monumenta Germaniae Historica, Berolini, 1883.
(Tib.). Albii Tibulli libri IV. Recensuit Lucianus Mueller. Bibliotheca Teubneriana.
(Вега.). Вега. Апокрифические сказания о Христе. I. Книга Никодима. II. Книга Марии Девы. СПб., 1912.
(Verg.). Vergils Gedichte erklärt von Th. Ladewig und C. Schaper. Bearbeitet von P. Deuticke. 3 Bde. Berlin, 1904, 1907, 1912. (Большинство ссылок.)
P. Vergili Maronis Opera. Edidit Albertus Forbiger. Lipsiae, 1875. (Некоторые ссылки.)
(Vulg. Inschr.). Vulgärlateinische Inschriften. Herausgegeben von D-r Ernst Diehl. Bonn, 1910.
(Zos.). Zosimi Historiae graece et latine. Recensuit Io. Frid. Reitemeier. Lipsiae, 1784.
Zosimi Historia Nova. Ex recensione Friderici Sylburgii cum latina interpretatione. Cizae, 1679.

II. НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(P. Allard). Paul Allard. L'Art païen sous les empereurs chrétiens. Didier et C-ie. Paris, 1879.
(Anderson). The Architecture of Greece and Rome by W. J. Anderson and R. Ph. Spiers. London, 1907.
(Амфитеатров). А. В. Амфитеатров. Зверь из бездны. 3 тома. Т-во «Просвещение». СПб., 1911—1912.
(G. Boissier). Gaston Boissier. La Fin du paganisme. 2 vol. Paris. 1909.

(—Etude). Gaston Boissier. Etude sur la vie et les ouvrages de Varron. Paris, 1864.
(—L'Afrique). Гастон Буасье. Римская Африка (L'Afrique Romaine). «Военно-исторический вестник», 1911.
(De Broglie). Albert de Broglie. L'Eglise et l'Empire Romain au IV siècle. 6 vol. Librairie Perrin. Paris, 1904—1906.
(—S. Amb.). Albert de Broglie. Saint-Ambroise. Paris, 1899.
(Брюсов В. Р.). Валерий Брюсов. Великий ритор. Жизнь и сочинения Децима Магна Авсония. М., 1911.
(Burckhardt). Jacob Burckhardt. Die Zeit Constantins des Grossen. Leipzig, 1898.
(Cabanès). Docteur Cabanès. Moeurs intimes du passé. 2-ème série. La vie aux bains. Librairie A. Michel. Paris.
(R. Darest). Rodolfe Dareste. Nouvelles études d'Histoire du droit. 3-ème série. Paris, 1906.
(Ш. Диль). Шарль Диль. Юстиниан и византийская цивилизация. Перевод с французского. СПб., 1908.
(Duruy). Victor Duruy. Histoire des Romains. 7 vol. Librairie Hachette. Paris, 1882—1900.
(G. Ferrero). Grandeur et décadence de Rome. Traduit de l'italien p. Urbain Mengin. Vol. V — VI. Librairie Plon. Paris, 1907—1908.
(Герье). В. Герье. Лекции по римской истории (историография), читанные в Московском университете в 1893—1894 г. (Литографированное издание.)
(Гиббон). Эдуард Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Перевел В. Неведомский. Части I — III. М., 1883—1884.
(Грегоровиус). Фердинанд Грегоровиус. История города Рима в средние века. Перевел М. Литвинов. Томы I — II. СПб., 1903.
(Р. Грин). Ричард Грин. История английского народа. Перевод П. Николаева. Том I. М., 1891.
(Хвостов). Михаил Хвостов. История восточной торговли греко-римского Египта. Казань, 1907.
(Кэджори). Флориан Кэджори. История элементарной математики. Перевел И. Тимченко. Одесса, 1910.
(Кулаковский). Юлиан Кулаковский. История Византии. Том I. Киев, 1910.
(Kvičala). Johann Kvičala. Vergil-Studien. Prag, 1878.— Neue Beiträge zur Erklärung der Aeneis. Prag, 1881.
(Моммсен). Римская история Ф. Моммсена. Том пятый. Перевод В. Неведомского. М., 1885.
(Mommsen). Th. Mommsen. Römisches Staatsrecht. Verl. v. S. Hirzel. 3 Bde. Leipz., 1871—1877.

(Numismata). Regum et imperatorum Romanorum numismata usque ad Iustinianum. Antverpiae, 1654.
(R. Pichon). René Pichon. Les derniers écrivains profanes. E. Leroux éd. Paris, 1906.
(Revue de Ph.). Revue de Philologie, de littérature et d'histoire anciennes. 1911.
(Ф. Ричардс). См. Грин.
(Schanz). Martin Schanz. Geschichte der Römischen Litteratur. Vierter Teil. München, 1904.
(Schultze). Victor Schultze. Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidentums. 2 Bde. Jena, 1887.
(Seeck). Otto Seeck. Geschichte des Untergangs der antiken Welt. 3 Bde. Berlin, 1910—1911.
(Simon). Max Simon. Geschichte der Mathematik im Altertum. Verl. v. Bruno Kassirer. Berlin, 1909.
(Speck). E. Speck. Handelgeschichte des Altertums. Verl. v. F. Brandstetter. 5 Bde. Leipz., 1900—1906.
(Струве). Петр Струве. Хозяйство и цена. Часть I. СПб.— Москва, 1913.
(Thédenat). Henry Thédenat. Le Forum Romain. Librairie Hachette. Paris, 1904.
(Thomas). E. Thomas. La Littérature Chrétienne. Louis-Michaud éd. Paris.
(Зелинский). Ф. Зелинский. Из жизни идей. СПб., 1908.

III. СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

(Dict. Inf.). Dictionnaire infernal p. Colin de Plancy. 4 vol. Paris, 1825—1826.
(Egli). J. J. Egli. Nomina geographica. Verl. v. F. Brandstetter. Leipz., 1893.
(Fasti). Fasti consulares imperii Romani. Mit Kaiserliste. Bearbeitet von Willy Liebenam. Bonn, 1910.
(Hempel). Lateinischer Sentenzen Schatz. Gesammelt von Hermann Hempel. Bremen, 1890.
(Lexique). Lexique des Antiquités Romaines. Rédigé sous la direction de R. Cagnat et G. Goyau. Librairie Thorin et fils. Paris, 1896.
(Pauly-Wissowa). Pauly's Real-Encyclopädie des classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1901—1913.

Кроме того, в примечаниях есть ссылки на Библию, на Энциклопедический словарь Брокгауз-Ефрона, а также отмеченные и неотмеченные цитаты из общеизвестных сочинений Фридлэндера («Картины римской жизни»), Э. Целлера («История греческой философии») и др.

В. Брюсов

ЮПИТЕР ПОВЕРЖЕННЫЙ

Повесть «Юпитер поверженный», не оконченная В. Брюсовым, при жизни его не печаталась.

Впервые она была опубликована вдовой писателя И. М. Брюсовой в сборнике «Валерий Брюсов. Неизданная проза». М.— Л., ГИХЛ, 1934.

Черновые рукописи повести и некоторые материалы, связанные с изданием этого сборника, в настоящее время хранятся в ГБЛ, ф. 386, к. 31, ед. хр. 7, 8, 9.

Готовя повесть к печати, И. М. Брюсова проделала скрупулезную и чрезвычайно трудоемкую работу по разбору и прочтению рукописей, расслоению вариантов и датировке автографов.

В совершенстве владея техникой чтения брюсовских рукописей (повесть написана скорописью, со множеством сокращений, понятных лишь автору, с пропусками слогов в «длинных» словах, с чрезвычайно неразборчивой графикой отдельных букв), И. М. Брюсова почти не оставила непрочитанных мест и слов. В ряде случаев, где текст совсем не поддается прочтению, И. М. Брюсова предложила весьма остроумные догадки, ввела необходимые конъектуры, без которых теряется связность повествования. Все это в значительной степени облегчило последующую работу.

Для настоящего издания весь автографический материал был прочитан заново и подвергся текстологическому анализу, что позволило уточнить некоторые решения И. М. Брюсовой по выбору текста для публикации.

Разбирая самые первые, дошедшие до нас варианты повести, И. М. Брюсова непроизвольно контаминировала два источника, комплектуя их по внешнему признаку: машинопись к машинописи, рукопись к рукописи. Таким образом, то, что она называет «первоначальным наброском» (см. «Неизданная проза», с. 171), на самом

деле представляет собой начало (5 глав) самого раннего наброска и конец второго известного нам варианта повести. В состав же второго (по определению И. М. Брюсовой) варианта подложена концовка от первоначального наброска. В таком произвольном раскладе автографы хранятся и в ГБЛ.

При публикации, однако, И. М. Брюсова была вынуждена из двух произвольно составленных ею вариантов взять две части, в которых действовали одни и те же персонажи и совпадали имена второстепенных лиц. По существу, это и был второй известный нам вариант повести, хотя И. М. Брюсова была убеждена, что совершает контаминацию. К этому второму варианту И. М. Брюсова присоединила несколько страниц четвертого варианта, в се публикации — это начало повести (см. «Неизданная проза», с. 11—20).

В текстологической работе И. М. Брюсовой были и другие погрешности. Так, с большой долей уверенности начало работы над повестью можно отнести не к концу 1913 г., как утверждает И. М. Брюсова, а к началу 1912 г. Латинские имена и названия в первоначальном наброске «Юпитера поверженного» даны в той же транскрипции, какой В. Брюсов придерживался еще в журнальной публикации «Алтаря Победы» (1911—1912 гг.). Уточнения и изменения в латинских написаниях Брюсов принял только в конце 1912 — начале 1913 г., когда готовил публикацию «Алтаря Победы» в составе Собрания сочинений.

В настоящей публикации воспроизводится второй дошедший до нас черновой вариант повести, хранящийся в ГБЛ, ф. 386, к. 31, ед. хр. 8, лл. 1—23 и ед. хр. 7, лл. 27—146. Это самый полный из дошедших до нас вариантов, составляющий 141 страницу по авторской нумерации. Согласно рабочим планам В. Брюсова, из четырех задуманных книг здесь полностью написаны I и II. Книга III обрывается на предпоследней главе. IV книгу Брюсов не написал.

Первые 26 страниц этого текста представляют машинопись с некоторыми исправлениями и вычерками автора. На с. 26 (авторской нумерации) машинопись обрывается, и Брюсов продолжает писать от руки, характерной для него скорописью.

Новое прочтение автографа позволило воспроизвести несколько не разобранных ранее мест, уточнить чтение отдельных слов, очистить текст от некоторой редактуры, предпринятой при публикации повести в сборнике «Неизданная проза».

В угловых скобках < > воспроизводятся конъектуры, необходимые для связного чтения.

Брюсов предполагал снабдить «Юпитера поверженного» такими же развернутыми примечаниями, как и «Алтарь Победы»; некоторые такие примечания имеются в беловых вариантах начала повести

и использованы ниже. Дальнейший черновой автограф содержит на полях ссылки на античных писателей и новых исследователей; они также учтены в нижеследующих примечаниях.

КНИГА I

I — II

Стр. 411. «Повесть «Юпитер поверженный», являясь продолжением повести «Алтарь Победы» (была напечатана в «Русской мысли» в 1911—1912 гг. и издана отдельно, П., 1913), составляет, однако, совершенно самостоятельное произведение. Две эти повести связаны только образом главного действующего лица и единством исторической эпохи. Читатели не найдут в новой повести никаких ссылок на первую и ни одной строки, для понимания которой было бы необходимо знать первую повесть. *Высший монастырь* (Maius Monasterium) на Лигере — монастырь Мармутье на Луаре, основанный Мартином Турским (ум. в 401 по р. Х.)». *(Прим. Брюсова.) Как говорит певец Энея* — Вергилий, «Энеида», II, 6.

Стр. 412. *Юн* не упоминается Вергилием в числе спутников Энея, но о нем говорит Дионисий Галикарнасский, «Римские древности», IV, 68, 1. *Лавинийская земля* (Италия) — выражение из «Энеиды», I, 2. *Имена Юниев.*— Из последующего перечня знаменитых Юниев наиболее известны Брут Старший, низвергнувший в Риме царскую власть (VI в. до н. э.), и Брут Младший, убийца Юлия Цезаря (I в. до н. э.).

Стр. 413. «*Улыбчивая*» — неточный перевод выражения laeta Aquitanica (Aus. Mos., 442), заимствованный Брюсовым из книги: П. Г и р о. Частная и общественная жизнь римлян, пер. с франц., М., 1913, с. 532. *(Пометка Брюсова.) Недавно еще счастливой* названа Аквитания потому, что с 407 г. ее стали разорять свевы и аланы, а затем — готы. *Те смутные времена.*— Междоусобия преемников Диоклециана в начале IV в. *Участь, о которой мечтал Вергилий.*— Имеется в виду знаменитое место из «Георгик», II, 458 (пер. С. Шервинского):

О, блаженные слишком,— когда б свое счастие знали!
Жители сел!..

III—IV

Стр. 414. *В календы февраля.*—1 февраля 365 г. *Асиана* — (Малая) Азия, одна из диэцес Восточной империи.

Стр. 415. *Получал в награду книги.*— Обычай, идущий от Верия Флакка, преподавателя грамматики в эпоху Августа (Гиро, ук. соч., с. 81 — *пометка Брюсова*).

Стр. 416. *Трох* — обруч для катания; *игра в треугольник* описывается так: «На полу был начерчен мелом треугольник с поперечными линиями, на этих чертах дети ставили орехи, потом по очереди каждый катил свой орех в треугольник; если он оставался там, то играющий получал все, что стояло на каждой черте, пройденной его орехом или только тронутой им» (Гиро, ук. соч., с. 70 — *пометка Брюсова*).

Стр. 417. «*В праздник Либералий* — 17 марта 383 г.». *(Прим. Брюсова.)* Облачение в мужскую тогу, белую, в отличие от отроческой, с красной каймой, означало совершеннолетие; в этот день подросток снимал с себя и посвящал богам свою буллу — золотой или медный медальон, который он с детства носил на шее (Гиро, ук. соч., с. 71 — *пометка Брюсова).*

Стр. 419. «*Тессера* — проездной билет (обычно металлический)». *(Прим. Брюсова.)*

Стр. 420. «*Комменданционное письмо* — рекомендательное». *(Прим. Брюсова.)*

Стр. 421. *Заменил знаком Креста.*— Имеется в виду 312 г., когда перед победой у Мульвийского моста (см. прим. к стр. 21) Константин, будто бы под впечатлением сновидения, приказал изобразить на знаменах своего войска крест (точнее — монограмму имени Христа).

V—VI

Стр. 425. *Образ... блудного сына.*— Евангелие от Луки, 15, 11—32 (ср. стихотворение Брюсова в сб. Urbi et Orbi, т. 1, с. 276). *Полураздавленная змея* — Вергилий, «Энеида», V, с. 273—279.

Стр. 426. *Древний Юний* — Брут Старший, изгнавший из Рима царей; два его сына оказались участниками заговора в пользу царя и были по его приказу судимы и на его глазах казнены.

Стр. 429. *Древний Катон* — Катон Старший (II в. до н. э.), образец старинной доблести и деловитости; см. его трактат «Земледелие», гл. 2.

Стр. 430. *Благороднейшим делом* — см. там же. Вступление.

Стр. 432. *Беата*, beata,— блаженная.

Стр. 434. Подробности брачного обряда, включая сидение новобрачных на шкуре жертвенной овцы, шафрановую паллу-накидку (flammeum), осыпание мукой, формулу «Где ты, Гай...» (произносимую женой перед вступлением в дом мужа) и пр., взяты из Гиро, ук. соч., с. 48—53; там же упоминаются «Jugatinus, бог ярма; Domiducus, который ведет женщину к дому ее мужа; Domitius, вводящий ее в дом, и Manturna, которая заставляет ее там оставаться».

Стр. 435. *Кубикул* — спальня.

Стр. 436. *Гекатовы наваждения* — от имени Гекаты, богини подземного мира, покровительницы колдуний.

VII—VIII

Стр. 437. *Властителя Галлий, Испании и Британии.*— После убийства Грациана узурпатор Максим правил тремя диэцесами — Галлией (точнее, «Галлиями», ибо так называлось несколько провинций), Испанией и Британией, а остальные области Западной империи — Италия, Иллирик и Африка — оставались под властью юного Валентиниана II, брата Грациана. Походы Максима против Валентиниана и Феодосия — на защиту Валентиниана относятся к 387—388 гг.; описание войны сделано по Гиббону, III, с. 250—251; ошибочно лишь упоминание о вторжении войск Феодосия в Цисальпинскую Галлию (Ломбардию) — театром войны были придунайские земли, решающая битва произошла у Сискии (близ нын. Загреба), погиб Максим в Аквилее (близ Венеции, в местах будущих битв Евгения с Феодосием). *Куда скрылась... Гесперия...*— *Пометка Брюсова*: «После гибели Гесперии Юний соглашается жениться». В черновом наброске хронологии романа (см. «Неизданная проза», М., 1934, с. 174) сделан расчет: «Юний родился — 366 г.; ...гибель Максима — 388; знакомство с Лидией — 389; брак с Лидией — 390; родился Тит — 391; родилась Децима — 392».

Стр. 442. *День, описанный Плинием...*— Извержение Везувия, погубившее Помпеи 24 августа 79 г. н. э. (Плиний Младший, «Письма», VI, 16 и 20). *Арбогаст* — полководец Феодосия, франк, одержавший для него окончательную победу над войсками Максима, а потом приставленный опекуном к восстановленному на престоле Валентиниану II. «*Весной того года* — 15 мая 392 г.». *(Прим. Брюсова.)* «*Магистр скриний*, Magister scriniorum,— важная должность, в сущности — хранитель ларцов (scrinia) с важными государственными бумагами; до некоторой степени министр иностранных дел». *(Прим. Брюсова.) Бруктеры и комавы* (так у де Брольи, правильнее «хамавы») — племена прирейнских германцев. *Феодосий* был шурином убитого Валентиниана как муж его сестры Галлы, которая умерла как раз незадолго до описываемых событий. Феодосию в это время было 48 лет; ему оставалось жить три года.

Стр. 443. Знаменитые греческие оракулы *Дельфийский* (Аполлона) и *Додонский* (Зевса) к этому времени давно уже перестали давать прорицания. *Нильский прорицатель* — выражение, взятое у Гиббона, III, 270, где Гиббон пересказывает упоминание об этом посольстве у Клавдиана, «Против Евтропия», I, 312—316. *Словно*

гарпии...— О зловонных птицах гарпиях, налетевших на трапезу спутников Энея, говорится в «Энеиде», III, 209—267.

Стр. 444. *Весной, в год консульства императора Евгения* — в 393 г.

Стр. 445. *Кадуцей* — жезл Меркурия, крылатая палочка, обвитая двумя змеями. *Души уводит...*—«Энеида», IV, 242—243 (пер. В. Брюсова).

После берет свой жезл (им он души выводит из Орка
Бледные или другие, унылые, в Тартары сводит)...

Стр. 447. В рукописи Брюсова — незачеркнутый вариант конца письма Гесперии: «...закрыть все дороги к Риму. Вспомни великую клятву, которую ты некогда мне дал: теперь я требую ее исполнения. Без промедления спеши, лети в Рим, где ждут тебя и слава подвигов, и высокое назначение, и моя неизменная любовь. Ты найдешь меня в моей вилле на Холме Садов.— Гесперия сказала: vale et memento»[1]. Кроме того, в рукописи — невставленное добавление: «Я следила за тобой, хотя ты этого не знал. Я знаю, что ты женат. Я прощаю тебе это, ибо сама тоже имела мужа, и ты не знал моих тайных мыслей. Прощаю тебе все, вплоть до твоего удара кинжалом, след которого доныне ношу на своей левой руке».— И конспективная запись: «Важно. Нужен каждый человек. Никто не вправе отказываться, когда зовет республика».

Стр. 448. *«И море, и сушь...»* — Вергилий, «Энеида», I, 48—49. *Аргентарий* — менялa. *Дорожные часы* (солнечные, величиной с наши карманные), сделанные из слоновой кости, употреблялись в эпоху империи и сохранились в музеях. Были и переносные водяные часы, но ими пользовались преимущественно врачи. *Седлать... коней.*— Седлать лошадей римляне стали лишь в эту позднюю эпоху; раньше ездили без седел.

КНИГА II

I—II

Стр. 449. *Толоса* — нын. Тулуза.

Стр. 450. *Кирка* — греческое произношение имени Цирцеи, волшебницы, обратившей спутников Одиссея в животных.

Стр. 451. *Кимотоя* — имя одной из морских нимф (нереид).

Стр. 454. *Вестибул* (в рукописи пропущено место для латинского слова) — см. прим. к «Алтарю Победы», кн. I, гл. III. *Триподий* — треножник.

Стр. 456. О *Претекстате* и др.— см. прим. к «Алтарю По-

[1] Прощай и помни *(лат.)*.

беды», кн. I, гл. XV. *Амиклейская Леда* — (Псевдо-)Вергилий, «Ciris», 489, от городка Амиклы близ Спарты, где царствовала Леда, мать Елены. В рукописи — пробел для эпитета и пометка: Verg.

III—IV

Стр. 459. *Было бы глупо отказываться...*— Свидетельство Зосимы, IV, 54. «См. De Broglie, VI, 365». *(Прим. Брюсова.) Арбогаст — наш.*— На полях пометка: «Гильдон? De Broglie, VI, 395». Очевидно, Брюсов хотел здесь упомянуть, что сторонники язычества надеялись на союз с наместником Африки Гильдоном (см. ниже, кн. III, гл. IV). *Алкибиад* (чаще Алкивиад)—афинский полководец и авантюрист V в. до н. э., известный расточительностью и мотовством.

Стр. 461. *Via Lata* («Широкая улица») — оживленное место к северу от Капитолия. В рукописи — пробел, конъектура сделана И. М. Брюсовой (по Грегоровиусу, I, с. 27—28).

Стр. 462. *Мужественный образ истинного Римлянина.*— Сравнительные характеристики Флавиана и Феодосия Брюсов сделал в своем курсе лекций «Рим и мир» (*ГБЛ*, ф. 386, 49.20, л. 22): «Флавиан был из закала древних римлян, времен Катона или Фабия Максима (Кунктатора), перенесенного в обстановку поздней империи. Человек очень энергичный, деятельный, суровый, беспощадный, требовавший строгой дисциплины от подчиненных, Флавиан делал лишь одну, но роковую ошибку в своих расчетах: он верил, что еще существуют *римляне*, те римляне, которые сражались против Ганнибала или возносили Суллу на престол диктатора... Но римлян уже не было, а были италийцы, люди, в течение трех четвертей века учившиеся лгать, притворяться и лицемерить, а легионы состояли не из граждан, а из наемных варваров, которые всегда готовы были перейти к тому, кто дороже заплатит. Иного рода человек был Феодосий, еще константинопольский, но уже и византийский император, один из последних римлян и один из первых византийцев. Коварство, обман, подкуп, все эти средства, обычные в позднейшей Византии, были любимым приемом Феодосия. Он глубоко знал людей и, кажется, достаточно презирал их; не доверял никому, но зато и не опасался ничьей верности, в убеждении, что ее можно купить; не обладал талантами полководца, но вполне заменял их хитростью политика, тонким расчетом, умением выбрать момент, подготовить почву, а главное, разъединить врагов, одних привлекая лестью, других деньгами, третьих обещаниями, которые не всегда исполнял». *Domina* — госпожа. *Комит Арбитрион* должен был играть важную роль в дальнейшем развитии событий. Именно его

измена в решающем сражении при Аквилее позволила Феодосию победить Евгения и Флавиана.

Стр. 463. *Галла*, сестра убитого Валентиниана II — см. прим. к с. 442. *Иоанн Никопольский* — этот отрывок представляет собой конъектуру И. М. Брюсовой на основании ссылок Брюсова на де Брольи, VI, 388, и Гиббона, III, 269. *Феодосий стар.*—Феодосию было 50 лет, он умер год спустя. Его война с готами на Дунае происходила лет на 12—15 раньше.

Стр. 464. *Тимасий*, начальник конницы Феодосия, участвовал в его войне против Максима; имя *Стилихона*, мужа племянницы Феодосия и впоследствии знаменитого полководца и регента Западной империи, выступает здесь на сцену впервые. *Лектистерний* — «угощение богов», старинный религиозный обряд. О *тавроболии* см. ниже. Конец абзаца не дописан, в рукописи стоит etc. *Фаски* (связки прутьев с боевыми топорами) и *пурпурные крепиды* (обувь; термин употреблен Брюсовым неточно) — знаки консульского достоинства.

Стр. 465. *Лик Юпитера.*— Имеется в виду золотая статуя в войске Флавиана, давшая название брюсовскому роману. *Старый понтифик* — Флавиан (в описываемое время ему было 60 лет), носил высший в Риме жреческий сан великого понтифика.

Стр. 466. *Triumvir aedibus reconstituendis* — «триумвир для возвращения храмов». Евгений номинально оставался христианином и не хотел открыто ссориться со своими христианскими подданными: возвращая язычникам храмы, он делал исключение для храмов, перестроенных христианами, а отбирая у христиан конфискованные ими храмовые деньги, он возвращал их не храмам, а распределял между сенаторами (ссылка Брюсова на Буасье, II, 287, прим.).

V—VI

Стр. 467. В начале главы на полях приписка: «Шум экипажей, ломовые etc.: Гиро: 42—45». У Гиро в указанном месте — выписка из Ювенала, сатира III: «Шум экипажей, столпившихся на повороте узкого переулка, да ругательства возниц способны разбудить даже тюленей!.. Вот едет ломовая телега, на которой покачивается высокая ель; другие повозки везут сосны; эти высокие столбы качаются и своим падением угрожают народу...» и т. д.

Стр. 468. *Эмилиев мост* (в рукописи для названия — пробел) соединял район форумов с затибрским кварталом. *Пометка Брюсова*: «Подробнее — незнакомку, напоминавшую Рею».

Стр. 470. *Рея* и *Сильвия* — имена, тесно связанные в римском сознании: Реей Сильвией звали мать Ромула и Рема (см. одноименную повесть Брюсова).

Стр. 471. *Инсула* — большой дом, в котором квартиры отдавались внаем.

Стр. 472. *Illustrissimus* — «сиятельнейший» — звание, присвоенное сенаторам в эпоху поздней империи.

Стр. 473. *На полях рукой Брюсова пометка:* «Мелания о добродетелях женщин (непременно)».

Стр. 474. *Павлин* из Бурдигалы, ученик Авсония, талантливый поэт, бывший консул, незадолго до того постригся в монахи, роздал имение бедным и проезжал через Рим, направляясь в Нолу, где жил с 394 г. до конца жизни, став впоследствии епископом; о нем см. в статье Брюсова «Великий ритор». На полях пометка: «Можно развить».

VII—VIII

Стр. 478. *Здесь не было безвкусной роскоши.*— На полях: «Дом Домициана (Гиро, 14 и сл.)». Очевидно, Брюсов предполагал заменить свою условную картину дворца более конкретным описанием дворца Домициана, построенного в I в. н. э. и известного по археологическим раскопкам, результаты которых излагаются в книге Гиро.

Стр. 480. *Прохладные приюты...*— На полях: «Гиро, 41»: описание портиков, окружающих Марсово поле, взято отсюда Брюсовым почти дословно.

Стр. 481. *Ты помнишь...*—Ср. «Алтарь Победы», кн. I, гл. XII.

IX—X

Стр. 485. *Гальба* — римский император, правивший несколько месяцев в 68—69 гг. н. э.

Стр. 487. «В домах богачей вокруг перистиля были еще особые залы для бесед — *экседры*... Экседра представляла собой большую прекрасную комнату, иногда открытую (для лета), иногда с потолком или сводом (для зимы)» (Гиро, ук. соч., с. 146, ссылка Брюсова).

Стр. 488. *На полях пометка Брюсова*: «лампады, люцерны, восковые свечи» (со ссылкой на Гиро).

Стр. 489. *Грекулы* — см. прим. к с. 245.

Стр. 490. *Кавдинское ущелье* — место поражения римлян в 321 г. до н. э.; *Красс* (в рукописи описка: «Силла», т. е. Сулла) был разбит парфянами при Каррах в 53 г. до н. э. (см. стихотворение «Победа при Каррах», т. 2, с. 245). *Кесарь* (будущий Ав-

густ) и *Антоний* воевали друг с другом в 31—30 гг. до н. э. На полях — заметки для дальнейшей разработки: «Флавиан говорит, что знает Феодосия, ибо был одно время квестором дворца в Константинополе.— Евгений должен цитировать поэтов.— Хвалят Евгения за то, что он возвращает храмы богам, но Евгений замечает, что он их отдал сенаторам» (см. выше, прим. к с. 466).

Стр. 491. *Август... ходил по Городу пешком...*— Август, первый римский император (30 г. до н. э.—14 г. н. э.), притворяясь простым гражданином, ходил по улицам без свиты; так он изображен и в незаконченном рассказе Брюсова «Предсмертный бред Вергилия» («Неизданная проза», М., 1934, с. 146). *Я превращу в конюшни все христианские храмы* — де Брольи, VI, 386 *(сноска Брюсова)*, где эта реплика приведена со ссылкой на сочинения Амвросия, Августина, Руфина и других христианских писателей.

Стр. 493. *Варрон* Реатинский (I в. до н. э.) — римский писатель-энциклопедист; его сочинение «Древности человеческие и божественные» (в 41 книге, а не в 98) было источником всех сведений о римских религиозных древностях; до нас оно не дошло. *Служение Меркурию...*— О том, что «из богов германцы особенно почитают Меркурия», писал еще Тацит («Германия», 8) — римляне отождествляли с Меркурием верховного бога германцев, Вотана.

Стр. 494. О *Гордиевом узле* было предание, что тот, кто его развяжет, получит власть над всей Азией; Александр Македонский, не сумев его развязать, разрубил его мечом, и предсказание сбылось. *Был воздвигнут...*— Далее в рукописи: «etc. (см. Грегоровиус)». Однако ни у Грегоровиуса, ни в каких других работах по археологии Рима храм Дианы на Эсквилине для этой эпохи не засвидетельствован. «*Фасты*» — поэма Овидия Назона о римских религиозных древностях. *Сибиллины книги* — древние свитки с пророчествами, находившиеся на хранении у жреческой коллегии квиндецемвиров.

Стр. 495. *Времена пяти императоров...*— За тридцать с лишним лет в Риме сменились императоры Юлиан (361—363), Иовиан (363—364), Валентиниан I (364—375), Грациан (375—383), Валентиниан II (383—392) и Евгений (392—394).

XI—XIII

Стр. 497. *Господь запретил нам такую любовь...* и т. д.— *Пометка Брюсова на полях:* «Слабо».

Стр. 502. *Померий* — старая городская черта Рима. *Прандий* — полуденный завтрак.

Стр. 503. *Аспасия* — умная и образованная афинская гетера V в., любовница Перикла. *Диофант* — александрийский математик IV в., основатель современной алгебры.

Стр. 504. *Даная* — возлюбленная Зевса, мать Персея.

Стр. 508. *Эоны* — в гностической философии: силы, промежуточные между божеством и материальным миром. *Ихор* — кровь богов (см. выше с. 571). *Марсий* был наказан за то, что решился состязаться в музыкальном искусстве с Аполлоном, *Фамира* — с музами; о *Психее* см. стихотворение Брюсова (т. 1, с. 147).

Стр. 509. *Прометей*, по некоторым мифам, вылепил первых людей на земле из глины и вдохнул в них душу — то же самое, что рассказывается о сотворении человека в Библии.

Стр. 510. *Аларих* — готский вождь на римской службе, впоследствии поднявший восстание и в 410 г. овладевший Римом; в описываемое время он был еще никому не известным молодым военачальником в войске Феодосия.

Стр. 512. *На вершинах стопали нимфы...*— «Энеида», IV, 168.

КНИГА III

I—II

Стр. 513. *На полях пометка:* «За городом разрушены все христианские храмы, под предлогом, что они могут мешать обороне города» (Allard, 139)». *Горе побежденным!* — слова Бренна, галльского вождя, взявшего Рим в 390 г. до н. э., в ответ на просьбы римлян о смягчении контрибуции.

Стр. 514. Брюсовым пропущено описание *тавроболии* — обряда очищения жертвенной кровью, высшего таинства религии Митры. На полях — краткий конспект книги Аллара, с. 140; у Аллара здесь пересказывается латинская поэма о событиях IV в., оставшаяся Брюсову недоступной: «Флавиан, которого Симмах упрекал когда-то в недостатке рвения, подал теперь пример самого пылкого фанатизма; видели, как он провел ночь в храме Сераписа, совершил шествие среди гадателей, вызванных из Этрурии, и жриц, которых поэт грубо называет куртизанками; за ними теснились постыдно изувеченные галлы, «псы Кибелы». Тогда-то Флавиан и велел посвятить себя в культ Митры: он сошел и побудил других «сойти под землю искать солнца». Наконец, он совершил над собой великое очищение тавроболии, эту кощунственную и неуклюжую пародию на христианское крещение; посвящаемый, в грязных одеждах, спускался в ров, покрытый пробуравленными досками, и принимал на свое тело кровь заколотого быка; этим он надеялся возродиться к новой жизни на двадцать лет».— *Пометка Брюсова:*

«См. еще Мережковского»; тавроболия описывается в романе Мережковского «Смерть богов (Юлиан Отступник)», ч. I, гл. 23; ср. также описание процессии в ч. II, гл. 2, повлиявшее на описание Брюсова в следующих главах.

К описанию *пира* — вставка на отдельном листке: «По окончании Флавиан говорит, что мясо было обрызгано кровью жертвенных животных, а хлеб лежал на жертвеннике Флоры и был обкурен на нем ладаном. Смущение присутствующих христиан. Один лицемерно возводили глаза, другие смеялись, некоторые явно возмущены. Флавиан острым взором смотрит на всех. Кажется, еще немного — и осудит на казнь».

Стр. 515. *Эмилиев мост* вел из центральной части Рима в правобережную, затибрскую, где жила Сильвия; севернее в затибрской части лежал Janикуленский холм, а еще севернее — Агриппинские сады и Домициевы сады, куда направлялись герои романа. Обратно они идут через Неронианов мост, далекой дорогой — по другому берегу Тибра.

Стр. 516. *Годичные игры в честь Аполлона* праздновались 6—13 июня.

Стр. 518. *Иберийцы* — рабы из Испании или Грузии (эти области одинаково назывались Иберией).

III—IV

Стр. 520. *Арка Галлиена* (III в.) на Эсквилинском холме сохранилась до наших дней. О *квиндецемвирах* см. выше, прим. к с. 141.

Стр. 521. *Манипула* — небольшой отряд. *Гаста* — см. прим. к с. 355.

Стр. 524. *Декий Мус* — имя двух римских полководцев, отца и сына, которые обрекли себя на смерть в двух сражениях, чтобы этим купить победу отечеству. *Восточный Григорий* — Назианзин, виднейший христианский писатель и церковный деятель Восточной империи; он умер за четыре года до описываемой беседы.

Стр. 526. *С десятого по третий день до июльских календ* — 23—30 июня. «*Прометей освобожденный*» (не дошедшая до нас трагедия Эсхила) был продолжением его знаменитого «Прометея прикованного». *Театр Помпея* был построен в 55 г. до н. э. (во время первого триумвирата — союза Помпея с Цезарем и Крассом); описание его заимствовано Брюсовым из Гиро, ук. соч., с. 36.

Стр. 527. *Кингул* — металлический пояс; здесь, очевидно, в значении «пряжка». *Vivat* — «Да здравствует!». *Четыре мириады* — 40 000 человек.

Стр. 529. *Занавес* в античном театре не спускался, а поднимался над полом из-под сцены.

V—VI

Стр. 531. *«Марина* — домоправительница Гесперии». *(Пометка Брюсова на полях.) Коринна, приходящая к Овидию.*—Сюжет его эротической элегии («Любовные элегии», I, 5), набросок перевода которой сохранился в бумагах Брюсова.

Стр. 532. *Трабеа* — пурпурное облачение, надеваемое консулом в торжественных случаях.

Стр. 533. *Лустрация* — обряд очищения. *Гаруспики* — гадатели по внутренностям жертвенных животных. *Милитарии* — воинские чины.

Стр. 534. *«Веллей*, скептик» упоминался Брюсовым в одной из заметок на полях. *Храм Сабинской...*— археологическому отождествлению не поддается.

VII—VIII

Стр. 535. *Капенские ворота* — под Авентином, при южном выезде из Рима (по Аппиевой дороге).

Стр. 536. *Мост Проба* — ближайший к этому месту. О *Манлии Торквате* см. прим. к с. 268.

Стр. 537. *При моих ауспициях* — под моим командованием (ауспиции — гадания, которые производил командующий перед походом).

Стр. 538. *Notitia dignitatum* — римская «табель о рангах», перечень государственных должностей, их обязанностей и знаков отличия.

Стр. 540. В *Амфитеатре* обычно устраивались травли зверей и бои гладиаторов; местом скачек был цирк. *Авриги* — колесничные возницы. *Пометка Брюсова на полях*: «Подробнее, но кратко».

Стр. 542. *Слова, услышанные Савлом.*— Деяния апостолов, 9, 5.

Окончание романа восстанавливается по сохранившимся планам Брюсова. Важнейших среди них два. Первый, по-видимому, предшествует работе над романом: в нем еще нет Сильвии, но есть некий «Калл. <...>», отсутствующий в тексте.

«Кн. I. Биография. Письмо Гесперии. Приезд в Рим. Совещание у Флавиана. Объяснение с Калл. Объяснение с сестрой Калл.— Л.— (На полях: 393 г.).

Кн. II. Празднество в Риме. Типы приверженцев язычества. Борьба с Калл. Прибытие Арбогаста, Евгения и Флавиана. Восстановление Алтаря Победы. Известие о смерти жены Юния. Надменность Арбогаста. Решение его убить. Весть о походе Феодосия.— (На полях: 394 г.). *Карандашная приписка*: О. Николай. Археолог.

Кн. III. Поход в Альпы. Типы военачальников. Сражение. В Альпах. Юпитер поверженный. Смерть Флавиана. Битва. Взяты в плен.

Кн. IV. Милан. Двор Феодосия. Торжество христиан. Прием сенаторов. Игры в цирке. Смерть Феодосия. Монастырь.— *Приписка карандашом*: Промысел божий — порыв к Гесперии и через нее к Феодосию, а следовательно, к Богу».

Второй план, в котором уже упоминается Сильвия (под именем Марии), начинается: «Кн. I. Гл. I—IX.— Кн. II. Гл. I—III» — по-видимому, он был набросан, когда начальная часть романа была уже написана. Далее следует:

«(Кн. II). IV. У Флавиана.— V. Посещение дяди. Встреча с Марией.— VI. Прощальный пир у Гесперии.— VII. Жизнь вообще. Гликерий.— VIII. У Марии.— IX. Влюбленность в Марию. Спор с Гликерием.— X. Гесперия отдается Юнию.— *На полях:* Дворец Мирры (сестра Реи).

Кн. III. I. Тавроболии.·*На полях:* Валерия.— II. Празднества. Театр.— III. Процессия.— IV. Процессия. II.— V. Встреча со стариком (древности).— VI. Мятеж толпы. Юний — победитель.— VII. Казни. Мария.— VIII. Гибель Марии.— IX. Отчаяние Юния. Спор. Гесперия предлагает Юнию императорскую диадему.— X. Сбор в поход.

Кн. IV. I. Лагерь.— II. Спор о политике. Гесперия. Среди солдат. Посол от Феодосия.— III. Занятие города.— IV. Приближение Феодосия.— V. Первая битва. Победа.— VI. Ночь. Подкуп.— VII. Помешательство Флавиана. Буря. Юпитер повержен. Флавиан убивает себя.— VIII. Феодосий занимает город. Победа. Наблюдение со стороны.— IX. Вторая битва. Пленение Евгения и др.— X. В Риме. Слухи.— XI. Последнее свидание с Гесперией. Ее смерть.— XII. Известия из дома М. Смерть жены. Монастырь».

Таким образом, смысл заглавия романа раскрывается только в последних, ненаписанных главах. «Юпитер поверженный» — это золотая статуя Юпитера, которой Флавиан и его сторонники освятили свой поход против Феодосия и которая была уничтожена Феодосием после его победы. Де Брольи, основной источник Брюсова, пишет (VI, 386): «Когда был отдан приказ укрепить Юлийские Альпы, строители новых крепостей не нашли ничего лучше, чем украсить главную твердыню золотой статуей, изображающей Юпитера с молнией». И далее (VI, 404): «Все языческие знаки были немедленно уничтожены, изображения Геркулеса (с легионных знамен) попраны ногами, статуи Юпитера — изрублены в куски. «Вот истинные удары молнии,— говорили придворные, глядя, как летели во все стороны куски золота и драгоценных металлов.— Мы сами не прочь от такой молнии!» И Феодосий, смеясь, позволил им подобрать и рассовать по карманам все обломки, имевшие какую-

нибудь ценность». Буря, о которой упоминается в плане,— вихрь, налетевший с Альп во время сражения Евгения с Феодосием; он ударил в языческое войско, посеял смятение в его рядах и содействовал победе Феодосия. По-видимому, по замыслу Брюсова, этот вихрь, в котором современники усматривали «перст божий», и должен был «повергнуть» золотого Юпитера. Судьба невыдуманных персонажей известна из сообщений историков: Арбитрион передался Феодосию, Евгений попал в плен и был убит, когда валялся в ногах у Феодосия, Арбогаст бежал в горы и там был найден бросившимся на свой меч, Флавиан пропал без вести еще до начала сражения. Феодосий в 394 г. беспрепятственно вступил в Милан, отпраздновал победу и умер там в следующем 395 г. Как должна была погибнуть по замыслу Брюсова героиня его романа, Гесперия, из планов неясно.

В архиве Брюсова (*ГБЛ*, ф. 386. 31.9, л. 56—70) сохранилась любопытная попытка окончания «Юпитера поверженного» — IV книга романа, написанная Б. М. Зубакиным будто бы «из бесед и переписки с Брюсовым» и полученная И. М. Брюсовой уже после того, как «Юпитер поверженный» был издан или, по крайней мере, подготовлен к изданию. Здесь убийцей Сильвии оказывается Гликерий, подосланный Гесперией; потом та же Гесперия губит и Лидию, прибывшую в Рим с христианским посольством из Галлии; Юния она удерживает от мести предложением диадемы; а после поражения язычников она убивает себя рукой Юния и тем же кинжалом, которым была убита Сильвия, Юний же остается тосковать с раздвоенной душой между погибшим язычеством и восторжествовавшим, но перенявшим все его пороки христианством. Считаться достоверным свидетельством о замысле Брюсова это позднее сочинение вряд ли может.

М. Гаспаров

СОДЕРЖАНИЕ

Алтарь Победы 7
Юпитер поверженный 411
М. Л. Гаспаров. Брюсов и античность 543
В. Я. Брюсов. Примечания к роману «Алтарь Победы» . . . 557
М. Л. Гаспаров. Примечания к роману «Юпитер поверженный» 655

Брюсов В.

Б 89 Собрание сочинений. В 7-ми томах. Под общ. ред. П. Г. Антокольского и др. Т. 5. «Алтарь Победы». «Юпитер поверженный». Подготовка текстов Л. Н. Смирновой. Примеч. В. Я. Брюсова и М. Л. Гаспарова. Статья-послесловие М. Л. Гаспарова. Оформл. худ. Е. А. Ганнушкина. М., «Худож. лит.», 1975.

672 с.

В том вошли два романа Брюсова, действие которых происходит в Риме в IV в. н. э., в век окончательного падения культуры языческой и торжества христианства. Роман «Юпитер поверженный», не законченный автором, является продолжением «Алтаря Победы». К «Алтарю Победы» Брюсовым написаны обширные комментарии.

Б $\frac{70302-233}{028(01)-75}$ подписное

Р2

1p.35zł.